Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

Т. СМОЛЛЕТ

# ПУТЕШЕСТВИЕ ХАМФРИ КЛИНКЕРА

●

О. ГОЛДСМИТ

# ВЕКФИЛЬДСКИЙ СВЯЩЕННИК

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1972

Вступительная статья
А. Ингера

И (Англ)
С 51

Иллюстрации
А. Голицина

7-3-4
Подп. изд.

# ОТ РОМАНА РАЗУМА К РОМАНУ ЧУВСТВ

Английские писатели Тобайас Джордж Смоллет (1721—1771) и Оливер Голдсмит (1728?—1774) были людьми очень разными и по своему темпераменту, и по характеру дарования, между тем их человеческие и писательские судьбы сложились во многом одинаково, а в единственном романе Голдсмита «Векфильдский священник» (1762) и в последнем романе Смоллета «Путешествие Хамфри Клинкера» (1771) сказались сходные общественные и художественные тенденции.

Смоллет и Голдсмит были современниками, и оба принадлежали к тому мощному движению в философской и политической мысли, в морали и искусстве Западной Европы XVIII века, которое получило название Просвещения. Любой значительный писатель этой эпохи, как правило, совмещал в своем лице, хотя и в разных пропорциях, все эти ипостаси,— был одновременно художником и публицистом, моралистом и мыслителем. Что бы он ни писал, будь то роман или комедия, поэма или журнальный очерк, он видел свою цель не только в том, чтобы занять читателя или позабавить зрителя, затронуть их чувства или дать пищу их воображению; он взывал и к их разуму, проповедовал, убеждал, полемизировал, и художественное произведение превращалось на время в трактат о воспитании или в политический памфлет, оно становилось увлекательным путеводителем, знакомящим с достопримечательностями страны (Шотландии, например, в романе Смоллета), или наглядно, на конкретных человеческих судьбах доказывало справедливость или непригодность той или иной морально-философской системы. Для писателя-просветителя это было потребностью, естественной и насущной. Вот почему, когда герой романа Голдсмита — престарелый сельский священник Примроз — отправляется на поиски обесчещенной дочери, то как ни подавлен он горем, а все же, встретясь в пути с бродячим актером, оживленно обсуждает с ним состояние английской сцены, потом с еще большим пылом спорит с другим собе-

седником относительно различных форм государственного строя; в конце концов он попадает в тюрьму, что дает повод к размышлениям об уголовном законодательстве. Этот сплав художественного повествования с публицистикой, эта насыщенность философской и моральной проблематикой, быть может, особенно сближает произведения просветителей с литературой XX века, делает их близкими современному читателю.

Высшим достижением литературы английского Просвещения явился роман, главный интерес которого был сосредоточен преимущественно не на вопросах политического переустройства общества и не на раскрытии философского смысла бытия, а на проблемах морали, на поведении человека в быту, в повседневной жизни. Тому были свои причины. Эпоха острейших социальных бурь и катаклизмов, казалось, уже отгремела. Борьба английской буржуазии за политическое признание, приведшая к буржуазной революции в середине XVII века, участие в этой борьбе измученного феодальными повинностями и притеснениями народа, вожди которого требовали равенства всех людей перед законом (левеллеры) и даже уничтожения имущественного неравенства (диггеры), суд народа над Карлом I и, впервые в истории, казнь короля — все это было уже позади. Буржуазия своего добилась, а ее грозный союзник — народ, который так часто выходил из повиновения, с которым ей приходилось быть всегда начеку, но к которому в критические минуты она вынуждена была всякий раз обращаться за поддержкой,— не получил ничего. Однако права короны были в конце концов ограничены, была объявлена религиозная веротерпимость, устранены все путы былой цеховой регламентации в производстве, и перед любым предприимчивым Робинзоном открывалась возможность ничем не ограниченного обогащения. С этим Англия вступила в XVIII век.

Большинству просветителей казалось тогда, что главные социальные преобразования уже осуществлены. Невиданный дотоле подъем торговли и производства, превращение Англии в ведущее буржуазное государство Европы порождали в сознании просветителей иллюзию, будто эти перемены благодетельны для всего английского народа. Им казалось, что теперь дело за нравственным перевоспитанием людей, за тем, чтобы научить их разбираться в своих побуждениях и поступках, уметь сочетать свой личный интерес с интересами окружающих и всего общества в целом. Поэтому английский роман XVIII века был нравоучительным, его авторы стремились наставить читателя, дать ему ясные и определенные этические предписания, логически обоснованные, проверенные на опыте и утвержденные Разумом — этой высшей и, в глазах просветителей, авторитетнейшей инстанцией. Такая откровенно утилитарная цель ничуть не унижала литературу в глазах тогдашнего английского читателя. Это была практическая, деловая, трезвая эпоха, и впервые приобщавшийся к литературе новый читатель из среды городского меща-

нства, купечества и ремесленников искал в романе поучительный пример. Английский роман, «классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, нравоучительный и чинный...» (А. С. Пушкин, «Граф Нулин»), отвечал на эти запросы.

Начало эпохи Просвещения открыло новую страницу в истории естественных наук; в Англии в это время жили Ньютон и Роберт Бойль. Единственной основой всякого исследования был признан опыт и непосредственное наблюдение природы. Слово «опыт» было тогда чрезвычайно популярно; этим словом (по-английски «эссе») называли тогда не только исследования в области естественных наук, но и философские трактаты, дидактические поэмы и журнальные очерки. Предметом исследования и наблюдения в них была, как любили тогда говорить, «человеческая природа» — термин этот получил распространение после одноименного сочинения Гоббса (1650). Английский роман XVIII века стал своеобразным художественным исследованием, опытом, проводимым над «человеческой природой».

Что произойдет с цивилизованным человеком, если изолировать его от общества и поместить на необитаемом острове, оставить один на один с природой? Превратится ли он в дикаря или выйдет победителем (Дефо, «Робинзон Крузо»)? Чем определяется характер человека и его нравственные качества — средой и воспитанием или прирожденными задатками? И что станется с добрым, отзывчивым, чистым молодым человеком, если подвергнуть его житейским невзгодам и испытаниям? Развратится ли он и очерствеет, или доброе сердце одержит верх (Фильдинг, «История Тома Джонса, найденыша»)? Каждый такой опыт обогащал и уточнял несколько абстрактные поначалу и внеисторические представления просветителей о человеческой природе. И, как правило, из всех этих испытаний она выходила победительницей. Хотя иногда и не без потерь. Что только не выпало на долю героини романа Дефо — Молль Флендерс! В другие времена автор кончил бы подобную повесть неизбежной ее гибелью. Но Молль, пройдя сквозь все, в конце концов разбогатела и «стала жить честно». В этой невероятной живучести, физической и нравственной выносливости героев сказался оптимизм самой эпохи. Понадобилось несколько десятилетий сурового опыта, чтобы Смоллет в своих первых романах пришел к иному выводу, заявив о невосполнимых для человека потерях, о необратимых последствиях воздействия «себялюбия, зависти, злокозненности и черствого равнодушия» на человеческую природу.

Понадобилось несколько десятилетий, чтобы трагические для народа последствия совершившихся в Англии перемен стали очевидны. Это произошло в 60—80-е годы, на которые приходится кульминация так называемого «промышленного переворота», когда иллюзиям и оптимизму просветителей в отношении буржуазного правопорядка, как «естественного» и соответствующего требованиям человеческой природы, был нане-

сен сокрушительный удар. Между отвлеченными теориями и реальностью обнаружилась пропасть, а истинный облик честных «лондонских купцов» (название популярной в начале века пьесы Лилло) и работорговцев-робинзонов, которых еще недавно писатели изображали в качестве естественной нормы, образца здравомыслия, нравственности и предприимчивости, вызывал теперь у честных художников отвращение. Такова была изнанка процветания буржуазной Англии.

Перед бездной отчаяния многих тысяч крестьян, лишившихся крова и своего надела, превратившихся в батраков, рабов на фабриках и угольных копях, в бездомных нищих, которых наказывали за бродяжничество и гноили в тюрьмах и работных домах, нравственная проповедь английского романа теряла всякий смысл. Философские теории просветителей были недоступны и чужды английскому простонародью, а столь почитаемый ими Разум был скомпрометирован повседневной практикой. Оказалось, что человек, руководствующийся разумом, совсем не обязательно ведет себя при этом нравственно — ведь можно быть умным негодяем. В повседневной жизни разум был вытеснен расчетливостью, практицизмом, мещанским здравым смыслом, а окружающий социальный хаос, вызванный промышленным переворотом, с трудом поддавался разумному объяснению. Не случайно именно на эти годы приходится широкое распространение методизма — религиозной секты, ставившей своей целью возрождение религиозного чувства и отказ от мирских радостей. Проповеди Уайтфилда, упоминаемого на страницах «Хамфри Клинкера», собирали среди пустошей Уэльса или в лондонских трущобах тысячные толпы бедняков, мастеровых и рудокопов, вчерашних крестьян, и доводили их подчас до исступления. Было бы ошибкой видеть в этом религиозном обращении только отсталость и невежество английского простонародья. Ведь и в революцию XVII века английские крестьяне шли с религиозными лозунгами, за веру праведную, веру равных членов религиозной общины — против веры неправедной, санкционирующей феодальный гнет.

Без всего вышесказанного была бы, пожалуй, непонятна причина иной, чем у других просветителей, эмоциональной тональности обоих романов, подчас элегической у Смоллета и драматической у Голдсмита, был бы непонятен страдальческий пафос тюремной проповеди Примроза с ее размышлениями о философии и вере или увлечение методизмом Клинкера. Наконец, многое в обоих романах можно понять, лишь приняв во внимание некоторые обстоятельства жизни их авторов. Оба они — писатели-разночинцы: Голдсмит — пятый ребенок в многодетной семье сельского священника, едва сводившей концы с концами; Смоллет, хотя и дворянин родом, с детства узнал нищету, живя с овдовевшей матерью, оставленной родственниками отца без средств к существованию. Оба — бедняки, выучившиеся, как говорится, на медные гроши: Смоллету после

сельской школы рано пришлось заботиться о пропитании — он поступил учеником к аптекарю и посещал при этом лекции медицинского факультета в Глазго; Голдсмит окончил, правда, колледж святой Троицы в Дублине, но не мог платить за обучение и потому принужден был прислуживать богатым студентам за столом и убирать их комнаты.

Оба прежде, чем окончательно избрать профессию литератора, прошли суровую школу жизненных испытаний и невзгод. Смоллет двадцати лет определился помощником хирурга на военный корабль, отправлявшийся в составе английского флота к берегам далекой Вест-Индии. Эта экспедиция против испанцев, окончившаяся для англичан весьма плачевно, на многое открыла глаза будущему писателю. Ужасающие условия на кораблях, бесчеловечное обращение с матросами, бездарность командования — впечатления эти навсегда врезались в сознание писателя, не раз возвращался он впоследствии к этим событиям в своих книгах. Он понял, какой ценой куплено могущество Британии на морях и приобретены ее колонии. Отныне он воспринимал английскую действительность сквозь призму того, что открылось ему в этом бесславном походе.

Немало испытал и повидал и Оливер Голдсмит, прежде чем взяться за перо. На последние гроши, собранные родственниками, он едет в Эдинбург изучать медицину, откуда перебирается вскоре в Голландию, в Лейденский университет, но, не проучившись и года, отправляется пешком в странствия по Европе. Его путь лежал через Нидерланды, Германию, Францию, Швейцарию и Италию; он сравнивал нравы разных народов (это был тогда любимый предмет просветительской литературы), размышлял, забавлял крестьян игрой на флейте, ел, что подадут, и спал, где придется. Он называл себя «странствующим философом» и не задумывался о завтрашнем дне. Задуматься пришлось по возвращении в Лондон в 1756 году, где он перепробовал с десяток профессий: был учителем в частной школе, корректором в типографии известного писателя и издателя Ричардсона, лечил бедняков в нищих городских предместьях, был недолгое время странствующим актером, пока судьба не привела его на Граб-стрит, где размещались издательские фирмы и ютилась голодная и завистливая писательская братия, пробавлявшаяся литературной поденщиной. Таковы были их университеты.

Оба вступили в литературу в период, когда она перестала быть занятием богатых праздных дилетантов или зависеть от щедрот и пенсионов знатных меценатов. Именно тогда и прежде всего в Англии складывается тип профессионального литератора, апеллирующего к новой читающей публике из третьего сословия, к общественному мнению, от которого он ждет оценки своего труда. Творения литературы становились обычным товаром и поступали на книжный рынок, а литератор, освободясь от подачек покровителей, угодил в лапы буржуазного предпринимателя — издателя и книготорговца, корыстного и, как правило, невеже-

ственного. И Смоллет и Голдсмит оказались между этими жерновами, погубившими физически и нравственно немало талантов, и вынуждены были тратить лучшие годы и силы на поденщину ради хлеба насущного.

Смоллет, будучи уже известным писателем, автором популярных романов, продолжает медицинскую практику, редактирует издание сочинений Вольтера, переводит «Дон Кихота» и «Жиль Блаза», готовит к изданию разного рода многотомные компиляции (в том числе, например, с группой безвестных помощников, «Современное состояние всех наций» — 44 тома за 7 лет!!!), пишет «Историю Англии», стихотворные сатиры и пьесы, издает журналы, и все это одновременно с работой над романами. Его письма полны жалоб на непосильный труд, на постоянную спешку. К сорока годам здоровье писателя было подорвано, и последние десять лет он беспрерывно и мучительно болеет — астма, больные легкие, больное горло, ревматизм, болезненная раздражительность... Теперь он сам изумляется тому, что мог, работая над «Историей Англии», в короткий срок прочитать триста книг, говорит, что заплатил за свою репутацию писателя здоровьем. Теперь он путешествует по курортам, тщетно ища облегчения, а его корреспондентами становятся врачи, которым он подробно описывает свои страдания и предпринятое лечение. В этом смысле маршрут его героя, Мэтью Брамбла, и подробные описания недугов, которыми он потчует доктора Льюиса, автобиографичны, но только в романе все это изображено в комическом ключе, что свидетельствует о большом мужестве автора, сумевшего возвыситься над своим горестным уделом и извлечь из него столь забавную пищу.

Голдсмит оказался на Граб-стрит, когда Смоллет уже добился признания. Судьбе угодно было свести их: Голдсмит писал некоторое время рецензии и очерки для журналов Смоллета, так что он вполне мог оказаться среди литературных поденщиков, коих угощает за своим столом хлебосольный писатель С. в романе «Путешествие Хамфри Клинкера». В одном из писем Смоллет упоминает в числе своих подручных «маленького ирландца», но тут же дает понять, что ни о какой близости между ними не может быть и речи. Дистанция между ними была тогда слишком велика. Прошло несколько лет, и к Голдсмиту тоже пришло признание, но до конца своего недолгого творческого пути он, как и Смоллет, принужден был трудиться не покладая рук, чтобы не угодить в долговую тюрьму. «История Англии» (в двух вариантах), «История Греции», «История Рима», «История земли и одушевленной природы», журнал «Пчела», серия биографий, десятки журнальных рецензий и очерков, переводы, антологии английской поэзии — все это написано за те десять с небольшим лет, в которые он создал лучшие свои произведения. В результате этой изнурительной «погони за пенни» жизненные силы писателя были истощены к сорока пяти годам. «Он умер от лихорадки,— писал известный литературный критик и друг Голдсмита д-р Джонсон,— усугублен-

ной, как я подозреваю, мучительной душевной тревогой: его долги стали непосильными, а все возможности были исчерпаны».

Наконец, в судьбе обоих есть еще одно немаловажное сходство. Голдсмит родился в Ирландии, униженной, разоренной, нещадно подавляемой англичанами, превращенной ими в колонию. Смоллет — шотландец, он современник последних актов драматической борьбы его родины за независимость. Окончательное поражение своих соплеменников под Куллоденом (1745), когда английские каратели под командованием жестокого «мясника» герцога Камберленда не щадили даже женщин и детей, он оплакал в своем стихотворении «Слезы Шотландии». Принадлежность к «национальному меньшинству» сказалась на судьбе обоих писателей, она накладывала на них клеймо некой второсортности, особенно на первых порах их литературной деятельности. Не случайно в романе Смоллета преуспевающий молодой политикан Бартон аттестует одного писателя болваном, ибо тот родом из Ирландии, а — другого «голодной литературной вошью с берегов Твида», то есть шотландцем.

В своих письмах Голдсмит жаловался на то, как тяжело ему приходится в Лондоне без друзей, без рекомендаций, без денег и наглости, «к тому же в стране, где одного моего ирландского происхождения было достаточно, чтобы не давать мне работы». Он смотрел на вещи трезво, знал, что в нищей провинциальной Ирландии литература и образованность влачат жалкое существование, что тамошние джентльмены тратят в один год больше денег на скачки, нежели в десятилетия на поощрение людей науки и искусства. И все же он признается, что, слушая рулады итальянской певицы в опере, он вздыхает по камельку в родной деревне, вспоминает народные баллады в безыскусственном исполнении молочницы Пегги и говорит, что окрестности Лисоя милее ему самых роскошных лондонских пейзажей.

«Не думаю, что я мог бы испытывать большее наслаждение от жизни в любой части света, нежели в Шотландии»,— вторит ему Смоллет из Лондона. В последний раз он побывал на родине летом 1767 года. Впечатления этой поездки и воспроизведены в романе «Путешествие Хамфри Клинкера». Здесь каждая строка — дань любви и восхищения Шотландией, ее обычаями, пейзажем, народом. Когда Смоллет писал роман, он сознавал, что ему уже не суждено вновь там побывать. Писатель умер в добровольном изгнании близ итальянского города Ливорно. Спор шотландца Лисмахаго, доказывающего унизительность и несправедливость навязанной его родине Унии с Англией, и его мнимого оппонента англичанина Брамбла приводит постепенно последнего к выводу, который Смоллет хотел внушить своим английским читателям: взгляните на Шотландию без предубеждения и предрассудков, без презрительного высокомерия, и вы увидите, какая это прекрасная страна и какой это достойный народ.

В перечисленных выше обстоятельствах коренятся причины особого критицизма обоих писателей в отношении многих общественных

институтов Англии, истоки особой нетерпимости обоих к национальному и социальному гнету, истоки демократизма Голдсмита и особой, свифтовской желчности Смоллета, у которого даже в этом наиболее мягком по тону романе государственные деятели Англии уподобляются шлюхам и рыночным торговкам, а процветание страны объясняется тем, что ею правят идиоты.

При всем этом Смоллет и Голдсмит были очень разными людьми. Голдсмит — неказистый на вид, перенесший в детстве оспу, терявшийся на людях, скованный и косноязычный, чуждый каких бы то ни было потуг на светскость и прекрасно чувствовавший себя среди бедняков — и по сей день изображается иными биографами как чудак без царя в голове, безалаберный и непутевый; они судачат по поводу его непомерных счетов у портного и дивятся тому, как человек, не вымолвивший якобы слова умного, мог написать такие произведения. Между тем из произведений и писем писателя перед нами возникает образ человека с удивительно мудрым, отзывчивым и деликатным сердцем, художника с чрезвычайно осознанным отношением к творчеству, с высоким чувством собственного достоинства. Этот «чудак» не посвятил ни одного произведения знатному лицу — случай по тем временам исключительный, не принял ни выгодных предложений от правительства, ни милостей меценатов. Чудачества и странности тоже были, но они помогали ему выжить, остаться самим собой — художником среди расчетливых обывателей.

Смоллет — человек иного склада: горячий, увлекающийся, легко впадающий в крайность в своих суждениях, нередко пристрастных, и поступках, подчас опрометчивых. Он мог избить человека, злоупотребившего его добротой и щедростью, и если считал кого-то негодяем, то делал свое мнение достоянием гласности, даже когда имел дело с лицом высокопоставленным, и не подбирал в таких случаях слов, даже если это грозило тюрьмой. В его первых романах критика усмотрела нездоровое пристрастие к грязным и низменным сторонам жизни и объявила автора злобным, аморальным мизантропом. Смоллет и сам иногда говорил о своем отвращении к людям, а между тем это был доверчивый, щедрый, способный на пылкую привязанность человек.

Несмотря на то, что Смоллет писал и пьесы и стихи, однако в историю английской литературы он вошел как романист. Из пяти его романов, неравноценных по своим достоинствам, выделяются, кроме последнего, два первых: «Приключения Родрика Рэндома» (1748) и «Приключения Перигрина Пикля» (1751). По своей сюжетной схеме они мало чем отличались от романов Фильдинга (не случайно они выходили иногда по ошибке под именем последнего). Это история молодого человека «скромных достоинств», сироты или брошенного на произвол судьбы близкими, который наталкивается повсюду на равнодушие, звериный эгоизм и злобу, или, говоря словами автора, на «всеобщее плутовство людское». Раз-

ница была в том, что один из героев Смоллета — Родрик, пройдя сквозь все испытания, постепенно развращается, становится практичным себялюбцем и, дойдя до крайности, готов даже на грабеж, а другого — Перигрина, себялюбивого и бессердечного от младых ногтей, способного злобно шутить над любящими его людьми,— жизненные неудачи лишь несколько вразумили, но едва ли сделали добродетельным. Пытаясь овладеть любимой девушкой, на которой он раздумал жениться, Перигрин, как и Ловлас в «Клариссе» Ричардсона, обманом привозит ее с этой целью в притон и подливает в вино возбуждающего снадобья. Но у Ричардсона дело кончается трагически: порочный Ловлас погибает, умирает и Кларисса, а у Смоллета, признающего полное развращение чувств своего героя, Перигрин все же в финале женится на простившей его Эмилии. Автор как будто говорит читателю: не следует судить о поступках людей слишком строго.

Такая снисходительность автора объяснялась особой позицией. В отличие от других просветителей, веривших в «нравственный Разум», Смоллет считал, что в обстановке «всеобщего плутовства людского» разум человека неизбежно развращается и вместо того, чтобы удерживать его на стезе добродетели, становится орудием удовлетворения его порочных наклонностей. Нет сдерживающих принципов, не существует разумного начала, и напрасно было бы искать в поступках людей и в жизни самого общества какую-то логику, ибо это царство хаоса,— таково убеждение автора. Жизнь в этих романах напоминает буффонаду, фарс, где логика вывернута наизнанку, поэтому служанка, оказывая помощь раненому, сыплет на рану соль, а у тетки Перигрина от большого желания иметь ребенка появляются признаки беременности. Это мир гротескный, населенный монстрами, безобразными физически и духовно. Единство разума и нравственного начала, дотоле неразрывное в представлениях просветителей, нарушилось, вера во всесилие просветительских теорий пошатнулась, и поиски иного ответа привели Смоллета в последнем романе к концепции сентиментализма.

Голдсмит, пожалуй, единственный английский писатель XVIII века, проявивший одинаковую одаренность как эссеист, поэт, романист и драматург. В каждом из этих жанров он оставил произведения, признанные классическими. Известность пришла к нему после выхода цикла юмористических и сатирических очерков «Гражданин мира» (1761), объединенных единым сюжетом и замыслом и написанных якобы философом-китайцем, приехавшим в Лондон и пораженным нелепостями английских общественных порядков и нравов. Замысел книги был подсказан популярными в ту пору «Персидскими письмами» Монтескье.

Вслед за «Гражданином мира» был написан роман «Векфильдский священник», рукопись которого Голдсмит был вынужден продать издателю в силу необходимости: ему грозила долговая тюрьма. Был ли роман

тогда закончен, возвращался ли к нему писатель — неизвестно; он был опубликован лишь четыре года спустя, в 1766 году. В 1770 году вышла прославившая Голдсмита-поэта «Покинутая деревня», изображавшая вымышленное село Оберн, разоренное и опустевшее в результате огораживания общинных земель. Настроение щемящей печали пронизывает каждую строку этой элегии. Однако муза Голдсмита была не только печальной. Он — один из выдающихся юмористов английской литературы, о чем свидетельствуют многие его очерки и страницы романа, но более всего написанная незадолго до смерти безудержно жизнерадостная комедия «Ночь ошибок» (1773).

Сюжеты «Векфильдского священника» Голдсмита и «Путешествия Хамфри Клинкера» Смоллета и сфера изображаемых ими жизненных явлений должны были показаться тогдашнему английскому читателю хорошо знакомыми по другим романам. В центре внимания обоих авторов находится частная жизнь двух семейств (деревенского священника Примроза и провинциального помещика из Уэльса Мэтью Брамбла) и картина повседневного быта и нравов: в первом случае — одной деревни, в другом — всей Англии и Шотландии, модных курортов, шумного Лондона и дворянских поместий. Вновь использован традиционный мотив дорожных странствий и приключений, неожиданных встреч и нападений грабителей, но только на этот раз путешествует целое семейство для поправления здоровья его главы — Брамбла и чтобы вывезти в свет невесту — племянницу Лидию. И Примрозы после своего разорения тоже путешествуют в своем микромире из одного прихода в другой и потом идут с жалким своим скарбом за арестованным отцом.

Есть здесь и история жизненных скитаний молодого человека. В этом отношении история сына Примроза — Джорджа, переменившего десяток профессий и где только не побывавшего (история эта в известной мере автобиографична), воспринимается как сжатый конспективный пересказ тогдашних пухлых романов. Как правило, в финале герой случайно находил своих родителей, разумеется богатых, и, как это происходит и с Клинкером, дело завершалось свадьбой и материальным благополучием. Привычны были и персонажи — сельские помещики всех мастей у Смоллета и Торнхилл у Голдсмита, а также голдсмитовский деревенский священник, напоминавший добрейшего пастора Адамса, чудака и провинциального Дон Кихота («Приключения Джозефа Эндруса» Фильдинга), и влюбленные молодые пары, соединению которых препятствуют родители или материальные соображения.

И тем не менее знакомые ситуации и персонажи предстают здесь в ином освещении. Ни в одном английском романе XVIII века, кроме написанного много позднее «Калеба Вильямса» Годвина, не была с такой ужасающей очевидностью показана ничем не ограниченная власть помещика над жизнью обитателей прихода, как в «Векфильдском священни-

ке». Циничный, распутный, окруженный наглой и лживой челядью, потворствующей его прихотям и терроризирующей всю округу, Торнхилл губит Примроза за то, что тот не захотел поступиться своим достоинством. И самое главное, разорив его, совратив его дочь, доведя его до тюрьмы, Торнхилл остается неуязвимым для закона, более того, он сам олицетворяет здесь власть и закон. Это не сквайр Б. из романа Ричардсона «Памела», способный раскаяться, оценить нравственную стойкость и чистоту девушки и полюбить ее. Торнхилла ничем не растрогаешь, он верен себе до конца, он смиряется лишь для вида. Галерея английских Скотинипых, изображенных в романе Смоллета, красноречиво дополняет фигуру Торнхилла; это невежественные помещики, проводящие дни в охоте, непробудном пьянстве и драках и разоряющиеся на сумасбродных затеях и безудержном мотовстве.

Долговые тюрьмы с их обитателями, отчаявшимися выбраться оттуда, разорившиеся бедняки, идущие на разбой, чтобы не умереть от голода, улицы почного Лондона, на которых слоняются проститутки, изображались и в других романах — того же Смоллета, например, но там это были отдельные эпизоды. Роман Голдсмита почти целиком посвящен истории неотвратимого и все более стремительного движения семьи Примрозов к пучине нищеты, бесчестья и гибели, так что только чудо может ее спасти. Такое же чудо спасает от неминуемой голодной смерти и бедняка Клинкера, выброшенного на улицу его хозяином-трактирщиком, как только он заболел. Правда, в романе Смоллета Клинкер в основном комический персонаж, однако эпизод этот заключает в себе чрезвычайно многозначительный смысл. Что же касается романа Голдсмита, то тема бесправия бедняков и — шире — тема естественного человеческого права, частной собственности и закона становится здесь центральной.

В каком другом английском романе середины XVIII века можно прочитать следующие слова: «...в обществе цивилизованном уголовное законодательство находится в руках богатых и беспощадно к бедным»,— или такое, например, предупреждение: «...вместо того, чтобы стягивать путы, предназначенные сдерживать общество так туго, что в один прекрасный день оно судорожным движением может их порвать... хотелось бы..., чтобы закон сделался защитником народа, а не его тирапом»? Мысль эта подтверждается самим повествованием: когда приставы повели Примроза в тюрьму, собралась толпа беднейших прихожан, которые с проклятьями схватили блюстителей закона, грозясь учинить над ними расправу. Правда, Примроз решительно осудил их поведение, а в финале романа их еще более сурово отчитал сам сэр Уильям Торнхилл, однако в каком другом английском романе того времени можно увидеть крестьян, готовых на такую крайность? Наконец, как метко заметил биограф Голдсмита — Форстер, в седельной сумке героя Фильдинга — пастора Адамса (где лежали его проповеди) не нашлось бы места для тюремной пропове-

дп Примроза. Эта проповедь не снисходительное увещевание младших братьев; для Примроза его слушатели — товарищи по судьбе: ведь будучи приходским священником, он вел жизнь простого крестьянина-арендатора, трудился в поле с сыном от зари до зари и был разорен помещиком. Он имеет полное право произнести свои слова: «Кто хочет познать страдания бедных, должен сам испытать их жизнь на себе и многое претерпеть...»

Именно из этого сознания безысходности положения народа и рождается в проповеди Примроза мысль о бессилии философских теорий просветителей перед реальным общественным процессом, мысль, тоже впервые высказанная с такой прямотой именно в этом романе. Примроз утверждает, что беднякам нечего ожидать улучшения своей участи на земле, только религия способна принести им утешение и только смерть избавит их от мук. На этом основании в романе Голдсмита усматривают подчас одну только реакционную проповедь примиренчества, пассивной жертвенности, отказа от достижений просветительской мысли. Подобное истолкование несправедливо и лишено всякого историзма, не говоря уже о том, что было бы крайне опрометчиво отождествлять героя романа и автора.

Голдсмит был далек от мысли отринуть достижения человеческого разума, противопоставить веру науке и философии, он во многом разделял взгляды глубоко почитаемого им Вольтера и незадолго до написания романа высказался на этот счет вполне определенно в книге очерков «Гражданин мира»: «В век просвещения почти каждый становится читателем и внемлет поучениям типографского станка, а не с церковной кафедры... Жителей каждой страны должны наставлять или писатели или проповедники, но чем шире круг читателей, тем у́же круг слушателей, тем полезней писатели и менее нужны бонзы». Однако проповедь Примроза как раз и обращена к неграмотным беднякам, доведенным до крайности, изверившимся во всем, колеблющимся между стихийным протестом, наподобие того, который проявляют прихожане Примроза, и отчаянием. Чтобы понять Примроза, следует хорошо вдуматься в его признание: «Каждый из нас имеет право на престол, мы все родились равными. Таково мое убеждение, я его разделяю с людьми, которых прозвали левеллерами. Они хотели создать общество, в котором все были бы одинаково свободны. Но, увы! — из этого ничего не получилось».

Понадобилось столетие, чтобы созрело это глубочайшее разочарование народа в последствиях буржуазной революции XVII века. Тогда его религиозность была бунтарской, теперь, в период кризиса просветительского гуманизма, когда время для новых социальных конфликтов и теорий еще не приспело, эта религиозность обернулась своей иной, непротивленческой стороной. Другую проповедь английский бедняк-священник середины XVIII века произнести не мог, она и в таком своем виде—

явление исключительное, и Голдсмит не погрешил здесь против истины. Свидетельством тому является и религиозное обращение Хамфри Клинкера, становящегося методистским проповедником. Правда, его проповеди в тюрьме, под влиянием которых отпетые мошенники и грабители хнычут, каются и поют псалмы, воспринимаются как пародия на аналогичные сцены у Голдсмита. Но при всем этом намеренно сниженном комическом изображении и здесь ясно видна та же социальная подоплека, что и в рассуждениях Примроза, не зря Хамфри заявляет Брамблу, что в день Страшного суда разницы между людьми не будет никакой и что свет божьей благодати может так же озарить бедняка и невежду, как и «богача и философа, который кичится мирской мудростью».

Для социального самочувствия многих тысяч вчерашних крестьян, насильственно оторванных от векового уклада, характерна была неотступная мечта о возвращении к земле, к своему хозяйству. Происходила своеобразная аберрация, и прошлое, с его тяжелым трудом и нуждой, но все же относительно независимым существованием на своем клочке земли, казалось теперь беспечальной идиллией. Отсюда идет и решительное неприятие сентиментализмом новой буржуазной городской цивилизации, и противопоставление ей идеализированного сельского патриархального уклада.

Огромный Лондон, пожирающий окрестные поля и луга, так что скоро «все графство Миддлсекс покроется кирпичом», модный Бат, где кишит жадная до развлечений толпа, где каждый норовит обвести тебя вокруг пальца и где купцы лишены совести, друзья — дружелюбия, а домочадцы — верности, противопоставлены в письмах негодующего Брамбла радостям сельского бытия; письма эти напоминают трактаты одного из вождей европейского сентиментализма — Руссо. Поместье Брамблтон-Холл, куда его хозяин уже не чает добраться, изображается страной обетованной с молочными реками и кисельными берегами, где целительная природа и здоровая пища, земледельческие заботы и патриархальные отношения между гуманным помещиком и арендаторами — все содействует счастью и душевному спокойствию человека.

В романе Смоллета как бы параллельно сосуществуют реальная Англия, с ее растущими промышленными центрами и портами, копями, верфями и деревнями, и идиллическая Аркадия, этакая утопическая Телемская обитель в Уэльсе — Брамблтон-Холл. Однако вскоре читатель начинает ощущать призрачность этой идиллии, ибо в то время как Брамбл в своих распоряжениях по хозяйству велит уменьшить арендную плату, продавать зерно беднякам ниже рыночной цены и отдать корову нуждающейся вдове, его сестра Табита готова торговать снятым молоком и намерена в целях экономии кормить слуг овсяными лепешками и давать им говядину раз в три месяца. Как справедливо пишет советский исследователь А. А. Елистратова, не потому ли семейство Брамблов так и не доб-

ралось в романе до своего поместья, «что вблизи эта утопия могла бы потускнеть или оказаться иллюзорной?»[1]

Подобное же соседство иллюзии и реальности характерно и для романа Голдсмита. Филиппики смоллетовского Брамбла против пагубного стремления к роскоши дополняются здесь проповедью довольства малым. Автор как будто хочет сказать: посмотрите, как мало нужно этим людям для счастья, как они непритязательны, как просто, казалось бы, удовлетворить их немудреные желания, как они умеют примириться с утратами и бедностью — однако и в этой скромной доле им отказано. После разорения, оказавшись на новом месте в положении простых крестьян и вынужденные в поте лица добывать себе хлеб насущный, Примрозы не унывают. Да и вокруг все дышит благополучием и покоем. Поселяне живут в первозданной простоте и умеренности, трудятся «весело и охотно», не знают «ни нужды, ни убытка», а по праздникам предаются развлечениям. Читая все это, невозможно и предположить, что здесь произойдут столь драматические события, что этот мирный уголок принадлежит негодяю Торнхиллу. Деревня и деревенская жизнь показаны здесь такими, какими их хотелось видеть цепляющемуся за безвозвратно ушедшее прошлое английскому крестьянству, тогда как история Примрозов, разыгравшаяся на этом пасторальном фоне, обусловлена логикой реальной жизни.

Впрочем, только в вымышленном мире патриархальной идиллии мог существовать и великодушный спаситель Примрозов — сэр Уильям Торнхилл, скрывающийся до поры до времени под именем Берчелла. «Обладатель огромного состояния», человек, «чьим мнением дорожили государственные мужи», к словам которого прислушивалась целая политическая партия, он превосходно чувствует себя в крестьянском доме, с удовольствием трудится в поле, любит народные песни и даже не прочь поиграть в жмурки. Он всех к себе располагает и так прост, обходителен и незлобив, что невозможно и догадаться, кто такой этот весельчак Берчелл. Инкогнито, как простой странник шагает он по дорогам, посещает тюрьмы, восстанавливает справедливость и спасает попранную добродетель. Неужели Голдсмит в самом деле верил в жизнеподобие своего персонажа или надеялся уверить в том читателей? Ни то, ни другое. Он знал, чему поверят и чему не поверят его читатели, но как просветитель и моралист считал необходимым показать одновременно и то, что есть, и то, что должно быть в жизни, должно торжествовать в ней, то, что отвечает нравственному чувству именно демократического читателя — победу униженных и оскорбленных над насилием и пороком. У читателя искушенного такая наивность могла вызвать лишь снисходительную улыбку, читателю простому

[1] А. А. Елистратова, Английский роман эпохи Просвещения, «Наука», М. 1966, стр. 390.

эта победа маленьких людей была так же необходима, как нужна была вера в воздаяние, пусть загробное. В данном случае уязвимость замысла вызвана, как это ни парадоксально, демократизмом Голдсмита, его точным пониманием мироощущения крестьянина, бедняка.

При всех своих иллюзиях английский сентиментализм был далек от крайностей Руссо: критически относясь к буржуазной цивилизации, видя многие ее трагические последствия, он не собирался зачеркивать ее целиком и противопоставлять ей в качестве естественной нормы жизнь дикарей. Злоключения персонажа Смоллета — лейтенанта Лисмахаго, попавшего в плен к американским индейцам, несут в себе откровенно полемический смысл. «Невинные дети природы» подвергли беднягу Лисмахаго жестоким пыткам и скальпировали, его приятеля изжарили и съели, а его красавица супруга с неудобопроизносимым именем, чудовищно разукрашенная и благоухающая медвежьим жиром, умерла, объевшись сырым мясом. История эта, изложенная с сардонической усмешкой и комическими преувеличениями, напоминает по манере иные философские повести Вольтера. «Ах, вам по душе жизнь дикарей? — словно спрашивает Смоллет.— Что ж, полюбуйтесь на нее!»

Главным мерилом нравственной оценки человека в обоих романах служит не столько его разумность при всем почтении к ней авторов, сколько доброта, отзывчивость, умение прислушиваться к голосу своего сердца. Примрозу доставляло радость видеть счастливое лицо, сэр Торнхилл «содрогался от боли», глядя на страдания ближнего, рассказ о добром поступке вызывал у Брамбла слезы, а трогательная сцена встречи мостильщика улиц с сыном привела его в такое волнение, что он «всхлипывал, плакал, хлопал в ладоши». Рассудочность еще не стала здесь объектом язвительной насмешки, как в публиковавшемся в эти же годы романе Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Однако хорошие люди здесь все же больше доверяют своим чувствам. Героини Ричардсона умели прекрасно анализировать свои эмоции и все в них могли объяснить, а Лидия Мелфорд испытывает «неизъяснимое очарование», и тут уж логика бессильна. «...Если хочешь, чтобы сердце другого человека принадлежало тебе, нужно отдать ему взамен свое»,— к такому итогу пришел сэр Торнхилл, а Примроз убежден в том, что сердце бедняка столь же мало отличается от сердца любого другого человека, как и лицо. Так культ сердца и чувства приобретает в этих сентиментальных романах несомненный демократический смысл. Люди разнятся друг от друга богатством, положением в обществе, ученостью, но способность страдать и радоваться не зависит от этих различий, и в этом бедняк не отличается от вельможи или философа.

Однако в мире эгоизма и корысти нельзя обнажать свое сердце, не рискуя стать жертвой обмана (как сэр Уильям) или мишенью для насмешек. Добрый, бескорыстный поступок — аномалия, вызывающая подо-

зрение. Когда Брамбл пытается тайком помочь нуждающейся матери чахоточного ребенка, родная сестра истолковывает эту сцену как попытку совратить женщину. Ему приходится притворяться мизантропом, чтобы скрыть свое мягкосердечие, он кажется поначалу раздражительным старым холостяком, который занят только собой и своими недугами, но потом обнаруживается, что это защитная маска.

Потому-то благородная непрактичность, бросающая вызов здравому смыслу, и гуманность, не размышляющая о том, во сколько ей обойдется добрый поступок, так дороги становятся, начиная с Фильдинга, английским романистам. И если на первом этапе Просвещения популярный в Англии «Дон Кихот» служил Разуму примером сумасбродства, то наивность, доходящая порой до чудачества, доверчивость (кто только не обманывает Примроза), преданность своим нравственным убеждениям, сколько бы ни наносила им ударов повседневная действительность, полемически противопоставляются теперь здравому смыслу торговцев и торжествуют над ним,— пусть в вымысле, пусть моральную,— но все же победу.

Донкихотство вызывает теперь симпатию, и, когда Джерри называет Брамбла Дон Кихотом, это означает восхищение. Люди рассудительные, сообщив Примрозу о том, что он разорен, советуют ему умерить свой пыл, сыграть сначала свадьбу сына, а уж потом, когда тот заполучит приданое невесты, спорить с ее отцом относительно единобрачия духовенства сколько душе угодно. Что же делает герой Голдсмита? Он мчится известить будущего родственника о случившемся и спорит с ним еще яростнее. Ведь речь идет о его убеждениях! Свадьба сына сорвана, и последняя надежда поправить дела семьи рухнула. С точки зрения здравого смысла это безрассудство, но тем и дорог автору Примроз, что из принципа, пусть в данном случае нелепого, он готов пожертвовать материальным благополучием. Руководствуясь чувством нравственной правоты, Примроз бросает вызов помещику, что чревато куда более серьезными последствиями. Силы настолько неравны, что поступок Примроза выглядит самоубийством, но именно теперь комический чудак преображается и вызывает уже восхищение и сострадание.

Вызовом здравому смыслу являются и комические причуды, странные прихоти, которыми теперь щедро наделяют своих героев романисты. Причуда — «конек» — стала средством самозащиты от обезличивания, от похожих друг на друга, как стершиеся пятаки, обывателей, стала признаком индивидуальности, свидетельством ее наличия. Но у героев Стерна эти «коньки» приобретали настолько гипертрофированный, чуть ли не маниакальный характер, что персонажи утрачивали свою социальную определенность и бытовую достоверность, такие люди могли существовать лишь в неподвластном реальным законам бытия Шенди-Холле. Иное дело Брамбл и Примроз. У них тоже есть свои причуды, один стенает по поводу своих бесчисленных болезней, хотя в порыве гнева может поколотить двух

здоровенных лакеев; другой теряет и свой юмор, и чувство реальности, стоит лишь ему оседлать своего «конька» — вопрос единобрачия священников. Комический апофеоз этой причуды — семейный портрет Примрозов, на котором священник в полном облачении преподносит свои трактаты на излюбленную тему жене, представленной в виде... Венеры! Но причуда здесь все же только деталь, комическая частность, помогающая индивидуальной обрисовке персонажа, и не более того.

Герой Сервантеса бывал жалок и смешон, его топтали свиньи, но это не мешало читателю видеть величие его духа. Положительный герой английского романа до Фильдинга был непременно чопорен и серьезен. Представить себе сэра Чарльза Грандисона в смешной ситуации или в неглиже невозможно — репутации героя Ричардсона был бы нанесен непоправимый удар. А почтенного Брамбла в чем мать родила вытаскивает за уши из воды при всем честном народе не по разуму усердный Хамфри, но от этого симпатии и почтение к нему близких не убывают. Хамфри, в конце концов, оказывается его внебрачным сыном (какой вызов ханжеской морали!), даже Фильдинг не отважился так компрометировать сквайра Олворти — Том оказался его племянником. Смешное и трогательное, слабости и достоинства не только переплетены теперь нераздельно, но и служат продолжением друг друга.

Человеческий характер и взаимоотношения людей представлены здесь сложнее, диалектичней. Фильдинг добивался рельефности характера, его индивидуализации прежде всего с помощью противопоставления ему противоположного. Доброта и прямодушие Тома Джонса оттенялись лицемерием и эгоизмом Блайфила, у которого мы не обнаружим ни одной располагающей к нему черты. Фильдинг называл это «жилкой контраста». Здесь все еще сохраняется обусловленная просветительским рационализмом логическая прямолинейность, ясность, добытая ценой известной упрощенности. Сентиментализм преодолевает эту графическую четкость и локальность цвета. Стендаль имел полное основание восхищаться искусством полутонов у Голдсмита. Его роман требует очень тонкого читателя.

«Векфильдский священник» написан от первого лица, от лица главного героя, как и «Робинзон Крузо», и многие другие английские романы XVIII века. Однако за сорок с небольшим лет, отделяющих Примроза от Робинзона, литература накопила столько наблюдений над «человеческой природой» и разрушила столько абстрактных представлений о ней, что это не могло не отразиться на художественной манере повествования.

Дистанция между предметом повествования и рассказчиком в романе Дефо неизменна. Цель Робинзона изложить все ясно, подробно и объективно. Здесь нет места для иронии, юмора, анализа собственного поведения со стороны или с позиций другого времени — времени рассказа. Автор полностью удаляет себя из романа, ему нечего прибавить к свидетель-

ству своего героя, и, доведись ему рассказывать об аналогичных событиях, он описал бы их точно так же, как Робинзон или всякий иной разумный человек, ибо Разум в представлении просветителей — это категория устойчивая, сама себе равная, не зависящая от того, когда, в какие времена, в каких обстоятельствах и кто этот Разум в своем лице воплощает.

В романе Голдсмита все эти категории — позиция рассказчика, его оценки и самооценки, его повествовательная интонация, отношение автора — пришли в движение. Писатель показывает, что человек может заблуждаться в оценках своих и чужих поступков, может помимо воли выдать истинное положение вещей, в котором он не отдает себе отчета. Поначалу в благодушном рассказе Примроза ощущается даже некоторое самодовольство. Спокойное течение жизни в этом замкнутом мирке, отсутствие особых интересов или событий приводят к тому, что каждая мелочь приобретает непомерное значение, и о достоинствах крыжовенной настойки Примроз повествует с «беспристрастностью историка». Он пока *над* событиями и любовно, но со снисходительным юмором описывает своих домочадцев.

Но Примроз слишком простодушен, не в его натуре скрытничать; он то выдает нам невинные хитрости, к которым он прибегал, чтобы поддержать свой авторитет, то роняет замечание, что на собственном опыте изведал, что пора ухаживания — самая счастливая, и постепенно мы убеждаемся в том, что им вертят в доме, как хотят. Потом оказывается, что он тоже тщеславен и тоже вопреки своим проповедям рьяно участвует в осаде богатого жениха-помещика, хотя сердце Примроза не лежит к нему. Теперь он сам все чаще попадает впросак, становится мишенью для юмора автора, который исподволь, неприметно, путем сопоставления фактов и того, как о них говорит Примроз, как бы внушает читателю мысль: не будьте слишком суровы к Примрозу, ведь он весь на виду, а на всякого мудреца довольно простоты. Но когда комическая идиллия переходит в драму, Примроз утрачивает и благодушный тон, и снисходительную иронию, теперь он повествует о событиях *изнутри* с пафосом страстотерпца, он преображается у нас на глазах, высвобождаясь от всего мелкого, наносного, страдание делает его чрезвычайно проницательным (как хорошо понимает он теперь состояние своей опозоренной дочери), и все лучшие стороны его натуры торжествуют теперь.

Эпистолярная форма романа Смоллета тоже была не нова, ее утвердили в английской литературе романы Ричардсона. Но у Смоллета очень разные люди пишут своим корреспондентам об одном и том же. Таков эксперимент, опыт, проводимый здесь автором. И тут выявляется полное несходство впечатлений и разноголосица мнений, обусловленная не только возрастом, положением, образованием и жизненным опытом, но и десятками иных причин, которых прежде не замечали, не учитывали романисты. Здесь и состояние здоровья персонажа вообще, и его сегодняшнее

самочувствие в частности (спал лучше обычного, ел с аппетитом), погода и бытовые условия (хорошая или скверная гостиница, неудобная карета и плохая дорога), только что происшедший разговор, встреча с симпатичным человеком и даже... неприятный запах (к чему очень чувствителен Брамбл), и чрезмерный шум. Вот сколько моментов должен теперь учитывать проницательный читатель, чтобы сквозь все эти индивидуальные восприятия, которые, словно цветовые фильтры, придают все новые оттенки одной и той же действительности, восстановить, реконструировать подлинную картину.

Итак, представление о возможности абсолютно объективного и незаинтересованного рассказа разрушено. Однако именно благодаря этой комической разноголосице мы в итоге получаем лишь более объемное и многостороннее отражение жизни, где каждая точка зрения корректирует и дополняет другую. Вместе с тем у Голдсмита и Смоллета субъективизм изображения не стал еще господствующим, единственно возможным принципом, сознательно деформирующим действительность, и притом в крайне полемической, преувеличенной форме, как у Стерна. Последний обнаружил у своих героев такую сложную диалектику причуд ума и сердца, что о реальных причинах, их вызвавших, можно лишь догадываться по случайному слову, жесту, а иногда и умолчанию.

В сюжете романа Голдсмита, помимо уже отмечавшейся двойственности замысла (драма Примрозов и идиллическая пастораль), обращает на себя внимание следующая особенность. Сначала идет ряд эпизодов, рисующих бедствия, которые одно за другим обрушиваются на семейство Примрозов и приводят его на край гибели вплоть до кульминации — тюремной проповеди, потом начинается движение вспять, как будто киноленту стали крутить в обратную сторону, и события в почти буквально воспроизводимом обратном порядке восстанавливают благополучие и доброе имя всех членов семьи, празднующей три свадьбы и обретшей богатство. И все это на протяжении двадцати страниц! Здесь все построено на одних случайностях и выглядит совсем неправдоподобно. Автор сознавал возможность такого упрека, и, предупреждая его, Примроз оправдывается тем, что и в жизни таких «чудесных совпадений» сколько угодно. Между тем несколько ранее, в рецензии на один «дамский» роман, Голдсмит писал: «Однако, чтобы утешить нас во всех этих несчастьях, дело кончается двумя или тремя очень выгодными партиями; и там уж всего до пропасти — денег, любви, красоты, дней и ночей настолько счастливых, насколько можно пожелать; одним словом, еще один набивший оскомину финал современного романа». Как же совместить такое противоречие? Думается, что в финале «Векфильдского священника» наличествует пародийный подтекст. Все главное было высказано автором в основной части, и теперь он лукаво посмеивается над штампами жанра и читательского восприятия.

Во всяком случае, если предложенное нами объяснение не бесспорно, то в романе Смоллета наличие пародии несомненно. Роман называется «Путешествие Хамфри Клинкера», а между тем герой появляется лишь к исходу трети текста романа и не занимает в нем ведущего места. Поданное читателю блюдо явно не соответствует названию. Роман скорее следовало назвать «Путешествие Брамблов». Более того, Хамфри, при несомненной симпатии к нему Смоллета, скорее пародия на Тома Джонса и ему подобных. Его портрет (косолап, сутул, нос приплюснут и проч.), его таланты («Я немножко умею играть в лапту и петь псалмы... не откажусь холостить любого борова...») и нелепые передряги, в которые он попадает, — все это скорее напоминает героя фарса.

Здесь неизбежно приходит на память то, что проделывает с привычными представлениями о сюжете и герое Стерн в своем «Тристраме Шенди». Небезынтересен тот факт, что Голдсмит резко отрицательно отзывался о манере, в которой написан роман Стерна, считал ее непристойной и развязной, а Стерн, в свою очередь, посмеивался в «Сентиментальном путешествии» над Смоллетом, и тем не менее в рассматриваемых романах и в творчестве Стерна налицо сходные художественные тенденции. Разница между ними чисто количественная. Не принимая полемических «крайностей» Стерна, Смоллет и Голдсмит, двигались, по сути, в одном направлении, но остались на полпути между непогрешимым Разумом Просвещения и эксцентрическими причудами сердца героев Лоренса Стерна. В своем проникновении в душевный мир человека, умении обнаруживать дробные, мгновенные, скрытые движения сердца он ушел дальше их, однако в отличие от Стерна картина жизни и характер человека, освобожденные от излишней рассудочной прямолинейности и известной схематичности просветительского романа, все же не утратили в «Векфильдском священнике» и «Путешествии Хамфри Клинкера» своей определенности и цельности.

Многое и в позиции обоих романистов, и в принципе изображения было впоследствии усвоено великими английскими реалистами XIX века Диккенсом и Теккереем. И для Диккенса была характерна присущая Голдсмиту двойственность замысла, в котором реальность сосуществует с желаемым и логика жизни подменяется к финалу логикой, диктуемой нравственным выводом писателя-моралиста. И у него мы находим сочетание юмора и драматического пафоса в изображении маленького человека-бедняка, равно как и использование комических причуд и чудачеств в качестве средства индивидуальной характеристики; тогда как скепсис и горькая ирония Смоллета больше сродни Теккерею с его размышлениями об относительности и иллюзорности доступного человеку счастья. Так складывалась и развивалась чрезвычайно своеобразная традиция изображения действительности, которая связывается в сознании многих поколений читателей с понятием «английский классический роман».

*А. ИНГЕР*

Т. СМОЛЛЕТ

# ПУТЕШЕСТВИЕ ХАМФРИ КЛИНКЕРА

ПЕРЕВОД А. В. КРИВЦОВОЙ

*Доктору Льюису*

Пилюли никуда не годятся, с таким же успехом я мог бы глотать снежки, дабы охладить мои почки, и я уже не раз твердил вам, как трудно мне двигаться; а кому знать, как не мне, состояние моего здоровья! Почему вы в них столь твердо уверены? Пропишите мне, пожалуйста, другое лекарство. Я хромаю и испытываю такую боль во всех членах, точно меня вздернули на дыбу. Я страдаю и телом и духом, и с меня хватит моих мучений, а тут еще дети моей сестры постоянно мне досаждают... Почему это люди только и думают, как бы обзавестись детьми, чтобы докучать своим ближним? С моей племянницей Лидией вчера произошел странный случай, и я так разволновался, что жду вот-вот припадка подагры... Может быть, в следующем письме я объяснюсь...

Завтра утром я отправлюсь в Бристоль на Горячие Воды, где, опасаюсь, мне придется пробыть дольше, чем было бы желательно. По получении сего письма пошлите туда Уильямса с моей верховой лошадью и demi-pique[1]. Скажите Барнсу, чтобы он обмолотил две скирды, а зерно послал на рынок и продал беднякам на шиллинг за бушель ниже рыночных цен: я получил от Гриффина плаксивое письмо, он предлагает публично признать свою вину и уплатить издержки... не желаю я никаких его признаний, и не нужны мне его деньги! Парень — дурной сосед, и я не хочу иметь с ним никакого дела. Но ежели он бахвалится своим богатством, пускай платит за свою наглость. Пускай он даст пять фунтов на приходских бедняков, и я возьму назад исковое заявление, а пока что скажите Пригу,

[1] Короткая пика, иначе эспонтон *(франц.)*.

чтобы он задержал производство дела. Дайте вдове Моргана олдернейскую корову и сорок шиллингов на одежду детям. Но ни одному смертному не говорите об этом — она заплатит мне, когда ей будет сподручно. Мне хотелось бы, чтобы вы заперли все мои шкафы, а ключи взяли себе до нашей встречи. И еще прошу вас, возьмите мой железный ящик с бумагами на свое попечение.

Простите, дорогой Льюис, за хлопоты, которые причиняет вам любящий вас

*М. Брамбл.*

*Глостер, 2 апреля*

*Миссис Гуиллим,*
*домоправительнице в Брамблтон-Холле*

Миссис Гуиллим!

Когда это письмо будет вам вручено, непременно уложите в сундук, что стоит в моем чулане, и пошлите мне в бристольском фургоне нижеупомянутые вещи, то бишь: мою неглижа с розовым воротничком и с зелеными лентами, мое желтое платье из дамаска и черное бархатное с коротким кринолином, голубую стеганую юбку, зеленую мантилью, кружевной передник, мой французский парик, мой чепец с лентами и шкатулочку с драгоценностями. Пускай Уильямс привезет также флакон с послабляющей водой доктора Хилла и слабительное для Чаудера. У бедного животного ужасный запор с той поры, как мы уехали из дому. Прошу особливо заботиться о доме, покуда семейство находится в отсутствии. Пускай в братниной комнате и у меня всегда горит огонь в камине. Служанки, все равно им делать нечего, могут сидеть за прялкой. Приделайте висячий замок к винному погребу и смотрите, как бы кто-нибудь из слуг не добрался до пива. И не забывайте каждый вечер до темноты запирать ворота. Садовник с помощником могут спать внизу, в прачечной, и охранять дом; пусть они возьмут мушкет и большую собаку. А вы зорко смотрите за служанками. Я знаю, что эта вертушка Мэри Джонс не прочь пошалить с мужчинами. Напишите мне, продана ли олдернейская телка, и сколько за нее дали, и сидит ли на яйцах старый гусак, и охолостил ли сапожник борова Дики, и как себя чувствует бедное животное после операции. Больше писать нечего, остаюсь ваша

*Табита Брамбл.*

*Глостер, 2 апреля*

*Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Милая Молли!

При первой нечайности я посылаю нежный привет вам и Сауле, нахожусь в добром здоровье, чего и вам желаю. И еще теперь, в такие холода, вы с Саулой берите к себе в постель мою бедную кошечку. Здесь, в Глостере, нам всем пришлось плохо: мисс Лидди оченно хотелось сбежать с комедянтом, а молодой хозяин и он учинили бы драку, но сквайр обратился к мэру и им помешали. Хозяйка приказала мне не говорить об этом ни одной душе христианской, а я и не буду, потому как мы, слуги, должны все видеть и ничего не сказывать. Но похуже всего было, что Чаудера, на беду, покусала собака мясника, и он вернулся домой ужасть какой, а с хозяйкой приключились истерики, но они скоро прошли. Послали привести доктора к Чаудеру, и он приписал ему спокойное лекарство, и он, слава богу, нынче поправляется. Прошу вас, позаботьтесь о моем сундучке и мешке, спрячьте их у себя под кроватью, а не то я боюсь, что теперь, когда меня нет, миссис Гуиллим пронюхает, какие у меня есть секреты. Джон Томас находится в добром здоровье, только все ворчит. Сквайр отдал какому-то бедняку старый кафтан, а Джон говорит, что его ограбили, отняли приработки. Я сказала, что ему по договору не положено получать на чай, но он говорит, что между деньгами на чай и приработками есть разница, и это верно. Все мы едем на Горячие Воды, где я выпью за ваше здоровьице стакан воды, с тем и остаюсь, дорогая Молли, ваша покорная слуга

*У. Дженкинс.*

*Глостер, 2 апреля*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету, Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

Я ничего так горячо не хочу, как доказать вам, что неспособен позабыть о той дружбе, которая завязалась между нами в колледже, или ею пренебречь, а потому начинаю переписку, которую при нашей разлуке мы пообещали друг другу поддерживать.

Я начинаю ее раньше, чем намеревался, чтобы вы имели возможность опровергнуть сплетни, возникшие в ущерб мне, может быть, в Оксфорде, касательно глупой ссоры, в которую я ввязался из-за сестры, учившейся там в пансионе.

Когда вместе с дядей и теткой, нашими опекунами, я явился в пансион, чтобы взять ее оттуда, я нашел там семнадцатилетнюю изящную, стройную девушку с премилым лицом, но удивительную простушку, решительно ничего не ведающую о жизни. И вот к ней-то, столь неопытной и обладающей таким нравом, стал приставать с домогательствами некий человек — я даже не знаю, как его назвать,— который видел ее в театре, и с присущей ему дерзостью и ловкостью добился того, что был ей представлен. По чистой случайности я перехватил одно из его писем.

Почтя своим долгом пресечь эти отношения в самом зародыше, я принял меры, чтобы его разыскать и сообщить ему без обиняков, что́ я по сему поводу думаю. Франту не понравилось мое обращение, и он повел себя чересчур смело. Хотя его положение в обществе не внушает никакого уважения к нему и мне даже совестно говорить, кто он такой, но держал он себя с отменной смелостью, почему я и признал за ним права джентльмена, и, если бы в это дело не вмешались, наша встреча могла бы иметь последствия.

Короче говоря, все это дело, не знаю каким образом, получило огласку и вызвало большой шум — оно дошло до суда — и я был вынужден дать честное слово, и завтра поутру мы отправляемся на Бристольские Воды, где я буду ждать с обратной почтой от вас вестей.

Родственники у меня чудаки, и как-нибудь я попытаюсь рассказать о них подробней, что вас, несомненно, позабавит. Моя тетка, мисс Табита Брамбл,— старая дева сорока пяти лет, весьма жеманная, суетная и смешная. Мой дядя — своенравный чудак, всегда чем-нибудь раздражен, и обхожденье у него такое неприятное, что я готов был бы отказаться от наследственных прав на его поместье, только бы не находиться с ним в одной компании. Впрочем, нрав у него испортился из-за подагры, которая его мучит, и, быть может, при ближайшем знакомстве он мне больше понравится. Достоверно известно, например, что слуги его и соседи по имению в восторге от него, но пока я не могу понять, по какой причине. Передайте привет Гриффи Прайсу, Гуину, Манселу, Бассету и остальным моим приятелям-валлийцам. Кланяйтесь горничной и кухарке, и, пожалуйста, позаботьтесь о Понто ради его старого хозяина, который был и остается, дорогой Филипс, вашим любящим другом и покорным слугой

*Дж. Мелфордом.*

*Глостер, 2 апреля*

*Миссис Джермин, Глостер, собственный дом*

Дорогая мадам!

Лишенная родной матери, я надеюсь, что вы разрешите мне отвести душу, раскрыв мое бедное сердце вам, которая всегда была для меня вместо доброй родительницы с той самой поры, как меня отдали на ваше попечение. Право, право же, достойная моя воспитательница может поверить мне, если я скажу ей, что никогда не было у меня никаких дурных помыслов, но одни лишь добродетельные мысли, и, если господь будет милостив ко мне, никогда не наброшу я тени на ту заботу, с коей занимались вы моим воспитанием.

Каюсь, я дала справедливый повод к негодованию, но лишь потому, что мне не хватало осторожности и опыта. Не надлежало мне прислушиваться к словам этого молодого человека, и мой долг был поведать вам обо всем происшедшем. Но я постыдилась упоминать об этом, а он в обращении своем был так скромен и почтителен и казался столь чувствительным и робким, что я не нашла мужества в своем сердце совершить поступок, который мог повергнуть его в уныние и отчаяние. Что до маленьких вольностей, то я уверяю вас: никогда не дозволяла я ему поцеловать меня, а что до тех немногих писем, которыми мы обменялись, то все они находятся в руках у моего дядюшки, и, я надеюсь, в них нет ничего погибельного для невинности и чести. Я все еще убеждена, что он не тот, за кого выдает себя, но откроется это только со временем, а покамест я приложу старания позабыть о знакомстве, столь неприятном моему семейству.

С той поры как меня поспешно увезли от вас, я плакала, не осушая глаз, и три дня ничего в рот не брала, кроме чаю, и глаз не смыкала три ночи напролет. Тетушка не перестает сурово бранить меня, когда мы остаемся одни, но я надеюсь со временем смягчить ее смирением и покорностью. Дядюшка, который так ужасно бушевал вначале, был растроган моими слезами и сокрушением и теперь полон нежности и состраданья, а мой брат примирился со мною, когда я обещала порвать всякие сношения с этим несчастным юношей. Но, несмотря на все их снисхождение, я не успокоюсь, покуда не узнаю, что моя дорогая и вечно почитаемая воспитательница простила свою бедную, безутешную, одинокую, любящую и смиренную до самой смерти

*Лидию Мелфорд.*

*Клифтон, 6 апреля*

*Мисс Летиции Уиллис, в Глостер*

Моя бесценная Летти!

Я в таком страхе, будет ли это письмо благополучно доставлено вам через нарочного Джарвиса, что умоляю вас по получении письма написать мне безопасности ради на имя мисс Уинифред Дженкинс, горничной моей тетушки; она добрая девушка и так сочувствовала мне в моей беде, что я сделала ее своей наперсницей. Что до Джарвиса, то он очень боялся принять на себя заботу о моем письме и маленьком свертке, потому что сестра его Салли едва не лишилась из-за меня места. Поистине я не могу хулить этого человека за осторожность, но я не оставила его без награды.

Дорогая моя подруга и товарка по комнате, горести мои жестоко усугубляются тем, что я лишена вашего приятного общества и беседы в то время, когда я столь нуждаюсь в утешительном вашем добросердечии и здравых суждениях; но, надеюсь я, дружба, завязавшаяся между нами в пансионе, будет длиться до конца жизни. Со своей стороны я не сомневаюсь, что она будет с каждым днем расти и крепнуть, по мере того как я набираюсь опыта и учусь понимать цену истинного друга.

О моя дорогая Летти! Что скажу я о бедном мистере Уилсоне? Я обещала порвать все сношения с ним и, если сие возможно, забыть его, но, увы, я начинаю убеждаться, что это не в моей власти. Отнюдь не подобает, чтобы портрет оставался в моих руках; он мог бы послужить причиной новых бед, а потому я посылаю его вам с этой оказией и прошу вас либо сохранить его до лучших времен, либо вернуть самому мистеру Уилсону, который, как я полагаю, постарается встретиться с вами в обычном месте. Если, получив от меня назад свой портрет, он придет в уныние, вы можете сказать ему, что нет надобности мне хранить портрет, если его лицо остается запечатленным в моем... Но нет! Я не хочу, чтобы вы говорили ему это, так как должно положить конец... я хочу, чтобы он позабыл меня ради собственного спокойствия душевного, и, однако, если бы это случилось, значит, он жестокосердный... Но это невозможно! Лживым и непостоянным бедный Уилсон быть не может! Я умоляю его не писать мне какой-то срок и не пытаться меня увидеть, так как гнев и горячий нрав моего брата Джерри могут привести к последствиям, которые сделают всех нас несчастными навеки. Доверимся же времени и непредвиденным случайностям, или, вернее, провидению, которое не преминет

рано или поздно вознаградить тех, кто идет по стезе чести и добродетели!

Я хотела бы передать нежный привет молодым леди, но никому из них не надлежит знать, что вы получили это письмо. Если мы поедем в Бат, я буду присылать вам мои незатейливые заметки об этом знаменитом центре светских увеселений, а также и о других местах, какие нам случится посетить. И я льщу себя надеждой, что моя дорогая мисс Уиллис будет аккуратно отвечать на письма любящей ее

*Лидии Мелфорд.*

*Клифтон, 6 апреля*

*Доктору Льюису*

Любезный Льюис!

Я последовал вашим указаниям не без успеха и теперь был бы уже на ногах, ежели бы погода позволила мне пользоваться моей верховой лошадью.

В этот вторник я поехал утром на холмы, когда на небе до самого горизонта не было ни единого облачка, но не проехал и мили, как вдруг неожиданно полил такой дождь, что минуты в три я промок до костей. И откуда он взялся, черт его знает! Но он уложил меня в постель, думается мне, недели на две. Я и слышать не могу, когда хвалят «чистый воздух» на Клифтонских холмах! Как может воздух быть приятен и целебен там, где постоянно спускается чертов туман и моросит дождь?

Мое вынужденное пребывание в постели тем более невыносимо, что до́ма мне очень досаждают. Племянница моя сильно хворала после того проклятого происшествия в Глостере, о чем я вам писал в последнем письме. Она — добрая простушка, мягкая, как воск, и так же легко растапливается, но она не дура, ее девические таланты не остались втуне и образованием ее не пренебрегали: она пишет без ошибок, говорит по-французски, играет на арфе, танцует превосходно; к тому же она миловидна и у нее хорошие наклонности, но ей не хватает живости, она весьма чувствительна, и — ох! как она нежна! — у нее томные глаза, и она читает романы.

У меня живет также ее брат, сквайр Джерри, дерзкий щеголь, набравшийся в колледже дури и самоуверенности, спесивый, как немецкий граф, и такой же горячий и запальчивый, как валлийский горец.

Что до этого чудно́го животного — моей сестрицы Табби,— то вы ее знаете. Клянусь богом, она подчас бывает столь невыносима, что мне кажется, будто в нее воплотился дьявол, дабы мучить меня за мои прегрешения. Но я не знаю за собой никаких грехов, которые навлекли бы на меня такое семейное бедствие, так почему же, черт побери, мне не избавиться сразу от всех этих мучений? Слава богу, я не женат на Табби! И не я породил тех двоих. Пусть выберут другого опекуна, а мне и без того нелегко заботиться о самом себе и куда уж там надзирать за поведением ветреных мальчишек и девчонок!

Вам хочется знать подробности наших приключений в Глостере. Вкратце они таковы, и, надеюсь, продолжения их не последует.

Лидди была закупорена в пансионе, который оказался столь же плохим учебным заведением для девушек, как и монастырь,— хуже ничего нельзя было придумать! — и там она стала так же легко, как трут, воспламеняться. И вот, отправившись как-то в праздник на театральное представление — черт возьми, стыдно вам говорить!— она влюбилась в одного из актеров, красивого молодого парня по фамилии Уилсон. Негодяй скоро заметил, какое произвел на нее впечатление, и ухитрился встретиться с ней в одном доме, куда она приглашена была со своей воспитательницей на чай. И у них началась переписка, которую они вели через одну шельму — шляпницу, мастерившую капоры для воспитанниц пансиона.

Когда мы приехали в Глостер и Лидди переселилась на квартиру к тетке, Уилсон подкупил служанку, чтобы та передала Лидди письмо. Но Джерри завоевал такое доверие у служанки (каким путем — ему лучше знать!), что та передала письмо ему, и, таким образом, тайна обнаружилась. Не сказав мне ни слова, горячий мальчишка немедля разыскал Уилсона и, кажется, обошелся с ним довольно грубо. Театральный герой зашел слишком далеко в своем романическом приключении, чтобы снести такое обхождение, ответил белыми стихами, а засим последовал вызов. Они условились встретиться на следующий день поутру и порешить спор шпагой и пистолетом.

Я ровно ничего об этом не ведал, покуда у моей постели не появился утром мистер Морлей, который выразил опасение, не отправился ли мой племянник драться на поединке, ибо накануне вечером между ним и Уилсоном, на квартире последнего, произошел подслушанный Морлеем горячий спор, после чего они отправились в лавку по соседству купить пороху и

пуль. Я тотчас же вскочил с постели и убедился, что племянник в самом деле ушел. Засим я попросил Морлея разбудить мэра, дабы тот мог вмешаться в это дело как судья, а сам заковылял вдогонку за молодым сквайром, которого увидел вдалеке; он быстрыми шагами направлялся к городским воротам.

Несмотря на все мои усилия, я доковылял до места поединка только тогда, когда дуэлянты заняли свои места и насыпали порох на затравку своих пистолетов. По счастью, какой-то старый дом скрывал меня от их глаз, так что я на них обрушился, прежде чем они успели меня заметить.

Оба они растерялись и пустились было наутек в разные стороны. Но тут подоспел с констеблями Морлей, арестовал Уилсона, а Джерри покорно последовал за ним к дому мэра. Я ровно ничего не знал о том, что же произошло накануне, а дуэлянты хранили полное молчание. Мэр заявил, что со стороны Уилсона, странствующего комедианта, было весьма самонадеянно доводить дело до крайности в споре с джентльменом богатым и хорошего рода, и пригрозил засадить его в тюрьму по закону о бродягах. Но парень весьма горячился, заявляя, что он джентльмен и с ним надлежит обходиться как с таковым, а от дальнейших объяснений отказался. Послали за хозяином труппы, расспросили его об Уилсоне, и он сказал, что парень поступил в труппу в Бирмингеме с полгода назад, но жалованья никогда не брал, отличался хорошим поведением, заслужил уважение всех знавших его, и его, как комедианта, публика весьма ценила. Мне пришло в голову, что он беглый ученик какого-нибудь лондонского ремесленника или купца.

Хозяин труппы предложил внести за него поручительство на любую сумму, если он даст честное слово вести себя, как полагается. Но юный джентльмен хорохорился и не желал брать на себя никаких обязательств. С другой стороны, и Джерри проявлял такое же упрямство, покуда наконец мэр не объявил, что, если они оба не обязуются прекратить ссору, он незамедлительно заключит Уилсона в тюрьму и приговорит к тяжелым работам за бродяжничество. Признаюсь, мне очень понравилось поведение Джерри. Он заявил, что не желает, чтобы Уилсона подвергали такому позору, и дает честное слово больше ничего не предпринимать, пока находится в Глостере. Уилсон поблагодарил его за такое великодушное поведение и был отпущен.

Возвращаясь вместе со мной домой, племянник рассказал, в чем было дело, и, признаюсь, я взбесился. Лидди была призвана к ответу и под градом упреков, которыми осыпала ее эта

дикая кошка — моя сестра Табби, поначалу лишилась чувств, потом разразилась потоком слез и наконец призналась в переписке, после чего отдала три письма, полученные от ее обожателя. Последнее письмо, перехваченное Джерри, я при сем прилагаю, а когда вы его прочтете, мне кажется, вас не удивит, что сей сочинитель столь успешно завоевал сердце простодушной девицы, ровно ничего не ведающей о людях.

Я решил, что надо безотлагательно прервать столь опасные отношения и на следующий день увезти ее в Бристоль. Но бедняжку так устрашили и напугали наши упреки и угрозы, что на четвертый день нашего пребывания в Клифтоне она захворала, и в течение целой недели мы опасались за ее жизнь. Только вчера доктор Ригг объявил, что опасность миновала. Вы и представить себе не можете, как я мучился — отчасти из-за нескромного поступка этого бедного ребенка, но куда больше из боязни потерять ее навсегда!

Здесь невыносимо холодно и место весьма мрачное. Стоит мне пойти к источнику, как я возвращаюсь в прескверном расположении духа, ибо там встречаю я несколько истощенных бедняг в последней стадии чахотки, похожих на привидения; они изо всех сил стараются протянуть зиму и напоминают южные растения, в теплицах прозябающие, но по всем видимостям сойдут в могилу, прежде чем солнце своим теплом смягчит сию суровую весну. Ежели вы полагаете, что Батские Воды принесут мне пользу, я отправлюсь туда, как только племянница сможет вынести переезд в карете.

Передайте Барнсу, что я благодарен за совет, но не вздумайте ему следовать. Если Дэвис по своей воле хочет отказаться от фермы, она, разумеется, перейдет в другие руки; но не стану я теперь разорять своих арендаторов потому, что им не повезло и они не могут вносить в срок арендную плату. Удивляюсь, как это Барнс может предположить, что я способен на такие притеснения. Что же до Хиггинса, то этот парень — известный браконьер; он, негодный плут, ставит силки на моих землях, но, должно быть, он полагает, будто имеет право, особливо в моем отсутствии, брать себе часть того, что природа как будто предназначила для общего пользования. Угрожайте от моего имени сколько хотите, а ежели он снова нарушит закон, сообщите мне, прежде чем обращаться к правосудию. Я знаю, что вы большой любитель псовой охоты и доставляете удовольствие многим вашим друзьям; едва ли мне нужно вам говорить, что вы можете пользоваться моими угодьями сколько хотите, но должен признаться, я больше боюсь своего охотничьего ружья, чем своей

дичи. Когда вы сможете уделить две-три пары куропаток, пришлите их с почтовой каретой. И скажите Гуиллим, что она забыла положить в дорожный сундук мое фланелевое белье и туфли попросторней. Как повелось, я буду беспокоить вас время от времени своими поручениями, покуда вы не утомитесь от переписки с вашим верным другом

*М. Брамблом.*

*Клифтон, 17 апреля*

*Мисс Лидии Мелфорд*

Мисс Уиллис объявила мне приговор: вы уезжаете, дорогая мисс Мелфорд, вас увозят неведомо куда! Что делать мне? Где искать утешения? Я сам не знаю, что говорю: всю ночь напролет метался я в пучине сомнений и страхов, неизвестности и отчаяния, будучи не в силах собраться с мыслями, а тем паче составить какой-нибудь последовательный план поведения. Предо мною вставало даже искушение пожелать, чтобы я никогда вас не встречал или чтобы вы были менее любезны и менее сострадательны к бедному Уилсону. Однако же подобное желание было бы низкой неблагодарностью, если подумать, сколь многим я обязан вашей доброте и какую несказанную радость давали мне ваши снисхождение и одобрение.

Боже милостивый! Даже упоминание вашего имени никогда не мог я слышать без волнения! Малейшая надежда лицезреть вас наполняла мою душу какою-то сладостной тревогой! С приближением этого часа сердце мое билось все сильней и сильней и каждый нерв трепетал от сладостного ожидания. Но когда я уже находился в вашем присутствии, когда я внимал вашему голосу, когда созерцал вашу улыбку, видел ваши прекрасные глаза, благосклонно обращенные на меня, мою грудь наполнял столь бурный восторг, что я терял дар речи и безумная радость овладевала мною... Поощренный вашей кротостью и любезностью, я осмелился описать чувства, охватившие мое сердце... Даже тогда вы не ставили препон моей самонадеянности, вы снизошли к моим страданиям и дали мне разрешение питать надежду, вы составили благоприятное — быть может, слишком благоприятное! — мнение о моей особе... Истинно одно: я не играю любовью, я говорю языком своего собственного сердца, и к тому побуждают меня лишь искренние чувства. Однако некая тайна сокрыта в моем сердце... Я еще не открыл ее... Я льщу себя надеждой... Но нет! Я не могу, не смею продолжать...

Дорогая мисс Лидди! Во имя неба придумайте, если сие возможно, какой-либо способ поговорить с вами прежде, чем вы покинете Глостер, иначе я не знаю, что постигнет... Но вот я начинаю безумствовать снова... Я постараюсь перенести это испытание со всею твердостью... Покуда есть у меня силы полагаться на вашу искренность и нежность, я, право же, не имею никаких оснований отчаиваться, однако же пребываю в странном смятении. Солнце как будто отказывается озарять меня своим светом... Облако нависло надо мною, и тяжкое бремя гнетет мою душу.

До той поры, пока вы отсюда не уехали, я буду неустанно бродить вокруг вашего пансиона; говорят, что душа, разлученная с телом, медлит у могилы, где покоятся смертные останки ее спутника. Знаю — если только это в вашей власти, вы почерпнете силы из человеколюбия вашего... сострадания... смею ли добавить — нежной привязанности... дабы утолить муку, терзающую сердце вашего несчастного

*Уилсона.*

*Глостер, 31 марта*

*Сэру Уоткину Филипсу,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

Воздаю Манселу должное за то, что он плетет небылицы, будто я поссорился с каким-то балаганным шутом в Глостере. Но я слишком ценю даже намек на остроумие, чтобы повздорить из-за глупой шутки, и потому надеюсь, что мы останемся с Манселом добрыми приятелями! Но я никак не могу одобрить, что он утопил моего бедного пса Понто с целью превратить многословие Овидия в шутливую эпитафию с игрой слов — deerant quoque littora Ponto. Ибо Манселу никак нельзя простить, что он бросил Понто с целью избавить его от блох в Изис, когда река была полноводна и бурлива. Но я предоставляю беднягу Понто его судьбе и надеюсь, что провидение уготовит Манселу смерть более сухую[1].

Здесь, на Горячих Водах, нет никого, с кем можно завести знакомство, и потому я веду здесь образ жизни сельский. Стало быть, у меня много досуга, благодаря чему я могу лучше наблюдать странности в нраве моего дяди, который, мне кажет-

[1] Игра слов: dry — сухой и суровый.

ся, возбудил ваше любопытство. Надо сказать, что поначалу наши характеры походили на масло и уксус, которые не смешиваются друг с другом, но теперь, когда их взболтнули, они начали смешиваться. Я склонен был считать его неисправимым циником и полагал, что только крайняя необходимость может заставить его жить в обществе с другими людьми. Но теперь я другого мнения; мне кажется, что его брюзгливость отчасти вызвана телесной болью, а отчасти врожденной чувствительностью души, ибо, полагаю я, душа, как и тело, бывает наделена в некоторых случаях чрезмерной чувствительностью.

На днях меня очень позабавил разговор, который он вел в павильоне минеральных вод с известным доктором Л., пришедшим дать указания больным.

Дядюшка пожаловался на зловоние за окнами павильона, шедшее от ила и грязи, оставляемых рекой при отливе. Он сказал, что эти испарения — зараза и они пагубны для слабых легких многочисленных больных чахоткой, которые приходят пить воду.

Доктор подслушал это, подошел к нему и заявил, что он ошибается. Люди, сказал он, так заражены пошлыми предрассудками, что философия бессильна их вразумить. Затем трижды хмыкнул и пустился в ученые объяснения природы зловония.

Он сказал, что зловоние или вонь есть ощущение обонятельных нервов и может возникать по совершенно другим основаниям, что stinken по-голландски означает «испускать самый приятный запах», а также «сильнейшую вонь», как это явствует из перевода Ван Влудела прекрасной оды Горация «Quis multa gracilis»[1] и т. д. (в которой слова liquidis perfusus odoribus[2] он переводит van civet et moshata gestinken[3]). Затем доктор заявил, что люди toto caelo[4] придерживаются различных мнений о запахах, подобно тому как имеют различные мнения о красоте, что французам нравится запах гниющего мяса, равно как готтентотам в Африке и диким обитателям Гренландии, и что негры на берегу Сенегала не притронутся к рыбе, покуда она не начнет гнить; эти народы отдают предпочтение тому, что обычно называют *зловонием*, ибо они не избалованы роскошью и не подвержены причудам и капризам. По его мнению, аромат навоза, который принято считать зловонным, весьма приятен

---

[1] Этот милый... (кн. 1, 5) *(лат.)*.
[2] Благовонием облит нежным... *(лат.)*.
[3] Благоухающий мускусом *(голл.)*.
[4] Во всей вселенной *(лат.)*.

для органов обоняния, так как каждый человек, которому противен запах чужих экскрементов, с особым удовольствием вдыхает аромат своих собственных, что могут засвидетельствовать все присутствующие леди и джентльмены.

Жители Мадрида и Эдинбурга, сказал он, получают особое удовлетворение, вдыхая собственные испарения, которые всегда пропитаны запахом экскрементов, и высокоученый доктор Б. в своем трактате «О четырех пищеварениях» объясняет, каким образом летучие испарения из кишок возбуждают деятельность животного организма.

Доктор утверждал, что покойный великий герцог Тосканский, из рода Медичи, который изощрял свою чувственность с рассудительностью философа, столь был восхищен этим ароматом, что приказал извлечь эссенцию из нечистот и пользовался ею как усладительными духами. А что до него, доктора, то он, когда приходит в дурное расположение духа или устает от работы, точас же испытывает приятное облегчение, если наклоняется над стульчаком с его содержимым, что отнюдь не должно никого удивлять, так как содержание стульчака изобилует теми же летучими солями, которые столь охотно вдыхают даже самые слабые больные после того, как химики извлекут и возгонят эти соли.

Присутствующие заткнули носы, но доктор, не обратив ни малейшего внимания на этот знак, продолжал разглагольствовать о том, что многие зловонные вещества не только приятны, но и целебны, например ассафетида и другие медицинские смолы, коренья, зелень, а превыше всего целительны жженые перья, ямы для дубленья кож, свечной нагар и проч. Короче говоря, он привел вполне достаточно ученых доводов, чтобы у его слушателей ум зашел за разум, и от *зловония* перешел к *грязи*, которая, по его словам, также является ошибочным понятием, поскольку тот предмет, каковой так называют, есть только некое изменение вещества, состоящего из тех же самых частей, которые входят в состав любого вещества. В самом грязном веществе, который мы найдем в природе, философ усмотрит не что иное, как землю, воду, соль и воздух, из коих оно состоит. И что до него, доктора, то ему все равно, выпить ли грязной болотной воды, если он будет уверен, что в ней нет ничего ядовитого, или стакан воды из Горячего источника.

Обратившись к моему дяде, он сказал:

— Сэр, по своему сложению вы склонны к водянке, и, надо думать, скоро у вас будет брюшная водянка. Если я буду присутствовать, когда вам сделают прокол, я докажу вам то,

о чем говорю: без всяких колебаний я выпью воду, которая потечет из вашего живота.

При этих словах леди скорчили гримасы, а дядя побледнел и сказал, что он не хочет такого доказательства его философии.

— Но мне хотелось бы знать,— продолжал он,— почему вы полагаете, что у меня склонность к водянке?

— Прошу прощенья, сэр,— ответил доктор,— но у вас распухли лодыжки и, по-видимому, у вас faciesleucophlegmatica[1]. Может быть, болезнь ваша oedematus, то есть подагрическая, а возможно — lues venerea. Если у вас есть основания тешить себя мыслью, что вы больны именно сей последней болезнью, я берусь вас излечить тремя пилюлями, хотя бы недуг ваш и был очень застарелым. Это мое секретное средство, сэр; я много труда положил на то, чтобы их приготовить. Недавно, сэр, я излечил в Бристоле женщину, обыкновенную проститутку, у которой можно было наблюдать самые худые симптомы — язвы, сыпь и чесотку по всему телу. Когда она приняла вторую пилюлю, сэр, кожа ее сделалась гладкой, как у меня на руке! А после третьей женщина стала здоровой и свежей, как новорожденный младенец.

— Сэр! — брюзгливо воскликнул дядюшка.— Я никак не могу тешить себя надеждой, что ваше секретное средство годится для моей болезни. Но больная, о которой вы говорите, едва ли могла стать такой здоровой, как вы воображаете.

— Я не мог ошибиться,— возразил философ,— так как трижды имел общение с ней. Я всегда проверяю таким способом свое лечение.

При этих словах леди удалились в угол комнаты, и кое-кто из них начал отплевываться. Что до моего дядюшки, то хотя он сперва разъярился, когда доктор сказал о его склонности к водянке, но тут, услышав это забавное признание, невольно улыбнулся... А для того, чтобы наказать этого чудака, он заявил, что у того на носу бородавка, которая вызывает подозрения.

— Я не берусь утверждать, что являюсь судьей в такого рода делах,— сказал он,— но мне как-то приходилось слышать, будто бородавки появляются вследствие такой болезни, а бородавка у вас на носу оседлала самую переносицу, которой, надеюсь, не грозит опасность провалиться.

Казалось, это замечание весьма смутило доктора Л., и он стал уверять, будто это только кожный нарост и кость под ним

---

[1] Подкожная водяная болезнь *(лат.)*.

совершенно здорова; в подтверждение сего он предложил дядюшке потрогать его нос, чтобы тот мог убедиться на ощупь. Дядюшка заметил, что неделикатно брать джентльмена за нос и что он отказывается от этого предложения, после чего доктор повернулся ко мне и попросил меня оказать ему такую милость.

Я выполнил его просьбу и так грубо обошелся с его носом, что он чихнул и слезы брызнули у него из глаз к великому удовольствию всех присутствующих, а в особенности дядюшки, который захохотал впервые с тех пор, что я нахожусь вместе с ним, и сказал, что это местечко у доктора очень чувствительно.

— Сэр! — воскликнул доктор.— Натурально оно должно быть чувствительным! Но я сегодня же вечером сведу бородавку, дабы рассеять все сомнения.

С этими словами он весьма торжественно отвесил поклон всем окружающим и ушел к себе домой, где для удаления бородавки применил какое-то едкое средство, которое вызвало сильнейшее воспаление и огромную опухоль. И потому, когда он появился в следующий раз, его лицо было украшено ужасным хоботом, и то горестное волнение, с каким он рассказывал о своем несчастье, было чрезвычайно забавно.

Я был очень рад воочию увидеть чудака, который так потешал нас с вами, когда мы находили его в книге; но меня удивляет, что черты его портрета скорее были смягчены, чем преувеличены.

Мне нужно вам сказать еще кое-что, но письмо грозит разрастись до бесконечности, и теперь я дам вам передышку, а напишу со следующей почтой. Я хотел бы, чтобы вы той же монетой ответили на этот двойной удар вашему

*Дж. Мелфорду.*

*Горячие Воды, 18 апреля*

*Сэру Уоткину Филипсу,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Любезный баронет!

Сажусь за стол, чтобы привести в исполнение угрозу, о которой упоминал в конце предыдущего письма. Дело в том, что мне не дает покоя одна тайна, и я давно хочу от нее отделаться. В ней замешан мой опекун, который главным образом привлекает наше внимание.

На днях, мне показалось, я обнаружил в нем слабость, отнюдь не подобающую его возрасту и нраву. Есть здесь скром-

ная, весьма приятная на вид женщина; она приходит к источнику с жалким, истощенным ребенком, который тяжело болен чахоткой. Несколько раз я перехватывал пристальные взгляды дядюшки, которые он бросал на эту особу, и в этих взглядах было что-то подозрительное, но каждый раз он смущенно их отводил, когда подмечал, что за ним следят. Тогда я решил понаблюдать за ним внимательно и увидел, как он с ней беседует в укромном уголке аллеи. Однажды, спускаясь к источнику, я встретил ее поднимающейся на холм по дороге в Клифтон и тотчас же заподозрил, что она идет к нам домой в заранее назначенный ей час, ибо было около часа дня, а в это время сестра и я обычно находимся у источника.

Подстрекаемый любопытством, я повернул назад и окольным путем вернулся незамеченный к себе в комнату, расположенную рядом с комнатами дядюшки. И в самом деле, женщину ввели в дом, но не к нему в спальню.

Он принял ее в гостиной, и я должен был перенести свой наблюдательный пост в другую комнату; а там в перегородке была щелочка, через которую я мог видеть все, что происходит. Когда женщина вошла, дядюшка привстал с кресла, хотя он и прихрамывает, и, пододвигая ей стул, предложил сесть, а затем осведомился, не желает ли она выпить чашку шоколада, от которой женщина, рассыпавшись в благодарностях, отказалась. После короткой паузы он ворчливым тоном обратился к ней, немало меня удивив, со следующими словами:

— Ваше несчастье, сударыня, тронуло меня, и, если вот эта безделица вам поможет, возьмите без всяких церемоний.

С этими словами он сунул ей в руку бумажку, которую она с трепетом развернула и, восторженно воскликнув: «Двадцать фунтов! О сэр!» — упала на диван и лишилась чувств.

Он весьма перепугался, но, опасаясь, мне кажется, позвать на помощь, ибо состояние женщины могло вызвать нежелательные подозрения, забегал в панике по комнате, делая ужасающие гримасы, пока наконец не догадался брызнуть водой ей в лицо, после чего она пришла в себя, но тут она дала волю своим чувствам. Она разразилась потоком слез и закричала во весь голос:

— Я не знаю, кто вы... Но поистине... достойный сэр... великодушный сэр!.. Мое горе и страдания моего бедного, умирающего ребенка... О! Если молитвы вдовы, если слезы благодарности сиротки могут снискать для вас... Милосердное провидение! Да снизойдет навеки его благословение на вас! Да...

Тут дядюшка прервал ее, все более смущаясь:

— Успокойтесь, сударыня, ради бога успокойтесь! Подумайте... В доме есть люди... Вот черт... Неужто вы не можете...

Она пыталась броситься перед ним на колени, а он хватал ее за руки и, стараясь усадить на диван, продолжал:

— Прошу вас... Успокойтесь... Помолчите...

В этот миг в комнату ворвалась... Кто бы вы думали? Наша тетушка Табби! Дьявольски своенравная, смешная старая дева! Она всегда норовит вмешиваться в чужие дела, и, когда увидела, что эта женщина вошла в дом, она последовала за ней до двери, где и осталась подслушивать, но ничего не разобрала, кроме последнего восклицания дядюшки, и ворвалась в гостиную в страшном бешенстве, от которого кончик ее носа окрасился в пурпурный цвет.

— Тьфу, Матт! — вскричала она.— Что здесь происходит? Вы позорите себя и наносите бесчестье вашему семейству!

Она выхватила из рук незнакомки банковый билет и продолжала:

— Как? Двадцать фунтов! Соблазняете при свидетелях... А вы, моя милая, убирайтесь восвояси... Братец, братец, право, не знаю, чему больше удивляться — вашей похотливости или расточительности!

— Боже ты мой! — воскликнула бедная женщина.— Неужели добрый джентльмен может пострадать за поступок, который делает честь роду человеческому!

Негодование дядюшки тут прорвалось. Он побледнел, заскрежетал зубами, глаза его засверкали.

— Сестра! — заорал он громовым голосом.— Ваша дерзость превосходит все границы!

С этими словами он схватил ее за руку и, открыв дверь, вытолкнул в комнату, где я стоял, растроганный до слез этой сценой. А тетушка, узрев эти знаки моего волнения, сказала:

— Меня не удивляет, что вы огорчены гнусными уловками своего близкого родственника... В его летах да с его хворостями... Ну и дела творятся! Нечего сказать, хороший пример подает опекун на благо своим питомцам... Какое неприличие! Какой ужас! Какой разврат!

Мне казалось, что во имя справедливости нужно было направить ее на верный путь, и посему я объяснил ей загадочную сцену, но это нисколько ее не образумило.

— Как! — воскликнула она.— Вы хотите меня убедить, чтобы я своим глазам не верила! Разве я не слышала, как он шептал ей, чтобы она молчала! Разве я не видела, как она плачет! Разве я не видела, как он пытался повалить ее на диван!

О, какой разврат! Какой ужас! Какая гнусность! Не говорите мне, дитя мое, о милосердии! Разве кто-нибудь отдаст двадцать фунтов из милосердия? Вы еще юноша и ровно ничего не знаете о жизни. Да к тому же своя рубашка ближе к телу. За двадцать фунтов я могла бы купить себе парчовое платье, отделку и мало ли еще что!

Короче говоря, я покинул комнату, почувствовав презрение к тетке, а мое уважение к ее брату возросло соответственно. Потом я узнал, что женщина, которой мой дядюшка столь великодушно помог,— вдова прапорщика и ничего не имеет, кроме пятнадцати фунтов пенсии в год. В галерее минеральных вод о ней идет хорошая молва. Проживает она где-то на чердаке и день и ночь сидит за шитьем, чтобы прокормить свою дочку, которая умирает от чахотки. К стыду моему, должен сознаться, что я почувствовал сильное желание последовать примеру моего дяди и облегчить участь этой бедной вдовы; но я — говорю вам, как другу,— боюсь, что меня уличат в слабости, которая может навлечь насмешки общества на вашего, дорогой Филипс,

*Дж. Мелфорда.*

*Горячие Воды, 20 апреля*

Пишите мне прямо в Бат и напомните обо мне всем нашим товарищам по колледжу Иисуса.

## *Доктору Льюису*

Я понимаю ваш намек. В медицине, так же как в религии, есть тайны, которые мы, нечестивцы, не имеем права исследовать. Человеку непозволительно дерзать и пускаться в рассуждения, если только он не изучил категории и не умеет спорить по законам логики. (Говорю вам, как другу.) Пусть это будет между нами, но, по моему мнению, каждый человек, обладающий некоторыми способностями, должен в моем возрасте быть лекарем и законником, поскольку это касается его здоровья и имущества. Что до меня, то в течение последних четырнадцати лет во мне заключена целая больница, и я исследую свою хворь с самым пристальным вниманием и, стало быть, надо полагать, знаю кое-что, хотя и не изучал исправно физиологии и пр. Короче говоря, я пришел к тому убеждению (не сочтите, доктор, за обиду), что все ваши сведения в медицине приводят лишь к одному: чем больше вы изучаете, тем меньше знаете.

Я прочел все, что написано о Горячих Водах, и извлек из всего лишь то, что вода содержит только немного соли и известковой земли, примешанных в такой незначительной пропорции, что они не могут оказать почти никакого влияния на животный организм. При таком положении мне кажется, что человек заслуживает украшения в виде колпака с бубенчиками, если ради ничтожной пользы, каковую приносят эти воды, теряет драгоценное время, которое мог бы употребить на лечение куда более верными лекарствами, и обрекает себя на жизнь в грязи и вони, подвергаясь холодным ветрам и непрерывным дождям, вследствие чего сей город поистине невыносим для меня. Если даже эти воды благодаря слабой вязкости могут принести хоть какую-нибудь пользу при сахарной болезни, поносе, ночной испарине, когда выделения усиливаются, могут ли они в тех же дозах не повредить, когда мы имеем дело с задержкой выделений при астме, цинге, подагре и водянке?

Мы коснулись водянки; здесь есть нелепый чудак, один из ваших собратьев, который разглагольствует в галерее так, точно его наняли читать лекции по любому вопросу. Я не могу его раскусить: то он делает замечания проницательные, то болтает, как последний дурак. Прочитал он уйму, но без всякой системы и без разбора, и ничего не переварил. Он верит всему, что прочел, особенно всему чудесному, и его болтовня есть удивительное рагу из учености и нелепостей. На днях он мне сказал весьма самоуверенно, что у меня водянка; по его словам, у меня *подкожная* водянка, а это лучшее доказательство того, что отсутствие у него опыта равно его самонадеянности, ибо, как вы знаете, моя болезнь не имеет ничего общего с водянкой. Было бы неплохо, если бы эти наглые, но слабоумные люди приберегли свои советы для тех, кто к ним обращается! Вот еще, водянка! Как будто мне не пятьдесят пять лет и я ничего не ведаю о своей хворости и не лечился так долго у вас, а также у других известных врачей, чтобы меня вразумлял такой, с позволения сказать... Без сомнения, этот человек спятил с ума, и все, что он говорит, не имеет никакого значения.

Вчера меня посетил Хигинс; он прибыл сюда напуганный вашими угрозами и преподнес мне пару зайцев, которых, как он сознался, подстрелил на моих полях, и я не мог сказать парню, что он поступил дурно и что я вправе привлечь его к суду за охоту на чужой земле. Прошу вас, проберите хорошенько этого негодяя, а то он будет досаждать своими подношениями, которые обходятся мне слишком дорого. Если бы я еще мог удивляться поступкам Фицовена, меня изумила бы его дерз-

кая просьба, чтобы вы склонили меня голосовать за него на ближайших выборах в графстве. За него, который так гнусно соперничал со мной на прошлых выборах! Учтиво скажите ему, что я прошу меня извинить.

Пишите мне в Бат, куда я переезжаю завтра не столько ради себя, сколько ради моей племянницы Лидди, к которой, по-видимому, вернулась ее хворь. Вчера у бедняжки был припадок, когда я торговался из-за пары очков с евреем-разносчиком. Боюсь, что у бедняжки в сердечке что-то еще гнездится; перемена места ей поможет. Напишите, что вы думаете о нелепом и дурацком суждении этого полоумного доктора касательно моей болезни. Вот еще, водянка! Да у меня живот подтянут, как у борзой, к тому же, когда я измеряю бечевкой лодыжку, видно, что опухоль опадает с каждым днем. Упаси бог от таких докторов!

В Бате я еще не снял помещения, потому что там мы сможем устроиться тотчас по приезде, и я сам выберу квартиру. Нет нужды говорить, что ваши указания касательно пользования водами и купанья будут приятны вашему, дорогой Льюис,

*М. Брамблу.*

P. S. Забыл вам сказать, что на моей правой лодыжке — вмятина, а это, как я понимаю, указывает на подагру, а не на подкожную водянку.

*Горячие Воды, 20 апреля*

### *Мисс Летиции Уиллис, в Глостер*

Моя дорогая Летти!

Я не имела намерения снова докучать вам, покуда мы не поселимся в Бате, но, когда представился случай послать письмо с Джарвисом, я не могла упустить его, так как должна сообщить вам нечто из ряда вон выходящее. О любезная моя приятельница! Что сказать мне вам? В течение последних нескольких дней у источников появлялся похожий на еврея торговец с ящиком очков, и он все время так внимательно смотрел на меня, что я почувствовала сильное смущение. Наконец он пришел к нашему дому в Клифтоне и замешкался у двери, точно хотел с кем-нибудь поговорить. Меня охватил какой-то странный трепет, и я попросила Уин выйти к нему, но у бедной девушки слабые нервы, и она побоялась его бороды. Мой дядюшка,

нуждаясь в новых очках, позвал его наверх и начал примерять очки, как вдруг этот человек, приблизившись ко мне, промолвил шепотом... О небо! Как думаете вы, что он сказал?.. «Я — Уилсон!» В то же мгновение я узнала черты его лица; да, это был Уилсон, но столь изменивший свое лицо, что невозможно было бы признать его, если бы сердце мое не споспешествовало этому открытию.

Столь велико было мое изумление и испуг, что я потеряла сознание, но вскоре опамятовалась и почувствовала, что он поддерживает меня на стуле, а в это время дядюшка с очками на носу метался по комнате, призывая на помощь. Не было никакой возможности заговорить с ним, но взгляды наши были достаточно красноречивы.

Ему заплатили за очки, и он ушел. Тогда я сказала Уин, кто он такой, и послала ее вслед за ним к павильону минеральных вод, где она заговорила с ним, и умоляла от моего имени удалиться из этих мест, дабы не пробудить подозрений дядюшки и брата, если не хочет он увидеть меня умирающей от ужаса и огорчения. Бедный юноша заявил со слезами на глазах, что имеет сообщить нечто из ряда вон выходящее, и спросил, не согласится ли она передать мне письмо, но на это она, по моему приказанию, ответила решительным отказом. Убедившись в ее упорстве, он попросил ее передать мне, что отныне он уже не актер, но джентльмен, и как таковой очень скоро признается в своей страстной любви ко мне, не страшась ни порицания, ни упреков... Да, он даже открыл свое имя и фамилию, однако, к великому моему горю, простодушная девушка их позабыла в смятении, застигнутая в разговоре с ним моим братом, который остановил ее на дороге и пожелал узнать, какие у нее дела с этим мошенником-евреем. Она отвечала, будто торговалась с ним, желая купить крючок для корсета, но столь затруднительно было ее положение, что она позабыла самую важную часть его сообщения, а придя домой, разразилась истерическим смехом. Происшествие это случилось назад тому три дня, в течение коих он не появлялся, а потому я полагаю, что он уехал.

Милая Летти! Вы видите, с каким удовольствием фортуна преследует вашу бедную подругу. Если вы повстречаете его в Глостере или уже повстречались с ним и знаете настоящее его имя и фамилию, прошу вас, не оставляйте меня долее в неизвестности; если нет у него теперь никакой необходимости скрываться и если он питает ко мне истинную любовь, я могла бы надеяться, что в скором времени он представится моим родственникам. Право же, если для этого союза нет никаких пре-

пятствий, они не будут столь жестоки, чтобы ставить препоны моим чувствам. О, какое счастье выпало бы тогда мне на долю! Я не могу не услаждать себя такими мыслями и тешить свое воображение столь приятными мечтаниями, которые в конце концов, может быть, никогда не сбудутся. Но зачем мне отчаиваться? Кто знает, что случится?

Завтра мы уезжаем в Бат, и я почти сожалею об этом, так как начинаю любить уединение, а место это прелестно и располагает к мечтаниям. Воздух такой чистый, поросшая вереском долина так красива, дрок в полном цвету, поля усеяны маргаритками, примулами и белой буквицей, на деревьях распускаются почки, а живые изгороди уже надели свой зеленый убор; склоны гор покрыты стадами овец, и шаловливые ягнята тихо блеют, играют, резвятся и перебегают с места на место; в рощах звенит пенье дроздов и коноплянок, и всю ночь напролет нежный соловей заливается своею прелестной песней. Для развлечения мы спускаемся вниз, к «нимфе Бристольских Вод», где перед обедом собирается компания, такая милая, добродушная, непринужденная, и здесь мы пьем воду, такую прозрачную, такую чистую, с таким приятным слабым привкусом; солнце здесь такое живительное, погода так хороша, прогулка так приятна, виды столь разнообразны, а корабли и лодки, плывущие вверх и вниз по течению реки близ самых окон, являют столь чарующую смену картин, что для их описания требуется перо гораздо более искусное, чем мое. Чтобы место это стало истинным раем для меня, мне не хватает только любезной приятельницы и верной подруги, такой, какою была и, надеюсь, остается мисс Уиллис для навеки ей преданной

*Лидии Мелфорд.*

*Горячие Воды, 21 апреля*

Направляйте мне по-прежнему ваши письма на имя Уин, а Джарвис позаботится о том, чтобы благополучно их доставить. Прощайте.

*Сэру Уоткину Филипсу,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

В самом деле, у вас есть основания удивляться, будто свою связь с мисс Блекерби я утаил от вас, от которого никогда не скрывал подобного рода отношений. Но, уверяю вас, я никогда не помышлял о таких отношениях, а теперь в последнем

письме вы сообщаете мне, что они якобы зашли слишком далеко и скрывать их долее невозможно.

К счастью, однако, ее доброе имя не пострадает, но ей даже будет выгодно разоблачение, которое покажет, по крайней мере, что она отнюдь не так испорчена, как воображают многие. Что до меня, то заявляю вам откровенно, по-дружески, что у меня не только не было с упомянутой особой любовной связи, но я даже в глаза ее не видел; и если она в самом деле находится в положении, какое вы описали, то, подозреваю, виновником является Мансел! Его посещения сего храма не были тайной, и это пристрастие, да вдобавок и некоторые услуги, которые, как вам известно, он мне оказал после моего ухода из alma mater[1], дают мне основание думать, что он за моей спиной возложил на меня ответственность за этот скандал.

Тем не менее, если мое имя пригодится ему, он может им располагать, и если женщина брошена и находится в таком положении, что может приписать мне его ребенка, прошу вас — уладьте дело с церковным приходом; мне не жалко уплатить денежную пеню, возьмите только на себя труд сообщить мне, не откладывая, какова требуемая сумма.

Поступаю я так по совету дядюшки, который сказал, что мне весьма повезет, если в дальнейшем мне удастся избежать подобных передряг. Вчера вечером старый джентльмен сказал мне очень добродушно, что в возрасте от двадцати до сорока лет он принужден был содержать девять незаконнорожденных, отцом коих признали его под присягой женщины, которых он и в глаза не видел.

Натура мистера Брамбла, который столь интересует вас, с каждым днем все больше раскрывается передо мной и оказывает на меня благотворное влияние. Странности его для меня — неиссякаемый источник развлечений; насколько я могу судить, он отличается тонким умом; его наблюдения не только верны, но дельны и необычны. Он притворяется мизантропом, чтобы скрыть чувствительность сердца, и мягкосердечие его граничит даже со слабостью. Из-за деликатности чувств или из-за душевной мягкости он робок и боязлив, а больше всего он боится бесчестья, и хотя всегда избегает кого-нибудь оскорбить, но взрывается при малейшем намеке на обиду или неучтивость. Хотя он человек очень почтенный, но я не могу иногда не забавляться его пустячными огорчениями, которые служат для

[1] Старинное студенческое название университета — «мать-кормилица» *(лат.)*.

него предлогом метать стрелы сатиры, столь же меткие и острые, как стрелы троянцев. Наша тетка Табита для него все равно что точильный камень, она во всех отношениях полная противоположность своему брату; но ее портрет я нарисую в другой раз.

Три дня назад мы приехали сюда с Горячих Вод и заняли второй этаж в доме на Южной Променаде; квартиру эту дядюшка выбрал потому, что она расположена неподалеку от источника и сюда не доносится стук карет.

Только-только он вошел в квартиру, как потребовал ночной колпак, белье из фланели, объявив, что у него приступ подагры в правой ноге, хотя, мне кажется, это было его воображение. Вскоре он пожалел о своей преждевременной жалобе, ибо тетушка Табита, пока доставали из сундука белье, подняла такой шум и переполох, что казалось, будто дом загорелся.

Дядюшка все это время сидел и бесился от нетерпения — грыз ногти, возводил к небесам глаза и испускал какие-то восклицания; потом он разразился судорожным смехом, после чего стал напевать какую-то песенку, а когда ураган пронесся, он воскликнул: «Возблагодарим господа за все!»

Но это было только начало его невзгод.

Чаудер, любимый пес мисс Табиты, ухаживая в кухне за особой женского пола той же породы, подрался с пятью соперниками, которые напали на него все сразу и с отчаянным лаем погнали вверх по лестнице вплоть до дверей столовой; здесь на его защиту выступила тетушка со своей служанкой, и обе они приняли участие в концерте, который поистине стал дьявольским.

Когда эта битва благодаря вмешательству нашего лакея и здешней стряпухи была не без труда прекращена и сквайр уже раскрыл рот, чтобы попенять Табби, внизу в коридоре вдруг раздался такой грохот бродячего оркестра, что эта музыка (если только можно назвать это музыкой) заставила его вскочить и вытаращить в негодовании глаза. Впрочем, у него хватило самообладания послать слугу с несколькими монетами, чтобы таким путем заставить непрошеных шумных гостей замолчать, хотя Табита и протестовала, настаивая на том, что за свои деньги он должен получить музыку сполна. Только-только дядюшка уладил сей трудный вопрос, как прямо над головой его, в третьем этаже, послышался такой грохот, что задрожал весь дом. Эта новая тревога, признаюсь, заставила и меня вмешаться, и, прежде чем дядюшка успел что-нибудь сказать, я взбежал по лестнице разузнать, в чем дело. Дверь в помещение была открыта, я вошел туда без всяких церемоний и

увидел нечто такое, что и теперь не могу вспомнить без смеха. Это был учитель танцев, он обучал своего ученика. Учитель был слеп на один глаз, прихрамывал на одну ногу и гонял ученика по всей комнате, а сей ученик был тощий, уродливый, согбенный старик лет шестидесяти, в шерстяном ночном колпаке на голове; он даже снял кафтан, чтобы двигаться проворней.

Увидев перед собой незнакомца, старик немедленно опоясал себя длинной железной шпагой и, решительно подступив ко мне, воскликнул с явным ирландским произношением:

— Клянусь, мистер как вас там, очень рад вас видеть, если вы явились сюда как друг... Хочу думать, что вы в самом деле друг, хотя, мой дорогой, понятия не имею, где я вас видел раньше, но если вы без всяких церемоний, как друг...

Тут я заявил ему, что мне было не до церемоний и я пришел ему сообщить, чтобы он не так шумел, ибо не имеет права своим нелепым поведением нарушать покой больного джентльмена, проживающего внизу.

— Ах, вот как, молодой джентльмен! — воскликнул сей чудак.— В другое время я мог бы учтиво попросить вас, сэр, объяснить значение этих грубых слов — «*нелепое* поведение», но всему свое время...

Потом он устремился по лестнице вниз, подскочил к нашему лакею, стоявшему у двери столовой, и потребовал, чтобы тот его впустил к нам для засвидетельствования почтения приезжему джентльмену. Лакей не мог отказать столь грозному незнакомцу в его просьбе и доложил о нем, а тот обратился к моему дядюшке с такими словами:

— Честь имею представиться, сэр! Мое поведение отнюдь не было «нелепым», как выразился ваш сын, но я знаю правила учтивого обхождения... Перед вами, сэр, Улик Маккалигут, бедный ирландский баронет из графства Голуэй. Я ваш сосед и пришел засвидетельствовать свое почтение — добро пожаловать на Южную Променаду! Готов к вашим услугам и к услугам вашей милой леди, и прелестной дочки, и молодого джентльмена, вашего сына, хотя он и считает мое поведение «нелепым»! Да будет вам известно, что завтра я имею честь открыть по соседству бал вместе с леди Макманус. Но я, видите ли, немного уже отвык от танцев и решил поупражняться. Если бы я знал, что внизу проживает больная особа! Да я бы скорей допустил, чтобы у меня на голове станцевали матросский танец, чем стал бы упражняться над вашей головой в грациозном менуэте!

Дядюшка, немало пораженный его вторжением, отнесся, однако, весьма благосклонно к его учтивости, предложил ему

сесть, поблагодарил за посещение и укорил меня за мое резкое обхождение с джентльменом, столь достойным по своим душевным качествам и положению. Получив такой выговор, я принес извинения сему баронету, а он тотчас же вскочил и обнял меня так крепко, что у меня дыханье сперло; при этом он уверил, что любит меня ничуть не меньше, чем самого себя. Затем он вдруг вспомнил, что на нем ночной колпак, и в полном смущении сорвал его с головы, расточая тысячи извинений присутствующим леди, и с непокрытой лысой головой устремился к выходу.

В это самое мгновенье колокола аббатства загудели так громко, что нам невозможно было расслышать друг друга; этот трезвон был устроен, как мы потом узнали, в честь мистера Буллока, известного скотовода из Тоттенхема, который только что приехал в Бат лечиться водами от несварения желудка. Мистер Брамбл даже не успел высказать свое мнение об этой приятной серенаде, потому что начался другой концерт, касавшийся его более близко. Дело в том, что два негра, принадлежавших некоему джентльмену-креолу, проживавшему в том же доме, расположились прямо у окна на лестнице, футах в десяти от нашей столовой, и начали упражняться в игре на охотничьем рожке; были они совсем неопытны и исторгали такие звуки, которых не могли бы выдержать и ослиные уши.

Можете себе представить, какое влияние произвело это на нервы раздражительного дядюшки; на желчном лице его отразилось крайнее изумление, и он немедленно послал слугу прекратить эти ужасные звуки и предложить музыкантам перейти куда-нибудь в другое место, ибо они не имеют права там стоять и нарушать покой жильцов всего дома. Эти черные музыканты даже не подумали внять призыву и удалиться, но встретили посланца весьма грубо, заявив, что он может обратиться к их господину, полковнику Ригворму, который ответит ему надлежащим образом, а вдобавок задаст хорошую взбучку. Вслед за этим они снова принялись за свое занятие и даже еще усилили шум, который перемежался с хохотом, так как они решили, что смогут безнаказанно досаждать тем, кто был выше их по положению.

Наш сквайр пришел в раж от этого нового оскорбления и тотчас послал слугу к полковнику Ригворму передать ему привет и просить его о том, чтобы он приказал своим неграм замолчать, так как производимый ими шум решительно невыносим.

В ответ на это полковник Ригворм заявил, что на его рожках можно играть и на общей лестнице, что его люди играют там для его развлечения, а те, кому это не нравится, могут поискать себе другое помещение. Как только мистер Брамбл

услышал такой ответ, глаза его засверкали, он побледнел и заскрежетал зубами. После короткого раздумья он, не говоря ни слова, надел туфли, по-видимому не испытывая никакой подагрической боли в ногах. Засим, схватив трость, он открыл дверь и проследовал к тому месту, где расположились чернокожие трубачи. Там, без дальних околичностей, он принялся их обрабатывать и проделал это с такой силой и ловкостью, что в мгновение ока расшиб им не только охотничьи рожки, но и головы, так что они взвыли и пустились бежать вниз по лестнице в гостиную своего господина. А сквайр гнался за ними и кричал во весь голос, так, чтобы его услышал полковник:

— Вон отсюда, негодяи! Бегите к своему хозяину и расскажите ему, что я сделал! А если он почитает себя оскорбленным, то ему известно, куда явиться и у кого требовать удовлетворения. И помните: это только вам задаток, если вы осмелитесь еще раз трубить в рога, покуда я тут живу!

С этими словами он вернулся к себе в ожидании вестей от креола, но полковник предпочел благоразумно уклониться от продолжения ссоры. Моя сестра Лидди была перепугана почти до обморока, а когда она пришла в себя, мисс Табита начала читать лекцию о терпении. Тут ее брат многозначительно усмехнулся и прервал ее:

— Дай-то бог, сестрица, чтобы мое терпение, а ваше благоразумие укрепились! Могу себе представить, какая нас еще ждет соната после такой увертюры, в которой дьявол, верховодивший страшными звуками, дал нам такие вариации диссонансов! Носильщики топочут и громыхают тяжелыми ящиками, дворняги рычат, женщины бранятся, скрипки и гобои фальшивят и разрывают уши, наверху прыгает ирландский баронет, в коридоре изрыгают ужасные звуки охотничьи рожки (я уж не говорю о гармоническом грохоте с колокольни аббатства), и все эти звуки следуют один за другим без перерыва, точно части одного и того же концерта, а потому бедный инвалид без труда может вообразить, чего ему еще ждать в этом храме, посвященном отдыху и покою... Ну, вот я и решил завтра же переменить квартиру и попытаюсь сделать это, прежде чем сэр Улик откроет бал вместе с миледи Макманус, а это не предвещает мне ничего хорошего.

Такое заявление пришлось отнюдь не по вкусу мисс Табите, чьи уши были не так чувствительны, как уши ее брата. Она сказала, что весьма глупо покидать столь удобное помещение, в котором только что устроились. Она удивилась, что он такой враг музыки и веселья. Что до нее, то она слышит

только шум, который производит он сам. Никак невозможно заниматься домоводством, не произнося ни звука. Он может сколько его душе угодно попрекать ее за ругань, но она ругается для его же пользы; хотя она трудится до кровавого пота, его все равно не ублаготворишь.

Я сильно подозреваю, что наша тетушка, достигшая того возраста, когда уже можно потерять всякую надежду найти мужа, возложила свои упования на сердце сэра Улика Маккалигута, а они оказались бы тщетными в случае нашего внезапного отъезда.

Брат, взглянув на нее искоса, сказал:

— Прошу простить меня, сестрица, но я был бы поистине дикарем, ежели бы не понимал, какое счастье иметь рядом с собой такую кроткую, приветливую, веселую и рассудительную подругу и домоправительницу. Но голова-то у меня слабая, а слух до невозможности острый, и, прежде чем заткнуть себе уши шерстью да хлопчатой бумагой, я попытаюсь найти другое помещение, где было бы больше покоя и поменьше музыки.

И он тут же послал слугу с этим поручением и на другой день нашел небольшой дом на Милшем-стрит, каковой и нанял, уплатив за неделю вперед. Здесь, по крайней мере в самом доме, нам удобно и спокойно, поскольку, конечно, этому не мешает нрав Табби. Что до сквайра, то он жалуется на летучие боли в желудке и в голове, от которых он лечится минеральной водой и купаньем. Однако ему не настолько плохо, чтобы не посещать галереи минеральных вод, залы и кофейни, где он постоянно находит пищу для забавы и насмешек. Если мне удастся поживиться чем-нибудь из запаса его наблюдений либо моих собственных, я не премину сообщить вам все, чтобы вас потешить, хотя опасаюсь, что эти сообщения не вознаградят вас, дорогой Филипс, за труд читать сии скучные, нескладные письма вашего

*Дж. Мелфорда.*

*Бат, 24 апреля*

*Доктору Льюису*

Любезный доктор!

Ежели бы я не знал, что вы по роду своих занятий привыкли изо дня в день выслушивать жалобы, я посовестился бы беспокоить вас своими письмами, которые поистине можно назвать «Стенания Мэтью Брамбла». Однако я осмеливаюсь думать, что у меня есть право излить избыток моей хандры на вас, чьим

назначением является лечение порождаемых ею хворостей; позвольте мне также добавить: немалым облегчением для меня с моими невзгодами является то обстоятельство, что у меня есть рассудительный друг, от коего я могу не таить своего брюзжания, тогда как, ежели бы я его скрывал, оно могло бы стать нестерпимо желчным.

Знайте же, меня решительно разочаровал Бат, который столь изменился, что я с трудом мог поверить, будто это то же самое место, которое я не раз посещал лет тридцать назад. Мне кажется, я слышу, как вы говорите: «Так-то оно так, в самом деле он изменился, но изменился к лучшему, и в этом не сомневались бы и вы, если бы сами не изменились к худшему». Пожалуй, это правильно. Неудобства, которых я не замечал в расцвете сил, кажутся несносными раздраженным нервам инвалида, застигнутого врасплох преждевременной старостью и ослабленного длительными страданиями.

Но, думаю я, вы не станете отрицать, что в этом месте, которое самим провидением и природой предназначено исцелять от болезней и волнений, поистине царит разврат и беспутство. Вместо тишины, покоя и удобств, столь необходимых всем страждущим недугами, больными нервами и неустойчивым расположением духа, здесь у нас — шум, гвалт, суета, утомительное, рабское соблюдение церемониала куда более чопорного, строгого и обременительного, чем этикет при дворе какого-нибудь германского электора. Место это следовало бы назвать национальной здравницей, но можно подумать, что пускают сюда только умалишенных. И поистине вы можете меня считать таковым, если я продлю свое пребывание в Бате. Своими размышлениями об этом я поделюсь с вами в другом письме.

Мне не терпелось поглядеть на хваленые постройки, которыми славится верхняя часть города, и на днях я обозрел все новые здания. Площадь, хотя и неправильной формы, расположена прекрасно, она просторна, открыта со всех сторон, и над ней гуляет ветерок; по моему мнению, эта площадь, в особенности ее верхняя часть, самое здоровое и привлекательное место в Бате, но улицы, ведущие к ней, узки, кривы, грязны и опасны. С купальным заведением она сообщается через двор гостиницы, где вас, хворого человека, трепещущего в своем портшезе, несут между двумя рядами лошадей, которые лягаются под скребницами грумов и форейторов, а кроме того, вы рискуете попасть под колеса карет, беспрерывно въезжающих во двор или выезжающих оттуда. Полагаю, когда несколько носильщиков будет изувечено, а несколько человек погибнут от несчастного случая,

городское управление возьмется за ум и позаботится о том, чтобы устроить более безопасный и удобный проезд.

Круглая площадь — хорошенькая безделушка; она разбита для услаждения взора и похожа на амфитеатр Веспасиана, вывернутый наизнанку. Ежели задать вопрос, величественна ли она, то надо признать, что множество маленьких дверей, принадлежащих отдельным домам, недостаточная высота зданий, несходных по архитектуре, вычурные украшения архитравов, неуместные и вместе с тем сделанные как будто детьми нижние дворики, окруженные решеткой и врезающиеся в улицу,— все это очень портит внешний вид Круглой площади, а если оценивать ее с точки зрения удобства, то мы найдем еще больше недостатков. Форма каждого жилого дома, являющегося отрезком круга, должна нарушить симметрию комнат, которые суживаются к окнам, выходящим на улицу, но расширяются в глубину.

Ежели бы вместо двориков и железных решеток, весьма мало полезных, вокруг площади устроили бы проход с аркадами, как на Ковент-гарден, общий вид ее был бы куда более величественным; к тому же под этими аркадами можно было бы гулять, а бедные носильщики вместе со своими портшезами могли бы там хорониться от дождя, который здесь почти не прекращается. А в настоящее время портшезы с утра до вечера стоят прямо на улице и мокнут, пока не превратятся в мокрые кожаные коробки для-ради пользы подагриков и ревматиков, которых перетаскивают в них с места на место. Такое возмутительное зрелище мы видим в городе повсюду, и я убежден, что этот порядок приносит огромный вред слабым и хилым. Даже в закрытых портшезах, назначенных для больных, после стоянки на открытом воздухе байковая обивка становится от сырости влажной, как губка; и эти ящики, полные холодных испарений, великолепно препятствуют выделению пота у больных, разгоряченных купаньем, после которого все поры у них открыты.

Но вернемся к Круглой площади. Ее местоположение крайне неудобно, ибо она находится вдали от рынков, купальных заведений и мест публичных увеселений. Единственная дорога к ней по Гэй-стрит такая затруднительная, крутая и скользкая, что в сырую погоду становится весьма опасной как для тех, кто едет в каретах, так и для пешеходов. Когда же улица покрыта снегом, что было в течение двух недель этой самой зимой, я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь мог подняться по ней или спуститься, не поломав костей. Мне расска-

зывали, что в ветреную погоду большинство домов на этом холме полны дыма; ветер, отраженный от другого холма, загоняет дым в дымоходы, почему, как я опасаюсь, воздух здесь должен быть более сырым и нездоровым, чем внизу, на Круглой площади. Ибо облака, образуемые постоянными испарениями с речек и бассейнов внизу, должны притягиваться и задерживаться холмом, поднимающимся тут же за Круглой площадью, а также непрерывно насыщать воздух туманом. Это можно легко доказать при помощи гигрометра либо бумаги, пропитанной раствором виннокаменной соли и подвергнутой действию воздуха.

Тот же самый архитектор, какой составлял план Круглой площади, задумал также план площади в виде полумесяца. Когда она будет кончена, возможно, мы получим еще звездную площадь, а те, кто будет жить лет через тридцать, узрят, быть может, в архитектуре Бата все знаки зодиака! Сколь сие ни фантастично, все же оно обнаруживает в архитекторе изобретательность и знания, но строительная горячка овладела таким количеством искателей легкой наживы, что новые дома вырастают в каждом переулке и закоулке Бата; затеянные без всякого смысла, ненадежно построенные, они лепятся друг к другу, нарушая план и порядок в такой мере, что линии новых улиц и новых зданий переплетаются и пересекают друг друга под самыми различными углами. Похоже на то, будто улицы эти и площади разворочены землетрясением, после которого остались холмы и ямы, либо какой-нибудь дьявол готики набил ими свой мешок и вытряхнул их как попало. Легко себе представить, каким чудищем станет Бат через несколько лет, если он будет все более разрастаться.

Но некрасивый внешний вид и несоразмерность частей — это еще не самое худшее в новых зданиях; они построены так ненадежно, из такого рыхлого камня, залежи коего есть в окрестностях, что ни в одном доме я не могу спать спокойно, когда дует, как говорят моряки, «легкий бриз», и я убежден, что моему слуге Роджеру Уильямсу или такому же сильному человеку ничего не стоит пробить ногой самую толстую стену в этих домах. Все эти нелепости суть последствия всеобщего стремления к роскоши, которое обуревает всю нацию и даже ее подонки.

Каждый разбогатевший выскочка, напялив модный костюм, выставляет себя напоказ в Бате, где, как в фокусе, лучше всего производить наблюдения. Чиновники и дельцы из Ост-Индии, нажившие немало добра в разграбленных землях, плантаторы,

надсмотрщики над неграми, торгаши с наших плантаций в Америке, не ведающие сами, как они разбогатели; агенты, комиссионеры и подрядчики, разжиревшие на крови народа в двух следующих одна за другой войнах; ростовщики, маклеры и дельцы всех мастей; люди без роду, без племени — все они вдруг разбогатели так, как не снилось никому в былые времена, и нечего удивляться, если в их мозги проник яд чванства, тщеславия и спеси. Не ведая никакого другого мерила величия, кроме хвастовства богатством, они растрачивают свои сокровища без вкуса и без разбора, не останавливаясь перед самыми сумасбродными затеями, и все они устремляются в Бат, ибо здесь, не обладая никакими иными заслугами, они могут водиться с нашими вельможами.

Даже жены и дочери мелких торговцев, охотящиеся, точно плосконосые акулы, за жиром сих неуклюжих китов фортуны, заражены той же страстью покичиться; малейшая хворь служит им поводом для поездки в Бат, где они могут ковылять в контрдансах и котильонах среди захудалых лордов, сквайров, адвокатов и клириков. Эти хрупкие создания из Бедфордбери, Батчер-роу, Крачд Фрайерс и Ботолф-лейн не могут дышать тяжелым воздухом нижней части города или мириться с простым обиходом заурядных гостиниц; посему их мужья должны позаботиться о найме целого дома или богатой квартиры в новых домах.

Таково общество в Бате, которое именуется «светским». Здесь немногие порядочные люди теряются в наглой толпе, лишенной понятия и ровно ничего не смыслящей в приличиях и благопристойности; и ничто не доставляет ей такого удовольствия, как издеваться над теми, кто выше ее.

И вот количество людей и домов продолжает возрастать, и этому конца не видно, разве только ручьи, питающие сей неодолимый поток сумасбродств и нелепостей, иссякнут либо пойдут другим руслом вследствие какой-нибудь случайности, которую я не берусь предсказывать. Об этом предмете, созна́юсь вам, я не могу писать мало-мальски спокойно, ибо чернь — чудовище, которое всегда мне было противно,— и голова его, и хвост его, и брюхо, и конечности. Я ненавижу его как олицетворение невежества, самонадеянности, злобы и жестокости; но не меньше осуждаю я всех лиц обоего пола, независимо от их звания, положения и состояния, которые ему подражают и перед ним заискивают.

Но я дописался до того, что пальцы у меня скрючились и мне становится тошно. По вашему совету я послал в Лондон

несколько дней назад за полуфунтом женьшеня, хоть я и сомневаюсь, такое ли действие оказывает женьшень, ввозимый из Америки, как женьшень ост-индский. Несколько лет назад мой приятель заплатил шестнадцать гиней за две унции, а спустя полгода женьшень продавался в лавке по пяти шиллингов за фунт. Короче говоря, мы живем в мире обмана и подделок.

Итак, я не знаю ничего равноценного подлинной дружбе умного человека — какая это редкая драгоценность! — каковой дружбой, мне кажется, я обладаю, и повторяю прежнее свое уверение в том, что остаюсь, дорогой мой Льюис, любящим вас

*М. Брамблом.*

*Бат, 23 апреля*

Когда я сюда приехал, меня привела в волнение разразившаяся буря, и я снял небольшой дом на Милшем-стрит, где и поселился весьма удобно за пять фунтов в неделю. Вчера я был в галерее минеральных вод и выпил около пинты воды, которую, кажется, мой желудок принял хорошо. Завтра утром я впервые буду купаться, и посему с одной из ближайших почтовых карет вы можете ожидать неприятного письма. Очень рад узнать, что прививка оспы бедняжке Джойс пошла ей на пользу и на лице ее останется мало оспин. Ежели бы мой друг сэр Томас был холостяком, я не послал бы к нему в дом такую хорошенькую девушку; но поскольку я особливо поручил ее попечению леди Г., одной из лучших женщин на свете, она может без колебаний туда идти, как только оправится и сможет служить. Дайте ее матери денег, дабы та снабдила ее всем необходимым, а она может ехать верхом позади своего брата на Боксе, но строго накажите Джеку, чтобы он заботился о верном старом коне, который своей прежней службой честно заслужил теперешний отдых.

*Мисс Уиллис, в Глостер*

Моя любезная подруга!

Не могу выразить словами, сколь обрадовалась я вашему письму, которое было вручено мне вчера. Любовь и дружба, несомненно, прекрасные чувства, а разлука помогает лишь тому, чтобы они стали крепче и сильней. Ваш милый подарок — гранатовые браслеты — я буду хранить так же бережно, как жизнь свою, и прошу вас принять в благодарность от меня мою

рабочую шкатулку и памятную книжечку в черепаховом переплете как скромный залог неизменной моей привязанности.

Бат для меня — это новый мир. Все здесь веселы, благодушны, все здесь развлекаются. Роскошь нарядов и уборов непрестанно радует взор, а слух услаждает шум карет, колясок, портшезов и других экипажей. «Веселые колокольчики звенят» с утра до ночи. Затем нас приветствуют в нашем доме уличные музыканты. Каждое утро музыка в галерее минеральных вод, до полудня котильоны в зале ассамблей, балы два раза в неделю и концерты по вечерам, а также собрания в частных домах и танцевальные вечера без конца.

Как только мы устроились в нанятом нами помещении, нас посетил церемониймейстер, миловидный маленький джентльмен, такой приветливый, такой любезный, такой учтивый и обходительный, что в наших краях он мог бы сойти за принца Уэльского. А говорит он так очаровательно и стихами и прозой, что вы пришли бы в восторг, слушая его речи, ибо да будет вам известно, что он великий писатель и у него есть пять трагедий, готовых для театра. Он оказал нам честь, отобедав с нами по приглашению моего дядюшки, а на следующий день сопровождал тетушку и меня, показывая все уголки Бата, который поистине является земным раем. Круглая площадь и Променады приводят на память роскошные дворцы, какие изображены на гравюрах и картинах, а новые дома на Пренс-роу, Арлекин-роу, Бледуд-роу и на двадцати других проспектах похожи на волшебные замки, воздвигнутые на висячих террасах.

В восемь часов утра мы в дезабилье отправляемся в галерею минеральных вод, где теснота такая же, как на валлийской ярмарке; и здесь вы можете наблюдать самых знатных особ и самых мелких торговцев, которые без церемоний проталкиваются вперед. Музыка, играющая в галерее, духота и запах, который исходит от такой толпы, а также гул голосов вызвали у меня в первый день головную боль и дурноту, но потом все это стало привычным и даже приятным.

Под самыми окнами галереи минеральных вод находится Королевский бассейн — громадный водоем, где вы можете наблюдать больных, погруженных по самую шею в горячую воду. На леди надеты коричневые полотняные кофты и юбки и плетеные шляпы, в которые они прячут носовой платок, чтобы утирать пот с лица; но то ли от окружающего их пара, то ли от горячей воды или от их костюма, а может быть, от всего вместе взятого вид у них такой разгоряченный и устрашающий, что я всегда отвожу от них взгляд.

Тетушка утверждала, будто каждая светская особа должна появиться в бассейне, так же как в церкви аббатства, и смастерила чепец с вишневого цвета лентами под цвет своего лица, а вчера утром заставила Уин погрузиться вместе с нею в воду. Но, право же, глаза у тетушки были такие красные, что я прослезилась, когда смотрела на нее из галереи. Что до бедной Уин, которая надела шляпу, обшитую синим, то серое ее лицо и страх придали ей сходство с призраком какой-то бледной девы, утопившейся из-за несчастной любви. Выйдя из бассейна, она приняла капли ассафетиды, весь день была в расстройстве чувств, и мы едва могли помешать тому, чтобы она не впала в истерику. Но хозяйка ее говорит, что это пойдет ей на пользу, и бедная Уин приседает со слезами на глазах. Мне же довольно того, что каждое утро я выпиваю примерно полпинты воды.

За стойкой распоряжается человек вместе со своей женой и служанкой, перед ними выстроены в ряд стаканы разных размеров; вам остается только указать на любой из них, и его немедленно наполняют горячей, с пузырьками, водой из источника. Горячая вода всегда вызывает у меня тошноту. Однако здешняя вода не только не вызывает ее, но даже довольно приятна на вкус, полезна для желудка и оказывает живительное влияние на расположение духа. Вы и вообразить себе не можете, сколь удивительна ее целебная сила. На днях дядюшка начал пить ее, но при этом делал гримасы, и я опасаюсь, как бы он от нее не отказался. В первый день по приезде в Бат его обуял ужасный гнев, он избил двух арапов, и я боялась, что он завяжет драку с их хозяином, но незнакомец оказался человеком миролюбивым. Как заметила тетушка, подагра бросилась дядюшке в голову, но, полагаю, припадок гнева изгнал ее оттуда, так как с той поры он чувствовал себя замечательно хорошо. Какая жалость, что он страдает этим ужасным недугом! Ибо когда боли у него прекращаются, он самый благодушный человек в мире, такой мягкий, такой щедрый, такой добросердечный, что все его любят; ко мне же он в особенности так добр, что никогда не сумею я выразить глубокое чувство благодарности за его нежную любовь.

Возле галереи минеральных вод находится кофейня для леди, но, по словам тетушки, молодых девиц туда не пускают, так как там ведут разговор о политике, скандальных происшествиях, философии и других предметах, недоступных нашему пониманию. Но нам разрешают сопровождать леди в лавки книгопродавцев — очаровательные местечки, где мы читаем романы, пьесы, памфлеты и газеты за весьма малую плату —

крона за три месяца, и в этих прибежищах разума (как называет их мой брат) мы первыми узнаем все новости и все приключения в купальнях. Покинув книжную лавку, мы совершаем обход модисток и торговцев безделушками, после чего всегда заходим к мистеру Джилу, кондитеру, подкрепиться желе, тортом или пудингом.

На другом берегу реки, против рощи, есть еще одно место для увеселений, куда общество переправляется в лодках. Называется оно Сады минеральных вод, прелестный уголок с аллеями, прудами и цветниками, и есть там длинный зал для завтраков и танцев. Так как местность эта низменная и сырая, а погода стоит очень дождливая, дядюшка, боясь, что я схвачу простуду, не разрешает мне бывать там. Но тетушка говорит, что это пустой предрассудок, и в самом деле, очень многие джентльмены и леди из Ирландии посещают это место и как будто чувствуют себя не хуже, чем раньше. По их словам, танцы в Садах минеральных вод, где воздух влажен, предписаны им как превосходное целебное средство от ревматизма. Два раза я была на театральных представлениях, где, несмотря на прекрасную игру актеров, веселое общество и очень красивые декорации, я невольно вспомнила со вздохом наши бедные, скромные представления в Глостере. Но пусть моя милая мисс Уиллис сохранит сие в тайне. Вы знаете мое сердце и извините его слабости.

Главным же местом для развлечений в Бате служат две публичные залы; там, то в одной, то в другой — каждый вечер собирается общество. Залы просторные, высокие и, когда зажжены огни, оставляют сильное впечатление. Обычно они битком набиты нарядными посетителями, которые, разбившись на группы, пьют чай, играют в карты, прогуливаются или же сидят и беседуют, как кому угодно. Дважды в неделю дают балы, а оплату расходов добровольно берут на себя джентльмены по подписке, и каждый подписчик получает три билета. В прошлую пятницу я была на таком балу вместе с тетушкой в сопровождении моего брата, который состоит подписчиком, и сэр Улик Маккалигут представил мне кавалера — своего племянника капитана О'Донагэна, но Джерри просил извинить меня, сказав, что у меня болит голова. В самом деле, так оно и было, хотя я понять не могу, как он об этом узнал.

В зале было так жарко, а воздух столь непохож на тот, которым мы привыкли дышать в деревне, что меня начала трясти лихорадка, когда мы вышли. Тетушка объясняет это особенностями моей натуры, огрубевшей среди лесов и гор, и

говорит, что это пройдет, когда я привыкну к благородному обществу.

Сэр Улик был весьма учтив, наговорил тетушке множество цветистых комплиментов, а когда мы удалились, усадил ее с большими церемониями в портшез. Кажется, капитан не прочь был оказать мне такую же услугу, но мой брат, завидев его, взял меня под руку и пожелал ему доброй ночи. Конечно, капитан — красивый мужчина, высокий, стройный и хорошо сложенный, со светло-серыми глазами и римским носом, но во взорах его и обращении есть что-то дерзкое, приводящее в замешательство.

Но боюсь, что я истощила ваше терпение этим длинным, бессвязным, писанным каракулями письмом, которое я потому и заканчиваю, и уверяю вас, что ни Бат, ни Лондон, ни все светские развлечения никогда не изгладят образа моей дорогой Летти в сердце вечно ее любящей

*Лидии Мелфорд.*

*Бат, 26 апреля*

*Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Дорогая Молли Джонс!

Я достала франкованное письмо и отвечаю на ваше письмо, его я получила в Горячих Водах от мистера Хиггинса вместе с чулками, сработала их для меня его жена, но толку от них никакого. В здешних местах никто таких не носит. Ох, Молли! Живете вы в деревне, и куда уж вам понять наше житье в Бате! Боже ты мой, как здесь рядятся, играют, танцуют, гуляют, ухаживают, антриги строят. Кабы не сделал меня господь такой скромной, много бы я могла порассказать о старой хозяйке, да и о молодой тоже; евреи с бородами, которые вовсе не евреи, а красивые христиане без единого волоска на бороде, бродят тут с очками, чтобы молвить словечко мисс Лидди. Но она такая душечка, невинная, как грудной младенец. Она мне все свои скрытные мысли открыла и призналась в страстной любви к мистеру Уилсону, но что его вовсе не так зовут, и хотя он играл с комедянтами, но хозяевам он ровня. Она мне подарила желтую мантельку, а миссис Драб, швея, говорили, что она будет хоть куда, надо ее почистить и прокурить серой. Вы знаете, желтый цвет очень к лицу моей физономии. Бог свидетель, какой я переполох вызову в мужеском поле, вот только покажусь

Т. Смоллет, «Путешествие Хамфри Клинкера»

в богатом воротнике и в полном наряде из газа, совсем как новом, я в прошлую пятницу купила у французинки-модистки мадам Фрипоно.

Милая моя, перевидела я всякие красоты в Бате — Променаты, площади круглые, полукруглые, преспекты и всякие дома, а два раза я лазила с хозяйкой в басейну, и на спине у нас ничего не было. В первый раз я страсть как испужалась и весь день была в трехволнениях, а потом притворилась, будто у меня голова трещит, но хозяйка сказала, что коли я не пойду, то должна принять рвотного. Я-то помнила, каково пришлось миссис Гуиллим, когда она приняла его на одно пенни, и решила уж лучше полезть с ней в басейну, и приключился там со мной грех. Я обронила юбку и не могла достать ее с самого дна. Но что за беда? Пускай себе люди смеялись, но увидеть-то они ничего не могли, потому что я стояла под самый под подбородок в воде. Правда, уж так я себя не помнила, что не знаю, что говорила и что делала, и как меня оттуда вытащили и завернули в одеяла. Мисс Табита малость поругала меня, когда мы вернулись домой, но она-то знает, что я тоже кое-чего знаю.

Да помилует нас господь! Есть тут такой сэр Ури Милигут из Балналинча, графство Каловай,— я это записала от его камердина, мистера О'Фризла, и этот сэр Ури получает со своего именья полторы тысячи в год,— и уж, конечно, он и богатый и щедрый. Но вы-то знаете, Молли, что я всегда была горазда держать секреты, значит, он мог преспокойно поверять мне все о своей племенной страсти к моей хозяйке, а уж что и говорить, страсть у него почтенная, потому как мистер О'Фризл уверяет, что ему наплевать на ее приданое. И взаправду, что значит жалкие десять тысяч для такого богатейшего барона? Вот я и сказала мистеру О'Фризлу, что у нее за душой ничего больше нет. А что до Джона Томаса, так он ужас какой. Поверите, я думала, он подерется с мистером О'Фризлом, когда он пригласил меня потанцевать с ним в Садах генеральных вод. Но богу известно, я и думать не думаю ни о том, ни о другом.

А домашняя новость — самая худая, что Чаудер болеет животом, он кушает одно белое мясо, да и того по малости, и притом еще храпит и как будто раздулся. Доктора говорят, ему угрожает водянка. У приходского священника Мэроуфета такая же болесть, ему оченно помогают здешние воды, но Чаудеру они, видно, так же не по вкусу, как и нашему сквайру. А хозяйка говорит, коли ему не полегчает, так она непременно повезет его в Аберганни пить козью сыворотку. Что и говорить, бедное животное совсем пропадает здесь без моцивона, а потому

она хочет каждый день вывозить его на прогулку в парчезе на Данс. У меня завелись самые что ни на есть лучшие знакомые в здешних местах, а тут у нас самые сливы обчества. Мы с миссис Патчер, горничной миледи Килмакуллок, все равно что родные сестры. Она мне открыла все свои секреты, научила, как стирать газ и обмолодить порыжелый шелк и бамбазин — их надо прокипятить с уксусом и прокислым пивом. Мой короткий сак и передник теперь как новые, точно из лавки, а я помыла мой помпудур в черепаховой воде, и он стал как роза свежий. Но у вас, Молли, нет на все это понятия. Коли мы поедем в Аберганни, мне до вас будет только день пути, и тогда, бог даст, мы свидимся. А коли нет, то поминайте меня в своих молитвах, как и я вас поминаю; поберегите мою кошечку и поцелуйте за меня Саулу. И вот пока это все от вашей возлюбленной подруги и слуги

*Уинифред Дженкинс.*

*Бат, 26 апреля*

### *Миссис Гуиллим, домоправительнице в Брамблтон-Холле*

Я удивлена, что доктор Льюис взял да отдал олдернейскую корову, не подумав спросить меня. Да разве приказания брата чего-нибудь стоят? Мой брат почти что выжил из ума. Он готов отдать последнюю рубашку со спины и зубы изо рта. Да уж коли на то пошло, он разорил бы свое семейство дурацкой благотворительностью, не будь у меня моего капитала. Из-за его упрямства, мотовства, капризов и раздражительного нрава я точно в кабале какой. С той поры как теленка послали на рынок, олдернейская корова давала по четыре галлона в день. Вот сколько молока потеряла моя молочная ферма, и пресс должен стоять без дела. Но я не желаю терять ни одной сырной корки, и я свое наверстаю, если служанки будут обходиться без масла. А если уж они непременно хотят масла, то пускай сбивают его из овечьего молока. Но тогда я потеряю на шерсти, потому что овцы будут не такие жирные, а, значит, я все равно останусь в убытке. Да, терпенье можно сравнить с крепким валлийским пони: многое он вынесет и будет себе бежать да бежать, а в конце концов все-таки выбьется из сил. Может быть, скоро я докажу Матту, что родилась на свет не для того, чтобы до самой смерти быть в его доме последней служанкой.

Гуин пишет из Крикхоуэла, что цена на фланель понизилась

на три фартинга за эл; вот еще одно пенни вытащили у меня из кармана. Если я отправляю продать что-нибудь на рынке, мой товар, изволите видеть, воняет; но если я хочу купить самую что ни на есть простую вещь, продавец сует мне под нос и цены не может сложить.

Думаю, что в Брамблтон-Холле все идет вкривь и вкось. Вы пишете, что гусак разбил яйца, а уж такого феноменона я вовсе не понимаю, потому что в прошлом году, когда гусыню утащила лиса, он занял ее место, высидел яйца и защищал гусенят, как нежный родитель.

Еще пишете вы мне, что от грома скисли две бочки пива в погребе, но я понять не могу, как пробрался туда гром, если погреб заперт на два замка? Ну да все равно, я и слышать не хочу, чтобы пиво вылили, пока я не увижу его собственными глазами. Может, оно еще отойдет, а на худой конец дам его слугам вместо уксуса.

Вы можете перестать топить камин в спальне моего брата и в моей, потому что еще неизвестно, когда мы воротимся.

Я надеюсь, вы позаботитесь, Гуиллим, чтобы в доме ничего не тратили зря, присматривайте за служанками и следите, чтобы они сидели за пряжей. Думаю, что в жаркую погоду они могут обойтись и без пива: оно только горячит кровь, и они сходят с ума по мужчинам. Вода пойдет им на пользу для красоты лица, и они остынут и поутихнут.

Не забудьте положить в мое портманто, которое привезет Уильямс, мой выездной костюм, а также шляпу и перо, а также флакон с земчужной водой и настойку для желудка, потому что я очень страдаю от бурления газов. И пока на этом кончаю и остаюсь ваша

*Табита Брамбл.*

*Бат, 26 апреля*

*Доктору Льюису*

Дорогой Дик!

Я уже покончил с водами, поэтому ваш совет пришел на день позже. Признаю, что медицина — тайна, созданная не вами. Я знаю, что она сама по себе тайна и, как все тайны, требует изрядного глотка веры, дабы она не застряла в горле.

Два дня назад по совету моего друга Ч. я пошел в Королевский бассейн очистить поры кожи, чтобы помочь выделению пота, и первое, что я увидел, был ребенок, весь покрытый

золотушными язвами, которого слуга нес на руках под самым носом купающихся. Это зрелище так меня потрясло, что я немедленно ушел с негодованием и отвращением. Подумайте только— гной из этих язв, плавая в воде, соприкоснется с моей кожей, когда поры открыты!! Каковы будут последствия? Боже правый, от одной этой мысли у меня кровь стынет в жилах! Мы не имеем понятия, какие болячки омываются в воде и какого рода гной может в нас проникнуть: из золотушных язв или цинготных, раковых или оспенных, а от жары заразительный яд становится еще более летучим и прилипчивым. Дабы очиститься от подобной скверны, я отправился в частную купальню герцога Кингстона, где чуть не задохнулся от недостатка воздуха: купальня там весьма мала, а испарения слишком удушливы.

Кстати сказать, если кто хочет только помыться, я убежден, что простая вода более полезна, чем насыщенная солями и железом, которая является вяжущей, стягивает поры и образует на теле нечто вроде корки.

Но теперь я опасаюсь не только купаться, но и пить во́ды, ибо после длительной беседы с доктором об устройстве насоса и водоема я не уверен, не глотают ли посетители галереи минеральных вод обмывки купальщиков. У меня есть подозрение, что вода из купальни просачивается в водоем. А в таком случае ну и лакомое же питье получают ежедневно больные: питье, смешанное с потом, грязью, перхотью и разнообразными отвратительными выделениями двух десятков тел, распаренных внизу, в купальне.

Желая избежать этой грязной смеси, я наведался к источнику, снабжающему водой частную купальню на Аббей Грин. Но тут я сразу обратил внимание на странный вкус и запах воды, а расспросив кое-кого, выяснил, что, когда отрыли в этом месте римские бани, нашли над ними старинное кладбище, принадлежавшее аббатству, и, по-видимому, вода просачивалась сквозь эту землю. Итак, ежели в галерее минеральных вод мы пьем отвар из тел живых людей, в частной купальне мы глотаем жидкость, пропущенную сквозь сгнившие скелеты. Клянусь богом, от этой мысли меня тошнит!

Порешив больше не пользоваться батскими минеральными водами, я не стал бы беспокоиться, если бы только мог найти для утоления жажды нечто более чистое и менее вредное; но, невзирая на ключи превосходной воды, бьющие по склонам холмов, нас окружающих, жители большей частью пользуются минеральной водой из источника, столь насыщенной селитрой, квасцами и другими минералами, что эта вода неприятна на

вкус и вредна для здоровья. Впрочем, здесь, на Милшем-стрит, у нас есть дополнительный — правда, ненадежный и скудный — источник воды, текущей с холма и собираемой в открытый водоем на Круглой площади, которому угрожает загрязнение, ибо здешние жители способны швырять в него из озорства или по невежеству дохлых собак, кошек, крыс и всякую дрянь.

Ни один народ не пьет так по-свински, как англичане.

То, что именуется у нас вином, это отнюдь не сок виноградный. Это поддельная смесь из тошнотворных составных частей, приготовляемая остолопами, невеждами в составлении ядов; однако и наши предки отравлялись, и мы отравляемся этим проклятым пойлом, лишенным и вкуса и запаха. Единственные натуральные и полезные напитки в Англии — лондонский портер и дорчестерское столовое пиво, а ваш эль и джин, ваш сидр и грушовку и все виды искусственных вин я ненавижу, как адское зелье, созданное на погибель рода человеческого.

Но какое мне дело до рода человеческого? Есть у меня несколько друзей, а все остальные пусть убираются к...

Ей-ей, Льюис, моя мизантропия с каждым днем усиливается: чем дольше я живу, тем больше для меня невыносимы глупость и хитрости человеческие. Жалею, что уехал из Брамблтон-Холла. Слишком долго я прожил в уединении и не могу выносить людской суеты и наглости, а кроме того, в этих модных местах все насквозь фальшиво. Во всем, что мы едим и пьем, нас подстерегают ловушки; самый воздух, коим мы дышим, полон заразы. Даже спать мы не можем, не рискуя заразиться. Я говорю «заразиться» — ведь здесь сборище больных, а вы не станете отрицать, что многие болезни заразительны, даже чахотка очень заразительна. Когда кто-нибудь умирает от чахотки в Италии, кровать и постельное белье уничтожают, остальные вещи выносят на свежий воздух, помещение белят заново, прежде чем в нем поселится другое человеческое существо. Вы должны признать, что легче всего зараза прилипает к одеялам, перинам и тюфякам и дольше всего в них гнездится. Черт возьми! Откуда я знаю, какие несчастные создания обливались пóтом в постели, в которой я теперь лежу? Удивительно, как это вы, Дик, не надоумили меня послать за моими собственными тюфяками? Разумеется, не будь я ослом, я не нуждался бы в таком напоминании. Всегда мне на ум приходит какая-нибудь мысль, которая рисует меня в невыгодном свете и приводит в расстройство мои чувства. А потому переменим тему.

У меня есть другие причины сократить свое пребывание в Бате.

Вам знаком нрав моей сестры Табби; если бы мисс Табита Брамбл не была мне сестрой, я, поверьте, счел бы ее самой... Но она нашла способ завоевать мое расположение, или, вернее, была обязана им предрассудку, каковой обычно называется «узы крови». Так вот эта любезная девица затеяла любовную игру с ирландским баронетом шестидесяти пяти лет. Зовут его сэр Улик Маккалигут. Говорят, что он голодранец, и я думаю, кто-то ввел его в заблуждение касательно ее богатства. Как бы там ни было, но отношения их весьма забавны, и о них уже начинают шептаться.

Что до меня, то я не собираюсь вмешиваться, пусть поступает, как ей вздумается, хотя я и найду способ открыть глаза ее воздыхателю на тот предмет, каковой он главным образом имеет в виду. Не думаю, впрочем, что ее поведение может служить достойным подражания примером для Лидди, которая также привлекает внимание повес в залах Бата, а Джерри мне сообщил, что он подозревает одного статного парня, племянника баронета, в замыслах овладеть девичьим сердцем. Посему я не спущу глаз ни с нее, ни с ее тетушки и, буде положение станет серьезным, разом все изменю. Можете вообразить, сколь это приятное занятие для такого человека, как я, иметь на своем попечении подобных особ!

Но довольно! До следующего раза вы больше не услышите ни одного брюзгливого слова от вашего

*М. Брамбла.*

*Бат, 28 апреля*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой баронет!

Я полагаю, не правы те, кто жалуется, будто Бат — слишком узкая арена, на которой разыгрываются одни и те же скучные сцены. Напротив, меня очень удивило, что такое местечко изобилует столь разнообразными развлечениями. Даже в самом Лондоне не найдешь увеселений, подобных коим нельзя было бы отыскать в Бате, в дополнение к тем, какие можно найти только в этом городке. Здесь, к примеру, можно ежедневно наблюдать самых достопримечательных людей. Их можно увидеть в натуральном виде, без всяких прикрас, сошедшими с пьедестала, без масок, созданных искусством или притворством.

Здесь мы найдем министров, судей, генералов, епископов, прожектеров, философов, остроумцев, поэтов, актеров, аптекарей, уличных музыкантов, балаганных шутов. Если пробыть здесь долго, непременно встретишь близкого приятеля, которого не ожидал увидеть никак, а для меня нет ничего более приятного, как эти неожиданные встречи. В Бате можно найти еще одно своеобразное развлечение благодаря тому, что здесь в публичных залах смешиваются представители всех сословий без различия положения и состояния. Дядюшка это осуждает, ибо видит в этом чудовищное смешение самых разнообразных убеждений, пошлую толпу, шумную и наглую, не соблюдающую приличий и непочтительную. Но этот хаос нравится мне весьма.

На вчерашнем бале я очень позабавился, увидев, как церемониймейстер торжественно провожает на почетные места престарелую Эбигейл, надевшую на себя платье, которое уже перестала носить ее госпожа; мне кажется, церемониймейстер принял ее за графиню, только что прибывшую на воды.

Бал был открыт шотландским лордом с мулаткой, богатой наследницей с острова Сент-Кристофер, а нарядный полковник Тинзел весь вечер танцевал с дочерью известного торговца скобяными товарами из Саутуорка в Лондоне. Вчера утром в галерее я видел, как владетельница поместья из Уэппинга, страдающая одышкой, протискивалась сквозь группу пэров, чтобы приветствовать своего поставщика бренди, стоявшего, опираясь на костыли, у окна, а какой-то параличный законник с Шу-лейн, волоча ноги по пути к стойке, лягнул прямо в голень английского канцлера, покуда его лордство в коротком парике пил воду у источника. Удовольствие, каковое я получаю от наблюдения подобных сцен, я могу только объяснить тем, что они сами по себе очень забавны и усугубляют смехотворность жизненной комедии, которой я решил наслаждаться как можно дольше.

Все эти нелепости, от которых хандра моего дядюшки усиливается, вызывают у меня смех. Дядюшка подобен человеку, лишенному кожи, который не может выносить ни малейшего прикосновения, чтобы не отпрянуть. Для другого — щекотка, для него — мучение, однако же и у него бывают светлые минуты, когда рассудок, можно сказать, у него проясняется и он веселится вовсю.

Право же, я никогда не видел второго такого ипохондрика, которого столь заражало бы хорошее расположение духа другого человека. Он самый смешливый мизантроп, которого

я встречал. Удачная шутка, а не то какой-нибудь забавный случай заставляют его хохотать без удержу даже во время приступов хандры, а когда припадок смеха проходит, он проклинает свою собственную глупость. В обращении с людьми чужими он не проявляет никаких признаков возбуждения, желчен он только с близкими людьми, но и с ними только тогда, когда ничем не занят. Но когда ничто внешнее не привлекает его внимания, он как бы замыкается в себе и сам себя грызет.

Он с отвращением отверг лечение водами, но нашел более целебное лекарство в публичных увеселениях. Среди инвалидов Бата он встретил нескольких старых своих приятелей и, в частности, возобновил знакомство с прославленным Джемсом Куином, который, без сомнения, приехал сюда не для того, чтобы пить воды. Можете не сомневаться, что я весьма любопытствовал узнать поближе этого чудака. И любопытство было удовлетворено мистером Брамблом, который дважды приглашал его к нам на обед.

Насколько я могу судить, личность Куина более почтенна, чем принято о ней говорить. Его меткие словечки на устах у всех остряков; но многие из этих словечек имеют соленый привкус, что заставляет считать, будто у него грубые понятия. Однако же я полагаю, что собиратели «куинианы» несправедливы к автору ее, ибо они упускают меж пальцев лучшие словечки и удерживают только те, которые приходятся по вкусу толпе. Как далеко он может зайти в часы разгула, я не берусь судить, но обычная его беседа подчинена самым строгим правилам благопристойности, и, несомненно, мистер Джемс Куин может почитаться одним из самых благовоспитанных людей в королевстве. Он не только самый приятный собеседник, но, как мне достоверно известно, человек очень достойный: дружелюбный, пылкий, надежный, даже самоотверженный в своих привязанностях, ненавистник лести, неспособный на какую-нибудь низость и притворство.

Однако если бы я судил только по внешнему виду Куина, я почел бы его гордым, дерзким и жестокосердным. В его взгляде есть что-то чрезвычайно суровое, неприятное, и мне говорили, будто он способен оскорблять тех, кто ниже его и от него зависит. Быть может, это сообщение и повлияло на мое суждение о его внешнем виде. Вы ведь знаете, какие мы глупцы, когда попадаем во власть предрассудков. Но как бы то ни было, я могу сказать о нем только благоприятное для него, а дядюшка, который часто разговаривал с ним с глазу на глаз, объявил, что он один из самых умных людей.

По-видимому, Куин питает взаимное уважение к старому подагрику, которого он называет запросто «Мэтью», и не раз вспоминает об их старых трактирных приключениях. И когда бы Куин ни появлялся, глаза у Мэтью сверкают. Как бы дядюшка ни скрипел и ни дребезжал, Куин может настроить его на лад, и, подобно дисканту и басу в концерте, они прекрасно спелись.

На днях зашел разговор о Шекспире, и я не удержался, чтобы не сказать с чувством, что готов заплатить сотню гиней за удовольствие увидеть мистера Куина в роли Фальстафа; на это он, повернувшись ко мне, с улыбкой ответил:

— А я, молодой джентльмен, дал бы тысячу гиней, чтобы удовлетворить ваше желание.

У обоих — у дядюшки и у него — совершенно одни и те же суждения о жизни, которая, по словам Куина, воняла бы и ударяла ему в нос, если бы он не смачивал ее кларетом.

Я хочу видеть этого феномена во хмелю и почти уговорил дядюшку угостить его в «Медведе». А теперь я должен поведать вам об одном происшествии, которое как бы подтверждает мнение этих двух циничесих философов.

Я имел смелость разойтись во мнениях с мистером Брамблом, когда он заметил, что смешение людей разных званий, которое мы наблюдаем здесь в местах публичных увеселений, пагубно для порядка и для учтивого обхождения и что это смешение побуждает плебеев быть невыносимо дерзкими и назойливыми, а также делает грубыми поведение и чувства тех особ, которые вращаются в высших сферах общества. По словам дядюшки, такое нелепое соединение неминуемо вызовет презрение к нам всех наших соседей и принесет нации больше вреда, чем порча золотой монеты. Я, напротив, заявил, что те плебеи, которые столь ловко заимствуют наряды особ высокого звания, со временем позаимствуют также их суждения и манеры, приобретут лоск благодаря беседам с ними и по их образцу; когда же я отнесся к мистеру Куину и спросил, не думает ли он, что такое смешение окажет благодетельное влияние на всех, он сказал:

— Да... Как блюдце с вареньем окажет благодетельное влияние на горшок с пометом.

Сознаюсь, я не могу почесть себя весьма сведущим в жизни большого света, но все же мне пришлось присутствовать на так называемых «светских» ассамблеях в Лондоне и в других местах; в Бате таковые ассамблеи ничем от них не отличны, а участников здешних ассамблей нельзя упрекнуть в отсутствии хороших манер и в неведении приличий.

— Но возьмем, к примеру,— сказал я,— Джека Холдера, который готовился стать клириком, но после смерти старшего брата унаследовал имение, приносящее две тысячи фунтов в год. Ныне он в Бате и разъезжает в фаэтоне, запряженном четверкой, под звуки охотничьих рогов. Во всех тавернах Бата и Бристоля он угощает своих гостей черепахой и кларетом, покуда они не насытятся яствами по горло. Он купил дюжину роскошных костюмов по выбору церемониймейстера, попечению коего он себя вверил. Он проиграл на бильярде несколько сот фунтов мошенникам и взял на содержание девицу с Эйвон-стрит; но его советчик, полагая, что всеми этими средствами не удастся исчерпать его текущего счета, подбил его устроить завтра в зале Уилтшира званый чай. Дабы придать этой затее больший блеск, на каждом столе будут красоваться цветы и сласти, к которым, однако, нельзя будет прикасаться, покуда не прозвучит колокол, а тогда уж леди могут дать себе полную волю. Это будет неплохой способ распознать воспитанность гостей...

— Я погляжу на этот опыт! — воскликнул дядюшка.— Если мне удастся выбрать местечко, чтобы водоворот не закрутил меня, чего надо опасаться, я буду там и позабавлюсь сим зрелищем.

Куин посоветовал отправиться на галерею, где сидят музыканты, и мы порешили последовать его совету.

Холдер отправился туда раньше нас, припрятав свои охотничьи рога, но нам не чинили препятствий. Чай отпили, как обычно, и в ожидании сигнала к атаке гости встали из-за столов и стали прогуливаться, а когда колокол зазвонил, они ринулись к десерту, и началось столпотворение. Какая была давка, какая свалка, как все хватали, ругались, визжали! Букеты вырывали друг у друга из рук, срывали с груди; чашки и стаканы полетели на пол; столы и пол усеяны были конфетами. Гам, проклятья, в ход были пущены тропы и фигуры с Биллингсгейта во всем их натуральном виде, и эти цветы риторики сопровождались соответственными жестами. Одни щелкали пальцами, другие показывали шиши, третьи хлопали себя по заду, в конце концов женщины вот-вот готовы были вцепиться друг другу в волосы, и все предвещало всеобщее побоище, когда Холдер отдал приказ своим охотничьим рогам трубить, чтобы распалить участников свалки и подзадорить их к бою.

Однако этот маневр привел отнюдь не к тем последствиям, каких он ожидал; они поняли его как упрек, который немедленно заставил их опомниться и почувствовать, сколь непри-

стойно они себя повели. Тут они устыдились своего нелепого поведения, и сразу все стихло. Они собрали все свои шляпки, плоеные манжеты и платочки, и многие из них молча удалились, весьма огорченные.

Это приключение заставило Куина хохотать, но деликатные чувства дядюшки были потрясены. Явно опечаленный, он понурил голову и, по-видимому, сожалел о том, что предсказание его столь блистательно оправдалось. И в самом деле, его победа была еще более полной, чем он полагал, ибо, как мы потом узнали, две амазонки, особенно отличившиеся в битве, явились не из окрестностей Паддлдока, но из аристократической местности, расположенной по соседству с Сент-Джемским дворцом. Одна из них была баронесса, другая — вдова богатого баронета.

Дядюшка не вымолвил ни слова, покуда мы не пришли в кофейню, где он, сняв шляпу и вытерев лоб, сказал:

— Слава богу, что мисс Табиты Брамбл сегодня там не было.

— Бьюсь об заклад, что она стоила бы всей компании! — воскликнул Куин.

Сказать по правде, ничто не смогло бы удержать ее дома, если бы по случайности она не приняла слабительное, прежде чем узнала, какое ее ждет развлечение. Уже в течение нескольких дней она подновляла свое старое платье из черного бархата, чтобы появиться в паре с сэром Уликом на предстоящем балу.

Я мог бы немало рассказать об этой моей любезной родственнице, но я еще не познакомил ее с вами надлежащим образом. Она крайне обходительна с мистером Куином, саркастический юмор которого, кажется, внушает ей почтительный страх, но ее наглость одерживает верх над ее благоразумием.

— Мистер Гуин,— сказала она на днях,— мне очень понравилось, как вы играли привидение Гумлета в Друри-лейн, как это вы вылезли из-под пола, а лицо у вас было белое, а глаза красные, и вы еще сказали об «уличной девке на ужасном дикобразе». Сделайте одолжение, сыграйте немного привидение этого самого Гумлета!

— Мадам, дух Гумлета почил и никогда больше не воскреснет,— сказал с невыразимым презрением Куин.

Но мисс Табита, не поняв, что он ее оборвал, продолжала:

— О, как вы были похожи на привидение! И говорили прямо как привидение. А потом петух закукарекал так натурально! Понять не могу, как это вы научили его кукарекать в самое что ни на есть нужное время! Должно быть, это был бойцовый петух? Правда, мистер Гуин?

— Это был самый простой петух, мадам.

— Простой или не простой, это неважно, но у него был такой чистый альт, что мне бы хотелось достать другого такого в Брамблтон-Холл, чтобы будить служанок по утрам. Где бы я могла достать какого-нибудь его потомка?

— Возможно, в работном доме в приходе Сен-Джилс, мадам, но должен вам заметить, мне неизвестно, в каком он жил курятнике.

Дядюшка, вскипев от раздражения, воскликнул:

— Боже мой, о чем вы толкуете, сестра? Двадцать раз я вам говорил, что сего джентльмена зовут отнюдь не Гуин!..

— Неужто, братец?— отозвалась мисс Табита.— А разве это обида? Гуин самая что ни на есть почтенная английская фамилия... Я думала, что джентльмен происходит от миссис Элен Гуин, которая занималась тем же, что и он. А если это так, он, может быть, потомок короля Карла, и у него в жилах течет королевская кровь!..

— Нет, мадам, моя мать не была столь знатной распутной девкой,— торжественно сказал Куин.— Но, пожалуй, я в самом деле склонен полагать, что мой предок — король, ибо частенько нет удержу моим желаниям. Будь я сейчас неограниченным монархом, я приказал бы подать на блюде голову вашей стряпухи. Она повинна в преступлении против сей рыбы, которую она беспощадно накромсала, да к тому же подала без соуса. O tempora! O mores![1]

Эта шутливая выходка направила беседу в более спокойное русло. Но дабы вы не сочли мои писанья столь же утомительными, сколь и болтовню мисс Табби, не прибавлю больше ничего, кроме того только, что остаюсь, как всегда, ваш

*Дж. Мелфорд.*

*Бат, 30 апреля*

## *Доктору Льюису*

Дорогой Льюис!

Получил ваш вексель на Уилтшир, который был оплачен точно в срок, но я не хочу держать при себе столько денег в чужом доме и потому здесь, в Бате, внес в банк двести пятьдесят фунтов, откуда и возьму чеками на Лондон перед отъездом отсюда, когда сезон подойдет к концу.

---

[1] О времена! О нравы! *(лат.)*.

Да будет вам известно, что я сейчас на ногах и решил показать Лондон моей племяннице Лидди. Она — одно из самых добрых созданий, которых я когда-либо знал, и с каждым днем я привязываюсь к ней все больше. Что до Табби, то я уже сделал намеки ирландскому баронету касательно ее имущественного положения, а сие, не сомневаюсь, охладит пыл его искательства. Тогда гордость ее встрепенется, вспыхнет злоба, присущая перезрелой девственнице, и мы не услышим от нее ничего, кроме руганы и поношений при упоминании о сэре Улике Маккалигуте. Сей разрыв, как я предвижу, облегчит нам отъезд из Бата, где в настоящее время Табби по всем признакам ублажает себя с превеликим удовольствием. Что до меня, то я так ненавижу Бат, что был бы не в состоянии так долго оставаться здесь, если бы не встретил старых приятелей, беседа с которыми смягчает дурное расположение духа.

Как-то поутру я отправился в кофейню и разглядел внимательно посетителей, разглядел не без удивления и жалости. Нас было тринадцать человек: семеро охромевших от подагры, ревматизма или паралича, трое случайно изувеченных калек, а остальные глухие или слепые. Один еле ковылял, другой припадал на ногу, третий еле ползал, точно раненая змея, четвертый раскорячился между длинными костылями, будто мумия преступника, повешенного в цепях, пятый, подталкиваемый двумя носильщиками, согнулся пополам, напоминая телескоп на подставке, а у шестого виден был только бюст, втиснутый в кресло на колесах, передвигаемое с места на место слугой.

Меня поразили лица некоторых из них; я справился в книге посетителей, нашел там имена нескольких старых моих приятелей и стал всматриваться в присутствующих более внимательно. Тут я узнал контр-адмирала Болдерика, друга моей юности, которого не видал с той поры, как он получил назначение лейтенантом на «Северн». Он преобразился в пожилого человека с деревянной ногой и обветренным лицом, казавшимся еще более старым благодаря седым кудрям, придававшим ему весьма почтенный вид; сидя за столом, где, углубившись в газету, сидел и он, я некоторое время вглядывался в него со смешанным чувством радости и сожаления, от коего сердце мое преисполнялось нежностью, а потом взял его за руку и сказал:

— Эх, Сэм, сорок лет назад я не думал...

Тут я столь расчувствовался, что не мог продолжать.

— Да неужто старый приятель! — воскликнул он, схватив мою руку и впившись в меня взглядом сквозь очки.—По

виду судно знакомое, хоть и здорово износилось с тех пор, как мы расстались, но вот никак не могу выудить из памяти, как оно зовется...

Не успел я назвать себя, как он закричал:

— Матт! Старина! Еще держится на воде!

Вскочив, он сжал меня в объятиях. Но его восторг обошелся мне недешево, ибо, целуя меня, он въехал мне в глаз дужкой очков, а деревяшкой наступил на подагрический большой палец. От сей атаки слезы у меня полились не на шутку. Когда волнение, вызванное встречей, улеглось, он указал мне на двух общих наших приятелей. «Бюст» — это было все, что осталось от полковника Кокрила, каковой во время американской кампании утратил способность пользоваться конечностями, а «телескоп» оказался моим однокашником по колледжу, сэром Реджиналлом Бентли, который, получив титул и неожиданное наследство, занялся охотой на лисиц, не пройдя посвящения в ее тайны, а следствием было то, что он в погоне за лисицами через реку получил воспаление кишок, после чего и скрючился.

Тотчас же прежние наши отношения возобновились, и сопровождались они самыми сердечными выражениями взаимного доброжелательства, а так как встретились мы неожиданно, то порешили пообедать все вместе в тот же день в таверне. Мой друг Куин, по счастью, не был занят и почтил нас своим присутствием. И, право же, это был самый счастливый день в моей жизни за последние двадцать лет. Мы с вами, Льюис, всегда были вместе, а потому никогда и не испытали тех высоких дружеских чувств, какие возникают после долгой разлуки. Я не могу выразить и половины того, что я чувствовал во время неожиданной встречи нескольких приятелей, столь долго разлученных и столь пострадавших от жизненных бурь. Это было возрождение юности, вроде воскрешения из мертвых, как бы воплотившего мечты, в коих мы иногда извлекаем наших старых друзей из могилы. Может быть, удовольствие не было мне менее приятно оттого, что к нему примешивалось меланхолическое чувство, вызванное воспоминанием о картинах прошлого, от которых возникли мысли о некоторых дорогих сердцу узах, в самом деле разорванных рукою смерти.

Казалось, веселость и хорошее расположение духа торжествовали над телесными немощами собравшихся. Они были даже настолько философы, что подшучивали над собственными бедами; такова сила дружбы — превосходнейшего целебного лекарства в жизни. Однако потом я узнал, что у всех у них бы-

вали минуты, даже часы, тревожные. Каждый из них при последующих наших встречах сетовал на свои обиды, и все они в сущности роптали. Все они,— и не только потому, что с каждым из них случилась беда,— почитали себя неудачливыми в лотерее жизни. Болдерик жаловался, что в награду за свою долгую и трудную службу он получает только половинное жалованье контр-адмирала. Полковник был обижен тем, что его обогнали на службе генералы-выскочки, из коих некоторые служили под его начальством; по натуре был он человеком щедрым и с трудом мог жить на ежегодную ренту, за которую продал свой патент. Что же до баронета, то, погрязши в долгах после избирательной борьбы, он вынужден был отказаться от своего места в парламенте, а также от права представительства графства и отдать свое имение в опеку. Но огорчения его, виновником коих был он сам, растрогали меня гораздо меньше, чем огорчения двух других, столь достойно подвизавшихся на широкой арене, а ныне вынужденных влачить скучную жизнь и вариться до конца своих дней в этом котле праздности и ничтожных дел.

Они уже давно отказались от лечения водами, убедившись в их бесполезности. По состоянию своего здоровья они не могут забавляться городскими увеселениями. Как же они ухитряются коротать здесь время? Поутру они ковыляют в залы или в кофейню, где играют в вист либо судят да рядят над «Дженерал адвертайзер», а вечера убивают где-нибудь в гостях среди брюзгливых калек и выживших из ума старух. Так-то обстоит дело со многими людьми, которым, казалось, было уготовано лучшее будущее.

Лет десять назад немало достойных, но небогатых семейств, помимо тех, какие приезжали сюда для лечения, селились на жительство в Бате, где тогда можно было жить с удобствами и даже одеваться весьма нарядно, тратя на все это небольшие деньги. Но в безумные наши дни это место стало им не по средствам, и теперь они вынуждены подумать о переезде в другой город. Кое-кто уже бежал в горы Уэльса, другие укрылись в Экзетере. Там, разумеется, их настигнет поток роскоши и излишеств, который заставит их переезжать с места на место до самого Конца земли; а там, конечно, они должны будут сесть на корабль и отплыть в другие страны.

Бат стал помойной ямой распутства и вымогательства. Каждая вещь домашнего обихода чрезвычайно поднялась в цене — обстоятельство, коему нельзя удивляться, если вспомнить, что все здешние жители, у которых есть хотя бы самые

ничтожные деньги, чванятся тем, что держат открытый стол, полагая, будто их славе споспешествует потаканье плутовству слуг, находящихся в заговоре с рыночными торговцами, которые, стало быть, получают столько, сколько запросят.

Есть здесь богатый выскочка, который платит повару семьдесят гиней в неделю за то, что тот ему готовит только обед. Это чудовищное безумие столь заразительно, что его не избегли даже отбросы человечества. Я знаю, что некий надсмотрщик над неграми с Ямайки заплатил хозяину одной из зал за один только чай и кофе для приглашенных шестьдесят пять гиней, а наутро таинственно исчез из Бата, причем его гости понятия не имели, кто он такой, и даже не пытались узнать его имя.

Такие случаи бывают нередко, и каждый день изобилует такими несуразностями, слишком непристойными, чтобы мыслящий человек мог ими позабавиться.

Но я чувствую, что хандра быстро надвигается на меня, а посему я ради вас кончаю письмо, дабы вы, дорогой Дик, не имели повода проклинать переписку с вашим

*М. Брамблом.*

*Бат, 5 мая*

*Мисс Летиции Уиллис, в Глостер*

Дорогая моя Летти!

Двадцать шестого числа прошлого месяца я послала вам с почтовой каретой длинное письмо, из которого вы можете узнать о нашем житье в Бате. Теперь же, пользуясь сей оказией, посылаю вам две дюжины колец из Бата и прошу вас взять себе шесть самых лучших, а остальные раздайте по своему усмотрению молодым леди, нашим подругам. Не знаю, одобрите ли вы девизы, из которых некоторые мне не совсем по вкусу, но я принуждена была купить уже готовые кольца.

Я досадую, что ни вы, ни я не получали больше никаких вестей от некой ведомой вам особы, но, право же, это не может быть умышленным пренебрежением! О дорогая моя Уиллис! У меня рождаются фантастические мысли и меланхолические сомнения, которым, однако, не имея сведений, было бы не великодушно предаваться.

Дядюшка, подаривший мне очень красивый гранатовый убор, поговаривает о поездке в Лондон для нашего увеселения; что, как можете вы себе представить, будет весьма приятно;

но мне так нравится Бат, что, смею надеяться, он не помыслит о том, чтобы уехать отсюда до конца сезона, и однако,— говорю по секрету вам, как другу,— с тетушкой моей произошло нечто такое, что, вероятно, сократит срок пребывания нашего здесь.

Вчера поутру она отправилась без нас позавтракать в одну из зал, а через полчаса вернулась в большом смятении, захватив с собою в портшез и Чаудера. Я полагаю, что-то, должно быть, случилось с этим злополучным животным, которое является причиной всех ее треволнений. Милая Летти! Как печально, что женщина в таких летах и с ее благоразумием дарит свою любовь такому безобразному злому псу, который на всех рычит и огрызается! Я спросила сопровождавшего ее лакея, Джона Томаса, что случилось. Но он только ухмыльнулся. Послали за известным собачьим доктором, и тот взялся излечить больного при условии, если ему разрешено будет увезти его к себе домой, но хозяйка Чаудера не пожелала с ним расстаться. Она приказала кухарке принести горячую тряпку и собственноручно обмотала ему брюхо. Она и слышать не хотела о том, чтобы отправиться вечером на бал, и, когда пожаловал к чаю сэр Улик, не соизволила к нему выйти, а потому он ушел искать себе другую даму. Мой брат Джерри посвистывает и приплясывает. Дядюшка пожимает плечами или принимается хохотать. Тетушка то плачет, то бранится, а ее горничная Уин Дженкинс таращит глаза, дивится и ходит с преглупой физиономией, снедаемая любопытством. Что до меня, то я любопытствую не меньше, чем она, но расспрашивать стесняюсь.

Может быть, со временем тайна откроется, так как, если что-нибудь произошло в залах, недолго удастся хранить это в секрете. Известно мне только, что вчера за ужином мисс Брамбл очень презрительно отзывалась о сэре Улике Маккалигуте и осведомилась у своего брата, намеревается ли он держать нас все время в Бате, чтобы мы изнывали здесь от зноя.

— Нет, сестра Табита,— ответил он с лукавой улыбкой,— мы уедем отсюда раньше, чем настанет собачья жара, но я не сомневаюсь, что при некотором воздержании и благоразумии мы круглый год можем сохранять хладнокровие даже в Бате.

Не понимая смысла этого намека, я не берусь обсуждать его теперь, но, быть может, позднее я смогу дать вам удовлетворительное объяснение, а пока прошу вас без промедления отвечать на мои письма и по-прежнему любить навеки вам преданную

*Лидию Мелфорд.*

*Бат, 6 мая*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Итак, мисс Блекерби подняла ложную тревогу и мои деньги спасены? Однако мне бы хотелось, чтобы ее признание не было преждевременным, ибо, если молва о том, что я способен сделать ее матерью, могла быть для меня лестной, то интрига с подобным треснувшим сосудом не делает мне чести.

В последнем письме я говорил, что мне хотелось бы повидать Куина во хмелю в какой-нибудь таверне, которая является храмом веселья и дружбы и где Куин, как некий жрец Комуса, проявляет по вдохновению остроту и игривость ума; это удовольствие я получил.

Я обедал вместе с членами его кружка в «Трех бочках» и имел честь пересидеть его. Вечером, в половине девятого, он был доставлен домой, нагруженный шестью добрыми бутылками кларета, а так как это произошло в пятницу, то он приказал не будить его раньше полудня в воскресенье. Не думайте, что эти бутылки возымели какое-нибудь действие на его способность вести беседу; нет, она стала еще более занимательной. Правда, за несколько часов до нашей разлуки он перестал управлять своими конечностями, но превосходно сохранил все другие способности, а поскольку он делился любой причудливой мыслью, как только она рождалась, я был поражен блеском его ума и силой его речей. Куин поистине услаждает себя яствами и напитками и прослыл таким эпикурейцем в обычном значении этого слова, что не может довольствоваться столом для простых смертных. Для него это столь важно, что он всегда заботится самолично о съестных припасах, и посему каждый, кто ест и пьет вместе с ним, может быть уверен в том, что блюда будут лакомые, а вина превосходные. Он признает, что слишком привержен чревоугодию, и часто подшучивает над собственной страстью, но в этой наклонности нет никакого себялюбия. Он полагает, что веселая пирушка объединяет добрую компанию, веселит дух, распахивает сердца, развязывает языки и наилучшим образом споспешествует общению. Но мистер Джемс Куин не такой человек, чтобы описать его в одном письме, а посему я оставлю его почивать и перейду к совсем другой личности.

Вы выразили желание поближе познакомиться с нашей тетушкой и предполагали позабавиться рассказом о ее отношениях с сэром Уликом Маккалигутом, но надежды ваши не оправдаются — эти отношения прервались. Ирландский баро-

нет — старый пес, который отказывается от преследования, когда почует запах падали.

Я уже писал вам, что мисс Табита Брамбл девица и ей сорок пять лет. На вид она рослая, поджарая, неуклюжая, плоскогрудая и сутулая; лицо у нее желтое и покрыто веснушками, глаза у нее не серые, а зеленоватые, как у кошки, и обычно воспалены, волосы у нее песочного или, скорей, сероватого цвета; у нее низкий лоб, длинный, острый нос, кончик его в холодную погоду всегда красный, большой рот с увядшими губами, зубы редкие, разного цвета и формы и шатаются, а на длинной сморщенной ее шее тысяча морщин.

Нрав у нее спесивый, упрямый, она суетна, высокомерна, любопытна, злобна, жадна и скупа. Весьма возможно, что ее природная суровость была отравлена разочарованием в любви, так как ее длительное безбрачие отнюдь не вызвано ненавистью к брачной жизни. Напротив: она землю рыла, дабы освободиться от обидной клички «старая дева».

Меня еще на свете не было, когда она зашла столь далеко в своей любовной интриге с неким офицером-вербовщиком, что ее доброе имя слегка пострадало. Потом она начала закидывать удочку приходскому викарию, который бросал неясные намеки о назначении на церковную должность, зависящую от ее брата; но, узнав, что должность уже обещана другому, сей викарий ускользнул, а мисс Табби в отместку добилась того, что его лишили и места викария! Следующим ее возлюбленным был лейтенант с военного корабля, наш родственник, который, не понимая прелести нежной страсти, не выражал отвращения к сочетанию брачными узами с кузиной Табби; но прежде чем все было улажено, он отправился в плаванье и был убит в бою с французским фрегатом. Тетушка, хотя она и обманывалась часто в своих надеждах, не впадала еще в отчаяние. Она расставила свои ловушки доктору Льюису, коего можно назвать fides Achates[1] моего дядюшки. По сему случаю она даже заболела и уговорила дядюшку выступить посредником между нею и его другом. Но доктор Льюис был осторожен, его нельзя было уловить пустой болтовней, и он наотрез отказался делать предложение. И вот мисс Табита должна была вновь вооружиться терпением после тщетных усилий поссорить двух друзей, и в настоящее время она считает за благо быть очень любезной с Льюисом, который стал ей необходим как лекарь.

---

[1] Верный Ахатес *(лат.)*.

Однако на этом не кончились ее попытки связаться ближе с нашим полом. Поначалу ее состояние не превышало тысячи фунтов, но после смерти сестры она получила еще пятьсот, а лейтенант оставил ей в завещании триста. Эту сумму она больше чем удвоила, ибо, проживая у брата, не несла никаких расходов и торговала сыром и валлийской фланелью — тем, что приносили ему молочная ферма и овцы. Ныне ее состояние возросло до четырех тысяч фунтов, а ее корыстолюбие с каждым днем становится все более хищным. Но даже это ее качество не столь невыносимо, как злобность ее натуры, которая является для всего семейства источником постоянной докуки и неурядиц. Она из тех злых духов, какие находят дьявольское наслаждение в том, чтобы внушать ближним своим ненависть и ужас.

Однажды я сказал дядюшке, что меня удивляет, как это он, с его нравом, терпит в доме такую чуму, когда столь легко от нее избавиться. Слова мои задели его, ибо он мог их истолковать как обвинение в недостатке смелости. Сморщив нос и сдвинув брови, он сказал:

— Молокососа, когда он впервые сунет свой нос в житейские дела, многое удивляет из того, что человек поживший считает обычным и неизбежным. Сия драгоценная ваша тетушка, черт бы ее побрал, незаметно стала частью меня самого. Она — плоть от плоти моей, а стало быть, noli me tangere[1], я терпеть не могу, когда задевают это место!

Я ничего не ответил и заговорил о другом. Он в самом деле чувствует привязанность к этой чудачке, которая сохраняет свое положение, вопреки здравому смыслу и невзирая на презрение, которое он, конечно, питает к ее уму и нраву. И она, я в этом уверен, весьма привязана к нему, хотя ее любовь проявляется только в сварливости и она постоянно мучит его, побуждаемая к тому нежными чувствами. Единственное существо в доме, с коим она обходится ласково, это ее собака Чаудер, дрянной пес с Ньюфаундленда, полученный ею в подарок от жены шкипера из Суэнси. Кажется, будто она почтила сего пса своей любовью единственно по причине его уродливости и злого нрава, а может, она питает к нему симпатию, ибо по натуре они сходны. Так или иначе, но она постоянно его ласкает и донимаст все семейство этим проклятым животным, которое явилось ближайшим поводом ее разрыва с сэром Уликом Маккалигутом.

Да будет вам известно, что она решила уйти тайком от бедняжки Лидди и явилась к утреннему завтраку в залу только

[1] Не тронь меня *(лат.)*.

в сопровождении своего пса в надежде встретиться с баронетом, который уговорился танцевать с ней вечером.

Как только Чаудер показался в зале, церемониймейстер, возмущенный его появлением, устремился, чтобы его прогнать, и хотел ударить его ногой; но пес не посчитался с его авторитетом и, оскалив крепкие, длинные, острые белые зубы, нагнал страх на тщедушного владыку Бата. Тот, перепугавшись, остался лицом к лицу с врагом и поднял крик, призывая лакея, как вдруг появился сэр Улик Маккалигут и бросился к нему на помощь. Якобы не ведая об отношениях между дамой его сердца и вторгшимся псом, он наградил пса таким ударом в челюсть, что тот с воем отлетел к двери. Мисс Табита, возмущенная этим оскорблением, завопила столь же неприятным голосом и устремилась за ним, сопровождаемая с одной стороны баронетом, приносившим извинение за сделанный промах, а с другой — церемониймейстером Дерриком, который пенял ей за нарушение правил.

Ее отнюдь не удовлетворили извинения баронета, и она сказала, что, по ее мнению, он не джентльмен, а когда церемониймейстер предложил ей руку, чтобы отвести ее к портшезу, она ударила его по пальцам веером.

Дядюшкин лакей еще не успел уйти от двери, а потому она вместе с Чаудером влезла в свой портшез, и они отбыли, сопровождаемые насмешками носильщиков и прочих зрителей. Я катался верхом по Клеркендаун и зашел в залу, когда суматоха улеглась. Баронет с огорченным видом подошел ко мне и поведал о приключении, над которым я от души посмеялся, после чего лицо его прояснилось.

— Любезный друг! — сказал он мне.— Когда я увидел, как этот дикий зверь, разинув пасть, рычит на церемониймейстера и хочет его разорвать, словно рыжая корова Мальчика-с-пальчик, я должен был прийти на помощь этому человеку. Ох! Мне никогда не снилось, что этот зверь сопровождает мисс Брамбл! Знай я это, пусть бы он позавтракал этим Дерриком! На здоровье! Но вам известно, друг любезный, сколь свойственно нам, ирландцам, ошибаться и попадать впросак. Все же я принесу покаяние и буду умолять о прощении. Надо надеяться, что раскаявшегося грешника простят.

Я сказал ему, что, поскольку у него не было умысла обидеть ее, она едва ли будет неумолима.

Но, правду говоря, его огорчение было притворным. Прельщая мисс Табиту галантным обхождением, он ошибся в оценке ее капитала по меньшей мере на шесть тысяч фунтов; из этого

заблуждения ему только что помогли выйти. Поэтому он схватился за первый благоприятный повод навлечь на себя ее неудовольствие в такой форме, чтобы порвать отношения, а для достижения этой цели не мог бы выбрать лучшего способа, чем ударить ее собаку.

Когда он появился у наших дверей, чтобы засвидетельствовать почтение оскорбленной красавице, он не был принят, и ему дали понять, что в будущем он никогда не застанет ее дома. Но она не была столь же неприступной с Дерриком, который пришел требовать удовлетворения за оскорбление, нанесенное ему не больше не меньше как в его собственных владениях. Она понимала, что следует быть весьма любезной с церемониймейстером, покуда ей придется посещать залы ассамблей, а прослышав, будто он к тому же является поэтом, она боялась, как бы он не изобразил ее в какой-нибудь балладе или пасквиле. Поэтому она принесла извинения за содеянное, в котором повинно было ее волнение, и потом подписалась на его поэмы. Таким образом он был весьма ублажен и рассыпался в комплиментах. Он даже попытался помириться с Чаудером, отвергшим, впрочем, примирение, и заявил, что внимательно поищет в анналах Бата, нет ли в них прецедента, каковой позволил бы разрешить ее любимцу пребывание в залах ассамблей на следующее утро во время завтрака. Но, мне кажется, она не решится подвергнуть себя или своего любимца вторичному унижению. Кто займет место Маккалигута в ее сердце, я не могу предвидеть. Но она не пропустит ни одного мужчину. Правда, она очень привержена церкви и отличается крайней нетерпимостью к иноверию, но, полагаю, что в настоящее время она не стала бы возражать против заключения договора о бракосочетании с анабаптистом, квакером или иудеем и скрепила бы сей договор даже обращением в другую веру. Впрочем, может быть, я слишком строго сужу сию родственницу, но должен сознаться, она весьма мало заслужила доброе мнение вашего

*Дж. Мелфорда.*

*Бат, 6 мая*

## *Доктору Льюису*

Вы спрашиваете меня, почему я не езжу верхом, чтобы дышать воздухом, когда погода хороша. По каким аллеям этого рая мог бы совершать я сии прогулки? Должен ли я препоручить себя большим дорогам на Лондон или на Бристоль,

чтобы задохнуться там от пыли или быть задавленным насмерть в гуще почтовых карет, повозок, подвод с углем, в гуще светских джентльменов, гарцующих на большой дороге с целью похвастать искусством верховой езды, а также карет светских леди, устремившихся туда с целью похвастать своими нарядами? Либо я должен посягнуть на холм и утомиться до смерти, взбираясь на него бесконечно, без надежды добраться до вершины? Так знайте же: туда, на эту возвышенность, я пытался вскарабкаться, но то и дело сползал назад в яму, полную тумана, изнуренный бесполезными усилиями; а здесь мы, несчастные, хворые люди задыхаемся и бьемся, точно китайские живцы на дне пуншевой чаши. Клянусь небом, это похоже на волшебство! Ежели я не развею чары и не спасусь бегством, может случиться, испущу дух в этой мерзкой, грязной дыре.

Только два дня назад я чуть было не отправился к праотцам без всякого предупреждения. Величайшая моя слабость — невозможность противостоять влиянию людей, мнения коих я презираю. Сознаюсь со стыдом и смущением, что не могу бороться против докучливой настойчивости. Сие отсутствие мужества и твердости — изъян в моей натуре, который вы имели возможность часто наблюдать с сожалением и даже с неудовольствием. Боюсь, что некоторые из наших добродетелей, которыми мы хвастаем, проистекают из сего источника.

Но покончу с предисловием. Меня уговорили отправиться на бал, дабы поглазеть, как Лидди танцует менуэт с единственным сыном богатого лондонского подрядчика, юным дерзким щеголем, мать которого живет по соседству от нас и завела знакомство с Табби.

Битых два часа я сидел, стиснутый со всех сторон в гуще толпы, и диву давался, как это сотни людей, причисляемых к разумным существам, могут находить развлечение в том, чтобы любоваться вялыми животными, выделывающими в течение целого вечера все одну и ту же глупейшую фигуру на пространстве размером в портняжий стол. Я не удивлялся бы, ежели бы здесь могли потешить и привлечь внимание красота, грациозность, великолепный наряд или любая смена пусть даже нелепых картин, но здесь ничего этого не было; было только скучнейшее повторение одной и той же томительной, бессмысленной сцены, представляемой актерами, которые, казалось, засыпали на ходу.

От бесконечного проплывания сих призраков перед глазами у меня закружилась голова, которой и так повредил вонючий воздух, прошедший сквозь нездоровые легкие множества людей.

Я ретировался к двери, ведущей в соседнюю залу, и там беседовал с моим другом Куином; когда менуэт кончился, скамьи отодвинули, чтобы очистить место для контрданса, и все зрители сразу встали со своих мест, от чего в зале поднялся вихрь. Тут совершенно неожиданно на меня налетел египетский смерч, столь насыщенный губительными испарениями, что мои нервы не выдержали и я без чувств упал на пол.

Вы легко можете себе представить, какую суматоху вызвало сие приключение на такой ассамблее. Вскоре, однако, я очнулся сидящим в кресле, вокруг меня были мои близкие. Сестра Таббп с превеликой нежностью подвергла меня пытке, зажав мою голову под мышкой и пичкая мой нос нюхательной солью так, что в носу слезла кожа. Добравшись до дому, я послал за доктором Ч., который уверил меня, что для беспокойства нет оснований, ибо мой обморок вызван был случайно, действием вонючих испарений на слишком чувствительные нервы. Не знаю, каковы нервы у других людей, но, должно быть, они сделаны из весьма грубого вещества, раз могут вынести такое ужасное потрясение.

В самом деле, это была *смесь отвратительных запахов*, в коем сильнейшая вонь и резкие ароматы состязались между собой за преобладание. Вообразите хорошо очищенную вытяжку из смешанных меж собой благовоний, испускаемых гнилыми зубами, больными легкими, брожением в кишках, потными ногами, подмышками, мокрыми язвами и выделениями, а также пластырями, мазями, примочками, венгерской водой, лавандой, каплями ассафетиды, мускусом, нюхательными солями,— благовоний, к коим присоединяются тысячи других вонючих испарений, происхождение которых мне неведомо. Таков — о Дик! — пахучий эфир, который мы вдыхаем на изящных ассамблеях в Бате, такова та атмосфера, на каковую я променял чистый, свежий, бодрящий воздух валлийских гор! O rus, quando te aspiciam?[1] Удивляюсь, какой черт дернул меня... Но чем меньше слов, тем лучше. Я принял решение.

Вы можете быть уверены, что я не намерен для развлечения общества дать вторично театральное представление. В недобрый час я обещал отправиться в Лондон, и сие обещание надлежит выполнить. Но мое пребывание в столице будет кратким. Ради своего здоровья я задумал поездку на север, которая, надеюсь, позволит мне приятно провести время. Я никогда не путешествовал в этом направлении дальше Скарборо, и, полагаю, я, как

[1] О деревня, когда я тебя увижу? *(лат.)*.

британский землевладелец, заслуживаю упрека в том, что прожил немало, а еще не совершал поездки за Твид. А кроме того, в Йоркшире проживает кое-кто из моих родственников, с которыми надлежало бы познакомить моего племянника и его сестру.

А теперь мне нечего добавить, кроме того, впрочем, что Табби благополучно рассталась со своим ирландским баронетом и что я не премину время от времени сообщать вам о дальнейших наших приключениях, хотя вы, должно быть, охотно обошлись бы без этих знаков внимания со стороны вашего покорного слуги

*М. Брамбла.*

*Бат, 8 мая*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

Несколько дней назад нас ужасно обеспокоил обморок дядюшки на бале. С той поры он постоянно клянет себя за то, что пошел туда по просьбе неразумной женщины. Он говорит, что в будущем скорей согласился бы пойти в дом к чумному больному, чем в подобную отвратительную больницу, ибо он клянется, будто упал в обморок из-за зловония, испускаемого толпой; по его словам, ему не нужно лучшего доказательства, что мы сделаны из более грубого вещества, так как нам не вредит то, от чего ему стало так дурно. Что до меня, то я очень благодарен грубости моих органов, которым не угрожает опасность стать жертвой чувствительности моего носа.

Мистер Брамбл отличается крайней деликатностью душевной, равно как и телесной. Мне рассказывал доктор Льюис, что дядюшка дрался однажды на дуэли с офицером конной гвардии, который по малой нужде остановился в парке у стены, когда дядюшка проходил мимо вместе с леди. Кровь у дядюшки вскипает всякий раз, при каждой дерзкой или жестокой выходке, даже если это его нимало не касается, а неблагодарность доводит его до скрежета зубовного. С другой стороны, рассказ о благородном, человеколюбивом, добром поступке вызывает на глазах его слезы умиления, которые он часто с великим трудом пытается скрыть.

Вчера некий Паунсфорд разослал приглашения на званый чай. Этот человек в течение долгого времени терпел невзгоды

и уехал за границу; и вот судьба, порешив вознаградить его за прежнюю свою немилость, сразу вознесла его на вершину благополучия. Он появился из тьмы и предстал в сверкающей мишуре. Мне не приходилось слышать, чтобы он совершал поступки, почитаемые законом бесчестными, либо что богатство сделало его надменным и недоступным; напротив, он изо всех сил старается казаться приветливым и любезным. Но, по слухам, он очень избегает прежних своих друзей, которые слишком грубы и неотесаны, чтобы появиться среди теперешних его блестящих знакомых, а также не любит встречаться со старыми своими благодетелями, коих человек честный с радостью признал бы. Как бы то ни было, но он пригласил к себе столь многочисленное общество, что когда мы с дядюшкой пришли вечером в кофейню, там никого не было, кроме одного только пожилого человека, сидевшего у камина и читавшего газеты. Мистер Брамбл уселся рядом с ним и сказал:

— По дороге в кофейню такая давка и столько портшезов, что мы с трудом прошли. Я предпочел бы, чтобы эти любимцы фортуны нашли более похвальный способ тратить свои деньги. Мне кажется, сэр, что вы так же мало любите сии развлечения, как и я?

— Я бы не сказал, что у меня есть большая охота до сих развлечений,— ответил джентльмен, не отрывая глаз от газеты.

— Простите, что я перебиваю вас, мистер Серл,— сказал дядюшка,— но мне крайне любопытно узнать, получили ли вы приглашение?

Его собеседник, по-видимому, был весьма удивлен таким вопросом и молчал, словно обдумывая, что ответить.

— Знаю, мое любопытство можно почесть дерзостью,— продолжал дядюшка,— но у меня есть особливые причины просить вас дать ответ.

— В таком случае,— сказал мистер Серл,— я не стану колебаться и удовлетворю ваше желание: нет, я не получил приглашения. Но позвольте мне, в свою очередь, спросить, каковы у вас основания полагать, будто я должен был получить приглашение от джентльмена, который созывает гостей на чай?

— Основания у меня есть, сэр! — воскликнул мистер Брамбл не без волнения.— И я больше чем когда-либо уверен, что сей Паунсфорд — человек презренный!

— Сэр, я не имею чести вас знать,— сказал собеседник, откладывая газету,— но ваши слова таинственны и нуждаются

в пояснении. Особа, о коей вы отозвались столь пренебрежительно,— джентльмен, который пользуется весом в обществе... А у меня могут быть веские причины заступаться за него...

— Ежели бы я не был уверен в противном,— сказал дядюшка,— я не зашел бы так далеко...

— Позвольте же мне заметить, сэр,— незнакомец повысил голос,— вы в самом деле зашли слишком далеко, отзываясь так...

Тут дядюшка перебил его, брюзгливо спросив, неужто в наши дни он такой Дон Кихот, что готов вызвать на поединок в защиту человека, который отнесся к нему с такой неблагодарностью и с таким пренебрежением.

— Что до меня,— добавил дядюшка,— то я не стану с вами ссориться из-за сей персоны, а мое мнение о нем вызвано столь же моим уважением к вам, сколь и презрением к нему...

Мистер Серл снял очки, всмотрелся в дядюшку и сказал более мягко:

— Конечно, я очень признателен... Ах! Мистер Брамбл! Теперь я вас узнал, хотя мы не виделись столько лет...

— Мы знали бы друг друга лучше,— ответил дядюшка,— если бы наши отношения не прервались из-за недоразумения по вине этого самого... Но это неважно... Я вас уважаю, мистер Серл, и вы можете располагать моей дружбой...

— Такое приятное предложение не отклоняют, и я от всего сердца принимаю его,— сказал мистер Серл,— а потому, прошу вас, переменим предмет нашей беседы, ибо он слишком для меня деликатен.

Дядюшка признал, что он прав, и разговор перешел на другие темы. Мистер Серл провел у нас вечер, показал себя человеком умным и даже занимательным, но по характеру был скорее склонен к меланхолии.

Дядюшка говорит, что он человек незаурядных способностей и безусловной честности; что его состояние, которое и так было невелико, сильно пострадало из-за его чрезмерного великодушия, которое он выказывал даже вопреки рассудку в пользу людей недостойных; что он спас Паунсфорда от нищеты, когда тот лишился и денег, и доброго имени; что он защищал его с великой горячностью, порвал с некоторыми друзьями и даже обнажил свою шпагу против моего дядюшки, у которого были особые основания сомневаться в честности упомянутого Паунсфорда; что без помощи и поддержки Серла тот никогда не смог бы, благодаря одним только счастливым обстоятельствам, воз-

нестись на вершину благополучия; что Паунсфорд в первом порыве радости написал из чужих стран многим из тех, с кем переписывался, письма, в которых признавался в самых теплых выражениях, сколь многим он обязан мистеру Серлу, и заявлял, что готов отдать себя в полное распоряжение своего лучшего друга; что, несомненно, он давал такие же обещания и самому благодетелю, хотя последний никогда об этом не говорил, но с течением времени эти тропы и фигуры риторики вышли из употребления; что по возвращении в Англию он расточал любезности мистеру Серлу, приглашал его к себе и просил, чтобы тот считал его дом своим; что он ошеломил его уверениями и изъявлениями в любви и старался выражать свои чувства к нему в присутствии знакомых так, что все поверили, будто его благодарность столь же велика, сколь и богатство, а кое-кто даже принес поздравления мистеру Серлу.

Все это время Паунсфорд старательно и искусно избегал со своим бывшим покровителем разговоров об обязательствах, а у того было достаточно благородства, чтобы воздерживаться от самого легкого намека на уплату долга. Но, разумеется, человек такого склада, как он, должен был принимать близко к сердцу эту постыдную неблагодарность и в конце концов отказался от знакомства с Паунсфордом, ничего ему не сказав и никому не проронив об этом ни слова, так что теперь, когда им приходится встречаться в публичном месте, их отношения ограничиваются легким поклоном, а это бывает весьма редко, ибо их пути разошлись.

Мистер Паунсфорд живет во дворце, ест изысканные яства, облачен в пышный наряд, появляется во всем блеске и проводит свое время среди аристократов. Серл живет на Столлстрит, на третьем этаже, в комнатах, выходящих на задворки, ходит пешком, в костюме из батской саржи, тратит на еду двенадцать шиллингов в неделю и пьет воды в предотвращение подагры и каменной болезни.

Обратите внимание на превратность судьбы! Когда-то Паунсфорд проживал на чердаке и питался студнем из бараньих и коровьих ног, от каковой трапезы его пересадили к столу Серла, за которым всегда царило веселье, покуда отсутствие бережливости не привело Серла на склоне лет к скудной годовой ренте, едва достаточной для удовлетворения насущных нужд. Впрочем, Паунсфорд оказывает ему честь, отзываясь о нем с необычайным уважением и уверяя, что был бы очень рад позаботиться о его благоденствии. «Но, знаете ли,— неизменно добавляет он,— мистер Серл человек нелюдимый да и к тому же

такой превосходный философ, что взирает на все излишества с величайшим презрением».

Набросав портрет сквайра Паунсфорда, я воздержусь от рассуждений о его характере и предоставляю это вашему разумению, полагая, что он встретит у вас не больше снисхождения, чем у вашего

*Дж. Мелфорда.*

*Бат, 10 мая*

*Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Милая Молли!

У нас суетня. Едем в Лондон. Довольно мы здесь сидим, потому как все у нас перевернулось. Хозяйка спровадила сэра Урика, он лягнул Чаудера, а я прогнала О'Фризла, голову ему намылила! Подумаешь, велика важность, леврея вся блестит и коса длинная! Под самым носом гулял с потаскушкой. Тут он мне и попался, когда спускался от нее с чердака, конешно, и этой девке я спуску не дала...

Ох, Молли! Слуги здесь в Бате — сущие черти. Никакого им нет удержу. Срам как забавляются, воруют, плутуют да наряжаются, вдобавок всегда недовольны. Они не хотят, чтобы сквайр и хозяйка жили здесь еще, потому мы уже сидим тут, в доме, больше трех недель, а при нашем отъезде они надеются получить по две гинеи каждый. Таков уж их приработок всякий месяц в сезоне, потому как ни одно семейство не имеет права проживать больше чем четыре недели в одном доме. И вот кухарка божится, что пришпилит к хвосту моей хозяйки кухонное полотенце, а горничная грозится, что положит в постель хозяину колючки, если он не уберется отсюда подобру-поздорову.

Я не браню их за то, что они хотят побольше содрать на чай и приработков, никто не скажет про меня, что я сплетница и доносчица на бедных служанок и доводила их до беды. Но совести у них нет, потому как они обижают таких же слуг, как они сами.

А у меня, Молли, пропало почти что целый эл блондов и кусок муслина, что оставался, да еще мой серебряный наперсток, залог верной любви. Все это лежало в моей рабочей корзинке, а когда хозяйка позвала меня, я все так и оставила на столе в людской. Оно конечно, кабы это и лежало под замком, все равно ничего не помогло, потому в Бате у всех замков два

ключа. Здесь говорят: не разевай рот во сне, а нет — зубы утащат.

Вот я и сказала себе: вещи сами ходить не могут, надо смотреть в оба. Так я и сделала, и тут-то я застукала Бет вместе с О'Фризлом. А что до кухарки, так она плеснула на меня помои, потому я заступилась за Чаудера, он подрался с собакой, которая вертит вертел с мясом, и вот я порешила: доберусь до нее и выведу на чистую воду.

Утром я поймала поденщицу, да с поклажей, она уходила из дому и думала, что я еще сплю, а я повела ее со всем добром к хозяйке. О господи! Подумайте только, что она тащила! В руках ведерки, полные нашим лучшим пивом, а в подоле холодный язык, филейная часть говядины, пол-индюка и огромный кусок масла, а вдобавок еще с десяток свичей, которых почти что не зажигали. Кухарка всякий стыд потеряла и говорит, что может рыться в кладовой, и она готова пойти к самому мэру, потому как он много лет был ее лекарь, и не позволит обидеть бедную служанку, которая отдала объедки из кухни.

Я расправилась с Бет, потому что она задрала нос и обозвала меня нехорошими словами и сказала, что О'Фризл терпеть меня не может, и еще наврала с три короба. Тут я взяла у мэра приказ, констебль обыскал ее сундук, там, конечно, были мои вещи, а в придачу еще целый фунт восковых свичей и хозяйкин ночной чипец, в чем я могла присигать. Ох, тогда мадам Швабре пришлось попрыгать, но сквайр и слышать не хотел, чтобы подать на нее в суд, и, значит, ее не упекли. Но проживи она хоть сто лет, ей никогда не забыть вашей покорной слуги

*Уинифред Дженкинс.*

*Бат, 15 мая*

Если до нашего отъезда приедет сюда еще раз работник, пришлите мне сорочку и фартук, а также мои белые туфли, вы их найдете в моем мешке. Поклон Сауле.

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Вы правы, дорогой Филипс, я не жду ответа на каждое письмо — я знаю, что жизнь в колледже слишком однообразна и не дает пищи для столь быстрого обмена письмами. Что до меня, то я постоянно бываю в различных местах и передо мной возникают все новые и новые картины, многие из которых весьма

удивительны. Потому я буду вести записи для вашего развлечения, и хотя, по-видимому, в них не будет ничего важного и занимательного, они отчасти могут оказаться и поучительными и забавными.

Музыка и развлечения в Бате кончились в этом сезоне, и все наши веселые уличные птички улетели на Бристольские источники, в Танбридж, Брайтельстон, Скарборо, Хэрроугейт и т. д. Здесь не видно никого, кроме немногих страдающих одышкой священников, ковыляющих, как вороны, по Северной Променаде. В Бате всегда много клириков,— не этих ваших тощих, слабых, желтых, чахоточных особ, изнуренных от воздержания и ученых занятий, страдающих от morbi eruditorum[1],—но важных, растолстевших прелатов и ректоров с красными носами и подагрическими ногами или с широкими, распухшими физиономиями, волочащих огромное, толстое брюхо— эмблему лени и дурного пищеварения...

Кстати о духовных особах; я должен вам рассказать о забавном приключении, происшедшем на днях с Томом Истгетом, который, если вы помните, был на открытии колледжа Королевы. Он постоянно норовил жить на счет Джорджа Пранкли, учившегося в колледже Крайст Чёрч, ибо знал, что тот является наследником большого имения и от него будет зависеть получение богатого прихода, священник коего был стар и немощен. Том Истгет изучил его склонности и угождал им столь успешно, что стал его приятелем и советчиком, и в конце концов добился обещания оказать помощь ему как претенденту на место настоятеля в этот приход, когда оно освободится. Пранкли после смерти своего дяди покинул Оксфорд, появился в лондонском светском обществе, а затем приехал в Бат, где начал подвизаться среди щеголей и игроков. Истгет поехал за ним туда, но ему следовало бы не покидать его ни на минуту с той поры, как тот вступил в жизнь. Он должен был знать, что Пранкли — глупый, ветреный парень с причудами и забудет о своих приятелях по колледжу, как только те исчезнут из поля его зрения. Том встретил со стороны своего старого друга холодный прием, а вдобавок узнал, что тот пообещал церковный приход кому-то другому, имевшему право голоса в графстве, где Пранкли намеревался пройти в парламент на ближайших выборах. Теперь он ничего не помнил об Истгете, кроме, пожалуй, того, что обычно подшучивал над Томом, а тот терпеливо это выносил, ни на минуту не теряя из виду бенефиции; и он снова стал над

[1] Болезни ученых *(лат.)*.

ним насмехаться в кофейнях на потеху всем присутствующим, бросая пошлые саркастические замечания касательно его наружности и костюма.

Но он весьма ошибся, приписывая покорность Истгета своему остроумию, тогда как она была вызвана благоразумными соображениями. Теперь в них не было необходимости. Том отразил его насмешки, воздав ему с лихвой, и ему не стоило большого труда выставить в смешном виде самого зачинщика, который вышел из себя, разразился бранью и спросил, «знает ли он, с кем говорит». Завязалась перебранка, Пранкли, потрясая тростью, приказал Тому замолчать, угрожая выбить пыль из его сутаны. «Я не мог и мечтать о таком лакее,— ответил Том,— но если вы мне окажете эту услугу и взопреете, у меня найдется для вас вместо полотенца добрая дубинка».

Этот ответ взбесил Пранкли, но вместе с тем смутил его. После короткой паузы он отвел Тома к окну и, показывая на рощу на Клеркендаун, шепотом спросил, хватит ли у того духа встретиться там с ним завтра в шесть часов утра, прихватив с собой ящик с пистолетами. Истгет ответил утвердительно и твердо заявил, что не преминет встретиться с ним в назначенный час. С этими словами он покинул кофейню, оставив зачинщика поединка в сильном волнении. Утром Истгет, зная этого человека, явился в дом Пранкли и разбудил его в пять часов.

По всем вероятиям, сквайр проклял в душе его точность, но старался говорить свысока; приготовив свою артиллерию с вечера, они переправились на другой берег реки —в конце Южной Променады. Покуда они поднимались на холм, Пранкли то и дело поглядывал на священника, надеясь прочесть на его лице неохоту драться, но, поскольку это не удалось, попытался его запугать:

— Если эти кремни сослужат службу, я покончу с тобой в несколько минут!

— Извольте делать свое дело,— отвечал другой,— а что до меня, то я пришел сюда не для забавы. Наша жизнь в руках господа, и один из нас уже стоит у порога вечности.

Эти слова произвели впечатление на сквайра, он побледнел и, заикаясь, пробормотал, что «грешно священнику ссориться и проливать кровь».

— Я вынес бы ваши оскорбления, если бы вы гнусной насмешкой не задели мой сан, а защищать его честь я почитаю своим долгом, даже если пришлось бы отдать за это кровь моего сердца. Да и какое же это преступление — избавить мир от распутного бездельника без чести, без совести и без религии!

Т. Смоллет, «Путешествие Хамфри Клинкера»

— Ты можешь лишить меня жизни! — воскликнул Пранкли в сильном смятении.— Но не смей порочить мое доброе имя! Или у тебя нет совести?!

— Совесть моя спокойна,— ответил другой.— Но вот мы и пришли, сэр. Становитесь там, где вам понравится, готовьте ваш пистолет, и да сжалится господь в бесконечном своем милосердии над вашей дрянной душонкой!

Он произнес эти слова громко, торжественным тоном, сняв шляпу и возведя глаза к небесам; потом, вытащив большой седельный пистолет, он вручил его противнику и сам стал в позицию. Пранкли занял свое место и начал насыпать порох на запал, но руки дрожали у него столь сильно, что это ему не удавалось. Противник его, видя, что с ним творится, предложил свою помощь и с этой целью подошел к нему, но тут бедный сквайр, необычайно встревоженный всем виденным и слышанным, заявил, что хорошо было бы отложить поединок на другой день, ибо он не уладил своих дел.

— Я не написал завещания, и моим сестрам ничего не достанется,— сказал он.— Да к тому же я вспомнил об одном старом обещании, и моя совесть говорит мне, что я должен его выполнить... Сперва я тебе докажу, что я совсем не бездельник без совести и чести, а потом отнимай у меня жизнь, которую ты так жаждешь!

Истгет понял намек и, сказав, что не будет спорить из-за одного дня, добавил:

— Храни меня бог, чтобы я помешал вам поступить, как подобает честному человеку и любящему брату!

Благодаря такой отсрочке они мирно вернулись домой. Пранкли немедленно написал о назначении Истгета настоятелем церковного прихода и, вручив бумагу Истгету, сказал ему при этом, что все свои дела он уладил и готов идти с ним в рощу.

Но тут Том объявил, что не может и помыслить о том, чтобы поднять руку на своего благодетеля. Этим он не удовольствовался. Когда они в следующий раз встретились в кофейне, он обратился к мистеру Пранкли с просьбой простить ему оскорбительные слова, какие он сказал в припадке гнева; сквайр любезно простил и сердечно пожал ему руку, объявив, что не желает ссориться со старым приятелем по колледжу.

Однако на следующий день он внезапно покинул Бат, а тогда Истгет рассказал мне обо всей этой истории, весьма довольный последствиями собственного здравомыслия, благодаря которому он добился церковного прихода с ежегодным доходом в сто шестьдесят фунтов.

О дядюшке я не пишу ничего, кроме того только, что завтра мы уезжаем в Лондон en famille [1]. Дядюшка, обе леди, горничная и Чаудер — в карете, а я со слугой — верхом. Наше путешествие я опишу в следующем письме, если только что-нибудь не помешает вашему

*Дж. Мелфорду.*

*Бат, 17 мая*

*Доктору Льюису*

Дорогой Дик!

Завтра я отправляюсь в Лондон, где я нанял помещение у миссис Нортон на Голден-сквер. Хоть я и не поклонник Бата, но покидаю его с сожалением, ибо расстаюсь кое с кем из старых приятелей, коих, по всем вероятиям, больше не увижу! В кофейне я часто слышал самые лестные отзывы о произведениях мистера Т., проживающего здесь джентльмена, который для собственного удовольствия пишет ландшафты. Поскольку я не очень доверяю мнениям кофейных знатоков и никогда не получал особливого удовольствия от сей отрасли искусства, такие отзывы не заставляли меня любопытствовать. Но вчера по просьбе близкого приятеля я пошел поглядеть сии картины, вызвавшие столь благожелательные толки. Должен признаться, я не судья в живописи, хотя очень люблю картины. Я не думаю, что мои чувства могли бы так меня обмануть, чтобы я восхитился чем-нибудь никуда негодным, хотя, сознаюсь, я и проходил мимо отменных красот в картинах, отличавшихся великими достоинствами.

Ежели я не совсем лишен вкуса, то сей молодой батский джентльмен — лучший из теперешних художников, пишущих ландшафты: его картины поразили меня так, как никогда не поражала ни одна картина. У его деревьев не только густая листва и они писаны не только сочным колером, пленяющим взор, но пышность и умение, с коими они изображены, не поддаются описанию. Его искусство изображать chiaroscuro [2], свет и тень, особливо солнечные блики, поистине удивительно как по затее, так и по исполнению, и он столь находчив в изображении перспективы на море посредством движущихся кораблей и уходящих в море мысов, что мне казалось, будто передо мной пространство лиг в тридцать. Если в наш жалкий век, который

[1] Всем семейством *(франц.)*.
[2] Светотень *(итал.)*.

все больше и больше погрязает в варварстве, еще сохранился вкус к искусству, то я полагаю, что сей живописец прославится, как только его произведения станут известны.

Два дня назад меня почтил визитом мистер Фицовен, каковой весьма церемонно домогался моего участия и голоса в выборах в парламент. Дерзость этого человека не должна меня возмущать, хотя она и весьма примечательна, если принять во внимание, что произошло между им и мной на предыдущих выборах. Сии визиты только обряд; претендент посещает каждого избирателя, даже того, кто, по его сведениям, держит сторону его соперника, дабы не могли его обвинить в гордости именно тогда, когда он должен казаться смиренным. В самом деле, я не знаю поведения более презренного, чем поведение человека, домогающегося голоса для получения места в парламенте. Это подлое заискивание (особливо перед избирателями *боро*, полагаю я) в большей мере способствует пробуждению в черни наглости, которую столь же трудно будет изгнать, сколь и дьявола.

Так или иначе, я был смущен бесстыдством Фицовена, но скоро оправился и сказал ему, что еще не решил, за кого подам свой голос, и вообще не знаю, буду ли я его подавать. Говоря по правде, оба претендента стоят один другого, и я почитал бы себя предателем конституции моей родины, ежели бы подал голос за кого-нибудь из них. Если бы все избиратели пришли к такому заключению, у нас не было бы повода вопиять против продажности вельмож. Но все мы — шайка продажных, развращенных мерзавцев и столь утеряли чувство чести и совести, что в скором времени пороками будут почитаться добродетель и попечение об общем благе.

Дж. Х., поистине горячий патриот, представлявший столицу в нескольких парламентах, недавно говорил мне со слезами на глазах, что он прожил в Лондоне свыше тридцати лет и вел торговые дела со всеми именитыми купцами, но мог бы поклясться господом богом, что за всю свою жизнь встретил только трех-четырех человек, которых можно назвать честными; слова эти не столько удивили, сколько огорчили меня, ибо я сам встречал так мало людей достойных, что их можно считать исключением, которое, как в грамматике, только подтверждает общее правило.

Знаю, вы скажете, что Дж. Х. плохо видит сквозь туман предрассудков, а меня снедает хандра. Может быть, вы отчасти правы, ибо я заметил, что мое мнение о человечестве, подобно ртути в градуснике, поднимается и падает в зависимости от перемены погоды.

Прошу вас произвести расчеты с Барнсом; возьмите у него мои деньги и выдайте ему расписку. Ежели вы считаете, что у Дэвиса хватит денег или кредита содержать в порядке ферму, можете ему уменьшить следуемую мне арендную плату; это усилит его рвение, ибо, знаю я, ничто так не обескураживает фермера, как мысли о недоимках землевладельцу. Тогда он впадает в уныние, не работает, а ферма приходит в упадок.

Табби бушевала в течение нескольких дней из-за шкуры ягненка, которую работник Уильямс выпросил у меня, когда приезжал последний раз в Бат. Прошу вас, возьмите ее назад, а парню заплатите за нее сполна, чтобы я мог обрести покой в собственном доме; пусть только молчит об этом, ежели хочет сохранить свое место. Ох! Никогда я не стану презирать или осуждать любого беднягу, который страдает под башмаком жены, ибо я сам должен унижаться перед своей домашней ведьмой, хотя, благодарение господу, она и не впряжена на всю жизнь вместе со мной в брачную колесницу. Она поссорилась со всеми слугами в доме из-за чаевых, и с обеих сторон воспоследовала такая ругань, что я был вынужден тайком утихомирить горничную и кухарку. Разыщите какого-нибудь бедного джентльмена из Уэльса, дабы он мог избавить от этой драгоценной особы вашего

*М. Брамбла.*

*Бат, 19 мая*

### *Доктору Льюису*

Доктор Льюис!

Уж позвольте мне вам сказать, что следует употреблять ваши таланты получше и не к чему вам помогать, чтобы слуги расхищали добро своих хозяев. От Гуиллим я узнала, что Уильямс забрал себе мою шкуру, и выходит, что он последний негодяй. Да и забрал-то он не только мою пряжу, а еще и сыворотку, чтобы откармливать своих свиней, и теперь он, верно, возьмет и мой турнюр, чтобы водить свою дочку в церковь и на ярмарку. Роджер берет и то и се, но ни одному мошеннику во всем королевстве я не позволю себя грабить.

И очень я удивляюсь, доктор Льюис, как это вы полагаете, что мои дела — это одно, а братнин домашний очаг — совсем другое. Я работала не покладая рук, и все на пользу семьи Матта, а себе не могла припасти шерсти даже на нижнюю юбку.

А что до сыворотки, то ни одна свинья во всем приходе не посмеет сунуть в нее свое рыло, нет на то моего разрешения. Есть в Горячих Водах знаменитый лекарь, который прописывает ее всем своим больным, когда у них чахотка, и все шотландцы и ирландцы уже принялись ее пить, и столько ее пьют, что около Бристоля не остается во всей округе ни одной капли для свиней. Пускай нашу сыворотку сливают в бочки и два раза в неделю посылают в Абергеванни, там ее можно продавать по полпенни за кварту, а Роджер пускай водит своих свиней на другой рынок.

Надеюсь, доктор, больше вы не будете вбивать в голову моего брата всякий вздор и не принесете убыток моему карману, и тогда (а покуда не к чему) я буду подписываться преданной вам

*Таб. Брамбл.*

*Бат, 19 мая*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

Не дожидаясь вашего ответа на последнее мое письмо, я хочу дать вам отчет о нашем путешествии в Лондон, которое не обошлось без приключений.

В минувший вторник сквайр занял место в запряженной четверкой наемной карете вместе со своей и моей сестрами, а также с горничной мисс Табби, Уинифред Дженкинс, которая должна была держать на коленях подушку с Чаудером. Я чуть не расхохотался, заглянув в карету, где это животное восседало против моего дядюшки, словно какой-нибудь пассажир. Сквайр, смущенный своим положением, покраснел до ушей и, приказав форейторам трогать, поднял окошко перед самым моим носом. Я вместе с его слугой Джоном Томасом сопровождал карету верхами.

Ничего достойного упоминания не произошло, покуда мы не взобрались на Мальборо Даунс. Там, спускаясь с холма на рысях, одна из передних лошадей упала, а задний форейтор, пытаясь остановить карету, направил ее в глубокую колдобину, где она и опрокинулась.

Я ехал ярдах в двухстах впереди, но, услышав крики, поскакал назад и спешился, чтобы оказать посильную помощь. Заглянув в карету, я мог разглядеть только нижнюю половину Дженкинс, которая дрыгала ногами и вопила во весь голос.

Вдруг появилась лысая дядюшкина голова, и проворный, словно кузнечик, дядюшка выскочил из окна, воспользовавшись, как ступенькой, задом бедняжки Уинифред.

Слуга спешился, как и я, и вытащил из того же окошка беспомощную девицу, которая была ни жива ни мертва. Потом мистер Брамбл сорвал дверцу с петель, уцепился за руку Лидди и извлек ее на свет божий очень испуганную, но весьма мало пострадавшую. На мою долю выпало освободить тетушку Табиту, которая потеряла в суматохе капор; в страхе и бешенстве она походила на одну из фурий, что охраняют врата ада. Она даже не подумала позаботиться о брате, который суетился на холоду без парика и проявлял удивительную сноровку, помогая распрягать лошадей. Но зато она в полном смятении вопила: «Чаудер! Чаудер! Мой милый Чаудер! Мой бедный Чаудер, наверно, погиб!»

Но это было не так: Чаудер, куснув дядюшку за ногу во время суматохи при падении, забился под сиденье, откуда лакей вытащил его за загривок, а в благодарность за услугу пес прокусил ему пальцы до кости. Парень, мрачный по натуре, так возмутился этой обидой, что дал ему под ребра хорошего пинка и воскликнул: «К черту этого сукиного сына! И его госпожу!»

Сие благословение отнюдь не прошло незамеченным неумолимой фурией, его хозяйкой. Однако дядюшка убедил ее удалиться в находившийся поблизости крестьянский дом, где они оба прикрыли себе головы, а с бедной Дженкинс случился припадок. Потом мы позаботились, чтобы заклеить пластырем ранку на дядюшкиной ноге, сохранившей отпечаток зубов Чаудера, но дядюшка ни одним словом не попрекнул виновника. Встревоженная этим мисс Табби вскричала:

— Вы молчите, Матт, но я-то знаю, что у вас на уме... Я знаю, какую злобу вы питаете к этому бедному, злосчастному животному! Знаю, что вы хотите лишить его жизни!

— Право же, вы ошибаетесь,— саркастически улыбаясь, ответил сквайр.— Как мог бы я лелеять столь жестокий умысел против такого приятного и безобидного создания, даже ежели бы оно не имело счастья быть вашим любимцем.

Джон Томас был не столь деликатен. То ли он в самом деле опасался за свою жизнь, то ли его обуревало желание отомстить, но, войдя, он потребовал, чтобы пса прикончили на том основании, что если собака взбесится, то он, ею укушенный, окажется зараженным. Дядюшка спокойно доказывал нелепость его опасения, заметив, что и он сам находится в таком же бедственном положении и, разумеется, принял бы предлагаемые меры

предосторожности, не будь он так уверен в том, что нет никакой опасности заразиться.

Тем не менее Томас упорствовал и под конец заявил, что, если пса немедленно не пристрелят, он сам казнит его. Эта угроза открыла шлюзы красноречия Табби, каковое заставило бы устыдиться лучших ораторов женского пола с Биллингсгейта. Лакей отвечал в том же тоне, и сквайр тут же его уволил, помешав мне, однако, проучить его хлыстом за наглость.

Когда карету привели в порядок, возникло еще одно затруднение: мисс Табита наотрез отказалась снова сесть в нее, покуда не заменят форейтора, который, по ее утверждению, предумышленно опрокинул карету. После длительных споров форейтор уступил свое место деревенскому оборванцу, который взялся довезти нас до Мальборо, где можно было сделать привал; туда мы и прибыли без помех около часу дня.

Однако мисс Брамбл нашла новое основание для обиды, а она обладала особым даром извлекать подобные основания из всего, что бы ни произошло. Только-только мы вошли в гостиницу в Мальборо, где остановились пообедать, как она пожаловалась на бедного парня, заменившего форейтора. Она сказала, что он прощелыга и бездельник, что у него нет даже рубахи и своим бесстыдством он оскорбляет ее, ибо показывает ей зад, за каковую неделикатность его следовало бы посадить в колодки. Мисс Уинифред Дженкинс подтвердила обвинение касательно его наготы, но при этом заметила, что кожа у него белая, как алебастр.

— Это ужасное обвинение! — воскликнул дядюшка.— Послушаем, что скажет парень в свое оправдание.

Парня призвали, у него вид был смешной и трогательный.

Ему было лет двадцать; был он среднего роста, косолап, сутул, лоб у него был высокий, волосы рыжие, красноватые глаза, приплюснутый нос и длинный подбородок, а лицо болезненно-желтого цвета. Видно было, что он изголодался, и лохмотья еле-еле прикрывали те части тела, которые приличие требовало скрыть. Дядюшка, весьма внимательно осмотрев его, сказал с иронической миной:

— Как же вам, любезный, не стыдно ездить форейтором и не иметь рубашки, чтобы укрыть зад от взоров леди, сидящих в карете?

— Точно так, ваша честь, стыдно! — согласился парень.— Но на нет и суда нет, как говорит пословица... А к тому же со мной случилась беда. Как я сел в седло, штаны у меня сзади лопнули.

— Бесстыжий плут! — воскликнула мисс Табби.— Ехать без рубашки перед знатными особами!..

— Совершенно верно, ваша милость... Но я уилтширский бедняк... И, сказать по чести, нет у меня ни рубашки, ни другой какой тряпки, чтобы прикрыться... И нет у меня ни друзей, ни родичей, чтобы мне помочь... Вот эти полгода я болел горячкой и трясавицей и истратил на докторов и на пропитание все, что у меня было. Прошу прощения у доброй леди, у меня уже целые сутки крошки хлеба во рту не было...

Мисс Брамбл, отвернувшись от него, сказала, что никогда не видела такого грязного оборванца, и приказала ему убираться вон, выразив опасение, как бы он не напустил в комнату насекомых. Брат ее внушительно на нее поглядел, когда она удалялась вместе с Лидди в другую комнату, а потом спросил парня, знает ли его кто-нибудь в Мальборо. Когда же тот ответил, что его с детства знает хозяин гостиницы, последний был призван немедленно и, будучи спрошен, объявил, что парня зовут Хамфри Клинкер; что он незаконнорожденный и доставлен был в приют для подкидышей; и что церковный приход отдал его в ученики к деревенскому кузнецу, который умер раньше, чем окончился срок обучения мальчика; что он некоторое время работал при гостинице подручным у конюха и запасным форейтором, покуда не заболел трясавицей, которая лишила его возможности добывать себе хлеб насущный; что для пропитания и лечения он продал либо заложил решительно все, превратился в жалкого оборванца, стал позором для конюшни и был уволен, однако ему, хозяину, ничего плохого о нем не доводилось слышать.

— Значит, когда парень заболел и впал в нищету,— сказал дядюшка,— вы выгнали его помирать на улице...

— Я плачу налог на содержание бедняков,— ответил тот, и не могу кормить бездельников, все равно, больны они или здоровы. А к тому же такой жалкий парень осрамил бы мое заведение...

— Как видно, наш хозяин — христианин до мозга костей,— сказал мне дядюшка.— Кто осмелится порицать мораль нашего века, ежели даже трактирщики подают такие примеры человеколюбия? А вы, Клинкер, самый закоренелый преступник! Вы виновны в болезни, в голоде, в бедности, в нищете! Но наказывать преступников не мое дело, а потому я возьму на себя только труд дать вам совет: как можно скорей достаньте себе рубаху, чтобы ваша нагота отныне не оскорбляла благородных леди, особливо девиц не первой молодости!

С этими словами он вложил гинею в руку бедняги, который взирал на него молча, разинув рот, пока хозяин не вытолкал его из комнаты.

Поздней, когда тетушка вошла в карету, она не без удовлетворения заметила, что форейтор, ехавший перед ней на лошади, был уже не тот оборванец, который вез их в Мальборо. И в самом деле, разница бросалась в глаза. Это был опрятно одетый парень, в шляпе с узкими полями и золотым галуном, в коротком парике, в хорошей синей куртке, в кожаных штанах и в чистой полотняной рубахе, топорщившейся спереди. Когда мы приехали в замок на Спинхилле, куда держали путь, этот новый форейтор выказал замечательную сноровку, перетаскивая разные узлы; и в конце концов мы узрели физиономию Хамфри Клинкера, с которым произошла указанная метаморфоза благодаря тому, что он выкупил часть своих собственных вещей на деньги, полученные от мистера Брамбла.

Несмотря на то, что остальная компания была очень довольна благодетельной переменой в наружности бедняги, перемена эта вызвала желчное раздражение мисс Табби, которая все еще не переварила оскорбления, нанесенного его наготой. Она с негодованием задрала нос и сказала, что парень, конечно, пришелся по вкусу ее брату, ибо он оскорбил ее своим бесстыдством; что у дурака деньги в кармане недолго держатся, и, если Матт намеревается взять парня с собою в Лондон, она не двинется с места.

Дядюшка не сказал ничего, но взгляд его был достаточно выразителен, и на следующее утро Клинкер уже не появлялся, так что мы без дальнейших пререканий доехали до Солтхилла, где собирались пообедать. А там первым, кто очутился у кареты и стал прилаживать подножку, был не кто иной, как Хамфри Клинкер.

Когда я высаживал мисс Брамбл из кареты, она метнула на него разъяренный взгляд и прошла в дом. Дядюшка был озадачен и брюзгливо спросил его, как он сюда попал. Парень ответил, что «его честь» был слишком добр к нему и у него не хватило духу расстаться с «его честью» и что он последует за дядюшкой хоть на край света и будет ему служить до конца дней своих, не требуя никакого жалованья или награды.

Мистер Брамбл не знал, ругать ли его, или засмеяться в ответ на такие слова. Он предвидел со стороны Табби сильное противодействие, однако благодарность Клинкера пришлась ему по душе не меньше, чем его простодушие.

— Предположим, я захотел бы взять вас к себе на службу, что вы умеете делать? — спросил он.

— О, ваша честь! — воскликнул чудаковатый парень.— Я умею читать и писать и работать на конюшне. Я могу ходить за лошадью, подковывать ее, пускать ей кровь, продергивать зáволоку, а что до холощенья свиней, так я не откажусь холостить любого борова в Уилтшире, могу также делать свиные колбасы, гвозди с широкой шляпкой, чинить чайники и лудить кастрюли.

Тут дядюшка стал хохотать и осведомился, какие у него еще есть таланты.

— Я немножко умею играть в лапту и петь псалмы,— продолжал Клинкер,— умею играть на варгане, петь «Черноокую Сьюзен», «Артура О'Брэдли» и другие песенки, могу станцевать валлийскую джигу и «Нэнси Даусон», побороться с любым парнем моего роста, когда придет охота, и, с вашего позволения, могу раздобыть зайца, если ваша честь захочет дичи.

— Черт побери! Да ты парень хоть куда! — воскликнул дядюшка, все еще смеясь.— Я не прочь взять тебя к нам в дом. А ну-ка попытайся помириться с моей сестрицей. Ты ее очень оскорбил, показав голый зад!

Держа шляпу в руке, Клинкер последовал за нами в комнату, где обратился к мисс Табите:

— Покорно прошу, ваша милость, извинить и простить меня, что я вас оскорбил, с божьей помощью я буду стараться, чтобы мой зад больше вас не оскорблял, а я не был бы из-за него виноват. Умоляю вас, милая, добрая, прекрасная леди, смилуйтесь над жалким грешником! Господь да благословит ваше благородное лицо! Вы слишком красивы и великодушны, чтобы желать зла, а я буду вам служить на коленях и ночью и днем, и на суше и на море и только ради удовольствия прислуживать такой превосходной леди!

Эти славословия и смирение произвели некоторое действие на Табби, но она оставалась безгласной, а Клинкер, приняв молчание за знак согласия, стал прислуживать за обедом.

Природная неуклюжесть Клинкера и его волнение привели к тому, что, прислуживая, он не раз попадал впросак. В завершение он уронил на правое плечо Табби кусочек драчены и, отскочив назад, наступил на Чаудера, который отчаянно взвыл.

Бедняга Хамфри столь был огорчен этой двойной оплошностью, что уронил фарфоровое блюдо, которое разбилось вдребезги. Тут он в отчаянии упал на колени и остался в этой позиции с разинутым ртом; вид у него был самый дурацкий. Мисс Брамбл подлетела к псу и, схватив его на руки, протянула брату и закричала во весь голос:

— Это заговор против несчастного животного, которое повинно только в том, что любит меня! Вот оно, убейте его сразу, тогда вы будете довольны!

Клинкер, услыхав эти слова и приняв их за чистую монету, вскочил с колен и, схватив нож с буфета, закричал:

— Только не здесь, добрая леди! Зачем пачкать комнату? Дайте его мне, ваша милость, я отнесу его в придорожную канаву.

В ответ на это предложение он получил по уху и отлетел в другой конец комнаты.

— Вот оно что! — закричала мисс Табби.— Каждая шелудивая тварь, которую вы подобрали на дороге, смеет меня оскорблять! Немедленно прогоните этого мерзавца!

— Ради бога, сестра, успокойтесь! — сказал дядюшка.— Поймите, что этот бедняга неповинен в желании вас оскорбить.

— Неповинен, как грудной младенец! —подхватил Хамфри.

— Я вижу ясно, что вы его подстрекаете! — воскликнула неумолимая девица.— Вы решили поощрять его бесстыдство! Вот она, благодарность за все услуги, какие я вам оказывала! За то, что ухаживала за вами, когда вы были больны, вела ваше хозяйство, спасала вас, неразумного, от разорения. Но теперь выбирайте: либо я, либо этот негодяй! Решайте немедленно. Пусть все узнают, кого вы больше уважаете: свою кровь и плоть или нищего подкидыша, найденного в навозной куче!

Глаза мистера Брамбла заблистали, и он заскрежетал зубами.

— Стало быть,— начал он, повысив голос,— все дело в том, хватит ли у меня духа раз и навсегда сбросить непосильное ярмо, или хватит подлости поступить жестоко и несправедливо, потакая капризу злобной женщины. Ну, так слушайте, мисс Табита Брамбл! Теперь, в свою очередь, и я вам предлагаю на выбор: либо расстаньтесь с вашим четвероногим любимцем, либо я распрощаюсь с вами навеки! Я порешил: с вашим псом я больше под одной кровлей жить не стану. А теперь извольте обедать, если у вас есть аппетит.

Она была поражена, как громом, этими словами и уселась в углу; помолчав несколько минут, она произнесла:

— Я вас не понимаю, Матт.

— А я с вами говорил на чистейшем английском языке,— с решительным видом отозвался сквайр.

— Сэр, вы имеете право приказывать, а мой долг — повиноваться,— сказала сия фурия, не на шутку присмирев.— Я не могу оставить собаку здесь, разрешите ей доехать в карете до

Лондона, а я даю слово, что она никогда вас больше не будет беспокоить.

Дядюшка был совсем обезоружен таким смиренным ответом и объявил, что на любую разумную ее просьбу он не может ответить отказом; при этом он прибавил:

— Надеюсь, сестра, вы никогда не могли пожаловаться на отсутствие у меня родственных чувств.

Мисс Табита тотчас же встала и, обняв его за шею, поцеловала в щеку. Он с чувством ответил на ее поцелуй. Лидди всхлипнула, Уин Дженкинс кудахтала, Чаудер прыгал, а Клинкер сновал вокруг и потирал руки, радуясь такому примирению.

Согласие было восстановлено, мы не без приятности кончили наш обед и вечером без всяких приключений прибыли в Лондон.

Тетушке как будто пошло на пользу внушение, сделанное братом. Ей угодно было сменить гнев на милость, и теперь Клинкер служит у нас лакеем и дня через два появится в новой ливрее; но так как он мало знаком с Лондоном, мы взяли временного слугу, которого я намереваюсь потом оставить при себе.

Мы живем на Голден-сквер в доме некой миссис Нортон, благопристойной леди, которая заботится о наших удобствах. Дядюшка для развлечения своих питомцев собирается обозреть все примечательные места в столице; но, поскольку мы с вами знакомы с большинством мест, которые он намерен посетить, и с рядом других, о коих он и не подозревает, я буду сообщать вам только о тех, которые в какой-то мере вам незнакомы.

Кланяйтесь от меня нашим друзьям по колледжу Иисуса и верьте, дорогой мой баронет, что я остаюсь всегда вам преданным

*Дж. Мелфордом.*

*Лондон, 24 мая*

*Доктору Льюису*

Дорогой доктор!

Лондон в самом деле для меня новый город. Новы для меня улицы, дома, даже расположение его. Как говорят ирландцы: «Лондон выбрался за город».

Там, где я оставил поля и луга, теперь я нашел улицы и площади, дворцы и церкви. Из верного источника я узнал, что в течение семи лет в одной только части города, в Вестминстере, выстроено одиннадцать тысяч новых домов, да к сему надо еще прибавить те, которые ежедневно появляются в разных частях

сей громоздкой столицы. Пимлико и Найтсбридж почти слились с Челси и Кенсингтоном, и ежели такое безумие продолжится еще в течение полувека, все графство Миддлсекс покроется кирпичом.

Однако следует признать, к чести нашего века, что Лондон и Вестминстер вымощены и освещены лучше, чем раньше. Новые улицы — широкие, прямые, на них просторно, а дома, следует признать, удобны. Мост у Блекфрайерс — славный памятник изящного вкуса и полезен для общества. Я диву даюсь, как это удалось возвести нечто столь величественное и полезное.

Но, невзирая на сии улучшения, столица стала походить на разросшееся чудовище, которое со временем, словно распухшая от водянки голова, лишенная питания и поддержки, отделится от тела. Сия нелепость обнаружится в полной мере, если мы вспомним, что одна шестая из числа жителей нашего обширного государства скучена в одном месте. Можно ли удивляться тому, что наши деревни пустеют, а фермы нуждаются в батраках! Разрушение мелких ферм — всего лишь одна из причин уменьшения народонаселения. Ведь лошади и рогатый скот, который разводится в невероятном количестве, дабы удовлетворить потребность в роскоши, нуждаются в непомерных запасах сена и трав, но для их уборки не нужно много рабочих рук; однако в сих руках всегда будут нуждаться другие отрасли земледелия, невзирая на то, каковы фермы — крупные или мелкие...

Жажда роскоши, как морской прибой, унесла с собой жителей поместий; самый бедный сквайр, так же как и богатейший пэр, желает иметь дом в городе и изображать собой персону с огромным количеством домочадцев. Пахарей, пастухов и прочих батраков соблазняют и развращают вид и речи щеголей в ливреях, приезжающих летом в поместья. Они стараются бежать от грязи и черной работы и толпами устремляются в Лондон в надежде поступить там в услужение, жить в роскоши и наряжаться, не утруждая себя работой; леность свойственна человеческой природе. Очень многие из них, обманувшись в своих ожиданиях, становятся ворами и мошенниками, а Лондон, сия огромная дикая страна, где нет ни охраны, ни бдительного надзора, ни порядка, ни благочиния, предоставляет к их услугам вертепы, равно как и добычу.

Много есть причин, кои способствуют ежедневному притоку этих людей, но все эти причины сливаются в одном могучем источнике — в жажде роскоши и в растлении нравов. Лет двадцать пять назад очень немногие из числа наиболее богатых граждан Лондона держали собственные кареты или ливрейных

слуг. На столе у них не бывало разносолов, одни только простые кушанья, бутылка портвейна да кувшин пива. А ныне любой купец, хоть сколько-нибудь преуспевающий, любой биржевой маклер или адвокат держит двух-трех лакеев, кучера и форейтора. У него есть городской дом, загородный дом, карета и портшез. Его жена и дочки красуются в самых дорогих нарядах, усыпанных брильянтами. Они бывают при дворе, в опере, в театре, на маскарадах. У себя дома они устраивают ассамблеи, роскошные приемы и угощают бордоскими, бургундскими и шампанскими винами.

Зажиточный торговец, который раньше привык проводить вечера в пивной и тратил четыре с половиной пенса, теперь оставляет в таверне три шиллинга, покуда его жена забавляется картами дома; у нее тоже должны быть прекрасные наряды, портшез либо иноходец; она снимает помещение за городом и трижды в неделю посещает места публичных увеселений. Любой клерк, любой ученик ремесленника, даже слуга из таверны или кофейни держит мерина, либо собственного, либо в компании с кем-нибудь, и старается видом и нарядом походить на петиметра. В самых оживленных местах публичных увеселений полным-полно модников и модниц, которые на поверку оказываются поденными портными, лакеями, горничными, разодетыми не хуже своих господ.

Короче говоря, не осталось никаких отличий и никакой субординации. Все занятия перемешались: каменщик, мелкий ремесленник, трактирщик, слуга из пивной, лавочник, крючкотвор, горожанин и придворный наступают друг другу на мозоли; их понукают демоны распутства и бесчинства, их можно видеть повсюду, они шляются, гарцуют, крутятся, рвутся вперед, толкаются, шумят, трещат, грохочут; все заквашено на гнусных дрожжах тупости и разгула; всюду сумятица и суетня. Можно подумать, что они одержимы каким-то сумасшествием, которое не позволяет им сохранять спокойствие. Пешеходы мчатся столь стремительно, словно их преследуют судебные приставы. Носильщики бегут со своей кладью. Те, у кого есть своя карета, мчатся по улицам во весь опор. Даже простой люд, лекари и аптекари мелькают, как молния, в своих двуколках. От лошадей наемных карет валит пар, и мостовая дрожит под ними, и я своими глазами видел, как фургон мчался по Пиккадилли галопом. Словом, может показаться, что вся страна сходит с ума.

Развлечения не худо приспособлены по вкусам сего нелепого чудовища, именуемого *публикой*. Ей нужны шум, толчея,

блеск, мишура, но об изяществе и благопристойности она не помышляет.

Каковы увеселения в Рэнлаге? Половина посетителей идет по кругу, друг другу в затылок, словно слепые ослы на маслобойне; ни побеседовать, ни узнать друг друга нет никакой возможности; а другая половина пьет кипяток, называемый чаем, до девяти-десяти часов вечера, дабы бодрствовать до позднего часа. Что до оркестра, а особливо до певцов, то для них же к лучшему, что их почти нельзя расслышать. Вокс-Холл — нелепое сооружение, обремененное плохими украшениями, плохо задуманное и выполненное, без плана, дурно расположенное. Устроено здесь все несуразно, причудливо освещено, как бы для того, чтобы ослеплять глаза и поражать воображение черни. Тут лежит деревянный лев, там стоит каменная статуя, в одном месте — ряд каких-то ящиков, похожих на крытые ложи в кофейне; в другом месте — множество скамеек из пивной; в третьем — игрушечный водопад из жести; в четвертом — мрачная круглая пещера, похожая на полуосвещенный склеп, а в пятом — крохотная лужайка, на которой негде пастись и осленку. Аллеи, самой природой предназначенные для уединения, прохлады и тишины, заполнены шумливой толпой, вдыхающей ночные испарения нездоровой местности; и среди сих веселых сцен мерцают фонари, точно свечи, ценой фартинг за штуку.

Когда я вижу нарядно одетую публику обоего пола, сидящую на скамьях и выставленную напоказ толпе либо, что еще хуже, вдыхающую ночной сырой и холодный воздух, когда я вижу, как она пожирает ломтики говядины и упивается портвейном, пуншем и сидром, я не могу не сожалеть о ее безрассудстве, хотя и презираю ее за отсутствие вкуса и благопристойности. Но когда она прогуливается по мрачным, сырым аллеям или толчется на мокром песке, а защитой ей служит только свод небесный, и слушает она какую-нибудь песню, которую мало кто может расслышать, то как мне отрешиться от мысли, что ее обуял дух, более нелепый и пагубный, чем тот, каковой нам знаком по Бедламу?

По всем вероятиям, владельцы сего публичного сада, а также других менее известных садов, находящихся на окраинах столицы, связаны с лекарями и с гробовщиками; ибо, размышляя о погоне за наслаждениями, охватившей ныне решительно все слои населения и все стороны жизни, я убежден, что во время сих ночных развлечений заболевает подагрой, ревматизмом, катарами и чахоткой больше народа, чем при всех превратностях жизни трудовой и полной опасности и лишений.

Эти, а равно и другие наблюдения, сделанные мной во время сего путешествия, сократят срок моего пребывания в Лондоне и побудят меня с сугубым удовольствием вернуться в мое уединение и к моим горам; но вернусь я домой не той дорогой, какой ехал в столицу. Я встретил старых приятелей, постоянно проживающих в этой достославной столице, но нрав у них и склонности столь изменились, что стали мы друг другу чужими.

По дороге из Бата сестра Табби вызвала у меня взрыв гнева, и тут я, словно человек, который набрался храбрости во хмелю, поговорил с ней столь резко и внушительно, что добился вожделенного успеха. После такого урока она и ее пес удивительно смирны и послушны. Как долго будет продолжаться это благостное затишье, одному богу известно. Я льщу себя надеждой, что сие путешествие принесло пользу моему здоровью; таковая надежда побуждает меня продолжить путешествие на север.

Но покуда я должен для блага и развлечения моих питомцев исследовать до самых глубин сей хаос, сию уродливую, чудовищную столицу, не имеющую ни головы, ни хвоста, ни конечностей, ни пропорций.

Томас так нагрубил в пути моей сестре, что я был вынужден немедленно его прогнать между Чиппенхемом и Мальборо, где наша карета опрокинулась. Этот парень всегда был угрюм и себялюбив; но ежели бы он воротился в усадьбу, можете выдать ему аттестат, свидетельствующий о его честности и трезвости; буде же он станет себя вести с должным уважением к нашему семейству, дайте ему две-три гинеи от имени всегда вам преданного

*М. Брамбла.*

*Лондон, 29 мая*

### *Мисс Летиции Уиллис, в Глостер*

Милая моя Летти!

Невыразимое удовольствие доставило мне ваше письмо от 25-го, которое было вручено мне вчера вечером миссис Брентвуд, модисткой из Глостера. С радостью услыхала я о том, что моя достойная воспитательница находится в добром здоровье, а еще больше порадовалась, узнав, что она перестала сердиться на свою бедную Лидди. Сожалею, что вы лишились общества любезной мисс Воген, но, надеюсь, вам недолго придется сетовать на отъезд ваших школьных приятельниц, ибо, вне всяких сомнений, родители ваши в скором времени вывезут вас в свет, где вы при отличающих вас достоинствах займете видное поло-

жение. Когда это совершится, я льщу себя надеждой, что мы с вами встретимся снова и будем счастливы вместе, и еще крепче будет дружба, которую мы заключили в юном возрасте. Я могу обещать, что с моей стороны будут приложены все усилия, чтобы наш союз остался нерушимым до конца жизни.

Дней пять назад мы прибыли в Лондон, совершив приятное путешествие из Бата, хотя по дороге карета наша опрокинулась и приключились еще кое-какие незначительные происшествия, которые вызвали размолвку между дядюшкой и тетушкой, но теперь, слава богу, они примирились. Мы живем в добром согласии и каждый день отправляемся обозревать чудеса этой обширной столицы, которую, однако, я не берусь описывать, так как до сей поры не видала еще и одной сотой ее диковинок, и к тому же голова у меня затуманилась от восхищения.

Города Лондон и Вестминстер раскинулись на необъятном пространстве. Здесь великое множество улиц, площадей, проспектов, улочек и переулков. Повсюду высятся дворцы, публичные здания и церкви, и среди этих последних особливо поражает громадный собор святого Павла. Говорят, он не так велик, как собор святого Петра в Риме, но что до меня, то я и представить себе не могу более величественного и пышного храма на земле.

Однако даже все это великолепие менее поразительно, чем толпы людей, снующих по улицам. На первых порах я вообразила, будто только что закончилась какая-нибудь блистательная ассамблея, и хотела обождать в сторонке, пока народ разойдется. Но сей людской поток катится беспрерывно и не иссякает с утра до ночи. И столько нарядных колясок, карет, портшезов, повозок проносится и мелькает перед вашими глазами, что, когда вы глядите на них, голова у вас кружится, а роскошь и разнообразие картин потрясают воображение.

Не только на суше, но и на воде зрелище изумляет и поражает. Вы видите три огромных моста, соединяющих противоположные берега полноводной, глубокой и быстрой реки; они так широки, так величественны и красивы, что кажется, точно их создали гиганты. Вся поверхность Темзы между ними покрыта маленькими суденышками, баржами, лодками и яликами, снующими взад и вперед, а ниже этих трех мостов тянется такой бесконечный лес мачт на протяжении многих миль, что можно подумать, будто здесь собрались корабли со всей вселенной. Все, что читали вы в арабских и персидских сказках о Багдаде, Диарбекире, Дамаске, Исфагани и Самарканде, все это богатство и роскошь видите вы здесь воочию.

Рэнлаг подобен зачарованному дворцу волшебника, разукрашенному чудными картинами, резьбой и позолотой, освещенному тысячью золотых фонарей, с которыми не может состязаться само полуденное солнце, и наполненному толпой людей знатных, богатых, веселых и счастливых, в сверкающих золотых и серебряных одеждах, кружевах и драгоценных каменьях. Эти ликующие сыны и дщери блаженного счастья в сем саду веселья прогуливаются или в различных уголках и павильонах пьют чудесный вкусный чай и другие восхитительные напитки, в то время как их слух услаждают самая пленительная музыка и пение. Здесь я слышала знаменитого Тендуччи из Италии — он как две капли воды похож на мужчину, хотя говорят, что не мужчина. И в самом деле, голос у него мелодичнее, чем может быть у мужчины или женщины, и пел он столь божественно, что, слушая его трели, я поистине чувствовала себя, как в раю.

В девять часов, в прелестный лунный вечер, мы отплыли из Рэнлага в Вокс-Холл в ялике, таком легком и изящном, что мы похожи были на фей, плывущих в ореховой скорлупе. Дядюшка, опасаясь простудиться на воде, отправился кружным путем в карете, и тетушка хотела сопровождать его, но он не разрешил бы мне плыть по воде, если бы она поехала сушей, а потому тетушка удостоила нас своего общества, заметив, сколь любопытно мне совершить эту приятную переправу. В конце концов суденышко оказалось весьма нагруженным, так как, кроме лодочника, с нами был еще мой брат Джерри и один из его приятелей, некий мистер Бартон, богатый помещик-джентльмен, который у нас обедал.

Однако удовольствие, доставленное этой маленькой прогулкой, было при нашей высадке отчасти испорчено, так как я очень испугалась: там мы увидели множество яликов и толпу людей, которые орали, ругались и ссорились, а несколько человек безобразного вида вошли даже в воду и изо всех сил уцепились за нашу лодку, чтобы втащить ее на берег, и ни за что не хотели выпустить ее, пока мой брат не ударил одного из них тростью по голове.

Но этот переполох был вполне возмещен прелестями Вокс-Холла: не успела я вступить туда, как уже была ослеплена и ошеломлена красотами, сразу представшими пред моими глазами. Вообразите себе, милая моя Летти, обширный сад, часть которого пересечена упоительными аллеями, обрамленными высоким кустарником и деревьями и усыпанными гравием; в другой же части его открываются самые удивительные и прекрас-

нейшие павильоны, беседки, гроты, лужайки, храмы и каскады, портики, колоннады и ротонды, украшенные колоннами, статуями и картинами, и все это освещено великим множеством фонарей, блистающих, как солнца, звезды и созвездия. В саду толпится нарядная публика, которая прогуливается по этим прелестным аллеям или сидит в беседках за холодным ужином, веселится или отдыхает, слушая превосходную музыку. Не считая других певцов и певиц, я имела счастье слышать знаменитую миссис ***, чей голос столь звучен и пронзителен, что у меня от чрезмерного наслаждения разболелась голова.

Примерно через полчаса после нашего прибытия к нам присоединился дядюшка, который как будто не был в восторге от Вокс-Холла. Люди, обремененные опытом и недугами, видят все по-иному, совсем не так, как мы с вами, милая моя Летти!

Наше вечернее увеселение было прервано досадным случаем. В одной из отдаленных аллей нас внезапно застиг ливень, он обратил в бегство всю компанию, и мы, толкая друг друга, помчались в ротонду, где дядюшка, убедившись, что сильно промок, начал брюзжать и настаивать на отъезде. Мой брат отправился на поиски кареты и нашел ее с большим трудом, а так как она не могла вместить всех нас, то мистер Бартон остался.

В этой сутолоке не скоро удалось доставить карету к воротам, несмотря на все старания нашего нового лакея Хамфри Клинкера; он потерял свой полупарик, и ему чуть не проломили голову во время драки.

Как только мы уселись, тетушка разула дядюшку и заботливо окутала его бедные ноги своим плащом с капюшоном; потом она дала ему глотнуть сердечного лекарства, которое всегда носит в кармане, а по приезде нашем домой он тотчас переоделся. И вот, хвала богу, он избежал простуды, которой очень страшился.

Что до мистера Бартона, то должна сказать вам по секрету — он оказывал мне особые знаки внимания, но, может быть, я неверно поняла его услужливость, и это было бы хорошо для него самого. Вам ведомо, что таится в моем бедном сердце, которое вопреки жестокому обхождению... и, однако, жаловаться я не должна и не буду впредь до получения известий.

Кроме Рэнлага и Вокс-Холла, я побывала еще у миссис Корнелис на ассамблее и не нахожу слов, чтобы описать залы, общество, наряды и убранство. Но не имея особой любви к карточной игре, я еще не могла отдаться всею душою этому развлечению. В самом деле, я до сей поры остаюсь такой деревенской дикаркой, что у меня едва хватает терпения привести себя в над-

лежащий вид для появления в свете, хотя всего только часов шесть мною занимался парикмахер, который потратил на мою прическу столько черной шерсти, что ее хватило бы на стеганую юбку, и все же на ассамблее моя голова была самой маленькой, если не считать головы моей тетушки. А тетушка в приплюснутом сзади платье и юбке, с редкими локонами, с лентами на головном уборе, с рюшью, нашитой в три ряда на рукавах и в высоком корсете имела столь странный вид, что все смотрели на нее с изумлением. Одни перешептывались, другие посмеивались, а леди Грискин, которая нас представила, сказала ей напрямик, что она на добрых двадцать лет отстала от моды.

Леди Грискин — светская особа, с которой мы имеем честь состоять в родстве. У нее в доме собираются для карточной игры, но всегда только на десяти — двенадцати столах, а бывает у нее самое лучшее общество. Она весьма любезно представила мою тетушку и меня кое-кому из своих знатных друзей, которые обходятся с нами очень мило и без всяких церемоний. Один раз мы у нее обедали, и она взяла на себя попечение о нас. Мне посчастливилось завоевать ее расположение в такой степени, что она собственноручно поправляет у меня на голове шляпку и даже любезно предложила мне остаться с ней на всю зиму. Однако ее приглашение было резко отклонено дядюшкой, который, неведомо почему, питает, кажется, предубеждение против этой доброй леди; стоит тетушке сказать что-нибудь в похвалу ей, как я уже замечаю, что он начинает строить гримасы, хотя и не говорит ни слова. Впрочем, гримасы эти, может быть, объясняются болью, вызванной подагрой и ревматизмом, от которых он очень страдает. Однако ко мне он всегда добр, а щедрость его даже превышает мои желания. По приезде нашем сюда он преподнес мне отделанный кружевами нарядный убор, который стоит столько денег, что я даже упоминать об этом не стану. По его желанию Джерри передал мне бриллиантовые подвески моей матери, для которых заказана новая оправа, и потому не вина моего дядюшки, если я не сверкаю среди звезд четвертой или пятой величины. Хотела бы я, чтобы бедная моя голова не закружилась от всей этой галантности и развлечений. Однако до сей поры я с твердостью могу заявить, что рада была бы отказаться от шумных увеселений, предпочитая им деревенское уединение и счастливую тихую жизнь с теми, кого мы любим и среди которых моя Уиллис всегда будет занимать первое место в сердце навеки ей преданной

*Лидии Мелфорд.*

*Лондон, 31 мая*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

Посылаю вам это письмо, франкированное нашим старым приятелем Бартоном, который весьма изменился, насколько это возможно для такого человека, как он. Вместо нерадивого, беззаботного неряхи, которого мы знавали в Оксфорде, я встретил деятельного, говорливого политика, одетого, как petit maître [1], а по манерам церемонного придворного. По своей натуре он недостаточно желчен, чтобы разражаться непристойной бранью и злобствовать, как приверженец какой-нибудь партии; но с той поры, как он вошел в парламент, он стал горячим сторонником министерства и все видит точно сквозь увеличительное стекло, что для меня, не входящего ни в какую партию, кажется совершенно непонятным. Готов биться об заклад на сто гиней против десяти, что, если бы Бартон либо самый убежденный сторонник оппозиции попытались нарисовать по совести портреты короля или министра, мы с вами, покуда еще не зараженные предубеждениями, признали бы обоих художников равно далекими от истины. Однако, к чести Бартона, надо сказать, что он никогда не прибегает к неприличной брани, а тем более к гнусной клевете, чтобы очернить личность противника.

С той поры как мы сюда приехали, он уделяет нашему семейству сугубое внимание; в столь беспечном любителе развлечений сие показалось бы мне очень странным, если бы я не заметил, что моя сестра Лидди затронула его сердце. Я не стал бы возражать против того, чтобы он попытал счастья; если значительное поместье и большой запас добродушия являются желательными качествами для супруга, чтобы сделать брак счастливым до конца жизни, то она будет счастлива с Бартоном. Но мне кажется, что необходимо еще нечто, дабы пробудить и удержать любовь женщины чувствительной и деликатной, и в этом нашему приятелю природа отказала. По-видимому, Лидди разделяет мое мнение. Когда он обращается к ней, она слушает его с неохотой и искусно избегает всех многозначительных разговоров; но чем больше она смущается, тем больше набирается храбрости тетушка.

Мисс Табита сама бежит ему навстречу; она не понимает или делает вид, будто не понимает, значения его учтивости,

---

[1] Щеголь, франт *(франц.)*.

каковая, вне сомнения, притворна и неискренна. Тетушка возвращает ему комплименты с чудовищными процентами, за столом она преследует его своими любезностями, она то и дело с ним заговаривает, вздыхает, кокетничает, делает ему глазки и своим отвратительным жеманством и наглостью принуждает бедного придворного любезничать с ней по мере сил. Короче говоря, она предпринимает осаду сердца Бартона и с такой смелостью подводит свои апроши, что боюсь, как бы ему не пришлось капитулировать. А тем временем его отвращение к сей влюбленной особе борется в нем с присущей ему любезностью и со свойственной от природы боязнью кого-нибудь обидеть, что и приводит его в отчаяние, крайне смехотворное.

Два дня назад он убедил меня и дядюшку сопровождать его в Сент-Джемский дворец, где он хотел познакомить нас со всеми вельможами в королевстве; и в самом деле, там собралось весьма много достопримечательных особ, ибо при дворе было какое-то очередное празднество.

Наш провожатый исполнил свое обещание с превеликой точностью. Он называл нам каждую персону обоего пола и свои рекомендации украшал панегириком. Увидев приближавшегося короля, он сказал:

— Вот идет самый любезный монарх из всех, кто когда-либо держал скипетр Англии. Deliciae humani heneris[1]. Это Август по воздаянию заслуг, Тит Веспасиан по благородству, Траян по благотворительности, Марк Аврелий по мудрости!

— Весьма почтенный, добросердечный джентльмен,— вставил дядюшка,— он слишком хорош для нашего времени. Английский король должен иметь в своей натуре малость от дьявола.

Повернувшись к герцогу К., Бартон продолжал:

— Герцога вы знаете. Вы знаете этого прославленного героя, который растоптал мятеж и спас для нас все, чем мы владеем и должны почитать дорогим для каждого англичанина и христианина. Всмотритесь в его глаза! Какой у него проницательный и вместе с тем умиротворяющий взгляд! Какая благородная осанка! Сколько в нем доброты! Даже злопыхатель и тот должен будет признать, что это один из самых великих воинов в христианском мире.

— Полагаю, что так,— сказал мистер Брамбл,— но кто сии молодые джентльмены рядом с ним?

---

[1] Любимец рода человеческого *(лат.)*.

— Вот эти? — воскликнул наш приятель.— Да ведь это племянники его высочества! Принцы королевской крови. Какие милые молодые принцы! Священный залог протестантской династии! Такие сердечные, такие умные, такие царственные!

— Да, да, очень умные, очень сердечные,— перебил его дядюшка.— Но поглядим на королеву! Ба! Вон королева! Дайте взглянуть! Дайте посмотреть! Где мои очки? Ба! А в глазах какой ум! И какая чувствительность! И какое выражение! Ну, а теперь, мистер Бартон, кого вы еще нам покажете?

Следующей особой, на которую тот указал, был фаворит *граф*, стоявший один у окна.

— Взгляните на северную звезду! — сказал Бартон.— У нее обкорнали лучи...

— Как? Каледонское светило, которое недавно столь сияло на нашем небосклоне? Теперь оно мерцает сквозь туман. Как Сатурн, но только без кольца, холодный, тусклый и далекий. Ба! А вот другой великий феномен, великий пенсионарий, сей флюгер патриотизма! Он вращается при каждом колебании политического компаса и чувствует еще, как ему дует в зад ветер славы. И он тоже, как зловещая комета, снова поднялся над горизонтом королевского двора, но сколь долго будет продолжаться его восхождение, нельзя предсказать, ежели принять во внимание его большие странности. А кто эти два сателлита, которые неотступно следуют за ним?

Когда Бартон назвал их имена, мистер Брамбл сказал:

— О них я слышал. У одного в жилах нет ни капли красной крови, в голове у него — холодный, опьяняющий чад, а в сердце его хватит злобы, чтобы заразить целую нацию. Другой, я слышал, намеревается войти в правительство, и пенсионарий достодолжно заверил, что он сего достоин. Единственным доказательством его мудрости, каковое мне известно, является лишь то, что он дезертировал от своего бывшего патрона, когда тот потерял власть и лишился милости народа. У него нет ни твердых убеждений, ни таланта, ни ума, он груб, как боров, жаден, как ястреб, и вороват, как галка, но, надо признать, он не лицемер. На добродетели он не притязает и не берет на себя труд надевать личину. У его министерства будет одно преимущество: никого не разочарует нарушение им обещаний, ибо ни один смертный никогда не верил ни одному его слову. Я удивляюсь, как это случилось, что лорд Икс раскопал этого удачливого гения и с какой целью остановил на нем свой выбор? Можно подумать, что министр обладает способностью *подбирать на своем пути каждого*

*болвана и плута*, подобно тому, как янтарь притягивает мякину, солому и сор...

Похвальное слово дядюшки было прервано появлением старого герцога Н., который с озабоченным и внушительным видом совал нос в лицо каждому, словно кого-то разыскивал, чтобы сообщить ему нечто чрезвычайно важное.

Дядюшка, знакомый с ним ранее, поклонился, когда тот проходил мимо, и герцог, увидев, что ему почтительно кланяется отменно одетый джентльмен, не преминул ответить на поклон. Он даже подошел к дядюшке и, любезно взяв его за руку, сказал:

— Как я рад вас видеть, дорогой друг, мистер А.! Давно ли вы приехали из-за границы? Как поживают наши добрые друзья голландцы? А прусский король не думает о новой войне? О, это великий король! Великий завоеватель! Величайший завоеватель! Ваши, сэр, Александры и Ганнибалы — ничто перед ним! Капралы! Барабанщики! Сущая дрянь! Только подонки! Чертовы...

Его светлость задохнулся, и дядюшка воспользовался этим, чтобы сказать, что он не уезжал из Англии, что его фамилия Брамбл и что он имел честь заседать в предпоследнем парламенте покойного короля представителем боро Димкимрайг.

— Вот оно что! — воскликнул герцог.— Ну, как же, я прекрасно вас помню, дорогой мистер Брамбл! Вы всегда были честным верноподданным... Надежный друг правительства... Я назначил вашего брата епископом в Ирландию...

— Простите, милорд,— вставил сквайр,— у меня был когда-то брат, но он служил в армии капитаном...

— Ба! Совершенно верно!..— воскликнул его светлость.— Вот-вот... Но кто же тогда был епископом? Епископ Блекбери — да, да, именно епископом блекберийским! Может быть, какой-нибудь ваш родственник...

— Очень возможно, очень возможно, милорд! — сказал дядюшка.— Блекбери — плод Брамбла...[1] Но я не думаю, чтобы сей епископ был ягодой с нашего куста.

— Правильно! Правильно! Ха-ха-ха! — воскликнул герцог.— Тут вы меня поймали, добрейший мистер Брамбл, ха-ха-ха! Буду рад вас видеть на Линкольн'с Инн Филдс... Вы знаете дорогу... Времена переменились. Хоть власть я и потерял, но способностей не утратил... Ваш покорный слуга, любезный мистер Блекбери...

---

[1] Игра слов: блекбери — ежевика; брамбл — терновник.

С этими словами он направился в другой угол зала, расталкивая людей.

— Какой любезный старый джентльмен! — воскликнул Бартон.— Какая бодрость духа! Какая память! Он никогда не забывает старых друзей!

— Он оказывает мне слишком много чести, причисляя к своим друзьям,— сказал наш сквайр.— В бытность мою в парламенте я голосовал за министерство только три раза, когда моя совесть говорила мне, что его действия правильны. Но ежели он еще устраивает утренние приемы, я поведу туда племянника, пусть он поглядит и убедится, что следует их избегать. По моему мнению, английскому джентльмену вредней всего бывать на приемах министра. Теперь я ничего не могу сказать о его светлости, но лет тридцать назад он был постоянной мишенью насмешек и проклятий. Над ним всегда издевались, почитая его обезьяной в политике, а его пост и влиятельность споспешествовали только тому, что глупость его стала всем известна и оппозиция проклинала его как неутомимого подголоска главной персоны, коего справедливо заклеймили как отца продажности. Но сия забавная обезьяна, сей продажный подголосок, как только потерял свои посты, каковые были ему решительно не по плечу, и как только развернул знамена кучки, подрывающей свою партию, так тотчас же превратился в образец добродетели. Те самые люди, которые раньше поносили его, нынче превозносят до небес как мудрого, опытного государственного мужа, главную опору протестантского престолонаследия и краеугольный камень английской свободы... Мне хотелось бы знать, как мистер Бартон примиряет сии противоречия, не принуждая нас отречься от всех прав и привилегий на здравый смысл?

— Дорогой сэр,— ответил Бартон,— я не склонен оправдывать крайности толпы, которая, по моему мнению, была сумасбродна раньше, когда поносила, и остается сумасбродной теперь, когда превозносит... Но я был бы очень рад пойти с вами в ближайший четверг на утренний прием к его светлости... Боюсь, там будет не очень много народу, ибо есть большая разница между теперешней его должностью президента совета и прежним его постом первого лорда казначейства.

Когда этот услужливый друг назвал нам всех знаменитых особ обоего пола, явившихся ко двору, мы решили удалиться и ушли.

У подножия лестницы толпились лакеи и носильщики портшезов, а среди них стоял, взобравшись на скамейку,

Хамфри Клинкер, со шляпой в одной руке и с бумагой в другой, и держал речь собравшимся. Прежде чем мы успели осведомиться, что здесь происходит, он заметил своего хозяина, сунул бумагу в карман, спустился с возвышения, пробился сквозь толпу и подал карету к воротам.

Дядюшка не говорил ничего, пока мы не уселись, а потом внимательно поглядел на меня, захохотал и спросил, понял ли я, о чем Клинкер держал речь толпе.

— Ежели парень превратился в скомороха, — сказал он,— мне нужно будет его прогнать, а не то он всех нас сделает шутами.

Я заметил, что, по всей вероятности, он изучал лекарское искусство у своего хозяина, который был коновалом.

За обедом сквайр спросил его, занимался ли он когда-нибудь врачеваньем.

— Да, ваша честь, но имел дело с бесчувственными тварями и не лечу разумных созданий,— ответил тот.

— Я не знаю, кем вы почитаете слушателей, перед коими разглагольствовали в Сент-Джемском дворце, но хотелось бы знать, что за порошки вы им раздавали и успешна ли была ваша торговля.

— Торговля, сэр! — воскликнул Клинкер.— Смею надеяться, я никогда не буду таким негодяем, чтобы продавать за золото и серебро то, что получаешь даром по милости господней! Я ничего не раздавал, ваша честь, кроме советов моим собратьям, таким же, как и я, слугам и грешникам.

— Советы? Какие?

— Не ругаться, потому это богохульство, ваша честь! Ужасное, постыдное богохульство, волосы становятся дыбом!

— Ну, ежели ты сумеешь вылечить их от сего недуга, я стану почитать тебя чудесным лекарем.

— А почему бы их не вылечить, добрый хозяин? Сердце у этих бедных людей совсем не такое упрямое, как ваша честь, должно быть, изволит думать. Надо сделать только так, чтобы они поняли, что, кроме добра, вы ничего им не желаете, а потом они станут терпеливо вас слушать и вы их без труда убедите в безумии и греховности их привычки, которая не приносит ни пользы, ни удовольствия.

При этих словах дядюшка покраснел и окинул взглядом всю компанию, сознавая, что у него самого рыльце в пуху.

— Ежели вы, Клинкер,— заметил он,— настолько красноречивы, что после ваших убеждений простолюдины откажутся от сих троп и фигур риторики, то их разговор ничем не будет отличаться от разговора их господ.

— Но тогда, ваша честь, ничего дурного в их разговоре не будет. А в день Страшного суда разницы между людьми не будет никакой!

Когда Клинкер пошел вниз за бутылкой вина, дядюшка поздравил сестру с появлением в семействе проповедника, а мисс Табита сказала, что он парень трезвый, учтивый, весьма почтительный и очень старательный и к тому же, как она полагает, добрый христианин.

Клинкер, можно полагать, должен был обладать особым талантом, чтобы завоевать благоволение этой фурии, столь злобно против него предубежденной; в самом деле, после приключения в Солтхилле мисс Табби, казалось, стала совсем другой. Она перестала орать на слуг — это занятие сделалось для нее привычным и было просто необходимо ей — и так охладела к Чаудеру, что подарила его леди Грискин, которая намеревается сделать эту породу собак модной.

Эта леди — вдова сэра Тимоти Грискина, дальнего родственника нашего семейства. Доходу у нее — пятьсот фунтов в год, но она ухитряется тратить в три раза больше. Ее поведение до брака было сомнительно, но теперь она живет, как требует bon ton[1], у нее ведут карточную игру, она приглашает на ужин избранных друзей, и ее посещают особы высшего света. Со всеми нами она была удивительно вежлива и с особливым уважением относится к дядюшке, но чем больше она его гладит, тем больше он ощетинивается. На все ее любезности он отвечает лаконично и сухо. Как-то она прислала нам корзинку чудесной клубники, которую он принял с явным неудовольствием, процитировав из «Энеиды»: «Timeo Danaos et dona ferentes»[2]. Она дважды приглашала Лидди поехать с ней утром в карете подышать свежим воздухом, но мисс Табби столь была бдительна (по распоряжению дядюшки, как я полагаю), что той пришлось брать с собой не только племянницу, но и тетку. Я попытался поговорить об этом со стариком, но он уклонился от всяких объяснений.

Ну вот, мой дорогой Филипс, я исписал целый лист и, если вы дочитаете все до конца, смею думать, вы устанете так же, как и ваш покорный слуга

*Дж. Мелфорд.*

*Лондон, 2 июня*

---

[1] Хороший тон *(франц.)*.
[2] Боюсь данайцев, дары приносящих *(лат.)*.

*Доктору Льюису*

Итак, любезный доктор, я видел Британский музей; сие есть великолепная, даже, можно сказать, удивительная коллекция, ежели мы вспомним, что она собрана неким лекарем, который в то же время должен был заботиться о своем собственном благосостоянии. Но сколь коллекция ни велика, она поражала бы еще более, ежели бы ее разместить в одном просторном зале, а не распределять по разным комнатам, которые отнюдь еще не заполнены целиком. Мне бы хотелось, чтобы старинные монеты были собраны вместе, а коллекции животного и растительного царств, а также царства минералов были пополнены на средства общества образцами, коих им недостает. Весьма улучшена будет также библиотека, ежели пробелы в ней восполнить покупкой книг, которых нельзя в ней найти. Сии книги можно распределить по столетиям, согласно дате их издания, и напечатать перечень книг и рукописей для оповещения тех, кто хотел бы навести справки в столь авторитетных сочинениях или сделать из них выписки.

Мне хотелось бы также, чтобы ради национальной славы там был полный набор всех необходимых предметов для курса лекций по математике, механике и экспериментальной физике, и опытному профессору дано было хорошее жалованье, дабы он мог читать лекции по этим наукам.

Но сие есть праздные рассуждения, которые никогда не осуществятся. Размышляя о нравах нашего времени, можно только удивляться тому, что видишь какое-то учреждение, созданное для блага общества. Дух партий породил какое-то безумие, неведомое в прежние времена, или, вернее, способствовал вырождению, которое сказалось в полном забвении честности и справедливости. Я в течение некоторого времени следил за тем, как газеты превратились в гнусных проводников ужаснейшей и бесстыдной клеветы. Любой злобный мошенник, любой отъявленный смутьян, который имеет возможность истратить полкроны или три шиллинга, может укрыться в толпе газетных сплетников и нанести смертельный удар первому лицу в королевстве, не рискуя ни в малейшей степени быть обнаруженным и понести возмездие.

Я познакомился с неким мистером Бартоном, коего Джерри знал в Оксфорде; неплохой человек, хотя он и нелепо заблуждается в своих политических убеждениях, но в его пристрастиях нет ничего оскорбительного, ибо они не выражаются в обидной и грубой форме.

Он член парламента и сторонник двора, и его разговор вращается вокруг добродетелей и совершенств министров, каковые являются его покровителями. На днях, когда он осыпал одну из сих знаменитостей тошнотворными похвалами, я заметил ему, что в одной из газет отзываются об этом самом вельможе совсем иначе, а именно так его клеймят, что ежели бы половина из всего написанного была правдой, то он не только должен был бы расстаться с властью, но и с жизнью; эти обвинения, прибавил я, повторяются без конца и пополняются новыми примерами, и раз он не предпринял никаких шагов в свое оправдание, то я готов думать, что его обвиняют не без оснований.

«А какие шаги, по вашему мнению, сэр, он должен предпринять? — спросил мистер Бартон.— Предположим, вы возбудите дело против издателя, прикрывающего анонимного обвинителя, и за клевету выставите его у позорного столба; но это нисколько не считается наказанием *in terrorem*[1] и скорей всего будет споспешествовать его успеху. Толпа немедленно берет его под свое покровительство как одного из мучеников по делу о клевете, а их она всегда защищает. Толпа платит за него пеню, с ее помощью он обогащается, покупатели толпятся в его лавке, и спрос на его газету возрастает в соразмерности с тем скандалом, которому она уделила место. А все это время обвинителя поносят, как притеснителя и тирана, за то, что он принес жалобу, которая почитается обидой. Если же он начнет дело об убытках, он должен доказать, что понес убытки, а посудите сами, сколь будет запятнано доброе имя джентльмена и сколь повредит клевета его видам на будущее, если он не сможет точно указать, какие именно убытки он понес.

Это дух клеветы — нечто вроде ереси, которая распространяется благодаря преследованиям. *Свобода печати* — эти слова обладают огромной силой и, подобно словам *протестантская религия*, часто служат целям мятежа. Министр, стало быть, должен вооружиться терпением и безропотно выносить такие атаки. Но каким бы злом они ни являлись, в одном отношении они приносят пользу правительству: эти клеветнические статьи способствуют размножению газет и их распространению в такой мере, что налог на них и на объявления является значительным подспорьем государственных доходов».

Разумеется, любезный Льюис, честь джентльмена — слишком деликатное понятие, дабы ее можно было вверить присяжным, которых никак не назовешь людьми, отличающимися умом

[1] Устрашающим *(лат.)*.

и беспристрастием. В таких делах его судят не только равные ему, но и его партия, и я считаю, что из всех патриотов самым твердым является тот, кто отдает себя на такое поношение ради своей родины. Ежели невежество и пристрастие присяжных не обеспечивают джентльмену защиты закона против клеветы в газетах и памфлетах, то я знаю только один способ возбудить дело против издателя, связанный, правда, с риском, но, на моей памяти, примененный не раз с успехом.

Какая-то газета оповестила, что один из кавалерийских полков вел себя недостойно в сражении при Деттингене, и капитан этого полка исколотил издателя, заявив при этом, что если тот обратится в суд, то все офицеры почтят его таким же образом. Губернатор *** получил такое же удовлетворение, переломав ребра автору, поносившему его имя в какой-то газете. Я знаю одного подлого парня из той же клики, который, будучи изгнан из Венеции за наглость и бесстыдство, уехал в Лугано, городок в Гризонсе, населенный свободным народом,— черт возьми! — где нашел печатный станок и откуда стал поливать грязью некоторых почтенных лиц в республике, которую вынужден был покинуть. Кое-кто из этих лиц, убедившись, что он находится за пределами досягаемости закона, нанял полезных людей, которых можно найти в любой стране, и те отдубасили писаку палками; это повторялось несколько раз, покуда он не прекратил изливать поток оскорблений.

Что до свободы печати, то, как любой другой привилегии, ей следует положить границы, ибо ежели она приводит к нарушению закона, к угашению любви к ближнему, к оскорблению религии, то становится одним из величайших зол, какие когда-либо обрушивались на общество. Ежели последний негодяй может невозбранно поносить в Англии ваше доброе имя, то можете ли вы, положа руку на сердце, возмущаться Италией за обычные в этой стране убийства? К чему же защищать наше имущество, ежели наше доброе имя остается без защиты! Раздраженные сим обстоятельством люди приходят в отчаяние, а отчаяние, вызванное невозможностью сохранить доброе имя не запятнанным каким-нибудь мерзавцем, порождает равнодушие к славе, и, таким образом, исчезает главная побудительная причина добрых дел.

Соображения мистера Бартона касательно налога на печатные издания весьма умны и похвальны, равно как другое правило, усвоенное уже давно нашими знатоками финансов, а именно потакание пьянству, мотовству и разгулу, ибо они способствуют увеличению доходов казначейства. Несмотря на мое

презрение к тем, кто льстит министрам, я полагаю, что еще более презренно льстить черни. Когда я вижу, как человек хорошего рода, образованный, состоятельный ставит себя на один уровень с подонками нации, водится с жалкими мастеровыми, ест с ними за одним столом, пьет из одной кружки, льстит их предрассудкам, разглагольствует, превознося их добродетели, выносит их рыганья за кружкой пива, дым их табака, грубость их обхождения, дерзкие их речи,— я не могу его не презирать как человека, виновного в гнусном распутстве для достижения личных и низменных целей.

Я с охотой отступился бы от политики, ежели бы мне удалось найти другие предметы для беседы, обсуждаемые с большей скромностью и прямотой; но демон партий, как видно, завладел всеми сторонами жизни.

Даже мир литературы и изящных искусств разбился на злобно враждующие между собой клики, из которых каждая хулит, чернит и поносит творения другой. Вчера я отправился днем отдать визит знакомому джентльмену и у него в доме встретил одного из современных сочинителей, чьи труды имели успех. Я читал одно или два из его сочинений, и они мне понравились, а потому я был рад познакомиться с автором, но речи его и поведение разрушили впечатление, сложившееся в его пользу благодаря его писаниям.

Он взял на себя смелость поучительным тоном решать все вопросы, не удостаивая представить какие бы то ни было доводы своего расхождения с мнениями, разделяемыми всем человечеством, словно мы были обязаны соглашаться с *ipse dixit*[1] сего нового Пифагора. Он подверг пересмотру достоинства главнейших писателей, умерших за последнее столетие, и при этой ревизии не обращал никакого внимания на заслуженную ими славу.

Мильтон был сочинителем грубым и скучным, Драйден тягучим и многоречивым, у Батлера и Свифта не было юмора, у Конгрива — остроумия, а Поп лишен всяких поэтических достоинств. Что до наших современников, то он слышать не мог, ежели о ком-нибудь отзывались с похвалой: все они были олухи, педанты, повинны в литературном воровстве, шарлатаны и обманщики, и нельзя было назвать ни одного сочинения, которое не было бы слабым, глупым и пошлым. Следует признать, что сей сочинитель не обременил своей совести лестью; мне говорили, что он никогда не похвалил ни одной строчки, написанной даже теми, с кем он был в приятельских отношениях. Сие

[1] Сам сказал *(лат.)*, то есть подлинные слова.

высокомерие и самонадеянность, с которыми он хулил сочинителей, к славе которых собравшиеся могли быть небезразличны, были столь оскорбительны для здравого смысла, что я не мог слушать его без возмущения.

Я пожелал узнать, почему он отзывается столь уничижительно о сочинениях, которые доставили мне необыкновенное удовольствие, но, должно быть, он был не мастак приводить доказательства, и я весьма резко разошелся с ним во мнениях. Избалованный вниманием и смирением слушателей, он не мог хладнокровно выносить противоречий, и спор грозил стать жарким, ежели бы его не прервало появление соперничавшего с ним барда, при виде коего он всегда удалялся. Они принадлежали к разным кликам и вели открытую войну в течение двадцати лет. Первый бард говорил наставительно, а сей витийствовал. Он не беседовал, а вещал, но и его речи были столь же скучны и напыщенны. Он также разглагольствовал *ex cathedra*[1] о сочинениях своих современников и хотя, не колеблясь, расточал хвалы самым гнусным, продажным писакам с Граб-стрит, которые либо льстили ему наедине, либо восхваляли публично, но всех других сочинителей, своих современников, он осудил с величайшим бесстыдством и злобой. Один — болван, ибо родом из Ирландии; другой — голодная литературная вошь с берегов Твида; третий — осел, так как получает пенсион от правительства; четвертый — воплощение тупости, потому что преуспел в той области сочинительства, в коей сей Аристарх потерпел неудачу; пятого, осмелившегося критиковать одно из его сочинений, он назвал клопом в критике, чья вонь более оскорбительна, чем укус. Короче говоря, за исключением его самого и его клевретов, во всех трех королевствах нет ни одного одаренного или ученого человека. Что до успеха тех сочинителей, которые не принадлежали к сей лиге, то он приписывал его только отсутствию изящного вкуса у публики, не соображая, что сам он обязан успехом одобрению сей публике, лишенной изящного вкуса.

Эти чудаки не годны для беседы. Ежели бы они хотели сохранить преимущества, которые завоевали своим сочинительством, им нигде не следовало бы появляться, разве что на бумаге; что до меня, то я возмущаюсь при виде человека, у которого в голове мысли возвышенные, а в сердце — низкие чувства. Человеческой душе обычно не хватает искренности. Я склонен думать, что нет человека, которому неведома зависть, каковая,

---

[1] Публично *(лат.)*.

быть может, есть инстинкт, свойственный нашей натуре. Боюсь, иной раз мы оправдываем сей порок, именуя его стремлением превзойти соперника.

Я знавал человека, удивительно великодушного, доброго, скромного и, по-видимому, самоотверженного, который приходил в беспокойство, слыша похвалы даже другу своему; точно в этой похвале скрывалось досадное сравнение в ущерб ему самому, и любая хвала, вознесенная другому, как бы подобна была гирлянде цветов, сорванной с колонны его собственного храма. Такая зависть — зловредная зависть; говоря по совести, я убежден, что у меня ее нет, а вам предоставляю судить, порок это или род недуга.

Есть еще один вопрос, который мне хотелось бы разрешить: всегда ли мир заслуживал такого презрения, какого он, на мой взгляд, заслуживает теперь? Если за эти тридцать лет не произошло чрезвычайного растления нравов, стало быть я заражен обычным старческим пороком, пороком старика *difficilis, querelus, laudator temporis acti*[1], либо, что более вероятно, бурная жизнь и увлечения юности мешали мне прежде замечать гнусные стороны человеческой природы, которые ныне кажутся мне столь возмутительными.

Побывали мы при дворе, на бирже, всюду и везде находили пищу для хандры, и везде было над чем посмеяться.

Мой новый слуга Хамфри Клинкер оказался большим чудаком, а Табби стала сама на себя непохожа. Она рассталась с Чаудером и только и делает, что улыбается, как Мальволио в пьесе. Пусть меня повесят, если она не разыгрывает несвойственную ее натуре роль с какой-то целью, мне еще не ясной.

Что до представителей рода человеческого, то любопытство мое удовлетворено вполне. Я покончил с изучением людей и теперь постараюсь себя развлечь новизной *вещей*. Ныне рассудок мой властно понудил меня изменить свойственным мне склонностям, но, когда эта сила перестанет действовать, я с сугубой поспешностью возвращусь к своему уединению. Все, что я вижу, слышу и чувствую в этом огромном котле глупости, подлости, развращенности, придает особую цену сельской жизни в глазах всегда вашего

*М. Брамбла.*

*Лондон, 3 июня*

---

[1] Привередливого, сварливого, восхваляющего прошлое *(лат.)*.

*Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Милая Мэри Джонс!

Мистер Крам, дворецкий леди Грискин, обещался франковать мне письмо у сквайра Бартона, а потому я не преминую порассказать вам, каково поживаем и я и остальное семейство.

Я не могла написать через Джона Томаса, потому как он от нас отошел вдруг и всердцах. Он не поладил с Чаудером, и вот они взяли да и затеяли драку посреди дороги, и Чаудер прокусил ему большой палец, а Джон Томас побожился, что он его пристукнет, а потом надерзил хозяйке, и тогда сквайр разгневался да и прогнал его. Но, по милости божьей, мы подобрали другого лакея, зовут его Хамфри Клинкер, и такого добряка я в жизнь свою не видела. А это значит, что и ошпаренный кот может быть хорошим мышеловом и голозадый пес — верной скотиной, а хворь и невзгоды могут сбить спесь с первого гордеца.

Ох, Молли, что мне порассказать о Лондоне? Сколько я городов на своем веку видела, а все они, если поставить их рядом с этим чудным городом, все равно что валлийские холмы да пригорки. Даже сам Бат никудышный, а здесь, господи помилуй, улицам конца-краю нет, разве что на конце земли. А народ так и валит, спешит, суетится. А грохот какой от карет! Шум несусветный! И чего только тут не увидишь! О господи! Моя бедная валлийская голова кружится, как волчок, как я сюда приехала. И я уже видела парк, и дворец Сент-Джемс, и шествие короля с королевой, и миленьких молодых принцев, и слонов, и полосатого осла, и всю остальную королевскую фамилию.

На прошлой неделе пошла я с хозяйкой в Тауэр посмотреть короны и диких зверей. И был там страшенный леф с предлинными зубами, а какой-то джентльмен сказал мне, чтобы я к нему не подходила, если я не девица, потому как он начнет и рвать и метать и наделает всяких бед. У меня-то и в мыслях не было подходить, потому как я не люблю таких опасных зверей, а вот хозяйка захотела подойтить. Тут зверь как зарычит да как запрыгает, что я перепугалась, как бы он не сломал клетку и не сожрал нас всех, а джентльмен начал смеяться; но я голову отдам на усечение, что моя леди невинна, как нерожденный младенец. Значит, или джентльмен солгал, или этого льва нужно посадить в колодки, потому как он лживый свидетель против своего ближнего, ведь в заповеди сказано: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».

Была я еще на представлении в «Сэдлерс Уэльс» и видала, как там кувыркались и плясали на веревках и проволках, да так плясали, что я перетрусила, и чуть было не приключился со мной припадок. Я-то думала, что все это нечистая сила и что меня тоже закулдовали, и принялась я плакать. Вы ведь знаете, как в Уэльсе ведьмы летают на помеле, ну, а здесь летают без помела и даже вовсе без ничего, и стреляют в воздух из пистолетов, и трубят в трубы, и качаются, и катят тачку по проволке, а проволка, помилуй нас бог, не толще самой простой нитки. Что и говорить, дело у них не обходится без нечистой силы. Красивый джентльмен с косичкой и с золотой шпагой на боку пришел утешать меня и хотел угостить вином, но я не пожелала остаться, а как проходили мы темным проходом, тут он и начал грубиянствовать. Со мной был наш слуга, Хамфри Клинкер, и он попросил его быть покуратней, а тот залепил ему плюху, но, что и говорить, мистер Клинкер не остался в долгу и здоровенной дубинкой выколотил ему пыль из кафтана, не поглядев на его золотую шпагу, а потом схватил меня под мышку и притащил домой, я уж и сама не знаю как, в таких я была трехволненьях. Но, слава богу, теперь я излечилась от всякой суеты сует. Что значат всякие диковины, коли сравнить их с блаженством, которое придет потом? Ох, Молли, смотрите, как бы ваше бедное сердце не распухло от суетливых мыслей!

Чуть было не позабыла написать, что волосы мне подстриг присыпал, валик под них подложил и сделал пукли по самой что ни на есть последней моде француз-перукмахер. Парле воу франсе? Вуй, мадманзель. Теперь я могу задирать нос повыше любой леди в Уэльсе. Вчера вечером ворочалась я с собрания домой, и меня при свете фонаря приняли за первую красавицу, дочку знаменитого торговца домашней птицей. Но, как я уже сказала, все это суетня и волнение духа. Лондонские забавы не лучше прокисшего молока и затхлого сидра, коли сравнить их с радостями Нового Иерусалима.

Милая Мэри Джонс! А когда я с божьей помощью вернусь домой, я вам привезу новый чепчик с черепашьим гребнем и проповедь, которую читали в молитвенном доме. И прошу я вас, пишите поскладней да поразборчивей, потому как я, не серчайте, Молли, даже взопрела, когда разбирала ваше последнее намараканное письмо, а привез мне его в Бат работник. О, женщина, женщина! Ежели бы хоть чуточку могла ты понять, как мы, служанки, рады, когда сразу одолеем что ни на есть путаную книгу или напишем самое трудное слово, не заглянув в букварь!

А что до мистера Клинкера, то ему самое место быть приходским клерком. Но больше я ничего не скажу.

Кланяйтесь от меня Сауле. Бедняжка! Горько мне на душе, как подумаю, что она и букв еще не знает. Но с божьей помощью все в свое время. Я ей привезу буквы из пряника, тогда ученье придется ей по вкусу.

Хозяйка говорит, мы едем в далекое путишествие на север, но куда б мы там ни поехали, я всегда останусь, дорогая Мэри Джонс, с истовой любовью вашей

*Уин Дженкинс.*

*Лондон, 3 июня*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Уот!

В последнем письме я упоминал о желании дядюшки отправиться на утренний прием к герцогу Н., что и было им исполнено. За длительный период времени его светлость весьма привык к этим знакам уважения, и хотя занимаемый им пост в десять раз менее важен, чем прежний, но он дает понять своим друзьям, что они больше всего его обяжут, если будут признавать за ним ту власть, которой на самом деле уже нет; поэтому у него еще не отменены дни приема, когда друзья посещают его.

Дядюшка и я пришли с мистером Бартоном, который, будучи одним из приверженцев герцога, пожелал нас представить. В зале было много людей в самых разнообразных костюмах, но среди них была только одна сутана, хотя мне и говорили, что почти все епископы, восседающие теперь на скамьях палаты лордов, обязаны своим саном герцогу в бытность его министром; впрочем, должно быть, благодарность церковнослужителей подобна их благотворительности, которая избегает света.

К мистеру Бартону немедленно подошел пожилой человек, высокий и сухопарый, с крючковатым носом; смотрел он искоса, и взгляд у него был проницательный и вместе с тем хитрый. Наш спутник поздоровался с ним, назвав капитаном С., а потом сообщил нам, что человек этот наделен умом и лукавством и правительство иногда поручает ему работу тайного агента.

Но я уже знал его историю более подробно. Много лет назад, будучи купцом во Франции, он был замешан в каких-то мошенничествах; за них его приговорили к каторге, откуда он был освобожден благодаря покойному герцогу Ормонду, которому он написал письмо, где объявил себя его однофамильцем и род-

ственником. Потом он поступил на службу правительства как шпион и во время войны 1740 года пересек переодетый капуцином Испанию, а также и Францию с величайшей опасностью для жизни, ибо мадридский двор заподозрил его и дал приказ задержать в Сен-Себастиане, откуда он благополучно бежал за несколько часов до получения там этого приказа. На этот побег, а равно и на другие, такие же рискованные, он ссылался как на свою заслугу перед английским министерством столь успешно, что оно наградило его значительным пенсионом, которым он и пользуется теперь на старости лет.

Он вхож ко всем министрам, и, по слухам, они советуются с ним по разным вопросам как с человеком недюжинного ума и весьма опытным. И в самом деле, он человек одаренный и весьма самонадеянный; когда он говорит, вид у него такой самоуверенный, что может производить немалое впечатление на ограниченных политиканов, стоящих ныне у кормила власти. Но если на него не клевещут, он повинен в том, что носит личину. По слухам, он не только католик, но и патер, и, делая вид, будто разоблачает перед кормчим нашего государства все пружины политики версальского двора, он вместе с тем собирает сведения для французского министра.

Итак, капитан С. весьма благосклонно заговорил с нами и отозвался о личности герцога без всяких церемоний.

— Сей глупец,— сказал он,— еще почивает, и лучшее, что он может сделать, это спать до рождества! Ибо, когда он встает, ничего другого, кроме глупости, он обнаружить не может. В этом государстве после Гренвилла не было ни одного министра, достойного той мукй, коей присыпают парик. Все они такие невежды, что не могут отличить краба от цветной капусты, и такие остолопы, что не могут понять самого простого предложения. В начале войны сей жалкий болван говорил мне с превеликим страхом, что тридцать тысяч французов прошли из Акадии до Кэп Бретон. «А где же они могли найти транспортные корабли?» — спросил я. «Транспортные корабли! — воскликнул он.— Я говорю вам: они прошли сушей!» — «Сушей к острову Кэп Бретон?!» — «Как? Разве Кэп Бретон — остров?» — «Конечно».— «Ха! Вы в этом уверены?» Когда я показал ему на карте Кэп Бретон, он долго рассматривал его сквозь очки, а потом обнял меня и воскликнул: «Дорогой С.! Вы всегда приносите нам добрые вести. Я немедленно еду к королю и скажу ему, что Кэп Бретон — остров!»

Капитан С., казалось, хотел нас развлечь такого рода рассказами о его светлости, но тут появился алжирский посланник,

почтенный турок с длинной белой бородой, сопровождаемый драгоманом, то есть толмачом, и еще одним офицером из его свиты, который был без чулок. Капитан С. с повелительным видом немедленно приказал слуге доложить герцогу, чтобы тот вставал и что собралось много народу и пожаловал посланник Алжира. Потом повернулся к нам и сказал:

— Сей жалкий турок, несмотря на свою седую бороду,— младенец. Он прожил в Лондоне несколько лет и все еще ничего не может понять в наших политических переменах. Он полагает, будто наносит визит премьер-министру Англии, но вы увидите, что наш мудрый герцог сочтет его знаком личной к нему привязанности.

В самом деле, герцог поспешил отблагодарить за такую любезность. Дверь распахнулась, он выбежал с салфеткой под подбородком, в мыльной пене, покрывавшей лицо его до самых глаз; ринувшись к посланнику, он прямо перед его носом оскалил зубы, отчего лицо его стало страшным, и сказал:

«Да благословит бог вашу длинную бороду, дорогой Магомет! Надеюсь, что Дэй скоро наградит вас конским хвостом[1], ха-ха-ха! Минуту потерпите, и я пришлю за вами!»

С этими словами он удалился в свои покои, оставив турка в некотором смущении. После короткого молчания тот сказал толмачу несколько слов, значение которых мне очень хотелось бы узнать, ибо, произнося их, он возвел глаза к небу с выражением крайнего удивления и благочестия. Наше любопытство было удовлетворено благодаря любезному капитану С., заговорившему с драгоманом, как со старым знакомым. Оказалось, что Ибрагим, посланник, принял его светлость за шута, состоящего при министре, и, когда толмач вывел его из заблуждения, он воскликнул:

«О святой пророк! Не удивляюсь, что народ этот процветает! Ведь управляют им идиоты, которых все добрые мусульмане почитают, ибо на них снизошло вдохновение!»

Ибрагим удостоился краткой аудиенции, после которой герцог проводил его до двери, а потом воротился, чтобы наградить милостивыми улыбками толпу своих почитателей.

Мистер Бартон только-только собирался представить меня его светлости, как мне посчастливилось привлечь внимание герцога, прежде чем было названо мое имя. Герцог устремился мне навстречу и, схватив меня за руку, воскликнул:

---

[1] Игра слов horse tail — «конский хвост» и также «бунчук», древко с конским хвостом, воинское отличие в Турции.

— Дорогой сэр Фрэнсис, как это любезно! Признаться, я так вам обязан!.. Такое внимание к бедному павшему министру! Когда отплываете, ваше превосходительство? Ради бога, заботьтесь о своем здоровье и, прошу вас, непременно ешьте во время плаванья компот из чернослива! Да, да! Заботьтесь о своем драгоценном здоровье, а также о пяти племенах. О наших добрых друзьях — о пяти племенах: о козокозах, чокитавах, криках, чиках-миках и осьминогах. И пусть у них будет побольше одеял, дрянной водки и вампумов. А вам, ваше превосходительство, желаю почистить чайник, закипятить цепь, зарыть дерево и посадить топор. От души желаю! Ха-ха-ха!

Когда он с обычной своей стремительностью произнес эту тираду, мистер Бартон объяснил ему, что я отнюдь не сэр Фрэнсис, а также и не святой Франциск, а всего-навсего мистер Мелфорд, племянник мистера Брамбла, который сделал шаг вперед и отвесил поклон.

— А ведь правда, это не сэр Фрэнсис! — воскликнул сей мудрый государственный муж.— Очень рад вас видеть, мистер Мелфорд!.. Я как-то послал вам инженера укрепить ваш док... А, мистер Брамбл! Добро пожаловать, мистер Брамбл! Как вы поживаете, славный мистер Брамбл?.. Ваш племянник — красивый молодой человек... Честное слово, очень красивый молодой человек! Его отец — мой старый друг. Как он поживает? Что с ним? Все еще не может отделаться от своего проклятого недуга?

— О нет, милорд! — ответил дядюшка.— Со всеми его недугами кончено. Он умер уже пятнадцать лет назад.

— Умер? Как? Да, да, совершенно верно... Теперь я вспоминаю. Вот, вот, он умер... А как... Молодой человек проходит по Хеверфорд Весту? Или как его... Мой дорогой мистер Милфордхевен, я сделаю все, что в моей власти... Надеюсь, я еще сохранил влияние.

Тут дядюшка сказал, что я еще несовершеннолетний и что в настоящее время мы не собираемся просить его о чем бы то ни было.

— Мы с племянником пришли сюда,— добавил дядюшка,— засвидетельствовать почтение вашей светлости, и, смею сказать, мы так же бескорыстны, как и любой из присутствующих на сей ассамблее.

— О мой дорогой мистер Брамблберри, вы оказываете мне величайшую честь! Я всегда буду очень рад видеть вас и вашего племянника, многообещающего мистера Милфордхевена... Вы

можете рассчитывать на мою помощь, какова бы она ни была... Я хотел бы, чтобы у нас было побольше друзей вашего закала!

Потом он обратился к капитану С.:

— Ха! Каковы новости, капитан С.? Что делается на свете, а?

— На свете все идет по-старому, милорд,— ответил капитан С.— Политики в Лондоне и Вестминстере снова начали точить языки против вашей светлости, и ваша недолговечная популярность подобна перышку — при первом дуновении людского злословия против министерства она улетучится!

— Шайка негодяев! — вскричал герцог.— Тори, якобиты, мятежники! Добрая половина их должна получить по заслугам и дрыгать ногами на Тайберне.

С этими словами он отошел и начал обход, заговаривая с каждым из присутствовавших на приеме с любезной развязностью, но, к кому бы он ни обращался, достаточно ему было открыть рот, чтобы все перепутать, забыв, кто его гость и чем он занимается. Он походил на комедианта, которого наняли изображать министра в смешном виде.

Напоследок вошел в комнату весьма благообразный человек; его светлость устремился к нему, заключил его в объятия и, воскликнув «Дорогой мой Ч.!», увел его во внутренние покои — *sanctum sanctorum*[1] этого политического храма.

— Это мой друг Ч. Т.,— сказал капитан С.,— единственный одаренный человек, чего-нибудь стоящий среди теперешних министров. Впрочем, он мог бы не иметь никакого веса, если бы правительство не считало абсолютно необходимым использовать его таланты в различных чрезвычайных обстоятельствах. Что до обычных текущих дел государства, то они идут по привычной колее благодаря клеркам различных учреждений; если бы этого не было, колеса управления остановились бы при постоянной смене министров, из коих каждый еще более невежествен, чем его предшественник. Подумайте только, какая была бы неразбериха, если бы все клерки казначейства, государственных секретарей, военного ведомства и адмиралтейства порешили покинуть свои должности в подражание прославленному инвалиду! Но возвратимся к Ч. Т. Он в самом деле знает больше, чем все министры и вся оппозиция вместе взятые, и умеет говорить, как ангел, о самых разных предметах. Если бы в его характере были твердость или постоянство, он был бы великим человеком. Впрочем, надо сознаться, ему не хватает смелости — в противном

[1] Святая святых *(лат.)*.

случае он никогда не позволил бы запугать себя крупному политическому задире, чей ум он справедливо презирает. Я сам видел, как он боялся сего наглого Гектора, будто ученик своего учителя, хотя сей Гектор, я сильно подозреваю в глубине души,— трус. Но, кроме этого недостатка, у Ч. Т. есть другой, который он слишком плохо скрывает. Его словам доверять нельзя, и нельзя верить его обещаниям. Однако, надо воздать ему должное, он очень любезен и даже доброжелателен, когда чего-нибудь у него добиваешься. Что же до убеждений, то об этом лучше не говорить. Одним словом, он человек с большими дарованиями и оратор весьма занимательный, и часто он блистает даже в ущерб тем министрам, приверженцем которых является. Это доказывает, что он очень неосторожен, и он сам сделал всех министров своими врагами, как бы они этого ни скрывали, и рано или поздно ему придется пожалеть, что он полагался только на самого себя. Я предупреждал его на сей предмет несколько раз, но это все равно, что проповедовать в пустыне. Его тщеславие закусывает удила, одерживая верх над благоразумием.

Я невольно подумал, что и самому капитану пошли бы на пользу такие же советы. Его хвалебная речь, в которой он упомянул, что у Ч. Т. не было ни убеждений, ни искренности, напоминает мне некогда подслушанную мной в Спринг-гарден перепалку между двумя торговками яблоками. Одна из этих фурий, обвиненная другой в вольном поведении, подбоченилась и закричала: «Болтай, сколько тебе угодно, потаскуха! Плевать мне на твой злой язык! Ну что ж, пускай я шлюха и воровка! Что ты еще можешь сказать? Черт побери, что ты еще можешь сказать? Об этом и так все знают. А вот попробуй осмельсяя только сказать, что у меня нос на лбу!»

Мы не стали ждать возвращения Ч. Т., но, после того как капитан С. рассказал нам обо всех присутствующих, отправились с ним в кофейню и позавтракали чаем и булочками с маслом. Дядюшку столь позабавили анекдоты капитана, что он пригласил его к нам на обед и попотчевал превосходным палтусом, которому тот воздал должное.

Вечер того же дня я провел с несколькими друзьями в кофейне, и один из них рассказал мне немало о капитане С., а когда я передал слышанное мною дядюшке, он выразил сожаление, что завязал такое знакомство, и порешил отказаться от него без всяких церемоний.

Мы стали членами общества поощрения искусств и присутствовали на нескольких оживленных собраниях, которые проведены были с большим здравомыслием. Дядюшка питает боль-

шое пристрастие к этому учреждению, которое и в самом деле принесет немалую пользу публике, если только демократические порядки не изменятся в дурную сторону и не приведут к злоупотреблениям. Вы уже знаете об отвращении дядюшки к толпе, которая, по его мнению, враждебна ко всякому, кто выше ее и для которой порядок несносен. Его ненависть к черни усугубляется страхом с той поры, когда он лишился чувств в зале Бата. Этот страх не позволил ему посетить театрик на Хаймаркет и другие увеселительные заведения, куда мне выпала честь сопровождать наших леди.

Старого чудака раздражает мысль, что он не может принимать участие даже в самых светских столичных развлечениях без того, чтобы не смешаться с чернью, ибо чернь вторглась в настоящее время во все ассамблеи, начиная с бала в Сент-Джемском дворце вплоть до жалкого зала для танцев на Ротерхит.

Недавно я видел нашего старого знакомца Дика Айви, которого мы почитали умершим от пьянства, но он не так давно вышел из тюрьмы Флит благодаря памфлету, который он написал против правительства и не без успеха выпустил в свет. Продажа этого сочинения позволила ему появиться в чистом белье, и теперь он занят тем, что охотится за подписчиками на свои поэмы, а что до его штанов, то вид у них еще непрезентабельный.

Дик в самом деле заслуживает поддержки за свою неустрашимость и упорство. Никакая неудача, никакая хула не могут привести его в отчаяние. После нескольких безуспешных попыток подвизаться на стезе поэзии он стал торговцем бренди и, мне кажется, сам поглотил весь свой товар. Потом он вступил в сожительство с молочницей, которая держала погребок на Петти Френс. Но ему не удалось надолго удержать за собой это место, оно занято было капралом второго полка пешей гвардии, который прогнал его в конурку на чердаке. Потом он жил под мостом у Блекфрайерс, откуда прямая дорога во Флит. Раньше он не преуспевал в панегирике и потому теперь обратился к сатире и, кажется, в самом деле обнаруживает талант в сочинении пасквиля. Если он сможет продержаться до открытия парламента и подготовится к новой атаке, он либо очутится у позорного столба, либо получит пенсион; и в том и в другом случае фортуна ему улыбнется.

Тем временем он приобрел некоторый вес у почтенных писателей, а так как я подписался на его сочинения, он на днях сделал мне одолжение, введя в общество сих гениев, но они показались мне весьма церемонными и скрытными. Они боялись друг друга и один другому завидовал, а каждый из них как бы

отталкивался от остальных, точно частица пара, пребывающая в атмосфере, которая ею же наэлектризована. Дик, у которого бойкости больше, чем здравомыслия, не раз пробовал оживить беседу; он острил, шутил, сыпал каламбурами, наконец он даже завязал разговор на избитую тему, сравнивая белый стих с рифмованным, и тут-то у профессоров развязались языки; но, вместо того чтобы держаться ближе к делу, они пустились в скучные рассуждения о поэзии древних авторов, а один из них, бывший школьный учитель, изложил все, что он почерпнул о просодии у Диспутера и Радимена.

В конце концов я решился сказать, что не понимаю, как можно разъяснить упомянутый вопрос, ссылаясь на поэзию древних авторов, которым были совершенно неведомы белые и рифмованные стихи, ибо их стихи измерялись долготой, тогда как наши измеряются количеством слогов. Это мое замечание как будто обидело педанта, каковой немедленно окутал себя облаком греческих и латинских цитат, которое никто не попытался разогнать. Вслед за этим какие-то нелепые замечания и комментарии слились в неясный гул, и в общем я никогда в своей жизни не проводил более скучного вечера. Впрочем, среди них несомненно были люди ученые, умные и не лишенные способностей. Но так как они боятся задевать друг друга, каждому из них следовало бы приносить с собой собственную мишень или точильный камень для забавы всей компании. Дядюшка говорит, что у него нет ни малейшего желания быть в обществе более чем одного умника. Один умник, подобно свиной ножке в супе, придает ему вкус и аромат, но несколько умников могут только испортить похлебку.

А теперь я опасаюсь, что предложил вам неудобоваримое месиво, лишенное всякого аромата, за которое можете поблагодарить вашего друга и слугу

*Дж. Мелфорда.*

*Лондон, 5 июня*

*Доктору Льюису*

Любезный Льюис!

Ваша басня о свинье и обезьяне, как говорят итальянцы, *ben trovata*[1]. Но я не буду пересказывать ее моему аптекарю, гордому, весьма обидчивому шотландцу, который, может быть, уже имеет в кармане докторский диплом. Истый шотландец

[1] Удачная находка *(итал.)*.

всегда имеет две тетивы на луке, он, так сказать, *in utrumque paratus*[1]. Однако же не подлежит сомнению, что я не избег слабительного, но благодаря сему слабительному мне удалось избежать более худшего — может быть, сильного приступа подагры или ревматизма, ибо я начал терять охоту к пище, а в животе у меня начало бурчать, а сие не обещало мне ничего доброго. Как бы то ни было, но я не могу избавиться от этих напоминаний, предостерегающих меня, что мне следует бежать из сего средоточия заразы.

Да и какой соблазн может заставить человека моего нрава и телесного сложения проживать в городе, где в каждом уголке он может обрести все новые и новые предлоги для отвращения и омерзения? Что за вкус и чувства должны быть у тех, кто предпочитает ложные прелести городские истинным радостям сельского жития? Большая часть людей, я знаю, обольщена тщеславием, честолюбием, ребяческим любопытством, а все сие можно удовлетворить только в *местах скопления людей*. Но покуда они пытаются найти удовлетворение, органы их чувств подвергаются порче, и они обычно теряют самомалейший вкус к тому, что неподдельно и прекрасно в самом существе своем.

Не изъяснить ли мне разницу между моими городскими страданиями и сельскими отрадами?

В Брамблтон-Холле у меня в доме простор, и я дышу чистым, свежим, целительным воздухом. Сон меня освежает, его не нарушает ужасный шум, и прерывается он только по утрам мелодическим щебетанием птичек под моим окном. Я пью прямо из источника ключевую воду, чистую и кристальную, или искристое пиво, сваренное дома из ячменя собственных моих полей, или сидр из яблок моего сада, а не то превосходный кларет, который я выписываю через одно лицо, честности коего я вполне доверяю. Мой хлеб вкусен и питателен, испечен в моей собственной печи из моей собственной пшеницы, смолотой на моей собственной мельнице. На мой стол большей частью подают яства, доставляемые собственным моим поместьем: пятигодовалые мои бараны, вскормленные благовонными горными травами, могут соревноваться сочностью и ароматом с дичиной; нежное мясо моих телят, питавшихся только материнским молоком, наполняет блюдо соком; моя домашняя птица, разводимая у меня на дворе, ходит на свободе, покуда сама не сядет на насест; кроликов берут прямо из моих садков; свежую дичину приносят с моих болот, форель и лосось — прямо из речки, устрицы — с отмелей,

[1] Защищен с обеих сторон *(лат.)*.

где их ловят, а сельдь и другую морскую рыбу я могу есть часа через четыре после того, как ее поймали. Овощами, кореньями, салатом в изобилии и отличного качества снабжают меня мои огороды, почва которых столь тучна, что ее почти не надо возделывать. И та же земля доставляет мне все плоды, которые Англия может считать своими, а потому у меня каждый день свежий десерт, только-только снятый с деревьев. На молочной моей ферме текут нектарные реки сливок и молока, и оттуда мы получаем превосходное масло, творог и сыры, а отбросы идут на корм моим свиньям, дающим мне сало и ветчину.

Спать я ложусь рано и встаю с восходом солнца. Время провожу я без скуки и печали, и у себя дома я нимало не лишен развлечений, когда погода препятствует мне выйти из дому: я читаю, беседую, играю на бильярде, в карты, в триктрак. Вне дома я надзираю за моим домоводством и измышляю планы улучшений, удачное исполнение коих доставляет мне неизъяснимую радость.

Не меньше радуюсь я, видя, как мои арендаторы благоденствуют под моим покровительством и как нанятый мной бедняк добывает свой хлеб насущный. Вам известно, что есть у меня несколько разумных друзей, коим я открываю свое сердце — блаженство, которое я понапрасну искал бы в городской толчее. Есть у меня еще и другие более скромные знакомцы, которых я уважаю за их честность; обществом их я нисколько не гнушаюсь, хотя бы оно и было не весьма занимательно.

Словом, так-то я живу среди честных людей и верных домочадцев, каковые, льщу себя надеждой, питают бескорыстную ко мне привязанность. Да вы сами, мой любезный доктор, могли бы удостоверить сию истину.

А теперь поглядите, сколь отлична от сей жизни жизнь в Лондоне. Я закупорен в душном помещении, где кошку и ту негде повесить, и дышу гнилостными испарениями, которые, разумеется, произвели бы чуму, ежели бы не умерялись кислотой каменного угля, которая, впрочем, сама по себе губительна для слабых легких. Но и сие прославленное противоядие не спасает жителей Лондона от немощного желтого цвета лица, столь непохожего на румянец юношей, проживающих в сельской местности.

Спать я ложусь после полуночи, утомленный и измученный беспокойной жизнью в течение дня. Каждый час я просыпаюсь, разбуженный страшным шумом ночного дозора, выкликающего часы по всем улицам и бьющего в колотушку у каждых ворот; шайка сих дармоедов только для того и предназначена, чтобы

нарушать покой жителей. В пять часов утра меня сгоняет с постели еще более устрашающий грохот деревенских телег и крик зеленщиков, продающих у меня под окнами зеленый горошек.

Ежели я вздумаю выпить воды, мне приходится пить омерзительную бурду из открытого акведука, подвергающегося опасности всяческого загрязнения, либо глотать воду из Темзы, впитавшую в себя все нечистоты Лондона и Вестминстера. Человеческие испражнения входят в их состав как наименьшее зло, а слагаются сии нечистоты из всякой дряни, ядов и минералов, употребляемых ремесленниками и мануфактурами в производстве своих изделий, равно как из гниющих остатков людей и скота, смешанных с помоями всех лачуг, портомоен и сточных канав всего города.

Таков сей приятный напиток, превозносимый лондонцами как лучшая вода на всем белом свете. Что же до хмельного питья, выдаваемого за вино, то сие есть противная, дрянная, вредная смесь из хлебного вина, сидра и тернового сока. Когда разбиралось в суде одно дело по иску к некоему возчику, расколотившему бочку с портвейном, после показаний бочарника обнаружилось, что во всей бочке, вместимостью в сотню галлонов, настоящего портвейна было не более пяти галлонов, да и то вино было подмешано виноторговцем из Опорто.

Хлеб, который я ем в Лондоне,— неудобоваримое тесто, смешанное с мелом, квасцами и костяным пеплом, в равной мере безвкусный и вредный для здоровья. Здешние простаки знают, что в нем есть подмесь, но предпочитают его хлебу из чистой муки, ибо он белее. Таким образом они приносят в жертву вкус, здоровье, жизнь нежных своих чад ради услаждения предубежденного своего взора, а мельник с пекарем вынуждены отравлять их вместе с семьями, ежели желают питаться от трудов своих. Телятина здешняя столь же негодна, ибо от повторных кровопусканий и прочих плутней изможден в такой мере, что нет в ней ни капли сока, и ежели теленка не зарезали бы, он все равно издох бы от истощения, а потому нет в телятине ни вкуса, ни питательности, ни аромата, и есть ее можно с такой же приятностью, как, скажем, фрикасе из лайковых перчаток или соломенных шляпок из Ливорно.

Так, стало быть, они лишают натурального цвета свой хлеб, мясо и домашнюю птицу в своих мясных лавках, свои котлеты, рагу, фрикасе и всяческие соусы, но вместе с тем, с риском для жизни, подделывают цвет овощей. Поверите ли — сии безумцы варят овощи вместе с медными полпенни, дабы улучшить их цвет! Это сущая правда. И, сказать по совести, в их овощах ни-

чего хорошего нет, кроме цвета. Произрастают они на искусственной земле и пахнут навозом, на котором растут. Моя капуста, моя спаржа и цветная капуста настолько же лучше, чем овощи, продаваемые на Ковент-гарденском рынке, насколько мои бараны лучше тех, каких вывозят на Сент-Джемский рынок, не похожих ни на барана, ни на овцу, вскормленных на вонючих болотах Линкольна и Эссекса и дающих мясо сухое и жесткое. Что до свиней, то эти прожорливые, мерзкие животные питаются здесь конской падалью и пивной бардой, а домашняя птица вся с гнилым душком, ибо здесь существует мерзкий обычай зашивать домашней птице кишку, дабы она задерживала пищу и оттого в своих курятниках скорей жирела.

О рыбе я скажу только, что в нынешнюю жару ее тащат сюда посуху миль за шестьдесят — семьдесят, а то и за сотню; одного этого достаточно без пояснений, чтобы и у голландца желудок вывернуло наизнанку, даже ежели он не почует в каждом переулке приятный аромат «свежей» макрели, которой торгуют вразнос. Теперь не время для устриц; все-таки упомяну, что настоящих «кольчестерских» устриц ловят в чаны с тиной, каковые наполняются водой во время морского прилива; а зеленый цвет, который здешние лакомки ценят в устрицах столь высоко, вызван купоросной накипью, поднимающейся на поверхность гнилой, стоячей воды. Кроликов здесь выращивают и выкармливают торговцы домашней птицы в своих подвалах, где они лишены воздуха и не могут двигаться; а посему мясо их жестко и вкусом неприятно; что до дичи, то ее ни за какие деньги не сыщешь.

Должен признаться, что на Ковент-гарденском рынке можно сыскать хорошие фрукты, но покупают их немногие богачи по непомерным ценам; всем остальным покупателям достаются лишь отбросы, да и отвешивают их такими грязными руками, что я не могу смотреть без отвращения. Не дальше чем вчера я видел на улице грязную торговку, собственными своими слюнями смывавшую пыль с вишен, и, кто знает, какая-нибудь леди из Сент-Джемского прихода кладет в свой нежный ротик эти вишни, которые перебирала грязными, а быть может, и шелудивыми пальцами сент-джемская торговка. О каком-то грязном месиве, которое называется клубникой, и говорить нечего; ее перекладывают сальными руками из одной пыльной корзины в другую, а потом подают на стол с отвратительным, смешанным с мукой, молоком, которое именуется сливками.

Но и молоко само по себе заслуживает того, чтобы упомянуть о нем; сию жидкость, добытую от коров, кормленных

жухлыми капустными листьями и кислым пойлом, разбавленным теплой водой с капустными червями, носят по улицам в открытых ведрах, куда попадают помои, что выплескиваются из дверей и окон, плевки и табачная жвачка пешеходов, брызги грязи из-под колес и всяческая дрянь, швыряемая негодными мальчишками ради забавы; оловянные мерки, испачканные младенцами, снова погружают в молоко, продавая его следующему покупателю, а в довершение всего в сию драгоценную мешанину падают всяческие насекомые с лохмотьев пакостной замарахи, которую величают молочницей.

Перечень лондонских лакомств я завершу пивом, лишенным и хмеля и солода, безвкусным и тошнотворным, более пригодным как рвотное средство, чем для утоления жажды и облегчения пищеварения; помяну также о чем-то сальном и прогорклом, что именуется маслом, изготовленным с примесью свечного сала и кухонного жира, а также о здешних «свежих» яйцах, которые ввозятся из Франции и Шотландии.

А ведь все сии мерзости можно было бы устранить, ежели бы хоть самую малость позаботились о полицейских правилах и градских постановлениях благоустройства, но мудрые лондонские патриоты забили себе в голову, что всяческие постановления несовместимы со свободой и что каждый может жить, как ему вздумается, без всяких принуждений. Ну что ж, раз у них не хватает разума, чтобы упомянутые мной мерзости могли их встревожить, пусть они хоть в собственных своих нечистотах валяются!

Человек обходительный, дабы наслаждаться беседой в приятном обществе, вне сомнения, станет смотреть сквозь пальцы на подобные неустройства. Один из моих приятелей, шутник, говаривал, что в приятном обществе нет плохого вина, но сие изречение надлежит воспринять *cum grano salis*[1]. Но какое такое приятное общество есть в Лондоне, чтобы я ради него стал умерщвлять свои чувства и примирился с мерзостями, от которых с души воротит? Все, кого я здесь вижу, столь озабочены корыстными или тщеславными мыслями, что у них и времени не остается предаваться нежным чувствам или дружбе.

Даже у некоторых моих старинных знакомых сии мысли и вожделения стерли все следы прежних наших отношений. Беседу заменяют здесь только спорами враждующих партий и глупыми пререканиями, а общение между людьми — чинными визитами и игрой в карты. Если же случайно встретишься

[1] С известной осторожностью, с оговорками *(лат.)*.

с каким-нибудь забавником, то чудачества его могут быть для тебя небезопасны. С ним обыкновенно трудно дело иметь,— Это пройдоха, доносчик или сумасшедший. Каждый, с кем столкнешься, норовит тебя обвести вокруг пальца. За тобой охотятся попрошайки, которые под видом займа просят милостыню и живут грабежом приезжих. Купцы тут лишены совести, друзья — дружелюбия, а домочадцы — верности.

Письмо мое разрослось бы до трактата, ежели бы я стал перечислять все причины недовольства моего, кои исполнили меру моего негодования на сей город, а равно и на прочие многолюдные города. Благодарение небу, меня еще не настолько втянул сей водоворот, чтобы я не мог из него вырваться без помощи философии. Из сего безумного мира плутовства, нелепиц, наглости я с сугубой охотой удалюсь в тишину уединения, к сердечным излияниям искреннего дружелюбия, под защиту гостеприимных сельских богов, короче говоря, *Kucunda oblivia vitae*[1], которой и сам Гораций не умел должным образом усладить себя.

Я договорился и нанял на три месяца, по гинее за день, отменную дорожную карету с четверкой лошадей и на будущей неделе намереваюсь пуститься в путешествие на север, уповая увидеться с вами в конце октября. Буду вам писать отовсюду, где остановимся на достаточный срок и как только случится что-нибудь такое, что́, по моему мнению, хоть немного вас позабавит.

Покуда же я прошу вас надзирать над Барнсом, заботиться о сенокосе и о жатве и считать, что всеми плодами земель моих можете вы распоряжаться как своими собственными. Ежели вы думали бы иначе, я постыдился бы подписаться вашим неизменным другом

*М. Брамблом.*

*Лондон, 8 июня*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

В последнем письме я упоминал о том, как я провел вечер в обществе сочинителей, которые, казалось, один другого боялись и друг другу завидовали. Дядюшка отнюдь не был удивлен, когда я сказал, что беседа их меня разочаровала.

[1] Жизнь, дающая приятное забвение *(лат.)*.

«Человек может быть весьма занимателен и назидателен на бумаге,— сказал он,— но очень скучен в беседе. Я заметил, что те, кто блистает в обществе простых смертных, суть звезды второй величины в созвездии талантов. Немногими мыслями легче управлять и распоряжаться, чем большим их запасом. Редко случается найти что-нибудь необычайное в наружности и речах хорошего сочинителя, тогда как скучный писатель выделяется какой-нибудь странностью или блажью. Посему я полагаю, что компания с Граб-стрит должна быть очень занимательна».

Эти слова весьма подстрекнули мое любопытство, и я посоветовался с моим приятелем Диком Айви, который и взялся его удовлетворить на следующий же день.

Он повел меня обедать к С., которого мы с вами знаем давно по его сочинениям. Проживает С. на самом краю города, и каждое воскресенье дом его открыт для всех неудачливых его собратьев по перу, которых он угощает говядиной, пудингом, картофелем, а также портвейном, пуншем и добрым пивом, лучше которого не сыскать у Келверта. Первый день недели он избрал потому, что кое-кто из его гостей не мог бы воспользоваться его гостеприимством по причине, о которой нет нужды распространяться.

Принял он меня любезно в скромном, но удобном доме, выходившем в хороший сад, содержимый в полном порядке, и право же, я не видел ни одного внешнего знака сочинительства ни в доме, ни в наружности хозяина, одного из тех немногих писателей, которые стоят на своих собственных ногах, не имеют покровителей и ни от кого не зависят. Но если в хозяине не было ничего примечательного, то гости с лихвой вознаграждали отсутствие в нем странностей.

В два часа пополудни я очутился за столом среди десятка сотрапезников, и сомневаюсь, найдется ли в целом королевстве еще подобное сборище чудаков. Об одежде я уже не стану упоминать, ее необычность может быть случайна. Но что мне сразу бросилось в глаза, так это причуды, каковые поначалу были притворны, но потом укрепились благодаря привычке. Один из них сидел в очках за столом, другой спустил поля шляпы на самые глаза, хотя, по словам Айви, первый мог увидеть без всяких очков судебного пристава за тридевять земель, а второй никогда не мог пожаловаться на слабость или недостаток зрения, разве что лет пять назад, когда ему наставил под глазами фонарей какой-то игрок, с которым он повздорил спьяна.

У третьего гостя одна нога была забинтована, а сам он пользовался костылями, ибо когда-то сломал себе ногу, хотя теперь мог прыгать через палку с завидной легкостью. Четвертый питал такую ненависть к сельской жизни, что уселся спиной к окну, выходившему в сад, а когда подали блюдо с цветной капустой, он выхватил пузырек с нюхательной солью, чтобы не упасть в обморок; сей чувствительный гость был сыном сельского батрака, родился под кустом и немало лет резвился вместе с ослами на выгоне. Пятый гость притворялся, будто он не совсем в своем уме: когда к нему обращались, он всегда отвечал невпопад, то вскакивал и отпускал крепкое словцо, то принимался хохотать, то складывал на груди руки и тяжело вздыхал, а то шипел не менее громко, чем сотня змей.

Поначалу я в самом деле думал, будто он сошел с ума, и так как он сидел рядом со мной, я стал его побаиваться; однако наш хозяин, приметив мое смущение, заверил меня вслух, что бояться нечего.

— Сей джентльмен,— сказал он,— хочет играть роль, для которой он совсем негоден... Как бы он ни старался, но ему не под силу сойти с ума. У него слишком пошлое воображение, чтобы он мог распалить себя до бешенства...

— А все-т-таки с-сие есть н-не плохая выдумка...— заметил один из гостей в кафтане с потертым позументом.— П-ритворное сум-масшест-твие может сойти з-за ум... у дев-вяти ч-человек из дес-сяти...

— А притворное заикание — за юмор,— вставил наш хозяин,— хотя между ними нет ничего общего.

Должно быть, этот шутник пытался в прежние времена говорить складно и без запинки, но, когда это ему не удалось, прибегнул к косноязычию и часто вызывал этим смех у слушателей, хотя и не обнаружил ни малейших талантов; сей недостаток речи, который поначалу был у него притворным, стал для него привычным, так что теперь он уже не может от него отделаться.

Один из гениев, прищурив глаза, сидел за столом, не снявши желтых перчаток; когда он впервые познакомился с нашим хозяином С., он так на него рассердился за то, что тот глядит, разговаривает, ест и пьет, как все люди, что потом начал его повсюду ругать и не желал прийти к нему снова, пока С. не представил ему следующего доказательства своего причудливого нрава: поэт Уот Уивил после неудачных попыток завязать с С. дружбу дал знать С. через третье лицо, что написал в похвалу

ему поэму, а в поношение — сатиру и что, если С. откроет ему двери своего дома, поэма будет тотчас же напечатана, а если откажет ему в дружбе, появится на свет сатира. С. ответил, что считает панегирик Уивила бесчестьем для себя и не преминет расплатиться с ним палкой, но, буде появится на свет сатира, он пожалеет Уивила и тот может не опасаться мести. Уивил, поразмыслив, порешил досадить С. и напечатал панегирик, за что и был крепко поколочен. После этого он затеял поднять в суде дело об оскорблении, и С., чтобы избежать суда, подарил Уивилу свое расположение. Стало быть, необычное в этом случае поведение С. примирило его с философом в желтых перчатках, который признал, что С. не лишен дарования, и с той поры стал его посещать.

Любопытствуя узнать, как и в чем обнаруживают свои разнообразные таланты мои сотрапезники, я осведомился об этом у общительного моего друга Дика Айви, который сказал мне, что большинство из них — поденщики более почтенных писателей, для которых они переводят, делают выписки и другую работу, когда те пишут свои книги, и что все они в прошлом трудились для нашего хозяина, хотя ныне сами подвизаются в различных областях литературы. Не только их таланты, но национальность и произношение — были столь различны, что во время нашей беседы на память приходило смешение языков при возведении Вавилонской башни.

Слышалось ирландское произношение, шотландское, чужеземные выражения; гости орали во весь голос, ибо все говорили разом, и каждый мог быть уверен, что его расслышат только в том случае, если он перекричит других. Следует, правда, признать, что в речах их не было ничего педантского, они старательно избегали ученых рассуждений и тщились быть только остроумцами, что им нередко удавалось. Слышались отдельные забавные замечания, которые вызывали хохот, и если кто-нибудь в раздражении нарушал правила приличия, его резко обрывал хозяин пиршества, имевший как бы отцовскую власть над этим буйным племенем.

Философ, ученейший из всей компании, за безбожие был выгнан из университета; он успешно подвизался в опровержении метафизических сочинений лорда Болингброка, и хотя эти опровержения были признаны остроумными и правоверными, его привлекли к суду за нарушение общественного благочиния, ибо он в воскресный день богохульствовал в трактире. Шотландец читает лекции о правильном английском произношении и печатает эти лекции по подписке.

Ирландец подвизается как писатель политический и известен здесь под именем лорда Картофеля. Написал он памфлет в защиту одного министра, уповая получить в награду за свое усердие какую-нибудь должность или пенсион; но, обманувшись в своих надеждах, он стал распускать слух, будто памфлет сочинен самим министром, а потому написал ответ на свое собственное сочинение. В этом новом сочинении он столь торжественно именовал министра «ваше лордство», что публика пошла на удочку и раскупила все издание. Мудрые столичные политики объявили оба сочинения образцовыми и кудахтали, будто глупые бредни жалкого писаки столь же глубоки, как рассуждения опытного государственного мужа, сведущего во всех тайнах кабинета министров. Впоследствии обман открылся, и наш ирландский памфлетист от приобретенной им известности никакой выгоды не получил, кроме одного только звания «милорд» да первого места за столом в харчевне на Шу-лейн.

Супротив меня сидел уроженец Пьемонта, который попотчевал публику забавной сатирой под названием «Сравнительные достоинства английских стихотворцев» — сочинение, свидетельствовавшее о скромности и вкусе творца и особливо о его близком знакомстве с красотами английского языка. Мудрец, больной агрофобией — «боязнью зеленых полей» — недавно закончил трактат о земледелии, хотя в жизни своей никогда не видел, как хлеб растет, и так был несведущ в злаках, что наш хозяин принудил его перед всеми гостями объявить пудинг из кукурузы лучшим рисовым пудингом, который он когда-либо едал.

Заика почти закончил свои путешествия по Европе и даже по Азии, хотя никогда не показывал носа за пределы вольностей Королевской скамьи за исключением периодов, когда шла судебная сессия и его отводил в суд констебль. Что до маленького Тима Кропдейла, самого веселого члена компании, он благополучно завершил трагедию девицы катастрофой и от постановки трагедии на театре ожидал немалой выгоды и славы. Много лет Тим промышлял сочинением романов, получая по пяти фунтов за том, но эту отрасль торговли захватили в свои руки сочинители женского пола, которые издают книги только для насаждения добродетелей и пишут с такой легкостью, с таким пылом, чувствительностью, знанием сердца человеческого и безмятежной жизни высшего света, что читатель не только очарован их талантами, но благодаря их нравоучениям исправляется.

После обеда мы отдыхали в саду, где, как я заметил, мистер С. беседовал с каждым из гостей поодиночке в боковой

ореховой аллее, откуда большинство гостей потом исчезало без дальнейших околичностей, а вместо них являлись новые того же клана рекруты, пришедшие с послеобеденным визитом.

Среди них появился нарядный книгопродавец по фамилии Биркин, который приехал верхом на своем собственном мерине и предстал перед нами в новых лакированных сапогах с увесистыми серебряными шпорами. Эта повитуха муз не без оснований прибыла верхом: слишком она была толста для пешего хождения, почему и выслушала несколько насмешливых замечаний Тима Кропдейла относительно своей неуклюжести и неспособности передвигаться.

Биркин, который оскорбился дерзостью этого бедного сочинителя, осмелившегося издеваться над человеком куда более богатым, ответил, что он отнюдь не так неуклюж, чтобы не потащить Тима в суд Маршелси и даже засадить его на законном основании, если тот не поспешит уладить с ним свои расчеты по изданию последней своей оды в честь прусского короля, коей продано только три штуки, причем одна из них методисту Уайтфилду.

Тим сделал вид, будто выслушал все это добродушно, и заявил, что ждет в самом непродолжительном времени из Потсдама благодарственной поэмы от его прусского величества, который прекрасно знает, как расплачиваться с поэтами их собственной монетой; тут же Тим предложил Биркину побиться с ним об заклад на чашу пунша, которую в тот же вечер можно будет распить в трактире Эшли, кто из них скорей обежит трижды вокруг сада; причем он-де побежит в сапогах, а Биркин — в чулках. Книгопродавец, почитавший себя весьма проворным, согласился принять вызов и уступил свои сапоги Кропдейлу, который, обув их, разительно стал похож на капитана Пистоля в пьесе.

Когда все было приведено в надлежащий порядок, они пустились наперегонки изо всей мочи, и на втором круге Биркин, *запыхавшись и жиром своим поливая тощую землю*, вне сомнения, опередил Тима. Не пожелав оспаривать более победу, Кропдейл во мгновение ока исчез в задней садовой калитке, выходившей на тропинку, которая вела к проезжей дороге. Зрители немедленно закричали: «Убежал!» — и Биркин устремился за ним в погоню, но не пробежал и двадцати ярдов по тропинке, как в ногу ему вонзилась колючка, и, охая от боли и ругаясь от досады, он приковылял назад.

Когда шотландец, собиравшийся раньше стать лекарем, избавил его от колючки, он, озираясь вокруг, воскликнул с яростью:

— Да неужели сей негодяй задумал убежать в моих сапогах?

Наш хозяин осмотрел оставленные Кропдейлом туфли, которые едва ли заслуживали этого названия, и осведомился:

— Скажите, мистер Биркин, ваши сапоги были из телячьей кожи?

— Из телячьей или из коровьей, это все равно,— ответил тот,— но теперь-то я найду лоскут бараньей кожи[1], который его погубит. Двадцать фунтов убытку принесла мне его комедия, которую я купил по вашему совету. Пять фунтов у меня вылетели из кармана из-за этой проклятой оды, а вот эти сапоги, совсем новехонькие, стоили мне тридцать шиллингов. Но ведь сия проделка с сапогами — чистый грабеж! За это полагается каторга! Эта собака сядет у меня на скамью в Олд Бейли!.. Вот увидите, мистер С.! Пускай пропадает за ним долг, а я ему отомщу!

Мистер С. ничего на это не ответил, но, снабдив Биркина другими башмаками, приказал слуге успокоить его стаканом ромового пунша, который немного охладил его негодование.

— Что ни говори,— сказал наш хозяин,— а поступок Тима нельзя иначе назвать, как остроумным обманом, хоть он и заслуживает другого, более достойного наименования, если оценить его как плод изобретательности. Вероятно, сапожник больше не дает Тиму в долг, и ему пришла мысль раздобыть себе башмаки этим остроумным способом, ибо он полагал, что мистер Биркин, который любит юмор, поразмыслив, сам позабавится этой шуткой. Кропдейл живет, в буквальном смысле, остроумием, к которому он прибегает в своих отношениях со всеми приятелями. Однажды, например, он заимствовал у меня на пять-шесть дней пони для поездки в Солсбери, а по возвращении продал его на Смитфилдском рынке. Это была шутка весьма серьезная, такая, что сначала в пылу гнева я хотел привлечь его к суду за конокрадство. Когда же я простыл,— а он, нужно сказать, все время старательно избегал меня,— решил я при первой возможности пересчитать ему ребра. И вот однажды увидел я его на улице; шел он мне навстречу, я уже приготовил для расправы свою трость, а для того, чтобы он не успел удрать, спрятался за спину какого-то носильщика. Но в то мгновенье, когда я уже поднял орудие возмездия, превратился мой Тим Кропдейл в жалкого слепого калеку, который нащупывал

[1] *Sheep skin* — также пергамент.

длинной палкой дорогу и вращал одними только тусклыми бельмами вместо глаз. Меня прямо-таки потрясло, что я еле-еле избегнул беды,— чуть было не расправился с невинным человеком, а на следующий день Тим упросил одного моего приятеля, чтобы тот уговорил меня простить его и принять от него вексель на сумму, равную стоимости пони, с уплатой через полтора месяца.

От этого джентльмена я узнал, что слепец был не кто иной, как Кропдейл, который, завидев меня и догадавшись о моем намерении, мгновенно преобразился в слепца. Мне так понравилась его искусная увертка, что я согласился его простить, однако отказался принять вексель, дабы над головой его висело обвинение в воровстве, что было бы порукой его пристойного в будущем поведения. Но Тимоти никак не хотел даться мне в руки, пока я не взял векселя. Тогда он появился у дверей моего дома под видом слепого нищего и так искусно обманул моего слугу, с которым был давно знаком и даже выпивал вместе, что тот захлопнул перед его носом дверь и пригрозил его околотить. Услышав внизу шум, я спустился и тотчас же, узнав виденного мной на улице слепца, назвал его по имени, к несказанному удивлению лакея.

Биркин заявил, что он любит шутку не меньше других, но спросил, где живет Кропдейл, чтобы потребовать назад сапоги, прежде чем тот их продаст.

— Я охотно дам ему пару новых башмаков и полгинеи в придачу в обмен на сапоги, которые облегали мне ногу как перчатка, так как другие такие я смогу достать только тогда, когда погода для верховой езды уже будет негодная.

Остроумец-заика сказал, что единственная тайна, которую хранит Кропдейл, это именно место своего жительства, но что в летнюю жару он, должно быть, спит на какой-нибудь барже или забавляется с какой-нибудь ночной девой под портиком церкви святого Мартина.

— Чума его возьми! — воскликнул книгопродавец.— Пускай бы он прихватил заодно мои шпоры и хлыст... Тут он не удержался бы и украл еще одну лошадь, а тогда поскакал бы к самому дьяволу!

После кофе я простился с мистером С., искренне поблагодарив его за любезность и весьма довольный проведенным днем, хотя еще не совсем понимал, чем объяснить постоянное общение известного в литературном мире человека с писаками, которые, по-видимому, никогда не будут способны своим трудом завоевать себе хоть какое-нибудь имя. Об этом я спросил своего спутника Дика Айви, который ответил мне так:

— Можно подумать, что у С. есть какая-нибудь корыстная цель, когда он оказывает помощь и покровительство всем этим людям, которые, как ему известно, и люди дурные, и писатели никуда не годные. Но если он имеет такие виды, ему придется разочароваться; ежели он такой суетный, что воображает, будто они пригодны для удовлетворения его тщеславия или получения им какой-нибудь выгоды, они, в свою очередь, слишком хитры, чтобы не извлечь из знакомства с ним выгоду для себя. Решительно все, кто сегодня у него был, исключая меня, обязаны ему чем-нибудь. Одного он взял на поруки из дома предварительного заключения для должников и затем уплатил за него долг; другого принял к себе в дом и одел, когда тот был выпущен полуголым из тюрьмы на основании парламентского указа об освобождении несостоятельных должников; третьему, который дошел до нищеты, жил на чердаке на задворках Батчер-роу и питался только бараньей требухой, он дал работу, помещение и возможность появляться в пристойном виде, не боясь чиновников шерифа.

Тем, кому приходится круто, он помогает деньгами, когда они у него есть, а когда нет, позволяет пользоваться своим кредитом. Когда у них нет работы, он дает ее от себя либо для их прокормления советует книгопродавцам поручить им написать какое-нибудь сочинение. Они всегда желанные гости за его столом, а стол у него хоть и простой, но сытный, и он всегда готов оказать им услугу. При каждом удобном случае они весьма нагло пользуются его именем, а бывает и так, что без зазрения совести присваивают авторство некоторых его сочинений, а также выдают собственное свое бумагомарание за плоды его мозга. За обедом вы видели у него шотландца; этот шотландец назвался его именем в трактире на Смитфилдском рынке, и там какой-то скотовод проломил ему голову за то, что он непочтительно отзывался о христианской религии; но шотландец уже от своего имени подал на него жалобу, и зачинщик драки должен был дать ему десять фунтов, чтобы тот взял жалобу назад.

Я заметил, что такую щедрость мистера С. нетрудно объяснить, если принять в рассуждение, что они льстят ему в лицо и выступают против его врагов публично; однако я был очень удивлен, когда вспомнил, что этого писателя злобно поносили в газетах, поэмах и памфлетах и не нашлось ни одного пера в его защиту.

— Но вы еще больше удивитесь,— сказал Дик Айви,— когда узнаете, что те самые гости, которых не видели сегодня за столом, суть авторы этих пасквилей, и С. хорошо знает

о таких дружеских услугах, так как эти люди рьяно следят друг за другом и друг на друга доносят.

— Но какого черта они так делают! — воскликнул я.— Что их заставляет ругать без всякой причины своего благодетеля?

— У них у всех одна причина — зависть,— ответил Дик.— Но к ней присоединяется еще и другая. С. издает литературный журнал, в котором их сочинения, натурально, подвергаются критике; и хотя со многими из этих сочинителей обходятся в журнале куда более снисходительно и благосклонно, чем они заслуживают, но малейшие замечания, без которых сколько-нибудь справедливая и беспристрастная критика обойтись не может, распаляют гнев этих сочинителей, и они немедленно мстят критику в анонимных письмах, памфлетах и пасквилях. Впрочем, все современные писатели, хорошие, худые и посредственные, с той поры как он занимается этим делом, стали его врагами, явными или тайными, за исключением тех его друзей, коим нечего опасаться его критики. Но ему лучше знать, какую выгоду или удовольствие он получает от того, что такое гнездо шершней находится у самого его уха...

Я признался, что это нелегко понять, но что мне хотелось бы знать, почему он числит своими приятелями таких негодяев, столь же ничтожных, сколь и неблагодарных. В ответ на это Дик сказал, что и он не находит разумных к тому оснований, но если уж говорить правду, этот человек — неисправимый дурак; хотя он и почитает себя знатоком человеческого сердца, но попадает впросак, оказывая благодеяния как раз самым недостойным из тех, кто просит у него помощи; впрочем, это предпочтение происходит не от недостатка проницательности, но от недостатка решимости, ибо у него не хватает духа противостоять бесстыдной настойчивости человека ничтожного, а так как он не знает цены деньгам, то и невелика его заслуга, когда он раздает их без всякого разбора; к тому же гордость его находит пищу в том, что вокруг него такая толпа угодников, и, должно быть, ему нравится, когда они поносят и предают друг друга, а благодаря их доносам он узнает обо всех происшествиях на Граб-стрит, которые он уже задумал описать для увеселения публики.

Выслушав речь Дика, я возымел подозрение, что против С. он питает злобу, ибо его поступкам он давал наихудшее объяснение; расспросив его обиняком, я узнал, что он отнюдь не доволен критикой своего последнего сочинения, напечатанной в журнале, хотя по его просьбе эта критика была весьма учтивая. Во всяком случае, С. имеет свои слабости и прихоти,

однако ему никак нельзя отказать в добросердечии и просвещенности, и я отнюдь не могу упрекнуть его во властолюбии, жестокости и упрямстве.

Я столь много места уделил сочинителям, что вы можете заподозрить, будто я собираюсь вступать в это братство; однако если бы я к этой профессии и был способен, то она самое безнадежное средство против голодной смерти, ибо ничего не позволяет отложить про запас под старость или на случай болезни. Восьмидесятилетний Салмон проживает теперь на чердаке и, получая по гинее за лист, трудится для современного историка, который по годам своим может годиться ему во внуки, а Псалмоназар, помыкавшись с полвека на литературной стезе, хоть и был он неприхотлив и воздержан, как все жители Азии, живет теперь милостыней нескольких книгопродавцев, которая только-только спасает его от того, чтобы не поступить на содержание церковного прихода. Гаю, который сам был книгопродавцем, следовало бы одно крыло или палату своей больницы отвести для престарелых писателей; впрочем, во всем королевстве не найдется ни одной больницы, ни приюта, ни работного дома, которые могли бы вместить всех бедняков этого братства, состоящего из подонков других профессий.

Не знаю, позабавит ли вас рассказ о сей чудно́й породе смертных, нравы которых, должен признаться, весьма возбуждают любопытство вашего

*Дж. Мелфорда.*

*Лондон, 10 июня*

*Мисс Летиции Уиллис, Глостер*

Дорогая моя Летти!

Лежит у меня на душе нечто такое, о чем я не решаюсь писать по почте, но миссис Брентвуд возвращается домой, и я никак не хочу упустить сей благоприятный случай, чтобы открыть вам мое бедное сердце, угнетенное страхом и печалью.

О Летти! Сколь горестно положение того, кто не имеет друга, к которому можно обратиться за советом и утешением в беде! В последнем моем письме я намекала, что некий мистер Бартон был чрезмерно любезен и учтив. Долее я не могу сомневаться в его намерениях. Он объявил себя моим поклонником, оказывал мне тысячу знаков внимания и, заметив, что я холодно отвечаю на его любезности, прибег к посредничеству леди Грискин,

которая и выступила в качестве горячей его защитницы. Но, дорогая моя Уиллис, миледи усердствует чересчур: она не только говорит пространно об огромном состоянии, знатных знакомцах и незапятнанном добром имени мистера Бартона, но и берет на себя труд допрашивать меня. Два дня назад она решительно объявила мне, что девушка моих лет, конечно, не осталась бы равнодушной ко всем этим достоинствам, если бы сердце ее было свободно.

Этот намек привел меня в такое волнение, что она не могла не заметить моего смущения и, полагаясь на якобы сделанное ею открытие, настаивала, чтобы я избрала ее своею наперсницей. Но хотя я не сумела справиться с собою и скрыть тревогу моего сердца, однако я все же не такое малое дитя, чтобы открыть тайну моего сердца особе, которая, вне сомнения, употребит ее мне во зло. Я отвечала ей, что нет ничего удивительного, если я пришла в замешательство, когда она завела разговор о предмете, неподходящем для девушки столь юной и неопытной; что мистера Бартона я считаю весьма достойным джентльменом и очень признательна ему за доброе мнение обо мне; но сердечное расположение рождается помимо воли, мое же сердце остается до сей поры холодным к нему.

Она покачала головою с недоверчивым видом, заставившим меня затрепетать, и сказала, что, ежели сердце мое свободно, оно должно прислушаться к голосу благоразумия, особливо если к нему присоединится голос тех, кто имеет право надзирать за моим поведением. В этих словах крылось намерение склонить дядюшку и тетушку, а может быть, и моего брата отнестись благосклонно к любовным притязаниям мистера Бартона, и я страшусь, что тетушка уже перешла на его сторону. Вчера поутру он прогуливался вместе с нами в парке и, зайдя на обратном пути в галантерейную лавку, презентовал тетушке очень красивую табакерку, а мне — золотую шкатулочку для иголок, от которой я решительно отказывалась, покуда тетушка не приказала мне принять, ежели я не желаю вызвать ее неудовольствие. Однако, будучи все еще неуверенной, уместно ли мне принять этот подарок, я рассказала о своих сомнениях брату, который отвечал, что посоветуется на сей счет с дядюшкой, и, кажется, подумал, что мистер Бартон преждевременно преподносит подарки.

Бог весть каковы будут последствия их совещания, но я опасаюсь, что оно приведет к объяснению с мистером Бартоном, который, несомненно, изъяснится в своих чувствах и будет домогаться согласия на сей союз, возмущающий душу мою.

Ибо знайте, любезная моя Летти, что не в моей власти полюбить мистера Бартона, даже если бы моего сердца не коснулись другие нежные чувства. Ничего неприятного в его особе нет, но нет у него также того неизъяснимого очарования, которое пленяет и покоряет восхищенную душу; по крайней мере, я так думаю. Но даже обладай он всеми пленительными достоинствами, коими может быть наделен мужчина, все равно они оказались бы бессильными перед постоянством, которое, льщу себя надеждой, есть отличное свойство моей натуры. Да, моя любезная Уиллис, назойливые домогательства этого джентльмена и настойчивость моих родственников могут навлечь на меня новые беды, и, думаю, так оно и будет, но сердце мое неспособно к измене.

Вам известно, что я отнюдь не верю в сновидения, но тем не менее меня весьма смутил сон, привидевшийся мне прошлой ночью. Приснилось мне, будто я нахожусь в церкви, где некая известная вам особа собирается сочетаться узами брака с моей тетушкой, будто священник — не кто иной, как мистер Бартон, а я, бедная и покинутая, стою в уголке и плачу, полураздетая и босая. Я знаю, какое это ребячество — приходить в расстройство чувств из-за таких видений, однако же вопреки рассудку сей сон произвел сильное на меня впечатление, и расположение духа моего становится очень мрачным.

Правда, есть у меня и другая, более важная причина скорбеть. Тяжко угнетают мою совесть, дорогая моя подруга, сомнения, к религии относящиеся. Меня уговорили пойти в молитвенный дом, где я слушала проповедь, которая глубоко меня растрогала. Я с жаром молилась об озарении меня светом, однако до сей поры не чувствую того волнения, той милосердной благостыни, которые почитаются знаками духовного возрождения, и потому я с ужасом помышляю о бедной моей душе. Кое-кто из членов нашего семейства обрел весьма необыкновенную благодать, особливо тетушка и мисс Дженкинс, которые иной раз говорят так, как будто вдохновение и в самом деле снизошло на них. Значит, я вряд ли буду лишена увещаний и благого примера, которые нужны, чтобы мысли мои были чисты и отвратились от суеты мира сего, а от нее я, право же, охотно отказалась бы, будь это в моей власти.

Но для принесения этой жертвы нуждается в помощи свыше и до сей поры еще не удостоилась ее ваша несчастная подруга

*Лидия Мелфорд.*

*Лондон, 10 июня*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

Получив от вас письмо, я в ту же минуту бросился исполнять ваше поручение. С помощью моего хозяина гостиницы «Бык и ворота» я выведал, где укрылся ваш беглый лакей, и обвинил его в краже. При виде меня парень пришел в замешательство, однако же с большой наглостью отрицал свою вину, покуда я не сказал ему, что если он отдаст часы — фамильную вашу драгоценность,— то деньги и платье может оставить себе и отправляться ко всем чертям, если же он не согласится на мое предложение, я тотчас передам его в руки констебля, которого я для этой цели привел с собой, и тот немедленно доставит его к судье. После недолгих колебаний он попросил позволения переговорить со мной в соседней комнате, где и вручил мне часы с цепочкой и со всеми печатками, а я передал их нашему хозяину, который и перешлет их вам с первой надежной оказией. На этом кончаю о делах.

Вы питаете мое тщеславие, уверяя, что мои письма доставляют вам удовольствие, хотя, сказать правду, они не оповещают о случаях достопримечательных; стало быть, забавляет вас не их содержание, а разве что мой слог. Такое одобрение человека, чей изящный вкус и здравое суждение не вызывают отныне никаких сомнений, воодушевляют меня, и я спокойно буду записывать свои наблюдения.

Мы решились ехать на будущей неделе в Йоркшир, и потому я пошел сегодня поутру с дядюшкой осматривать дорожную карету, которую продает живущий по соседству каретник. Свернув в глухой переулок позади Лонг Акра, увидели мы толпу народа перед дверьми, ведущими в молитвенный дом методистов, где, как уведомили нас, какой-то лакей говорил поучение собравшимся. Любопытствуя поглядеть на сей феномен, мы с большим трудом протиснулись туда, и кто же был этот проповедник? Хамфри Клинкер собственной персоной!

Он закончил свою проповедь и, возгласив псалом, с большим благочестием запел первый стих. Но если мы удивились, узрев на кафедре Клинкера, то как же были мы поражены, когда среди собравшихся увидели всех женщин, принадлежащих к нашему семейству! Были здесь леди Грискин, мисс Табита Брамбл, мисс Уинифред Дженкинс и моя сестра Лидди, а также мистер Бартон, и все они усердно и набожно присоединились к песнопению.

При виде этого забавного зрелища я едва мог сохранить серьезную мину, но на нашего старого чудака оно произвело совсем иное впечатление. Прежде всего он возмутился таким дерзновением своего лакея, которому он столь повелительным голосом приказал сойти с кафедры, что Хамфри почел неудобным ослушаться. Он спустился немедленно, и весь народ был в смятении. У Бартона был на редкость глупый вид, леди Грискин играла своим веером, мисс Табби возмущалась духом, Лидди то бледнела, то краснела, а мисс Дженкинс рыдала так, точно сердце у нее разрывается. Дядюшка с язвительной усмешкой просил у всех леди извинения, что прервал их молитву, говоря, будто ему весьма нужен этот проповедник, которому он приказал привести наемную карету.

Карета была немедленно доставлена, он подвел к ней Лидди и уселся вместе с нею, за ним последовали мы с тетушкой и поехали домой, не заботясь об оставшихся, которые все еще пребывали в немом изумлении.

Приметив ужасное смятение Лидди, мистер Брамбл сменил грозный вид на более милостивый и попросил ее не беспокоиться, так как ее поведение отнюдь не вызвало его неудовольствия.

— Я ничего не могу возразить против ваших религиозных наклонностей,— сказал он,— однако же я не думаю, чтобы уместно было моему слуге быть духовным руководителем благочестивой особы вашего пола и образа мыслей. Разве что только ваша тетушка, как полагаю я, затеяла всю эту историю.

Мисс Табита не проронила ни словечка в ответ, а только закатила глаза, как бы взывая к небесам. Бедная Лидди отвечала, что не имеет никакого права именовать себя благочестивой особой, что она думала, будто нет ничего дурного, если она послушает набожную проповедь, хотя бы и сказанную лакеем, а тем более в присутствии тетушки; если же она по неведению своему совершила проступок, то уповает на прощение, ибо нестерпима ей мысль, что она навлекла на себя его неудовольствие. Старый джентльмен, пожимая ей руку, с ласковой улыбкой назвал ее доброй девушкой и сказал, что не почитает ее способной совершить поступок, который мог бы вызвать малейшее его порицание или гнев.

Когда мы приехали домой, он приказал мистеру Клинкеру следовать за ним наверх и обратился к нему с такими словами:

— Ежели дух призывает вас проповедовать и поучать, то давно пришла пора, чтобы вы сняли ливрею земного владыки, я же недостоин держать у себя в услужении апостола.

— Надеюсь,— сказал Хамфри,— я исправно исполнял свои обязанности при вашей чести. В противном случае я был бы жалким, ничтожным человеком, ежели вспомнить ту бедность, от которой избавили меня ваше милосердие и сострадание! Но когда глас духа...

— Глас дьявола! — в гневе возопил сквайр.— Какой там глас, болван? Может ли такой парень лезть в проповедники?

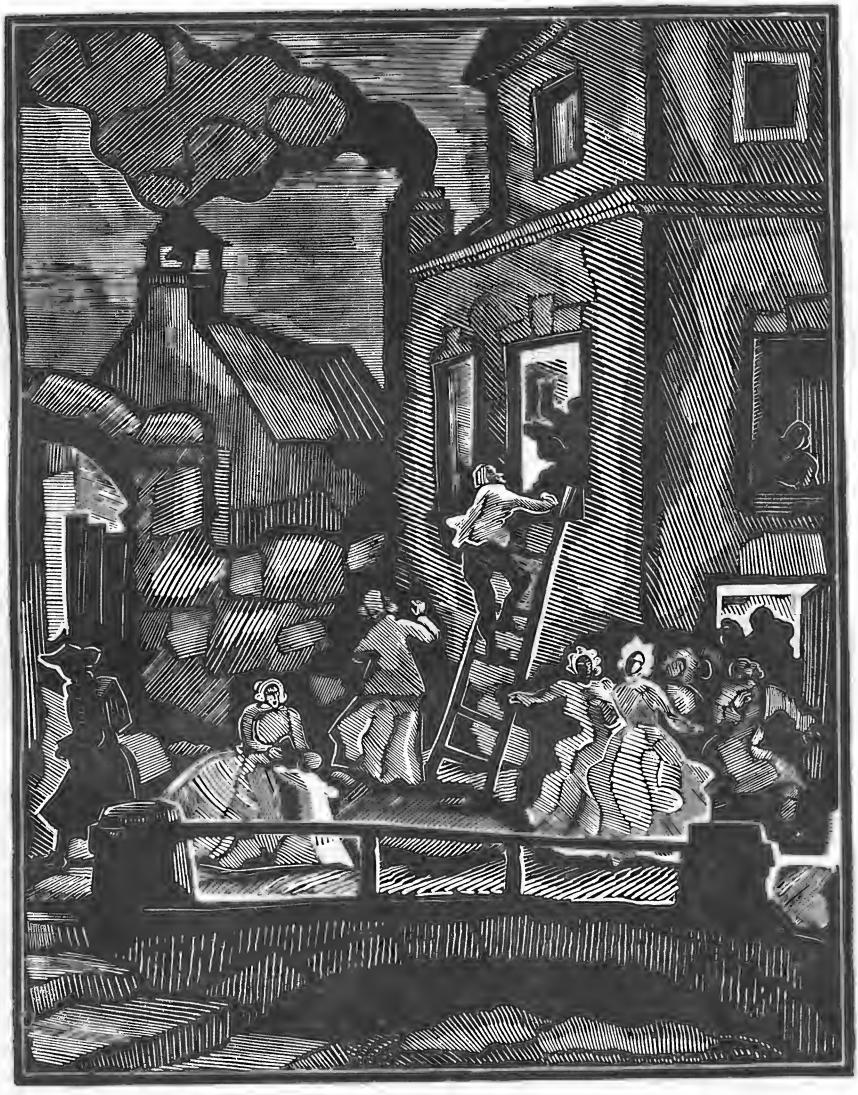
— Прошу не прогневаться, ваша честь,— отвечал Клинкер,— но разве не может свет благодати божьей озарить смиренного бедняка и невежду, равно как богача и философа, который кичится мирскою премудростью?

— Для вас это свет благодати,— воскликнул его хозяин,— а для меня болотный огонек, мерцающий сквозь щель в вашей башке! Словом, мистер Клинкер, не нужен мне никакой свет в моем семействе, кроме того, за который я плачу налог королю, разве что это свет разума, которому вы не хотите следовать.

— Ах, сэр! — воскликнул Хамфри.— Свет разума по сравнению с тем светом, о котором говорю я, все равно что дешевая тусклая свеча по сравнению с полуденным солнцем.

— Пусть будет так,— сказал дядюшка.— Но свеча может осветить вам путь, а солнце ослепит вас и затуманит вашу слабую голову. Слушайте, Клинкер, либо вы лицемер и плут, либо одержимый, и мозги у вас повреждены! И в том и в другом случае вы не нужны мне как слуга. Ежели вы шарлатан и промышляете святостью и благочестием, то вам легко будет найти глупых баб или людей свихнувшихся, которые будут щедрой рукой снабжать вас деньгами. А ежели вас и в самом деле обмануло поврежденное воображение, то чем скорее вы рехнетесь окончательно, тем лучше будет и для вас и для общества! Тогда кто-нибудь из человеколюбия доставит вам темный чулан и чистую соломенную подстилку в Бедламе, где вы не будете заражать своим изуверством других. Но если у вас еще сохранилась крупица рассудка, чтобы изображать избранный сосуд на благочестивых собраниях, то блуждающий огонек будет сбивать с пути вас и слушателей ваших, вовлекая в греховные дела, покуда не охватит вас религиозное помешательство, а тогда вы можете с отчаяния удавиться.

— От чего да сохранит меня господь в бесконечном своем милосердии! — воскликнул устрашенный Клинкер. — Да, весьма возможно, что я поддался искушению дьявола, который жаждет повергнуть меня на камни духовной гордыни. Вы говорите, ваша честь, что я либо плут, либо сумасшедший, но раз я могу заверить вашу честь, что я не плут, то, значит, я сошел с ума,



Смоллет, «Путешествие Хамфри Клинкера»

а потому и умоляю вас на коленях подумать о моей судьбе и измыслить способы, какими можно было бы меня исцелить.

Сквайр не мог не посмеяться простодушию бедного малого и обещал позаботиться о нем, если он будет исполнять свое дело, не гоняясь за новыми откровениями методизма. Но мисс Табита была возмущена его скудоумием, которое приписывала недостатку благочестия и суетным помыслам. Она корила его малодушием, препятствующим ему пострадать за веру, говорила, что если бы он и лишился места, отстаивая истину, то провидение не преминуло бы даровать ему другое, может быть, более выгодное, и, заявив, что не очень-то приятно жить в доме, где введена инквизиция, в большом волнении удалилась в другую комнату.

Дядюшка проводил ее выразительным взглядом, после чего обратился к проповеднику:

— Вы слышали, что говорит моя сестра? Если не можете вы жить у меня так, как я вам приказываю, то пред вами открыт методистский вертоград, а сестра моя, кажется, весьма расположена вознаградить ваши труды.

— Не хотелось бы мне обижать кого бы то ни было из ближних,— отвечал Хамфри.— Миледи была очень милостива ко мне с той поры, как мы приехали в Лондон, и, конечно, сердце ее обращено к благочестивым делам, ибо она и леди Грискин распевают псалмы и гимны, как херувимы. Но в то же время я должен любить и слушаться вас, ваша честь. Не подобает такому бедному невежде, как я, перечить джентльмену знатному и ученому. Что до премудрости, то по сравнению с вашей честью я не более чем скотина, а потому подчиняюсь вам и с божьей помощью последую за вами на край света, если вы полагаете, что я не настолько еще рехнулся, чтобы не мог уже ходить на свободе.

Хозяин его обещал оставить его на некоторое время при себе на испытании, а потом пожелал узнать, каким образом леди Грискин и мистер Бартон присоединились к их благочестивому обществу. Клинкер рассказал ему, что эта леди сама привела в первый раз мою тетушку и сестру в молитвенный дом, куда он их сопровождал и где его набожный дух воспламенила проповедь мистера У., что на этой новой стезе утвердили его поучения проповедника, которые он купил и изучал с великим вниманием; что речи его и молитвы обратили на ту же стезю мисс Дженкинс и служанку, но мистера Бартона он, Клинкер, не видел там до сего дня, когда тот пришел вместе с леди Грискин.

Затем Хамфри признался, что взойти на кафедру побудили его пример и успех некоего ткача, славного проповедника, имевшего много последователей; что при первом же опыте его

обуяло великое рвение, заставившее поверить, будто на него и в самом деле снизошел дух, и что он присутствовал при набожных молениях в доме леди Грискин и во многих других домах.

Узнав, что сия леди была главной особой в этом сообществе, мистер Брамбл заключил, что она употребила Клинкера только как орудие для проведения своего плана, тайный смысл которого был ему вовсе неизвестен. Дядюшка заявил, что поистине голова миледи набита всевозможными проектами и что она и Табби, без сомнения, заключили секретный договор, которого он не мог уразуметь.

Я сказал ему, что, по моему мнению, совсем нетрудно разгадать намерения мисс Табиты, которая хочет опутать сетями сердце Бартона, а миледи Грискин, вероятно, ей помогает; что это предположение объясняет их усилия обратить Бартона в методизм, ибо такое событие приведет к единению душ, которое легко может закончиться брачным союзом.

Казалось, дядюшку весьма позабавила мысль об успехе этого плана, но я сообщил ему, что сердце Бартона уже отдано другой, что накануне он подарил Лидди золотой футляр, который тетушка заставила ее взять, без сомнения для того, чтобы ей самой прилично было принять от него в подарок табакерку; что сестра рассказала мне об этом случае, и я потребовал объяснения у мистера Бартона, который заявил, что намерения у него честные, и выразил надежду не встретить с моей стороны никаких препятствий этому союзу; что, поблагодарив его за честь, оказываемую нашему семейству, я указал ему на необходимость посоветоваться с ее дядюшкой и тетушкой, под чьей опекой она находится, и если их согласие будет получено, я не могу возражать против его предложения, хотя и уверен, что сестру мою отнюдь не будут принуждать в деле, столь близко касающемся счастья всей ее жизни. Сказал я также, что, по уверению Бартона, он и не думал прибегать к влиянию опекуна, если чувства его не будут приятны самой молодой леди, и хочет тотчас просить разрешения у мистера и мисс Брамбл предложить Лидди руку свою и состояние.

Сквайр не остался равнодушен к выгодам такого брака и объявил, что всеми силами будет ему споспешествовать, но, когда я указал, что Лидди, кажется, к нему не расположена, он выразил намерение выведать ее чувства, и, если сопротивление ее окажется очень сильным, он учтиво отклонит предложение мистера Бартона, ибо думает, что при выборе супруга молодая девица, невзирая ни на какие соображения, не должна приносить в жертву сердечные свои чувства.

— Лидди не так уж худо живется,— сказал он,— чтобы она такой ценой добивалась богатства. Я же полагаю, что все это развеется, как дым, хотя, кажется, сейчас можно ждать грозы, ибо мисс Табби сидела за обедом в мрачном и величественном молчании, будто вот-вот разразится жалобами и упреками. Без сомнения, она наметила Бартона своею собственной добычей и потому не может отнестись благосклонно к его домогательствам руки Лидди, а потому я ожидаю, что его объяснение в любви к моей сестре будет сопровождаться какими-нибудь чрезвычайными событиями.

Это объяснение, конечно, будет сделано в надлежащей форме, как только влюбленный возымеет достаточно мужества, чтобы устоять против бури, которую вызовут обманутые надежды мисс Табби, так как ему, без сомнения, известно ее желание завладеть его особой. О развязке этого дела вы узнаете в свое время, а я пребываю

всегда ваш *Дж. Мелфорд.*

*Лондон, 10 июня*

## *Доктору Льюису*

Любезный Льюис!

Недолго продолжалось обманчивое спокойствие. Снова я погрузился в бездну огорчений, боль в желудке моем и кишках снова воротилась, так что, кажется, не в состоянии я буду продолжать путешествие, которое задумал. Какого черта пустился я на эту проклятую охоту со сворой баб!

Моя драгоценная сестрица, которая, кстати говоря, недавно превратилась в отъявленную методистку, пришла вчера ко мне в комнату вместе с мистером Бартоном и с весьма торжественным видом выразила желание, чтобы я ее выслушал.

— Братец! — сказала она.— Этот джентльмен имеет вам кое-что предложить... Льщу себя надеждой, его предложение будет вам тем паче приятней, что избавит вас от спутника, который приносит вам много хлопот...

Потом мистер Бартон начал так:

— Я горячо желаю, мистер Брамбл, соединиться узами с вашим семейством и надеюсь, что в помеху мне вы не употребите своей власти...

Табби с жаром перебила его:

— Какой власти? Не знаю, какую власть он может употребить при сем случае! Я из учтивости говорю ему о своем намере-

нии. И чего он еще может ждать? Так бы и он сам поступил, если б порешил изменить свою судьбу. Одним словом, братец, мне столь понравились отменные достоинства мистера Бартона, что это заставило меня изменить решение мое остаться навсегда в девицах и я желаю вручить ему мое счастье, признав за ним законные права на меня и мое состояние. Сейчас надо нам все это закрепить на бумаге, и прошу я вас, братец, приищите мне какого-нибудь законоведа...

Можете себе представить, какое действие произвело на меня сие открытие! Ведь я ожидал, что Бартон сделает признание о своих чувствах к Лидди, как уведомлял меня мой племянник! Я от удивления онемел и пялил глаза то на Табби, то на ее предполагаемого воздыхателя, который, повесив голову, стоял ужасно переконфуженный, а потом сказал, что у него закружилась голова, и удалился. Мисс Табита очень обеспокоилась и уговаривала его прилечь у нас в доме, но он заявил, что должен идти домой и принять капли, которые хранит у себя на случай таких припадков, после чего возлюбленная его успокоилась.

Я пребывал в крайнем недоумении и хотя догадывался об истине, но не знал, как себя вести с мисс Табитой; тут вошел Джерри и сказал, что сейчас видел мистера Бартона, который выходил из коляски у дома леди Грискин. Сия встреча сулила, по-видимому, посещение нас миледи, которым мы и были почтены менее чем через полчаса.

— Вижу, любезные мои друзья,— сказала она,— что у вас произошло маленькое недоразумение, и я приехала, чтобы все уладить.

С этими словами она протянула мне следующее письмецо:

«Дорогой сэр!

Как только я оправился от смущения, в которое повергла меня злосчастная ошибка вашей сестры, почитаю долгом уверить вас, что мое обращение с мисс Брамбл никогда не переступало границ обычной учтивости, но мое сердце неизменно приковано к мисс Лидди Мелфорд, как я имел честь сообщить ее брату, когда он у меня о том осведомился. Леди Грискин была столь добра, что взяла на себя не только труд передать эту записку, но и вывести из затруднения мисс Брамбл, которую я глубоко уважаю и почитаю; тем не менее мое сердце принадлежит другой особе и над ним не волен ваш покорный слуга

*Ральф Бартон*».

Пробежав сие письмецо, я сказал миледи, что не возражаю против дружеской услуги, которую она намерена оказать, после чего мы с Джерри удалились в другую комнату. Вскоре мы услышали, как разговор меж двумя леди становится все громче, и, наконец, послышались такие слова, что ради соблюдения благопристойности нам надлежало вмешаться не откладывая.

Когда мы появились на арене, где шел диспут, мы увидели Лидди; она присоединилась к спорщицам и дрожа стояла между ними, как бы опасаясь, чтобы они не перешли от слов к доводам более решительным.

Лицо леди Грискин похоже было на полную луну во время бури, ослепительную, огненно-красную, зловещую, тогда как Табби от злобы была бледна и весь вид ее свидетельствовал о смятении и бешенстве.

Прибытие наше положило конец их перебранке. Миледи обратилась ко мне так:

— Должна вам сказать, кузен, что за все мои услуги вашему семейству эта леди отплатила мне черной неблагодарностью!

— Наше семейство весьма благодарно вашему лордству,— воскликнула Табби, истерически хихикая.— Но мы недостойны услуг столь почтенной посредницы...

— И все-таки, милейшая мисс Табита Брамбл,— перебила леди Грискин,— я уже тем удовлетворена, что добродетель сама по себе есть награда, и не моя вина, если вы и впредь останетесь смешной! Это дело близко касается мистера Брамбла, и он, конечно, употребит все свое влияние, чтобы способствовать союзу между мистером Бартоном и своей племянницей, который не только почетен, но и выгоден. И я уверена, сама мисс Лидди не станет возражать против такого предложения, которое сулит ей счастье.

— Прошу прощения, миледи,— вставила Лидди с горячностью,— но, право же, я не жду от этого ничего, кроме беды, и надеюсь, что мои опекуны сжалятся надо мной и не заставят меня променять спокойствие на почет или богатство.

— По чести скажу, мисс Лидди, вы следуете по стопам вашей дражайшей тетушки! — воскликнула леди Грискин.— Я поняла вас, и мы еще об этом поговорим, а теперь я удаляюсь. Счастливо оставаться, мадам!

Тут она подошла к моей сестре и присела так низко, что, казалось, вот-вот усядется на пол. Табби ответила столь же низким приседанием, а пока они в такой позиции пребы-

вали, их физиономии достойны были кисти несравненного Хогарта, ежели бы он снова появился в наше развращенное время.

Джерри проводил миледи домой, чтобы вернуть мистеру Бартону шкатулочку и посоветовать ему отказаться от искательств, столь неприятных Лидди; возвратился он весьма раздраженный против своей сестры: леди Грискин убедила его, что сердце Лидди не свободно, он вспомнил об Уилсоне, и фамильная его гордость тотчас же вспыхнула. Он клялся отомстить этому пройдохе и намеревался поговорить с сестрой весьма решительно, но я убедил его укротить гнев, покуда я не побеседую с нею наедине.

Бедняжка! Когда я стал сурово о сем допрашивать, она созналась, вся в слезах, что Уилсон в самом деле появился на Горячих Водах в Бристоле и даже пришел к нам в дом под видом еврея-торговца, но она с ним никакого дела не имела, ежели не считать, что она умоляла его немедленно удалиться и не смущать ее покой, а он, дескать, так и поступил, попытавшись предварительно убедить горничную моей сестрицы, чтобы та вручила Лидди его письмо, которое она отказалась принять и согласилась только передать Лидди на словах, что он — джентльмен благородного рода и вскорости объявит о своей любви уже под своим настоящим именем. Она созналась, что хотя он не сдержал своего слова, однако же она не совсем к нему равнодушна, и торжественно обещала не иметь в будущем никаких отношений ни с ним, ни с любым другим поклонником без ведома и одобрения моего и ее брата.

После сего уверения они примирились с Джерри, но горячий юноша еще более разъярился на Уилсона, которого он почитает обманщиком, скрывающим гнусные намерения нанести поруху чести нашей фамилии. Что до Бартона, то он был крепко разобижен, получив подарок назад и обманувшись в своих ожиданиях, но он не из тех людей, которые сильно тужат от подобных разочарований; впрочем, не могу сказать, не более ли приятен ему отказ Лидди, чем разрешение продолжать свои искательства с риском выносить ежедневно козни мстительной Табби, которая не оставила бы такое к ней неуважение безнаказанным.

Об этом происшествии я не имел времени поразмыслить, так как к нам в дом явился констебль со своими подручными с приказом судьи Баззарда обыскать сундук Хамфри Клинкера, моего лакея, которого и задержали по обвинению в разбое.

Сие происшествие вызвало в доме переполох. Сестрица моя изругала констебля за то, что он по такому делу осмелился войти в дом к джентльмену, не испросив разрешения; с ее служанкой начался от страха истерический припадок; Лидди залилась слезами от жалости к несчастному Клинкеру, в сундуке которого не нашли ровно ничего, что подтверждало бы подозрение в разбое.

Я не сомневался, что парня по ошибке приняли за кого-то другого, и немедленно отправился к судье, чтобы добиться его освобождения. Но, придя туда, я узнал, что дело гораздо серьезней, чем я думал.

Бедняга Клинкер в трепете стоял за загородкой, окруженный сыщиками, а немного поодаль находился толстый рыжий форейтор, доносчик, который задержал его на улице и объявил под присягой, что якобы Клинкер ограбил пятнадцатого марта на Блекхите джентльмена, которого он вез в почтовой карете.

Показание под присягой было достаточным основанием для заточения Клинкера в тюрьму. И поэтому он был направлен в Клеркенуэллскую тюрьму, куда Джерри проводил его в карете для передачи его смотрителю, с тем чтобы он не был лишен удобств, какие были там дозволены.

Ротозеи, собравшиеся поглазеть на разбойника, оказались столь прозорливыми,что по одному его лицу признали его отъявленным негодяем, тогда как лицо у него, не в обиду им будь сказано, было самое простоватое. Даже сам судья толковал некоторые его ответы весьма худо, в убеждении, будто свидетельствуют они об увертках и хитрости закоренелого преступника; я же полагаю, что было бы куда более справедливо и человеколюбиво приписать их смущению, которое должен был испытать деревенский парень, попав в такое положение.

Я все еще уверен, что он невиновен, и, убежденный в этом, приложу все силы, дабы спасти его от наказания.

Завтра мой племянник отправится к тому джентльмену, который был ограблен, и попросит, чтобы тот из человеколюбия пришел поглядеть на заключенного и свидетельствовать в его защиту, буде он не узнает в нем разбойника. Однако же как бы для Клинкера все сие ни кончилось, эта чертова история доставила мне невыносимое огорчение. Я уже получил сильнейшую простуду, выйдя на свежий воздух, после того как вспотел в набитой людьми приемной комнате у судьи, и ежели меня паче чаяния не скрутит подагра, я должен остаться в Лондоне на несколько недель, покуда в Рочестере не состоится суд над

бедным малым. Итак, по всей вероятности, мое путешествие на север не совершится.

Ежели у вас хранятся про запас какие-нибудь философические размышления, которые могли бы утешить меня в моих заботах и печали, поделитесь оными с вашим несчастным другом

*М. Брамблом.*

*Лондон, 12 июня*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Уот, комедия кончилась, и на сцене началось представление более серьезное. Тетушка наша произвела отчаянную атаку на Бартона, которому ради собственного спасения ничего иного не оставалось делать, как уступить ей поле битвы и объявить о своей любви к Лидди, а ею он, в свою очередь, был отвергнут. Леди Грискин служила ему защитницей и пособницей в этом деле с таким рвением, что поссорилась с мисс Табитой, и между этими двумя благочестивыми особами завязалась перебранка, которая могла бы перейти в драку, если бы не вмешался дядюшка. Однако же они помирились вследствие одного происшествия, которое доставило всем нам немало беспокойства и хлопот. Да будет вам известно, что бедный проповедник Хамфри Клинкер ныне упражняется в своем служении среди преступников в Клеркенуэллской тюрьме. Некий форейтор под присягой обвинил его в разбое, на поруки его не отпустили, и он был заключен в тюрьму, несмотря на все доводы и возражения моего дядюшки.

Судя по всему, бедняга не может быть виновен, но все же я опасаюсь, что ему грозит виселица. При допросе он отвечал с таким замешательством и с такими недомолвками, что бо́льшая часть присутствующих почла его за мошенника, а замечания судьи укрепили это мнение.

Исключая моего дядюшку и меня самого, нашлось только одно лицо, которое как будто благосклонно отнеслось к обвиняемому. Этот молодой человек был хорошо одет, и, судя по тому, какие вопросы задавал он свидетелю, мы заключили, что он обучался в каком-нибудь судебном инне; он без стеснения порицал судью за его недобрые замечания, сделанные в ущерб арестованному, и даже дерзнул вступить в спор с его честью по некоторым статьям закона.

Дядюшка, рассерженный бессвязными и неуверенными ответами Клинкера, которому грозила опасность пасть жертвой собственного простодушия, воскликнул:

— Если вы невиновны, то ради бога так и скажите!

— Сохрани бог, чтобы я назвал себя невиновным, если совесть моя отягощена грехами! — воскликнул Клинкер.

— Так, стало быть, вы совершили это ограбление? — продолжал его хозяин.

— О нет, нет! — отвечал тот.— Хвала господу, в этом грехе я неповинен!

Тогда вмешался судья, заметивший, что обвиняемый, кажется, склонен признаться и выдать сообщников, и приказал клерку записать его признание под присягой, но Хамфри объявил, что почитает исповедь папистским мошенничеством, придуманным вавилонскою блудницею. Молодой законовед из Темпла стал утверждать, что бедняга non compos[1], и уговаривал судью освободить его как помешавшегося в уме.

— Вам хорошо известно,— добавил он,— что арестованный неповинен в этом ограблении.

Сыщики пересмеивались, а судья, мистер Баззард, отвечал с великим раздражением:

— Мистер Мартин, прошу вас не соваться не в свое дело. В ближайшее время вы удостоверитесь, что я свои дела хорошо разумею.

Короче говоря, ничем нельзя было помочь; объявлено было решение о заключении в тюрьму, и бедного Клинкера увезли в наемной карете под охраной констебля и в сопровождении вашего покорного слуги. Дорогою я немало удивился, услыхав, как сей служитель правосудия уговаривает арестованного не сокрушаться, ибо ему-де известно, что Клинкер отделается всего двумя-тремя неделями тюремного заключения. По его словам, судья хорошо знает, что Клинкер неповинен в совершенном деянии и что настоящий разбойник с большой дороги, ограбивший карету, есть не кто иной, как тот самый мистер Мартин, который так усердно ратовал за честного Хамфри.

Пораженный этими словами, я спросил:

— Почему же позволяют ему гулять на воле, а с этим бедным, ни в чем не повинным человеком обходятся как со злодеем?

— Нам точно известны все похождения мистера Мартина,— отвечал констебль,— но до сей поры нет достаточных улик,

[1] Невменяем *(лат.)*.

чтобы его осудить. А что касается до этого малого, то судье ничего не оставалось делать, как засадить его в тюрьму, потому что форейтор опознал его под присягой.

— Значит, если мошенник-форейтор будет настаивать на своем лжесвидетельстве,— сказал я,— этого невинного парня могут приговорить к повешенью?

Констебль заметил, что у бедняги будет достаточно времени приготовиться перед судом и он докажет свое alibi, а может случиться и так, что Мартин будет уличен и обвинен в каком-нибудь другом преступлении, и тогда нетрудно будет убедить его взять на себя и это злодеяние, или же, наконец, если удачи не будет и показание против Клинкера останется неопровергнутым, присяжные могут его помиловать, принимая во внимание его молодость, тем более если обнаружится, что он впервые пошел на преступление.

Хамфри признался, что не может притвориться, будто припоминает, где находился он в тот день, когда было совершено ограбление, и еще менее того может он доказать свою непричастность к делу, происшедшему полгода тому назад; однако же он знал, что был в ту пору болен лихорадкой и трясавицей, хотя и мог передвигаться. Потом, возведя глаза к небу, он воскликнул:

— Да будет воля господня! Если на роду написано мне пострадать, то, надеюсь, не посрамлю веру, которую я, недостойный, исповедую!

Когда я выразил удивление, почему обвинитель так настойчиво уличал Клинкера, не обращая ни малейшего внимания на настоящего грабителя, который стоял перед ним и не имел никакого сходства с Хамфри, констебль, который сам был сыщиком, объяснил, что мистер Мартин из всех известных ему рыцарей большой дороги был самым искусным в своем деле; что он действовал на свой страх, без сообщников и товарищей, а на работу всегда выходил трезвый и хладнокровный; что мужество и присутствие духа никогда не изменяли ему; что в обхождении он был учтив и не позволял себе никакой грубости и наглости; что он никогда не обременял себя ни часами, ни драгоценными безделушками, ни даже банковыми билетами, но брал только звонкую монету, имевшую обращение в королевстве; что он умел искусно переодеваться и перекрашивать своего коня, и после ограбления невозможно было узнать ни того, ни другого.

— Этот великий человек,— продолжал констебль,— в течение пятнадцати месяцев царствовал на всех больших дорогах

в окрестностях Лондона и за пятьдесят миль от него. За это время он наделал бед больше, чем все остальные ребята, промышляющие тем же, что и он. Дело в том, что все, кто попадается ему в руки, не желают после такого вежливого обхождения причинять ему неприятности. Однако же конец его не за горами. Сейчас он вертится около судьи, как мотылек вокруг свечи. Столько ловушек расставлено на его пути, что я готов биться об заклад на добрую сотню фунтов, что еще до рождества он будет болтаться на виселице.

Должен ли я признаться вам, что это описание, сделанное негодяем, равно как и все примеченное мною самим в поведении Мартина, пробудили во мне теплое участие к судьбе бедняги, как будто самой природой предназначенного быть полезным и почтенным членом общества, которое он теперь грабит ради собственного пропитания! Говорят, он одно время служил писцом у торговца строевым лесом и тайно женился на его дочери, вследствие чего лишился места, а жену его выгнали из дому. Недолго прожила она после свадьбы, Мартин же, сделавшись искателем богатых невест, не придумал ничего иного, как добывать средства к жизни разбоем на больших дорогах, где доселе и промышлял с неизменным успехом. Он часто посещает судью, мистера Баззарда, возглавляющего сыщиков в сей столице, и иной раз они дружески покуривают трубку, обычно беседуя о природе улик. Судья честно советовал ему быть осторожнее, а он принял это к сведению. До сей поры он обманывал бдительность, старания и уловки Баззарда и его помощников с такой ловкостью, которая делала бы честь Цезарю или Тюренну. Но он имеет одну слабость, губительную для всех подобных ему героев, а именно чрезмерную склонность к прекрасному полу, и весьма вероятно, что на этом пути его ждет погибель.

Как бы там ни было, но Клинкера на моих глазах сдали на руки клеркенуэллскому тюремщику, которого я столь усердно просил за беднягу, что тот оказал ему самый радушный прием, хотя и был вынужден украсить его железными цепями, придававшими ему очень жалостный вид. Бедняк, кажется, был потрясен добротой моего дядюшки не менее, чем своим собственным несчастьем. Когда я уверил его, что все возможное будет сделано как для его освобождения, так и для того, чтобы облегчить ему пребывание в тюрьме, он упал на колени; целуя мне руку, он омыл ее слезами и воскликнул рыдая:

— О сквайр, что могу я сказать?.. Я не в силах... да, не в силах говорить... Бедное мое сердце готово разорваться от

благодарности к вам и к моему доброму... доброму... благородному... великодушному благодетелю.

Клянусь вам, зрелище это было так трогательно, что я рад был оттуда убраться и возвратиться к дядюшке, пославшего меня в тот же день к некоему мистеру Миду, тому самому, который был ограблен на Блекхите. Не застав его дома, я просил известить его о моем посещении, и сегодня поутру он пришел к нам и любезно обещал повидать заключенного. К тому времени пожаловала леди Грискин, желая выразить мисс Табите соболезнование по случаю нашей домашней беды, а благоразумная сия дева, чей гнев уже остыл, почла уместным принять эту леди столь учтиво, что тотчас последовало примирение. Обе леди решили самолично принести утешение несчастному заключенному, и мистер Мид вместе со мною проводил их в Клеркенуэллскую тюрьму; дядюшка же, чувствуя боли в желудке и кишках, принужден был остаться дома.

Тюремщик, встретивший нас в Клеркенуэлле, имел весьма угрюмый вид; когда же мы осведомились о Клинкере, он сказал:

— Черт его подери! С тех пор как попал сюда этот парень, здесь только и слышишь, что песнопение да молитвы. Будь он проклят! Все у нас прокиснет — мы не продали ни одного бочонка пива, ни одной дюжины бутылок вина после того, как он уплатил свой взнос на угощение заключенных: наши джентльмены упиваются только этой проклятой религией! Но, на мой взгляд, ваш слуга водится с самим чертом! Двое или трое из первых храбрецов, промышлявших на Хаунслоу, хныкали всю ночь напролет, и если вашего молодца скорехонько не заберут отсюда на основании habeas corpus или каким-нибудь иным способом, то, провалиться мне на этом месте, у нас здесь не останется ни капли отваги! И не останется у нас ни единого человека, который делал бы честь этому месту или отправился бы на тот свет, как истинный англичанин! Лопни мои глаза! В тюремной повозке только и будет слышно, что хныканье, и все мы помрем, как ткачи, за пеньем псалмов!

Словом, мы узнали, что в эту самую минуту Хамфри говорит поучение преступникам в тюремной церкви и что жена и дочь тюремщика, а также горничная моей тетушки Уин Дженкинс и другая наша служанка находятся среди слушателей, к которым и мы не замедлили присоединиться. Никогда не видывал я картины более поразительной, чем это сборище гремящих цепями преступников, среди которых стоял вития Клинкер, с восторженным пылом описывающий адские муки, которыми грозит Писание всем злодеям, как-то: убийцам, грабителям,

ворам и прелюбодеям. Толпа этих оборванцев, чьи лица, каждое по-своему, выражали внимание, была достойна кисти Рафаэля. На одном лице отражалось восхищение, на другом сомнение, на третьем презрение, на четвертом надменность, на пятом ужас, на шестом насмешка, на седьмом негодование. Что до мисс Уинифред Дженкинс, то она, погруженная в глубокую скорбь, заливалась слезами, но оплакивала ли она свои грехи или несчастье Клинкера — судить не берусь. Остальные женщины слушали благоговейно и с удивлением. Жена тюремщика назвала его попавшим в беду святым, прибавив, что хорошо было бы, если бы в каждой английской тюрьме находился хоть один такой праведник.

Мистер Мид, тщательно рассмотрев проповедника, объявил, что он вовсе не похож на того, кто ограбил его на Блекхите, и выразил готовность показать под присягой, что грабителем был не Клинкер. Но сам Хамфри к тому времени уже избавился от страха перед виселицей, ибо накануне вечером его торжественно судили и оправдали товарищи по тюрьме, из коих некоторые уже были обращены им в методизм. Он надлежащим образом возблагодарил нас за милостивое посещение, и ему было дозволено поцеловать ручки у обеих леди, которые уверяли его, что он может положиться на их дружбу и покровительство. Леди Грискин с большим жаром увещевала его собратьев по тюрьме воспользоваться сим драгоценным случаем, который привел в их среду такого праведника, закованного в цепи, и начать новую жизнь ради спасения их бедных душ, а дабы увещание ее возымело больше силы, она подкрепила его щедрым подаянием.

Когда она и мисс Табби с двумя служанками уселись в карету, я проводил мистера Мида в дом судьи Баззарда, который, выслушав его показание, сказал, что теперь его присяга бесполезна, но что при судебном разбирательстве он может свидетельствовать в пользу обвиняемого. Итак, бедному Клинкеру остается только запастись терпеньем, да и в самом деле эта добродетель или лекарство понадобится всем нам, в особенности же дядюшке, который загорелся желанием совершить путешествие на север.

В то время как мы навещали в Клеркенуэллской тюрьме честного Хамфри, дядюшка принимал у себя удивительнейшего посетителя.

Мистер Мартин, о котором я упоминал с таким почтением, просил разрешения засвидетельствовать ему свое уважение и был к нему допущен. Он сказал, что видел дядюшку у судьи Баззарда и, приметив, как встревожен он был происшествием

со своим слугой, пришел его уверить, что ему нечего опасаться за жизнь Клинкера, ибо если и найдутся присяжные, которые на основании таких улик сочли бы его виновным, то он, Мартин, представит суду человека, чье показание обелит Клинкера, и невинность его засияет, как солнце в полдень. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы нашелся такой чудак, который взял бы вину на себя!

Он говорил, что форейтор, бесчестный парень, занимался тем же промыслом и однажды уже спас себе жизнь в Олд Бейли, донеся на своих товарищей. Теперь он дошел до крайней нищеты и решился на отчаянный поступок, дав ложное показание, чтобы лишить жизни невинного человека, в надежде после осуждения его получить награду. Однако он жестоко обманется в этой награде, ибо судья со своими приспешниками решил воспрепятствовать всякому вмешательству в такие дела; и он, Мартин, нимало не сомневается в том, что найдется достаточно улик, чтобы посадить самого доносчика. Он утверждал, что все эти обстоятельства хорошо известны судье, а суровость его к Клинкеру должна только надоумить мистера Брамбла вручить ему мзду в благодарность за его справедливость и человеколюбие.

Однако этот намек пришелся не по вкусу мистеру Брамблу, который с горячностью объявил, что охотнее останется до конца жизни в ненавистном ему Лондоне, чем согласится поощрять взяточничество судей и получить тем самым возможность уехать отсюда завтра. Но, услыхав потом, сколь благоприятно для заключенного Клинкера свидетельство мистера Мида, он решил посоветоваться с законоведом, какие меры надлежит принять для скорейшего его освобождения.

Я не сомневаюсь, что дня через два с этим хлопотливым делом будет покончено, и, пребывая в этой надежде, мы собираемся в дорогу. Если усилия наши не окажутся бесплодными, мы тронемся в путь прежде, чем вы снова услышите о вашем

*Дж. Мелфорде.*

*Лондон, 11 июня*

## *Доктору Льюису*

Слава богу, любезный Льюис, тучи разошлись, горизонт очистился, и я предвкушаю мое летнее путешествие, которое надеюсь начать завтра. Я посовещался с неким законником о деле Клинкера, по каковому делу открылось благоприятное для него обстоятельство. Парень, который обвинял его, сам

попался. Два дня назад его схватили по обвинению в разбое на большой дороге и посадили в тюрьму по доносу его сообщника.

Клинкер на основании habeas corpus предстал перед лордом главным судьей, который принял в рассуждение показание, данное под присягой ограбленным джентльменом, что остановлен он был на большой дороге отнюдь не Клинкером. Лорд главный судья соблаговолил вынести решение об отдаче моего слуги на поруки еще и потому, что в настоящих обстоятельствах личность означенного форейтора определилась вполне; стало быть, Клинкер очутился на свободе к несказанной радости моих домочадцев, которые его чрезвычайно полюбили не только за услужливое обхождение, но и за проповеднический дар, умение молиться и петь псалмы, которыми он столь наделен, что даже Табби почитает его сосудом избранным. Ежели бы в такой чрезмерной набожности было притворство или ханжество, я не держал бы его в услужении; но, сколько я мог заметить, сей малый — сама простота, воспламеняемая исступлением, а благодаря своей простоте он способен быть верным и привязчивым к своим благодетелям.

Поскольку он хороший ездок и к тому же коновал, я купил ему крепкого мерина, чтобы он сопровождал нас в пути и присматривал за нашими лошадьми, на случай если кучер окажется нерадивый. Племянник мой тоже поедет верхом; взял он на пробу слугу, который недавно вернулся из чужих краев с прежним своим господином, сэром Уильямом Строллопом, поручившимся за его честность. Сей парень — зовут его Даттон — похож на петимэтра; он знает несколько слов по-французски, умеет отвешивать поклоны, скалить зубы, пожимать плечами, нюхать табак à la mode de France[1] и особливо чванится своим искусством причесывать волосы. Ежели меня не обманывает его наружность, то он полная противоположность Хамфри Клинкеру.

Сестра моя опять помирилась с леди Грискин, хотя должен сознаться, я бы не очень опечалился, если бы их знакомству пришел конец. Но Табби не такова, чтобы простить Бартону, который уехал на лето в свое имение в Беркшире. Я подозреваю, что в мирном договоре, заключенном между этими двумя особами женского пола, есть условие, по коему миледи будет прилагать все силы, чтобы отыскать подходящего супруга для сестры Табиты, которая, кажется, готова пойти на все, только бы заключить брачный союз. Может быть, и свахе обещана немалая награда, конечно вполне заслуженная, если ей удастся угово-

[1] На французский манер *(франц.)*.

рить мужчину в здравом уме связать себя брачными узами с мисс Брамбл из любви или корысти.

Знаю я, что расположение моего духа и состояние здоровья взаимно друг на друга действуют, то есть все, что тревожит мою душу, вызывает неполадки телесные, а телесные немощи ослабевают от таких размышлений, которые разгоняют тучу душевных огорчений. Заключение в тюрьму Клинкера вызвало припадки, в последнем моем письме упоминаемые, а нынче, когда он был освобожден, припадки прекратились. Однако же признаюсь, что я принял настойку из женьшеня, изготовленную по вашему указанию, и почел ее весьма полезной для желудка; все же боли и тошнота возвращались с короткими промежутками, покуда тревога душевная не улеглась, а тогда я почувствовал себя совершенно здоровым.

В течение этих десяти дней у нас стоит прекрасная погода, к удивлению всех лондонцев, которые усматривают в этом странное предзнаменование. Если вы столь же благополучны и в Уэльсе, надеюсь, что Барнс уже высушил мое сено и сложил в стога. Поскольку в ближайшие недели мы станем переезжать с места на место, я не могу надеяться на получение от вас писем, как обычно, но вам я буду писать отовсюду, где мы будем останавливаться, чтобы вы знали путь нашего следования, на случай, ежели вам надо будет о чем-нибудь уведомить вашего верного друга

*М. Брамбла.*

*Лондон, 14 июня*

### *Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Любезная Мэри, как есть у моей двоюродной сестры Дженкинс оказия в Аберганни, то посылаю я вам черепаший гребень, два ярда зеленых лент и проповедь о щете добрых дел, которую говорили в молитвенном доме; а ище получите вы для Саулы букварь, штоб затвердила она буквы, потому как очень я пекусь об ее бедной душе, потому что такое вся суита жизни нашей, коли сравнить ее с этой бессмертной частью тела? И что есть жизнь, как не юдоля печали?

Ох, Мэри! Все семейство наше было ужас в каком трехволнении! Мистер Клинкер попал в беду, но ворота адовы не могли одолеть его. Добродетель его будет почище золота, семь раз прошедшего через огонь. Его схватили за разбой и потащили к судье Базару, а тот его засудил и посадили бедного молодого

парня в темницу по ложной присяге негодяя, а тот хотел жизни его лишить за чистые денежки.

Сквайр что мог, то все делал, но заковали его в железные цепи и посадили вместе с простыми злобомышленниками, и стоял он посереди их, как невинный агнец посереди волков и тигров. Один господь знает, что могло только приключиться с благочестивым юношей, но тут сквайр позвал на помощь Апиаса Коркуса, который проживает у старого бейлифа, и, говорят, ему пятьсот лет от роду, и будто бы (да сохранит нас бог!) он колдун. Но если оно и так, я-то про себя думаю, что он с чертом не знается, потому как не мог бы он тогда выслобонить мистера Клинкера, а он его выслобонил и не посмотрел на каменные стены, железные засовы и двойные замки, а у старого беса нет пущего врага, чем мистер Клинкер, который есть приусердный работник в вертограде господнем. А говорю я все это со слов моей доброй хозяйки, которая сподобилась благодати, и я верую, что даже меня, недостойную, примут туда же в лоно. И мисс Лидди тоже тронулась, но она малость еще рабеет, одначе я верую, что трудами мистера Клинкера и она и мы все принесем благословеные плоды рождения и покаяния. Ну, а уж хозяин и молодой сквайр, так они и в глаза не видели нового света. Я боюсь, что серца у них затвердели от мирской мудрости, а мудрость эта, как сказано в проповеди, все равно что глупость перед господом.

О Мэри Джонс! Молитесь, не покладая рук, и готовьтесь принять этот чудной сосуд, который, надеюсь, будет трудиться этой зимой над вами и надо всеми нами в Брамблтон-Холле. А завтра едем мы в карете четверкой в Йоркшир, и, кажется, поедем в ту сторону далеко, далеко и уж так, что я и рассказать вам не могу, но, куда бы мы ни заехали, все одно не забуду своих друзей, а уж о вас, Мэри Джонс, вечно будет поминать

ваша покорная слуга *Уин Дженкинс.*

*Лондон, 14 июня*

### *Миссис Гуиллим, домоправительнице в Брамблтон-Холле*

Миссис Гуиллим!

Весьма странно, что я до сей поры не получила ответа на мое письмо, а послано оно было несколько недель назад из Бата, и писала я вам о прокисшем пиве, о гусаке и о том, что служанки едят масло, а я приказываю, чтобы его не тратили зря. Едем

мы теперь в дальний путь на север, а потому вы должны еще больше заботиться и печься о том, чтобы в наше отсутствие дом содержался в полном порядке. И да будет вам известно, что вы должны дать отчет не только хозяину вашему здесь, на земле, но и тому, кто превыше всех, и, если окажетесь вы доброй и верной слугой, велика будет ваша награда на небеси.

Надеюсь, к тому времени, как я ворочусь домой, у вас будет припасено для продажи двадцать стонов сыра, а шерстяной пряжи столько, чтобы хватило на полдюжины одеял, да от пахтанья еще до Мартинова дня останутся мне денежки, потому что обоих поросят вы должны кормить желудями.

Писала я обо всем этом доктору Льюису, но он так был неучтив, что не обратил внимания на мое письмо, и потому я больше никогда не потружусь ему писать, хотя бы он на коленях умолял меня. Хорошо, если бы вы присматривали за работником Уильямсом, который есть один из подосланных им и, думаю я, недалеко от него ушел. Сохрани бог, чтобы мне не хватало христианской добродетели! Но добродетельные дела нужно начинать у себя дома, и, конечно, первая добродетель — изгнать из дома такую гадину. Я полагаю, что пеструю корову уже водили к быку священника и что старая Молл опоросилась, а Дик стал славным мышеловом. Распоряжайтесь всем ко благу всех нас, будьте бережливы и смотрите, чтобы служанки не отлынивали от работы. Будь у меня оказия, я бы послала им несколько гимнов, чтобы они их распевали вместо нечестивых баллад, но раз у меня их нет, то довольно с вас молитв вашего искреннего друга

*Т. Брамбл.*

*Лондон, 14 июня*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

На другой же день после того, как я отправил вам последнее мое письмо, Клинкер был выпущен на свободу. Как и предсказывал Мартин, сам доносчик был заключен в тюрьму за разбой на основании неоспоримых улик. Уже немалое время находился он в сетях, расставленных ему сыщиками, которые, вознегодовав на то, что он дерзнул нарушить их право предъявлять обвинения, схватили его и посадили в Ньюгет по доносу соучастника, с которого сняли свидетельские показания, ибо он

выдал своих сообщников. Форейтор давно уже был на примете как закоренелый преступник, и потому главный судья без колебания выпустил Клинкера на поруки, когда прочитал письменное под присягой показание мистера Мида, утверждавшего, что упомянутый Клинкер вовсе не тот человек, который ограбил его на Блекхите. Итак, честный Хамфри был освобожден.

По возвращении домой он возгорелся желанием засвидетельствовать почтение своему господину, и тут красноречие ему изменило, но молчание его было умилительно: он упал к ногам дядюшки и обнял его колени, проливая потоки слез, которые привели дядюшку в волнение. Не без замешательства взял он понюшку табаку и, порывшись в кармане, вознаградил Клинкера кое-чем более существенным, нежели пустые слова.

— Клинкер,— сказал он, — я так твердо уверен в вашей честности и храбрости, что решил назначить вас своим телохранителем в дороге.

Его снабдили ящиком с пистолетами и повесили через плечо карабин; покончив со всеми прочими приготовлениями, мы тронулись в путь в четверг в семь часов поутру: дядюшка с тремя женщинами в карете, Хамфри верхом на добром черном мерине, для него купленном, я также верхом в сопровождении нового моего лакея мистера Даттона, самодовольного хлыща, только что вернувшегося после путешествий, которого я взял на пробу. Этот парень носит на пальце солитер, румянится и нюхает *pané*[1], гримасничая, как французский маркиз. Сейчас он щеголяет в дорожной куртке, в ботфортах, лосиных штанах, в красном с золотым шнуром камзоле и в шляпе, обшитой позументом; при нем кортик, в руке французская почтовая плеть, а волосы заплетены в косицу.

Не отъехали мы и на девять миль, как лошадь моя потеряла подкову, и я принужден был остановиться в Барнете, чтобы ее перековали, а карета поехала дальше. Не доезжая примерно мили до Хэтфилда, форейторы остановили лошадей и сказали Клинкеру, что в конце проселочной дороги приметили они двух подозрительных всадников, которые, должно быть, готовятся напасть на карету. Хамфри тотчас уведомил об этом дядюшку, заявив, что будет защищать его до последней капли крови, и, сняв с плеча карабин, приготовился к бою. У сквайра в карете были пистолеты, и он решил, не мешкая, ими воспользоваться, но этому с успехом воспрепятствовали его спутницы — они бросились ему на шею и дружно подняли визг.

---

[1] Французский нюхательный табак *(франц.)*.

А в это самое время кто бы, вы думали, прискакал во весь опор? Сам Мартин, разбойник с большой дороги! Подскакав к карете, он попросил леди успокоиться, потом, приказав Клинкеру следовать за ним, выхватил из-за пазухи пистолет, и они помчались вдвоем дать бой негодяям, которые, выстрелив издалека, пустились наутек по лугу. Они еще гнались за беглецами, когда подъехал я, немало встревоженный воплями, доносившимися из кареты, где и нашел я дядюшку; в ярости, без парика, он старался вырваться из рук Табби и двух других своих спутниц и ругался на чем свет стоит. Не успел я вмешаться, как возвратились Мартин и Клинкер, и первый после весьма учтивых приветствий объявил, что парни улепетнули, а были они, как полагает он, еще неопытными подмастерьями из Лондона. Он похвалил Клинкера за храбрость и сказал, что, с нашего разрешения, будет иметь честь сопровождать нас до Стивенеджа, где ему нужно побывать.

Сквайр, опамятовавшись и приведя себя в порядок, первый начал смеяться над своим положением, но не так-то легко было освободить его шею от рук Табби, а Лидди со страху стучала зубами, и Дженкинс по своему обыкновению готова была впасть в истерику. Я сказал дядюшке о том, кто таков, по словам констебля, Мартин, и дядюшка весьма подивился такой странности. Однако же он не предполагал, чтобы этот человек имел какой-либо злой умысел против нас, ибо нас было много и были мы хорошо вооружены. Поэтому он поблагодарил его за только что оказанную нам услугу, сказал, что будет рад продолжать путь вместе с ним, и пригласил его отобедать с нами в Хэтфилде. Пожалуй, это приглашение пришлось бы не по вкусу нашим леди, если бы знали они настоящее ремесло нашего гостя; но это осталось тайной для всех, кроме дядюшки и меня. Мисс Табита ни за что не соглашалась ехать дальше, покуда в карете находится ящик с заряженными пистолетами, и в угоду ей и двум другим девицам их тотчас же разрядили.

Добившись своего, она пришла в хорошее расположение духа и за обедом была чрезвычайно любезна с мистером Мартином, чье учтивое обхождение и приятный разговор, кажется, очень ей понравились. После обеда хозяин гостиницы подошел ко мне на дворе и с многозначительным видом спросил, принадлежит ли к нашей компании джентльмен, приехавший верхом на гнедом коне. Я уразумел его мысль и дал отрицательный ответ, сказав, что он присоединился к нам по дороге и помог прогнать двух парней, походивших на разбойников. Тот трижды выразительно кивнул головой, как будто желая сказать, что

спросил он неспроста. Потом он осведомился о том, ехал ли один из этих парней на гнедой кобыле, а другой — на буром мерине с белой полосой на лбу, и, получив утвердительный ответ, стал уверять меня, что не далее как сегодня поутру они ограбили три почтовые кареты. Я, в свою очередь, спросил, знает ли он мистера Мартина, и он, снова кивнув трижды головою, отвечал, что «этого джентльмена ему случалось видеть».

Перед отъездом нашим из Хэтфилда дядюшка, посмотрев на Мартина с таким выражением, которое легче можно представить, чем описать, спросил, часто ли он ездит по этой дороге, а тот, бросив на него понимающий взгляд, отвечал, что у него редко бывают какие-нибудь дела в этих краях. Короче говоря, сей искатель приключений удостоил сопровождать нас до окрестностей Стивенеджа, где и распрощался весьма учтиво с едущими в карете и со мною, а потом свернул налево, на проселочную дорогу, ведущую к какой-то деревне.

За ужином мисс Табби рассыпалась в похвалах здравому смыслу и вежливому обхождению мистера Мартина и, кажется, сокрушалась о том, что лишена возможности сделать попытку покорить его сердце. Поутру дядюшка был немало удивлен, получив из рук хозяйского слуги записку такого содержания:

«Сэр, когда я имел честь беседовать с вами в Хэтфилде, мне нетрудно было понять по лицу вашему, что слава обо мне вам небезызвестна. Полагаю, вам не покажется странным, что я был бы рад изменить нынешний мой образ жизни и приняться за какую-нибудь честную работу, хотя бы даже и самую скромную, которая давала бы мне самые ничтожные средства для пропитания и возможность спать, чувствуя себя в безопасности. Может быть, вы подумаете, будто я вам льщу, если стану уверять вас, что с той минуты, как я был свидетелем великодушных ваших хлопот по делу вашего слуги, я исполнился чрезвычайного уважения и почтения к вам, и, однако же, я говорю правду. Я считал бы себя счастливым, если бы мог заручиться вашим покровительством и поступить к вам в услужение домоправителем, писцом, дворецким, или управляющим имениями, ибо полагаю, что в достаточной мере подготовлен занять любое из этих мест. И, смею вас уверить, вы не имели бы причины попрекнуть меня в неверности и неблагодарности. В то же время я вижу ясно, сколь далеко отступите вы от всеми принятых правил благоразумия, если согласитесь испытать мои способности, но я считаю вас человеком мыслящим на свой особый лад, а щекотливое мое положение оправдает, в чем я уверен,

это обращение к сердцу, согретому благодеяниями и состраданием. Зная, что вы отправляетесь далеко на север, я изыщу случай снова повстречаться с вами в пути, прежде чем вы достигнете границ Шотландии, а к тому времени, надеюсь я, вы примете во внимание, уважаемый сэр, поистине отчаянное положение вашего смиреннейшего и преданнейшего слуги

*Эдуарда Мартина.*

Прочитав это письмо, сквайр, не говоря ни слова, передал его мне; когда же и я его прочел, мы молча посмотрели друг на друга. Приметив блеск его глаз, я догадался, что сердце его расположено в пользу бедного Мартина более, чем желательно ему выразить словами; я и сам испытывал те же чувства, которые он не преминул также подметить по моим глазам.

— Что нам делать,— сказал он,— чтобы спасти этого бедного грешника от виселицы и превратить его в полезного члена общества? А ведь пословица гласит: «Спаси вора от виселицы, а он тебе глотку перережет».

Я отвечал ему, что считаю Мартина способным опровергнуть эту пословицу и что я от всей души споспешествовал бы всем мерам, какие угодно будет дядюшке предпринять для исполнения его просьбы. Вместе мы порешили поразмыслить об этом деле, а затем отправились в дальнейший путь.

Размытая обильными весенними дождями дорога испортилась, и, хотя ехали мы очень медленно, тряска вызвала у дядюшки такие сильные боли, что, когда мы прибыли сюда, в Хэрроугейт, расположенный примерно в восьми милях от почтовой дороги, между Уитерби и Боробриджем, он стал чрезвычайно сварлив.

Хэрроугейтская вода, столь прославленная своим целительным действием против цинги и других болезней, вытекает из могучего источника, находящегося в ложбине посреди луга, вокруг которого построены домики для удобства лечащихся водами, но многие из этих домиков пустуют. Большая часть приезжих живет неподалеку в пяти гостиницах, расположенных в разных концах луга, и оттуда отправляется каждое утро к источнику в собственных каретах. Жильцы каждой гостиницы проводят время вместе и вместе обедают; в обширной общей зале они завтракают в утреннем платье за отдельными столиками от восьми до одиннадцати часов утра, как кому удобно или желательно. Здесь пьют они после обеда чай, играют в карты или танцуют по вечерам. Однако же один из здешних обычаев я считаю неблаговоспитанностью: леди по очереди потчуют всех

чаем, и даже шестнадцатилетние девушки не освобождены от этого предосудительного обряда.

Каждый вечер в какой-нибудь из гостиниц бывает бал по подписке, на который живущие в других гостиницах допускаются по билетам. Итак, что касается до забав и увеселений, то Хэрроугейт идет по стопам Бата,— с тою лишь разницей, что здесь мы проще в обхождении. Одна из гостиниц уже битком набита до самого чердака и вмещает не менее пятидесяти приезжих и столько же слуг; в нашей же живут тридцать шесть человек, и я бы не хотел, чтобы это умножилось, ибо мы не могли бы тогда пользоваться такими удобствами.

В настоящее время общество более приятно, чем можно было ждать от случайного сборища людей, друг с другом совсем незнакомых. Среди нас как будто преобладает желание поддерживать добрые отношения и оказывать человеколюбивые услуги тем, кто приехал сюда для излечения. Я встречаю знакомые лица, которые памятны мне по Бату, но большинство прибывают сюда из северных графств, и многие приезжают из Шотландии для пользования водами. В столь пестрой толпе непременно должны находиться и чудаки, среди которых мисс Табита Брамбл отнюдь не последняя. Любое место, где наблюдается свободное общение между обоими полами, не может не нравиться этой леди с ее нравом и чаяниями.

За столом она несколько раз вступала в жаркий спор с хромым священником из Нортумберленда о новом рождении и о тщете нравственной добродетели, а ее доводы подкреплял старый шотландский законовед в парике с косицей, который хотя и лишился зубов и почти не владеет своими членами, все еще может весьма бойко болтать языком. Он расточал такие льстивые похвалы ее набожности и учености, что, кажется, завоевал ее сердце, а она, со своей стороны, обходится с ним с таким вниманием, которое указывает на ее намерения касательно его особы. Однако же, какие бы ловушки она ни расставляла, такую хитрую лису ей не заманить.

Мы не собираемся долго пробыть в Хэрроугейте, хотя в настоящее время это место является нашей главной квартирой, откуда мы совершим несколько поездок с целью посетить двух или трех наших богатых родственников, живущих в этом графстве. Кланяйтесь всем нашим друзьям по колледжу Иисуса и разрешите мне остаться

всегда вам преданным

*Дж. Мелфордом.*

*Хэрроугейт, 23 июня*

## *Доктору Льюису*

Любезный доктор!

Если подумать, какие платим мы подорожные пошлины, то у нас есть причины горько жаловаться на наши дороги. От тряски и толчков по дороге из Ньюарка в Уитерби я претерпел больше мучений, нежели за всю свою жизнь, хотя карета отменно удобная и хорошо навешена и форейторы ехали осторожно.

Теперь пребываю я благополучно в Новой гостинице в Хэрроугейте, куда приехал более из любопытства, чем для поправления здоровья. И, сказать правду, осмотрев здешние примечательные места, я не могу найти другой причины для великого стечения народа, кроме как блажь, каковая, кажется, составляет отличительное свойство нашей нации.

Хэрроугейт — глухое, голое, не защищенное от ветра место без единого деревца и кустика и ничем не приукрашенное, а люди, сюда приезжающие пить воды, теснятся в жалких гостиницах, где несколько удобных комнат занято приятелями и фаворитами хозяев, а остальные жильцы обречены довольствоваться грязными конурами, в коих нет ни воздуха, ни удобств. Моя комната — не больше десяти квадратных футов и, когда ставят мою складную кровать, едва можно протиснуться между ней и камином. Казалось бы, в середине лета нет никакой нужды топить камин, но климат здесь столь холодный, что ясень, посаженный хозяином перед моим окошком, только начинает зеленеть, и я не ложусь спать без того, чтобы не нагреть постель.

Что до воды, которая, как говорят, обладает удивительной целебной силой, я один раз испробовал ее, и первый же глоток отбил у меня всякую охоту пользоваться сим лекарством. Одни говорят, что пахнет она тухлыми яйцами, другие — нечищеным ружьем. Полагают, будто она пропитана серой, и доктор Шоу в своей книге о минеральных водах пишет, что видел в источнике куски серы. Pace tanti viri [1]. Что до меня, то я не заметил ничего похожего на серу ни в источнике, ни около него и не слышал, чтобы когда-нибудь находили в воде серу. Касательно же запаха, то, ежели я могу полагаться на свои чувства, он напоминает запах гнилой морской воды, а ее соленый вкус показывает, что сия минеральная вода есть просто соленая вода, застоявшаяся в недрах земли.

---

[1] Оставляю на совести великого мужа *(лат.)*.

Я должен был зажимать нос одной рукой, поднося другой рукой стакан воды ко рту, и, проглотив воду, насилу мог удержаться, чтобы меня не стошнило. Последствия были таковы: тошнота, резь в животе и ужасное отвращение. И теперь, когда я вспоминаю о воде, меня мутит. В какие только заблуждения не впадают люди, увлекаясь всякими чудачествами! Я почти уверен, что сия вода обязана своей славою тому, что у нее столь противный вкус и запах. По такой же аналогии некий немецкий доктор ввел в matelia medica[1] цикуту и другие яды. Я убежден, что все исцеления, которые приписывают водам Хэрроугейта, могли быть достигнуты столь же успешно, но только более приятным образом, внутренним и наружным употреблением морской воды. К тому же морская вода значительно менее противна на вкус и по запаху, не столь сильно послабляет и куда более целительна.

Два дня назад ездили мы к проживающему в этом графстве сквайру Бардоку, который женился на двоюродной сестре моего отца, получив от нее в приданое тысячу фунтов в год доходу. Сей джентльмен известен в парламенте как противник министерства и, располагая большим состоянием, почитает своей заслугой жить в деревне и соблюдать *старое английское гостеприимство*. Скажу мимоходом, сие выражение употребляется часто самими англичанами устно и письменно, но мне никогда не приходилось слышать, чтобы его употребляли в других странах иначе как в насмешку. Что до наших предков, то мне было бы куда приятнее, ежели бы об этом гостеприимстве упоминалось в воспоминаниях чужеземцев, которые посетили нашу страну и могли о нем правильно судить, но отнюдь не в разговорах и в сочинениях современных англичан, которые описывают его только по умозрению и по догадке.

Доподлинно известно, что, на взгляд чужеземцев, мы решительно лишены этой добродетели, и в бытность мою за пределами отечества я повсюду встречал знатных особ, которые жаловались, что в Великобритании они не нашли гостеприимства. Когда француз, итальянец или немец, который, принимая у себя дома и угощая англичанина, потом встречает в Лондоне своего гостя, сей последний приглашает его на обед в «Голову сарацина», в «Голову турка», в «Голову борова» или какого-нибудь «медведя», угощает сырой говядиной и маслом, поит дрянным портвейном и дозволяет ему внести при расплате свою долю.

---

[1] Список медицинских средств *(лат.)*.

Но не будем уклоняться в сторону, к чему я был вынужден, побуждаемый заботой о чести моего отечества. Наш йоркширский родственник во время о́но был страстным охотником на лис, но теперь слишком разжирел и не может скакать через рвы и изгороди; однако он все еще держит свору собак, которые не остаются без дела, и каждый вечер ловчий рассказывает ему с преглупой важностью обо всем, что случилось за день на охоте. В это время один из конюхов скребет жирное тело хозяина. Сей конюх, мне кажется, привыкши скрести только тех животных, которые содержатся в конюшне, отрастил себе ногти так, что каждый раз, когда он проводил ими по телу, появлялась кровавая полоса. Он надеялся таким способом избавиться от этой неприятной обязанности, но надежды его не оправдались. Хозяин объявил, что никто в семействе не умеет так чесать, как сей конюх, и теперь не позволяет другим слугам прикоснуться ногтями к своему телу.

Жена сквайра весьма чванная, но ее нельзя назвать чопорной или недоступной. Она принимает тех, кто беднее ее, но принимает с надменной учтивостью и полагает, будто имеет право говорить с ними с оскорбительной вольностью, для чего никогда не упускает случая дать им понять, что всегда помнит, насколько она превосходит их богатством. Короче, ни об одном человеке она не говорит с доброжелательством, и нет у нее ни единого друга во всем мире.

Супруг ненавидит ее смертельно, и, хотя иной раз зверь в нем так силен, что он добивается своего, но обычно он подчиняется ее власти, и как школьник боится плети, так и он боится ее языка. С другой стороны, она опасается слишком его раздражать, дабы он не сделал отчаянной попытки освободиться от ее ига. И потому она спокойно взирает на то, как он ежедневно доказывает свою любовь к вольностям английского помещика,— другими словами, делает и говорит за столом все, что заблагорассудится его грубой натуре или приходится по вкусу.

Дом хоть и велик, но нет в нем ни красоты, ни уюта. Походит он на большую гостиницу, полную постояльцев, которые обедают у владельца поместья за его столом, уставленном яствами и напитками; но мой хозяин кажется здесь не на месте, и я скорей предпочел бы питаться вместе с отшельником орехами, чем вкушать дичь с боровом. Лакеев здесь можно сравнить со слугами в харчевне, ежели бы они были менее жадны и более услужливы, но они столь грубы, нерадивы и алчны, что я мог бы лучше и дешевле пообедать в «Звезде и подвязке» на Пелл Мелл, чем у родственника моего в йоркширском замке.

У сквайра есть не только жена, бог послал ему также и сына; он только что вернулся из Италии, ему двадцать два года, он отменный скрипач и любитель искусства и не упускает случая выражать отцу своему величайшее презрение.

По прибытии нашем сюда мы застали в доме гостей-иностранцев, заехавших к сему виртуозу, с которым они познакомились в Спа. Это был граф де Мельвиль с супругой, направлявшиеся в Шотландию. С мистером Бардоком приключилась беда, почему я вместе с графом собирался удалиться, но молодой джентльмен и его родительница настаивали на том, чтобы мы остались обедать, и столь мало были обеспокоены случившимся, что мы приняли приглашение. Накануне ночью сквайра привезли в его карете, голова у него была разбита, он словно оцепенел и лишился языка.

Вызвали деревенского аптекаря, по фамилии Грив, жившего в соседней деревне, тот пустил ему кровь, положил к его голове припарку и объявил, что у него нет горячки и не приметно никаких опасных признаков, кроме того, что он лишился речи, ежели он в самом деле не может говорить.

Но молодой сквайр назвал этого лекаря ignorantaccio[1], сказал, что у отца разбит cranium[2] и что немедля надо его просверлить. Мать с ним согласилась и послала в Йорк нарочного за врачом, чтобы тот сделал операцию, и врач скоро появился вместе со своим учеником и с инструментами. Осмотрев голову больного, он начал готовиться к перевязке, хотя Грив остался при своем мнении, что пролома на голове нет, и настаивал на этом, поскольку сквайр спал ночь преспокойно, не просыпался и судорог у него не было.

Врач из Йорка сказал, что он не может узнать, есть ли пролом в голове, покуда не снимет с черепа кожи, но, ежели даже пролома нет, операция все равно пойдет на пользу, ибо откроет выход крови, которая могла излиться из сосудов сверху либо снизу dura mater[3]. Леди и ее сынок стояли за то, что сей опыт сделать надлежит, и отпустили Грива не без некоторого пренебрежения, вызванного, может быть, скромной его одеждой. Он был среднего возраста, черные его волосы были неприглажены, и по платью походил на квакера; но присущего этим сектантам высокомерия у него не было заметно; напротив, он казался смиренным, почтительным и удивительно молчаливым.

---

[1] Невежда *(итал.)*.
[2] Череп *(лат.)*.
[3] Твердая оболочка мозга *(лат.)*.

Мы оставили леди одних в комнате, а сами пошли в спальню к больному, где уже были разложены на оловянном блюде инструменты и бинты. Оператор скинул с себя кафтан и парик, надел колпак, фартук и нарукавники, а меж тем его ученик и один из слуг схватили голову сквайра и изготовились держать ее в надлежащем положении.

Но послушайте-ка, что случилось! Больной вскочил с кровати, с геркулесовой силой схватил за ворот обоих помощников, закричал истошным голосом: «Не так уж я состарился в Йоркшире, чтобы такая сволочь сверлила мне череп!» — и, спрыгнув на пол, спокойно натянул на себя штаны, чем привел всех нас в изумление. Врач продолжал твердить об операции, заявляя, что теперь-де очевидно, будто мозг поврежден, и приказал слугам снова уложить больного в кровать. Но никто не только не решился исполнить его приказ, но даже вмешаться в сие дело; тут сквайр вытолкал врача и его помощников за дверь, а инструменты и все прочее выкинул за окошко.

Когда он утвердил таким способом свою власть и облачился с помощью слуги в платье, его сын представил ему графа, моего племянника и меня, которых он приветствовал с обычной своей деревенской учтивостью. Засим, обратившись к синьору Макарони, сказал насмешливо:

— Вот что я тебе скажу, Дик: нечего буравить человеку череп всякий раз, как ему пробьют голову! Вместе с матерью ты увидишь, что я знаю не меньше уловок, чем любая старая лиса в Вест-Ридинге.

Немного погодя мы узнали, что он повздорил в трактире с одним сборщиком пошлин, предложил ему поединок на палках, потерпел поражение и, стыдясь сего поражения, пребывал безмолвным. Что касается его супруги, то она нисколько не горевала о беде, приключившейся с ним, и теперь не выразила радости, услышав о его выздоровлении. Мою сестру и племянницу она не оставила без внимания, но отнюдь не из уважения к моему семейству, а единственно ради того, чтобы потешить свое тщеславие. Она назвала Лидди пугалом и приказала своей служанке причесать ее к обеду, однако же с Табби она не решилась связываться, быстро раскусив, что ее нельзя раздражать безнаказанно.

За обеденным столом она почтила меня своим вниманием, сказав, что слышала о моем отце, однако тут же заметила обиняком, будто он досадил ее семейству, выбрав себе в Уэльсе бедную невесту. С несносной развязностью она допытывалась о наших денежных средствах и осведомилась, не хочу ли я сде-

лать моего племянника законоведом. Я сказал ей, что у него есть независимое состояние и что он предпочел бы заниматься хозяйством в своем поместье, а я надеюсь добыть ему место в парламенте.

— А скажите на милость, кузен, какой же у него доход? — спросила она.

Я ответил, что после того как он получит от меня наследство, у него будет доходу больше двух тысяч в год; тут она презрительно тряхнула головой и заявила, что с таким жалким доходом ему невозможно будет сохранить независимость.

Задетый столь дерзкими словами, я сказал, что имел честь заседать в парламенте вместе с ее отцом, у которого тогда не было и половины таких денежных средств, однако же мне кажется, что во всем парламенте на нашлось бы более независимого и неподкупного члена, нежели он.

— Да, но времена изменились! — воскликнул сквайр.— Нынче владельцы поместьев живут по-другому. Один стол обходится мне каждые три месяца в добрую тысячу фунтов, хотя я сам развожу скот и получаю напитки и все прочее из первых рук. Правда, во славу Старой Англии у меня дом открыт для всех, кто пожелает явиться!

— В таком разе,— сказал я,— надо только удивляться, что вы так мало на стол тратите. Но от каждого джентльмена нельзя требовать, чтобы он для удобства путешественников держал караван-сарай. Впрочем, ежели бы все жили так же, как вы, за вашим столом не было бы столько гостей. Стало быть, и гостеприимство ваше не сияло бы так во славу Вест-Ридинга!

Молодой сквайр, которого задели эти иронические слова, воскликнул:

— O che burla![1]

Мать его взирала на меня молча, и вид у нее был надменный, а отец наполнил стакан до краев октябрьским пивом и провозгласил:

— Ваше здоровье, почтенный кузен Брамбл! Мне всегда говорили, что в Валлийских горах ветер слишком резкий.

Граф де Мельвиль мне весьма понравился; он умен, покладист, учтив, а графиня его — женщина прелюбезная. После обеда простились они с хозяевами, и молодой джентльмен поехал верхом провожать их через парк, в то время как слуга графа отправился за другими слугами, оставленными в придорожном

[1] Да это насмешка! *(итал.)*.

трактире. Как только гости повернулись к нам спиной, демон сплетен и пересудов овладел нашей йоркширской леди и моей сестрицей Табитой. Первая сказала, что графиня хоть и неплохая женщина, но решительно ничего не понимает в хорошем воспитании и потому так неуклюжа. На это сквайр заметил, что ему нет никакого дела до воспитания, кроме воспитания жеребят, но что эта баба была бы красива, будь она пожирнее.

— Красива! — воскликнула Табби.— У нее только и есть что пара черных глаз, да и то без всякого выражения! А в лице нет ни одной правильной черты!

— Не знаю, что вы называете в Уэльсе правильными чертами,— сказал на это сквайр,— но в Йоркшире она пришлась бы по вкусу.

Затем он повернулся к Лидди и добавил:

— Ну, а вы что скажете, Румяное Яблочко? Каково ваше мнение о графине?

— Мне кажется, она — ангел! — с чувством воскликнула Лидди.

Табби выбранила ее за большую вольность, с которой она осмелилась говорить в обществе, а хозяйка дома презрительно заметила, что, должно быть, девица воспитывалась в каком-нибудь деревенском пансионе.

Нашу беседу прервало появление молодого сквайра, который прискакал во двор, бледный, как мертвец, и крикнул, что на карету напала шайка разбойников.

Мы с племянником бросились в конюшню, где стояла оседланной его лошадь, а также лошадь его слуги с пистолетами в седельных сумках. В один миг мы были на конях и приказали Клинкеру и Даттону следовать за нами; но, невзирая на поспешность нашу, мы прибыли к месту действия уже тогда, когда все кончилось, а граф с графиней находились в безопасности в доме Грива, который показал себя с наилучшей стороны. На повороте дороги к той деревне, где оставались слуги графа, внезапно появились верхом два разбойника с пистолетами в руках. Один из них наставил пистолет на кучера, а другой потребовал у графа денег, меж тем как молодой сквайр пустился улепетывать во всю прыть и без оглядки. Граф потребовал, чтобы разбойник отвел пистолет, ибо графиня ужасно испугалась, а затем без малейшего сопротивления отдал кошелек. Но негодяю было мало богатой добычи, и он попытался снять с графини серьги и ожерелье, а графиня начала кричать от испуга. Муж ее, взбешенный насилием, вырвал пистолет из рук разбойника

и, наставив на него, спустил курок; но разбойник, зная, что пистолет не заряжен, вынул из-за пазухи другой пистолет и, по всей вероятности, уложил бы графа на месте, ежели бы чудесное вмешательство не спасло ему жизнь.

На счастье, там проходил аптекарь Грив. Он подбежал к карете и ударом палки, которая была единственным его оружием, поверг разбойника наземь, выхватил у него пистолет и бросился на другого негодяя; тот выстрелил наобум и, не оказав сопротивления, умчался куда глаза глядят. Граф вместе с кучером схватили оставшегося разбойника, связали его ноги под брюхом его лошади, и Грив повел ее в деревню, куда двинулась также и карета. С большим трудом успокоили графиню, готовую лишиться чувств, после чего ее доставили в дом к аптекарю, который стал приготовлять ей лекарство в своей лавке, в то время как жена его с дочерью хлопотали около нее в другой комнате.

Я застал графа в кухне; он разговаривал с приходским священником, и ему не терпелось поскорей увидеть своего избавителя, которого он еще не успел поблагодарить за великую услугу, оказанную ему и его супруге.

В это время через кухню прошла дочь аптекаря со стаканом воды в руке. Граф де Мельвиль невольно обратил внимание на ее очень миловидное личико.

— Да,— сказал священник,— это самая примерная и красивая девушка у меня в приходе, и, если бы мог я оставить моему сыну десять тысяч фунтов дохода, я дозволил бы ему положить их к ее стопам. Когда бы мистер Грив столь же заботливо копил деньги, сколь ревностно исполняет свои обязанности истинного христианина, Фай не оставалась бы так долго у него на руках.

— А какое имя дали ей при крещении? — спросил я.

— Шестнадцать лет назад,— отвечал священник, — я окрестил ее Серафиной Мельвилией.

— Как? Как вы сказали? — с жаром воскликнул граф.— Вы назвали ее Серафиной Мельвилией?

— Вот, вот...— ответил священник.— Мистер Грив объяснил тогда мне, что он дал ей имена двух знатных особ в чужих краях, а сим особам он обязан больше чем жизнью.

Граф не произнес больше ни звука, но бросился в гостиную комнату и закричал:

— Дорогая моя! Это ваша крестница!

Тогда миссис Грив схватила руку графини и воскликнула с великим жаром:

— О мадам! О сэр! Я... я — ваша бедная Элинор! А то моя Серафина Мельвилия. Дочка, это — граф и графиня де Мельвиль... благородные, великодушные благодетели твоих родителей, когда-то столь несчастных!

Графиня, встав со стула, обняла милую Серафину и ласково прижала ее к груди, а мать, проливая слезы, обняла ее. Это трогательное зрелище завершилось появлением самого Грива, который упал на колени перед графом.

— Вы видите,— сказал он,— раскаявшегося грешника, который в конце концов может взирать без страха на своего благодетеля.

— Фердинанд! — воскликнул граф, поднимая его и заключая в объятия.— Друг детства моего и юности! Так это вам я обязан спасением моей жизни?!

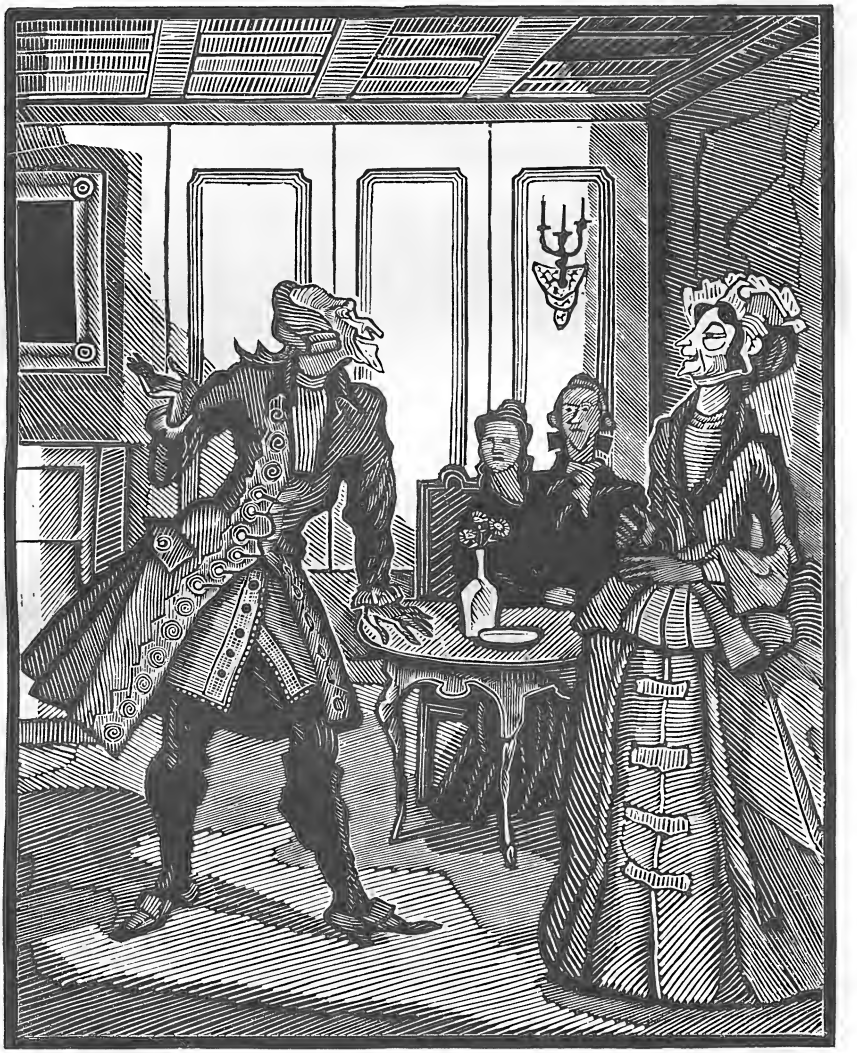
— Бог услышал мою молитву и дал мне случай быть достойным ваших благодеяний и покровительства.

И он поцеловал руку графини, между тем как граф де Мельвиль расцеловал его жену и прелестную дочку; и все мы были весьма растроганы этой чувствительной встречей.

Короче говоря, Грив был не кто иной, как граф Фердинанд Фатом, приключения которого были описаны в книге несколько лет назад. Вступив на путь добродетели, он переменил свое имя, чтобы укрыться от розысков графа, великодушной помощи коего он решил больше не принимать, вознамерившись жить только плодами рук своих и соблюдая во всем умеренность. Таким образом, он поселился в деревне как аптекарь и хирург и в течение нескольких лет боролся с бедностью, которую и он и его жена переносили с примерным терпением. В конце концов благодаря неустанному исполнению своих лекарских обязанностей, которые он исправлял с человеколюбием и успехом, он добился того, что немало земельных арендаторов и поселян стало у него лечиться, вследствие чего он имел возможность жить безбедно.

Его почти не видели смеющимся; он был благочестив без притворства и все время, свободное от работы, отдавал воспитанию дочери и занятию науками. Одним словом, искатель приключений Фатом под именем Грива завоевал всеобщее уважение в этих краях и почитался за образец учености и добродетели.

Обо все этом я узнал от священника, когда мы покинули комнату, чтобы не мешать их сердечным излияниям. Не сомневаюсь, что граф и графиня будут просить Грива оставить свои занятия и снова соединиться с графским семейством, а поскольку дочь его, кажется, весьма полюбилась графине,



Т. Смоллет, «Путешествие Хамфри Клинкера»

последняя будет настаивать на том, чтобы Серафина сопровождала ее в Шотландию.

Пожелав этим достойным людям всяческого благополучия, мы вернулись к сквайру и ожидали от него приглашения переночевать, ибо шел дождь и было ветрено. Но, должно быть, гостеприимство сквайра Бардока столь далеко не простиралось во славу Йоркшира, и потому мы уехали в тот же вечер и остановились на постоялом дворе, где я схватил простуду.

В надежде прогнать ее, покуда она во мне не угнездилась, я решил посетить другого моего родственника, мистера Пимпернела, проживавшего милях в десяти от места нашей стоянки.

Пимпернел, младший из четырех братьев, учился на законоведа в Фарнивел Инне; все старшие его братья умерли; он, в знак уважения к его семейству, был допущен в суд как адвокат и вскоре после такого возвышения наследовал поместье своего отца, которое было весьма значительным. В свой дом он прихватил все крючкотворство и все уловки ничтожного, бесстыжего кляузника, а также жену, которую он купил у ломового извозчика за двадцать фунтов, а затем нашел средства добиться назначения мировым судьей. Он не только гнусный скряга, но скупость его соединена с властолюбием, поистине дьявольским. Он грубый муж, жестокосердный отец, бесчеловечный хозяин, помещик-угнетатель, сосед-сутяга и пристрастный судья. Друзей у него нет, что же до гостеприимства и пристойного поведения, то нашего родственника Бардока можно счесть принцем по сравнению с этим злобным негодяем, чей дом весьма походит на тюрьму.

Оказанное нам гостеприимство в точности соответствовало нраву Пимпернела, который я описал. Ежели бы это зависело от его жены, нас приняли бы любезно. Несмотря на свое низкое происхождение, она достойная женщина, и соседи почитают ее, но в собственном своем доме она не может потребовать глотка пива, а еще того меньше может печься о воспитании своих детей, которые бегают, как дикие, степные жеребята. Черт его побери! Он такой гнусный негодяй, что у меня больше нет желания о нем говорить.

К тому времени, когда мы прибыли в Хэрроугейт, у меня снова начались ревматические боли. Шотландский законовед, мистер Миклуиммен, столь настойчиво восхвалял купанье в здешней горячей воде, что убедил меня испробовать это леченье. Он прибегал к нему, и всегда с успехом, сидя по целому часу в лохани с хэрроугейтской водой, подогретой для этой цели. Ежели я не в силах был вынести запаха одного-единственного

стакана холодной воды, вообразите, каково было моему носу выносить испарения целой лохани воды горячей!

Вечером меня отвели в темную конуру в нижнем этаже, где в одном углу стояла лохань, из которой исходил смрад и чад, точно она наполнена была водой из Ахерона, а в другом находилась грязная постель с толстыми одеялами, под которыми я должен был потеть после купанья. Сердце мое замерло, когда я вошел в эту ужасную баню, и голова моя закружилась от этих смрадных испарений. Я проклял Миклуиммена, забывшего, что я родился по сю сторону Твида, но устыдился повернуть назад у порога и подчинился тому, что должно было произойти.

Через четверть часа меня, едва не задохшегося, перетащили из лохани в постель и закутали одеялами. Тут я пролежал битый час, изнемогая от невыносимой жары, но на коже моей не проступило ни капли пота, затем меня перенесли в мою комнату, где я всю ночь не сомкнул глаз и пребывал в таком возбуждении, что почел себя несчастнейшим из смертных. Я бы ума лишился, ежели бы моя кровь, разжиженная этим стигийским купаньем, не прорвала некоторых сосудов, из которых последовало сильное кровотечение, хотя весьма и опасное, однако утишившее мое волнение.

Я потерял по сему случаю больше двух фунтов крови и все еще чувствую слабость и изнеможение. Но я надеюсь, что умеренное движение восстановит мои силы, и порешил завтра ехать дальше через Йорк в Скарборо, где я надеюсь укрепить свои нервы морскими купаньями, которые, я знаю, есть любимое ваше средство. Однако же существует одна хворь, против которой вы еще не нашли лекарства, а именно старость, несомненным признаком коей является это скучное, несвязное письмо. Но чего нельзя излечить, то надо выносить, как вам, так и вашему

*М. Брамблу.*

*Хэрроугейт, 26 июня*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Любезный баронет!

Образ жизни в Хэрроугейте пришелся мне так по душе, что я не без сожаления покинул это место. Тетушка Таббн, вероятно, воспротивилась бы столь скорому нашему отъезду, не случись у нее размолвки с шотландским адвокатом, мисте-

ром Миклуиммеком, чье сердце она вознамерилась покорить на другой же день после нашего прибытия.

Этот чудак, хотя, по-видимому, и лишенный возможности владеть руками и ногами, умело воспользовался своими способностями. Короче говоря, своим хныканьем и стенаниями он возбудил к себе в обществе такое сострадание, что некая старая леди, занимавшая лучшую комнату в доме, уступила ее ему ради спокойствия его и удобства. Когда слуга приводил его в общую залу, все особы женского пола тотчас начинали суетиться. Одна придвигала кресло, другая взбивала подушку, третья приносила скамеечку, а четвертая — подушку под ноги. Две леди (одной из них всегда бывала Табби), поддерживая его, вели в столовую, осторожно усаживали за стол и прекрасными своими ручками выбирали самые лакомые куски.

За такое внимание он щедро расплачивался комплиментами и благословениями, которые нимало не страдали от того, что говорил он с шотландским акцентом. Что до мисс Табиты, то ей он оказывал особое уважение и не забывал примешивать к своим похвалам религиозные рассуждения касательно благодати, ибо знал о ее приверженности к методизму, к которому и сам склонялся по образцу кальвинистов.

Я же склонен был думать, что этот законник не такой уж больной, каким он притворяется. Приметил я, что он ест три раза в день с большим аппетитом, и хотя на его бутылке и значится ярлык «Желудочная микстура», но он прибегает к ней так часто и проглатывает ее содержимое с таким удовольствием, что я возымел подозрение, в самом ли деле она изготовлена в лавке аптекаря или в химической лаборатории. Однажды, когда он завел серьезный разговор с мисс Табитой, а его слуга вышел по каким-то делам из комнаты, я ловко переменил ярлыки и переставил его и свою бутылки; отведав же его микстуру, я убедился, что это превосходный кларет. Тотчас же я передал бутылку своим сосѣдям, и ее осушили до дна, прежде чем мистеру Миклуиммену вздумалось снова промочить горло.

Наконец он обернулся, взял мою бутылку вместо своей и, налив полный стакан, пожелал выпить за здоровье мисс Табиты. Едва омочил он губы, как уже приметил, что его бутылку заменили другою, и сначала пришел в некоторое замешательство. Он как бы углубился в себя, чтобы поразмыслить, и через полминуты решение его было принято. Повернувшись в нашу сторону, он сказал:

— Я воздаю должное остроумию сего джентльмена. Шутка его была весьма забавна, но иной раз hi joci in seria

ducunt mala[1]. Ради него самого надеюсь, что он выпил не все, ибо это был очень крепкий настой слабительной ялапы на бордоском вине. Может быть, он поглотил так много, что с кишками его произойдет ужасная катастрофа.

Бóльшая часть вина досталась молодому владельцу суконной мануфактуры из Лидса, который приехал покрасоваться в Хэрроугейт и в самом деле был отменным щеголем. С целью посмеяться над сотрапезниками, а также и разобидеть законника, когда дошел до него черед, он осушил бутылку до дна и досыта нахохотался. Но теперь веселость уступила место ужасу. Он начал плеваться, строить гримасы и извиваться в корчах.

— Будь проклято это зелье! — вскричал он.— То-то я почувствовал отвратительный привкус! Тьфу! Кто хочет одурачить шотландца, должен встать спозаранку и взять себе в советчики черта!

— Поистине, мистер... не знаю, как вас величать,— отвечал законник,— шутка ваша довела вас до большой беды. Меня искренне беспокоит ваше плачевное состояние. Не могу подать вам лучшего совета, чем немедленно послать в Риппон нарочного за доктором Вогом; а тем временем выпить все оливковое и съесть все сливочное масло, какое только найдется в доме, чтобы защитить желудок и кишки от раздражающего действия ялапы, лекарства весьма сильного, даже если принимать его в меру.

Муки у бедного владельца мануфактуры уже начались. Он удалился, завывая от боли, к себе в комнату, масло было проглочено, и за доктором послано, но еще до его прибытия беднягу так начало чистить с обоих концов, что в нем уже не могло остаться ничего вредного для желудка. А такое сугубое очищение было вызвано только его воображением, ибо выпитое им вино было чистым бордоским, которое законник привез с собой из Шотландии для собственного употребления. Убедившись, как дорого и трудно обошлась ему эта шутка, владелец мануфактуры на другое же утро покинул дом, предоставив праздновать победу Миклуиммену, который и потешался про себя, не показывая, однако, никаких признаков своего торжества. Напротив, он притворился, будто жалеет столь пострадавшего молодого человека, и своей незлобивостью завоевал себе вящую славу.

Около полуночи после этого происшествия загорелась сажа в кухонном дымоходе, давно не чищенном, и поднялась

[1] Ряд таких шуток приводит к беде *(лат.)*.

ужасная тревога. Все повскакали нагишом с постелей, и в одну минуту дом наполнился воплями и охвачен был смятением. В гостинице было две лестницы, и к ним-то мы, конечно, и бросились, но обе были забиты людьми, напиравшими друг на друга, и невозможным казалось протолкаться, не свалив с ног какую-нибудь женщину и не наступив на нее. В разгар суматохи появился мистер Миклуиммен с кожаным чемоданом на спине, бежавший прытко, как козел, по коридору, а когда Табби в нижней юбке попыталась ухватить его под руку, чтобы под его защитой спастить от опасности, он чуть не сбил ее с ног, восклицая при этом:

— Нет, нет! Черт подери! Своя рубашка ближе к телу!

Не внимая воплям и мольбам своих приятельниц, он ворвался в гущу толпы, сбивая с ног всех, загораживающих ему дорогу, и проложил себе путь к нижней площадке.

Тем временем Клинкер разыскал стремянку, по которой влез в окно дядюшкиной спальной, где собралось наше семейство, и предложил, чтобы мы спустились по лестнице один за другим. Сквайр уговаривал свою сестру сойти первой, но, прежде чем она на это решилась, горничная ее, мисс Уинифред Дженкинс, объятая ужасом, выскочила из окошка на лестницу, а Хамфри спрыгнул на землю, чтобы подхватить Дженкинс. Сия дева в чем спала, в том и вскочила; луна светила очень ярко, дул свежий ветерок, и ни одна из прелестей мисс Уинифред не сокрылась от глаз счастливчика Клинкера, чье сердце не могло не затрепетать перед всеми этими чарами; во всяком случае, я вряд ли ошибусь, если скажу, что с той минуты он стал покорным ее рабом. Он принял ее в свои объятия и, отдав ей свой кафтан, чтобы защитить от холода, снова с удивительным проворством влез наверх по стремянке.

В эту минуту хозяин гостиницы громогласно возвестил, что пожар потушен и леди могут быть спокойны. Весть эта была желанной для всех и немедленно возымела действие. Вопли смолкли, слышались только ворчливые голоса. Я проводил мисс Табиту и мою сестру в их комнату, где Лидди упала в обморок, но скоро опамятовалась. Потом я пошел предложить свои услуги другим леди, может быть, нуждавшимся в помощи. Все они бежали по коридору, отыскивая свои комнаты, а так как коридор освещен двумя лампами, то я вдосталь насмотрелся на них во время этого шествия. Однако почти все были в одних рубашках, а головы закрыты большими ночными чепцами, а потому я не мог отличить одно лицо от другого, хотя некоторых и узнал по голосу. Голоса были жалобные; одни плакали, дру-

гие ругались, а третьи молились. Я поднял с пола одну бедную леди, которую сшибли и сильно потоптали ногами; то же самое случилось и с хромым священником из Нортумберленда, которого Миклуиммен сбил с ног во время бегства, за что, впрочем, и поплатился: падая, калека так ловко ударил его по голове костылем, что до крови разбил ему голову.

Что касается до законоведа, то он ждал внизу, покуда не улеглась тревога, а потом потихоньку прокрался в свою комнату, откуда не осмеливался выйти до одиннадцати часов утра, когда его собственный слуга с помощью другого прислужника ввел его, жалобно стенающего, в общую залу; голова у него была обмотана окровавленной салфеткой.

Но теперь все изменилось: себялюбивое и грубое поведение его на лестнице ожесточило все сердца, несмотря на его ухищрения и лесть. Никто и не подумал подать ему кресло, подушку или скамеечку под ноги, так что он принужден был сесть на жесткую деревянную скамью. Находясь в таком положении, он с горестным видом огляделся вокруг и, низко поклонившись, сказал жалобным голосом:

— Мое почтение, уважаемые леди! Пожар — ужасное бедствие.

— Огонь очищает золото, и огнем же испытуется дружба! — задрав нос, воскликнула мисс Табита.

— Да, мадам, но им же испытуется и благоразумие,— отвечал Миклуиммен.

— Если благоразумие заключается в том, чтобы покинуть друга в беде, то вы щедро наделены этой добродетелью,— заявила тетушка.

— Ах, мадам, я отнюдь не ставлю себе в заслугу своего бегства,— возразил адвокат. — Соблаговолите отметить, уважаемые леди, что существуют две различные силы, которые толкают к действию нашу природу: одна из них есть врожденное побуждение, которое роднит нас с животными, а другая есть разум. И вот при опасных обстоятельствах, когда слабеет разум, животное побуждение одерживает верх. В таком случае сие побуждение, не имеющее никакого сходства с разумом, пренебрегает им и заботится лишь о сохранении жизни человека и притом прибегает к самым решительным и быстрым мерам. А посему, с вашего соизволения, уважаемые леди, я отнюдь не почитаю себя ответственным in foro conscientia[1] за то, что содеял, находясь под влиянием этой непреодолимой силы.

---

[1] Перед судом совести *(лат.)*.

Тогда вмешался дядюшка.

— Желал бы я знать, — сказал он,— животное ли побуждение заставило вас бежать со всеми пожитками, так как, помнится мне, у вас на плечах был чемодан.

Законник отвечал без всяких колебаний:

— Если бы мог я выразить свободно свое мнение, не будучи заподозрен в самонадеянности, я бы сказал, что нечто высшее, чем разум или животное побуждение, заставило меня принять сию меру, и к тому было две причины. Во-первых, в чемодане находились бумаги на право владения имением одного достойного вельможи, и, если бы они сгорели, потерю эту ничем нельзя было бы возместить. Во-вторых, мой добрый ангел как будто возложил чемодан на мои плечи, чтобы защитить меня от жесточайшего удара, нанесенного костылем его преподобия священника, который, невзирая на преграду, сильно меня поранил, разбив мне голову.

— По вашему же учению, — воскликнул священник, случайно при этом присутствовавший, — я не отвечаю за удар, который я нанес, подстрекаемый животным побуждением.

— Умоляю о прощении, преподобный сэр! — отвечал адвокат.— Но врожденное побуждение содействует лишь сохранению нашей жизни; а ваша жизнь не подвергалась опасности. Повреждение вы уже получили, и потому ваш удар можно приписать только жажде отмщения, которая есть страсть греховная и не приличествует христианину, в особенности же протестантскому священнослужителю. И разрешите вам сказать, преподобнейший доктор, что, пожелай я начать тяжбу, суд почел бы мою жалобу достойной рассмотрения.

— Да ведь обе стороны равно понесли урон! — воскликнул священник.— У вас проломлена голова, а у меня сломан костыль. Итак, если вы исправите костыль, я возьму на себя издержки за починку головы.

Эта шутка заставила всех посмеяться над Миклуимменом, который принял было серьезный вид, но дядюшка, дабы переменить разговор, заявил, что врожденное побуждение было очень милостиво к адвокату в другом отношении, так как возвратило ему способность действовать руками и ногами, которые двигались с удивительным проворством, когда он спасался бегством.

Законовед отвечал, что такова природа страха, взбадривающего нервы, и рассказал о нескольких удивительных случаях, когда люди, обуянные ужасом, совершали чудеса силы и ловкости; однако он посетовал, что применительно к нему

действие не воспоследовало, как только исчезла причина. Дядюшка предложил угостить всех чаем, если законник протанцует шотландский танец, не сделав ни одного неверного шага, и адвокат, ухмыляясь, потребовал волынщика. Под рукой оказался скрипач, и тогда сей чудак в черном парике, обмотанном окровавленной салфеткой, вскочил со скамьи и стал отплясывать так, что развеселил всех собравшихся. Но ему не удалось вернуть расположение мисс Табби, которая не понимала учения о врожденном побуждении, а законник не почел нужным продолжать свои объяснения.

Из Хэрроугейта прибыли мы сюда через Йорк, и здесь пробудем несколько дней, потому что и дядюшка и Табита решили полечиться здешними водами. Скарборо, хотя и жалкий городишко, живописно расположен на вершине утеса, вздымающегося над морем. Гавань защищена узкой полосой земли, служащей как бы натуральным молом, который находится перед самым городом. По другую сторону от него высоко вздымается очень большой замок, до изобретения пороха почитавшийся неприступным. В одном конце Скарборо есть две публичные залы для удобства тех, кто приезжает сюда летом пить воды и купаться в море, а развлечения здесь мало чем отличаются от развлечений в Бате. Минеральный источник находится близ города, по сю сторону, у подножья утеса, и сюда по утрам стекаются в утренних костюмах лечащиеся водами, но спускаться приходится по бесконечным ступеням, что весьма неудобно для больных.

Между источником и гаванью выстроились на берегу купальные фургоны со всеми необходимыми принадлежностями и с прислужниками. Вы никогда не видывали таких фургонов. Представьте себе маленькую, уютную деревянную комнатку, установленную на колесах, с дверцами спереди и сзади и с оконцем и скамьей по обеим сторонам. Купальщик подымается в это помещение по деревянной лесенке, закрывает дверцу и начинает раздеваться, а прислужник припрягает лошадь к концу фургона, обращенному к морю, и она тащит фургон вперед, пока уровень воды не достигнет пола комнатки, после чего прислужник отпрягает лошадь и отводит ее к другому концу повозки. Купальщик, раздевшись в фургоне, открывает дверцу, выходящую в море, находит там поджидающего его прислужника и ныряет прямо в воду. Выкупавшись, он поднимается в фургон по лесенке, которую уже успели перенести, и спокойно одевается, а тем временем повозку втаскивают назад, на сушу, так что более ему ничего не остается делать, как открыть дверцу и спу-

ститься на землю по той же лесенке, по какой он поднялся. Если он так слаб или болен, что для раздевания и одевания ему нужен особый слуга, то в комнатке хватит места для шестерых.

Всем леди помогают при купанье особы их же пола, и они, а также и купальщицы, одеты во фланелевые платья, и есть у них и другие уборы для соблюдения благопристойности. Некоторые фургоны снабжены навесами, приделанными со стороны, обращенной к морю, чтобы никто не мог видеть купающихся.

Берег чрезвычайно удобен для купанья, спуск очень пологий, а песок мягкий, как бархат, но фургонами можно пользоваться только в определенные часы прилива, которые каждый день меняются, так что иной раз купальщикам приходится вставать спозаранку.

Что до меня, то я люблю упражняться в плаванье, и потому могу купаться в любой час прилива и отлива, не пользуясь никакими приспособлениями. Мы с вами частенько ныряли в воды Изиса, но купанье в море гораздо полезнее для здоровья и доставляет больше удовольствия. Вы и представить себе не можете, как оживляет оно дух и как укрепляет каждую мышцу тела. Вздумай я перечислить хотя бы половину недугов, ежедневно исцеляемых морскими купаньями, вы по справедливости могли бы сказать, что получили не письмо, а целый трактат от вашего преданного друга и слуги

*Дж. Мелфорда.*

*Скарборо, 1 июля*

## *Доктору Льюису*

В Скарборо, куда я приехал с неделю назад, я не обрел ожидаемой мной пользы.

Из Хэрроугейта мы прибыли сюда через Йорк, где остановились только на один день, чтобы осмотреть замок, собор и залу для ассамблей. Замок, бывший некогда крепостью, теперь обращен в тюрьму; он может почитаться красивейшим зданием из всех виденных мною на моей родине и в чужих землях. Стоит он на холме, где воздух свежий и чистый, и за стенами его находится обширный двор, по коему могут гулять для здоровья своего заключенные, кроме тех, кого надлежит содержать с особой строгостью. Но даже и эти последние пользуются удобствами в пределах, им дозволенных. Здесь же воздвигнуты здания, где вершат суд во время судебных сессий.

Что до собора, то я не знаю, чем он отличен,— разве что своей величиной и высотой шпиля,— от других старинных церквей, находящихся в разных частях королевства и именуемых памятниками готической архитектуры; но теперь полагают, что этот стиль скорей сарацинский, чем готический, и мне кажется, что в Англию он перешел из Испании, бóльшая часть которой находилась под владычеством мавров. Британские зодчие, переняв этот стиль, не весьма, кажется, задумывались о том, можно ли его перенимать.

Климат в тех землях, где обитали мавры или сарацины, как в Африке, так и в Испании, столь был жаркий и сухой, что строители храмов прилагали все свое умение, чтобы возвести здания, в коих было бы прохладно; для этой цели более всего подходили здания огромные, узкие, темные и высокие, недоступные для солнечных лучей и защищенные от раскаленного воздуха; в них должна была быть освежающая прохлада, как в глубоких погребах летней порой или в горных пещерах, созданных самой природой.

Но сколь было глупо подражать этому стилю архитектуры в такой стране, как Англия, где климат холодный, воздух всегда влажный и где, стало быть, строитель должен пещись о том, чтобы укрыть людей в месте сухом и теплом. Я только однажды был в монастырской церкви в Бате, и едва переступил порог, как меня до самых костей пронизал холод.

Ежели только поразмыслить, то в наших церквах мы дышим тяжелым, застойным воздухом, который еще отягощен испарениями от сырых сводов, гробниц и помещений, где хранятся кости мертвецов; и разве не вправе мы назвать их складами ревматизмов, сооруженными на пользу медицинского факультета? И разве не вправе мы утверждать, что посещение церкви более губительно для тела, чем спасительно для души, особливо в зимние месяцы, а их, можно считать, не менее восьми в году.

Хотел бы я знать, что тут обидного для чувствительных душ, ежели в доме божьем будет поболее удобств и станут они менее опасны для людей хилых? И разве не получит поощрение благочестие и не сохранится жизнь многих людей, ежели в храме будет настлан дощатый пол, ежели обошьют панелями стены и храм станет теплым, будет хорошо проветрен и защищен от трупного смрада? Обычай погребать в церквах, обязанный невежеству и суеверию, ввели жадные попы, которые утверждали, будто дьявол не возымеет власти над умершими, когда они похоронены в освященной земле; только по сей причине даже в наше время святят кладбища.

Наружный вид древнего собора только оскорбляет глаз каждого, кто имеет понятие о правильности и соразмерности, ежели он ничего и не смыслит в архитектуре как науке; длинный, тонкий шпиц наводит на мысль о посаженном на кол преступнике, между плеч коего торчит острие. Башни или колокольни также позаимствованы у магометан, которые, не имея колоколов, строили минареты, чтобы созывать народ на молитву. Могут эти башни служить и для сигналов и для наблюдений, но бьюсь об заклад, что для церкви они неуместны, так как благодаря им собор кажется еще более варварским или сарацинским.

В архитектуре зала для ассамблей нет ничего арабского, он построен точно по плану Палладия, и его можно было бы превратить в прекрасный храм, но, нимало не задумываясь, его предназначили для того идолопоклонства, которое ныне в нем происходит. Величие капища тем более умаляет маленьких нарисованных божков, коим там поклоняются, так что во время вечернего бала танцующие походят на сборище волшебных фей, предающихся при лунном свете буйному веселью меж колонн греческого храма.

Слава Скарборо, кажется, увядает. Все подобные места (кроме Бата) сперва привлекают много народу, а потом мода на них проходит. Я уверен, что в Англии найдется полсотни местечек с минеральными источниками, столь же целительными, как в Скарборо, хотя они еще не прославились да и никогда не прославятся, если только какой-нибудь писака из врачей не сочтет выгодным для себя открыть обществу их целебные свойства. Но как бы то ни было, всегда будут стекаться в Скарборо люди для морских купаний, покуда есть такой обычай; желательно бы только облегчить доступ больных к берегу.

Здесь я встретился со старым знакомым Х—т, о коем я не раз говорил вам, как об одном из самых больших чудаков. Познакомился я с ним в Венеции и встречал в разных частях Италии, где он был известен под кличкой Cavallo Bianco[1], ибо он всегда ездил верхом на сивом коне, точно смерть в Апокалипсисе. Помните, я как-то рассказывал вам о споре, который он затеял в Константинополе с двумя турками в защиту христианской веры; за этот спор его прозвали «уговорщиком». Всем ведомо, что Х—т не признает никакой религии и верит только в законы природы, но в данном случае честь родины обязывала его показать туркам свои способности.

---

[1] Конь Блед (из Библии; *итал.*).

Несколько лет назад, будучи в Капитолии, в Риме, он подошел к бюсту Юпитера, отвесил ему низкий поклон и воскликнул по-итальянски: «Уповаю, сэр, если вы когда-нибудь вынырнете снова на поверхность, вы вспомните, что я воздавал вам почести во дни вашего уничижения». Об этой остроумной шутке донесли кардиналу Камерланго, а тот пересказал ее папе Бенедикту XIV, который не мог не посмеяться над такой выходкой и сказал кардиналу: «Эти английские еретики полагают, что они имеют право идти к дьяволу своей дорогой».

В самом деле, из всех известных мне англичан один только Х—т решался жить среди чужеземцев, как ему заблагорассудится; ибо ни в платье, ни в пище, ни в привычках, ни в обхождении он даже на самую малость не отступал от образа жизни, какой привык вести с детства. Лет двенадцать назад начал он свои путешествия по кругу, которые совершал таким образом: из Неаполя, который он избрал своей главной резиденцией, он отправился на корабле в Марсель, а затем на извозчике в Антибы; засим он проехал в Геную и Леричи, а оттуда через Камбратину в Пизу и Флоренцию; пробыв некоторое время в этом столичном городе, он двинулся на извозчике в Рим, где в течение нескольких недель отдыхал, после чего продолжал свой путь в Неаполь, чтобы сесть при первом удобном случае на корабль.

Описав сей круг двенадцать раз, он изменил направление и отправился в Англию, чтобы поглядеть на какие-то деревья в своем поместье, которые он посадил лет двадцать назад, подражая плану двойной колоннады на площади святого Петра в Риме. Оттуда он приехал в Скарборо посетить знатного друга своего и бывшего питомца М. Г. и, позабывши о том, что ему уже перевалило за семьдесят, принес Бахусу столь щедрую жертву, что на следующий же день с ним сделался апоплексический удар, от коего память его пострадала. Но он отнюдь не изменил своим причудам и собирается воротиться в Италию через Женеву, чтобы потолковать со своим приятелем Вольтером, каким способом нанести последний удар христианским суевериям. Здесь он намерен сесть на корабль, чтобы ехать в Голландию или в Гамбург, ибо ему решительно все равно, в какой части континента ему придется выйти на берег.

Отправляясь в прошлый раз в чужие страны, он уговорился плыть на корабле в Ливорно, и вещи его уже погрузили. Но, спустившись вниз по реке, он по ошибке попал на другое судно и узнал, что оно идет в Петербург. «Пусть будет Петербург,— сказал он,— мне все равно, поеду туда». Он тут же договорился

с капитаном, купил две-три рубашки у штурмана и благополучно прибыл ко двору Московии, а оттуда поехал сушей в Ливорно, чтобы получить свои вещи. Теперь он способен на любую подобную причуду еще более, чем всегда, и так как по законам природы ему остается недолго жить, то я бьюсь об заклад, что он покинет сей мир столь же странным образом, сколь необычно прожил всю свою жизнь[1].

Но поговорим о другом чудаке. Надо вам сказать, что здешняя железистая вода и морские купанья принесли мне пользу, и я не прочь был бы побыть здесь дольше, если бы некое забавное происшествие, сделавшее меня посмешищем всего города, не вынуждало меня покинуть этот город, ибо я не выношу мысли, что толпа будет пялить на меня глаза.

Вчера в шесть часов утра я отправился на купанье со слугой моим Клинкером, который остался, как обычно, ждать меня на берегу. Дул северный ветер, утро было серенькое, а вода такая холодная, что после первого погружения я невольно охнул и вскрикнул.

Клинкер услышал мой крик, смутно разглядел, что я барахтаюсь далеко от прислужника, решил, что я тону, и тут же, не раздеваясь, бросился в море спасать своего хозяина, сбив по дороге прислужника. Я поплыл было дальше, но услыхал какой-то шум, оглянулся и увидел идущего ко мне Клинкера, по шею в воде, с перекошенной от ужаса физиономией. Опасаясь, как бы он не забрался слишком далеко, я поплыл к нему, но вдруг он схватил меня за ухо и поволок, ревущего от боли, к берегу, к полному изумлению собравшихся там мужчин, женщин и малых ребят.

Я столь был раздражен от боли и от стыда предстать перед всеми на посмеяние, что в припадке ярости сбил его с ног. Засим снова бросился в море и укрылся в купальном фургоне, где оста-

---

[1] Этот джентльмен отправился морем во Францию, посетил мосье де Вольтера в Ферпее и беседовал с ним, снова начал свое круговое путешествие с Генуи и умер в 1767 г. во дворце Ванини, во Флоренции. Страдая от задержания урины, он порешил, подражая Помпонию Аттическому, отказаться от пищи и питья и таким способом кончить жизнь и свое решение исполнил подобно древнему римлянину. До последних дней он принимал гостей, шутил, беседовал, развлекал их музыкой. На третий день он почувствовал облегчение, но от пищи отказался. «Самая неприятная часть путешествия уже позади,— сказал он,— и надо быть отъявленным дураком, чтобы поворотить корабль, когда уже входишь в гавань». В своем решении он был непоколебим без тени притворства и кончил жизнь с такой невозмутимостью, которая сделала бы честь самому твердому стоику древнего мира.

вил свою одежду. Скоро я опомнился и понял, что бедняга поступил так по простоте душевной и не иначе, как движимый преданностью и любовью ко мне. Открыв дверцу фургона, который уже вытащили на берег, я увидел Клинкера; он стоял у колеса, вода текла с него ручьями, и он дрожал с головы до пят отчасти из-за холода, а отчасти от страха, что оскорбил своего господина. Я попросил извинить меня за то, что ударил его, уверил, что совсем не сержусь, и приказал немедленно идти домой и переодеться; сие приказание он не сразу решился исполнить, тем самым давая толпе возможность забавляться на мой счет.

Не сомневаюсь, намерения Клинкера были самые похвальные, однако я пострадал от его простоты. С той поры как он тянул меня за ухо, оно у меня горит, как в огне, и шум в нем не прекращается, а когда я иду по улице, на меня показывают пальцами, точно я чудовище, которое вытащили на берег голым.

Эх! Глупость нередко бесит более, нежели плутовство, и приносит больше вреда. И что лучше: брать себе в слуги умного плута либо честного простофилю — в этом теперь не сомневается ваш

*М. Брамбл.*

*Скарборо, 4 июля*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Уот!

Мы стремительно покинули Скарборо вследствие чрезмерной чувствительности нашего сквайра, которому нестерпима мысль praetereuntium digito monstratus[1].

Однажды поутру, когда дядюшка купался в море, его слуге Клинкеру забрело в голову, что хозяину грозит опасность утонуть; с этой мыслью он бросился в воду и вытащил дядюшку нагишом на берег, причем чуть было не оторвал ему ухо. Можете себе представить, как понравился сей подвиг мистеру Брамблу, человеку вспыльчивому, раздражительному и чрезвычайно пекущемуся о приличиях и благопристойности собственной особы. Вскипев, он сбил с ног Клинкера ударом кулака, но потом вознаградил его за обиду, а чтобы ускользнуть от людей, вни-

[1] Что проходящие показывают на него пальцами *(лат.)*.

мание которых привлек после этого приключения, он решил на другой же день покинуть Скарборо.

И вот мы пустились в путь по заросшей вереском равнине через Уитби и выехали спозаранку, надеясь к вечеру прибыть в Стоктон; но в этой надежде мы обманулись. После полудня, когда мы пересекали глубокую рытвину, размытую ливнем, карету так сильно тряхнуло, что сломался один из железных шкворней, которые скрепляют остов, и кожаный ремень с той же стороны лопнул посередине. Толчок был так силен, что моя сестра Лидди ударилась головой об нос мисс Табиты, из коего хлынула кровь, а Уин Дженкинс швырнуло в переднее оконце, обращенное к лошадям, где она и застряла, как сводня в колодке, пока ее собственноручно не освободил мистер Брамбл. Мы находились в восьми милях от тех мест, где могли бы достать другую карету, а в нашей продолжать путешествие было невозможно, покуда не будут исправлены все повреждения.

Находясь в таком затруднительном положении, мы обнаружили на краю небольшого выгона кузницу, примерно в полумиле от того места, где стряслась с нами беда. Туда-то и ухитрились форейторы доставить карету, между тем как все шли пешком. Но оказалось, что несколько дней назад кузнец умер, а жена его, недавно разрешившаяся от бремени, лежит в беспамятстве под присмотром сиделки, нанятой приходом. Мы были крайне огорчены этой неудачей, однако же выручил нас Хамфри Клинкер, удивительным образом сочетающий в себе умницу и простофилю. Отыскав инструменты покойника и найдя в кузнице уголь, он в одну минуту отвинтил сломанный шкворень и, разведя огонь, проворно и ловко сварил оба конца. Пока он занимался этим делом, бедная женщина, лежавшая на соломе, услыхала хорошо ей знакомые удары молота о наковальню и, невзирая на все усилия сиделки удержать ее, вбежала в кузницу и, обняв за шею Клинкера, закричала:

— Ах, Джекоб! Как могли вы меня покинуть в такой беде?

Это зрелище было слишком трогательно, чтобы вызвать смех,— у всех выступили на глазах слезы. Бедную вдову снова уложили в постель, и мы оставались в деревне, пока не оказали ей помощь. Даже у Табиты смягчилось сердце, и она расщедрилась на подаяние. А что до мягкосердного Хамфри Клинкера, то он ковал железо и при этом обливался слезами. Но ему пришлось заняться не только знакомым ему кузнечным ремеслом — нужно было еще починить лопнувший кожаный ремень. Он исполнил и эту работу с помощью сломанного шила, которое

заново отточил и заострил, пеньки, из которой ссучил веревку, и нескольких гвоздиков, им самим сделанных. Прошло немногим более часа, как мы уже могли продолжать путь, но все-таки это промедление заставило нас заночевать в Гисборо. На следующий день мы переправились через Тисс в Стоктоне, чистеньком, приятном городке, где решили пообедать, а к ночи добраться до Дархема.

Как вы думаете, кого мы встретили во дворе, когда вылезли из кареты?

Искателя приключений Мартина! Он помог нашим леди выйти, проводил их в гостиницу и с присущим ему красноречием приветствовал мисс Табби, после чего испросил у дядюшки разрешения поговорить с ним в другой комнате. Там он с некоторым замешательством принес извинения, что осмелился потревожить его в Стивенедже своим письмом. Он выразил надежду, что мистер Брамбл отнесся со вниманием к его горестному положению, и снова повторил свою просьбу принять его на службу.

Дядюшка, позвав меня в комнату, сказал ему, что мы оба весьма желаем спасти его от такого образа жизни, столь же опасного, сколь и бесчестного, и что он не задумался бы довериться его благодарности и преданности, если бы нашлась служба, соответствующая его положению и способностям; однако же все должности, о которых Мартин упоминал в письме, заняты людьми, на чье поведение он не имеет никаких причин жаловаться, а стало быть, и не может лишить кого-либо из них куска хлеба. Тем не менее он объявил о своей готовности помочь ему своим кошельком либо поручительством в исполнении любого разумного начинания.

Мартин был, казалось, глубоко растроган таким объяснением. Слезы стояли у него на глазах, когда он ответил прерывающимся голосом:

— Достойный сэр... ваше великодушие подавляет меня... я и не помышлял о том, чтобы просить вас о денежной помощи... да и нет никакой нужды в ней... В Бакстоне, Хэрроугейте и Скарборо я так счастливо играл на бильярде, а в Ньюкасле — на скачках, что у меня скопилось наличными до трехсот фунтов, которые я охотно употребил бы, чтобы начать честную жизнь. Но приятель мой, судья Баззард, расставил столько ловушек, грозящих мне смертью, что я вынужден либо уехать немедленно куда-нибудь подальше, где смог бы найти великодушного покровителя, либо совсем покинуть королевство. К вам прибегаю я теперь за советом, какой выбор мне сделать. С той поры как

я имел честь видеть вас в Стивенедже, я осведомлялся о вашем пути, и, полагая, что из Скарборо вы поедете этой дорогой, я приехал сюда вчера вечером из Дарлингтона, чтобы засвидетельствовать вам свое почтенье.

— Было бы нетрудно найти вам пристанище в деревне,— сказал дядюшка,— но праздная жизнь в глуши плохо соответствовала бы вашему живому и предприимчивому нраву. Посему я посоветовал бы вам попытать счастья в Ост-Индии. Я дам вам письмо к одному моему приятелю в Лондоне, который представит вас директорам Ост-Индской компании для поступления к ним на службу. Если же назначения получить не удастся, то вы сможете поехать по своему почину, уплатив при этом за проезд, я же берусь снабдить вас рекомендательными письмами, которые в скором времени помогут вам поступить там на службу.

Мартин с великой охотой принял это предложение; итак, было решено, что он продаст свою лошадь и отправится морем в Лондон, чтобы немедленно привести план в исполнение. Между тем он проводил нас в Дархем, где мы расположились ночевать. Здесь, получив письма от дядюшки, он распрощался с нами, заверяя в своей благодарности и преданности, и поехал в Сандерленд, чтобы отплыть на первом же угольщике, направляющемся к Темзе.

Не прошло и получаса после его отъезда, как присоединился к нам другой странный человек, появление коего сулило нечто необычное. Тетушка и Лидди стояли у окна в столовой, когда к дверям гостиницы подъехал долговязый, тощий человек, который вместе со своим конем весьма походил на Дон Кихота верхом на Росинанте. На нем был суконный кафтан, некогда ярко-красный, обшитый галуном, с которого давно сошла позолота, а его чепрак и седельные сумки были из той же материи, что и кафтан, и такие же древние.

Приметив в верхнем окошке двух леди, он постарался с сугубой ловкостью слезть с лошади, но конюх и не подумал придержать ему стремя, и, когда он высвободил из него правую ногу и всей тяжестью стал на другое стремя, подпруга, к несчастью, лопнула, седло перевернулось, а всадник хлопнулся наземь; шляпа и парик слетели, оголив пеструю голову, усеянную рубцами и пластырями. Обе леди у окна взвизгнули от испуга, полагая, что незнакомец сильно расшибся при падении. Однако больше всего пострадал он оттого, что столь неловко сошел с коня да еще выставил напоказ голый череп, ибо простолюдины, стоявшие у двери, громко захохотали; они решили, что

у капитана голова либо ошпарена, либо разбита, а как то, так и другое не делало ему чести.

Тотчас же он в бешенстве вскочил, схватил один из своих пистолетов и пригрозил застрелить конюха, но вторичный вопль женщин обуздал его гнев. Повернувшись к окошку, он отвесил поклон, поцеловал рукоятку пистолета и, спрятав его, надел с превеликим смущением парик и повел свою лошадь в конюшню.

К тому времени я подошел к двери и поневоле вытучил глаза при виде этой странной фигуры. Был бы он не менее шести футов ростом, если бы держался прямо, но он сильно горбился, плечи у него были очень узкие, а икры, защищенные черными гетрами, очень толстые; ляжки же его, длинные и тонкие, придавали ему сходство с кузнечиком. Лицо, коричневое, сморщенное, с выступающими скулами, имело добрых пол-ярда в длину, глазки у него были маленькие, зеленовато-серые, нос большой, крючковатый, подбородок острый, рот до ушей и почти беззубый, лоб высокий, узкий, изборожденный морщинами. Конь был под стать седоку: скелет, вырытый из могилы, которым (об этом узнали мы впоследствии) хозяин чрезвычайно дорожил как единственным подарком, полученным за всю его жизнь.

Позаботившись о том, чтобы сего доброго коня удобно поместили в конюшне, он послал засвидетельствовать свое почтение леди и просил позволения лично поблагодарить их за участие, которое они приняли в его злоключениях на дворе. По словам дядюшки, они не могли, не нарушая правил учтивости, уклониться от его посещения, а потому его проводили наверх, где он и приветствовал их с шотландским выговором и весьма церемонно.

— Леди! — начал он.— Вы, может быть, возмутились, увидев мою голову, которая обнажилась случайно, но могу вас уверить, что приняла она такой вид не от болезни и не от пьянства, но сии почетные шрамы я приобрел, служа своему отечеству.

Потом он поведал нам, что был ранен в Тикондероге, в Америке, где индейцы ограбили его, сняли с него скальп, разбили ему череп томагавком и, почитая его мертвым, бросили на поле боя. Однако позднее его нашли французы и, обнаружив в нем признаки жизни, вылечили в своем госпитале, хотя возместить утраченное им было невозможно, а потому череп остался во многих местах лишенным кожи, и эти места он прикрывает пластырем.

Ни одному чувству англичанин не отдается так охотно, как чувству сострадания. Мы тотчас прониклись жалостью к бете-

рану. Смягчилось даже сердце Табби; но к жалости нашей присоединилось негодование, когда мы услышали, что на протяжении двух кровопролитных войн он был ранен, изрублен, изувечен, попал в плен и в рабство, а заслужил всего-навсего чин лейтенанта. У дядюшки моего засверкали глаза и нижняя губа задрожала, когда он воскликнул:

— Клянусь богом, сэр, положение ваше — срам для военной службы! Обида, вам нанесенная, вопиет к небесам!

— Извините меня, сэр,— перебил его ветеран,— я не жалуюсь ни на какую обиду. Тридцать лет назад я купил патент на чин прапорщика, а потом, с годами, дослужился до лейтенанта.

— Но за такой долгий срок многие молодые офицеры, без сомнения, обошли вас по службе, — возразил сквайр.

— А все же я не имею причины роптать,— сказал лейтенант.— Они покупали себе чины. У меня денег не было — это мое несчастье, но никто в том не виноват.

— Как! Неужели не было у вас ни одного друга, который ссудил бы вас нужной суммой? — спросил мистер Брамбл.

— Может быть, я и мог бы занять денег на покупку чина командира роты,— отвечал тот,— но эту ссуду надлежало бы возвратить, а я не захотел обременять себя долгом в тысячу фунтов, который пришлось бы выплачивать из жалованья в десять шиллингов в день.

— Итак, лучшую часть вашей жизни,— воскликнул мистер Брамбл,— молодость, кровь вашу и здоровье вы пожертвовали войне с ее опасностями, трудами, ужасами и лишениями ради каких-то трех-четырех шиллингов в день, ради...

— Сэр! — с жаром перебил его шотландец.— Вы несправедливы ко мне, если говорите или думаете, что я был во власти столь низких побуждений! Я — джентльмен, и на службу я пошел, как и всякий другой джентльмен, воодушевленный надеждами и чувствами, внушенными благородным честолюбием. Хотя и не повезло мне в лотерее жизни, однако же я не считаю себя несчастным. Я никому не должен ни единого фартинга, всегда я могу потребовать чистую рубаху, баранью котлету и соломенный матрац, а когда я умру, останется после меня достаточно вещей, чтобы покрыть расходы на мои похороны.

Дядюшка уверял лейтенанта, что у него и в мыслях не было оскорбить его своими замечаниями, а говорил он только из чувства дружеского расположения к нему. Лейтенант поблагодарил его с холодной учтивостью, задевшей за живое нашего старого джентльмена, который приметил, что сдержанность

нового знакомого притворна и видом своим тот выражал неудовольствие, несмотря на все свои речи. Короче сказать, я не берусь судить о его воинских доблестях, но, кажется, могу утверждать, что сей шотландец — самонадеянный педант, неловкий, грубый и любитель поспорить. Ему посчастливилось получить образование в колледже; прочитал он, по-видимому, множество книг, наделен хорошей памятью и, по его словам, говорит на нескольких языках, но он столь склонен к препирательствам, что готов оспаривать самые простые истины и, гордясь своим умением вести спор, пытается примирить непримиримые противоречия.

То ли его обхождение и другие свойства пришлись и в самом деле по вкусу нашей тетушке мисс Табите, то ли сия неутомимая девственница решила охотиться за любой дичью, но ясно одно: она уже повела атаку на сердце лейтенанта, который удостоился нас чести отужинать вместе с нами.

Многое могу я еще порассказать об этом воине, но отложу до следующего раза. А теперь благоразумие требует дать вам немножко отдохнуть от скучных писаний вашего

*Дж. Мелфорда.*

*Ньюкасл-на-Тайне, 10 июля*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Любезный Филипс!

В последнем моем письме я предложил вам такое вкусное блюдо, как шотландский лейтенант, и теперь я еще раз попотчую вас им для вашего увеселения. Судьбе угодно было, чтобы мы угощались им добрых три дня, и я не сомневаюсь, что он еще объявится на нашем пути, прежде чем мы закончим предпринятую нами поездку на север.

На следующий день после встречи нашей с ним в Дархеме погода была такая ненастная, что мы не пожелали продолжать путешествие, и дядюшка уговорил лейтенанта подождать, пока не минует ненастье, а также предложил ему разделять с нами наши трапезы. Этот шотландец, без сомнения, собрал целый короб любопытных наблюдений, но повествует он о них столь неизящно, что это вызывало бы даже чувство отвращения, если бы не присущая ему чудаковатость, которая неизменно привлекает внимание. Он и мистер Брамбл беседовали и спорили о

всевозможных предметах, о войне, о политике, об изящной литературе, о законоведении и метафизике; иной раз они вступали в такие жаркие пререкания, которые грозили прервать их знакомство, но мистер Брамбл обуздывал свою раздражительность, помятуя, что лейтенант его гость, а когда, несмотря на все усилия, начинал горячиться, собеседник его из благоразумия в такой же мере остывал.

Случилось как-то, что мисс Табита назвала своего брата уменьшительным именем «Мэт».

— Разрешите спросить, сэр,— вмешался лейтенант,— ваше имя Матиас?

Да будет вам известно, что дядюшка имеет слабость стыдиться своего имени Мэтью как имени пуританского и этот вопрос столь не понравился ему, что он очень резко и с досадой ответил:

— Черт возьми, нет!

Шотландец был обижен таким ответом и сказал в сердцах:

— Если бы я знал, что вы не желаете назвать свое имя, я бы и спрашивать вас не стал. Леди назвала вас Мэт, вот я и подумал, не зовут ли вас Матиас, а может быть, Мафусаил, или Метродор, или Метел, или Матурин, или Малтин, или Матамор, или...

— Нет, нет! — со смехом воскликнул дядюшка.— Вы не угадали, лейтенант. Зовут меня Мэтью Брамбл, с вашего позволения. По правде сказать, я питаю глупейшую неприязнь к имени Мэтью, потому что оно отзывается этими лицемерными ханжами, которые во времена Кромвеля давали всем своим детям имена из Библии.

— И в самом деле, очень глупо и даже грешно ненавидеть свое имя, потому что оно взято из Священного писания! — вмешалась мисс Табби.— Вам следовало бы знать, что вас назвали в честь вашего двоюродного деда Мэтью ап Мэдок ап Мередит, эсквайра, из Лланустина в Монтгомершире, судьи, джентльмена весьма почтенного и богатого, который с материнской стороны происходил по прямой линии от Ллевелина, принца Уэльского.

Этот анекдот из родословной произвел, казалось, впечатление на шотландца, который отвесил низкий поклон потомкам Ллевелина и сообщил, что и сам он имеет честь носить библейское имя. Когда тетушка выразила желание его узнать, он сказал, что зовут его лейтенант Обадия Лисмахаго, и, дабы помочь ей запомнить, подал клочок бумаги, на котором были написаны эти три слова, которые она повторила весьма вырази-

тельно, объявив, что это одно из самых благородных и благозвучных имен, когда-либо ею слышанных.

Лейтенант объяснил, что Обадия — имя адвентистское, так звали его прадеда, одного из первых ковенанторов, а Лисмахаго происходит от местечка в Шотландии, носящего это название. Он упомянул также о древности своего рода, прибавив со смиренною улыбкою: «Sed genus et proavos, et quoe non fecimus, ipsi, vix ea nostra voco»[1],— каковое изречение перевел в угоду нашим леди, а мисс Табита не преминула похвалить его за скромность, с которой он не приписывает себе заслуг своих предков, и добавила, что он в них и не нуждается, ибо у него немало собственных заслуг.

Тут тетушка начала донимать его самой грубой лестью. Она заговорила о древнем происхождении и добродетелях шотландского народа, об их доблести, честности, учености и вежливости. Она даже принялась восхвалять его собственное обхождение, учтивость, здравый ум и глубокие познания. Своего брата она просила подтвердить, что лейтенант как две капли воды похож на нашего родственника губернатора Грифита. Она обнаружила горячее желание знать все обстоятельства его жизни и задавала тысячу вопросов о воинских его подвигах. На все эти вопросы мистер Лисмахаго отвечал с какой-то иезуитской скромностью, притворяясь, будто неохотно удовлетворяет ее любопытство, коли речь идет о собственных его деяниях.

Однако благодаря ее вопросам мы узнали, что Лисмахаго с прапорщиком Морфи бежали из французского госпиталя в Монреале и скрылись в лесах, надеясь добраться до какого-нибудь английского поселения, но они заблудились и встретились с отрядом индейцев миами, которые захватили их в плен. Индейцы эти хотели отдать одного из них в приемные сыновья почтенному главному вождю, чей родной сын был убит на войне, а другого по обычаям своей страны принести в жертву. Морфи, как более молодой и красивый, должен был заместить умершего и занять место не только сына вождя, но и супруга прекрасной сквау, с которой был помолвлен его предшественник. Однако же, когда их вели мимо вигвамов миами, женщины и дети, которым дано право мучить проходящих пленных, так изувечили беднягу Морфи, что к тому времени, как они прибыли к месту жительства вождя, он оказался совсем непригодным для бракосочетания.

---

[1] Но едва ли мы можем назвать своими род и предков и то, что мы сами свершить не могли. *Овидий (лат.).*

По сей причине на собрании воинов порешили привязать к столбу и пытать прапорщика Морфи, а индейскую леди отдать лейтенанту Лисмахаго, который также претерпел свою долю мучений, но не утратил мужской силы. Ему отрубили, или, вернее, отпилили, заржавленным ножом сустав одного пальца на руке, размозжили между двумя камнями большой палец на ноге, вырвали или выковыряли кривым гвоздем несколько зубов, проткнули расщепленным тростником ноздри и другие чувствительные места, а в икры ног загнали острым концом томагавка порох, который потом подожгли.

Что касается Морфи, то сами индейцы признали, что он умер весьма героически, распевая, вместо предсмертной песни, «Дримендy» вкупе с мистером Лисмахаго, который присутствовал при этом торжестве. После того как воины и матроны досыта поели жилистого мяса, отрезанного от их жертвы, и подвергли Морфи всевозможным пыткам, которые он стойко переносил, некая старая леди выковыряла ему острым ножом один глаз, а в орбиту вставила горящий уголек. Боль была столь мучительна, что Морфи не мог удержаться и взвыл, а зрители разразились ликующими криками, и один из воинов, подкравшись к несчастному сзади, нанес ему топором coup de grâce [1].

При сем случае отличилась невеста Лисмахаго, скваy Скуинкинакуста. Она проявила удивительные способности в изобретении пыток и пытала пленника собственноручно. Мясо жертвы она поедала взапуски с сильнейшими воинами, а когда все прочие женщины охмелели от спиртного, она была настолько трезва, что могла еще исполнить обряд своего бракосочетания, которое совершилось в тот же вечер. С этой примерной скваy лейтенант прожил счастливо два года, в течение которых она принесла ему сына, и сей отпрыск теперь возглавляет племя своей матери. Но в конце концов, к неизреченной его печали, она умерла от горячки, объевшись сырым мясом убитого ими на охоте медведя.

К тому времени мистер Лисмахаго был выбран главным вождем племени Барсуков и был удостоен носить имя или прозвище Оккаканастаогарора, что значит «проворен, как ласка», но от всех этих преимуществ и почестей он принужден был отказаться, потому что его обменяли на глашатая общины, захваченного в плен индейцами, которые находились в союзе с англичанами. По заключении мира он продал свой патент, вышел в

---

[1] Последний удар, которым добивают, чтобы прекратить мучения *(франц.)*.

отставку на половинном жалованье и вернулся в Англию, намереваясь провести остаток дней своих на родине, в надежде найти такое пристанище, где бы при скудных своих средствах мог жить безбедно.

Такова вкратце история мистера Лисмахаго, коей Табита «с серьезностью внимала»; в самом деле она, кажется, пленилась теми же чарами, которые покорили сердце Дездемоны, полюбившей мавра «за муки, перенесенные им».

Описание пыток бедного Морфи, заставившее мою сестру Лидди лишиться чувств, исторгло несколько вздохов из груди мисс Табби; когда же она узнала, что его сделали неспособным к супружеской жизни, то начала плеваться и воскликнула:

— Боже мой, какие жестокие дикари!

Слушая рассказ о свадебном пире индейской леди, она корчила гримасы, однако же любопытствовала узнать, каков был наряд невесты, была ли она в высоком корсете или в корсаже, платье на ней было шелковое или бархатное, а кружева мехлинские или миньонет. Она полагала, что поскольку это племя находилось в союзе с французами, то невеста была нарумянена, а волосы убрала по французской моде.

Лейтенант желал уклониться от подробного ответа и заметил, что индейцы слишком привержены к своим собственным обычаям, чтобы перенимать моды у других народов. Потом он присовокупил, что простота нравов и состояние торговли в их стране препятствуют появлению у них вещей, которые в Европе почитаются предметами роскоши, и к тому же они слишком добродетельны и благоразумны, чтобы потворствовать тем модам, какие могли бы их развратить и изнежить.

Эти замечания только разожгли желание мисс Табиты получить подробные ответы на все ее вопросы, и, как ни увертывался мистер Лисмахаго, пришлось ему поведать, что у принцессы не было ни башмаков, ни чулок, ни рубашки или другого белья, что подвенечным нарядом служила ей красная байковая юбка и одеяло с бахромой, наброшенное на плечи и скрепленное медной булавкой, но всяких украшений было у нее великое множество. В косы ее были искусно вплетены суставы человеческих костей, одно веко выкрашено зеленой краской, другое — желтой; щеки были синие, губы белые, зубы красные, поперек лба и до кончика носа проведена черная черта, ноздри проткнуты двумя пестрыми перьями попугая, в подбородок вставлен синий камень. Серьгами служили ей два сучка орешника, величиной и формой напоминавшие барабанные палочки; руки и ноги были украшены браслетами из ракушек, на груди свер-

кали стеклянные бусы, а на шее висел свежий скальп воина-могаука, убитого в бою ее покойным женихом. В довершение всего она была с ног до головы вымазана медвежьим жиром, распространявшим приятнейший аромат.

Казалось бы, такое убранство не могло привести в восхищение изящную модницу, но мисс Табита решила одобрять все, что имело касательство к лейтенанту. Правда, она пожалела, что у скваy не было белья, однако ж признала, что много было вкуса и фантазии в ее украшениях. Поэтому она не сомневалась, что мадам Скуинкинакуста была весьма рассудительной молодой леди, наделенной редкими достоинствами, и доброй христианкой в душе. Потом она спросила, была ли его супруга привержена Высокой или Низкой церкви, была она пресвитерианкой, или анабаптисткой, а может быть, ее осенил новый свет евангельской веры? Когда же он объявил, что и она и все ее племя не имели понятия о христианской вере, она с изумлением вытаращила на него глаза, а Хамфри Клинкер, случайно присутствовавший при этом разговоре, испустил глухой стон.

После недолгого молчания она воскликнула:

— Скажите, ради бога, лейтенант Лисмахаго, какую же веру они исповедуют?

— Что касается до веры, мадам,— отвечал лейтенант,— то у этих индейцев религия очень простоя — о соединении церкви с государством они и не слыхивали. В общем, они чтут два противоборствующих начала: одно есть источник всякого добра, другое — источник всякого зла. Как и в других странах, простой народ предан там нелепым суевериям, но люди разумные поклоняются высшему существу, которое создало и охраняет вселенную.

— О, какая жалость, что ни одного праведного мужа не осенило пойти и обратить в истинную веру этих бедных язычников! — воскликнула благочестивая Табби.

Лейтенант поведал ей, что покуда он жил с индейцами, туда пришли два французских миссионера с намерением привести их в лоно католической церкви. Однако ж когда они заговорили о таинствах и откровениях, коих не могли ни объяснить, ни подкрепить доказательствами, и ссылались на чудеса, в которые верили понаслышке, когда они стали поучать, что творец неба и земли позволил своему единственному сыну, равному ему по силе и славе, войти во чрево женщины, а потом родиться человеком, которого поносили, бичевали и даже казнили, как злодея, когда они объявили, что могут создавать самого бога, глотать его, переваривать и размножать ad infini-

tum [1] с помощью муки и воды,— тогда индейцы возмутились их кощунственной самонадеянности.

Миссионеров допрашивали на собрании вождей, которые потребовали, чтобы они доказали каким-нибудь чудом божественность своего учения. Те отвечали, что это не в их власти.

— Если бы вас в самом деле послало небо для нашего обращения в другую веру,— сказал один из вождей,— вы, конечно, были бы наделены какой-нибудь сверхъестественной силой, по крайней мере, обладали бы даром говорить на многих языках, чтобы объяснять ваше учение разным народам, среди которых проповедуете; но вы так плохо знаете наш язык, что не можете толковать даже о самых простых вещах.

Словом, собрание убедилось в том, что они обманщики, и даже заподозрило их в шпионстве. Приказано было дать каждому из них по мешку с индейским зерном и проводника, который довел бы их до границы. Но миссионеры, наделенные не столько благоразумием, сколько рвением, отказались покинуть вертоград. Они упрямо служили мессы, проповедовали, крестили и препирались с колдунами, сиречь жрецами, покуда не привели в смятение всю общину. Тогда собрание решило судить их как богохульников и обманщиков, которые изображают всемогущего каким-то ничтожным, слабым, привередливым существом и говорят, будто по своему желанию могут его создавать, уничтожать и снова производить. Посему их осудили за кощунство и бунт и приговорили к пыткам, для чего привязали к столбу, где они и умерли, распевая «Salve regina» [2], ликуя и радуясь венцу мученическому, который себе стяжали.

В продолжение этой беседы лейтенант Лисмахаго бросал некоторые намеки, из коих явствовало, что сам он был вольнодумцем. Тетушка наша была как будто поражена саркастическими его замечаниями о вере святого Афанасия. Он частенько повторял такие слова, как «разум», «философия» и «противоречие в определениях», отказывался верить в вечный огонь адский и даже бросал такие петарды в бессмертие души, что слегка опалил веру мисс Табиты, ибо к тому времени она уже взирала на Лисмахаго, как на чудо учености и проницательности. Короче, он не мог долее оставаться нечувствительным к ее попыткам завоевать его расположение и, хотя по природе своей он несколько грубоват, однако пересилил себя настолько, что стал отвечать на ее любезности. Может быть, он рассудил, что совсем

[1] До бесконечности *(лат.)*.
[2] Хвала тебе, царица небесная *(лат.)*.

не худо для старого лейтенанта, вышедшего в отставку на половинном жалованье, заключить союз с престарелой девицей, которая, по всей вероятности, имеет достаточно денег, чтобы покоить и холить его на склоне лет.

И вот эти славные чудаки начали делать друг другу глазки. Свои обычно желчные речи лейтенант подслащивал патокой любезностей и похвал. Время от времени он потчевал ее нюхательным табаком, который потреблял в большом количестве, и даже преподнес ей кошелек из шелковистой травы, сплетенный руками прекрасной Скуинкинакусты, которая носила в нем порох, когда хаживала на охоту.

К северу от Донкестера во всех гостиницах нацарапаны на окнах скверные вирши в поношение шотландской нации; а еще более подивился я тому, что не приметил ни одной строки, отвечающей на такие оскорбления. Любопытствуя узнать, что скажет об этом Лисмахаго, я указал ему на непристойную эпиграмму на его соотечественников, вырезанную на оконном стекле в гостиной, где мы сидели. Он прочитал ее с невозмутимейшим видом, а когда я пожелал узнать его мнение об этом стишке, сказал:

— Очень выразительно и очень остро, но было бы яснее и виднее, если бы протереть стекло мокрой салфеткой. Дивлюсь, что какой-нибудь нынешний остроумец не издал собрания таковых стишков под заглавием: «Торжество стекольщика над простофилей-шотландцем». Я убежден, что это подношение было бы весьма приятно лондонским и вестминстерским патриотам.

Когда же я выразил удивление, почему уроженцы Шотландии, проезжающие этой дорогой, не выбьют всех окон, лейтенант возразил:

— Плохая бы это была политика, с вашего разрешения! Она привела бы только к тому, что сатира сделалась бы более резкой и язвительной. Думаю, гораздо лучше оставлять ее на окнах, чем платить за стекла.

У дядюшки подбородок задрожал от негодования. Писаки, сочиняющие столь постыдный вздор, заслуживают, по его словам, чтобы их привязали к повозке и высекли за то, что они позорят родину своей злобой и тупостью.

— Эти твари,— сказал он,— не понимают, что своим согражданам, ими оскорбляемым, они доставляют повод превозноситься, равно как и возможность отомстить достойнейшим образом за такие подлые, дурацкие нападки. Что до меня, то я восхищаюсь философической терпеливостью шотландцев столько же, сколько презираю наглость этих жалких клевет-

ников, каковая сходна с чванливостью деревенского петуха, который кричит кукареку не иначе, как взобравшись на свою собственную навозную кучу.

Лейтенант с притворным чистосердечием заметил, что во всех землях найдутся подлые людишки; предположив же, что такие чувства разделяют все англичане, он тем самым слишком превознес бы свою родную страну, которая не стоит того, чтобы вызывать зависть у столь процветающего и могущественного народа.

Мисс Табби снова начала восхвалять его скромность и объявила, что шотландская земля изобилует всеми возможными добродетелями. Когда Лисмахаго, распрощавшись, пошел спать, она спросила своего брата, не находит ли он, что лейтенант самый красивый джентльмен из всех им виденных и что в лице его есть нечто неизъяснимо приятное. Сначала мистер Брамбл молча посмотрел на нее, а потом сказал:

— Сестра, насколько мне известно, лейтенант — честный человек и славный офицер; он наделен недюжинным умом и достоин счастья большего, чем то, какое выпало ему на долю, но я не могу, по чистой совести, сказать, что это красивейший джентльмен из всех мною виденных и что есть нечто приятное в его лице, ибо, клянусь богом, оно очень некрасивое и даже отталкивающее.

Я постарался втереться в милость к этому северному бритту, который поистине великий чудак, но он стал избегать беседы со мной с той поры, как я рассмеялся в ответ на уверения, будто в Эдинбурге говорят на английском языке лучше, чем в Лондоне. Посмотрев на меня с сугубо кислой миной, он сказал:

— Если справедливо старое суждение, что способность смеяться есть отличительный признак разумного существа, то англичане разумнее всех известных мне народов.

Я признал, что англичане быстро подмечают все, что может показаться забавным, а потому и склонны посмеяться, но, хотя они и любят смех, отсюда еще не следует, будто они более разумны, чем их соседи. Такое заключение, сказал я, было бы оскорбительно для шотландцев, которые, как принято считать, не очень восприимчивы к смешному, однако же умом отнюдь не обижены.

Лейтенант отвечал, что такое предположение должно быть основано либо на их разговорах, либо на писаниях, о которых англичане не могут судить правильно, ибо не понимают диалекта, к которому прибегают шотландцы в обычной беседе,

ровно как и в своих юмористических сочинениях. Когда же я полюбопытствовал, каковы эти юмористические сочинения, он мне назвал немало книг, которые, по его уверению, не менее остроумны, чем все, что когда-либо было написано на языках живых и мертвых. В особенности расхваливал он собрание стихов в двух небольших томах, озаглавленное «Дерево», и сочинения Аллана Рамсея, каковые я намерен купить в Эдинбурге.

Лейтенант заметил, что в обществе англичан северный бритт представляется в невыгодном свете, ибо говорит на диалекте, прелесть которого они не могут постигнуть, и пользуется оборотами речи, им не понятными. Поэтому он чувствует себя скованным, а скованность есть великий враг остроумия и шутливости. Эти способности обнаруживаются во всем блеске, когда ум совершенно свободен и, по словам некоего превосходного писателя, «может развернуться на просторе».

Тут он стал пояснять свое утверждение, почему в Эдинбурге говорят по-английски лучше, чем в Лондоне. По его словам, то, что принято у нас называть шотландским диалектом, есть подлинный, чистый, старый английский язык с примесью некоторых французских слов и выражений, вошедших в обиход благодаря долговременному общению шотландцев с французами. Нынешние англичане вследствие жеманства и ложной изысканности лишили свой язык присущей ему силы и даже исковеркали его, выбросив гортанные звуки, изменив их произношение, сократив их количество и перестав употреблять многие весьма важные слова и обороты. По причине таких новшеств творения наших лучших поэтов, как, например, Чосера, Спенсера и даже Шекспира, стали во многих местах непонятны для уроженцев южной Британии, тогда как шотландцы, сохранившие древний язык, понимают их без помощи толкового словаря.

— Вот, например,— сказал он,— как ломали себе головы ваши толкователи над следующим выражением в «Буре»: «Он кроток и не ведает страха», усматривая здесь ложное умозаключение, ибо выходило так, что «кроткий» должен быть храбрым; но суть в том, что первоначальное, если не единственное, значение этого слова — благородный, гордый, и по сей день шотландская женщина при тех же обстоятельствах, что и молодая леди в «Буре», выразит свою мысль почти теми же словами: «Не раздражайте его: он кроток (то есть смел) и не снесет оскорбления». Спенсер в первой же строфе своей «Волшебной королевы» говорит: «Кроткий рыцарь мчится по равнине», каковой рыцарь был отнюдь не смиренным и трусливым, но столь от-

важным, что «ничего он не страшился, но его всегда страшились».

В доказательство того, что мы ложной изысканностью отняли у языка нашего силу, он назвал следующие слова, которые совсем различны по значению, но произносятся совершенно одинаково,— wright, write, right, rite [1], тогда как у шотландцев эти слова столь же не сходны по произношению, сколь несходны они по смыслу и написанию. Этот пример, как и многие другие, он привел в доказательство своих утверждений. Затем он указал, что мы (по причине ему неведомой) выговариваем наши гласные совсем не так, как все европейские народы, и это изменение сделало наш язык крайне трудным для чужестранцев и привело к тому, что почти невозможно установить правила произношения и правописания. Вдобавок гласные перестали быть простыми звуками в устах англичанина, который произносит «i» и «u» как двугласные. Наконец он объявил, что мы губами нашими и зубами искажаем нашу речь и бросаем слова одно за другим безостановочно и невнятно, так что чужестранец, неплохо знающий английский язык, частенько принужден бывает обращаться к шотландцу за объяснением, что сказал на своем родном языке уроженец Англии.

Справедливость этого наблюдения подтвердил, основываясь на собственном опыте, мистер Брамбл, но он нашел иную причину. По его словам, то же замечание относится ко всем языкам: чужестранец, знающий язык не в совершенстве, легче поймет швейцарца, говорящего по-французски, нежели парижанина, ибо каждый язык имеет свою особую напевность, и всегда требуется больше труда, внимания и навыка, чтобы усвоить и слова и музыку, нежели только одни слова; однако никто не станет отрицать, что одно без другого несовершенно. Потому дядюшка предполагал, что начинающий изучать язык легче поймет шотландца и швейцарца, так как они произносят только слова, но не умеют передать напевности.

Казалось бы, такая препона должна была охладить пыл северного бритта, но она лишь подстрекнула его к спору.

Если в языке каждого народа, сказал он, есть своя напевность или музыка, то она есть и у шотландцев, и шотландец, еще не усвоивший английской каденции, натурально будет пользоваться своею собственной, говоря по-английски. Стало быть, если его понимают лучше, чем природного англичанина, значит, его напевность более понятна, чем английская;

[1] Работник, писать, право, обряд *(англ.)*.

поэтому шотландский диалект имеет преимущество перед английским, и такова еще одна веская причина полагать, что современные англичане произношением своим испортили свой язык.

К тому времени препирательства столь разгорячили лейтенанта, что стоило ему раскрыть рот, как уже вылетал парадокс, который он и защищал в пылу спора; но все его парадоксы были сильно приправлены пристрастием к его отечеству. Он вздумал доказывать, что бедность — благо для народа, что овсяная мука предпочтительнее пшеничной и что поклонение Очистительнице в храмах, куда допускались молящиеся обоего пола и без всякого разбора, было гнусным идолопоклонством, оскорбляющим всякое понятие деликатности и благопристойности. Дивился я не столько тому, что он касается этих предметов, сколько доводам, как забавным, так и хитроумным, которые он приводил в доказательство.

Короче сказать, лейтенант Лисмахаго — диковинка, которую я еще плохо разглядел, а потому жаль будет, когда мы лишимся его общества, хотя, бог свидетель, ничего приятного нет ни в обхождении его, ни в характере. Так как едет он в юго-западную часть Шотландии, мы же держим путь на Беруик, то завтра мы с ним расстанемся в местечке, называемом Фелтонбридж. Полагаю я, что разлука будет весьма горестна для нашей тетушки мисс Табиты, разве что она получит от него лестное уверение в новой встрече.

Если не достиг я цели поразвлечь вас малопримечательными новостями, то, по крайней мере, они послужат вам уроком терпеливости, за что вы должны быть обязаны

всегда вашему
*Дж. Мелфорду.*

*Морпет, 13 июля*

## *Доктору Льюису*

Любезный доктор!

Достиг я северных границ Англии, сижу у окошка в моей комнате и вижу Твид, который протекает под арками моста, соединяющего сие предместье с городом Беруиком. Йоркшир вы видели, и, стало быть, мне говорить нечего об этом богатом графстве. Город Дархем походит издали на беспорядочную груду камней и кирпича, сваленную для прикрытия горы, вокруг

которой катит свои журчащие воды река. Почти все улицы в нем узкие, темные, не радующие взор, а многие из них столь круты, что по ним не пройти. Собор огромный, мрачный, однако же духовенство проживает в хороших домах. Епископ благодаря богатым доходам живет по-княжески, стол у него обильный, и мне сказывали, что в этом городе можно найти обходительное общество, а земля окрест, ежели смотреть на нее с вершины Гейтсхед Фелл до самого Ньюкасла, возделана так, как редко мне приходилось видеть.

Что касается до Ньюкасла, бóльшая его часть лежит в лощине на берегу Тайна, и на вид город менее привлекателен, нежели Дархем; однако он весьма населен и слывет богатым благодаря промышленности и торговле, а дальше к верховьям реки берега тешат взор садами и полями, отменно возделанными.

Морпет и Анвик — чистенькие, красивые городки, и сей последний славен зáмком, принадлежащим в течение нескольких столетий знаменитому роду Перси, графов Нортумберлендов. Замок весьма обширный, заключает в себе много апартаментов и стоит на изрядной высоте, но неприступностью своей, кажется, был обязан не столько своему расположению или укреплениям, сколько храбрости защитников.

О наших приключениях после отъезда из Скарборо едва ли стоит упоминать, однако я должен рассказать вам об успехах, которых добилась сестрица моя Табби в погоне за женихами.

После разочарований, постигших ее в Бате и в Лондоне, расставила было она ловушку некоему искателю приключений, каковой оказался не больше не меньше как разбойник с большой дороги; но, привыкши убегать от сетей более опасных, он благополучно спасся. Тогда она открыла огонь своих батарей по старому, претерпевшему немало невзгод лейтенанту, шотландцу Лисмахаго, который встретился нам в Дархеме и, по моему разумению, есть самый странный человек из всех мною виденных.

Повадки у него такие же грубые, как и физиономия, но его своеобычный образ мыслей и ученость, состоящая из ошметков каких-то диковинок, позволяют слушать его не без приятности, невзирая на его педантство и неприветливое обхождение. Частенько находил я дикое яблоко, которое пробовал есть, прельстясь ароматом, несмотря на несносную его терпкость. Дух противоречия столь в Лисмахаго силен, что, мне кажется, он рылся повсюду, читал и учился с неутомимым рвением, обретая сноровку в опровержении общепринятых положений, чтобы тем самым стяжать трофеи и потешить свою спесь спорщика.

Т. Смоллет, «Путешествие Хамфри Клинкера»

Он столь своенравен в своем самомнении, что не оставит без возражения даже похвалы, сказанной ему самому или его отечеству.

Когда я заметил, что он-де должен был прочесть множество книг, чтобы с такой легкостью беседовать о самых различных предметах, он объявил, что почти ничего не читал, и спросил, как бы это он мог найти книги в дебрях Америки, где он провел большую часть своей жизни. А когда мой племянник сказал, что шотландцы славятся своей ученостью, он отвергнул это утверждение и предложил доказать сие на основании их сочинений.

— Шотландцы,— сказал он,— весьма мало преуспели в словесных науках и чванятся ими только перед теми, кто еще более, чем они, невежественны. Но о них смело можно сказать, что они плавают по поверхности учености и что в полезных художествах они немногого достигли.

— Однако всему миру известно, что шотландцы прославились в военном деле и покорили дикарей в Америке! — воскликнула Табби.

— Смею вас уверить, мадам, что вас ввели в заблуждение,— ответил лейтенант.— В сей части света шотландцы исполняли только свой долг, и ни один их полк не отличился на службе его величества более других. Те, кто якобы превозносил заслуги шотландца, не были доброжелателями сего народа.

Хотя он отзывается о своих соотечественниках весьма вольно, но не допустит, чтобы кто-нибудь безнаказанно отозвался о них с насмешкой. Когда кто-то случайно упомянул о бесславном мире, заключенном лордом Б., лейтенант тотчас же обнажил оружие в защиту его лордства и весьма рьяно принялся доказывать, что это был самый почетный и выгодный мир, какой Англия заключала со времен установления монархии. Между нами говоря, он приводил такие сему доказательства, что я сам, если и не был убежден, то, во всяком случае, пришел в замешательство.

Он отнюдь не соглашался, будто в армии и флоте Великобритании служит больше шотландцев, нежели сколько должно их быть, судя по числу жителей, либо что англичане должны признать за его соотечественниками, шотландцами, право на особые по службе награды.

— Если южный и северный бритты,— говорил он,— притязают на какое-нибудь назначение, которое зависит от английского министра или английского генерала, нелепо полагать, будто не отдадут предпочтения уроженцу Англии, который имеет столько преимуществ перед своим соперником. Прежде всего

англичанин имеет на своей стороне то похвальное пристрастие, которое, как говорит мистер Аддисон, неразлучно с англичанином; во-вторых, он имеет сильнейших покровителей и большее влияние в парламенте, который обычно решает подобные споры, и, наконец, у него гораздо больше денег, чтобы устранить помехи на пути к успеху.

— Что до меня,— продолжал он,— то я не знаю ни одного офицера-шотландца, который поднялся бы выше субалтерна без того, чтобы не заплатить за каждое повышение либо деньгами, либо рекрутами, и я знаю весьма многих уроженцев сей страны, поседевших в чине лейтенанта за отсутствием денег... В то же время среди уроженцев южной Британии мало найдешь людей, столь не избалованных фортуной. Однако это отнюдь не значит, будто, по моему мнению, мои соотечественники имеют какие-нибудь причины жаловаться. Успехи по службе, подобно успеху в любой отрасли торговли, благоприятствуют тем, у кого больше наличных денег или кредита, хотя бы достоинства обеих сторон и были равны.

Но другие суждения сего чудака были более смелые; он утверждал, что торговля рано или поздно послужит причиной погибели того народа, у коего она весьма процветает; что в государственном устройстве Британии парламент есть учреждение гнилое; что свобода печати есть народное зло и что хваленый суд присяжных, такой, какой мы находим в Англии, порождает бесстыжих клятвопреступников и творит неправду. Он говорил, что торг есть враг благородных побуждений души и основан на жадности и наживе и на подлом желании извлечь пользу из нужды ближнего. По его мнению, торговля по самой природе своей такова, что не может вечно развиваться, но как только дойдет до известного предела, так и начнет падать, и сие будет продолжаться, доколе она почти совсем не прекратится; и никогда у одного и того же народа во второй раз прилив ее не поднимался до сколько-нибудь значительной высоты. Тем временем внезапное, порожденное торговлей, изобилие открывает все шлюзы роскоши, и вся страна погрязает в беспутстве и разгуле; из сего следует растление нравов, которое сопровождается банкротством купцов и разорением.

О парламенте он говорил, что обычаи покупать боро и торговать голосами есть явная система продажности, созидаемая на развалинах твердых убеждений, честности, доверия и доброго порядка; вследствие сего избираемый, так же как и избиратель, короче говоря, решительно все и каждый, одинаково заражены и развращены.

Он утверждал, что в парламенте, таким способом избранном, корона всегда может иметь влияние и собрать на своей стороне огромное большинство благодаря раздаче множества постов, должностей и пенсионов и что такой парламент может продлить, как сие не раз бывало, срок своих полномочий, а стало быть, и сохранить за собой власть, когда монарх сочтет для себя полезным удержать тех же представителей; и они с таким же правом могут продлить свою власть ad infinitum, как продлили с трех лет до семи.

Итак, с помощью парламента, зависящего от короны, ей преданного и поддерживаемого армией, которую для сего набрали, любой английский король может совершенно разрушить (а какой-нибудь король-честолюбец и разрушит) все бастионы конституции. Ибо нельзя полагать, что властолюбивый монарх терпеливо будет выносить противодействие всем его мерам и оскорбления со стороны разнузданного народа, если он в силах раздавить всяческое сопротивление с помощью законодательной власти.

Утверждал он также, что, по его разумению, свобода печати есть национальное зло, ибо позволяет презренной гадине замарать заслуженную славу, а бесчестному смутьяну возмущать покой общества и разрушать установленный добрый порядок. Однако он признавал, что с некоторыми ограничениями свобода печати есть драгоценная привилегия, но что в наше время для ограничения сей свободы нет в Англии никакого закона.

Что до суда присяжных, то мнение его было таково: присяжные, обычно выбираемые из числа безграмотных плебеев, легко могут ошибиться, подвержены дурному влиянию, и их нетрудно обмануть; ежели какой-нибудь из сторон удается склонить в свою пользу одного из двенадцати присяжных, она может быть уверена в благоприятном решении; сей подкупленный присяжный, невзирая на свидетелей и изобличение, обычно никогда не уступает, покуда товарищи его от досады, утомления или голода не согласятся с ним и не вынесут неправого решения; приговор будет, следовательно, несправедлив, а все присяжные станут клятвопреступниками; впрочем, бывают случаи, когда присяжные в самом деле друг с другом несогласны, но ведь решение должно быть единогласное, и все они связаны не только совестью своей, но и присягой и должны судить по своему убеждению. Что же тогда может последовать? Они принуждены либо переморить друг друга голодом, либо часть из них должна принести в жертву свои убеждения и присоединиться к решению, которое считают несправедливым. Сей нелепицы

избегли в Швеции, где достаточно простого большинства голосов, и в Шотландии, где потребно две трети голосов[1] для вынесения вердикта.

Не думайте, что все сии заключения его не вызвали возражений с моей стороны. Ибо, правду сказать, я полагаю, что честь моя пострадает, ежели он возомнит себя мудрее своих ближних... Я сомневался во всех его утверждениях, выставлял бесчисленные возражения, спорил и препирался с необычным упорством, горячился и даже бесился. Иногда я ставил его в тупик, а раза два я начисто его опровергнул, но после поражений он восставал вновь, точно Антей, с удвоенными силами, доколе напоследок я совсем не утомился и измучился и в самом деле не ведал, что делать дальше, как вдруг, к счастью, он бросил намек, из которого я понял, что он учился законоведению.

Это признание позволило мне прекратить спор с честью, так как нельзя требовать, чтобы такой человек, как я, который ничему не учился, мог состязаться со знатоком своего дела. Однако же мне еще долго будут приходить на память многие суждения сего чудака.

То ли моя сестрица Табби в самом деле пленилась его обхождением или порешила кидаться на каждого, кого встретит во образе мужчины, с целью залучить его в матримониальные силки, но, без сомнения, она шагает гигантскими шагами к тому, чтобы завоевать любовь Лисмахаго, который, если не идет ей навстречу, то все же не остается нечувствительным к ее любезностям. Не раз она намекала, сколь были бы мы счастливы, ежели он составил бы нам компанию во время поездки по той части Шотландии, которую мы намерены посетить, покуда он не сказал без обиняков, что ему с нами не по пути и, сверх того, его сопутствие принесло бы нам мало пользы, ибо он весьма плохо знает страну, покинутую им в ранней юности, почему он не может удовлетворять наше любопытство в пути, а также познакомить нас с каким-нибудь знатным семейством.

Он сказал, что испытывает непреодолимое желание повидать paternus lar, или patria domus[2], хотя не ожидает от сего никакой радости, так как теперешний владелец, племянник его, не из тех людей, которые могут поддержать честь рода. Однако он обещал, что по возвращении нашем западной дорогой он постарается нас подождать в Дамфрисе, чтобы засвидетельство-

---

[1] Ошибка: в Шотландии достаточно простого большинства.
[2] Дом отчий *(лат.)*.

вать свое почтение. Засим он простился с нами на полпути между Морпетом и Анвиком и с величавым видом поскакал прочь верхом на высоком, тощем, костлявом, неуклюжем, седом мерине, лишенном зубов и весьма похожем на своего всадника. Зрелище было отменное, и я бы дал гиней двадцать, чтобы кто-нибудь изобразил его на холсте.

Нортумберленд — красивое графство и простирается оно до Твида, реки, радующей взор своим пасторальным видом, но вы удивитесь, когда я скажу вам, что земли на английском ее берегу отнюдь не так хорошо возделаны и не так населены, как на другом. Крестьянские фермы редки, поля не огорожены и не часто увидишь в нескольких милях от Твида помещичью усадьбу, тогда как с шотландской стороны их множество даже у самого берега реки, где можно насчитать около тридцати прекрасных домов, и принадлежат они тем, чьи предки владели на сей же земле укрепленными замками; а это обстоятельство показывает, сколь опасными соседями были в прежние времена шотландцы для северных графств Англии.

В доме у меня все идет по-старому. Сестрица Табби все еще привержена к методизму, и ей посчастливилось слушать проповедь самого Уэсли в Ньюкасле. Но мне кажется, что любовная страсть несколько остудила горячку благочестия как у нее, так и у служанки ее мисс Дженкинс, из-за благосклонности которой произошла жестокая ссора между лакеем моего племянника мистером Даттоном и моим слугой Хамфри Клинкером. Джерри вынужден был употребить власть для сохранения мира, и ему я предоставил разобрать сие важное дело, которое чуть не разожгло пламя раздора в семействе всегда вашего

*М. Брамбла.*

*Твидмаут, 15 июля*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Уот!

В последних моих двух письмах я столько повествовал о Лисмахаго, что ныне вы, вероятно, порадуетесь его уходу со сцены. Теперь я должен обратиться к домашним происшествиям.

Любовь как будто порешила утвердить свою власть над всеми особами женского пола в нашем семействе. Потрудившись

над сердцем бедной Лидди и пробудив нелепые фантазии у нашей тетушки мисс Табиты, она привела в смятение чувства ее служанки, мисс Уинифред Дженкинс, о которой мне не раз случалось упоминать в продолжение нашей переписки.

Природа предназначала Дженкинс отнюдь не походить нравом на ее хозяйку, но привычка и навык создали удивительное между ними сходство во многих отношениях. Правда, Уин гораздо моложе и миловиднее, к тому же она мягкосердечна и добра, каковыми качествами не отличается ее хозяйка, равно как не отличается она робким нравом и склонностью к припадкам, которыми страдает Уин. Однако к Дженкинс как будто перешли, вместе с поношенными платьями, и манеры Табиты. Уин одевается, как ее хозяйка, и старается походить на нее, хотя ее лицо гораздо приятнее. Сочувствует она скупости своей хозяйки, заучивает ее фразы, повторяет ее замечания, перенимает ее манеру распекать слуг и, наконец, слепо подражает ее поведению на стезе благочестия. Такое поведение показалось ей тем более приятным, что его предуказал и одобрил Клинкер, личные достоинства которого поразили ее, кажется, с той минуты, как он выставил напоказ в Мальборо частицу нагого своего тела.

Но хотя Хамфри и пленил всячески ее чувства и приложил все силы, чтобы укрепить за собой одержанную им победу, однако же не мог бороться с тщеславием Уин, которым бедняжка так же заражена, как все женщины в мире. Короче сказать, мой повеса Даттон прикинулся ее обожателем и благодаря своим чужеземным ухваткам вытеснил из ее сердца соперника своего Клинкера. Хамфри можно сравнить с английским пудингом из добротной муки и сала, а Даттона — с кремом или мороженым, которые хоть и вкусны, но не сытны и не питательны.

Хитрец ослепил ее не только своим нарядом с чужих плеч, но и льстил ей, любезничал и заискивал перед нею. Он научил ее нюхать *pané*, преподнес ей табакерку из папье-маше, снабдил зубным порошком, нарумянил и причесал по парижской моде; он принялся обучать ее французскому языку и танцам, а также взял на себя заботу о ее прическе и таким путем неприметно вкрался к ней в милость.

Клинкер видел его успехи и сетовал втихомолку. Попытался было он увещаниями своими открыть ей глаза, но, убедившись, что никакой пользы от этого нет, прибегнул к молитве. В Ньюкасле он провожал мисс Табби на собрание методистов, а тем временем его соперник повел мисс Дженкинс в театр.

Даттон надел шелковый кафтан, сшитый в Париже для прежнего его хозяина, и нелепый яркий жилет из потускневшей

парчи; волосы он убрал в громадный кошелек, надел большой солитер, а на боку у него болталась длинная шпага. Леди была в воздушном наряде из полинявшего люстрина с выстиранным газом и уже третий раз подкрашенными лентами; но примечательнее всего была ее прическа, которая, подобно пирамиде, возвышалась надо лбом на семь дюймов, а лицо от глаз до подбородка было подмазано и усеяно мушками. Да и кавалер ее не пожалел ни румян, ни белил, чтобы улучшить цвет лица, природой ему данный.

В таком уборе прошествовали они по Хай-стрит и добрались до театра, не потерпев ущерба, так как их приняли за комедиантов, уже разодевшихся для представления. Но когда они возвращались домой, было еще светло, а народ к тому времени узнал, кто они такие и каково их положение, и всю дорогу их провожали свистом и гиканьем, мисс Дженкинс забрызгали грязью и оскорбили позорной кличкой «размалеванная Иезавель», так что от страха и стыда она впала в истерику, как только вошла в дом.

Клинкер, разозлившись на Даттона, которого считал виновником ее поругания, стал сурово упрекать его за то, что он вскружил голову бедной девушке. Тот обошелся с ним презрительно и, приняв его терпеливость за трусость, пригрозил проучить хлыстом. Тогда Хамфри пришел ко мне и смиренно попросил, чтобы я дозволил ему наказать моего слугу за дерзость.

— Он вызвал меня драться на шпагах,— сказал Хамфри,— но это все равно как если б я потребовал, чтобы он сделал подкову или плуг, потому что в шпагах я понимаю не больше, чем он в подковах или плугах. Да и не годится слугам пользоваться этим оружием или присваивать право джентльменов убивать друг друга, если случится им повздорить. А к тому же я ни за что на свете не согласился бы иметь на совести его кровь, даже если б смерть его принесла мне выгоду или удовольствие. Но буде ваша милость не прогневается, я берусь хорошенько его отколотить, и, может быть, это пойдет ему на пользу, а уж я постараюсь о том, чтобы его не покалечить.

Я отвечал, что не возражаю против его предложения, но пусть он устроит дело так, чтобы его не сочли зачинщиком, иначе Даттон притянет его к суду за нападение и побои.

Получив мое разрешение, он удалился и в тот же вечер без труда раздразнил своего соперника, заставив нанести первый удар, за который уплатил с такими процентами, что Даттон принужден был просить пощады, объявив в то же время, что

потребует жестокого и кровавого удовлетворения, как только мы очутимся по ту сторону границы, и проколет его насквозь, не страшась последствий. Это происходило в присутствии лейтенанта Лисмахаго, который подстрекал Клинкера драться с противником холодным оружием.

— Холодное оружие! Никогда я не возьму в руки холодного оружия, чтобы посягнуть на жизнь человека! — воскликнул Хамфри.— Но его шпаги я вовсе не боюсь и готов обороняться доброй дубинкой, а с нею я всегда к его услугам.

Между тем прекрасная виновница сей распри, мисс Уинифред Дженкинс, казалась удрученной горем, а мистер Клинкер держал себя холодно, хотя и не дерзал упрекать ее за поведение.

Вскоре спор между двумя соперниками закончился весьма неожиданно. Среди постояльцев гостиницы в Беруике, где мы остановились, была некая чета из Лондона, ехавшая в Эдинбург с целью связать себя узами брака. Девица была дочерью и наследницей умершего ростовщика, бежавшей от своих опекунов и вверившей свою судьбу рослому ирландцу, который приехал с нею сюда в поисках священника, готового сочетать их браком без соблюдения тех формальностей, какие предписаны английским законом.

Не знаю, как обошелся доро́гою жених со своей возлюбленной, однако же он начал терять ее расположение. По всей вероятности, Даттон приметил холодность с ее стороны и начал нашептывать ей о том, как жалко ему, что она подарила свою любовь портному, которым, по его словам, был ирландец. Это открытие окончательно отвратило ее от жениха, чем и воспользовался мой слуга, который начал втираться к ней в милость; сладкоречивый повеса без труда прокрался в ее сердце, доселе принадлежавшее другому. Решение они приняли без проволочек. Утром, на рассвете, в то время как бедняга ирландец храпел в своей постели, неутомимый его соперник нанял почтовую карету и отправился со своею леди в Колдстрим, за несколько миль отсюда, ближе к верховью Твида, где проживал некий священник, промышлявший такими делами, и они сочетались узами брака, прежде чем ирландец и помыслить о том успел. Когда же он проснулся в шесть часов утра и обнаружил, что птичка улетела, то поднял такой шум, что вызвал переполох во всем доме.

Первым попался ему на глаза форейтор, вернувшийся из Колдстрима, где он был свидетелем при бракосочетании и, помимо щедрого вознаграждения, получил от невесты розетку

из лент, которую и приколол к своей шляпе. Покинутый жених едва не сошел с ума, узнав, что они уже вступили в брак и поехали в Лондон, а Даттон сообщил леди, будто он (ирландец) — портной. Первым делом он сорвал бант со шляпы форейтора и отхлестал его лентой по ушам. Затем стал клясться, что будет преследовать соперника до врат ада, и приказал немедленно подать карету, запряженную четверкой, но, вспомнив, что средства не позволяют ему такого способа путешествовать, принужден был отменить этот приказ.

Что касается меня, то я ровно ничего не знал о случившемся, покуда форейтор не принес мне ключей от моего сундука и чемодана, полученных им от Даттона, который поручил засвидетельствовать мне почтение и выражал надежду, что я прощу ему внезапный отъезд, ибо от такого его поступка зависело его счастье. Не успел я уведомить дядюшку об этом происшествии, как в комнату ко мне ворвался без доклада ирландец и закричал:

— Клянусь честью, ваш слуга ограбил меня на пять тысяч фунтов, и я добьюсь сатисфакции, хотя бы меня завтра за это повесили!

Когда я спросил его, кто он такой, он отвечал:

— Зовут меня мистер Маклоуглин, но должно было бы звать меня Лейглин Онил, потому что происхожу я от Тер-Оуэна Великого, и я не хуже любого дворянина в Ирландии. А ваш мошенник слуга сказал, будто я портной, а это такая же ложь, как если б он назвал меня римским папой! Я был человек богатый, но растратил все, что имел. И вот, когда я попал в беду, мистер Косгрейв, модный портной с Саффок-стрит, выручил меня из тюрьмы и сделал своим личным секретарем; я оказался последним, кого он взял на поруки, потому что его друзья обязали его не брать никого, если нужно внести больше десяти фунтов. Дело в том, что он не мог отказать никому из просивших, а потому со временем разорился бы окончательно, и если бы продолжал вести такую жизнь, то очень скоро умер бы банкротом. Тогда стал я ухаживать за молодой леди, имевшей пять тысяч фунтов, за мисс Скиннер, которая согласилась делить со мной радость и горе. И вот сегодня она стала бы моей, если бы не вмешался этот мошенник, ваш слуга, который пробрался, как тать, и украл мое добро, а ей внушил, что я портной и что она идет замуж не за настоящего человека! Но черт возьми мою душу, если я не докажу мошеннику, что я в десять раз лучше, чем он или любой другой клоп из его соотечественников, только бы мне поймать его в горах Туллогобегли!

Когда он выпустил этот первый залп, я выразил сожаление, что он позволил так себя надуть, но сказал, что дело это до меня не касается, а парень, похитивший у него невесту, лишил меня слуги.

— Не говорил ли я вам,— воскликнул он,— что настоящее имя ему Мошенник? О, если бы мог я разок ткнуть его шпагой, пускай тогда бахвалится до конца жизни!

Заслушав шум, дядюшка вошел в комнату и, узнав о происшествии, начал утешать мистера Онила, от которого сбежала его леди, и заметил, что тот счастливо избавился от беды: было бы хуже, если бы она сбежала после свадьбы. Однако ирландец был совсем другого мнения. Он заявил, что если бы он уже женился на ней, то пускай бы она бежала, когда ей угодно; он позаботился бы о том, чтобы она не могла забрать с собой деньги.

— Ах! — вскричал он.— Она — Иуда Искариот, она предала меня своим поцелуем и, как Иуда, унесла мешок и не оставила мне достаточно денег, чтобы оплатить обратный путь в Лондон. Теперь, когда я попал в беду, а мошенник, повинный в этом, оставил вас без слуги, вы могли бы взять меня на его место, и, клянусь Иисусом, это лучшее, что вы можете сделать!

Я попросил его извинить меня и объявил, что скорее готов мириться со всякими неудобствами, чем обращаться с потомком Тер-Оуэна Великого, как с лакеем. Потом я посоветовал ему вернуться к его приятелю, мистеру Косгрейву, и отправиться из Ньюкасла морем, а для этой цели снабдил его деньгами, после чего он удалился, как будто примирившись со своим несчастьем. Я нанял на пробу одного шотландца, Арчи М'Алпина, старого солдата, чей прежний хозяин недавно умер в Беруике. Это морщинистый старик, но за верность его мне поручилась миссис Хамрис, хозяйка гостиницы в Твидмауте, очень славная женщина, о которой с большим уважением отзываются все проезжающие по этой дороге.

Клинкер, без сомнения, почитает себя счастливым, избавившись от опасного соперника, и он слишком добрый христианин, чтобы роптать по случаю удачи Даттона. Даже мисс Дженкинс должна возрадоваться этому происшествию, когда хладнокровно о нем поразмыслит: если и запуталась она на некоторое время в сетях, расставленных ее тщеславию, то Хамфри есть та Полярная звезда, к которой в конце концов обратится стрелка ее сердца. Ныне же ее тщеславию нанесен жестокий удар, ибо новый обожатель покинул ее ради другой возлюбленной. Эту

весть она встретила неудержимым смехом, но вскоре разразилась рыданиями, истощившими наконец терпение ее хозяйки, которое, сверх всяких ожиданий, долго не изменяло ей.

Теперь же хозяйка открыла все шлюзы, задерживавшие до сей поры поток ее попреков. Не только ругала она Дженкинс за легкомыслие и нескромное поведение, но и завела речь о благочестии, сказав напрямик, что Дженкинс оступилась от веры и погрязла во грехе; наконец она пригрозила отправить ее восвояси отсюда, с самой границы королевства. За бедную Уинифред вступилось все семейство, не исключая даже обиженного ее воздыхателя, мистера Клинкера, который на коленях вымолил ей прощение.

Были, однако, и другие заботы, беспокоившие мисс Табиту. В Ньюкасле какой-то шутник сказал слугам, что в Шотландии нечего есть, кроме овсянки и бараньих голов, а когда обратились с вопросом к лейтенанту Лисмахаго, его слова скорее подтвердили, чем опровергли это сообщение. Узнав о таком обстоятельстве, тетушка наша весьма серьезно посоветовала своему брату приобрести вьючную лошадь и взять в дорогу для нашего пропитания ветчины, языков, хлеба, сухарей и всяких припасов, а мистер Брамбл столь же серьезно обещал подумать о ее совете. Но, убедившись, что никаких запасов не сделано, она снова о них заговорила, прибавив, что в Беруике есть неплохой рынок, где мы можем закупить припасы, и что лошадь моего слуги заменит нам вьючное животное.

Сквайр, пожав плечами, посмотрел на нее искоса с невыразимым презрением и, помолчав, сказал:

— Сестра, я с трудом могу поверить, что вы говорите всерьез.

Она же так мало была знакома с географией острова, что воображала, будто в Шотландию мы можем ехать только морем. Когда мы миновали Беруик и объявили ей, что находимся на шотландской земле, она с трудом поверила нашим словам. По правде сказать, в этом отношении большинство южных бриттов — жалкие невежды. Отсутствие любознательности и привычные насмешки — последствие старинной вражды — привели к тому, что жители южной части острова знают о Шотландии столько же, сколько о Японии.

Если бы не случилось мне бывать в Уэльсе, я был бы сильнее поражен приметной разницей между земледельцами, живущими по сю и по ту сторону Твида. Поселяне Нортумберленда — здоровые, цветущие парни, опрятно и хорошо одетые; но шотландские земледельцы большей частью долговязы, тощи, черты лица

у них грубые, цвет лица нездоровый, они грязны и оборванны, а их маленькие приплюснутые синие шапки придают им нищенский вид. Также и скот под стать своим погонщикам — худой, чахлый, плохо выкормленный. Когда я заговорил об этом с дядюшкой, он сказал:

— Правда, шотландские поселяне не выдержат сравнения с поселянами богатых графств южной Англии, но они ни в чем не уступают французским, итальянским и савойским крестьянам, не говоря уже о горных жителях Уэльса и красноногих ирландцах.

Добравшись до Шотландии, мы проехали шестнадцать миль по ужасной вересковой пустоши, и, если судить по ней, можно было не ждать ничего хорошего от внутренних областей государства, но, по мере того как мы подвигались вперед, вид становился лучше. Миновав Данбар, чистенький городок, расположенный на берегу моря, мы остановились в деревенской гостинице, которая удобствами своими превзошла все наши ожидания, но этого мы не могли почесть заслугой шотландцев, потому что хозяин — уроженец Англии. Вчера обедали мы в Хаддингтоне, когда-то значительном городе, ныне пришедшем в упадок, а вечером прибыли сюда в столицу, о которой я пока мало могу порассказать. Расположена она весьма живописно на склоне холма, на вершине которого находится укрепленный замок, а у подножья — королевский дворец.

Первое, что ударяет в нос иностранцам, называть не буду, но взор его поражает прежде всего невероятная высота домов; большей частью дома здесь пяти-, шести-, семи- и восьмиэтажные, а есть, как уверяли меня, и двенадцатиэтажные. Возведение таких строений, связанное с бесчисленными неудобствами, должно объяснить недостатком места. В самом деле, город полон людьми; но их внешность, язык и обычаи весьма отличаются от наших, и я едва могу поверить, что нахожусь в Великобритании.

Гостиница, где мы остановились (если можно назвать этот приют гостиницей), оказалась такой грязной и во всех отношениях дрянной, что дядюшка начал сердиться и приступы подагры у него возобновились. Припомнив, однако, что у него есть рекомендательное письмо к некоему законоведу, мистеру Мичелсону, он послал его со своим слугой, поручив передать поклон и сказать, что завтра явится к нему самолично. Но этот джентльмен тотчас посетил нас и настоял на том, чтобы мы поселились у него в доме, пока он подыщет для нас подходящую квартиру.

Мы с радостью приняли его приглашение и переехали к нему в дом, где были приняты и учтиво и радушно, к великому замешательству тетушки, предрассудки которой хоть и начали блекнуть, но не совсем еще рассеялись. Сегодня, с помощью нашего друга, мы расположились в удобной квартире на четвертом этаже на Хай-стрит; в этом городе четвертый этаж почитается более приличным, чем первый. Воздух здесь, по всей вероятности, лучше, но нужны здоровые легкие, чтобы дышать им на таком расстоянии от поверхности земли. Однако ж, покуда существую я на земле, высоко или низко, я пребуду, доколе дышу, дорогой Филипс,

вашим *Дж. Мелфордом.*

*Эдинбург, 18 июля*

## *Доктору Льюису*

Любезный Льюис!

Эту часть Шотландии, прилежащую к Беруику, кажется, сама природа назначила служить барьером между двумя враждебными народами. Страна эта представляет пространную бурую степь, на которой ничего не растет, кроме вереска и папоротника; еще более мрачной предстала она нам, ибо ехали мы сквозь густой туман, непроницаемый уже ярдах в двадцати от кареты.

Сестрица моя начала делать кислые рожи и прибегать к нюхательной соли, Лидди побледнела, а мисс Дженкинс пришла в уныние. Но через несколько часов клубы тумана рассеялись, по правую руку показалось море, а по левую — слегка удаленные горы открыли красивую равнину, лежавшую между ними и морем; более всего удивило нас, что сия равнина покрыта была на много миль пшеницей, такой же отменной, как в самых плодородных частях южной Англии. Эти тучные хлеба стоят в открытом поле неогороженные, и земля ничем не удобряется, кроме как alga marina, или водорослями, которых у этих берегов изобилие; сие доказывает, что почва и климат здесь благоприятные, но земледелие еще не достигло того совершенства, как в Англии. Изгороди не только сохраняли бы в почве тепло и отделяли одно поле от другого, но и защищали бы хлеб от сильных ветров, которые нередки в этой части острова.

Данбар расположен весьма выгодно для торговли и имеет гавань, где малые суда могут стоять в полной безопасности,

но заметно, что торговля здесь не процветает. Отсюда до самого Эдинбурга простираются непрерывной цепью красивые поместья, принадлежащие знатным особам и дворянам; поскольку каждое из них окружено парком и рощей, они очень украшают этот край, который без них был бы пустынен и гол.

В Данбаре есть славный парк с охотничьим домиком, принадлежащий герцогу Роксбургу, где Оливер Кромвель стоял главной квартирой, когда Лесли во главе шотландской армии захватил окрестные холмы и стеснил его так, что он вынужден был бы сесть на суда и уйти в море, ежели бы враги из-за своего фанатизма не лишились преимущества, достигнутого их генералом. Духовенство ихнее всяческими увещаниями, мольбами, уверениями и пророчествами подстрекнуло их спуститься с холмов и сокрушить филистимлян, и они покинули позиции, несмотря на все усилия Лесли обуздать их безумное исступление. Когда Оливер увидел, что они двинулись, он воскликнул: «Благословен господь, предавший врагов в руки раба его!» — и приказал своему войску запеть благодарственный псалом, как только шотландцы приблизились к равнине, где они и были наголову разбиты.

Вблизи Хаддингтона находится помещичья усадьба, постройка коей и все улучшения окрест стоили, говорят, сорок тысяч фунтов; но я не сказал бы, что мне очень понравилась архитектура ее или местоположение, хотя перед ней протекает тихая речка, берега которой не лишены приятности. Надумал было я посетить лорда Элибанка, которого я знавал в Лондоне много лет назад. Он проживает в этой части Лотиана, но уехал к кому-то на север. Вы частенько слыхали от меня об этом знатном дворянине, которого я давно уже почитаю за человечность и всеведущий ум, не говоря уже о том, что своеобычный его нрав весьма занимателен.

В Муссельбурге, однако же, мне повезло, и я пил чай со старым моим приятелем мистером Кардонелем и дома у него встретился с доктором С., приходским священником, юмор которого и беседа вселили в меня горячее желание познакомиться с ним поближе. Не удивляюсь, что эти шотландцы в любой части света прокладывают себе дорогу.

Городок этот расположен только в четырех милях от Эдинбурга, куда мы проследовали морским берегом по гладкому твердому песку, обнажившемуся после отлива.

Эдинбург, если смотреть, на него с этой дороги, имеет вид непривлекательный; ясно нельзя было разглядеть верхнюю часть города и за́мок, который, вследствие излучин дороги,

показывал нам отдельные шпицы и башни, как бы поднимавшиеся над развалинами какого-то огромного здания. Дворец Холируд стоит по левую руку при въезде в Канонгейт. Эта улица идет к воротам, называемым Нетербау, которые уже сломаны, и простирается на добрую милю от подножья до самой вершины холма, на котором величественно стоит замок. В рассуждении прекрасной ее мостовой, широты высоких домов по обе ее стороны, улица эта, несомненно, могла бы почитаться одной из самых красивых улиц Европы, ежели бы почему-то посредине ее не сгрудилось множество жалких домишек подобно тому, как Миддлроу на Холборне.

Город лежит на двух холмах и в лощине меж ними и, невзирая на его недостатки, вполне может сойти за столицу небольшого королевства. В нем много жителей, и он наполнен стуком карет и повозок. Сколько я мог заметить, в съестных припасах здесь недостатка нет. Говядина и баранина здесь не хуже валлийской, море снабжает рыбой в избытке, хлеб отменно хорош, вода превосходна, хотя, опасаюсь, ее не хватает для соблюдения чистоты и для других нужд; признать надобно, что шотландцы не очень о сем заботятся. Вода доставляется с близлежащей горы по свинцовым трубам в водоем на Кестл Хилл, откуда распределяется так же по трубам в разные части города. Отсюда мужчины и женщины тащат ее на спине в бочонках вверх по лестницам на второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи для нужд отдельных семейств. На каждом этаже живет семейство, лестница у них общая и частенько бывает весьма грязная; надлежит ходить по ней осмотрительно, если не хочешь замочить башмаков. Но нет ничего разительнее контраста между тем, что находишь снаружи и внутри жилищ, ибо здешние хозяйки прежде всего пекутся об опрятности и украшении своего жилья, точно хотят отвести от себя обвинения и переложить их на всех остальных.

Вы не можете не знать здешнего обычая выливать нечистоты ночью в известные часы, прямо из окошек на улицу, подобно тому как это делают в Испании, Португалии и в некоторых городах Франции и Италии; с этим обычаем я не могу примириться, и хотя мусорщики весьма старательно убирают на рассвете сию гадость, но все же остается ее немало, чтобы оскорблять глаз и другие органы чувств тех людей, у которых привычка не убила деликатности.

Но здешние жители нечувствительны к таким впечатлениям и воображают, будто выказываемое нами отвращение не что иное, как притворство: следовало бы им сжалиться над ино-

странцами, непривычными к такого рода страданиям, да поразмыслить, не достойнее ли будет сделать усилия, дабы избавиться от упреков, которыми их награждают по сему поводу соседи.

Что касается до удивительной высоты здешних домов, то это нелепо по многим причинам; но одна из них прямо приводит меня в ужас, ибо в случае пожара в нижних этажах, когда общая лестница станет непроходима, положение семейств, живущих наверху, поистине ужасно. Чтобы предотвратить страшные последствия такого несчастного случая, надлежало бы сделать на каждом этаже двери из одного дома в другой, через которые жильцы смогли бы бежать от такой беды. Однако мы видим, как сила привычки повсюду одерживает верх над благоразумием и бесспорной выгодой.

Ежедневно, от часу до двух часов дня, жители Эдинбурга, занятые торговлей, и даже люди благородного происхождения стоят толпами на улице в том месте, где прежде была красивая, готической архитектуры, рыночная часовня, которую ныне, кстати сказать, можно увидеть неподалеку, в саду лорда Сомервилла; так вот толпа людей стоит прямо посреди улицы только по привычке, вместо того чтобы пройти несколько шагов до биржи, которая всегда пустует, либо до огороженной площади перед парламентом, украшенной превосходной конной статуей короля Карла II. Толпа эта собирается здесь послушать игру колоколов на стоящей поблизости колокольне. Колокола эти хорошо подобраны, музыкант, получающий жалованье от города, играет на них неплохо, и слушать их приятно, особливо поражают они слух чужестранца.

Гостиницы в Эдинбурге похуже, чем в Лондоне, но при помощи одного достойного джентльмена, коему меня препоручили, мы наняли хорошее помещение у одной вдовы благородного происхождения, миссис Локарт; тут я и останусь, покуда не осмотрю всего достойного внимания в сей столице и в окрестностях.

Начинаю чувствовать благие последствия путешествия. Ем, как простой фермер, сплю с полуночи до восьми часов утра без просыпу и наслаждаюсь ровным расположением духа, ни вялости, ни возбуждения не чувствую. Но каким бы приливам и отливам ни подвергалось мое душевное состояние, сердце мое не устанет возвещать о том, что я, любезный Льюис, пребываю вашим преданным другом и слугой

*М. Брамблом.*

*Эдинбург, 18 июля*

*Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Милая Мэри!

Сквайр по доброте своей согласился упечатать мое глупенькое письмецо вместе со своим письмом. Ох, Мэри Джонс, Мэри Джонс! Какие были у меня пытки, и в каких я была трехволнениях! Господи, помилуй меня! Уж сколько дней была я ведьмой и драконом. Сатане удалось-таки испытать меня в виде Даттона, камардина при молодом сквайре, но, по милости божьей, он меня не одолел. Я думала, никакой беды тут нет пойти в тиатер в Невкасле и волосы убрать на парижский манер, да малость подрумянилась, потому как Даттон сказал, что лицо у меня бледное, ну вот я и позволила ему подмазать меня гишпанским маслом. А беспутные матросы с угольщиков и всякая шваль, которой только своя сажа и мила, напали на нас на улице и обозвали меня шлюхой и раскрашенной Изабелью и платье мне обрызгали грязью и попортили тройные гофрированные блонды, а были они совсем как новые. Горничной леди Грискин в Лондоне я за них заплатила семь шиллингов.

Спросила я мистера Клинкера, что оно такое значит — Изабель, а он дал мне в руки Библию, и вот я прочитала об этой Изабели, накрашенной девке, ее выбросили из окошка, и прибежали собаки и лизали ее кровь. Но я не девка, и с божьей помощью ни одна собака не будет мою кровь лизать. Боже упаси, аминь!

А уж этот Даттон волочился за мной и улещивал меня, а потом украл у ирландца невесту и был таков, бросил и меня, и своего хозяина. Да по мне провались он совсем! Но из-за него натерпелась я горя. Хозяйка ругалась, как сумасшедшая, но было мне в утешение, что все семейство за меня заступилось, и даже мистер Клинкер упрашивал простить меня на обеих коленках, хотя богу известно, уж у него-то была причина жаловаться, но он — добрая душа, переполненная христианским смирением, и придет такой день, когда он получит награду.

А теперь, милая Мэри, приехали мы в Хединборог, к шотландцам, и они за наши денежки довольно ласковы, хоть я поихнему не говорю. Но нечего им надувать иностранцев, потому как на ихних домах понавешены бумажки, что сдаются они со всякими удобствами, а во всем ихнем королевстве не найдешь нужника, и для бедных слуг только всего и есть, что бочка с положенным поперек ухватом, и туда сливают раз в день все горшки со всего дома, а в десять часов вечера все, что наберется в этой самой бочке, выливают из заднего окошка на улицу или

в переулок, а служанки кричат прохожим: «Бер-регись!» — а это значит: «Спаси вас бог!», и так делают каждый вечер в каждом доме в этом Хединбороге. Сами понимаете, Мэри Джонс, какой преятный аромат идет от такого множества духовитых бочек. Но, говорят, этот запах пользителен для здоровья, да я и сама тому верю, потому как случилось у меня нерасположение в духе и стала я думать об Изабеле и мистере Клинкере и уж совсем собралась упасть в истерику, а тут эта самая вонь, не при вас будь сказано, как шибанет мне в нос, я и чихнула три раза сряду, и чудо, как меня это взбодрило, вот это она самая причина и есть, почему у них тут в Хединбороге не бывает истерики.

Наговорили мне еще, будто нечего тут есть, окромя как овсянку и бараньи головы, я сдуру и поверила, а должна была бы смикнуть, что не может быть головы без тела. И в самый сегодняшний день ела я за обедом нежную ногу вэлского барашка и цветную капусту, а овсянку пущай едят здешние слуги, такие они горемыки, и многие ходят без башмаков и чулок.

Мистер Клинкер говорит мне, что здесь большая нужда в евангельском учении, но боюсь, ох, боюсь, как бы кто из нашего семейства не свернул с пути праведного. Была б я сплетницей, нашлось бы у меня о чем порассказать. Хозяйка моя ужасти как перемигивалась и пересмеивалась со старым шотландским офицером по прозванию Лишмахага.

Он похож на чучело, его поставил наш садовник пугать ворон, а что из этого выйдет, одному богу ведомо. Но как будет, так будет, а про меня никто не скажет, что я хоть словечком обмолвилась... Передайте мой поклон Сауле и кошке. Надеюсь, она получила мой букварь и будет прележно учиться, а об этом, милая Молли, молится не покладая рук любящая вас подруга

*Уин Дженкинс.*

*Хединборог, 18 июля*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

Если поживу я подольше в Эдинбурге, то сделаюсь настоящим шотландцем. Дядюшка замечает, что я уже понемножку усваиваю местное произношение. Люди здесь так общительны и учтивы с иностранцами, что я незаметно втягиваюсь в русло их

нравов и обычаев, хотя они отличаются от наших более, чем вы можете себе представить. Однако ж различие это, столь поразившее меня по приезде сюда, я теперь едва примечаю, а мое ухо совсем примирилось с шотландским произношением, которое я даже нахожу приятным в устах хорошенькой женщины. Местный диалект дает понятие о милой простоватости. Вы и вообразить не можете, как нас ласкали и чествовали в «славном городе Эдинбурге», где мы приняты в число вольных граждан и членов гильдии по особой милости магистрата.

В Бате дали мне забавное поручение к одному из жителей сей столицы. Куин, узнав о нашем намерении посетить Эдинбург, вынул из кармана гинею и попросил, чтобы я пропил ее в таверне с близким другом его и собутыльником мистером Р. К., здешним законоведом. Я охотно согласился исполнить поручение и, взяв гинею, сказал:

— Благодарю за подарок.

— А в придачу за головную боль, если выпьете вдосталь! — смеясь, отвечал Куин.

С этим поручением я отправился к мистеру К., который встретил меня с распростертыми объятиями и, согласно условию, назначил место свидания. Он собрал веселых ребят, с которыми я чудесно провел время, и старался изо всех сил воздать должное мистеру К. и Куину. Но увы! Оказался я новичком среди ветеранов, которые сжалились над моей молодостью, и уж не знаю, как доставили меня утром домой. Что до головной боли, то Куин ошибся: кларет был слишком хорош, чтобы так грубо обойтись со мной.

Между тем как мистер Брамбл ведет здесь беседы с серьезными учеными мужами, а наши женщины развлекаются, обмениваясь визитами с шотландскими леди, приятнейшими и добрейшими созданиями, я коротаю время с эдинбургскими щеголями, которые наряду с остроумием и живостью наделены изрядной проницательностью и самообладанием, каковые нечасто подметишь у их соседей в счастливую пору юности. Шотландец не проронит ни словечка, которое могло бы показаться обидным кому-нибудь из собеседников, и вы никогда не услышите злословия о другой нации. В этом отношении должно признать, что мы несправедливы к шотландцам и не чувствуем к ним благодарности, ибо, поскольку я могу судить, они питают подлинное уважение к уроженцам южной Британии и говорят о нашей стране не иначе, как благожелательно.

Однако им чуждо рабское подражание нашим модам и модным порокам. Все их обычаи и распорядок жизни, обще-

ственной и домашней, их дела и развлечения отличаются своеобразием. Этим своеобразием отмечена их наружность, одежда, манеры, их музыка и даже кухня. Наш сквайр утверждает, что во всем мире не знает он другого народа, у которого столь ярко выражен национальный характер.

Упомянув о кухне, я должен сказать, что некоторые их блюда не только вкусны, но и изысканны; но я еще не настолько шотландец, чтобы смаковать паленую баранью голову и *хегис*, которые были поданы по нашей просьбе на стол, когда мы обедали однажды у мистера Мичелсона. Паленая баранья голова напомнила мне историю Конго; в сей книге я читал о том, как продают на рынках головы негров, а хегис — смесь из рубленых легких, печенки, сала, овсяной муки, лука и перца, которою начинен бараний желудок,— немедленно возымел действие на мой собственный желудок, деликатная же мисс Табби изменилась в лице, после чего предмет нашего отвращения был тотчас по знаку хозяина убран со стола.

Шотландцы вообще питают к этому кушанью нечто вроде национального пристрастия, а также и к овсяному хлебу, который подают за каждым столом в виде тонких треугольных лепешек, а пекут его на железных листах, именуемых «гердл». Многие уроженцы Шотландии, даже из высших слоев общества, предпочитают этот хлеб пшеничному, который у них очень хорош.

Помните, как мы докучали бедному Мюррею из Балиол-колледжа вопросами, неужели в Шотландии нет никаких других плодов, кроме репы. И в самом деле, здесь подают к столу репу, но не вместо десерта, а как hors d'œuvres[1] или для возбуждения аппетита,— так во Франции и в Италии подают в промежутках между более питательными блюдами редиску; но должно отметить, что здешняя репа превосходит по сладости, нежности и аромату репу английскую так же, как дыня — простую капустную кочерыжку. Здесь репа маленькая, конической формы, желтоватая, с очень тонкой кожицей и, не говоря уж о приятном ее вкусе, весьма ценится как противоцинготное средство.

Что касается до ягод и фруктов, поспевающих в эту пору года, например вишен, крыжовника, смородины, то в них нет недостатка в Эдинбурге, а в садах некоторых джентльменов, проживающих в окрестностях, есть абрикосы, персики с пушистой и гладкой кожицей и даже виноград. А в нескольких

[1] Закуска *(франц.)*.

милях от сей столицы я видел даже очень хорошие ананасы. Впрочем, дивиться тут нечему, если мы вспомним, что разница между здешним климатом и лондонским очень невелика.

Большое удовольствие доставило нам посещение всех достопримечательных мест в городе и за десять миль от него в окрестностях. В за́мке есть королевские покои, где иногда живал монарх, и здесь заботливо хранятся королевские регалии, как-то: корона, говорят, весьма ценная, скипетр и государственный меч, украшенный дорогими каменьями. Народ ревниво оберегает эти знаки верховной власти: когда, во время заседания парламента Объединенного королевства, распространился слух, будто они отправлены в Лондон, начался такой бунт, что лорд-комиссара разорвали бы на части, если бы он, дабы успокоить народ, не показал ему этих регалий.

Дворец Холируд красив своей архитектурой, но находится в темной, и, кажется, мне, нездоровой низине, точно построили его тут для того, чтобы спрятать от глаз. Покои просторные и высокие, но мебели в них нет, а что касается до портретов шотландских королей, от Фергуса I до короля Вильяма, то это жалкая мазня, и почти все они созданы одним и тем же художником, писавшим их либо так, как подсказывала ему его фантазия, либо с носильщиков, нанятых для этой цели.

Все лондонские увеселения находим мы и в Эдинбурге, только в более скромном виде. Есть здесь хороший оркестр, в котором играют джентльмены на разных инструментах. Все шотландцы имеют склонность к музыке. Каждый, кого бы вы ни встретили, играет на флейте, скрипке или виолончели, и есть здесь некое знатное лицо, чьи сочинения вызывают общий восторг. Труппа актеров очень недурна, и теперь открыли подписку на постройку нового театра. Но больше всего нравятся мне здесь ассамблеи.

Мы побывали на охотничьем бале, где я был поражен при виде стольких прекрасных женщин. Англичане, никогда не бывавшие за Твидом, заблуждаются, полагая, будто шотландские леди не блистают красотой; я же по чистой совести смею утверждать, что никогда не видывал такого множества красивых женщин, приехавших на бал. На конные состязания в Лейте съезжается лучшее общество из отдаленных провинций; стало быть, полагаю я, мы видели всех красавиц сего королевства, собравшихся, так сказать, в одном фокусе, столь ослепительном, что сердце мое едва могло устоять. Скажу вам, как другу, оно потерпело урон от ярких глаз очаровательной мисс Р—м, с которой

я имел честь танцевать на бале. Графиня Мельвиль притягивала взоры и вызывала восхищение всех присутствующих. Ее сопровождала миловидная мисс Грив, одержавшая много побед, да и моя сестра Лидди привлекала внимание на ассамблее. В Эдинбурге провозглашают за нее тосты, называя ее «прекрасной валлийкой», и вина выпито уже немало, но на бале с бедняжкой приключилась беда, которая всех нас очень встревожила.

Молодой джентльмен, вылитый портрет этого негодяя Уилсона, подошел к ней и пригласил на менуэт, и внезапное его появление так взволновало ее, что она упала в обморок. Я называю Уилсона негодяем потому, что если бы он был джентльменом и имел честные намерения, он давно бы уже явился под настоящим своим именем. Признаюсь, кровь моя закипает от негодования, когда я думаю о дерзости этого человека, и будь я проклят, если не... Но не буду по-женски браниться... Может быть, время предоставит мне случай...

Слава богу, причина нездоровья Лидди остается тайной. Леди — распорядительница бала, полагая, что ей стало дурно от жары, приказала перенести ее в другую комнату, где она вскоре оправилась и могла вернуться и принять участие в контрдансах, в которых шотландские девицы отличаются такою живостью и ловкостью, что кавалеры едва-едва за ними поспевают.

Кажется, тетушка наша мисс Табита лелеяла надежду одержать на этой ассамблее немало побед над кавалерами. Несколько дней совещалась она с модистками и портнихами, готовясь к празднику, на коем и появилась в платье из узорчатой ткани, такой толстой и тяжелой, что в эту пору года человеку с живым воображением достаточно было взглянуть на нее, чтобы вспотеть. Один менуэт она танцевала с приятелем нашим мистером Мичелсоном, который оказал ей эту честь, побуждаемый радушием и вежливостью. В другой раз ее пригласил молодой лэрд из Балимаухепла, который прибыл на бал случайно и не сразу мог найти себе другую даму. Но первый был человек женатый, второй же не обратил внимания на ее прелести, а потому она стала хмурой и придирчивой.

За ужином она сказала, что шотландские джентльмены обучаются учтивости, если случится им попутешествовать, а потому очень жаль, что не все они пользуются случаем побывать в чужих краях. Женщин она обозвала неуклюжими, мужеподобными созданиями: танцуя, они брыкаются, как жеребята, не имеют понятия о грациозных движениях, и платья их сшиты

ужасно. Но, по правде сказать, на этой ассамблее сама Табби была уморительна, а одета хуже всех. Пренебрежительное отношение к ней мужчин сделало ее недовольной и сварливой; все было ей не по вкусу в Эдинбурге, и она докучала своему брату просьбами уехать отсюда, но вдруг примирилась с этим городом из религиозных соображений.

Есть здесь секта фанатиков, отпавших от государственной церкви и именуемых «вероотступниками». Они не признают земной главы церкви, отвергают вмешательство мирян в церковные дела и исповедуют методистское учение о новом рождении, новом свете, о силе благодати, о недостаточности добрых дел и о воздействии духа святого. Мисс Табиту в сопровождении Хамфри Клинкера допустили в одну из их молелен, где оба они узнали много назидательного. Ей посчастливилось завязать знакомство с набожным христианином по имени мистер Мофат, который силен в молитве и частенько помогает ей в домашних благочестивых упражнениях.

Никогда не видывал я на конных состязаниях в Англии такого стечения людей светских, как на состязаниях в Лейте. Тут же поблизости, на лугу, который называется Линкс, эдинбургские жители забавляются игрою, именуемою *гольфом*, причем употребляют особенные клюшки с роговым наконечником и маленькие упругие кожаные мячики, набитые перьями; они поменьше наших теннисных мячей, но более тверды. По ним они ударяют с такой силой и ловкостью, перегоняя из одной ямки в другую, что мячи летят невероятно далеко. Шотландцы так любят это развлечение, что в погожий день вы можете увидеть множество людей всех сословий, от главного судьи до последнего лавочника, которые с превеликим воодушевлением бегают все вместе за своими мячами.

Показали мне, между прочим, компанию игроков в гольф, из коих самому молодому стукнуло восемьдесят лет. Все эти люди имеют независимое состояние и бóльшую часть столетия забавлялись сей игрой, никогда не чувствуя никакого недомогания или скуки и не ложась спать без того, чтобы не влить в себя полгаллона кларета. Эти постоянные упражнения, а также свежий морской воздух, без сомнения, должны возбуждать аппетит и закалять тело против всех обычных болезненных припадков.

Конные состязания в Лейте дали повод к другому увеселению, весьма своеобразному. Есть в Эдинбурге общество или корпорация рассыльных, называемых «кэди», которые бродят ночью по улицам с бумажными фонариками и весьма искусно испол-

няют всякие поручения. Эти парни, хотя одеждой им служат лохмотья, а речь их грубовата, удивительно смышленый народ и славятся своею честностью, так что не бывало случая, чтобы какой-нибудь кэди обманул человека, давшего ему поручение. Они столь осведомлены, что знают не только всех жителей Эдинбурга, но и каждого иностранца, хотя бы прожил он здесь не более суток, и ни одно дельце, даже самое секретное, не ускользнет от их внимания.

Особенно прославились они своим умением исполнять одну из обязанностей Меркурия, но что касается до меня, то я ни разу не нанимал их для этих дел. Случись у меня такая нужда, мой собственный слуга, Арчи М'Алпин, управится не хуже любого эдинбургского кэди, и я не ошибусь, если скажу, что когда-то он входил в это братство.

Как бы там ни было, но кэди решили дать обед и бал в Лейте и пригласили всю знатную молодежь и всех молодых джентльменов, прибывших на конные состязания. Приглашение свое они сопроводили уверением, что знаменитые леди — жрицы наслаждения — украсят сей праздник своим присутствием. Я получил пригласительную карточку и отправился туда с полудюжиной своих знакомых.

В большой зале были составлены в длинный ряд столы, накрытые скатертью, и здесь расположилось человек восемьдесят гостей — лорды, лэрды и другие джентльмены, куртизанки и кэди, все вместе, вперемежку, как невольники и их господа во время сатурналий в Древнем Риме. Провозглашателем тостов, сидевшим во главе стола, был некий кэди Фрезер, старый сводник, славившийся остроумием и сметливостью, всеми уважаемый и хорошо известный гостям мужского и женского пола, здесь собравшимся. Он заранее заказал обед и вино. Позаботился также и о том, чтобы все его собратья явились в пристойном наряде и чистом белье; сам же он надел в честь праздника парик с тремя косичками. Уверяю вас, пиршество было изысканное и изобильное, приправленное тысячью шуток, которые споспешествовали общему веселью и доброму расположению духа приглашенных на пиршество.

После десерта мистер Фрезер предложил следующие тосты, которые я не берусь объяснять: «За лучшее в христианском мире», «За договор Гиббса», «За благоденствие нищего», «За короля и церковь», «За Великобританию и Ирландию».

Потом, наполнив бокал и повернувшись ко мне, он сказал:

— Мистер Мелфорд, да воцарится согласие между Джоном Булем и его сестрой-замарашкой!

После этого он выбрал одного лорда, долго жившего за границей, и воскликнул:

— Милорд, подымаю бокал за тех знатных особ, которые усвоили добродетель тратить деньги в своей родной стране!

Вслед за этим он обратился к одному члену парламента с такими словами:

— Мистер... конечно, вы не будете возражать, если я возглашу: стыд и позор на голову того шотландца, который продает свою совесть и свой голос!

Третье саркастическое замечание было обращено к человеку, разодетому очень пышно, который, начав с малого, нажил себе состояние игрою. Наполнив бокал и назвав этого человека по имени, Фрезер сказал:

— Многие лета хитрому парню, который ушел в поход с дырявым карманом, а домой вернулся с мешком серебра!

Когда все эти тосты были встречены громкими возгласами одобрения, мистер Фрезер потребовал стаканы вместимостью в пинту и наполнил свой стакан до краев. Потом он встал и, когда все его товарищи последовали его примеру, воскликнул:

— Милорды и джентльмены! Поднимаю эту чашу в благодарность за великую и незаслуженную честь, которую вы оказали сегодня вашим бедным посыльным!

С этими словами все они мигом осушили стаканы, вскочили со стульев, и каждый встал позади кого-нибудь из гостей, восклицая:

— А теперь мы опять кэди вашей милости!

Лорд, которого мистер Фрезер ужалил прежде всех своею сатирой, стал возражать против отказа его от провозглашения тостов. Он сказал, что гости собрались по приглашению кэди, а потому он надеется, что угощение будет на их счет.

— Ничуть не бывало, милорд! — воскликнул Фрезер.— Ни за что на свете не позволю я себе такой дерзости! Я отродясь не обидел ни одного джентльмена и уж, конечно, на старости лет не окажу неуважения такому почтенному собранию.

— Ну, что ж,— сказал его лордство,— вы показали свое остроумие, а потому имеете право сберечь свои деньги. Мне вы дали добрый совет, и я его принимаю с охотой. Раз вы добровольно покинули свое место, я с разрешения любезных гостей займу его и буду почитать себя счастливым, если меня провозгласят «отцом пиршества».

Его тотчас избрали и с бокалами в руках поздравили с новой его ролью.

Бутылки кларета беспрерывно ходили по кругу, покуда стаканы не начали, казалось, плясать на столе, и, может быть, сие и послужило поводом для леди потребовать музыку. Бал начался в другой зале в восемь часов вечера, но уже совсем рассвело, когда я добрался до дому, и, без сомнения, его лордству пришлось уплатить изрядные деньги по счету.

Короче говоря, несколько недель я веду такую разгульную жизнь, что дядюшка начинает беспокоиться о моем здоровье и весьма серьезно утверждает, что всеми своими недугами он обязан излишествам, которым предавался в молодости. Мисс Табита говорит, что как для души моей, так и для тела было бы спасительнее вместо посещения пирушек пойти с мистером Мофатом и с нею послушать проповедь преподобного мистера М'Коркендела.

Клинкер вздыхает и частенько усовещивает меня, умоляя позаботиться о моем драгоценном здоровье, и даже Арчи М'Алпин, когда случается ему быть во хмелю (а это бывает чаще, чем мне бы хотелось), произносит длинные поучения о воздержании и трезвости и рассуждает так мудро и глубокомысленно, что если бы мог я предоставить ему профессорскую кафедру, то охотно отказался бы и от благих его увещаний, и от услуг, ибо учителя надоели мне еще в alma mater.

Однако же я не настолько поглощен веселой жизнью Эдинбурга, чтобы не хватало у меня времени участвовать в поездках, предпринимаемых нашим семейством. Мы не только осмотрели все города и деревни милях в десяти от столицы, но и переправились через Фрит, морской залив шириною в семь миль, который отделяет Лотиан от графства или, как говорят шотландцы, от «королевства Файф». Здесь много больших лодок для перевоза из Лейта в Кингхорн, местечко, находящееся по ту сторону залива.

Три дня назад погрузилось в одну из таких шлюпок все наше семейство за исключением моей сестры, которая чрезвычайно боится путешествия по воде, почему и была оставлена на попечение миссис Мичелсон. Мы быстро и благополучно добрались до Файфа, где осмотрели много бедных приморских городков, в число которых входит Сент-Эндрьюс — остов некогда славного города. Но гораздо больше понравились нам красивые загородные дома и замки, которых в сей части Шотландии великое множество.

Вчера при хорошей погоде и попутном ветре мы снова сели в лодку, чтобы вернуться в Лейт. Но не проехали мы и половины пути, как небо внезапно заволокло тучами, ветер изменился и подул нам прямо в лицо, так что мы принуждены были остать-

ную часть пути либо кружить, либо идти другим галсом. Короче сказать, сильный ветер перешел в штормовой, полил дождь, и спустился такой туман, что мы не видели ни города Лейта, к которому направлялись, ни даже Эдинбургского замка, хотя он и стоит на холме.

Нечего и говорить, что все мы очень встревожились. В то же время большинство пассажиров почувствовало тошноту, за которой последовала жестокая рвота. Тетушка умоляла брата, чтобы он отдал приказание лодочникам повернуть назад в Кингхорн, и дядюшка в самом деле сделал им такое предложение, но они уверяли его, что никакой опасности нет. Видя их упорство, мисс Табита начала ругаться и потребовала, чтобы дядюшка применил свою власть мирового судьи. Хоть его тоже тошнило и он брюзжал, однако ж не мог не посмеяться над этим мудрым советом и объяснил ей, что власть его не простирается так далеко, а если бы и простиралась, все равно он разрешил бы этим людям поступать по-своему, ибо было бы крайне самонадеянно вмешиваться в исполнение ими своих обязанностей.

Мисс Уинифред предавалась полному очищению с помощью мистера Хамфри Клинкера, который вместе с нею участвовал и в молитве и в извержении. Почитая непреложным, что недолго остается нам жить на этом свете, он обратился с духовным утешением к мисс Табите, которая отвергла его с негодованием и заявила, чтобы он приберег свою проповедь для тех, у кого есть время слушать такую чепуху. Дядюшка сидел в раздумье, не говоря ни слова, мой слуга Арчи прибег к бутылке бренди, к которой присосался так, что я подумал, не дал ли он клятву умереть от любого напитка, только бы не от морской воды; но от бренди он хмелел не больше, чем если бы это и в самом деле была морская вода. Что до меня, то меня слишком тошнило, чтобы думать о чем-нибудь другом.

Между тем на море вздымались волны вышиной с гору; лодку швыряло с такой силой, что, казалось, она вот-вот разлетится на куски; трещали снасти, ревел ветер, сверкала молния, грохотал гром, а дождь низвергался потоками. Всякий раз, как лодку поворачивали на другой галс, волна захлестывала нас; и мы промокли до костей. Когда, лавируя, мы решили, что теперь нам удастся обогнуть мол, нас отнесло к подветренной стороне, и сами лодочники начали опасаться, не начнется ли отлив раньше, чем мы покинем подветренную сторону; вскоре, однако, порыв ветра вынес нас в тихие воды, и в час пополудни мы благополучно сошли на берег.

— Конечно, все мы должны были погибнуть, если б особливо не пеклось о нас провидение! — вскричала Табби, почувствовав под ногами terra firma[1].

— Совершенно верно,— отвечал дядюшка,— но я разделяю мнение славного шотландского горца: после такого же плавания, как сие, его приятель сказал ему, что он в большом долгу перед провидением. «Что правда, то правда,— отвечал Доналд,— но клянусь своей душой, я больше не буду доставлять хлопоты провидению, покуда стоит мост в Стирлинге!»

Да будет вам известно, что Стирлингский мост находится милях в двадцати вверх по течению реки Форт, а здесь ее устье.

Я не приметил, чтобы от этого приключения пострадало здоровье нашего сквайра, но бедная Лидди чувствует недомогание. Боюсь, что у бедняжки тяжело на сердце, и это опасение очень меня тревожит, ибо она в самом деле премилое создание.

Завтра или послезавтра едем мы в Стирлинг и Глазго и думаем добраться до горных областей Шотландии, после чего повернем назад, на юг. А теперь передайте мой поклон всем нашим друзьям в окрестностях Карфакса и верьте, что я остаюсь всегда ваш

*Дж. Мелфорд.*

*Эдинбург, 8 августа*

## *Доктору Льюису*

Я был бы весьма неблагодарным, любезный Льюис, ежели не размышлял бы и не отзывался с похвалой о здешнем народе, который за несколько недель оказал мне такие услуги и гостеприимство, каких я не находил ни в одной стране во всю жизнь мою. Может статься, благодарность, вызванная этими благодеяниями, помешает беспристрастию моих заметок, ибо человек столь же склонен к предубеждению из-за оказанных ему благодеяний, сколь и к предрассудкам, порожденным личной неприязнью. Если даже я и пристрастен, так уже одно то хорошо, что я избавился от недостойных предрассудков, которые всосал с молоком матери.

Первые впечатления, которые получает англичанин в этой стране, не споспешествуют уничтожению его предрассудков, ибо сравнивает он все виденное здесь с тем, что видел у себя на

[1] Твердая земля, суша *(лат.)*.

родине, а такое сравнение неблагоприятно для Шотландии, если судить по внешности: например, возделывание полей, наружность большей части жителей, язык, ими употребляемый. Доводы мистера Лисмахаго меня не убедили настолько, чтобы я не считал, что ради самих же шотландцев будет лучше, ежели они усвоят английские выражения и произношение, особливо те, кто намерен искать счастье в южной Британии.

Знаю я по опыту, какую власть над англичанином имеет слух и как он насмехается, когда слышит, что на его родном языке говорят с иностранным или провинциальным произношением. Знавал я члена палаты общин, который говорил весьма правильно и с великой выразительностью, но привлечь к себе внимание никак не мог, ибо изъяснялся на шотландском диалекте, который (не в обиду будь сказано лейтенанту Лисмахаго) придает некий простоватый оттенок даже самым благородным и возвышенным суждениям. Свое мнение по сему поводу я высказал кое-кому из здешних умных людей, добавив при этом, что следовало бы поручить нескольким уроженцам Англии обучение в школах нашему отечественному языку, и тогда лет через двадцать неприметно исчезнет различие между произношением юных жителей Эдинбурга и Лондона.

Гражданские учреждения в Шотландии и в столице ее скроены совсем по другому образцу, нежели в Англии, за исключением некоторых, что явилось необходимым последствием Унии.

Здешние судебные установления достойны уважения, а судьи — люди уважаемые и умелые. Я прослушал несколько дел, разбиравшихся в этом почтенном судилище, и мне весьма понравилось не только красноречие адвокатов, но и основательность их доводов. Законодательство шотландцев основано в большой мере на римском праве, и, стало быть, судопроизводство их весьма отлично от производства в английских судах, но, мне кажется, у них есть бесспорное перед нами преимущество в порядке раздельного допроса свидетелей и в устройстве суда присяжных, которое позволяет избежать зла, указанного Лисмахаго, о чем я писал в последнем своем письме.

Университет в Эдинбурге украшают превосходные профессора; особливо славится по всей Европе медицинская школа. Те, кто обучается сей науке, могут изучить в совершенстве все ее отрасли, так как там преподают теорию и практику медицины, анатомию, химию, ботанику, фармакологию, а сверх того естественную историю и экспериментальную физику; и обучают всему этому люди, известные своими дарованиями. К тому же еще более споспешествует обучению больница, рав-

ной коей я не видывал среди благотворительных заведений. Кстати об этих заведениях: здесь есть несколько больниц, которые содержатся на богатые вклады и управляются отменно; они служат городу не только на пользу, но и для украшения. Упомяну лишь о большом работном доме, где лишенные средства к жизни бедняки получают работу по своим силам и где все так толково устроено, что они могут содержать себя на труды рук своих, и во всей столице не увидишь ни одного нищего. Такого рода заведению подал пример лет тридцать назад город Глазго.

Даже духовенство в Шотландии, которое столь давно обвиняли в изуверстве и пустосвятстве, ныне числит в своих рядах немало священников, прославившихся ученостью и достойных уважения за терпимость. Мне удалось услышать проповеди, которые не только удивили меня, но и доставили удовольствие. Славные жители Эдинбурга ныне уже не считают, будто грязь и паутина составляют главную принадлежность дома божьего. В некоторых церквах находятся такие украшения, которые лет сто назад вызвали бы и в Англии бунт, а церковному пению обучает некий преподаватель из Дархемского собора. Не удивлюсь, ежели через несколько лет услышу церковное пение, сопутствуемое игрой на органе.

Эдинбург есть теплица дарований. Мне посчастливилось познакомиться со многими первостепенными сочинителями, с такими, как оба Юма, Робертсон, Смит, Уоллес, Блер, Фергюсон, Уилки и другие, и всех их я нашел столь же приятными в беседе, сколь поучительны они и занимательны в своих писаниях. Этим знакомством я обязан дружбе с доктором Карлейлем, которому не хватает только охоты видеть свое имя напечатанным рядом с другими именами.

Члены магистрата Эдинбурга избираются каждый год и, по-видимому, пользуются по заслугам властью и уважением. «Лорд-провост» — соответствует по своему сану лондонскому лорд-мэру, а «четыре бальи» — нашим олдерменам. Есть здесь «гильдейский старшина», который ведает торговыми делами, есть казначей, городской клерк и совет старшин, куда каждый год выбирают по очереди представителей каждого сообщества ремесленников или мастеровых. Хотя этот город расположен так, что его невозможно содержать в чистоте и сделать вполне удобным для жизни, однако же он имеет величественный вид, вызывающий почтение. Замок великолепен как по местоположению своему, так и по архитектуре. Укрепления его содержатся в полном порядке, гарнизон состоит из опытных солдат, сме-

няемых каждый год; однако же он не выдержал бы доброй осады по всем правилам современной войны.

Холм, на коем воздвигнут замок, простирающийся от внешних ворот до нагорного конца Хай-стрит, служит горожанам местом гулянья, и с него открывается прекрасный вид через залив на графство Файф и на городки по морскому берегу, которые позволяют думать, что торговля здесь процветает. Но, правду сказать, городки эти пришли в упадок со времен заключения Унии, ибо Шотландия лишилась тогда в большой мере выгод от торговли с Францией.

Дворец Холируд по архитектуре подобен драгоценности, брошенной в яму, где ее разглядеть невозможно; разумный зодчий не мог, конечно, избрать такого местоположения, и, видно, вынужден был строить на месте старого замка, который раньше был монастырем. Эдинбург распространяется больше на юг, и там разбиты по английскому обычаю красивые площади, а в северной части горожане затеяли некоторые улучшения, и когда они будут сделаны, то весьма послужат благолепию столицы.

Морская пристань находится в миле от столицы, в процветающем городке Лейте, и там я видел до сотни кораблей, стоявших на якоре. Должен сказать, что любопытства ради я пересек в боте залив и пробыл два дня в графстве Файф, известном своим плодородием и множеством великолепных усадеб. Во всех частях Шотландии я видел невероятное количество аристократических поместий; милях в пяти от Эдинбурга, в поместьях Далкейт, Пинки, Иестер и лорда Хоптауна усадьбы не хуже королевских дворцов, и каждую из них любой монарх может избрать своей резиденцией. Кажется, шотландцы чванятся этими величественными памятниками. Ежели позволено мне будет присоединить несколько слов критики к замечаниям о чтимом мною народе, я должен сказать, что тщеславие, по-видимому, есть слабость шотландцев. Боюсь, что и гостеприимство не свободно у них от чванства. Я наблюдал, как они прилагают особое старание показать прекрасное свое столовое белье, коего у них уйма, мебель, серебро, все домашнее хозяйство и запасы разнообразных вин, а что до сего товара, то тут они поистине расточительны. Житель Эдинбурга не довольствуется тем, чтобы сравняться с горожанином Лондона, который вдесятеро богаче его, но полагает, будто он должен превзойти лондонского жителя расходами на угощение и его изысканностью.

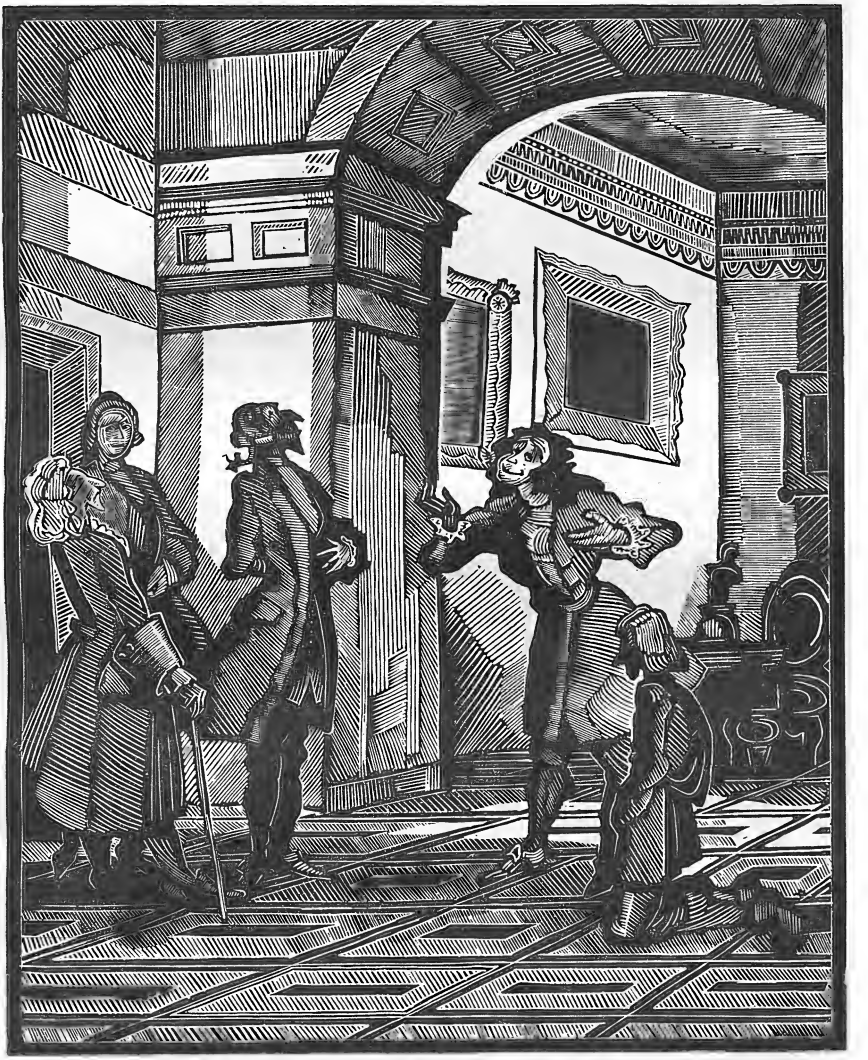
Хотя усадьбы шотландской знати и дворян обращают на себя внимание пышностью и великолепием, но, по моему разу-

мению, сады их и парки не могут сравниться с английскими; сие тем более примечательно, что, по словам остроумного мистера Филиппа Миллера из Челси, почти все садовники в южной Британии суть уроженцы Шотландии. Мурава здешняя не может равняться с английской. Здешние парки разбиты не столь хорошо, как надлежало бы применительно к genus loci [1], и здесь ухаживают не столь рачительно за лужайками, аллеями и живыми изгородями. Деревья посажены правильными рядами, что отнюдь не так приятно взору, как ежели бы они были разбросаны купами и разделены просеками, будто выросли сами собой. Ели и сосны, которые здесь насаждают вокруг домов, имеют печальный, погребальный вид в летнюю пору; должен, однако же, признать, что они доставляют весьма нужный строевой лес и защищают от холодных северных ветров; к тому же они растут на самой худой земле и наполняют чудесным смолистым бальзамом воздух, который делается от сего здоровым и целительным для слабых легких.

Мы с Табби натерпелись страху, возвращаясь морем с берега графства Файф. Она боялась утонуть, а я боялся схватить простуду, ибо весь вымок в морской воде, но на сей раз мы, к счастью, отделались одним страхом. Табби пребывает в полном здравии, и я сожалею, что не могу сказать того же о Лидди. С бедняжкой делается что-то непонятное; румянец у нее блекнет, она теряет вкус к пище, стала унылой, печальной, и нередко находят ее в слезах. Брат ее подозревает, что она тревожится об Уилсоне, и он грозится отомстить этому пройдохе. Кажется, она была потрясена на бале появлением некоего мистера Гордона, который весьма похож на Уилсона. Но я полагаю, что она разгорячилась от танцев и простудилась. Советовался я об ней с известным доктором Грегори, милейшим человеком, и он почитает для нее необходимым горный воздух и козье молоко, что, конечно, не может повредить больному, рожденному и выросшему в горах Уэльса. Особливо приятен мне этот докторский совет потому, что мы сможем найти эти снадобья в том месте, которое я назначил границей нашего путешествия; я разумею окраину графства Аргайль.

Мистер Смоллет, один из теперешних судей в Суде Уполномоченных, любезно предложил нам остановиться в его загородном доме на берегу Лох Ломонда, в четырнадцати милях от Глазго. В сей последний город мы отправляемся дня через два и по дороге заедем в Стирлинг; я снабжен в избытке рекоменда-

[1] Характер, особенности местности *(лат.)*.



Т. Смоллет, «Путешествие Хамфри Клинкера»

тельными письмами эдинбургских наших приятелей, коих, правду сказать, покидаю с большим сожалением. Я отнюдь не почел бы для себя невозможным жить в этой стране, и ежели бы мне пришлось стать горожанином, то, разумеется, Эдинбург стал бы главной квартирой всегда вашего

*М. Брамбла.*

*Эдинбург, 8 августа*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Любезный баронет!

Я нахожусь теперь близ Ultima Thule, если это наименование по праву принадлежит Оркнеям или Гебридам. Несколько сот этих островов, разбросанных по морю Каледонии, лежат сейчас перед моими глазами и представляют картину самую живописную и романическую, какую только доводилось мне видеть.

Я пишу это письмо в доме одного джентльмена неподалеку от города Инверери, который можно почитать столицей западной горной Шотландии, а знаменит он главным образом своим величественным замком; начат этот замок и доведен до кровли покойным герцогом Аргайлем и стоил огромных денег. Будет ли он когда-нибудь закончен — вопрос еще не решенный.

Но опишу все по порядку.

Вот уже десять дней, как мы покинули Эдинбург, и чем дальше подвигаемся на север, тем непокладистей становится мисс Табита; склонности ее не одинакового свойства с магнитом — они не обращаются к полюсу. Если верить ее словам, она уехала из Эдинбурга с неохотой, потому что не закончила спора с мистером Мофатом о вечности адских мук. Сей джентльмен с приближением старости начал сомневаться в этом учении и наконец открыто объявил войну принятому истолкованию слова *вечный*. Теперь он убежден, что *вечность* означает лишь неопределенное число лет и что самый отчаянный грешник может быть избавлен от адского огня через *девять миллионов девятьсот тысяч девятьсот девяносто девять лет*, а этот срок или период является, по мудрому его заключению, лишь неприметной каплей в океане вечности. Такое смягчение, как утверждает он, отвечает понятиям о благости и милосердии, какие мы приписываем всевышнему.

Тетушка как будто не прочь была согласиться с этим учением, столь милостивым к грешникам. Но мистер Мофат заявил, что ни один человек, каким бы праведным он ни был, не может быть совершенно избавлен в будущей жизни от наказания и что самый благочестивый христианин должен почитать себя счастливым, если удастся ему отделаться постом в течение семи-восьми тысяч лет пребывания в огне и сере.

Мисс Табита восстала против такого догмата, вызвавшего у нее ужас и негодование. Она склонилась к мнению Хамфри Клинкера, который объявил напрямик, что это папистское учение о чистилище, и привел текст из Священного писания в защиту «огня вечного, уготованного дьяволу и аггелам его». Обратились за советом к преподобному мистеру М'Коркенделу и ко всем богословам этого толка, и иные высказали свои сомнения в сем вопросе, а по отъезде нашем из Эдинбурга эти сомнения и колебания начали тревожить тетушку.

Мы проехали через Линлитгоу, где был некогда красивый королевский дворец, ныне пришедший в упадок, так же как и самый город. То же должно сказать и о Стирлинге, хотя он еще может похвалиться великолепным старым за́мком, в котором обычно живали шотландские короли до своего совершеннолетия.

Но гордость Шотландии — Глазго, и он действительно может выдержать сравнение с любым красивым и процветающим городом в христианском мире. Там посчастливилось нам познакомиться с замечательным лекарем, мистером Муром, которому рекомендовал нас один из наших эдинбургских друзей, и большей услуги он поистине не мог бы нам оказать.

Мистер Мур — занимательный и веселый собеседник, умный и проницательный, наделенный чувством юмора, а жена его премилая женщина, благовоспитанная, добрая и обходительная. Доброта, которую я почитаю важнейшим качеством хорошей и человеколюбивой натуры, является отличительным свойством шотландских леди у себя на родине. Хозяин наш показал нам все достопримечательные места, ввел нас в глазговское общество, и мы удостоились быть принятыми в число вольных граждан города Глазго.

Если принять во внимание торговлю и богатство Глазго, понятно, что здесь нет недостатка в увеселениях и забавах. Многие молодые люди живостью своею и расточительностью не уступают столичной молодежи, и скоро я убедился, что отнюдь не все красавицы Шотландии собрались на охотничьем балу в Эдинбурге. Не только торговля, но и наука процветает в Глаз-

го. Здесь есть университет, в коем профессора по всевозможным отраслям науки тщательно отобраны и хорошо обеспечены. В этот город я попал во время вакаций, а потому не мог вполне удовлетворить свое любопытство, но, без сомнения, система образования здесь во многом предпочтительнее нашей. Студенты не обучаются приватно у разных учителей, но каждый профессор преподает свою науку в публичных школах или классах.

Дядюшка в восхищении от Глазго. Он не только осмотрел все здешние мануфактуры, но и совершал поездки миль за двенадцать отсюда, в Гамильтон, Пезли, Ренфру и другие места, примечательные искусствами или красотой природы. Мне кажется, моцион, связанный с такими поездками, пошел на пользу моей сестре Лидди, которая вновь начинает обретать живость и аппетит. Мисс Табита по обыкновению своему выставляла напоказ свои чары и даже возмечтала, будто ей удалось уловить в сети некоего мистера М'Клеллана, богатого фабриканта тесьмы, но, когда дело дошло до объяснения, открылось, что склонность его к ней чисто духовная и порождена благочестивым общением с нею на собрании мистера Джона Уэсли, который, исполняя свою евангелическую миссию, прибыл сюда.

Наконец отправились мы к берегам Лох Ломонда, проехав через маленький городок Дамбартон, или, как называет его дядюшка, Данбриттон, где находится самый любопытный из всех виденных мною доселе замков. Его удостоил описать изящный Бьюкенен как arx inexpugnabilis[1], и действительно, при древних способах осады он должен был почитаться неприступным. Это большая скала с двумя вершинами, вздымающаяся в углу, образованном слиянием Клайда и Левена; скала отвесная и недосягаемая со всех сторон, кроме одного только места, каковое укреплено, а поблизости нет никаких возвышенностей, с которых можно было бы нанести ей ущерб обстрелом из пушек.

Из Дамбартона открывается вид на западную горную Шотландию — нагромождение высоких темных гор, но эта картина не вызывает никакого удивления у жителей Глеморгана.

Мы остановились в Кэмероне, прекрасной усадьбе, принадлежащей члену Суда Уполномоченных Смоллету, где и нашли всякие удобства, каких могли только пожелать. Расположена она наподобие храма друидов в дубовой роще, близ Ломонда, изумительного озера с чистой, прозрачной водой, во многих местах неизмеримо глубокого и простирающегося в ширину

[1] Неприступная твердыня, крепость *(лат.)*.

на шесть-семь миль, а в длину — на двадцать четыре; по нему рассеяно более двадцати зеленых островов, покрытых лесом, некоторые из островов засеяны хлебом, а другие изобилуют красным зверем. Принадлежат они различным джентльменам, чьи поместья разбросаны вдоль берегов озера, столь красивых и живописных, что трудно описать.

Мы с дядюшкой оставили женщин наших в Кэмероне, так как мисс Табита и слышать не хотела о путешествии по воде, а чтобы попасть сюда, необходимо переправиться на пароме через узкий морской залив. Страна эта кажется все более дикой и невозделанной по мере того, как мы углубляемся в нее, а народ отличается от шотландцев, живущих на равнинах, и видом своим, и платьем, и языком не меньше, чем отличаются горцы Брекнока от обитателей Херфордшира.

Когда жители равнин хотят повеселить душу чаркой, они идут в трактир, именуемый «полпивная» и требуют на два пенса «чопена» — пенистого солодового напитка, более слабого, чем английское столовое пиво. Его подают в оловянной бутыли, имеющей форму кегли, из которой наливают в «куаф», затейливую чашку, сделанную из клепок букового и черного дерева, скрепленных тонкими обручами; такая чашка имеет два ушка или ручки. Вмещает она четверть пинты, иногда бывает обложена по краям серебром, и из того же металла сделано донышко, на котором выгравирован вензель хозяина заведения.

Что же касается жителей горной Шотландии, то они презирают этот напиток и угощаются виски, солодовым спиртом, крепким, как можжевеловый, и выпивают его весьма много, ничуть не хмелея. Они привыкли к нему с колыбели и почитают превосходным средством против зимней стужи, которая здесь, в горах, должна быть лютой. Говорили мне, что дают его младенцам с большою для них пользой во время сливной оспы, когда высыпание идет медленно и жизни грозит опасность.

Горные шотландцы привыкли есть гораздо больше мяса, чем достается на долю их соседям, жителям равнин. Они любят охоту — страна изобилует оленями и другим красным зверем, а также пасется здесь без присмотра рогатый скот, овцы и козы, и за этими стадами они и не совестятся охотиться, как за дичью, не потрудившись разузнать, чья это собственность.

Инверери — бедный городишко, хотя и находится под непосредственным покровительством герцога Аргайля. Крестьяне живут в жалких лачугах и терпят большую нужду, но у джентльменов дома хорошие, а иностранцев они любят так, что можно жизни лишиться от их гостеприимства.

Бедные горцы находятся ныне в плачевном состоянии. Парламентским актом отнято у них оружие, а также запрещено им носить старинную одежду, которая была и красивой и удобной. Но всего тягостнее им приказание носить штаны — с таким утеснением не могут они помириться. Большинство носит их не так, как должно, а надевает на шест или длинную доску и таскает на плече. Лишены они также права пользоваться своею клетчатой материей, называемой «тартан», которую выделывали сами и ценили превыше бархата, парчи и других европейских и азиатских тканей. Теперь ходят они в длинных балахонах из грубого красновато-коричневого домотканого сукна, дрянного и тяжелого, и весь вид их выражает уныние. Поистине правительство не могло изобрести более надежного средства, чтобы сломить их национальный дух.

Мы по-королевски забавлялись охотою в горах на оленя. Горы эти — те самые уединенные холмы Морвена, где Фингал и его герои тешились такой же забавой. Душа моя наполняется восторгом, когда я смотрю на коричневый вереск, по которому некогда ступал Оссиан, и прислушиваюсь к свисту ветра, пригибающего к земле траву. Входя в залу нашего хозяина, я осматриваюсь, не висит ли где арфа сего божественного барда, и жажду услышать небесный голос великого его духа.

Здесь у всех на устах поэмы Оссиана. Здешний знаток древностей, лэрд М'Фарлан, у которого мы обедали несколько дней назад, может повторить их все на древнем *гэльском* языке, который очень похож на валлийский не только звучанием своим, но имеет много общих с ним корней, и я не сомневаюсь, что оба эти языка одинакового происхождения. Немало удивился я, когда, спросив одного шотландского горца, знает ли он, где найдем мы дичь, услыхал в ответ: «Hu niel sassenagh», что значит: «Не понимаю по-английски»; так ответил бы мне и валлиец, и почти теми же словами.

Жители горной Шотландии называют обитателей равнин не иначе как *сассенаг*, или саксами, а это подтверждает догадку, что шотландцы, живущие на равнине, одного происхождения с англичанами. Здесь, в горах, крестьяне очень напоминают крестьян валлийских и видом своим и нравами, жилища их также сходны. Все, что я вижу, слышу и чувствую, кажется мне валлийским; горы, долины, потоки, воздух и климат, говядина, баранина, дичина — все валлийское. Однако же должно признать, что здешний народ кое в чем имеет больше достатка, чем мы: у них множество оленей и диких коз, мясо которых в это время года жирно и вкусно. Море здесь изобилует превос-

ходнейшей рыбой; вдобавок они находят способ доставать очень хороший кларет по очень низкой цене.

Хозяин наш — важная особа в этих краях; он — младший в роде Аргайля и наследственный «начальник» одного из замков. Именуется он на простом английском языке Дугал Кэмпбел, но так как многие носят такое же имя, то для различия прибавляют здесь (как делают это и валлийцы) родовые имена. Я знавал одного древнего бритта, которого звали Медок ап Морган, ап Дженкин, ап Джонс, а наш здешний шотландский вождь именует себя Ду'л Мак-амиш, мак-оул, ик-ян, что значит: Дугал сын Джемса, сына Дугала, сына Джона.

Для завершения своего образования он путешествовал по чужим странам и склонен ввести некоторые изменения в своем домашнем быту, но находит невозможным уничтожить древние родовые обычаи; из них иные довольно смешны. Например, волынщик его, носящий в доме наследственное звание «глава домочадцев», ни за что не откажется от своих привилегий. Он имеет право носить килт — старинную шотландскую юбочку с кошельком, пистолетом и кортиком; широкая желтая лента, привязанная к трубке его волынки, переброшена за плечо и волочится по земле в то время, как он исполняет свои обязанности менестреля. Эта лента, мне кажется, подобна тому знамени, которое в былые времена носили в бою перед рыцарем.

В таком уборе он каждое воскресенье шествует перед своим лэрдом в церковь, вокруг которой обходит трижды, исполняя родовой марш, коим вызывает на брань всех врагов клана. А по утрам он играет целый час в большой зале, торжественно прохаживаясь взад и вперед в сопровождении всех родственников лэрда, которым как будто весьма нравится подобная музыка. Во время этой прогулки он услаждает их множеством мелодий, подходящих для тех страстей, какие хочет он возбудить или утишить.

Сам мистер Кэмпбел, очень хорошо играющий на скрипке, питает неодолимое отвращение к волынке, издающей звуки гнусавые и неимоверно пронзительные, которые в самом деле несносны даже для слуха не очень чувствительного, особливо же в сводчатой зале, где их усиливает эхо. Поэтому он просил волынщика сжалиться над ним и избавить от этой утренней церемонии. По такому случаю клан собрался на совещание, и было решено единогласно, что просьбу лэрда удовлетворить нельзя, ибо это грозит нарушить родовой обычай. Волынщик объявил, что никак не может отказаться от привилегии, унаследованной от предков, а родня лэрда не пожелала лишить себя удоволь-

ствия, которое ценила превыше всего. Нечего было делать: мистер Кэмпбел принужден был уступить и теперь должен затыкать себе уши хлопчатой бумагой, укреплять голову тремя-четырьмя стаканчиками грога и каждое утро забираться в самые дальние покои дома, чтобы избавиться от ежедневной докуки.

Когда кончается музыка, он показывается у открытого окна, выходящего во двор, который к тому времени наполняется толпой его вассалов и зависимых от него людей; его появление они приветствуют, обнажая голову и униженно кланяясь до земли. Так как все эти люди пришли с какой-нибудь жалобой, просьбой или предложением, то и ждут они терпеливо, покуда он выйдет, сопровождают его на прогулке, и каждого по очереди он удостаивает краткой аудиенции. Два дня назад выслушал он более сотни разных просителей, пока шел с нами к дому своего соседа, джентльмена, пригласившего нас на обед.

Хозяин наш грубоват, но вместе с тем радушен, и домоводство его отличается простотой древних времен. Большая зала, вымощенная плитами, имеет в длину футов сорок пять, а в ширину двадцать два, и служит не только столовой, но и спальней для джентльменов, находящихся от него в зависимости, и для домашних нахлебников. К ночи приготовляют вдоль каждой стены с полдюжины постелей. Сделаны они из свежего вереска, вырванного с корнем, который укладывают так, что получаются очень покойные ложа, на которых спят, укрываясь только пледом.

Нам с дядюшкой отвели отдельные комнаты с пуховиками, которые мы просили заменить подстилками из вереска, и, право же, никогда не случалось мне спать так сладко. Такая постель не только мягка, но и упруга; к тому же вереск в пору цветения распространяет приятный аромат, который удивительно освежает и бодрит.

Вчера мы были приглашены на похороны некой старой леди, бабки одного из живущих по соседству джентльменов; собралось там до пятидесяти человек, которым предложили роскошный обед, а за обедом играли двенадцать волынщиков. Короче сказать, это собрание весьма походило на великолепное пиршество, и гости воздали должное угощению в такой мере, что многие еле могли держаться на ногах, когда им напомнили, по какому делу мы здесь встретились.

Тут все сели на коней и беспорядочной кавалькадою направились к месту погребения — к церкви, находящейся на расстоянии добрых двух миль от замка. Однако по прибытии туда мы заметили, что сделали маленький промах, ибо оставили покойницу позади. Пришлось нам воротиться и встретить на

половине дороги старую леди, которую несли на носилках ближайшие родственники и сопровождал хор плакальщиц, состоявший из множества старых ведьм, рвавших на себе волосы, бивших себя в грудь и отчаянно завывавших. У могилы оратор произнес хвалебную речь покойнице, и за каждым периодом его речи следовали вопли хора. Тело было предано земле, музыканты без устали играли на волынках, а все присутствовавшие стояли с обнаженными головами. В завершение церемонии дали залп из пистолетов, после чего мы вернулись в замок, принялись опять за бутылки, и к полуночи не осталось в доме ни одного трезвого человека, если не считать женщин. Мы с дядюшкой и с нашим хозяином не без труда получили разрешение уехать вечером, но пригласивший нас помещик был немного огорчен нашим отъездом и, кажется, впоследствии почитал обидой для своего рода, что по такому торжественному случаю было выпито не более ста галлонов виски.

Сегодня мы проснулись в четыре часа утра, чтобы поохотиться на диких козлов, а через полчаса в зале был уже приготовлен завтрак. Среди охотников было два гостя, сэр Джордж Колхун и я (дядюшка предпочел не ехать на охоту), *сам лэрд*, *брат лэрда*, *сын брата лэрда*, *сын сестры лэрда*, *сын брата отца лэрда* и все их молочные братья, которые почитаются членами семейства, а сопровождала нас толпа горцев, оборванных и босых.

Для утренней нашей трапезы нам предложили: кадушку с крутыми яйцами, кадушку масла, кадушку сливок, сыр из козьего молока, большой глиняный горшок меду, почти непочатый окорок, холодный пирог с дичиной, бушель тонких лепешек из овсяной муки, а для чужеземцев небольшой пшеничный хлеб, большую каменную бутыль с виски, другую бутыль с бренди и бочонок эля. К бочонку со сливками привешен был на цепи ковш, которым наливали сливки в затейливые деревянные чаши. Виски пили из серебряных чарок, а эль — из рога.

Все гости оказали должную честь угощению, в особенности один из них, который съел более двух дюжин крутых яиц с соответствующим количеством хлеба, масла и меду, а напитков не осталось ни капли. Напоследок подали вместо десерта большой сверток прессованного табака для жеванья, и каждый набил рот жвачкой, якобы предохраняющей от вредного действия утреннего воздуха.

Мы превесело поохотились в горах за диким козлом, которого и убили, а домой я поспел вовремя, чтобы напиться чаю

с миссис Кэмпбел и дядюшкой. Завтра возвращаемся мы в Кэмерон. Мы предполагаем переправиться через залив, куда впадает Клайд, и по дороге заехать в город Гринок и порт Глазго. Завершив этот круг, мы обратимся лицом к югу и будем с сугубой быстротой стремиться навстречу солнцу, чтобы провести конец осени в Англии, где борей не столь пронзителен, каким уже становится он здесь, на вершинах этих северных холмов. Но о передвижении нашем с места на место по-прежнему будет уведомлять в своих беспристрастных записях

всегда ваш *Дж. Мелфорд.*

*Аргайльшир, 3 сентября*

*Доктору Льюису*

Любезный Дик!

Почти две недели прошло, как покинули мы столицу Шотландии и направились в Стерлинг, где сделали привал. Замок в этом городе весьма похож на эдинбургский, и из него можно обозреть изгибы реки Форт, которые столь многочисленны, что расстояние оттуда до Аллоа сушей только четыре мили, а по реке двадцать четыре.

Аллоа — чистенький, благоденствующий городок, который в большой степени зависит от торговли Глазго, купцы которого посылают сюда табак, а также другие товары для отправки из здешних складов по реке Форт. Едучи сюда, осмотрели мы изрядный железоделательный завод, где вместо дров жгут каменный уголь; здесь научились очищать его от серы, которая могла бы сделать железо слишком хрупким. Почти повсюду в Шотландии добывают превосходный каменный уголь.

Здесь в окру́ге земля не производит почти ничего, кроме овса и ячменя, может быть потому, что худо возделана и нигде почти не огорожена. Вместо изгородей кое-где сложены низенькие стены из камней, не скрепленных меж собой и собираемых с полей, по которым их словно умышленно разбросали для этой цели. Когда я выразил изумление, почему крестьяне не очищают свои поля от сих камней, один джентльмен, понаторевший не только в теории земледелия, но и в практике, убеждал меня, будто камни не только не приносят вред для сева, но даже полезны. Сей умник приказал было очистить свое поле от камней, унавозить его и засеять ячменем, и урожай был меньше, чем раньше. Тогда он распорядился снова разбросать

камни, и в следующем году урожай был добрый, как всегда. Камни были опять убраны, и опять жатва была плоха; снова их разбросали, и земля обрела прежнее плодородие. Сей опыт произведен был в разных частях Шотландии и повсюду с тем же успехом.

Удивленный этим сообщением, я просил его поведать, как он объясняет этот непонятный феномен, а он ответил, что камни могут быть полезны по трем причинам. Может быть, они задерживали излишние испарения земли, сходные с испариной, которая иногда истощает и изнуряет человеческое тело. Возможно, они, подобно изгороди, защищают нежные всходы от резких весенних ветров или, отражая солнечные лучи, споспешествуют согреванию земли и тем самым смягчают натуральную студеность земли, а также климат.

Но, по моему разумению, излишние испарения можно было бы куда лучше задержать разного рода удобрениями, к примеру золой, известью или мергелем, ибо здесь, по-видимому, немало мергельных ям. Что же касается до теплоты, то ее можно сохранить при помощи изгородей; половина земли, ныне негодная, очистится для посева, обработка ее потребует меньше труда, вдвое меньше будут страдать лошади и вдвое дольше сохранятся бороны и плуги.

Земля на северо-западе не дает хорошего урожая хлебов. Почва здесь болотистая и неплодоносная. Здешние крестьяне живут в жалких хижинах, они худы, одеты бедно и очень грязны. Сей последний упрек они могли бы легко смыть чистой водой, ибо природа снабдила их с избытком озерами, реками и ручьями.

Хлебопашество не может процветать там, где участки земли, сдаваемой в аренду, малы, сроки аренды коротки, и земледелец сразу же должен вносить чрезмерную арендную плату, не располагая достаточным имуществом для того, чтобы производить на своем участке необходимые улучшения.

Житница Шотландии — это берега Твида, графства Восточный Лотиан и Центральный Лотиан, Каз оф Гаури в Пертшире, столь же плодородные, как земли в Англии, а также некоторые места в Абердиншире и Морей, где хлеба созревают, сказывали мне, раньше, чем в Нортумберленде, хотя места эти лежат двумя градусами северней. Я весьма хотел бы побывать в разных местах по ту сторону Форта и Тая, к примеру — в Перте, Данди, Монтрозе и Абердине, городах красивых и благоденствующих; но время года уже позднее и расширить мой первоначальный план мне уже не придется.

Мне посчастливилось повидать Глазго, насколько я могу судить,— один из самых красивых городов Европы, и, несомненно, один из самых процветающих городов Великобритании. Словом, это настоящий улей трудолюбия. Лежит он частью на небольшой возвышенности, но большая его часть находится на равнине, пересекаемой рекой Клайд. Улицы прямые, широкие и вымощены неплохо; высокие дома построены из обтесанного камня. В верхней части города воздвигнут удивительный собор, который легко можно сравнить с собором в Йорке и с Вестминстерским, а примерно на полпути меж ним и рыночной площадью стоит внушительное здание колледжа, где есть решительно все для удобства профессоров и студентов, включая библиотеку и обсерваторию, щедро снабженную астрономическими инструментами.

Число жителей доходит, говорят, до тридцати тысяч, достаток можно видеть повсюду в этом торговом городе, который, однако, имеет свои недостатки и неудобства. Вода во всех городских водокачках жесткая и солоноватая, что совсем непростительно, ибо река Клайд протекает в нижней части города, а за собором в верхней части города столько ручьев и родников, что можно было бы наполнить большой водоем превосходной водой и провести ее во все части города. Куда было важнее позаботиться о здоровье жителей, чем украшать город новыми улицами, площадями и церквами. Другой недостаток, не столь легко устранимый, есть мелководие реки, по коей груженые корабли могут плавать только милях в десяти — двадцати от города: поэтому купцы принуждены грузить и разгружать свои суда в Гриноке и в Глазго-порту, лежащем в четырнадцати милях ближе к устью, там, где ширина реки около двух миль.

Жители Глазго обуреваемы благородным духом предприимчивости. Мистер Мур, лекарь, к которому у меня были препоручительные письма из Эдинбурга, познакомил меня со всеми именитыми купцами. Свел я знакомство и с мистером Кохрэном, которого можно счесть одним из мудрецов сего королевства. Он был главой магистрата во время последнего мятежа. Я был членом парламента, когда его допрашивали в палате общин, и мистер П. сказал по сему случаю, что он никогда не слышал в палате столь умных показаний. Познакомился я также с доктором Джоном Гордоном, патриотом, истинным римлянином по духу, основателем здешней полотняной мануфактуры, который много положил труда на устройство здесь работного дома, больницы и других полезных для общества за-

ведений. Живи он в Древнем Риме, он был бы почтен памятником, воздвигнутым на общественные деньги.

Беседовал я еще с неким мистером Г-с-д, коего я почитаю одним из самых видных купцов Европы. Сказывают, что в последнюю войну имел он двадцать пять судов с принадлежащим ему грузом и торговал не меньше чем на полмиллиона фунтов в год.

Последняя война была счастливой эпохой для торговли Глазго. Купцы Глазго рассудили, что их корабли, посылаемые в Америку из северной части Ирландии, сразу выходят в Атлантический океан и идут путем, где каперов немного, и решили страховать друг друга сами, чем сберегли много денег, ибо потеряли мало судов.

К этой части Шотландии, да будет вам известно, я питаю своего рода национальную любовь. Большая церковь, посвященная святому Мунго, река Клайд и кое-что другое, а равно и сходство языка и обычаев с нашими, валлийскими, позволяют мне тешить себя мыслью, что народ здешний происходит от бриттов, которые некогда владели этой страной. Несомненно, было это Камбрийское королевство. Столицей его был Дамбартон (испорченное Данбриттон), который еще и посейчас существует как королевское боро при слиянии рек Клайда и Левена, в десяти милях ниже Глазго. В этих же местах родился святой Патрик, апостол Ирландии, и там посейчас есть церковь и деревня, носящие его имя. Неподалеку отсюда находятся остатки славной римской стены, построенной при Антонине; она тянулась от Клайда до Форта и была укреплена башнями для защиты от вторжения шотландцев, или, иначе, каледонцев, обитавших в горах на западе.

Купцы Глазго задумали провести параллельно этой стене судоходный канал между двумя морскими заливами, каковой канал будет весьма споспешествовать их торговле, ибо поможет им перевозить товары с одного края острова на другой.

Из Глазго мы проехали по Клайду, красивой реке, украшенной по обоим берегам усадьбами, городками и деревнями. Немало здесь также рощ, лугов и хлебных полей, но по сю сторону Глазго почти нет других злаков, кроме овса и ячменя; овес здешний гораздо лучше, а ячмень гораздо хуже, чем в Англии. Дивлюсь я, как мало здесь ржи, а ведь сей злак может расти почти на любой почве; а еще более дивлюсь тому, что совсем не заботятся о разведении картофеля в горной части здешней страны, где беднякам не хватает муки, чтобы запастись ею на всю зиму.

На другом берегу реки находятся города Пезли и Ренфру. Первый был раньше бедной деревней, а стал одним из самых процветающих городов королевства и известен полотняными, батистовыми и шелковыми мануфактурами. Прежде Пезли был славен богатым монастырем монахов Клюни, которые написали прославленную Scoti Chronicon[1], называемую «Черная книга Пезли». Древнее аббатство еще сохранилось по сю пору и обращено в жилой дом, владелец коего граф Дандоналд. Что касается Ренфру, то этот главный город графства стоит на берегу Клайда; принадлежал он роду Стюартов, вследствие чего старший сын короля имел титул барона Ренфру, носимый также и ныне принцем Уэльским.

Реку Клайд мы оставили слева в Данбриттоне, где она расширяется в устье, куда впадает река Левен. Тут находится замок, который назывался прежде Алклюйд, омываемый обеими этими реками со всех сторон, за исключением узкого перешейка, который, однако, затопляется при каждом весеннем разливе. Сей замок весьма достоин внимания не только благодаря диковинной скале, но и благодаря своему местоположению.

Тут мы переправились через реку Левен, которая далеко не так широка, как Клайд, однако более прозрачна и прелестна. Очаровательная эта река течет из озера Ломонд — Лох Ломонд,— протекает по каменистому ложу мили четыре и впадает в устье Клайда у Данбриттона. Недалеко от истока ее на берегу озера стоит дом камеронцев, принадлежащий мистеру Смоллету, так хорошо скрытый в дубовом лесу, что мы увидели его лишь за пятьдесят ярдов от ворот.

Видывал я на своем веку немало озер: Гарда, Альбано, Больсена и Женевское, и, по совести сказать, озеро Ломонд я предпочитаю им всем, ибо на нем как бы плавают зеленеющие острова, которые восхищенному взору кажутся приютами мира и покоя. Берега также не лишены прелести, местами они даже кажутся величественными. По сю сторону они тешат взор прелестным чередованием лесов, пашен и пастбищ; то там, то сям красивые усадьбы точно возникают из вод озера, а вдали виднеются высокие горы, поросшие вереском, который в пору цветения подобен пурпуровому ковру. Все сие красотой своей превыше всякого воображения. Справедливо называют этот край Шотландской Аркадией, и я вполне уверен, что он ни в чем не уступает Аркадии, разве только в климате, что же касается до муравы, вод и лесов, то в этом он ее превосходит.

---

[1] Хроника Шотландии *(греч.)*.

Что вы скажете, к примеру, о созданном самой природой водоеме, наполненном прозрачной водой миль в тридцать длиной, в ширину до семи миль, а глубиной в шестьсот футов,— водоеме, на коем возвышаются двадцать четыре обитаемых острова, изобилующих красным зверем и покрытых лесами, водоеме, в котором ловится вкуснейшая рыба, как-то: лососи, щуки, форель, окуни, камбала, угри, а также паваны, особого рода пресноводная сельдь, которая только в этом озере водится. И озеро это соединяется с морем через вытекающую из него реку Левен, по которой упомянутые рыбы (исключая павана) заплывают сюда и спускаются в море.

Я посылаю вам маленькую оду сей реке, сочиненную доктором Смоллетом, который родился на берегах ее, милях в двух от того места, откуда я пишу. Сия ода, ежели даже не признавать за ней других достоинств, написана живо и описывает реку весьма точно.

Изображение красивого ландшафта сделано с натуры и отличается правдивостью, что мне нравится куда больше, чем любая пышная выдумка, созданная самым плодовитым воображением.

Хотелось бы мне еще кое-что написать, но письмо мое и так растянулось, и отложу я это до другого раза. Скажу только, что я решил проехать миль на сорок в горы, которые представляются отсюда моему взору как огромные странные призраки в облаках и манят приблизиться к ним всегда вашего

*М. Брамбла.*

*Кэмерон, 28 августа*

### ОДА РЕКЕ ЛЕВЕН

Вдоль Ле́вена бродил когда-то я,
И пела о любви свирель моя,
И ни один аркадский пастушок
О большем счастье помышлять не мог.
Поток кристальный! Часто жарким днем
Прохладой услаждался отрок в нем.
Ничто не затемняет чистых вод,
И так приятно слушать, как поет
Твоя волна, шепча другой волне
И омывая камешки на дне.
О, сколько рыб пересекает гладь!
Их мириады мне не сосчитать:
Форель, блистающая чешуей,
Лосось, всех затмевающий собой,
Вот щука, всем грозящая войной,
Серебряных угрей несметный рой.

Из озера родимого ты мчишь
Свою волну сквозь рощ сосновых тишь,
Меж купами белеющих берез
И зарослями ярких диких роз.
Хотел бы я, чтобы паслись всегда
На тучных пастбищах твоих стада,
Чтоб весело пастушки пели там,
А дудочка пастушья — по холмам,
Чтоб вера не погасла никогда,
Чтоб не иссякли радости труда,
И сердцем смелым, смелою рукой
Хранимы были счастье и покой.

## *Доктору Льюису*

Любезный доктор!

Ежели пришла бы мне охота быть придирчивым, я мог бы сказать, что дом в Кэмероне стоит слишком близко к озеру, ибо лежит оно ярдах в шести-семи от окна. Построить дом можно было повыше, откуда открывался бы лучший вид, и воздух был бы суше; но теперешний владелец купил его уже готовым, не пожелав брать на себя хлопот по исправлению родового своего дома на Бонхилле, расположенного на берегу Левена милях в двух отсюда и окруженного столь густыми деревьями, что его в былые времена называли «Гнездо дроздов».

Над этим домом находится живописное ущелье в горе, покрытой лесом, на дне его протекает чистейший ручей, который, низвергаясь каскадами, устремляется к Левену и являет собой восхитительную картину. Капитан военного корабля, обогнувший земной шар с мистером Энсоном, будучи приведен к сему ущелью, воскликнул: «Черт подери, да это Хуан Фернандес!»

И вправду, страна эта была бы сущим раем, ежели бы, на беду свою, не имела, равно как и Уэльс, сырого климата, коим обе эти страны обязаны близости высоких гор, а также и тому, что они открыты с запада испарениям Атлантического океана. Однако же воздух этот, несмотря на влажность, столь здоров, что здешние жители почти ничем не хворают, кроме оспы да коросты, которая происходит от нечистоплотности, в чем можно попрекнуть простой люд в этом королевстве. Здесь нетрудно сыскать живые памятники долголетия; одного из них я знаю и весьма уважаю, это почтенный друид, доживший до девяноста лет, не хворая, среди дубов, которые он посадил своими руками.

Когда-то ему принадлежали эти земли, но, отличаясь духом предприимчивости, он принял участие в различных предприятиях; потерпев неудачу, он вынужден был продать земли, которые с той поры переменили нескольких владельцев; каждый из сих владельцев старался всячески облегчить ему старость. Достатка у него хватает, чтобы иметь все самое необходимое для жизни, и вместе со своей старухой женой он живет в маленьком крестьянском домике и своими руками возделывает свой огород. Престарелая эта чета живет в добром здравии, в мире и согласии и, ни в чем не нуждаясь, наслаждается совершенным довольством.

Мистер Смоллет зовет его адмиралом, ибо он сам правит рулем своей лодки, когда катается в ней по озеру; бóльшую часть времени он проводит в прогулках по лесам, которые, по словам его, любезны ему так же, как будто все еще ему принадлежат. Как-то я спросил его, ужели он никогда не хворал. Он ответил, что за год до соединения Англии с Шотландией хворал лихорадкой. Не будь он туг на ухо, беседа с ним доставляла бы мне великое удовольствие, ибо он очень умен и сохранил удивительную память. Таковы счастливые последствия умеренности, трудолюбия и добросердечия.

Однако же, невзирая на свою невинность, явился он причиною великой тревоги моего слуги Клинкера, который суеверен от природы, а тут, в этой стране, вдосталь наслышался историй о ведьмах, феях, привидениях и леших.

Когда прибыли мы сюда, Хамфри в тот же вечер забрел в лес, погрузившись в свои благочестивые размышления, как вдруг под развесистым дубом предстал перед ним адмирал.

Парень отнюдь не труслив в тех случаях, когда нельзя заподозрить ничего сверхъестественного, но тут он не выдержал появления сего духа и без памяти прибежал на кухню; волосы у него стояли дыбом, глаза вылезли на лоб, а язык отнялся. Мисс Дженкинс, узревшая его в таком виде, воскликнула:

— Господи помилуй! Ему что-то привиделось!

Мисс Табита перепугалась и всполошила весь дом.

Когда Клинкер, осушив стаканчик, пришел в себя, я спросил его, чем объяснить его волнение, и он нехотя признался, что видел привидение в образе старика с седой бородой, в черной шапке и в клетчатом халате. Из заблуждения этого его вывел сам адмирал, пришедший как раз в это время и представший перед ним во плоти.

Желаете ли вы знать, чем мы питаемся в этом шотландском раю? К услугам нашим превосходная баранина нашего хозяи-

на, его птичий двор, огород, молочная, погреб, снабженные в изобилии. Превосходный лосось, щука, форель, окунь, корюшка — рукой подать. Устье Клайда по другую сторону холма доставляет нам голавлей, треску, макрель, мерлана и других морских рыб и, между прочим, сельдь, вкуснее которой я не едал. Из городка Данбриттона нам доставляют сочную говядину, отменную телятину, весьма вкусный хлеб, а куропаток, тетеревов, глухарей и прочую дичь мы получаем в подарок и не можем жаловаться на недостаток ее.

Все соседние джентльмены посещали нас и в своих домах угощали не только гостеприимно, но с такой сердечностью, какую можно было бы ждать после долгого отсутствия только от близких родственников.

В последнем моем письме я писал, что собираюсь совершить путешествие в горы; сей план я привел в исполнение весьма удачливо под руководством сэра Джорджа Колхуна, голландской службы полковника, который сам предложил быть нашим проводником.

Оставив наших женщин в Кэмероне на попечение леди Х. С., мы поехали верхом в Инверери, главный город графства Аргайль, и по пути обедали с лэрдом Макфарланом, великим знатоком генеалогии, превосходно знающим шотландские древности.

У герцога Аргайля есть древний замок в Инверери, где он живет, когда приезжает в Шотландию. Неподалеку от него стоят стены величественного готического дворца, возведенные покойным герцогом; когда постройка закончится, дворец станет украшением сей части горной Шотландии. Что же до Инверери, то это городок весьма мало примечательный.

Эта часть страны удивительно дикая, особливо в горах, каковые нагромождены друг на друга; почти нет здесь возделанной земли, да и людей не видно. Все величественно, безмолвно и пустынно. Люди живут в ущельях гор, где они находят приют от зимних морозов и бурь. Но вдоль морского берега есть здесь равнины; они населены, жители их не оставляют землю лежать втуне, и сии равнины я почитаю приятнейшими местами на всем острове; море здесь смягчает климат, снабжает жителей рыбой, и отсюда открывается замечательный вид на Гебриды, или Западные острова, коих около трехсот, разбросанных в беспорядке до самого горизонта.

Почва и климат горной части не благоприятствуют хлебопашеству, и поэтому жители занимаются главным образом скотоводством, в котором и преуспевают. Зимой скот пасется

без всякого присмотра и не имеет никакого пристанища и корма, кроме того только, который сыщет в вереске. Когда же снег выпадает глубокий или столь отвердевает, что скот не может добраться до корней травы, тогда исключительно по врожденному побуждению он ходит ежедневно во время отливов к морскому берегу, где питается alga marina и другими растениями, на берегу произрастающими.

Может быть, сей род сельского хозяйства, требующий столь мало присмотра и труда, есть одна из главнейших причин лености и отсутствия трудолюбия, которые отличают жителей гор в их собственной стране. Но стоит им уехать в чужие земли, как становятся они не менее прилежны и сметливы, чем все другие люди. Нет сомнения, что они не походят на других подданных сего королевства — на жителей равнин, к которым питают исстари сильную вражду, и это различие приметно даже в людях родовитых и просвещенных. Жители равнин хладнокровны и осмотрительны, а жители горной части — неистовы и запальчивы, но пылкость их чувств только еще более воспламеняет их уважение к чужеземцам, поистине исполненное восторга.

Мы проехали за Инверери миль на двадцать к некоему джентльмену, другу нашего проводника; там мы прожили несколько дней, и нас угощали так, что я стал опасаться дурных последствий для своего здоровья.

Несмотря на пустынность гор, в горной части нет недостатка в людях. Мне сказывали достоверно, что герцог Аргайль может поставить под ружье пять тысяч человек, принадлежащих к его клану Кэмпбелов; сверх того, есть еще ветвь того же клана, глава коей граф Бредалбан. Столь же многочисленны и воинственны Мак-Доналды, Кэмероны, Мак-Леоды, Фрезеры, Гранты, Мак-Кензи, Мак-Ферсоны, Мак-Интоши — все сии кланы весьма сильны, и, таким образом, горная часть страны вместе с островами может выставить армию в сорок тысяч воинов, способных пойти на опаснейшее дело.

Нам довелось видеть, как четыре тысячи не обученных ратному делу воинов привели в смятение всю Великобританию. Они напали на две обученные и привычные к службе армии и нанесли им поражение. Они вторглись в глубь Англии, а засим, на виду двух других армий, отступили в порядке через вражескую страну, где им всячески пытались отрезать отступление. Какой другой народ в Европе без знания науки ратной решился бы, возглавляемый своим вождем, напасть на обученные войска? Ежели этот народ обучить, он выставит превосходных солдат,

Горцы ходят не так, как другие люди, но словно на пружинах, скачут и бегают, подобно оленям. Они далеко превосходят жителей равнин во всех упражнениях, требующих проворства; они отличаются крайним воздержанием, терпеливо выносят голод и утомление и столь приучили себя к любой погоде, что, ежели им случится, путешествуя, сделать привал на дороге, занесенной снегом, они не ищут никакого пристанища, а заворачиваются в свой плед и спят под открытым небом. Такие солдаты должны быть непобедимы, когда им придет нужда проделать быстрые переходы по труднопроходимой стране, нанести неожиданный удар, тревожить врага на зимних квартирах, утомить его кавалерию и совершить поход без провиантских складов, поклажи, конских кормов и артиллерии.

Власть вождя клана у горцев есть сила весьма опасная, ибо распространяется до окраин острова, где глаза правительства могут недоглядеть и куда рука его может не дотянуться. И вот для того, чтобы сломить могущество кланов, правительство всегда следовало политическому правилу divide et impera [1]. По решению законодательной власти горные шотландцы не только были разоружены, но и лишены своего старинного одеяния, которое весьма споспешествовало сохранению их воинского духа; в силу парламентского акта они освобождены также и от рабской ленной зависимости, так что в настоящее время они не подчинены своим вождям, поскольку закон мог сделать их свободными. Однако же старинная их верность вождям сохраняется и основана она на чем-то более древнем, чем *феодальная система*, вокруг которой писатели нашего времени подняли такой шум, точно сделали открытие, подобное Коперниковой системе. Любую особенность управления, обычаев и даже нравов непременно относят к сему началу, как будто феодальное устройство не было присуще почти всем народам Европы. Право же, мне кажется, что ношение штанов до колен и пристрастие к элю с коровьим маслом также сочтут следствием феодальной системы.

Связь между кланами и их вождями, вне сомнения, *патриархальна*. Зиждется она на любви и преданности, переходящими по наследству в течение веков. Клан почитает вождя, как своего отца, члены клана носят его имя, они полагают, будто происходят от его семейства и подчиняются ему, как господину своему, со всей сыновней любовью и уважением; а вождь, в свою очередь, пользуется своей властью по-отечески, повеле-

[1] Разделяй и властвуй *(лат.)*.

вает ими, как своими детьми, карает их, награждает, защищает и о них заботится. Когда бы законодательная власть пожелала этот союз совершенно разрушить, надлежало бы принудить горцев переменить их жилища и имена. Впрочем, даже и сей опыт был произведен ранее без успеха. В царствование Иакова VI в нескольких милях отсюда произошла битва между двумя кланами — Мак-Грегорами и Колхунами, в коей последние были разбиты. Лэрд Мак-Грегор воспользовался победой с такой жестокостью, что парламентским актом был лишен прав и объявлен вне закона. Его земли были отданы роду Монтроза, и люди его клана должны были переменить имя. Одни из них стали называть себя Кэмпбелы, другие — Грэмы или Драмонды, ибо таковы были прозвища родов Аргайля, Монтроза и Перта; поступили они так для того, чтобы пользоваться защитой сил владетельных домов, но к новому своему наименованию всегда прибавляли имя Мак-Грегор, а поскольку их вождь был лишен своих владений, они доставляли ему средства к жизни грабежом и разбоем.

Глава этого клана мистер Кэнерон оф Лохил, отец которого был осужден за государственную измену как участник последнего мятежа, возвратился из Франции на основании парламентского акта, принятого в начале недавней войны, и, явившись в родные места, снял ферму по соседству с домом своего отца, сожженным дотла. Как только люди его клана прослышали о его приезде, то, невзирая на то, что были они прогнаны со своих земель и разорены, устремились отовсюду приветствовать его и в течение нескольких дней снабдили его ферму семьюстами голов скота, которые уцелели у них после разорения. Но их возлюбленный вождь, подающий надежды юноша, вскоре умер и не мог воспользоваться плодами их любви и преданности.

Вернейший способ ослабить эту связь между кланом и его вождем и даже разорвать ее заключается, по моему разумению, в том, чтобы дать простому народу немного вольностей и средств к жизни. Тщетно правительство предлагает ему по дешевой цене взять в аренду земли, отобранные у государственных преступников, ибо у него нет средства для их обработки. Море, скажем, есть неисчерпаемый источник богатства, но ведь нельзя заниматься рыбным промыслом без лодок, бочонков, соли, сетей и прочей снасти.

Беседовал я с одним неглупым здешним жителем, который из одной только любви к родине завел на берегу рыбную ловлю и парусную мануфактуру, дабы дать пропитание бедным гор-

цам. Трески здесь такое множество, что, по словам его, одним неводом вытащили за один раз семьсот рыб; надлежит, правда, заметить, что невод был очень длинный и имел до двух тысяч крючков с наживкой из ракушек, но рыба здесь гораздо лучше, чем у берегов Ньюфаундленда, и его агент продал ее немедленно в Лиссабоне по назначенной им цене, хотя рыба была получена там после поста и можно было полагать, что народу сия пища весьма надоела. Преуспевала также и его парусная мануфактура, покуда во время недавней войны не взяли на службу его лучших работников.

Никак нельзя ожидать, что здешние дворяне станут приводить в исполнение коммерческие планы, заводя мануфактуры и развивая торговлю ради того, чтобы их вассалы могли сделаться независимыми, да к тому же эти планы противоречат их образу жизни и склонностям; но компании купеческие, ежели правильно поведут дело, могут получить немалую выгоду, занявшись рыбным промыслом в этой части Шотландии. У нас какой-то странный зуд заселять Америку, меж тем как с большей пользой мы могли бы трудиться в еще не возделанных краях собственного нашего острова.

Поездив по горам и ущельям Аргайля, мы побывали затем на прилежащих к нему островах Айла, Юра, Малл и Иконкил. На первом из них мы видели развалины замка, выстроенного на островке посреди озера, где некогда жил Мак-Доналд, не то лорд, не то король островов. Юра славен тем, что на нем родился некий Мак-Крен, который прожил в одном доме сто восемьдесят лет и умер в царствование Карла Второго. На острове Малл есть много заливов, пригодных для стоянки кораблей; в одном заливе была взорвана предком мистера Смоллета «Флорида» — корабль испанской Армады. Лет сорок назад Джон, герцог Аргайль, как сказывают, узнал из испанских регистров, что на этом судне была воинская казна. Он приказал искусным водолазам осмотреть затонувшее судно, и они нашли остов его в целости, но столь занесен он был песком, что невозможно было проникнуть меж палубами; впрочем, водолазы подобрали на дне залива несколько серебряных тарелок и две отменные медные пушки.

Иконкил, или иначе Иона, есть небольшой островок, некогда избранный для жительства святым Колумбой; островок почитался как место священное, и здесь была духовная семинария. На нем сохранилась доныне часть церкви с гробницами разных шотландских, ирландских и датских монархов, преданных там земле.

Островитяне очень смелы и искусны в мореходстве, а потому весьма способны к рыбной ловле. Нрав у них менее дикий и буйный, чем у их соотечественников на материке, и разговаривают они на чистейшем языке *эрзи*, или *гэльском*.

Отправив домой наших коней сушей, мы сели в округе Коуэл на суденышко и отплыли в Гринок, славный городок по другую сторону залива, имеющий странную гавань, которую образуют три каменные дамбы, протянувшиеся далеко в море. Ньюпорт-Глазго, похожий на Гринок-городок, находится милях в двух от него. Оба городка имеют вид деловой и процветают; они целиком зависят от морской и речной торговли Глазго; во всех трех гаванях я насчитал шестьдесят судов из Глазго. Снова сев в лодку в Ньюпорте, мы через полчаса высадились на другом берегу, милях в двух вверх по течению реки от нашей штаб-квартиры, где нашли наших женщин в добром здравии и хорошем расположении духа. Дня за два до этого к ним присоединился мистер Смоллет с супругой, которому мы столь обязаны, что даже вам я не могу говорить об этом без смущения.

Завтра мы простимся с шотландской Аркадией и тронемся на юг, держа путь через Ланарк и Нисдейл к западным границам Англии. От сей поездки получил я столько пользы и удовольствия, что, ежели мое здоровье не изменит мне зимой, то, думаю, мне захочется совершить другое путешествие к северным границам графства Кеснесс, избавившись предварительно от пут, кои связывают ныне по рукам и по ногам вашего

*М. Брамбла.*

*Кэмерон, 6 сентября*

## *Мисс Летиции Уиллис, в Глостер*

Дорогая моя Летти!

Ни один несчастный пленник не жаждал освобождения больше, чем жаждала я возможности излить свою печаль вашему дружескому сердцу, и случай, ныне представившийся, кажется почти чудесным. Славный Сандерс М'Оули, шотландец, странствующий торговец, что каждый год приезжает в Уэльс, находится сейчас в Глазго, где закупает товары; он явился засвидетельствовать свое почтение нашему семейству и обещал передать вам это письмо в собственные руки.

Мы пробыли шесть недель в Шотландии и осмотрели главные города этого королевства, где были приняты с отменной любез-

ностью. Народ здесь очень вежливый, а сия страна, весьма романическая, отвечает моему нраву и наклонностям. У меня завязались знакомства в Эдинбурге, большом прекрасном городе, где общество самое веселое, и где, кстати сказать, я подружилась с некой мисс Р-т-н, любезной молодой леди, моей сверстницей, чьи прелести как будто смягчили и даже пленили непокорное сердце моего брата Джерри, но не успел он отсюда уехать, как уже вернулась к нему прежняя его нечувствительность. Однако же я полагаю, что такая холодность не есть семейное наше свойство. Всегда признавала я лишь одну любовь, и эта любовь так угнездилась в моем сердце, что угасить ее не могут ни голос благоразумия, ни ледяное равнодушие.

Дорогая Летти! На охотничьем балу в Эдинбурге произошел случай, вызвавший большой переполох. Я сидела в уголке и беседовала с приятельницей, как вдруг предстал передо мною человек, как две капли воды похожий на Уилсона, и одет он был, как Уилсон в роли Эмуэла. Это был некто мистер Гордон, которого я раньше не видала. Потрясенная неожиданным явлением, я лишилась чувств и переполошила всех на ассамблее. Однако же причина моего обморока осталась тайной для всех, кроме брата, который, в свою очередь, поражен был сходством и, как только вернулся домой, начал яростно браниться.

Я очень ценю любовь Джерри и знаю, что бранился он, заботясь о моем счастье и о моей выгоде, а также о чести семьи, но мне невыносимо, когда так жестоко растравляют мои раны. Я страдала не столько потому, что он распекал меня за нескромность, сколько из-за его рассуждений о поведении Уилсона. По его словам, если бы Уилсон действительно был джентльмен, за которого выдавал себя, и имел только честные намерения, то он, конечно, заявил бы о своих притязаниях открыто. Эти слова сильно смутили мою душу. Я старалась скрыть свои мысли, но эти усилия дурно подействовали на мое здоровье и бодрость, а потому все почли необходимым ехать в горную область Шотландии, чтобы я пила там козье молоко.

И вот мы поехали к озеру Ломонд, в одно из самых красивых мест на свете, и благодаря этому молоку, которое приносили мне парным с гор, чистому воздуху и веселому обществу я пополнела и вновь обрела аппетит, хотя в глубине сердца и утаила нечто такое, чему не помогут ни воздух, ни прогулки, ни общество, ни лекарства.

Происшествие это затронуло бы меня не так глубоко, если бы у меня была разумная наперсница, которая сочувствовала бы моим горестям и утешала здравыми советами. При мне же нет

никого, кроме Уин Дженкинс, очень доброй девушки, но вовсе непригодной для такой роли. Бедняжка слаба как нервами, так и умом; не будь этого, я могла бы узнать настоящее имя и положение этого несчастного юноши.

Но почему называю я его несчастным? Не подходит ли это слово больше ко мне, слушавшей лживые объяснения в... Но нет! Я еще не имею никакого права и, конечно, никакого желания верить подозрениям, позорящим его честь. Эта мысль по-прежнему будет опорой моему терпенью.

Что касается до мисс Дженкинс, то она поистине достойна сожаления: тщеславие, методизм и любовь почти вскружили ей голову. Я относилась бы к ней с большим вниманием, если бы она была более постоянна в любви, но, право же, она стремилась только к победам и в одно время любезничала со слугою моего дядюшки, Хамфри Клинкером, и с неким Даттоном, камердинером моего брата, беспутным человеком, который, покинув Уин, бежал с невестою другого в Беруик.

Дорогая моя Уиллис, мне поистине стыдно за особ моего пола! Мы жалуемся, что мужчины употребляют нам во зло нашу молодость, неопытность, чувствительность и другие качества, но я видела достаточно и думаю, что женщины обычно ухищряются поймать в сети мужчин и для сего пользуются уловками, которых ничем нельзя оправдать. Что же до непостоянства, то и в этом они, по справедливости, не должны упрекать мужской пол.

Бедная моя тетушка, забывая лета свои и изъяны, выставляла на продажу свои прелести всюду, где была хоть малейшая возможность навязать свою особу мужчине, однако же до сей поры не удается сбыть ее с рук. Боюсь, что даже религией она пользовалась как приманкой, но надежды ее не оправдались. Она молилась, проповедовала и поучала среди методистов, которых великое множество в этой стране, и теперь говорит, будто были у нее такие видения и откровения, каким едва может поверить даже сам Клинкер, хотя бедняга едва не рехнулся от благочестия.

Что до Дженкинс, то она притворяется, будто принимает все мечты своей хозяйки за евангельскую истину. Она также испытывает сердечный трепет и парение духа. Да простит мне бог, если я сужу несправедливо, но все это кажется мне только лицемерием и обманом! Однако же бедная девушка, может быть, сама обманывается. Всегда она в волнении и часто страдает ипохондрией. С тех пор как приехали мы в Шотландию, ей начали являться привидения, и она открыла у себя пророческий

дар. Если бы могла я верить во все эти сверхъестественные явления, то должна была бы почитать себя лишенной благодати, потому что ничего похожего на это не видала, не слыхала, не чувствовала, хоть я и стараюсь исполнять религиозные обязанности со всею искренностью, рвением и благочестием и делать для этого все, что только по силам, дорогая Летти, всегда вас любящей

*Лидии Мелфорд.*

*Глазго, 7 сентября*

Мы уже собираемся в обратный путь, в Брамблтон-Холл, и я тешу себя надеждой, что по дороге заедем в Глостер, а в таком случае я буду иметь невыразимое удовольствие расцеловать мою милую Уиллис. Прошу вас, поклонитесь от меня моей почтенной воспитательнице.

*Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Милая Мэри!

Шотландец Сундерс Макулли, который едет прямехонько в Вэлс, пообещался вручить вам это прямо в руки, потому я не пропущу аказии и сообщаю вам, что нахожусь еще в живых, а с той поры, как отправила вам последнее письмо, я чуть было не отправилась на тот свет.

Поехали мы по морю в другое королевство, а называется оно Файф, а как поплыли назад, то чуть не утопли в бурю. Так я испужалась, и ужасти как тошнило меня, что я уж подумала, как бы сердце из меня не выскочило. Через двои сутки, как вышли мы на землю, даже мистер Клинкер все еще был сам не свой. Кой для кого хорошо, что мы не утопли, потому как моя хозяйка ужасти как серчала и, видно, совсем не приготовилась к тому свету. Но, слава богу, скоро она переменилась к лучшему, когда увищевал ее с глазу на глаз преподобный мистер Макрокодил.

А после поехали мы в Старлинг и Глазку, два красивых города, а потом поселились в доме одного джентльмена на Лох Ломине, а это чудо какое море с пресной водой, и на середине островов и не перечесть. Сказывают, что у него нет дна, и сделал его какой-то музыкант, а я тому не верю, потому такого от природы не бывает. Ходят по тому морю *волны без ветра*, водится в нем *рыба без плавников*, и есть на нем *пловучий остров*. На одном острове есть погост, на котором хоронят мертвецов,

и всякий раз, как надобно человеку помирать, звонит колокол сам собою для того, чтобы о том предупредить.

Ох, Мэри, здесь заколдованное место! Колокол звонил, когда мы там были. Я видела огоньки и слышала стоны. У нашего хозяина есть еще один дом, и пришлось ему оттудова убраться, потому как зловредный дух не давал людям спать. Феи живут в пропасти близехонько отсюда, у горы Каирман, и они утаскивают добрых женщин, как они начинают рожать, коли к двери не прибита подкова.

Показывали мне одну старую ведьму, зовут ее Элисамат Рингавей, ходит она в красной юбке, глаза тусклые, а на подбородке седая щетина. Чтоб не навела она на меня порчу, я сунула ей в руку шесть пенсов и попросила погадать мне, и уж такое она наваражила! Мистера Клинкера описала как вылитого,— ну да уж никто не скажет, чтобы я хоть словечко об этом проронила. Как мучат меня припадки, то и присоветовала она мне купаться в Лохе, а вода там святая. Пошли мы поутру с горничной служанкой в укромное местечко и купались, в чем мать родила, такой уж здесь обычай. Полощемся мы в этом Лохе, ан смотрим — идет сэр Джордж Кун с ружьем; ну, мы закрыли лицо руками и прошли мимо него туда, где оставили свое платье. Учтивый джентльмен отвернулся бы в сторону, но я утешаюсь мыслию, что он никак не мог узнать, кто из нас кто, потому, как говорит народная пословица, «ночью все кошки серы».

Покуда жили мы у Лох Ломина, он с обоими нашими сквайрами поехал на три или четыре дня к диким горным людям. Живут эти дикари в пещерах, среди скал, пожирают малых детей, говорят, как в Вэлсе, только слова у них другие. Наши леди не хотели разлучаться с мистером Клинкером, потому как он такой храбрый и набожный и не боится ни людей, ни чертей, коли только не захватят его врасплох. Правда, один разок он так перепужался привидения, что чуть было не сомлел. Уверял он нас, что привиделся ему старый абмирал, но от абмирала у него волосы не поднялись бы дыбом, да и не мог он зубами щелкать. А мистер Клинкер говорил это, потому боялся, чтобы наши леди не испужались.

Мисс Лидди отощала и совсем было зачахла; боюсь я, что сердечко у нее слишком уж нежное, но козье молоко опять поставило ее на ноги. Вы видь знаете, что для валлийской женщины козье молоко все равно, что материнское. А хозяйка, господь с ней, никакой хвори не знает. Желудок у ней хороший, и она набирается жиру и благочестия. А все ж, мне кажется, зараза может пристать к ней, как и к другим людям, и не станет

она тужить, если ее будут называть не миссис, а леди, только бы сэр Джордж надумался попросить ее об этом. Но про себя скажу: что бы я там ни видела и слышала, но, милая Молли, ни словечка не сорвется с губ

вашей любящей подруги *Уин Дженкинс.*

*Глазка, 7 сентября*

Поклонитесь от меня, как всегда, Сауле. Мы теперь едем домой, хоть и не ближней дорогой. Верно, котенок к моему приезду будет ростом с медвежонка.

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой баронет!

Снова вступил я на английскую землю, которая нравится мне не меньше прежнего после полуторамесячных скитаний в лесах и горах Шотландии — не в обиду будь сказано стране, где, как говорится, овсяные лепешки растут на соломе!

Никогда не случалось мне видеть дядюшку таким здоровым и бодрым, каков он теперь. Лидди совсем оправилась, и у мисс Табиты нет причин жаловаться. Однако ж я думаю, что вплоть до вчерашнего дня она не прочь была послать к черту всех шотландцев, как бесчувственных тварей, пред которыми она тщетно выставляла напоказ свои прелести. Всюду, где мы останавливались, выходила она на арену и размахивала своим заржавевшим оружием, но ни единой победы не одержала. Одной из последних ее попыток было покушение на сердце сэра Джорджа Колхуна, с которым она сражалась неоднократно, пуская в ход различное оружье. Она бывала то степенна, то весела, читала поучения и толковала о методизме, смеялась, резвилась, плясала, пела, вздыхала, строила глазки, шепелявила и лебезила, но это было все равно, что проповедовать в пустыне. Баронет, как человек благовоспитанный, простирал свою учтивость лишь настолько, насколько она, по совести, могла ожидать, а если дать веру злым языкам, то и несколько дальше; но он слишком искушен как в любовных, так и в военных делах, чтобы попасть в засаду, которую она могла ему устроить.

Когда мы с ним отлучились в горы, она принялась осаждать лэрда Ладришмора и даже назначила ему свидание в лесу Дромскайлох. Однако лэрд столь рачительно заботился о своей

репутации, что пришел в сопровождении приходского священника, и ничего между ними не было, кроме духовного общения. После всех этих неудач тетушка наша вдруг вспомнила о лейтенанте Лисмахаго, о котором она со дня нашего прибытия в Эдинбург как будто и думать позабыла; но теперь она выражает надежду увидеться с ним, согласно его обещанию, в Дамфрисе.

Из Глазго мы отправились в Ланарк, город в графстве Клайдсдел, близ которого великолепным и грозным водопадом низвергается с крутой скалы река Клайд. На следующий день принуждены мы были остановиться в маленьком городке, покуда не починят нашу карету, поломавшуюся в дороге, и здесь мы были свидетелями происшествия, глубоко растрогавшего доброе сердце мистера Брамбла.

В то время как мы стояли у окна гостиницы, находящейся против городской тюрьмы, подъехал верхом человек в пристойной, но небогатой одежде,— в синем кафтане, с подстриженными волосами, без парика, в шляпе с золотым галуном. Сойдя с лошади и передав ее хозяину гостиницы, он подошел к какому-то старику, мостившему улицу, и обратился к нему с такими словами:

— Тяжелая это работа для такого старого человека, как вы.

Он взял у него из рук колотушку и попробовал бить по мостовой. После нескольких ударов он спросил:

— Разве нет у вас сына, который избавил бы вас от такого труда?

— Есть, ваша честь,— отвечал старик,— есть у меня трое славных ребят, но нет их теперь при мне.

— Что это вы меня величаете! — воскликнул незнакомец.— Скорее мне подобает почтить ваши седины! Где же эти сыновья, о которых вы говорите?

Престарелый мостильщик ответил, что старший его сын служит офицером в Ост-Индии, а младший недавно завербовался в солдаты и надеется преуспеть в жизни по примеру своего брата. Когда же джентльмен пожелал узнать, что сталось со средним сыном, мостильщик утер слезы и признался, что тот принял на себя долги старика отца, за которые и сидит теперь вон в этой тюрьме.

Путешественник устремился было к тюрьме, но, сделав три шага, обернулся и спросил:

— Скажите мне, неужели этот бессердечный капитан ничего не прислал, чтобы помочь вам в беде?

— Не называйте его бессердечным,— возразил старик.— Да благословит его бог! Он прислал мне много денег, но я плохо

распорядился ими: поручился за одного джентльмена, своего хозяина, и лишился их, да к тому же отобрали у меня и все мое имущество.

В эту минуту какой-то молодой человек, просунув голову между железными прутьями тюремного оконца, закричал:

— Отец! Отец! Если мой брат Уильям еще жив, так это он!

— Да, да! — воскликнул путешественник, сжимая в объятиях старика и проливая ручьи слез.— Я точно ваш сын Уили!

Не успел потрясенный отец ответить на его ласки, как из двери бедного домишка выбежала скромная старушка, восклицая:

— Где мой мальчик? Где мой дорогой Уили?

Увидав ее, капитан оставил отца и бросился в ее объятия.

Уверяю вас, что дядюшка мой, который видел и слышал все происходящее, был взволнован не меньше, чем сами участники этого трогательного свидания. Он всхлипывал, плакал, хлопал в ладоши, кричал от радости и наконец выбежал на улицу. К тому времени капитан удалился со своими родителями, а у дверей его дома собрались все жители этого местечка. Однако же мистер Брамбл пробился сквозь толпу и, войдя в дом, сказал:

— Капитан, прошу удостоить меня знакомства с вами! Я согласился бы проехать сто миль, только бы увидеть такое трогательное зрелище. Я буду почитать за счастье, если вы и родители ваши отобедаете со мною в трактире.

Капитан поблагодарил его за любезное приглашение, которое, как объяснил он, принял бы с радостью, но сейчас он и думать не может о еде и питье, пока не выручит из беды своего брата. И он тотчас же отнес городскому судье всю сумму, покрывающую долг, и тот решил выпустить его брата на свободу без всяких судебных проволочек. После сего все семейство вместе с дядюшкой отправилось в гостиницу в сопровождении толпы народа; многие пожимали руку своему земляку, а тот отвечал на их приветствия простодушно и без всякой заносчивости.

Этот честный баловень фортуны, которого звали Браун, рассказал дядюшке, что был обучен ткацкому ремеслу и лет восемнадцать назад из-за лени и беспутства пошел в солдаты Ост-Индской компании; что на службе посчастливилось ему привлечь внимание и получить одобрение лорда Клайва, который производил его из чина в чин, покуда не стал он капитаном и полковым казначеем и в сем звании честно накопил около двенадцати тысяч фунтов, а по заключении мира подал в отставку. Несколько раз посылал он деньги отцу, который

получил только первую посылку — сто фунтов; в другой раз деньги попали в руки одного банкрота, а в третий были пересланы одному шотландскому джентльмену, который умер до получения их, и предстоит еще их взыскивать с его душеприказчиков.

Теперь он подарил старику на неотложные его нужды пятьдесят фунтов сверх той сотни фунтов, которую внес за освобождение брата. Он привез с собою уже заверенный документ, по которому закрепил за родителями пожизненную ренту в восемьдесят фунтов в год, каковая по смерти их переходила к обоим его братьям. Для младшего брата он обещал купить патент на офицерский чин, а среднего собирался взять компаньоном в дело, ибо хотел завести мануфактуру, чтобы доставить работу и кусок хлеба людям трудолюбивым, а сестре своей, бывшей замужем за бедным фермером, решил дать в приданое пятьсот фунтов. Наконец, еще пятьдесят фунтов роздал он беднякам города, где родился, и поставил угощение всем обитателям его без исключения.

Дядюшка был столь восхищен натурой капитана Брауна, что за обедом трижды пил за его здоровье. Он говорил, что гордится знакомством с ним, что капитан делает честь своей отчизне и в некоторой мере очищает человеческую природу от обвинений в гордыне, себялюбии и неблагодарности. Да и мне очень понравились скромность и сыновняя любовь этого честного воина, который не хвалился своими успехами и очень мало говорил о делах своих, но на вопросы наши отвечал кратко и разумно.

Мисс Табита обходилась с ним очень милостиво, покуда не узнала, что он собирается жениться на девице низкого сословия, которую любил еще в бытность свою подмастерьем у ткача. Услыхав о его намерении, тетушка наша изменила свое поведение и стала чопорной и сдержанной, а когда гости разошлись, объявила, задрав нос, что Браун — человек довольно учтивый, если принять во внимание низкое его происхождение, но что фортуна, позаботившись о его благополучии, оказалась неспособной изменить понятия его, которые так и остались низменными и плебейскими.

Спустя день после сего приключения мы свернули на несколько миль с прямой дороги, чтобы осмотреть Друмланриг, резиденцию Куинсберри, великолепный дворец, возникший, как бы по волшебству, среди дикой пустыни. Это поистине роскошное здание, окруженное садами и парком, и оно тем сильнее поражает воображение, что находится в пустынной местности,— в одном из самых диких уголков во всей Шотландии. Однако край этот отличается от других областей горной Шотландии,

ибо горы здесь покрыты не вереском, а нежной зеленой муравой и служат пастбищем, на котором пасутся бесчисленные стада овец. Но руно в этой области, называемой Нисдейл, нельзя сравнить с руном Голуэя, которое, говорят, не уступает шерсти овец, разводимых на равнинах Солсбери.

Переночевав в замке Друмланриг по приглашению самого герцога, одного из прекраснейших людей на свете, мы поехали дальше в Дамфрис, очень красивый торговый город близ английской границы, где нашли в изобилии хорошие съестные припасы и превосходное вино за весьма умеренную цену, и расположились здесь со всеми удобствами, не хуже, чем в любой части южной Британии. Если б суждено мне было остаться до конца жизни в Шотландии, я избрал бы Дамфрис.

Здесь осведомились мы о капитане Лисмахаго и, не получив о нем никаких вестей, отправились через залив Солуэй в Карлейль. Должно вам сказать, что солуэйские пески, по которым путники проезжают во время отлива, чрезвычайно опасны, ибо в иных местах пески эти зыбучие, а в прилив вода заливает их столь стремительно, что нередко путешественники бывают настигнуты морем и погибают.

Пробираясь с проводником по этим предательским зыбучим пескам, заметили мы утонувшую лошадь, которую Хамфри Клинкер после осмотра признал за того самого коня, на котором ехал мистер Лисмахаго, когда расстался с нами у Фелтонского моста в Нортумберленде. Это заключение, казалось, возвещавшее, что наш приятель лейтенант разделил участь своей лошади, огорчило всех нас, а особливо тетушку Табиту, которая, проливая горькие слезы, попросила Клинкера вырвать из хвоста погибшей лошади два-три волоса, дабы сделать из них кольцо в память ее хозяина.

Но печаль тетушкина и наша была недолгой, ибо одним из первых, кого мы увидели в Карлейле, был лейтенант in propria persona[1], торговавший у барышника лошадь во дворе той самой гостиницы, куда мы приехали. Первой заметила его мисс Брамбл и взвизгнула так, точно узрела привидение; и в самом деле, в положенный час и в подходящем месте его легко можно было принять за выходца с того света, ибо он был еще более худ и мрачен, чем прежде. Мы встретились с ним с сугубой сердечностью, ибо думали, что он утонул, а лейтенант, в свою очередь, не поскупился на изъявления радости при этом свидании.

---

[1] Собственной персоной *(лат.)*.

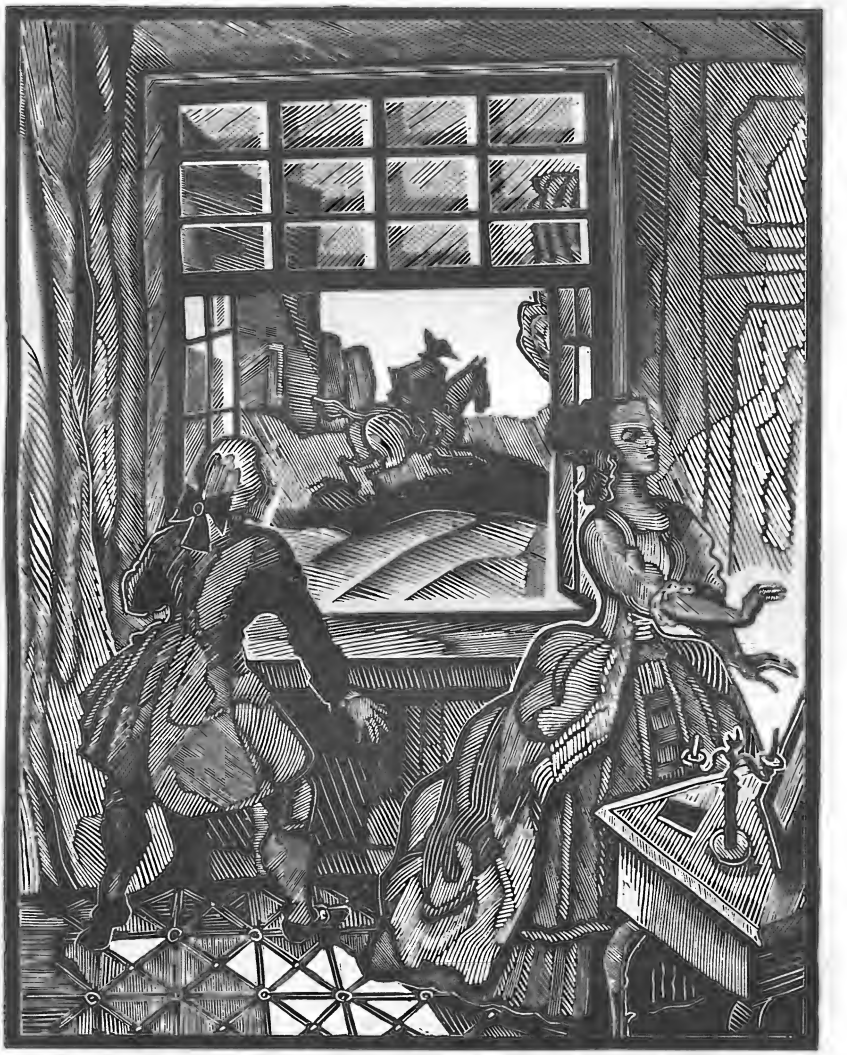
Он сообщил, что осведомлялся о нас в Дамфрисе и услыхал от странствующего торговца из Глазго, будто мы решили возвратиться домой через Колдстрим. Рассказал он нам, что, когда проезжал без проводника по зыбучим пескам, лошадь его увязла да и он бы погиб, если бы, по счастью, не выручила его из беды возвращавшаяся почтовая карета. Потом поведал нам, что мечта его устроиться на родине не сбылась, и теперь он держит путь в Лондон, чтобы оттуда отплыть в Северную Америку, где он надеется провести остаток дней среди старых своих друзей миами, занимаясь образованием сына, которого родила ему его возлюбленная Скуинкинакуста.

Намерение его пришлось совсем не по вкусу нашей милой тетушке, которая завела длинный разговор о тяготах и опасностях столь долгого плавания по морю и столь утомительного засим путешествия по суше. В особенности же распространялась она о том, какой опасности подвергнется его драгоценная душа среди дикарей, еще не получивших радостной вести о спасении. И, наконец, намекнула ему, что отъезд его из Великобритании может оказаться роковым для сердца некой достойной особы, которую он призван осчастливить.

Дядюшка мой, по великодушию своему подлинный Дон Кихот, догадавшись, что настоящая причина, понуждающая Лисмахаго покинуть Шотландию, есть невозможность жить пристойно на скудное половинное жалованье субалтерна, начал проникаться к нему горячим сочувствием. Казалось ему жестоким, что джентльмен, служивший с честью своей родине, принужден покинуть ее по бедности и жить на старости лет среди отбросов рода человеческого в отдаленнейшей части света. Об этом он поведал мне и прибавил, что с охотою предложил бы лейтенанту приют в Брамблтон-Холле, если бы не опасался того, не окажется ли он несносным сожителем по причине странностей своих и духа противоречия, хотя беседа с ним бывает иногда и поучительной и занимательной.

Однако ж нам с дядюшкой казалось, что он с особенным вниманием относится к мисс Табите, а потому мы с ним и порешили поощрять его ухаживание и, если возможно, довести дело до брачного союза; буде это случится, у обоих у них будет достаточное обеспечение, и они могут поселиться в своем доме, так что дядюшке не придется видаться с ними чаще, чем он сам того пожелает.

В исполнение этого замысла Лисмахаго получил приглашение провести зиму в Брамблтон-Холле, ибо свое намерение отплыть в Америку он может отложить до весны. Он попросил



Т. Смоллет, «Путешествие Хамфри Клинкера»

дать ему время подумать об этом предложении, а теперь решил сопровождать нас, покуда мы едем по дороге, ведущей в Бристоль, где он надеется сесть на корабль, отплывающий в Америку. Но я не сомневаюсь, что он поездку отложит и будет продолжать свое ухаживание вплоть до счастливого конца; а если союз сей принесет плоды, они, без сомнения, будут отличаться совсем особенным ароматом.

Погода все еще стоит хорошая, а потому мы, вероятно, побываем по дороге в горах на северо-западе Дербишира и на водах в Бакстоне. Как бы там ни было, из первого же городка, где мы остановимся, вы снова получите весточку от вашего

*Дж. Мелфорда.*

*Карлейль, 21 сентября*

*Доктору Льюису*

Любезный доктор!

Шотландские крестьяне живут во всем королевстве весьма бедно, однако же вид у них лучше и одеты они лучше, чем люди равного им положения в Бургундии, а также и во многих других местах Франции и Италии; смею даже сказать, что и едят они лучше, невзирая на хваленые вина сих чужеземных стран. Поселяне северной Британии едят главным образом овсянку, сыр, масло, кое-какие овощи и время от времени, как лакомство, соленые сельди, но мясо употребляют редко, почти никогда, так же как и крепкие напитки, разве что выпьют по большим праздникам на два пенса. Завтракают они заварным пудингом из овсяной или гороховой муки, запивая молоком. В обед они едят похлебку из капусты, порея, ячменя, приправленную маслом, да к тому же хлеб с сыром из снятого молока. За ужином подают овсяную кашу. Ежели овса не хватает, прибавляют ячменя или гороха; и то и другое питательно и вкусно. Кое у кого можно найти картофель, а пастернак растет в каждом огороде. Одежда у них домотканая из грубого сукна бурого цвета; она и тепла, и на вид пристойна. Живут они в жалких хижинах, сложенных из булыжника и торфа, не скрепленных известью, посреди хижины у них бывает очаг из старого жернова, а над ним отверстие в кровле для выхода дыма.

Однако же народ здешний не жалуется и обладает удивительным здравомыслием. Все читают Библию и столь понятливы, что могут спорить о догматах своей веры, которая всюду,

где мне довелось быть, пресвитерианская. Сказывали, что жители Абердиншира еще более сметливы. В Лондоне я знавал одного шотландского джентльмена, который весьма резко отзывался о жителях Абердиншира и клялся, что их бесстыдство и плутовство поистине покрывают весь шотландский народ беспримерным позором.

Река Клайд, вверх по течению, за Глазго, имеет вид весьма идиллический, и берега ее украшены прекрасными усадьбами. От самого моря до верховьев можно насчитать немало замков, принадлежащих знатнейшим родам: в Розните герцогу Аргайлю, графу Бьюту на острове сего же названия, герцогу Гленкерну в Финлейстоне, лорду Блентайру в Эрскине, герцогине Дуглас в Ботвелле, герцогу Гамильтону в Гамильтоне, герцогу Дугласу в Дугласе и графу Хиндфорду в Кармайкле. Замок Гамильтон — величественный дворец с богатейшим убранством, а рядом с ним городок того же названия, один из самых чистеньких городков, какие я видел. Древний замок Дугласов сгорел до основания, и покойный герцог Дуглас, глава знатнейшего рода Шотландии, решил построить самое большое в королевстве здание и приказал, соответственно сему, составить план, но, выстроив одно только крыло, скончался. Надобно полагать, что его племянник, ныне наследовавший огромное его состояние, выполнит намерение своего предшественника.

Долина Клайда многолюдна, и население живет в достатке, ибо там весьма много помещиков, обладающих независимым состоянием; но она богата более скотом, чем хлебом. То же можно сказать о долине Твида, часть коей мы пересекли, а также о Нисдейле, местности дикой и гористой. В горах этих пасутся огромные стада, и здешняя баранина куда лучше, чем та, какую найдешь на рынках в Лондоне. Корм здесь столь дешев, что овец бьют только пятигодовалых, когда мясо их становится особливо вкусным и сочным. Но шерсть у овец весьма страдает оттого, что их мажут дегтем, чтобы охранить от коросты зимой, когда они денно и нощно скитаются по горам, а при этом гибнут тысячами от снежных обвалов. Жаль, что здешние поселяне не могут защитить сих полезных животных от сурового климата, а особливо от постоянных дождей, которые наносят им даже больший вред, чем жестокая стужа.

На небольшой речке Нид стоит замок Друмланриг, один из самых великолепных во всей Великобритании; принадлежит он герцогу Куинсберри, одному из тех немногих вельмож, чья сердечная доброта делает честь роду человеческому. Я воздержусь от описания сего дворца, который есть подлинный образец

величия как по великолепию своему, так и по местоположению, и вызывает в памяти прекраснейший город Пальмиру, точно видение, появляющееся в пустыне. Его светлость держит открытый стол и дом и живет с большой роскошью. Он оказал нам честь, пригласив нас остаться на ночлег вместе с двумя десятками других гостей, у которых было немало слуг и лошадей. Столь же любезна была и герцогиня, приняв под особое свое покровительство наших леди.

Чем дольше я живу, тем все более убеждаюсь, что никогда не удается искоренить предрассудки, которые в нас заложены воспитанием, хотя бы мы удостоверились в их ложности и глупости. Таковые предрассудки, имеющие влияние на глубокие страсти, столь внедряются в человеческое сердце, что хотя усилием разума и можно их оттуда изгнать на короткое время, однако, как только усилие ослабевает, они еще крепче к нему прилипают.

На эти рассуждения навела меня беседа у герцога за его столом после ужина. Разговор зашел о ду́хах, предзнаменованиях и грубых о них понятиях, свойственных простолюдинам северной Британии, и все согласились,что они в высшей степени смешны.

Однако же один джентльмен рассказал о замечательном приключении, которое случилось с ним самим.

«Как-то я с приятелями поехал на север охотиться,— сказал он,— и решил навестить старинного друга, которого не видел лет двадцать. Именно столько лет прошло с той поры, как он удалился от света, порвал со своими прежними знакомыми и проводил дни в тоске и печали, оплакивая свою умершую жену, которую он любил со всей страстью.

Жил он далеко, в глухом месте, а нас было пятеро джентльменов да столько же слуг в придачу, и, рассудив, что он не ждет нашего приезда, мы купили съестных припасов в ближайшем городке, где был рынок. Дороги были отвратительны, добрались мы до моего друга к двум часам дня и были приятно поражены, когда увидели, что стол накрыт на шесть персон, а в кухне уже готов прекрасный обед.

Друг мой в лучшем своем наряде встретил нас у ворот с распростертыми объятиями и сказал, что ждет меня уже в течение двух часов. Удивленный этими словами, я спросил, кто же уведомил его о нашем приезде, но он усмехнулся и ничего не ответил. Однако на правах старого друга я начал потом настаивать, чтобы он объяснился, и он весьма торжественно объявил, что я привиделся ему наяву; в подтверждение сего он

призвал в свидетели своего дворецкого, который клятвенно заверил, что хозяин объявил ему накануне о моем прибытии вместе с четырьмя другими гостями и приказал сделать приготовление к нашему приезду, почему он распорядился приготовить обед и накрыть стол на шесть персон».

Все присутствующие признали сей случай замечательным, однако я попытался объяснить его естественными причинами.

Я сказал, что, поскольку старый джентльмен склонен к галлюцинациям, случайная мысль или воспоминание о старинном друге могли вызвать у него предчувствие, которое на сей раз исполнилось, но, вероятно, у него раньше было много подобных видений, ничего не предзнаменовавших. Никто из присутствующих открыто не возражал против моего мнения, но из нескольких слов, сказанных как бы вскользь, я понял весьма ясно, что большинство слушателей уверено, будто в этой истории есть нечто чудодейственное.

Другой джентльмен обратился ко мне со следующими словами:

«Нет сомнения, что воображение болезненное может породить всяческие призраки, но вот то, что случилось по соседству со мной неделю назад, нуждается в другом объяснении.

Некий джентльмен благородного происхождения, коего решительно нельзя счесть духовидцем, стоял в сумерках у ворот своего дома, как вдруг увидел своего деда, умершего лет пятнадцать назад. Призрак ехал верхом на той самой лошади, на которой ездил обычно, лицо у него было гневное и страшное, и он молвил слова, которые внук от испуга и смятения не мог разобрать. Но это не все: в руках у деда был предлинный хлыст, и он весьма жестоко отхлестал своего внука по спине и по плечам, оставив на них следы, которые я видел собственными глазами.

Привидение замечено было потом и приходским могильщиком; оно бродило вокруг могилы, где погребено было его собственное тело, и об этом могильщик рассказывал в деревне прежде, нежели узнал о происшествии с упомянутым джентльменом; он приходил даже ко мне как к мировому судье, чтобы показать об этом под присягой, но я отказался приводить его к присяге. Что касается до внука, то это человек трезвый, разумный, ко всему мирскому привязанный и слишком занятый своими делами, чтобы предаваться мечтаниям. Он весьма охотно умолчал бы обо всей этой истории, если бы от перепуга не заорал и, вбежав в дом, не показал свою спину всем домочадцам, почему и не мог впоследствии сие отрицать. Теперь повсюду толкуют, что

появление призрака старика и его поступок сулят великое несчастие семейству; и, в самом деле, бедная жена джентльмена слегла в постель со страха».

Хоть я не пытался объяснить сию тайну, однако сказал, что, несомненно, обман обнаружится со временем и что, по всей вероятности, план задуман и исполнен каким-нибудь врагом джентльмена, ставшего жертвой нападения, но рассказчик настаивал на неоспоримых доказательствах и на совпадении показаний двух достойных доверия людей, которые, не сговариваясь меж собой, свидетельствовали о появлении одного и того же человека, хорошо знакомого им обоим.

Из Друмланрига мы поехали по течению реки Нид до Дамфриса, города, расположенного в нескольких милях выше впадения реки в море; после Глазго это самый красивый город в Шотландии. Жители его взяли Глазго за образец, радея не только об украшении и благочинии своего города, но также о развитии торговли и мануфактур, которые помогают им богатеть.

В Англию мы возвратились через Карлейль, где случайно повстречались с нашим приятелем Лисмахаго, о коем тщетно пытались разузнать в Дамфрисе и в других местах. Похоже на то, что лейтенант, подобно древним пророкам, не получил признания у себя на родине, от которой ныне отрекся навсегда.

Он рассказал мне о пребывании своем на родине. По дороге к родным своим местам он узнал, что племянник его женился на дочери *буржуа*, владельца ткацкой мануфактуры, и вступил в компанию со своим тестем; опечаленный сим известием, лейтенант прибыл в сумерках к воротам родного своего дома и, услыхав в большом зале стук ткацких станков, пришел в такое волнение, что едва не лишился чувств. Ярость и негодование охватили его, а тут в это самое время вышел его племянник, которому он закричал, не владея собой:

— О негодяй! Да как же вы смели сделать из моего отчего дома притон разбойников!

При этих словах он отхлестал его плетью, а засим, объехав при лунном свете соседнюю деревню, он посетил могилы своих предков и, поклонившись их праху, удалился и всю ночь ехал без остановки. Итак, узнав, что глава его рода опустился до столь позорного состояния, что все друзья либо померли, либо покинули свое прежнее местожительство, а для проживания на родине требуется ему теперь вдвое больше доходов, чем в ту пору, когда он ее покинул, он простился с ней навсегда, решив искать мирного жития в дебрях Америки.

Тут-то объяснилась для меня история с привидением, происшедшая в Друмланриге, а когда я рассказал о ней лейтенанту, он очень обрадовался, что расправа его возымела такое действие, какого он и не ждал; он подтвердил также, что в этот час и в таком наряде его легко можно было принять за призрак его отца, на которого он, как говорят, весьма был похож.

Скажу вам как другу, что, мне кажется, Лисмахаго найдет себе пристанище и не отправляясь к вигвамам миами. Ибо моя сестра Табби весьма настойчиво пытается разжечь в нем любовь, и, судя по моим наблюдениям, лейтенант порешил не упустить сего случая.

Что до меня, то я намерен споспешествовать этому сближению и был бы рад, ежели бы они соединились брачными узами; буде это случится, постараюсь поселить их по соседству. И я и мои домочадцы избавятся тогда от надоедливой и тиранической хозяйки, а я к тому же смогу услаждать себя беседами с Лисмахаго, отнюдь не обязанный разделять с ним компанию дольше, чем мне захочется. Ибо хоть тушеное мясо с овощами и весьма вкусное кушанье, но я не хотел бы всю жизнь получать его на обед.

Мне очень нравится Манчестер, один из самых приятных и цветущих городов Великобритании, и я заметил, что именно сей город явился образцом для Глазго в заведении мануфактур.

Мы намерены были посетить Чатсворт, Пик, Бакстон, а из сего последнего города отправиться не спеша прямо домой. Ежели погода в Уэльсе будет столь же благоприятна, как и здесь, на севере, можно уповать, что урожай вы соберете отменный и нам останется только позаботиться об октябрьском пиве, о чем напомните Барнсу.

Вы увидите, что я стал куда крепче, чем был до отъезда, и сия короткая разлука усугубит дружеские чувства, каковые питал к вам и вечно будет питать ваш

*М. Брамбл.*

*Манчестер, 15 сентября*

### *Миссис Гуиллим, домоправительнице в Брамблтон-Холле*

Миссис Гуиллим!

Провидению угодно было возвратить нас в Англию целыми и невредимыми и защитить от всяких опасностей на суше и на море, а более всего на Чертовом пике и у пропасти «Дикарки»,

у которой вовсе нет дна. А как ворачаемся мы теперь домой, то надобно уведомить вас, чтобы в Брамблтон-Холле все было в порядке к нашему приезду после путешествия на шотландские острова.

С первого дня будущего месяца начинайте топить камин в спальне брата и в моей, а в желтой камчатной комнате сжигайте каждый день по вязанке хвороста. Пускай выколотят пыль из занавесей и булдахинов для кроватей, и перины и тюфяки хорошенько проветрят, потому как с божьего соизволения могут они понадобиться. Прикажите выскрести и выпарить старые пивные бочки, потому что Мэт решил набить погреб до самого до верху.

Был бы этот дом моим, завела бы я новые порядки. Понять не могу, почему это в Уэльсе слуги не могут пить чистую воду и есть горячие лепешки и яшневую кашу, как едят слуги в Шотландии, а говядину там получают только раз в три месяца. Надеюсь, вы подсчитали, сколько выручил Роджер за пахтанье. Как вернусь я домой, надеюсь получить все, что следует, и глазом не моргну, не воображайте! Я уверена, нанесли вы за это время куда больше яиц, чем можно было съесть, и потому вокруг дома должны бродить целые стада индюшат, цыплят и гусенят, и сыру заготовлено для рынка немало, и шерсть посылали в Крикуэл кроме той, что напряли служанки для семейства.

Пускай вычистят весь дом и мебель сверху донизу, чтобы не посрамить Уэльса, и Роджер пускай заглянет во все щели и дыры, куда служанки не удосужились. Знаю я, какие они лентяйки и неряхи. Надеюсь, вы постарались направить их на путь истинный, о чем просила я вас в последнем письме, и обратили сердца их к вещам получше тех, какие могут они найти, когда гуляют да гарланят с деревенскими парнями.

А что до Уин Дженкинс, то случился с ней настоящий метумарфоз и стала она совсем другой после увещаний Хамфри Клинкера, нашего нового лакея, благочестивого молодого человека, который трудился не покладая рук, чтобы принесла она плоды покаяния. Верю я, что он потрудится также и с этой дерзкой девчонкой Мэри Джонс и со всеми вами; и, верю я, может быть, дана ему власть проникнуть в самые скрытые уголки ваши и посеять там добро, о чем ревностно молится друг ваш в духе

*Таб. Брамбл.*

*18 сентября*

*Доктору Льюису*

Любезный Льюис!

Лисмахаго высказывает еще более странные мнения, чем прежде. Кажется, будто он, вдохнув воздух своей родины, обрел свежие силы для споров, к которым питает пристрастие. На днях я поздравил его с преуспеянием его родины, сказав при этом, что теперь шотландцы находятся на пути к тому, чтобы отвращать от себя укоры в бедности; тут же я выразил радость по поводу счастливых последствий Унии с Англией, которые столь заметны в их сельском хозяйстве, торговле, мануфактурах и нравах.

Лейтенант, скорчив гримасу, выражавшую несогласие и раздражение, отозвался на мои слова так:

— Не заслуживают ответа те, что упрекают народ в бедности, если последняя не проистекает из расточительности и пороков. Лакедемоняне были беднее шотландцев в ту пору, когда главенствовали над всей Грецией, и, однако, все их почитали за их мужество и добродетели. Самые почитаемые герои Древнего Рима, такие, к примеру, как Фабриций, Цинциннат и Регул, были более бедны, нежели самый бедный землевладелец в Шотландии, а в наше время в Шотландии найдутся люди, которые имеют больше золота и серебра, чем можно было набрать во всей Римской республике в те времена, когда она блистала своими добродетелями и не знала соперников; и бедность не только не была для нее укором, но приносила ей новые лавры, ибо свидетельствовала о благородном презрении к богатству, а сие чувство есть лучшее средство в борьбе со всякого рода продажностью. Если бедность может вызвать укоры, стало быть, богатство должно считать предметом почитания и благоговения. А в таком случае евреи и другие люди в Амстердаме и Лондоне, разбогатевшие от ростовщичества, казнокрадства и всяческих обманов и вымогательств, достойны большего уважения, чем самые добродетельные и славные члены общества. Сию нелепость ни один человек в здравом уме не станет утверждать! Богатство, разумеется, не есть мера заслуг. Напротив, часто — можно сказать обычно — его приобретают люди с низкой душой и ничтожными способностями. Своему обладателю оно не приносит в дар никаких добродетелей, но способствует повреждению его ума и порче нравов.

Но допустим, что бедность в самом деле заслуживает осуждения; однако ее нисколько нельзя приписать Шотландии.

Отнюдь не бедна та страна, которая может снабжать жителей не только всем необходимым для жизни, но и добром, пригодным для вывоза в чужие страны. Шотландия богата всем, что производит природа. С избытком она дает все потребное для жизни: огромные стада рогатого скота и овец, множество лошадей, несметное количество шерсти и льна, много дров, а в некоторых частях страны много строевого леса. Но земля в недрах своих еще богаче, чем на поверхности. Она дает неисчерпаемые запасы угля, мрамора, свинца, меди, серебра и таит в себе даже золото. Море изобилует превосходной рыбой, а в придачу и солью, потребной для вывоза рыбы, и берега по всей стране изрезаны заливами с удобными гаванями, способствующими безопасному мореплаванию. Несчетное количество больших и малых городов, деревень и поместий разбросаны по стране, и нет в ней недостатка ни в художествах, ни в ремеслах, ни в людях, умеющих ею управлять.

Такое королевство никогда не назовешь бедным, хотя бы и было немало других стран, более могущественных и богатых. А вы, если не ошибаюсь, усматриваете причину всех этих преимуществ и нынешнего благосостояния Шотландии в Унии двух королевств?

— Но нельзя же,— возразил я на это,— отрицать, что страна весьма изменилась к лучшему после заключения Унии: народ живет богаче, торговля идет лучше, оборот денег увеличился.

— Охотно допускаю это,— сказал лейтенант,— но выводов ваших не признаю. Сию перемену надлежит считать натуральным следствием движения вперед. За это время другие народы, как, например, шведы, датчане, а особливо французы, весьма преуспели в торговле, хотя у них не было причин, вами упоминаемых. Еще до Унии с Англией шотландцы отличались умением торговать, подтверждением чего является их «Компания Дэриен», в которую они вложили не меньше четырехсот тысяч фунтов стерлингов, а также процветание их приморских городов в графстве Файф и на восточном берегу, обогащенных торговлей с Францией, каковая торговля совсем упала после заключения Унии с Англией. Единственной выгодой для торговли Шотландии со времен заключения Унии можно считать привилегию торговли с английскими колониями; да и то я не знаю, принимают ли в ней участие, кроме Глазго и Дамфриса, иные шотландские города. Но в других отношениях Уния с Англией была шотландцам отнюдь не выгодна. Государство их лишилось независимости, сей величайшей опоры народного

духа. Лишились они также своего парламента, а их суды должны были подчиниться английскому суду.

— Погодите, лейтенант! — воскликнул я. — Как же вы говорите, что вы лишились своего парламента, когда у вас есть представители в парламенте Великобритании?

— Совершенно правильно,— ответил он усмехаясь.— Если в прениях речь идет о соперничестве двух наций, шестнадцать пэров и сорок пять коммонеров Шотландии весят весьма много на чаше весов, когда на другой — весь английский парламент!

— Пусть так, но, когда я имел честь заседать в палате общин, шотландцы всегда имели на своей стороне большинство,— сказал я.

— Понимаю вас, сэр,— ответил он.— Они всегда присоединялись к большинству. Тем хуже для их избирателей. И все же сие есть еще не самое большое зло, проистекающее из Унии с Англией. На их торговлю навьючили тяжелые пошлины, и все, что для жизни потребно, облагается огромными налогами, чтобы уплачивать проценты по долгам, сделанным Англией для проведения мер, не имеющих никакого отношения к Шотландии.

Я просил его согласиться, по крайней мере, с тем, что благодаря Унии с Англией шотландцы получили все преимущества и льготы, которыми пользуются английские подданные; в силу этих преимуществ великое множество шотландцев поступило на службу в армию и на флот и нашли свою фортуну в Англии и ее владениях.

— Все эти люди,— сказал лейтенант,— превратились в английских подданных и почти что потеряны для своей родины. Склонность к бродячей жизни и к отважным похождениям всегда свойственна была природным шотландцам. Если бы они не встретили поощрения в Англии, то устремились бы, как раньше, в другие страны — в Московию, Швецию, Данию, Польшу, Германию, Францию, Пьемонт и Италию — и там поселились бы: во всех этих странах потомки выходцев из Шотландии и по сей день благоденствуют.

Тут мое терпение начало истощаться, и я воскликнул:

— Но скажите же, бога ради, что приобрела Англия благодаря этой Унии, которая, по вашим словам, принесла шотландцам столько бедствий?

— Выгоды, полученные Англией благодаря этой Унии, велики и разнообразны,— торжественно произнес Лисмахаго.— Во-первых, и это самое главное, утвердилось протестантское престолонаследие, а эту цель английские министры стремились достичь любой ценой и не жалели средств для умасливания

и подкупа немногих выдающихся людей, дабы навязать сию Унию народу Шотландии, который питал к ней удивительное отвращение. Благодаря Унии Англия приобрела значительное приращение земли и простерла государство до самого моря по всему острову, заперев тем самым черный ход для врага, который пожелал бы вторгнуться.

Англия получила свыше миллиона весьма полезных ей подданных, неисчерпаемый рассадник матросов, солдат, земледельцев и ремесленников — знатное приобретение для государства торгового, для государства, ведущего войны на чужих землях и вынужденного заводить поселения во всех частях света. В течение семи лет последней войны Шотландия поставила в английскую армию и во флот семьдесят тысяч человек, помимо тех, кои переселились в колонии Англии или, смешавшись с ее населением, зажили мирной жизнью! Это было значительное и весьма своевременное подспорье для государства, население которого уменьшалось в течение многих лет, а земли и мануфактуры страдали от недостачи работников.

Нет нужды напоминать вам известное всем правило, что для нации приток трудолюбивых людей есть приращение богатства; и не стану я упоминать об истине, ныне даже для англичан непреложной, что шотландцы, которые селятся в южной Британии, суть люди на редкость трезвые, добропорядочные и трудолюбивые...

Я признал справедливость его замечания, однако же добавил, что многим из них благодаря их трудолюбию, бережливости и осмотрительности удается нажить, как в Англии, так и в ее колониях, большое состояние, с которым они и возвращаются к себе на родину, чем приносят ущерб южной Британии.

— Разрешите мне, сэр, заметить,— сказал лейтенант,— что вы заблуждаетесь касательно фактов и выводы у вас ошибочные. Разве что один человек из двухсот, покинувших Шотландию, возвращается назад на родину, а немногие, которые возвращаются, не привозят ничего такого, что могло бы нанести ущерб сокровищам Англии, ибо их богатство недолго остается в Шотландии. Подобно крови в человеческом теле, деньги непрерывно круговращаются, и Англия есть сердце, к коему устремляются и куда снова втекают все изливаемые ею потоки. Мало того, вследствие той роскоши, которую после присоединения нашего Англия если и не ввела, то, во всяком случае, всячески поощряла, все доходы наших земель и всю прибыль от нашей торговли присваивают природные англичане. Ведь вы не станете отрицать, что денежный обмен между двумя коро-

левствами всегда бывает не в пользу Шотландии, и у Шотландии никогда не хватает для ее нужд золота и серебра.

Шотландцы не довольствуются плодами своей земли и изделиями своих мануфактур, коих было бы вполне достаточно для всех ее потребностей. Они словно состязаются меж собой, кто больше затратит денег на излишества, на предметы роскоши, привозимые из Англии, как, например, тонкие сукна, бархат, шелка, кружева, меха, драгоценности, всевозможная утварь, а также сахар, ром, чай, шоколад и кофе,— одним словом, не только то, чего требует расточительная мода, но и немало вещей для повседневного обихода, каковые можно было бы найти на родине, да к тому же подешевле. За все эти вещи Англия получает в год миллион фунтов стерлингов — с точностью я не подсчитывал, может быть, немного меньше, а возможно, много больше. Годовой доход Шотландии от всех земельных угодий равен примерно миллиону фунтов, а торговля приносит, я думаю, еще столько же. Одни только полотняные мануфактуры дают полмиллиона, не считая дохода от продажи полотна внутри страны. Стало быть, если Шотландия платит Англии в год миллион фунтов, я утверждаю, что страна сия полезна для Англии больше, чем любая колония, не беря в рассуждение прочие упомянутые мною значительные выгоды.

Итак, те, кто ставит ни во что северную часть Объединенного королевства, суть подлинные враги не только Англии, но и истины!

Должен сознаться, что сперва я был раздражен, когда он припер меня к стене всеми своими рассуждениями. Правда, я отнюдь не собирался принимать их за истину евангельскую, но не был подготовлен к тому, чтобы их опровергать. А теперь я поневоле должен согласиться с его замечанием, что презрение, питаемое к Шотландии и весьма распространенное по сю сторону Твида, основано на предрассудке и заблуждении. После некоторого размышления я сказал:

— Ну, что ж, лейтенант, вы приводили сильные доводы в защиту вашей родины. Что касается меня, то я питаю к нашим северным подданным такое уважение, что хотел бы дожить до того дня, когда ваши крестьяне смогут весь свой овес скормить скоту, домашней птице и свиньям, а себя будут баловать хорошим пшеничным хлебом вместо теперешней нищенской, невкусной и нездоровой пищи.

Но тут я снова задел спорщика-шотландца. Он выразил надежду, что никогда не увидит того, как простой народ выходит из состояния, к коему природа и естественный порядок вещей

его предназначили; крестьяне могли бы, пожалуй, жаловаться на свой хлеб, если бы он смешан был, как в Норвегии, с опилками и рыбьими костями, но овсяная мука, сколько ему известно, так же питательна и полезна, как и пшеничная, и, по мнению шотландцев, нисколько не менее вкусна. Он утверждал, что мышь, которая ради самосохранения подчиняется непогрешимому врожденному побуждению, всегда предпочитает овес пшенице, как это доказано опытом, ибо когда в одном месте кладут мешочек с овсом и мешочек с пшеницей, мышь принимается за пшеницу только после того, как покончит с овсом. Что же касается до питательных качеств, то он сослался на здоровье и крепкое телосложение тех людей, которые питаются главным образом овсяной мукой; он утверждал также, что овсяная мука не только не горячит, но, наоборот, освежает, успокаивает и содержит умеренную кислоту и влажную вязкость, а при болезнях, воспаляющих кровь, лекари прописывают густую овсяную кашу или жидкую, сваренную на воде.

— Позвольте же мне, по крайней мере,— сказал я,— пожелать шотландцам развивать торговлю, дабы она могла бы удовлетворять их склонностям.

— Упаси боже! — воскликнул философ.— Горе тому государству, где чернь следует свободно своим склонностям! Торговля поистине благодать божья, доколе не выходит за надлежащие границы, но чем больше богатств — тем больше зла. Богатства порождают ложный вкус, ложные нужды, ложные склонности, расточительность, продажность, пренебрежение к законам, рождают дух бесчинства, наглости, мятежа, который держит государство в непрерывном брожении и с течением времени уничтожает всякое различие между сословиями в обществе. А последствия сего — всеобщее безначалие и бунт! Кто из благоразумных людей станет утверждать, что при таких условиях национальное богатство есть благо? Разумеется, никто! Но я — один из тех, кто полагает, что торговля, при надлежащем ее благоустройстве, может принести государству пользу, и сие не будет сопряжено с бедствиями.

Но пора кончать с поучениями друга моего Лисмахаго, которого я описываю столь подробно в рассуждении того, что он, наверно, поселится в Монтмаутшире.

Вчера, когда я остался с ним наедине, он спросил в некотором смущении, не буду ли я ставить препоны успехам джентльмена и солдата, ежели ему выпадет на долю счастье завоевать расположение моей сестрицы. Не колеблясь, я отвечал, что моя сестрица в таких летах, что сама может решать за себя, и что

я не помышляю сопротивляться любому ее решению, которое она соблаговолит принять в его пользу. В ответ на эти слова глаза его заблистали. Он заявил, что сочтет себя счастливейшим из смертных, если будет принят в наше семейство, и что никогда не устанет предъявлять мне доказательства своей преданности и благодарности.

Мне кажется, они с Табби уже договорились, а значит, мы сыграем свадьбу в Брамблтон-Холле и вы будете посаженым отцом невесты. Сей труд — самое легкое, что вам придется сделать, чтобы загладить прежнюю вашу жестокость к уязвленной любовью девственнице, которая так долго торчала, словно шип, в боку вашего

*М. Брамбла.*

*20 сентября*

Были мы в Бакстоне, но мне не понравились ни квартира, ни общество, а так как я не нуждался в тамошних водах, то провели мы в сем городе только две ночи.

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Уот!

Приключения наши все умножаются, чем далее подвигаемся мы к югу. Лисмахаго явно признал себя поклонником нашей тетушки и теперь ухаживает за нею с соизволения ее брата, так что к святкам, конечно, будем мы справлять свадьбу. Я был бы рад, если бы вы присутствовали при бракосочетании, помогли мне бросить чулок и исполнить другие обряды сей церемонии. Без сомнения, она доставит немало развлечений, и, право же, вам стоило бы проехаться по стране, чтобы посмотреть на этих двух чудаков, возлежащих на брачном ложе в кружевных ночных чепцах: он — сама радость, а она — само добродушие.

Но это приятное будущее на днях заволокло тучами, и дело едва не расстроилось из-за размолвки между будущим зятем и шурином; однако же теперь все уладилось.

Несколько дней назад мы с дядюшкой, поехав навестить одного родственника, встретились у него в доме с лордом Оксмингтоном, который пригласил нас отобедать с ним на следующий день, а мы предложение это приняли. Итак, оставив женщин наших на попечение Лисмахаго на постоялом дворе, где провели

прошлую ночь, в маленьком городке, находящемся на расстоянии мили от дома его лордства, прибыли мы туда в назначенный час к изысканному обеду; стол был накрыт с нарочитой пышностью человек на двенадцать, из коих мы никого прежде не видели.

Его лордство гораздо более примечателен своей гордыней и причудами, чем умом и радушием; и в самом деле, он, кажется, считал своих гостей неодушевленными предметами, чтобы сам он мог сиять среди них, а они — отражать блеск его великолепия. Много было величия, но никакой учтивости; великое множество было хвалебных речей, но беседы не завязывалось.

Прежде чем убрали десерт, наш вельможный хозяин провозгласил три тоста за здоровье всех нас, потом, потребовав бокал вина и поклонившись всем гостям, пожелал нам доброго вечера. Этим он дал знак собравшимся встать из-за стола, и они тотчас повиновались все, исключая нашего сквайра, который был глубоко возмущен такой манерой прощаться с гостями. Он то бледнел, то краснел, молча кусал губы, но не вставал со стула, так что его лордство принужден был намекнуть нам о том еще раз и сказать, что рад будет видеть нас в другое время.

— Но самое удобное время — сейчас! — воскликнул мистер Брамбл.— Ваше лордство еще не осушили бокала за самое лучшее в христианском мире!

— Сегодня я не осушу больше ни одного бокала,— заявил наш хозяин.— Жаль, что вы выпили слишком много. Подать к воротам карету сего джентльмена!

С этими словами он встал и быстро удалился; наш сквайр также вскочил и, схватившись за шпагу, проводил его грозным взглядом. Когда хозяин скрылся из виду, дядюшка приказал одному из слуг узнать, сколько нужно платить, а тот ответил:

— Здесь не постоялый двор.

— Прошу прощенья! — сказал дядюшка.— Я и сам вижу, что это не постоялый двор, иначе хозяин был бы более вежлив. Однако же вот гинея; возьмите ее и скажите вашему господину, что я не уеду из этих краев, покуда не найду случая отблагодарить его лично за учтивость и гостеприимство.

Потом мы сошли вниз между двумя рядами лакеев и, сев в карету, поехали восвояси. Видя крайнее раздражение сквайра, попробовал я утишить его гнев и заметил, что лорд Оксмингтон хорошо известен своею глупостью, а потому разумному человеку следует не сердиться, а смеяться над дурацкой его грубостью. Мистер Брамбл обиделся на то, что я дерзаю почитать себя более благоразумным, чем он, и сказал мне, что всегда во всех случаях

жизни он думал сам за себя и, с моего разрешения, хочет сохранить за собой это право.

По возвращении на постоялый двор он заперся с Лисмахаго и выразил желание, чтобы сей джентльмен поехал к лорду Оксмингтону и от его имени потребовал удовлетворения. Лейтенант согласился исполнить поручение и тотчас же поскакал верхом к дому его лордства, попросив себе в провожатые слугу моего Арчи М'Алпина, привычного к военной службе; по правде сказать, если бы М'Алпин ехал на осле, то эту пару можно было бы принять за рыцаря Ламанчского и его оруженосца Санчо Пансу.

Прошло некоторое время, покуда добился Лисмахаго личной аудиенции, и тогда он по всем правилам вызвал его лордство от имени мистера Брамбла на поединок и предложил назначить время и место. Лорд Оксмингтон был столь потрясен сей неожиданностью, что сначала не мог дать никакого членораздельного ответа и в явном смятении стоял и таращил глаза на лейтенанта. Наконец он изо всех сил стал звонить в колокольчик и закричал:

— Что?! Какой-то человек вызывает на поединок пэра Англии! Привилегии! Привилегии!.. А этот молодец привез мне вызов от валлийца, обедавшего за моим столом. Нахал! Вино мое еще не перебродило в его голове.

В доме поднялась суматоха. М'Алпин, как добрый солдат, отступил с обеими лошадьми, но лейтенанта внезапно окружили и обезоружили лакеи, возглавляемые камердинером-французом; шпагу его окунули в стульчак, а его самого — в пруд, куда гоняют на водопой лошадей.

В жалком виде вернулся он на постоялый двор, едва не рехнувшись после этого поручения. Столь велико было его негодование, что гнев свой он обратил не на того, на кого надлежало. Он вздумал ссориться с мистером Брамблом; сказал, что обесчещен по вине дядюшки, и от него потребовал удовлетворения. Мистер Брамбл ощетинился и потребовал, в свою очередь, чтобы лейтенант объяснил свои претензии.

— Либо заставьте лорда Оксмингтона принять мой вызов, либо деритесь со мной сами! — крикнул лейтенант.

— Последнее легче исполнить! — вскочив, ответил сквайр.— Если угодно вам прогуляться, то я сию же минуту готов вас сопровождать.

Тут им помешала мисс Табби, которая подслушала все. Она ворвалась в комнату и, бросившись в великом страхе между ними, воскликнула, обращаясь к лейтенанту:

— Так вот каково ваше расположение ко мне, если вы посягаете на жизнь моего брата?

Лисмахаго, который, казалось, остыл в такой же мере, в какой разгорячился дядюшка, стал уверять се, что питает глубокое уважение к мистеру Брамблу, но еще больше уважает честь свою, коей было нанесено оскорбление; если же это пятно он смоет, то больше не будет у него никакой причины оставаться недовольным. Сквайр заявил, что почитал бы своим долгом отомстить за честь лейтенанта, но ежели тот теперь сам взялся за сие дело, то пускай и улаживает его.

Короче говоря, благодаря вмешательству мисс Табиты и тому обстоятельству, что лейтенант опомнился, поняв, как далеко он зашел, а ваш покорный слуга, выступивший в решительный момент, принялся их увещать, оба эти чудака совершенно примирились. Тогда начали мы совещаться, каким бы способом отомстить за оскорбления, нанесенные наглым пэром, ибо мистер Брамбл весьма красноречиво поклялся, что покуда это не произойдет, он не уедет с постоялого двора, на котором мы остановились, хотя бы пришлось ему провести здесь святки.

Последствия совещаний наших были таковы: на следующий день до полудня поехали мы все верхом со слугами нашими и даже с кучером к дому его лордства, захватив с собой заряженные пистолеты. Приготовившись таким образом к бою, мы трижды проехали медленно и торжественно перед воротами его лордства, так что он не мог не заметить нас и не догадаться о причине нашего появления. После обеда мы совершили такую же прогулку, которую повторили и на следующее утро; но больше нам не пришлось заниматься этими маневрами.

Примерно в полдень нас посетил тот джентльмен, в чьем доме мы в первый раз увидели лорда Оксмингтона. Он приехал просить извинения от имени его лордства, который уверял, что отнюдь не намерен был оскорбить дядюшку, исполняя обычай, принятый у него в доме, а что до поругания, которое перенес офицер, то это было учинено без ведома лорда по подстрекательству его камердинера.

— В таком случае,— решительно заявил дядюшка,— я сочту себя удовлетворенным, ежели лорд Оксмингтон лично принесет мне извинения, а друг мой, надеюсь, будет удовлетворен, если его лордство прогонит со службы дерзкого негодяя.

— Сэр! — вскричал Лисмахаго.— Я настаиваю на том, чтобы лично отомстить за обиду, которую я претерпел.

После недолгих пререканий пришли к соглашению, и дело закончилось так: его лордство, встретив нас в доме нашего друга, объявил, что сожалеет о случившемся и что не имел намерения нанести оскорбление. Камердинер на коленях просил прощения у лейтенанта, как вдруг Лисмахаго, к удивлению всех присутствующих, угостив его сильным пинком в лицо, опрокинул навзничь и с яростью воскликнул:

— Oui, je te pardonne, gens foutre[1].

Таков был счастливый конец опасного приключения, грозившего семейству нашему большими бедами, ибо сквайр — такой человек, что скорее пожертвует и жизнью и состоянием, чем допустит, чтобы хоть малейшее пятнышко марало его честь и доброе имя. Его лордство очень неласково принес извинения, после чего тотчас удалился в некотором замешательстве, и, мне кажется, впредь никогда не пригласит он валлийца на обед.

Немедля покинули мы поле боя, на котором одержали победу, и продолжали путешествие, не придерживаясь, однако, прямой дороги. Мы сворачиваем то в ту, то в другую сторону, чтобы осмотреть достопримечательные города, поместья и любопытные места, а потому приближаемся к пределам Монтмаутшира медленными стопами. Но как бы ни был извилист наш путь, неизменными и искренними остаются, дорогой Уот, те дружеские чувства, какие питает к вам всегда

ваш *Дж. Мелфорд.*

*28 сентября*

### *Доктору Льюису*

Любезный Дик!

В какую пору жизни человек может почитать себя свободным от необходимости приносить в жертву свой покой суетности презренного света? Меня втянули было в забавное приключение, о котором я расскажу при встрече, а встреча эта уже не за горами, ибо мы побывали почти всюду, где хотели, и повидали все, что, мне кажется, было достойно нашего внимания на пути домой.

Несколько дней назад я узнал случайно, что старинный мой приятель Байнард живет в своем имении, и, проезжая неподалеку от его имения, я не захотел миновать его, хотя наши отношения прервались уже много лет назад.

---

[1] Да, я прощаю тебя, черт побери! *(искаж. франц.)*

Покуда мы ехали к тому месту, где провели вместе столько счастливых дней, воспоминание о нашей близкой дружбе целиком овладело сердцем моим; но когда мы подъехали к усадьбе, я не мог узнать того, что глубоко было запечатлено в моей памяти. Высокие дубы, осенявшие аллею, были срублены, железные ворота в конце ее снесены, снесена и высокая стена, окружавшая двор. Самый дом, некогда бывший цистерианским монастырем, своим видом внушал почтение; вдоль его фасада, обращенного в сад, раньше шла каменная галерея, где в свое время я не без приятности прогуливался, когда чувствовал потребность в размышлениях.

Теперь новомодная архитектура преобразила древний фасад: снаружи он стал греческим, а внутри все осталось готическим. Что же до сада, который полон был наилучших в Англии плодов, то теперь не найти в нем и малейших следов деревьев, шпалер и живых изгородей. Не осталось ничего, кроме голой площади, усыпанной песком, с высохшим водоемом, посреди коего торчит свинцовый тритон.

Да будет вам известно, что Байнард после смерти отца унаследовал свободное от долгов имение, приносившее тысячи полторы фунтов в год, а сам был наделен такими качествами, которые позволяли ему занять весьма почтенное положение в государстве. Но юношеское мотовство, а также издержки по выборам в парламент привели к тому, что через несколько лет он оказался обремененным долгами в десять тысяч фунтов, каковой долг он вознамерился уплатить с помощью благоразумного брака. Посему он женился на некой мисс Томсон, приданое которой превосходило вдвое долги его.

Она была дочерью одного купца, который объявил себя несостоятельным, но свое приданое наследовала от дяди, умершего в Ост-Индии. Родители ее умерли, она проживала с теткой, старой девой, надзиравшей за ее воспитанием, и, по-видимому, вполне подходила для того, чтобы стать чьей-нибудь женой. Правда, о ней ничего нельзя было сказать хорошего, но также и ничего дурного. Не была она ни надменна, ни заносчива, ни своенравна, не питала пристрастия ни к злословию, ни к азартным играм, ни к любовным интригам. Она умела читать и писать, петь и танцевать, бренчать на клавикордах, немного болтала по-французски и могла сыграть партию в вист и ломбер, но ни одним из этих талантов не владела в совершенстве. Ни в чем она особливо не отличалась. Говорила она вяло, слог у нее был дурной, слова подбирала с трудом. Одним словом, весьма незаметная особа. На вид она не казалась противной, но в обхождении

ее не было ничего приятного, в манерах ничего привлекательного, и она столь мало подходила для приема гостей, что хозяйку дома обычно искали повсюду, хотя она сидела тут же на своем месте во главе стола.

Байнард надеялся, что такую особу ему легко будет переделать по своему вкусу и что она охотно разделит с ним его заботы о домашнем их благополучии. Он решил жить в имении, ибо горячо любил сельскую жизнь, заниматься уходом за поместьем, которое могло приносить доходы, решил довольствоваться деревенскими развлечениями, встречаться с несколькими приятелями, жившими по соседству, держать открытый дом, не выходя за пределы своих годовых доходов, а жене своей предоставить приятное развлечение, поручив управление домом.

Однако это были одни только мечтания, которые ему никогда не удалось осуществить. Супруга его была невежественна, как новорожденный младенец, во всем касающемся домоводства и о деревенской жизни не имела никакого понятия. Ума у нее не хватало даже для того, чтобы усвоить самые основы управления домом; впрочем, ежели бы его и хватило, то врожденная беспечность все равно не позволила бы ей отказаться от привычек, которые приобрела сызмальства. В разумных развлечениях она не находила ни малейшего удовольствия, господствующей ее страстью было тщеславие, но не то тщеславие, какое проистекает из высокого мнения о собственных совершенствах, но глупое и ложное, поощряемое пышностью и хвастовством и не споспешествующее сознанию личных достоинств.

Когда шум и суета, без коих не обходится ни одна свадьба, затихли, мистер Байнард почел, что настало время познакомить супругу с задуманными им планами. Он сказал, что хотя состояние его позволяет жить, ни в чем не нуждаясь, но его недостаточно для удовлетворения излишеств роскоши, которые сами по себе нелепы и несносны. Засим он выразил надежду, что она не станет возражать против их отъезда весной из Лондона, а тогда он получит возможность уволить лишних слуг, которых нанял по случаю свадьбы.

Она выслушала его, не перебивая, и затем, помолчав, произнесла:

— Так, значит, я должна замуроваться в деревне!

Слова эти столь его смутили, что некоторое время он не находил ответа, и наконец сказал, что ему весьма прискорбно, если его предложение противно ее намерениям.

— Я хотел только изложить план тихой и мирной жизни по нашим средствам, которые следует считать умеренными.

— Сэр, вам лучше знать о делах ваших,— сказала она.— Мое приданое не больше двадцати тысяч фунтов; пусть это крохи, но и с этими крохами я могла бы найти такого мужа, который не пожалел бы денег, чтобы я жила в Лондоне.

— О господи! — воскликнул бедняга Байнард в сильном возбуждении.— Не считайте меня скрягой, любовь моя! Я только говорил о своих намерениях... Я не помышлял требовать...

— Ну что ж, сэр! — перебила она.— Ваше право — приказывать, а мой долг — повиноваться.

Тут она залилась слезами и удалилась в свою комнату, куда тотчас же пришла ее тетка. Он старался было ободриться и показать твердость духа, но природная его мягкость, бывшая главным пороком его натуры, помешала ему. Тетку он нашел в слезах, а с племянницей случился припадок, который длился часов восемь, и когда, наконец, сей припадок прекратился, она стала невнятно бормотать что-то о «смерти» и о «дорогом супруге», а тот все это время сидел подле нее и в полном отчаянии лобызал ей руки, раскаиваясь в нанесенной обиде.

С той поры он остерегался даже упоминать о деревне, и они все глубже и глубже погружались в пучину мотовства, ведя, как говорится, «модную жизнь» в столице.

К концу июля месяца миссис Байнард порешила, однако, представить доказательства супружеского послушания и изъявила желание побывать в его поместье,— вернее, потому, что к тому времени все общество разъехалось из Лондона. Ее супруг охотно отказался бы от этого путешествия, ибо оно не входило в его экономические планы; но она настояла на своем, утверждая, что ей не терпится принести жертву его вкусам и пристрастьям, и в конце концов они отправились в деревню с такой свитой, что подивилась вся округа.

Конец лета прошел в приеме и в посещении соседей, и тем временем открылось, что у сэра Джона Чикуэлла прислуги больше на одного дворецкого и одного лакея, чем у мистера Байнарда. Об этом оповестила за столом тетка миссис Байнард; супруг признал это, но присовокупил, что сэр Джон Чикуэлл без труда может держать больше прислуги, нежели тот, кто не имеет и половины его доходов.

В тот вечер миссис Байнард не изволила ужинать, и с ней приключился сильнейший припадок, каковой завершил ее победу над стойкостью супруга. Оба слуги, которых не хватало,

были наняты. Старинное серебро, как вышедшее из моды, было продано и куплено новое. Заново убраны были по-модному покои, и всю усадьбу перевернули вверх дном.

В начале зимы воротились они в Лондон, и Байнард рассказал мне все это доверительно с великой горестью. Еще до свадьбы познакомил он меня, как близкого своего друга, со своей невестой, и поэтому предложил я ему теперь, как истинный его друг, поговорить с ней о том, что ей надлежит вести дом совсем по-иному, ежели она радеет о пользе своего семейства и имеет желание угождать склонностям мужа. Но Байнард отклонил это предложение под предлогом, будто нервы его супруги слишком деликатны, чтобы выносить упреки, и что от моей беседы она только впадет в отчаяние, вследствие чего и он станет несчастным.

Байнард не лишен мужества, и ежели бы его супруга была буйного нрава, он знал бы, как ему поступить; но,— то ли по случайности, то ли по естественному побуждению,— она нашла в его душе слабое местечко и пользовалась сим столь умело, что держала супруга в полном подчинении. Немного погодя я посоветовал ему повезти ее во Францию и Италию, где он сможет тешить ее тщеславие, издерживая вдвое меньше денег, чем в Англии.

Мой совет он принял. Ей весьма улыбалась мысль повидать чужеземные страны и заморские моды, представляться ко двору монархов и запанибрата обходиться с принцами. Поэтому она ухватилась за предложение, сделанное мною как бы вскользь, и стала даже торопить мужа с отъездом. Не прошло и нескольких недель, как они тронулись в путь с немногочисленной свитой, среди которой находилась и ее тетка, закадычный ее друг и советчик, всегдашняя подстрекательница во всех ее несогласиях с мужем.

С той поры я почти не имел возможности поддерживать наше знакомство. Знал я о них только то, что после двухлетнего отсутствия они воротились, нимало не научившись бережливости, и снова погрузились в пучину расточительности, каковая в конце концов заставила его заложить имение. За это время жена родила ему троих детей, из коих только последний остался в живых, дрянной мальчишка лет двенадцати, которого погубит мать, его избаловавшая.

Что до Байнарда, то ни здравый его смысл, ни страх перед нищетой, ни забота о детях не заставили его решительно стряхнуть с себя позорные чары, которые словно околдовали его. Наделенный способностью к самым тонким наслаждениям, ода-

ренный сердцем, согретым человеколюбием и дружелюбием, и склонностью к самым благоразумным удовольствиям мирной сельской жизни, Байнард вечно крутится среди тварей, увеселяющих себя трещотками и побрякушками, столь лишенных ума и столь бесстыдных, что даже самый проницательный философ не сумеет доказать, ради каких премудрых целей провидение произвело их на свет. Дружбу нельзя сыскать,и удовольствиями, по коим он вздыхает, нельзя наслаждаться, ежели обрек себя вертеться всю жизнь в водовороте неразумия. Уже давно отринул он от себя мысль поправить свое состояние бережливостью и присмотром за сельским хозяйством, в котором находил прежде одно удовольствие; а что до семейного счастья, то не осталось у него и искры надежды, которая могла бы тешить его воображение. Распростившись со всеми своими чаяниями, он предался тоске и печали, и огорчения столь повредили здоровью его, что теперь ему угрожает чахотка.

Итак, начертал я для вас портрет человека, которого посетил несколько дней назад.

У ворот нашли мы кучу напудренных лакеев, но учтивости от них не видали. Прождав в карете немало времени, мы, наконец, узнали, что мистер Байнард поехал со двора верхом, а его супруга изволит одеваться. Засим нас провели в гостиную, столь богато убранную, что назначена она была, должно быть, для любования, но никак не для того, чтобы здесь жить. Кресла и диваны украшены были резьбой и позолочены, крыты роскошным дамаском, таким гладким и глянцевитым, что, верно, никто на них не сиживал. Ковра не было, но пол был навощен и натерт так, что ходить по нему мы не могли, а должны были только скользить; что касается до камина, то он слишком блестел и сверкал, чтобы его можно было осквернить каменным углем или закоптить дымом.

Не менее получаса мы приносили себя в жертву негостеприимному божеству сего «храма холодного приема», покуда не воротился мой приятель Байнард; узнав о нашем приезде, он тут же предстал перед нами такой тощий, желтый и унылый, что, повстречайся он мне в другом месте, я ни за что не узнал бы его.

Стремительно бросился он ко мне и заключил в объятия; сердце его наполнилось такой радостью, что в течение нескольких минут он не мог произнести ни слова. Затем он приветствовал остальных и, заметив, что находиться в сей гостиной нам не весьма удобно, пригласил нас в другую комнату, где в камине горел огонь, и приказал принести шоколаду. Отлучившись, он вернулся, передал от жены приветствие и представил нам

своего сына Гарри, неуклюжего подслеповатого подростка, наряженного гусаром, скороспелого, грубого и дерзкого. Отец предполагал отдать его в пансион, но матушка вместе со своей теткой слышать не хотели отпускать его из дому и потому наняли ему учителем священника.

Было около полудня, в доме началась суетня и приготовления к торжественному обеду; я рассудил, что за обед мы сядем не скоро, и предложил мистеру Байнарду прогуляться, чтобы побеседовать без помех. На прогулке я выразил удивление, почему он так скоро воротился из Италии, а он ответил мне на это, что путешествие в чужие страны отнюдь не достигло цели, ради которой он покинул Англию; в Италии, правда, такая жизнь, какую он вел дома, стоила дешевле, но ему пришлось занимать там более высокое положение, чтобы не отстать от графов, маркизов и дворян, с которыми он свел знакомство. Он вынужден был нанять множество слуг, нашить немало дорогих нарядов и держать роскошный стол для знатных персон, которые, не будь этого, не обратили бы никакого внимания на чужестранца, титула не имеющего, хотя бы он и был хорошего рода и не беден.

Помимо сего, миссис Байнард постоянно бывала окружена толпой бездельников, обходившихся недешево, называвших себя учителями итальянского языка, музыки, рисования или чичероне, да к тому же овладела ею страсть покупать картины и древности по собственному выбору, хотя она в этом ничего не смыслила. Но в конце концов ей нанесена была обида, после чего она воспылала к Италии ненавистью и поспешила уехать назад в Англию. Суть дела заключалась в том, что, посещая «собрания» герцогини Б., когда ее светлость находилась в Риме, миссис Байнард перезнакомилась у нее со всеми знатными особами и получила приглашение бывать на их ассамблеях. Сия честь внушила ей весьма высокое мнение о себе, и, когда герцогиня покинула Рим, она решила также устраивать «собрания», чтобы у римлян не было повода сожалеть об отъезде ее светлости. Она затеяла «музыкальное собрание» и разослала приглашения всем знатным персонам, но на ее ассамблею не явилась ни одна римлянка.

В тот же вечер с ней приключился жестокий припадок, и она пролежала в постели дня три, после чего объявила мужу, что итальянский воздух решительно для ее здоровья вредоносен. Дабы предотвратить катастрофу, она скорехонько отправилась в Женеву, откуда, через Лион и Париж, они вернулись в Англию. К тому времени, как приехали они в Кале, миссис

Байнард накупила столько шелков, всяческих тканей и кружев, что пришлось нанять суденышко для тайного провоза их домой, и это суденышко было захвачено таможенным ботом, так что они потеряли весь груз, который стоил им больше восьмисот фунтов.

По приезде обнаружилось, что после путешествия миссис Байнард стала еще более расточительной и сумасбродной, чем раньше. Теперь она решила стать законодательницей мод не только в рассуждении женских нарядов, но и во всем, что касалось изящного вкуса и художеств. Она сама нарисовала новый фасад своего дома в имении, приказала срубить деревья, снести стену, окружавшую сад, чтобы свободнее мог дуть восточный ветер, от которого предки мистера Байнарда с таким трудом огородились. Дабы показать свой вкус в разбивке сада, она захватила ферму в двести акров, отстоявшую в миле от усадьбы, и велела посадить там кустарник и проложить дорожки, а посредине вырыть большой водоем, в который отвела ручей, до той поры приводивший в движение две мельницы и снабжавший лучшей во всей округе форелью. Однако дно водоема было столь плохо укреплено, что вода в нем не удержалась, просочилась в землю, и под всеми древесными насаждениями возникло болото. Одним словом, на тот участок земли, который прежде приносил ему в год полтораста фунтов дохода, теперь он должен был ежегодно затрачивать двести фунтов, чтобы содержать его в порядке, не считая еще первоначальных издержек на деревья, кусты, цветы, дерн и гравий.

Вокруг дома не было теперь сада, не осталось ни одного плодового дерева; с земли он не снимает ни единой копны сена, ни единого бушеля овса для своих лошадей; нет у него ни одной коровы, которая давала бы ему молока к чаю, а о том, чтобы откармливать дома баранов, свиней и птицу, ему и думать нечего. Решительно все для домоводства покупают в ближайшем городке на рынке, милях в пяти от имения, и даже за горячими булками к завтраку посылают туда слугу каждое утро. Короче говоря, Байнард признался без обиняков, что издержки его превышают вдвое доход с имения и что через несколько лет ему придется оное продать, чтобы уплатить кредиторам. Жена его, говорил он, имеет столь чувствительные нервы, и дух ее столь слаб, что она не выносит даже самых деликатных упреков и не может дать согласия на сокращение расходов, хотя бы ей самой казалось сие необходимым. Итак, он уже не прилагает стараний плыть против течения и пытается примириться со своим разорением, утешая себя тем, что сын его наследует состояние матери, ибо оно укреплено за ним по брачному их контракту.

Подробности, о которых он меня осведомил, повествуя о своих делах, преисполнили меня не только огорчением, но и гневом. Я резко бранил жену его за глупость и укорял его самого за малодушие и покорство неразумному ее тиранству. Я увещевал его обрести прежнюю твердость и сбросить иго рабства, не только постыдное, но и пагубное. Я предложил ему помощь по мере моих сил. Я пообещал позаботиться о его делах и даже навести порядок в его семействе, ежели он даст мне право привести в исполнение план, который я предложу для его спасения. Бедствие его так огорчило меня, что свои увещания я перемежал слезами, и Байнард столь расчувствовался, видя такие знаки моего расположения, что не мог вымолвить ни слова. Он прижал меня к груди и молча плакал.

Наконец он воскликнул:

— Поистине дружба есть бесценный бальзам! Слова ваши, дорогой Брамбл, исторгли меня, можно сказать, из бездны отчаяния, в которой я пребывал долгое время. Клянусь честью, я познакомлю вас подробнее с состоянием моих дел и последую, насколько хватит моих сил, вашим указаниям. Но в жизни бывают крайности, мой нрав не... Поверьте, бывают такие нежные узы, о которых холостяк не имеет понятия... Признаться ли в моей слабости? Я не могу перенести и мысли, что причиняю этой женщине страдания!

— Но ведь она столько лет видела, как вы несчастны! — воскликнул я.— Несчастны по ее вине, а она не выражала ни малейшего желания облегчить ваше бремя!

— И все же я уверен, что она любит меня нежнейшей любовью,— сказал он.— Но природе человеческой свойственны противоречия, которые я изъяснить не могу.

Такое ослепление поразило меня, и я заговорил о другом, после того как мы пообещали друг другу укрепить отныне нашу дружескую связь. Тут он рассказал мне, что жены двух его соседей, так же как и его жена, влекут своих мужей к банкротству и разорению.

Эти три мужа нисколько друг на друга не походят, но у всех троих супруги таковы, что удивительно умеют держать их в подчинении. И цели у этих супруг одни и те же. Они состязаются в роскошном образе жизни, а стало быть, и в чванстве с супругой сэра Джона Чикуэлла, который вчетверо богаче их мужей, а та, в свою очередь, тщится ни в чем не уступить живущей по соседству жене лорда, богатство коей превосходит втрое ее состояние.

Итак, четыре сии случая, да еще в одном графстве, приводят на память басню «Лягушка и вол»; одно крупное состояние и три умеренных, без сомнения, вот-вот лопнут из-за непомерно раздувшегося женского тщеславия, и в трех случаях наличествует женское тиранство в разных видах. Мистер Байнард ходит в ярме потому, что жена его хитро воспользовалась мягкостью его натуры. Мистер Милксен, человек робкий, пресмыкается перед наглой ведьмой. Мистеру Соуерби, с коим припадками и угрозами не справишься, судьба даровала такую супругу, которая сражается с ним оружием иронии и насмешки: то поднимает насмех комплиментами, то саркастическими сравнениями, скрывающими укоры в отсутствии у него вкуса, мужества, великодушия; разжигая таким путем страсти мужа, она толкает его от одного сумасбродства к другому, смотря по тому, куда влечет ее тщеславие.

Упомянутые три леди имеют ныне равное число лошадей, карет и ливрейных и неливрейных слуг, одинаковое количество нарядов, столового серебра и фарфора, одинаковое в домах убранство, а на своих пиршествах стараются друг друга превзойти в разнообразии, изысканности и дороговизне яств. Уверен я, что в девятнадцати случаях из двадцати мужчины расточительствуют и разоряются, принося жертву смехотворному чванству и тщеславию глупых женщин, в которых сии качества они презирают, пребывая тем не менее в полном рабстве.

Благодарю бога, Дик, что я, невзирая на всю глупость и слабость, свойственные человеческой натуре, не поглупел еще настолько, чтобы жениться.

Обсудив все это с Байнардом подробно, мы направились домой и встретили Джерри, вышедшего с двумя нашими леди подышать свежим воздухом, коль скоро хозяйка к ним еще не выходила. Словом, миссис Байнард предстала перед нами только за четверть часа до обеда. Супруг ввел ее в гостиную вместе с ее теткой и сыном, и она приняла нас с такой холодностью и равнодушием, от которых и сама душа гостеприимства могла бы замерзнуть. Хотя она и знала, что я прихожусь ее мужу близким другом, и часто видела нас вместе в Лондоне, однако притворилась, будто не узнает меня, и не обратила на меня внимания, когда я учтивейшим и дружественным образом ее приветствовал. Не сказала она мне даже обычного приветствия, как-то: «Рада вас видеть», или: «Надеюсь, вы были в добром здравии с той поры, как я не имела удовольствия видеть вас», и т. д.; нет, она даже не раскрыла рта, дабы поздороваться с сестрой моей и племянницей, но сидела немая, как истукан, и почти столь же бесчувст-

венная. Тетка ее, которую она взяла за образец для подражания, держала себя с нелепой церемонностью, но зато сынок был назойлив, нагл и болтал без умолку.

За обедом хозяйка была столь же нелюбезна, равнодушна и шепталась только со своей теткой, а что касается до стола, то подали множество изделий французского повара и ни одного сытного блюда, которое могло бы удовлетворить аппетит англичанина. Суп оказался не лучше, чем тепловатые помои, в коих вымокает хлеб; рагу, по-видимому, раньше кто-то жевал и выплюнул; фрикасе было точно завернуто в грязно-желтую припарку, а жаркое подгорело и воняло, словно заячий помет. Десерт состоял из перезрелых плодов и замороженных сбитых белков, пиво прокисло, вода была затхлая, вино потеряло аромат; но на столе красовались серебро и фарфор, пудреный лакей стоял за каждым стулом, а хозяину и хозяйке служили два лакея, одетые, как джентльмены.

Обедали мы в большой старинной готической столовой, которая прежде была залом. Теперь настлали в ней мраморный пол, и, несмотря на то, что камин растопили за час до обеда, зубы у меня стучали от холода, когда я вступил в зал. Одним словом, все было здесь холодное, неуютное, вызывало отвращение, кроме лица друга моего Байнарда, согретого любовью и добросердечием.

После обеда мы перешли в другую комнату, где мальчишка стал назойливо приставать к моей племяннице Лидди. Ему нужен был для игры товарищ, и он, конечно, затеял бы с ней шумную возню, ежели бы она согласилась. Бесстыдство его простерлось до того, что он влепил ей поцелуй, отчего она покраснела и смутилась, и, хотя отец сделал ему нагоняй за дерзость, он стал еще более наглым и запустил руку ей за корсаж. Сие оскорбление она не могла снести, хотя и была существом кротчайшим. Глаза ее сверкнули гневом, она вскочила и дала ему такую оплеуху, что он отлетел к стене.

— Вы наградили его по заслугам, мисс Мелфорд! — воскликнул его отец.— Жалею только, что наглость моего сына вызвала вас на такой решительный поступок, который я одобряю от всей души!

Но его жене пришлось не по душе это искреннее одобрение; она поднялась из-за стола и, взяв сына за руку, сказала:

— Пойдем, сын мой. Твой отец терпеть тебя не может.

С этими словами она удалилась со своим многообещающим отроком, а за ней последовала ее тетка. Ни та, ни другая не соизволили обратить ни малейшего внимания на своих гостей.

Байнард был весьма смущен. Но я приметил, что его замешательство смешано было с досадой, и счел это добрым предзнаменованием. Я приказал закладывать лошадей, и, хотя Байнард упрашивал нас переночевать, я настоял на том, чтобы ехать безотлагательно.

Перед отъездом мне удалось снова поговорить с ним наедине. Я сказал ему все, что мне запало на ум, дабы он постарался разорвать позорные сети. Я не постеснялся объявить, что жена его недостойна того мягкого снисхождения, с которым он относится к ее недостаткам, сказал, что она решительно неспособна питать искреннюю любовь к мужу, не заботится о собственной своей чести и, по всем признакам, лишена здравого смысла и разумения. Я заклинал его вспомнить о том, чем он обязан отчему дому, а также не забывать о своем добром имени и о долге перед семейством и даже перед неразумной женщиной, которая слепо стремится к своей погибели. Советовал ему подумать о сокращении расходов, убеждал внушить тетке сию необходимость, дабы она подготовила племянницу, а ежели тетка станет противиться, то выгнать из дому эту зловредную особу.

Тут он прервал меня тяжкими вздохами и сказал, что сей шаг оказался бы роковым для миссис Байнард.

— От такого малодушия лопнет мое терпение! — вскричал я.— Припадки миссис Байнард ничуть не повредят ее здоровью! Это одно притворство! Уверен, что ей нет никакого дела до вашей беды, а впрочем, она останется бесчувственной, даже когда вы разоритесь!

В конце концов принудил я его дать честное слово, что он постарается исполнить мой совет и составит план уменьшения расходов, но ежели без моей помощи его нельзя будет привести в действие, он приедет зимой в Бат, где я пообещал с ним встретиться и приложить все силы, чтобы поправить дела его. Пообещав сие друг другу, мы расстались, и поистине я почту себя счастливым, когда с моей помощью достойный человек, которого я люблю и уважаю, будет спасен от бедности, отчаяния и бесчестья.

В этих краях мне остается посетить только еще одного друга, который весьма отличается от Байнарда своим нравом. Вы уже слышали от меня о сэре Томасе Балфорде, с коим я познакомился в Италии. Теперь он стал здешним помещиком; но, поскольку подагра не позволяет ему искать развлечений в чужих странах, он развлекается у себя дома, который открыт для каждого и где он забавляется чудачествами и нравом своих гостей.

Но он, пожалуй, у себя за столом самый большой чудак. Он очень добродушен, без умолку говорит и хохочет. Сказывают, будто теперь он свой ум употребляет только на то, чтобы ставить гостей в смешное положение, в чем находит величайшее удовольствие. Не знаю, пригодимся ли мы для такой забавы, но я порешил нагрянуть в его края отчасти для того, чтобы самому посмеяться вместе с ним, а отчасти потому, что хочу засвидетельствовать почтение его супруге, добросердечной, умной женщине, с которой он в полном ладу, хотя ей и не посчастливилось подарить ему наследника.

А теперь, любезный Дик, должен сказать вам в утешение, что вы единственный из смертных, которому я решился написать столь длинное послание, которое, впрочем, я не мог укоротить, ибо предмет его волнует меня до глубины души; да и не хочу я приводить других оправданий перед тем, кто давно привык к сумасбродствам

*М. Брамбла.*

*30 сентября*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Любезный баронет!

Кажется, моей натуре не чуждо злорадство, ибо ничто не забавляет меня больше, чем видеть иных людей, терзаемых страхом, когда нет никакой опасности. Минувшую ночь мы провели в доме сэра Томаса Балфорда, старинного дядюшкиного приятеля, весельчака, умом не блистающего, который хотя и охромел от подагры, однако решил смеяться до конца, а особенно любит он потешаться над своими гостями, какого бы угрюмого или строптивого нрава они ни были. Кроме нас, гостили у него в доме тупоголовый мировой судья по фамилии Фрогмор и деревенский лекарь, который как будто был любимым собеседником и наперсником хозяина.

Баронета мы нашли сидящим на диване, подле него лежали костыли, а ноги его покоились на подушках, но принял он нас очень сердечно и, кажется, был весьма рад нашему приезду. После чаю мы слушали сонату, исполненную на клавикордах леди Балфорд, которая прекрасно поет и играет, но что касается до слуха сэра Томаса, то он у него как у осла, хотя он и притворялся восхищенным и просил жену спеть для нас ариетту соб-

ственного ее сочинения. Однако ж едва начала она исполнять эту ариетту, как и он, и мировой судья заснули, но как только она перестала играть, баронет, всхрапнув, проснулся и воскликнул:

— О сага![1] Ну, что скажете, джентльмены? Можно ли говорить после этого о ваших Перголези и Корелли?

Тут он подпер языком щеку и скосил один глаз на доктора и на меня, сидевших по левую его руку. Эту пантомиму он завершил громким хохотом, всегда готовым к его услугам. Несмотря на свой недуг, за ужином он не постился и не только не отказывался от стаканчика, когда пили за чье-нибудь здоровье, но даже поощрял гостей примером своим и уговорами быстрее осушить рюмки.

Вскоре я приметил, что доктор был для баронета человеком весьма необходимым. Он был как бы оселком для его остроумия, мишенью для стрел его сатиры и помогал ему в разных забавных проделках, которые они иной раз придумывали, чтобы потешиться над гостями. Судья Фрогмор прекрасно подходил для таких философических забав. Дебелый и тучный, чванливый и глуповатый, он с недюжинным прилежанием изучал Борна, но лучше всего изучил искусство жить, то бишь хорошо есть.

Эта жирная дичина часто доставляла нашему хозяину случай поохотиться всласть, да и в тот вечер он не раз принимался за судью не без успеха, но особенно разжигали страсть баронета к насмешкам разговоры, наружность и обхождение Лисмахаго, над которым он пробовал подшутить и так и сяк. Тут вспомнилось мне виденное некогда сражение молодой гончей со старым ежом. Собака перевертывала его с боку на бок, прыгала, лаяла и рычала, но стоило ей попытаться его куснуть, как игла вонзалась ей в морду, и пес отступал в явном замешательстве.

Лейтенант, если его не задевают, неизменно покажет обществу смешные свои стороны, но если кто-нибудь старается поставить его в смешное положение, он становится упрямым, как мул, и непокладистым, как необученный слон.

Немало подшучивали над мировым судьей, который поужинал чрезвычайно плотно и, между прочим, съел большую тарелку жареных грибов; не успел он покончить с ними, как доктор с нарочитой серьезностью заметил, что эти грибы относятся к роду шампиньонов и на иных людей действуют, как отрава. Испуганный этими словами мистер Фрогмор с беспо-

[1] Дорогая *(итал.)*.

койством спросил, почему доктор по доброте своей не уведомил его раньше. Лекарь отвечал, что судья ел их с большой охотой, а потому он и не сомневался в том, что тот привычен к этому блюду, но теперь, приметив его опасения, предписывает ему стакан лечебной воды. Судья тотчас же осушил стакан и в страхе и смятении пошел спать.

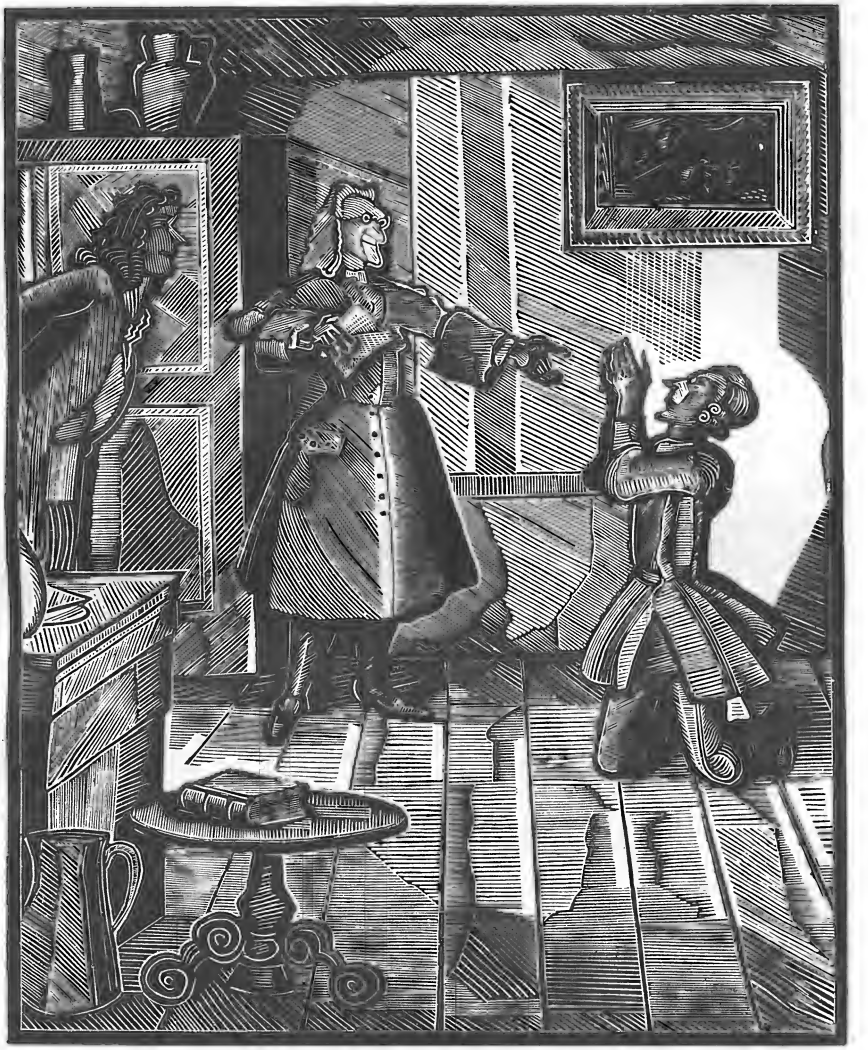
В полночь отвели нас в предназначенные нам спальни, и через полчаса я уже крепко спал, но часа в три утра меня разбудил отчаянный вопль: «Пожар!» Вскочив с постели, я в одной рубашке бросился к окну. Ночь была темная, ненастная, а во дворе метались полуодетые люди с факелами и фонарями, весьма как будто испуганные. Быстро одевшись, я сбежал вниз и узнал, что огнем охвачена только задняя лестница, ведущая в отдельные покои, где спал Лисмахаго.

К тому времени лейтенанта уже разбудили крики, раздававшиеся под его окном, которое находилось во втором этаже, но в темноте он не мог отыскать одежду, а дверь его комнаты оказалась запертой снаружи. Слуги кричали ему, что в доме побывали грабители, что, без сомнения, негодяи утащили его платье, заперли дверь и подожгли дом, ибо лестница охвачена пламенем. Попав в беду, злосчастный лейтенант метался нагишом по комнате, как белка в клетке, то и дело высовывая голову из окна и умоляя о помощи.

Наконец вынесли в креслах самого баронета, а вместе с ним вышли дядюшка и вся семья, не исключая и нашей тетушки Табиты, которая визжала, вопила и, как сумасшедшая, рвала на себе волосы. Сэр Томас уже приказал слугам принести длинную лестницу, которую приставили к окну лейтенанта, и теперь баронет с жаром уговаривал его спуститься. Но никакой нужды в красноречии для убеждения Лисмахаго не было, ибо он, не мешкая, вылез из окна и орал во все горло, умоляя покрепче держать лестницу.

Несмотря на серьезный повод для тревоги, невозможно было удержаться от смеха, созерцая сию картину. Жалкая фигура лейтенанта в одной рубашке и стеганом ночном колпаке, подвязанном под подбородком, длинные, худые его ляжки и ягодицы, открытые ветру, представляли весьма живописное зрелище, озаренное факелами и фонарями, которые держали слуги, освещая ему путь. Вокруг лестницы собрались все, кроме баронета, который сидел в кресле и то и дело восклицал:

— Боже, смилуйся над нами!.. Спаси жизнь этого джентльмена!.. Осторожней спускайтесь, дорогой лейтенант! Не оступитесь!.. Держитесь обеими руками за лестницу!.. Вот так!..



Т. Смоллет, «Путешествие Хамфри Клинкера»

Прекрасно, дорогой мой!.. Браво!.. Сразу видно старого вояку! Принесите одеяло... принесите теплое одеяло, чтобы закутать его бедное тело! Согрейте постель в зеленой комнате!.. Вашу руку, дорогой лейтенант!.. От всей души рад видеть тебя целым и невредимым!

Спустившись по лестнице, Лисмахаго попал в объятия своей возлюбленной, которая, вырвав одеяло у одной из служанок, окутала им его тело. Двое слуг подхватили его под руки, а служанка проводила в зеленую комнату, куда пошла и мисс Табита, чтобы проследить, как уложат его в постель. Во время этой церемонии он не проронил ни слова, но бросал весьма суровые взгляды то на одного, то на другого из зрителей, которые собрались потом в столовой, где мы ужинали, и поглядывали друг на друга с удивлением и любопытством.

Когда баронета усадили в кресло, он схватил дядюшку за руку, долго хохотал во все горло, а потом воскликнул:

— Мэт, увенчайте меня дубовыми листьями, плющом, лаврами, петрушкой, чем хотите, и признайтесь, что эта проказа была coup de maître![1] Ха-ха-ха! Camisicata, stagliata, beffata! O che roba![2] Ну и картина! Ну и карикатура! О, будь тут Роза, Рембрандт, Скалькен! Ей-богу, не пожалел бы я сотни гиней, только бы ее написали! То ли прекрасное нисхождение со креста, то ли восхождение на виселицу! А свет и тени! А толпа внизу! А выражение лица наверху! Какое лицо! Обратили внимание на это лицо? Ха-ха-ха! А ноги, а мышцы... Каждый палец на ноге выражал ужас! Ха-ха-ха! А потом это одеяло! Вот так костюм! Святой Андрей! Святой Лазарь! Святой Варавва! Ха-ха-ха!

— Так, значит, это была всего-навсего ложная тревога?— очень серьезно спросил мистер Брамбл.— Нас подняли с постели, перепугали чуть не до смерти только ради шутки!

— Да ведь шутка-то какова! — воскликнул наш хозяин.— Вот так потеха! А какой dénouement![3] Какая catastrophe![4]

— Имейте терпение,— отвечал наш сквайр,— мы еще не видали катастрофы, и дай бог, чтобы эта комедия не кончилась трагедией. Лейтенант — один из тех мрачных людей, которые совсем не понимают смешного. Сам он никогда не смеется, да и другим не позволяет над собой смеяться. К тому же если чело-

---

[1] Мастерски проведенное дело *(франц.)*.
[2] Рубашка, лестница, ветер! Вот потеха! *(искаж. итал.)*.
[3] Конец *(франц.)*.
[4] Развязка (в пьесе) *(франц.)*.

век и выбран был подходящий, то, по совести сказать, шутка была слишком жестока.

— Черт возьми! — вскричал баронет.— Будь он моим родным отцом, все равно я бы ему не спустил. А уж другого такого человека не сыщешь и за полвека.

Тут вмешалась мисс Табита и, ощетинившись, объявила, что она не понимает, почему мистер Лисмахаго больше подходит для таких шуток, чем сам баронет, и что она очень опасается, не убедится ли баронет весьма скоро, как он ошибся в этом человеке. Баронет был немало смущен такими предостережениями и заявил, что Лисмахаго должен быть настоящим варваром, если его не потешила такая удачная и забавная затея. Тем не менее он попросил мистера Брамбла и его сестру образумить лейтенанта, и к его просьбе присоединилась леди Балфорд, которая не преминула прочитать баронету поучение о неуместности его поступка, которое он выслушал, выражая одной половиной своего лица покорность, а другой усмешку.

Вторично улеглись мы спать, и, прежде чем я проснулся, дядюшка уже побывал в зеленой комнате у Лисмахаго и привел ему такие убедительные доводы, что, когда мы собрались в зале, тот казался совсем умиротворенным. Извинения баронета он принял очень милостиво и даже выразил удовольствие, узнав, что споспешествовал общему веселью. Сэр Томас, заливаясь смехом, пожал ему руку и, в знак полного примирения, попросил у него понюшку табаку. Лейтенант, сунув руку в карман камзола, вытащил вместо своей шотландской табакерки из бараньего рога прекрасную золотую табакерку, увидав которую сказал:

— Тут какая-то ошибка.

— Никакой ошибки нет! — воскликнул баронет.— Честный обмен — не грабеж! Сделайте мне одолжение, лейтенант, разрешите оставить на память вашу табакерку.

— Сэр, моя табакерка к вашим услугам,— отвечал лейтенант,— но эту вещь я никак не могу принять. Это смахивает на преступление против законов чести. И почем знать? Может быть, и тут кроется новая шутка, а я не расположен больше выступать на театре. Я не посмею прикоснуться к вашим карманам, а потому прошу вас взять ее собственными руками.

С суровым видом он отдал табакерку баронету, а тот не без смущения принял ее и возвратил лейтенантову табакерку, которую желал оставить у себя не иначе, как в обмен на свою.

Этот случай мог омрачить беседу, как вдруг дядюшка мой заметил, что судьи Фрогмора не видно было ни во время ночной

тревоги, ни теперь, когда все сошлись вместе. Услыхав имя Фрогмора, баронет вскричал:

— Черт подери! А я и позабыл о судье! Пожалуйста, доктор, пойдите и притащите его из его конуры.

Потом, захохотав так, что брюхо у него заколыхалось, он объявил лейтенанту, что тот не один был действующим лицом в драме, разыгранной для увеселения общества, в чем сам сейчас убедился. Что касается до ночной комедии, то она не могла потревожить судью, которого нарочно поместили в дальнем конце дома, где не слышно было шума, и вдобавок усыпили опиумом.

Через несколько минут в залу привели судью в ночном колпаке и широком халате; он мотал головой и жалобно стонал.

— Господи Иисусе! — воскликнул баронет.— Что случилось, сосед Фрогмор? Вид у вас такой, будто вы не жилец на этом свете. Усадите его осторожно на диван. Бедный джентльмен! Помилуй нас, господи! Почему он такой бледный, желтый да раздутый?

— Ох, сэр Томас! — вскричал судья.— Кажется, пришел мой конец! Прикончат меня эти грибы, которые я ел за вашим столом. Ах! Ох! Ух!

— Помилуй бог! Полно, дружище, подбодрись! Каково у тебя с желудком, а? — осведомился Балфорд.

На этот вопрос судья ничего не ответил, но распахнув халат, показал, что камзол не сходится у него на животе на добрых пять дюймов.

— Да сохранит нас бог! — воскликнул сэр Томас.— Какое печальное зрелище! Никогда не видывал я, чтобы человека так вдруг раздуло, разве что он уже помер или при смерти. Доктор, неужели нельзя помочь этому бедняку?

— Не думаю, чтобы случай был безнадежный,— отвечал лекарь,— но я бы посоветовал мистеру Фрогмору не мешкая привести в порядок все дела. Пусть придет священник и помолится вместе с ним, а я тем временем приготовлю клистир и рвотное.

Судья, испуганно вращая глазами, воскликнул с жаром:

— Да помилует нас бог! Да помилует нас Христос!

Потом начал именем бога заклинать лекаря поторопиться.

— Мирские дела у меня все в порядке, кроме одной закладной, которая должна перейти к моим наследникам,— сказал он.— Но бедная моя душа! Бедная моя душа! Какая участь ждет бедную мою душу? Окаянный я грешник!

— Прошу тебя, дружище, успокойся,— сказал баронет.— Уповай на бесконечное милосердие божие. Тяжких грехов нет у тебя на совести, разве что сам черт тебя попутал.

— Не поминайте черта! — вскричал устрашенный Фрогмор.— Грехов у меня столько, что никому и не снилось. Ах, друг мой, я был лукав, лукав, дьявольски лукав! Не теряя времени, пошлите за священником и уложите меня в постель, ибо я отбываю в вечность.

Двое слуг подняли его с дивана и, поддерживая под руки, повели назад в спальню, но, прежде чем выйти из залы, попросил он добрых людей молиться за него.

— Пусть мой пример послужит вам предостережением,— добавил он.— Я, как цветок полевой, скошен во цвете лет. И да простит вам бог, сэр Томас, что вы за своим столом угощаете такой ядовитой дрянью.

Едва увели его и он не мог более нас слышать, как баронет разразился неудержимым смехом, коему вторило и большинство присутствующих. Но нам с трудом удалось удержать добрую леди, которая порывалась вывести из заблуждения болящего, открыв ему, что, покуда он спал, камзол его ушили с помощью лекаря и что расстройство в желудке и кишках вызвано вином с сурьмой, которое выпил он накануне вечером вместо лечебного питья. Леди, как видно, боялась, что опасения его за жизнь и в самом деле могут привести к смерти. Но баронет клялся, что судья не такая уж курица, а упрямый старый мошенник, который долго еще будет жить на свете и досаждать всем своим соседям. Расспросив о нем, мы узнали, что нрав его не дает ему права ждать сострадания или уважения, а потому и не стали чинить баронету препятствий в его забаве.

Клистир был поставлен проживавшей в доме старухой, бывшей нянькой сэра Томаса, а сверх того больному дали настойку из морского лука, дабы ускорить действие вина с сурьмой, замедленное опиумом, принятым на ночь. Судью посетил священник, который прочитал молитвы и завел речь о состоянии его души, как вдруг начали действовать лекарства, и пришлось священнику вести утешительную беседу, затыкая при этом нос. Его примеру последовали баронет и я, когда вошли вместе с доктором в спальню и застали Фрогмора восседающим на стульчаке и разгружающимся с обоих концов. В краткие промежутки между позывами он взывал о милосердии, исповедовался в своих грехах или вопрошал священника, что думает он о его душе, а священник отвечал торжественным и гнусавым голосом, отчего зрелище это казалось еще забавнее.

После того как рвотное возымело свое действие, вмешался доктор и приказал снова уложить больного в постель. Пощупав у судьи пульс, он объявил, что большая часть яда извергнута, и,

дав ему успокоительное питье, уверил его, что питает великую надежду на выздоровление. Эту счастливую весть судья выслушал со слезами радости и клялся, буде он оправится, век не забывать, что жизнью обязан искусству и заботливому уходу доктора, которому с жаром пожимал руки. После сего оставили мы его отдыхать.

Нас упрашивали подождать до обеда, чтобы были мы свидетелями его воскрешения, но дядюшка желал уехать до полудня и засветло вернуться в город. Тем временем леди Балфорд повела нас в сад осмотреть рыбный садок, только что оконченный, о котором мистер Брамбл отозвался, что находится он слишком близко от залы, где баронет пребывал сейчас один и дремал в кресле после утренних своих подвигов.

Откинувшись на спинку кресла, он лежал, обернув фланелью покоившиеся на стуле ноги, как вдруг дверь с шумом распахнулась, в комнату ворвался лейтенант Лисмахаго с лицом, искаженным ужасом, и закричал во всю глотку:

— Бешеная собака! Бешеная собака!

Подняв оконную раму, лейтенант выпрыгнул в сад. Разбуженный этим отчаянным криком, сэр Томас вскочил, забыл о своей подагре и, подчиняясь какой-то бессознательной силе, последовал примеру лейтенанта и не только вылетел из окна, подобно стреле, пущенной из лука, но, не успев опомниться, бросился в пруд и очутился по пояс в воде. Тогда лейтенант начал орать:

— Боже, смилуйся над нами! Пощади этого джентльмена! Ради бога, не оступитесь, дорогой мой! Принесите теплые одеяла! Закутайте его бедное тело! Согрейте постель в зеленой комнате!

Леди Балфорд была как громом поражена тем, что случилось, изумленные гости молча таращили глаза, а тем временем слуги поспешили на помощь своему хозяину, который, не проронив ни слова, дозволил отнести себя в залу. Поспешно переодели его в сухое платье и закутали фланелью, дали сердечного лекарства и поместили его in statu quo[1], а одной из служанок приказано было растирать ему ноги, каковая операция как будто привела в порядок рассеянные его чувства, и доброе расположение духа вернулось к нему.

Когда мы вошли вслед за ним в комнату, он окинул каждого из нас по очереди каким-то смеющимся взором, но с особым вниманием посмотрел на Лисмахаго, который предложил ему понюшку табака и, когда тот молча ее принял, произнес:

[1] В то же положение, что и раньше *(лат.)*.

— Сэр Томас Балфорд, за все ваши милости я вам чувствительно благодарен, а за некоторые из них я постарался отплатить собственною вашей монетой.

— Дай мне твою руку! — воскликнул баронет.— Ты мне уплатил не только все сполна, но на руках у меня остались еще излишки, и вот в присутствии всех гостей я обещаю рассчитаться с тобой.

Потом он от души расхохотался, будто радуясь полученному им возмездию. Но у леди Балфорд был очень серьезный вид; по всей вероятности, она полагала, что лейтенант в гневе своем хватил через край, ибо супруг ее был калекой; однако же, говорит пословица, как аукпется, так и откликнется.

Когда-то я видел, как ручной медведь, весьма забавный, покуда обходились с ним хорошо, превратился в свирепого дикого зверя, когда стали его дразнить на потеху зрителям. Что до Лисмахаго, то, кажется, он считал, что испуг и холодная ванна пойдут больному на пользу. Но доктор высказал опасение, как бы подагра от сильного потрясения не перешла из ног в какие-нибудь другие более важные для жизни органы.

Я был бы очень огорчен, если бы сбылось это пророчество о судьбе нашего шутника хозяина, который, прощаясь с мисс Табитой, выразил надежду, что она вспомнит о нем, когда будет раздавать свои подвенечные банты, ибо он немало потрудился для того, чтобы испытать достоинства и отвагу лейтенанта.

В конце концов, боюсь я, как бы наш сквайр не пострадал больше всех от проказ баронета, ибо для его здоровья отнюдь не полезны ночные тревоги. Весь день он зевал и дрожал от озноба и спать лег не поужинав. Итак, завтра — благо квартира у нас хорошая — мы, вероятно, останемся здесь на отдых, а в таком случае вы хоть на денек избавитесь от преследующего вас письмами

*Дж. Мелфорда.*

*3 октября*

*Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Милая Мэри!

Мисс Лидди по доброте своей пошлет мое письмо со своим до Глостера, а там уж передаст его вам в руки возчик. Хоть бы уж бог привел нас в целости в Монтмаутшир, потому как я совсем истрепалась от переездов. Сущчую правду говорит

пословица: век живи, век учись. Ох, милая моя, чево я только не навидалась и не наслушалась! Нет ничего прочного на этом свете. Кто бы мог подумать, что хозяйка после всяческих трудов, потраченных во спасение ее дарогой души, возьмет да и загубит свое грешное тело? Кто б подумал, что возрится она с вождилением на такое пугало, как Лишмахага, старого, как Марфусаил, тощего, как силедка, и нищего, как цирковная мышь?

Ох, Молли! Видала бы ты, как он спущался по леснице в одной рубахе, а рубаха была такая худая, что все было наружу! Молодой сквайр зовет его Дункихетом, но на мой глаз он — точка в точку Крадок-ап-Морган, старый лудильщик, которому попало в Аберганни, потому как он украл котелок. К тому же он нечистивая тварь и, как сказывает мистер Клинкер, не лучше беса, и все смеется над библией и новым рождением. И как нет у него денег, так нет и обхождения. Словечка ласкового не скажет, а куда там чтобы подарочек какой сделать, перчатки мне подарить! А похоже на то, что хочет он дерзость на себя напустить и преударить. Ума не приложу, как это можит благородная старая женщина с понятиями рвать на себе волосья и плакать и себя унижать из-за такого придмета! Уж впрямь как в песне поется:

Заполучит девка птичку,
Коли плачет по сове.

Но, видно, спутался он с каким-нибудь шотландским колдуном, коли сумел ее так оплести. А я уповаю на бога, а в складку нижней юбки зашила щепочку от граба. А мистер Клинкер говорит, что ежели я узрела новый свет благодати, так нечего бояться дьявола и всех дел его. Ну, да я знаю, что знаю.

Коли хозяйка пойдет за Лишмахагу, мне у ней не служить. Слава богу, местов много, и ежели бы не одна вещь, так я бы... ну, да это пустое. Горничная мадамы Байнар получает добрых двадцать фунтов в год, и еще ей перепадает, и одета она, как знатная леди. Я обедала с ней и камардинами в париках с кошельком и в золоченых камзолах, но пища была никуда, потому как получают они деньги на прокорм. И съела-то я всего кусочек холодного пирога да немножко бламаже, а начались у меня колики, и счастье, что у хозяйки в карете был плакончик с ликарством от живота.

Но, как я уже сказывала, кажется, будет у нас свадьба, потому дело дошло до криктического положения, и я своими

глазами видела, как они цилова... ну, да я не таковская, чтобы болтать симейные сикреты. А коли быть свадьбе, то кто знает, какое пойдет тогда веселье. Я думаю, мисс Лидди не стала бы тужить, если б объявился здесь ее любезный, а вы удивились бы, Молли, когда б получили невестин бант от вашей покорной слуги. Но все это, милая моя, еще ничего неизвестно, а я поклялась преторжественно мистеру Клинкеру, что ни единый человек, ни мужчина, ни женщина, ни ребенок не узнают, какие были мне говорены ласковые слова.

Надеюсь, что еще месяц этот не пройдет, как буду я в Брамблтон-Холле пить за ваше здоровье октябрьское пиво. Сделайте милость, переворачивайте кажний день мою постелю и окно открывайте, покуда погода хорошая; и пущай сожгут несколько вязанок на лакейском чердаке да посмотрят, чтобы тюфяки были сухие-пресухие, а то оба наши джентльмена попростужались оттого, что у сэра Томаса Булфата спали на сырых простынях.

Писать больше нечего, и поклонитесь от меня Сауле и всей нашей прислуге, и с тем остаюсь, милая Мэри Джонс, всегда ваша

*Уин Дженкинс.*

*4 октября*

## *Мисс Летиции Уиллис, Глостер*

Моя дорогая Летти!

Писать вам время от времени, не имея надежды получить ответ, доставляет мне, признаюсь, некоторое утешение и удовольствие, так как отчасти облегчает бремя печали; но, во всяком случае, эти радости дружбы очень несовершенны, потому что нет взаимных признаний и доброго совета. Я готова отдать все на свете, только бы провести с вами хоть один денек. Очень устала я от этой бродячей жизни. Голова кружится от беспрестанной смены картин, к тому же невозможно в таком долгом путешествии избежать неудобств, опасностей и неприятных происшествий, которые очень тягостны для такого бедного создания со слабыми нервами, как я, и дорого приходится мне платить за удовлетворение моей любознательности.

Природа не предназначила меня для суетной жизни; я жажду покоя и уединения, чтобы наслаждаться бескорыстной

дружбой, которой не сыщешь в многолюдной толпе; я хочу предаваться тем сладостным мечтаниям, которым нет места в водовороте светской жизни. Хоть и неопытна я в делах житейских, однако же повидала достаточно, чтобы почувствовать отвращение к большинству людей, вращающихся в этом обществе. Столько здесь злобы, предательства и притворства даже среди близких друзей и приятелей, что преисполняется ужасом добродетельная душа; когда же порок на минуту уходит со сцены, его место тотчас заменяет глупость, которая часто бывает отнюдь не смешна, но вызывает только сожаление.

Может быть, надлежало бы мне помолчать о слабостях бедной моей тетушки, но от вас, любезная моя Уиллис, у меня нет секретов, а слабостей тетушкиных поистине нельзя сокрыть.

С той минуты, как приехали мы в Бат, она беспрестанно расставляла сети мужскому полу и наконец уловила в них престарелого лейтенанта, который как будто не прочь, чтобы она переменила свое имя на его. Дядюшка и брат мой, кажется, не имеют возражений против этого удивительного союза, который, без сомнения, даст повод к бесконечным пересудам и насмешкам; я же слишком хорошо знаю свои собственные слабости, чтобы забавляться слабостями других людей. Сейчас на сердце моем лежит у меня нечто такое, что занимает все мои помыслы и повергает душу мою в ужас и трепет.

Вчера поутру, когда я стояла с братом у окна залы в гостинице, где мы остановились, мимо проскакал всадник, в котором — о силы небесные! — я тотчас признала Уилсона! На нем был белый редингот с пелериной, застегнутой под подбородком; он казался очень бледным и промчался рысью, будто не заметив нас; в самом деле, он мог нас не разглядеть, потому что скрыты мы были шторой.

Можете вообразить, что почувствовала я при его появлении. Свет померк в глазах моих, и меня охватили такая дрожь и трепет, что ноги подкосились. Я села на диван и старалась оправиться, чтобы брат не приметил моего смятения, но невозможно скрыться от зорких его глаз. Он увидел того, кто взволновал меня, и, без сомнения, узнал его с первого взгляда. Он обратил ко мне суровое лицо, потом выбежал на улицу, чтобы посмотреть, какой дорогою поехал несчастный всадник. Затем он послал своего слугу собрать подробные сведения и, кажется мне, замыслил что-то ужасное...

Так как дядюшке неможется, мы остались еще на одну ночь в этой гостинице, и весь долгий день Джерри неутомимо шпионил за мной; с таким жадным вниманием всматривался он

в мое лицо, как будто хотел проникнуть в самые сокровенные уголки моего сердца. Может быть, понуждала его к тому забота о моей чести, а может быть, и собственная его гордость; но он такой вспыльчивый, неистовый и упрямый, что один вид его приводит меня в трепет: и, право же, я не в силах буду его любить, если он вздумает и дальше столь упорно меня преследовать. Боюсь, что задумал он мщение, которое принесет мне великое несчастье! Боюсь, что при появлении Уилсона возникло у него подозрение о каком-то сговоре. Боже милостивый! Был ли то действительно Уилсон или только видение, бледный призрак, возвещавший о его смерти?

О Летти! Что мне делать? К кому обратиться за советом и утешением? Не прибегнуть ли мне к покровительству дядюшки, всегда столь доброго и сочувствующего?.. Но это последнее мое прибежище. Я страшусь мысли смутить его покой и скорее согласилась бы претерпеть тысячу смертей, чем быть причиною семейного раздора. Я не могу понять, зачем приехал сюда Уилсон; может быть, он отыскивал нас, чтобы открыть настоящее свое имя и кто он такой; но для чего же проехал он мимо и не остановился ни на минуту, чтобы расспросить о нас?

Любезная моя Уиллис, я теряюсь в догадках; с тех пор как его увидела, я не смыкала глаз. Всю ночь напролет металась я, и меня терзали противоречивые мысли. Рассудок мой не находит покоя. Я молилась, вздыхала, заливалась слезами. Если еще продлится эта ужасная неизвестность, я снова заболею, а тогда вся семья придет в смятение. Если бы на то была воля провидения, хотела бы я лежать в могиле, но долг требует смириться.

Дорогая моя Летти, простите мне мою слабость, простите эти пятна на бумаге, но я не могу не омочить ее слезами — они льются из глаз моих. Конечно, я понимаю, я должна подумать, что еще нет у меня никакой причины предаваться отчаянию. Но я такое трусливое, робкое создание!

Слава богу, дядюшке моему гораздо лучше, чем было вчера; он решил ехать прямой дорогой в Уэльс. Надеюсь, что по пути заглянем мы в Глостер; эта надежда доставляет отраду бедному моему сердцу; снова заключу я в объятия мою горячо любимую Уиллис и все свои печали поведаю дружескому ее сердцу. О боже! Неужто такое счастье ждет печальную и одинокую

*Лидию Мелфорд.*

*4 октября*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Любезный Уоткин!

Вчера произошло маленькое событие, которое, как полагаю я, покажется вам весьма удивительным. Вместе с Лидди я стоял у окна гостиницы, как вдруг мимо проехал верхом — кто бы вы думали? — Уилсон! Ошибиться я не мог, потому что смотрел ему прямо в лицо, когда он подъезжал; по смущению моей сестры понял я, что и она его узнала. Я был и удивлен и взбешен его появлением, которое мог принять только за оскорбление, если не за нечто худшее. Я выбежал за ворота и, увидав, как он завернул за угол, послал своего слугу проследить за ним, но слуга опоздал и вернулся ни с чем. Однако он сказал, что в том конце города есть гостиница под вывеской «Красный лев», где, по мнению его, и остановился приезжий, но что более он ни о чем не спрашивал, ибо не получил от меня распоряжений.

Я немедленно послал его туда разузнать о постояльцах, и он вернулся с докладом, что недавно прибыл в гостиницу некий Уилсон. Получив эту весть, я поручил ему отнести записку, адресованную сему джентльмену, с требованием захватить с собой ящик с пистолетами и через полчаса явиться в поле за городом для встречи со мной, чтобы покончить дело, которое осталось нерешенным при последнем нашем свидании. Письмо свое я не почел нужным подписать. Слуга уверял меня, что оно передано Уилсону в собственные руки и что тот, прочитав его, изъявил согласие ждать джентльмена в назначенный час и в указанном месте.

М'Алпин — старый солдат, и как был он в это время, по счастью, трезв, то я доверил ему свою тайну. Я приказал ему не отлучаться и, отдав письмо, которое он должен был передать дядюшке в случае несчастья со мной, отправился к месту встречи — огороженному полю близ большой дороги. Там я уже застал своего противника в темном плаще для верховой езды и в надвинутой на глаза шляпе, обшитой галуном. Но каково же было мое удивление, когда он сбросил плащ и предо мной предстал человек, которого я отроду не видывал!

Один пистолет был заткнут у него за кожаный пояс, а другой, заряженный, он держал в руке и, приблизившись ко мне на несколько шагов, громко спросил, готов ли я. На это я отвечал: «Нет»,— и предложил ему вступить в переговоры, после чего он направил пистолет дулом в землю, потом заткнул его за пояс и пошел мне навстречу.

Когда я стал уверять его, что он не тот, кого я ждал увидеть, он отвечал, что это возможно: он получил записку, адресованную мистеру Уилсону, с предложением явиться сюда, а так как никого другого, носящего это имя, в гостинице не было, то он, натурально, заключил, что письмо писано ему, а не кому-либо иному. Тогда я рассказал ему, что был оскорблен человеком, назвавшимся этим именем, и не более часа тому назад видел, как тот проехал верхом по улице; узнав же о некоем мистере Уилсоне, остановившемся в гостинице «Красный лев», я не сомневался, что это и есть тот самый человек, и, пребывая в такой уверенности, написал свою записку. Выразил я также удивление, почему он, не зная ни меня, ни забот моих, согласился на такую встречу, не потребовав сначала объяснения.

Он отвечал, что в этих краях нет ни одного его однофамильца, а после девяти часов, когда он сам остановился в «Красном льве», не заезжал туда ни один всадник; что, удостоившись чести служить его величеству, он почитал недостойным себя отклонять такого рода приглашения, от кого бы они ни исходили, а если и была надобность в каком-нибудь объяснении, то требовать его надлежало не ему, но джентльмену, приславшему вызов.

Сколь ни был я раздосадован этим приключением, однако же не мог не восхищаться хладнокровием офицера, чье открытое лицо сразу расположило меня к нему. Было ему лет за сорок; короткие черные его волосы завивались около ушей, одежда отличалась простотой. Когда я принес извинения за причиненное ему беспокойство, он принял их весьма благодушно. Сказал, что живет милях в десяти отсюда, на маленькой ферме, где он предоставит мне все удобства, если я пожелаю погостить у него несколько недель и вместе с ним позабавиться охотой; в таком случае, может быть, удастся нам разыскать человека, меня оскорбившего.

Я искренно благодарил его за любезное предложение, которое, как объяснил я ему, не имею возможности принять, ибо путешествую с родственниками. Так мы и расстались, обменявшись добрыми пожеланиями и засвидетельствовав друг другу свое уважение.

Теперь скажите, любезный баронет, как мне понять это странное приключение? Полагать ли, что виденный мною всадник действительно человек во плоти, либо тень, рассеявшаяся в воздухе? Или мне должно подозревать, что Лидди известно об этом деле более, нежели хочет она признать? Если бы почитал я ее способной к тайным сношениям с таким человеком, я тотчас

отказался бы от нежной привязанности к ней и позабыл бы о том, что она связана со мною кровными узами. Но может ли быть, чтобы тайное общение поддерживала девушка столь простодушная и неопытная, которая лишена возможности укрыться от многих глаз, надзирающих за нею, и ежедневно переезжает с места на место? К тому же она дала торжественное обещание... Нет, не могу я почитать ее столь недостойной, столь равнодушной к чести семьи!

Более всего встревожен я тем, что события эти смутили ее душу. Судя по некоторым признакам, я заключаю, что негодяй все еще имеет власть над ее сердцем. Без сомнения, у меня есть право называть его негодяем и считать намерения его бесчестными, и не моя будет вина, если не придется ему когда-нибудь раскаяться в своей наглости! Признаюсь, я не могу думать и тем более писать об этом, сохраняя спокойствие и не теряя терпения. Поэтому я обрываю это письмо, известив вас только о том, что к концу месяца мы надеемся быть в Уэльсе, но до той поры вы, вероятно, еще услышите

о преданном вам *Дж. Мелфорде.*

*4 октября*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Филипс!

Когда писал я вам с последней почтой, мне и в голову не приходило, что так скоро захочу тревожить вас снова, но чувства, переполняющие мое сердце, переливаются через край; тем не менее нахожусь я в таком смятении, что вы не найдете в этом послании ни порядка, ни связного изложения.

Сегодня мы едва не лишились достойного Мэтью Брамбла, жизнь которого висела на волоске по вине несчастного случая, который я попытаюсь описать.

Дабы выехать на почтовую дорогу, мы должны были переправиться через реку, и те, что были верхом, совершили переправу без труда, не подвергаясь никакой опасности. Но накануне и сегодня утром лил сильный дождь, и скопилось столько воды, что мельничную плотину прорвало как раз в тот миг, когда карету перевозили пониже запруды. Вода хлынула с такою силой, что карета сначала поплыла, а потом опрокинулась на самой середине потока.

Лисмахаго, я и двое слуг в одно мгновение спешились и кинулись в реку, чтобы оказать посильную помощь. Тетушке нашей, мисс Табите, посчастливилось: она очутилась поверх всех в опрокинувшейся карете и уже до половины высунулась из окошка, когда подоспел ее возлюбленный и высвободил ее оттуда. Но то ли он поскользнулся, то ли ноша оказалась слишком тяжела, только оба они, сжимая друг друга в объятиях, пошли ко дну. Несколько раз он пытался приподняться и вырваться из ее объятий, но она висела у него на шее, как жернов (неплохая эмблема супружеской жизни), и, если бы мой слуга не показал себя надежным помощником, по всей вероятности, сия влюбленная чета отправилась бы рука об руку в страну теней.

Что до меня, то я был слишком озабочен другим, чтобы уделять внимание их бедственному положению. Я схватил за волосы мою сестру и, вытащив ее на берег, опомнился и увидел, что дядюшки моего еще не видать. Снова бросившись в реку, я наткнулся на Клинкера, волочившего к берегу мисс Дженкинс, которая со своими растрепанными волосами похожа была на русалку. Но когда я спросил Хамфри, спасен ли его хозяин, он немедля отпихнул ее от себя, и несдобровать бы ей, если бы не подоспел на помощь мельник.

Клинкер же с быстротою молнии кинулся к карете, уже наполнившейся к тому времени водой, нырнул в нее и извлек бедного сквайра, не подававшего никаких признаков жизни.

Не в силах я описать, какие чувства овладели мною при этом горестном зрелище. Такую печаль невозможно изобразить словами! Верный Клинкер взял его на руки, как полугодовалого младенца, и, жалобно завывая, понес к берегу, я же следовал за ним, не помня себя от ужаса и горя.

Когда положили его на траву и стали переворачивать с боку на бок, изо рта у него хлынула вода, потом он открыл глаза и испустил глубокий вздох. Заметив эти признаки жизни, Клинкер тотчас перетянул ему руку подвязкой и, достав нож для кровопускания, пустил ему кровь, как опытный коновал. Сначала показалось только несколько капель, но немного погодя, когда согрели руку, кровь потекла струйкой, и дядюшка пробормотал какие-то невнятные слова, показавшиеся мне сладчайшими звуками.

Неподалеку находился деревенский трактир, хозяин которого вместе со своими домочадцами прибежал к тому времени на помощь. Туда перенесли моего дядюшку, раздели и уложили в постель, окутав теплыми одеялами; но, видно, потревожили

его слишком рано, потому что он снова потерял сознание и лежал без чувств и недвижимый, несмотря на все старания Клинкера и трактирщика, которые непрерывно смачивали ему виски венгерской водой и подносили к носу флакон с нюхательной солью.

Наслышавшись о целебном действии соли в подобных случаях, я приказал насыпать под его тело и под голову всю соль, какая нашлась в доме, и то ли это средство возымело действие, то ли сама природа пришла на помощь, но не прошло и четверти часа, как дыхание его стало ровным, и вскоре он опамятовался к невыразимой радости всех присутствующих. Что до Клинкера, то он чуть не рехнулся. Он смеялся, плакал, приплясывал с таким дурацким видом, что трактирщик весьма благоразумно выпроводил его из комнаты.

Дядюшка, видя льющуюся с меня воду, припомнил все происшествие и спросил, все ли спаслись. Получив утвердительный ответ, он попросил меня переодеться в сухое платье и, выпив глоток теплого вина, пожелал, чтобы его оставили одного отдохнуть.

Прежде чем пойти переодеться, я осведомился об остальных членах семейства. Оказалось, что мисс Табита все еще не пришла в себя от испуга и в изобилии извергает воду, проглоченную ею. Ее поддерживал лейтенант в развившемся парике, с которого капала вода, такой тощий и мокрый, что был он похож на бога Таммуза, только без осоки, обнимающего Изиду в то время, как та извергает содержимое желудка в его урну. Тут же присутствовала мисс Дженкинс в широкой ночной рубашке, без чепца и косынки; была она не более compos mentis[1], чем ее хозяйка, и, прислуживая ей, суетилась без толку, так что с ними обеими нашему Лисмахаго надлежало вооружиться всем своим философическим спокойствием.

Что касается до Лидди, то, казалось, бедная девушка лишилась рассудка. Добрая хозяйка дома переодела ее и уложила в постель, но бедняжке запала в голову мысль, что дядюшка ее погиб, и она безутешно рыдала и ни малейшего внимания не обращала на мои клятвы, что он цел и невредим.

Услышав шум и узнав о ее опасениях, мистер Брамбл пожелал, чтобы ее привели к нему в спальню; когда я передал сие, она бросилась туда полунагая, с безумным лицом. При виде сидящего в постели сквайра она кинулась к нему, обвила руками его шею и душераздирающим голосом воскликнула:

[1] В здравом уме *(лат.)*.

— Вы ли это... это вы, дядюшка?.. Дорогой мой дядюшка!.. Лучший мой друг!.. Отец мой!.. Неужели вы живы? Или это только мечтание моего бедного мозга?

Достойный Мэтью был так растроган, что невольно прослезился и, целуя ее в лоб, сказал:

— Милая Лидди, я надеюсь еще долго пожить на свете, чтобы доказать вам, как ценю вашу любовь. Но, дитя мое, душа ваша в смятении... Вам нужен отдых... Пойдите лягте в постель и успокойтесь.

— Хорошо, я пойду,— отвечала она,— но мне все еще не верится, что это правда. Карета была полна воды... дядюшка очутился на самом дне, под нами... Боже милостивый! Вы были под водой... как же вы оттуда выбрались? Объясните мне, а не то я буду думать, что все это обман.

— Как меня оттуда вытащили — об этом я знаю не больше, чем вы, дорогая моя,— отвечал сквайр,— и, сказать по правде, я бы хотел, чтобы мне все рассказали.

Я начал было подробно описывать происшествие, но он не пожелал слушать, покуда я не переоденусь; потому я успел только сказать ему, что жизнью своею он обязан мужеству и верности Клинкера, и увел сестру в ее спальню.

Происшествие это случилось около трех часов дня, а примерно через полчаса буря улеглась. Но карета наша была сильно повреждена и нуждалась в починке, чтобы мы могли ехать в ней дальше, а потому послали за кузнецом и колесным мастером в ближайший рыночный город, мы же поздравили друг друга с тем, что обрели пристанище в трактире, где можно было прекрасно поместиться, хотя он и находился вдали от почтовой дороги.

Когда женщины наши понемногу успокоились, а все мужчины были на ногах, дядюшка послал за своим слугой и в присутствии Лисмахаго и меня обратился к нему со следующими словами:

— Вы, видно, порешили, Клинкер, не допускать, чтобы я утонул. С опасностью для своей жизни вы меня выудили со дна реки, а посему вам, по крайней мере, принадлежат все деньги, бывшие у меня в кармане. Вот они, получайте.

И он подал кошелек с тридцатью гинеями и перстень, стоивший почти столько же.

— Боже сохрани! — вскричал Клинкер.— Извините меня, ваша милость. Пусть я бедняк, но сердце у меня есть. Если б знала ваша милость, как возрадовался я, увидав... Да будет благословенно его святое имя, что избрал он меня смиренным орудием... Но что до денежной награды, то я от нее отказы-

ваюсь... Я только исполнил свой долг... То же самое сделал бы я для последнего из ближних моих... То же самое сделал бы я для лейтенанта Лисмахаго, или Арчи М'Алпина, или для всякого другого грешника на этом свете... Но для вашей милости я готов пойти и в огонь и в воду.

— Пусть так, Хамфри,— сказал сквайр,— но если вы почитаете своим долгом спасать мою жизнь, подвергая опасности свою собственную, то мой долг, полагаю я, доказать, как я благодарен вам за такую удивительную преданность и любовь ко мне. Однако же не думайте, что я считаю сей подарок достойной наградой за услугу, которую вы мне оказали. Я решил закрепить за вами пожизненно тридцать фунтов в год и хочу, чтобы эти джентльмены были свидетелями данного мною обещания, которое я записал в свою памятную книжку.

— Боже, помоги мне отблагодарить за все эти милости!— рыдая, вскричал Клинкер.— Смолоду был я сирым и нищим. Ваша милость подобрали меня, когда я был... наг... когда я был... болен и покинут всеми... Ваша милость так глядит на меня... Я понимаю... не смею ослушаться... но сердце мое полно чувством... И если ваша милость не разрешает мне говорить, я должен излить их в молитве, вознесенной господу за моего благодетеля!

Когда покинул он комнату, Лисмахаго сказал, что был бы гораздо лучшего мнения о его искренности, если бы он не так противно хныкал и причитал; он-де, Лисмахаго, всегда замечал, что эти плаксивые и богомольные слуги бывают сущими лицемерами.

Мистер Брамбл ни слова не ответил на это саркастическое замечание лейтенанта, рассерженного тем, что Клинкер в простоте души поставил его на одну доску с М'Алпином и другими грешниками на этом свете.

Трактирщик, которого призвали, чтобы распорядиться о ночлеге, сказал сквайру, что весь дом к его услугам, но что вряд ли удостоится он чести принимать у себя сквайра и всех его спутников. Он объяснил нам, что владелец поместья, живущий неподалеку отсюда, не допустит нас оставаться в трактире, когда в собственном его доме есть удобное для нас помещение, и что если б не обедал он сегодня у соседа, то, без сомнения, пригласил бы нас тотчас же по прибытии нашем. Потом принялся он расхваливать этого джентльмена, у которого служил когда-то дворецким, и описывал его как чудо доброты и щедрости. Говорил, что он ученейший человек и почитается лучшим помещиком в этих краях, что есть у него жена, столь же всеми любимая,

сколь и он сам, и единственный сын, подающий большие надежды молодой джентльмен, только на днях оправившийся от опасной горячки, которая могла оказаться роковой для всей семьи, ибо, как уверял трактирщик, если бы сын умер, родители не пережили бы своей потери.

Он еще воспевал хвалу мистеру Деннисону, когда сей джентльмен подъехал в почтовой карете и одной наружностью своею, казалось, подтвердил все сказанное в похвалу ему. Был он уже в пожилых летах, но добрый, здоровый, цветущий, с открытым лицом, говорившим о трезвом уме и добросердечии. Посочувствовав нам в приключившейся с нами беде, он сказал, что приехал пригласить нас в свой дом, где нам будет менее беспокойно, чем в таком жалком трактире, и выразил надежду, что наши леди не откажутся поехать в его коляске, так как до дома его не более четверти мили.

Дядюшка мой, поблагодарив, как полагается, за такое любезное приглашение, вгляделся в него и спросил, не учился ли он в Оксфорде, в колледже Королевы. Когда же мистер Деннисон с некоторым удивлением дал утвердительный ответ, наш сквайр воскликнул:

— Взгляните же на меня! Неужели вы не можете узнать старого друга, с которым не видались вот уж сорок лет?!

Джентльмен, взяв его за руку и пристально глядя на него, вскричал:

— Ну, конечно, я припоминаю Мэтью Ллойда из Глеморганшира, который учился в колледже Иисуса!

— Хорошая у вас память, любезный друг мой Чарльз Деннисон! — воскликнул дядюшка, прижимая его к груди своей.— Я — тот самый Мэтью Ллойд из Глеморгана.

Клинкер, только что вошедший в комнату с углем для камина, едва услыхав эти слова, уронил ведерко на ногу Лисмахаго и начал прыгать, как исступленный, выкрикивая:

— Мэтью Ллойд из Глеморгана! О провидение!.. Мэтью Ллойд из Глеморгана!

Потом, обняв дядюшкины колени, продолжал:

— Ваша милость должны простить меня... Мэтью Ллойд из Глеморгана!.. О боже, сэр!.. Я не могу опомниться!.. Я сойду с ума!

— Ты, кажется, уже сошел с ума,— проворчал сквайр.— Прошу тебя, Клинкер, успокойся. Что случилось?

Хамфри, порывшись за пазухой, вытащил старую деревянную табакерку и с трепетом подал хозяину, который, открыв ее, достал маленькую сердоликовую печатку и две бу-

мажки. При виде их он вздрогнул, изменился в лице и, просмотрев бумаги, вскричал:

— Как?.. Что?.. Где тот, о ком здесь упоминается?

Клинкер, колотя себя в грудь, едва мог выговорить:

— Здесь... здесь... здесь, Мэтью Ллойд, как показано в бумаге. Хамфри Клинкером звали того кузнеца, который взял меня в ученье.

— А кто дал вам эти бумаги? — быстро спросил дядюшка.

— Бедная моя мать на смертном одре,— отвечал тот.

— А как звали вашу мать?

— Дороти Твайфорд, с разрешения вашей милости! Работала она за стойкой в трактире под вывеской «Ангел» в Чипенхеме.

— Почему же эти бумаги не были предъявлены раньше?

— Мать сказывала мне, что писала в Глеморганшир, когда я родился, но никакого ответа не получила, а потом, как стала она справляться, оказалось, что нет такого человека в этом графстве.

— Значит, потому только, что я переменил имя и в то самое время уехал за границу, твоя бедная мать и ты были обречены на нищету и горе! Как я потрясен последствиями моего безумия!

Потом, положив руку на голову Клинкера, он добавил:

— Встаньте, Мэтью Ллойд! Джентльмены! Вы свидетели того, как обвиняют меня грехи моей молодости. Вот распоряжение с моею подписью и печатка, которую я оставил по просьбе этой женщины, а вот бумага о крещении ребенка, подписанная приходским священником.

Все присутствующие немало дивились такому открытию, а мистер Деннисон шутливо поздравил и отца и сына; я же крепко пожал руку новообретенному двоюродному брату, а Лисмахаго приветствовал его сквозь слезы, ибо только что прыгал по комнате, ругался на чистом шотландском языке и мычал от боли после того, как на ногу ему упало ведерко с углем. Клялся он даже вытряхнуть душу из тела этого сумасшедшего парня, но после неожиданного оборота событий пожелал ему счастья, прибавив, что сам он к этому делу причастен, ибо по причине сего открытия едва не лишился большого пальца на ноге.

Мистер Деннисон пожелал узнать, почему дядюшка переменил имя, под которым он известен был в Оксфорде, и наш сквайр следующим образом удовлетворил его любопытство:

— Я унаследовал поместье моей матери в Глеморганшире и принял ее фамилию Ллойд. Достигнув же совершеннолетия, я

продал эту землю, чтобы очистить от долгов отцовское имение, и снова стал носить настоящее мое имя. Итак, ныне я — Мэтью Брамбл из Брамблтон-Холла в Монтмаутшире, а это мой племянник Джереми Мелфорд из Белфилда в графстве Глеморган.

В эту минуту вошли в комнату леди, и он представил их мистеру Деннисону: мисс Табиту — как свою сестру, а Лидди — как племянницу. Пожилой джентльмен приветствовал их весьма сердечно и, кажется, был поражен наружностью моей сестры, ибо то и дело на нее посматривал с удивлением, но не без удовольствия.

— Сестра,— сказал дядюшка,— перед вами — бедный родственник, который ищет вашего благоволения. Бывший Хамфри Клинкер превратился в Мэтью Ллойда и притязает на честь быть вашим родственником по крови. Короче сказать, этот плут — дикая яблонька, мною самим посаженная во дни разгула, когда кровь кипела в жилах.

Тем временем Клинкер опустился на одно колено перед мисс Табитой, которая искоса посматривала на него; с волнением обмахиваясь веером, она порешила после недолгой борьбы с собою протянуть ему руку для поцелуя и с видом скромницы промолвила:

— Брат, вы тяжко согрешили, но я надеюсь, что вы доживете до того дня, когда откроется вам безумие деяний ваших. С прискорбием должна сказать, что молодой человек, которого признали вы сегодня своим сыном, исполнен, по милосердию божию, веры и благочестия более, нежели вы со всею вашей кощунственной премудростью, хотя вам не раз представлялся удобный случай. Право же, мне кажется, что в глазах его и в кончике носа есть сходство с моим дядюшкой Ллойдом из Флуидуэллина, а длинный подбородок точь-в-точь такой, как у нашего родителя. Брат, раз вы уже переменили его имя, то, прошу вас, перемените и платье: непристойно носить ливрею тому, в чьих жилах течет наша кровь.

Лидди, кажется, была очень довольна таким приращением нашего семейства. Она подала ему руку, уверяя, что всегда будет гордиться родством с добродетельным молодым человеком, который многократно доказывал благодарность свою и преданность ее дядюшке.

Мисс Уинифред Дженкинс, крайне взволнованная и не знающая, дивиться ли ей этому событию или страшиться, как бы не потерять своего любезного, воскликнула хихикая:

— Желаю вам благополучия, мистер Клинкер, то бишь Флойд... хи-хи-хи!.. Теперь вы так возгордитесь, что на нас,

бедных, служивших вместе с вами, и поглядеть не соизволите, ох-хо-хо!

Клинкер чистосердечно признался, что он в восторге от ниспосланного ему счастья, превышающего его заслуги.

— Но могу ли я возгордиться? — прибавил он.— Я — человек ничтожный, зачатый во грехе, рожденный в бедности, воспитанный в приходском работном доме и обучавшийся в кузнице!.. Если покажется вам, мисс Дженкинс, что я загордился, прошу вас, напомните мне, каков я был, когда впервые увидел вас на дороге между Чиппенхемом и Мальборо.

Когда обсудили сие знаменательное событие к удовольствию всех участников, небо прояснилось, наши леди отказались ехать в коляске, и все мы пошли пешком к дому мистера Деннисона, где для нас уже приготовлен был чай его супругою, любезной матроной, которая приняла нас с крайним радушием. Дом у них старомодный, построенный без плана, но вместительный и удобный. Южной стороною он обращен к реке, до которой не больше ста шагов, а к северу расположен по отлогому холму сад; лужайки и дорожки содержатся в образцовом порядке, и вид всей местности пасторальный и романический.

Мне еще не довелось увидеть молодого джентльмена, который гостит у приятеля-соседа, а домой ожидают его только завтра.

Сейчас в ближайший рыночный город отправляется человек с письмами на почту, а потому я пользуюсь случаем препроводить вам описание сегодняшнего дня, столь чреватого событиями; признайтесь, что я подаю вам их, как бифштекс в трактире Долла, «с пылу с жару», запросто и не приукрашая, а так, как припоминаются они вашему

*Дж. Мелфорду.*

## *Доктору Льюису*

Любезный Дик!

С той поры, как я в последний раз вас беспокоил, произошли разные события; о некоторых из них следует поговорить особливо, и о них я поведаю вам устно, но есть и другие, столь занятные, что хранить in petto[1] до встречи я никак не могу.

[1] В душе *(итал.)*.

Да будет вам ведомо: можно было поставить тысячу фунтов против шестипенсовика, что в настоящее время вместо чтения моего письма вы приводили бы в исполнение мое завещание!

Два дня назад наша карета опрокинулась посредине быстротекущей реки, и я спасен был с превеликим трудом только благодаря храбрости, расторопности и присутствию духа слуги моего Хамфри Клинкера. Но сие еще не есть самое удивительное в упомянутом приключении. Дело в том, что Хамфри Клинкер есть не кто иной, как Мэтью Ллойд, побочный сын некоего Мэтью Ллойда из Глеморгана, ежели вы знавали сего человека!

Итак, вы видите, доктор, что, невзирая на вашу философию, валлийцы отнюдь не лишены разума, когда они приписывают узам крови великое значение. Но о сем предмете мы побеседуем при случае.

Но это не единственное открытие, первопричиной коего было случившееся с нами бедствие. Нам посчастливилось выбраться на гостеприимные берега. Владельцем поместья оказался Чарльз Деннисон, наш повеса-сотоварищ по Оксфорду. Теперь мы благополучно проживаем в доме этого джентльмена, достигшего вершины деревенского блаженства, которого я добивался лет двадцать всуе. Ему выпало счастье получить супругу, подходящую ему во всех отношениях; нежную, великодушную и добросердечную. Сверх того она обладает недюжинным умом, мужеством и скромностью и удивительной способностью быть его собеседницей, наперсницей, советчиком и помощницей во всех трудах его.

У этой превосходной четы есть один-единственный сын, лет девятнадцати, юноша, какого только можно было бы просить у бога для увенчания их счастья. И ничто не смущает их счастья, кроме забот и опасений за жизнь и благополучие обожаемого их чада.

Старинный наш приятель имел несчастье родиться младшим сыном, предназначен был стать законоведом и даже начал выступать в суде, но сам не почел себя способным блистать на этом поприще и питал мало склонности к сему занятию. С отцом он не поладил, ибо женился по любви, не помышляя о богатом приданом, и потому не имел никакого дохода, кроме того только — весьма скудного,— который приносило ему хождение по делам; ожидаемое приращение семейства повергло его в беспокойство. Тем временем умер его отец, которому наследовал старший сын, олух, большой любитель охоты на лисиц; забросив все свое хозяйство, он умел только угнетать и обижать слуг и в течение нескольких лет довел имение до такого состояния,

что от полного разорения спасла его смерть от горячки, непременного следствия разгульной жизни.

Чарльз, с полного одобрения жены, порешил немедля прекратить хождение по судам и удалиться в деревню, хотя от такого намерения каждый, у кого он спрашивал совета, решительно его отговаривал. Те, кто был уже умудрен опытом, уверяли, что в деревне придется ему тратить вдвое больше денег, чем приносило его имение; уверяли, будто он, чтобы жить, как джентльмен, должен будет завести кареты и лошадей, и собак, и соответствующее число слуг и держать хороший стол для приема соседей; что занятие сельским хозяйством есть тайна, ведомая только тому, кто знал его с колыбели, и успех сих занятий зависит не только от ума и трудолюбия, но и от упорства и рачительности, чего никак невозможно ждать от джентльмена, а посему-де попытки джентльменов всегда кончались неудачей, и многие из тех, кто тщился вести хозяйство у себя в имении, разорялись начисто. Уверяли даже, что ему дешевле будет покупать сено и овес для скота и лошадей и доставать на рынке живность, яйца, зелень и любые предметы домашнего обихода, чем добывать у себя дома.

Сии уверения не отвратили мистера Деннисона, ибо они зиждились главным образом на предположении, что он вынужден будет вести жизнь беспутную и расточительную, которую он и его супруга в равной степени ненавидели, презирали и вознамерились избегать. Он ставил своей целью сохранение телесного здоровья, спокойствия духа и особливо семейного мира и покоя, которого не может смутить недостаток в деньгах и нарушить страх перед бедностью.

Он был весьма умерен в рассуждении своих нужд и даже жизненных благ. Нуждался он только в свежем воздухе, чистой воде, приятных прогулках, простой пище, пригодном жилье и благопристойном платье. Ежели невежественный крестьянин, не одаренный от природы особой прозорливостью, рассуждал он, может прокормить большую семью и даже иметь достаток, трудясь на ферме, за которую он платит помещику две-три сотни фунтов ежегодной ренты, то ужели он сам не пожнет плоды своего трудолюбия, не только не уплачивая никому никакой ренты, но, напротив, получая в год наличными от трехсот до четырехсот фунтов? Он знал, что земля — мать милостивая, дарующая плоды всем своим чадам без разбора.

Старательно и с любовью изучил он теорию земледелия и убедился, что нет тут никакой тайны, которую он не мог бы постигнуть неустанным прилежанием. Что до необходимых

издержек по домоводству, то он весьма заботливо их подсчитал, и ему стало очевидно, что все заключения его друзей были ложны. Убедился он, что, освободившись от наемной платы за дом, он сберегает не менее шестидесяти фунтов в год да почти столько же, если воздержится от мелких и непредвиденных издержек; узнал он также, что даже говядина у деревенского мясника стоит на двадцать процентов дешевле, чем в Лондоне, что же до живности и прочих предметов домоводства, то цена им вдвое дешевле, чем в городе, а помимо сего, он может сделать значительные сбережения на нарядах, ибо отныне стал свободен от тиранства нелепых мод, изобретенных невеждами и непреложных для глупцов.

Что касается до той опасности, которую якобы таило соперничество с богачами в убранстве дома и в роскоши, то она нисколько его не беспокоила. Ему перевалило уже за сорок, полжизни он провел в труде и заботах и хорошо узнал своих ближних. Нет на свете более презренного человека, чем тот, который с доходом в пятьсот фунтов в год тщится соперничать в издержках с соседом, чей доход впятеро больше. Тщеславие его не только не может скрыть, но, напротив, еще более обнажает его бедность, и суетность его предстает в еще более постыдном виде, ибо вызывает осуждение и пробуждает любопытство.

Нет ни одного семейства в графстве, ни одного слуги в собственном его доме, ни одного крестьянина в приходе, кто бы не знал, с точностью до фартинга, сколько дохода приносит его имение; и все они смотрят на него с презрением или с жалостью. Удивительно, почему сии рассуждения не приходят в голову людям, находящимся в затруднительном положении, и почему они не возымеют благодетельных последствий!

Неоспоримо, что из всех страстей, свойственных человеческой натуре, ни одна так не вредит разуму, как суетность; иногда оный разум бывает так поврежден, что ищет позора и усматривает наслаждение в том, чтобы носить клеймо бесчестья.

Я вкратце описал вам мистера Деннисона и его положение в ту пору, когда он переехал в свое имение, но посланец, который доставит письмо в ближний город на почту, вот-вот отправляется в путь, и поэтому я отложу то, что имею сказать по сему предмету, до следующей почты, когда вы снова получите весть от преданного вам

*М. Брамбла.*

*8 октября*

*Доктору Льюису*

Снова, любезный доктор, я берусь за перо, дабы развлечь вас.

Утром, на следующий день после нашего приезда, гуляя вместе с другом моим, мистером Деннисоном, я не мог удержаться, чтобы не выразить своего восхищения окружающей нас местностью, поистине очаровательной; особливо я восхищался расположением рощиц, которые равно служат защитой его усадьбы от ветров и украшением ее.

— Когда двадцать два года назад я вступил во владение сей землей,— сказал мистер Деннисон,— не было ни одного деревца ближе чем в миле от дома, если не считать старого запущенного фруктового сада, приносившего одни только листья да мох. Приехал я в пасмурный ноябрьский день и нашел дом в таком состоянии, что по справедливости его можно было назвать «замком запустения». Двор зарос крапивой и репейником, а сад — такой густой сорной травой, какой я еще не видывал; ставни были сломаны, стекла в окнах разбиты, в печных трубах гнездились совы и галки.

В самом доме было еще страшнее. Все покрыто было копотью, плесенью и неописуемой грязью, кровля протекала, в некоторых комнатах даже полы начали гнить, обои отстали от стен, и заплесневелые лоскутья трепал ветер, зеркала разве что не выпадали из рам, на фамильных портретах лежал толстый слой пыли, а все кресла и столы источены были червем и расшатаны. В целом доме не нашлось ни одной пригодной кровати, если не считать старинного ложа с высоким позолоченным балдахином и занавесками желтого муара с бахромой, а это ложе находилось в нашем роду, полагаю, не менее двух веков... Короче говоря, пригодных вещей в доме не было, кроме кухонной утвари, в погребе же стояло несколько пустых бочек, которые издавали такой нестерпимый запах, что невозможно было туда войти, покуда не зажгли порох, чтобы рассеять вонь.

Старик, нанятый с женой стеречь дом, покинул его внезапно и в оправдание свое сослался, между прочим, на то, что ни он, ни его жена не могли спать в доме из-за ужасных стуков и что, конечно, это бродит мой бедный умерший брат. Словом, дом казался необитаемым, амбар, конюшня и прочие дворовые постройки пришли в полный упадок, все изгороди были сломаны и поля не возделаны.

Фермеру, хранившему у себя ключи, и во сне не снилось, что у меня есть намерение поселиться безотлагательно. Он

платил за аренду фермы шестьдесят фунтов, и срок его аренды как раз истекал. Он задумал стать управителем имения и распоряжаться в свою пользу усадьбой и прилежащей землей. О таковом его намерении уведомил меня священник, как только я приехал, и потому я не обратил внимания на то, что фермер отговаривал меня поселиться в имении, но мне пришлось призадуматься, когда он предупредил меня о своем отказе от аренды по истечении срока, если я весьма не убавлю арендную плату.

В то время я случайно познакомился с человеком, чья дружба послужила основанием теперешнего моего благополучия. В ближнем рыночном городе мне посчастливилось обедать в гостинице с неким мистером Уилсоном, который не так давно поселился в этих краях. Был он лейтенантом на военном корабле, но сильно невзлюбил военную службу, покинул море и женился на единственной дочери фермера Бленда, который жил в этом приходе и рачительным хозяйством сколотил немалое состояние.

Уилсон оказался добрейшим человеком, смелым, великодушным, услужливым, чистосердечным. Ему понравилось мое обхождение, а я был очарован его приветливостью. Наше знакомство укрепилось и скоро превратилось в истинную дружбу. Бывают такие характеры, которые, точно частицы одного и того же вещества, сильно друг к другу притягиваются. Вскоре он познакомил меня со своим тестем, фермером Блендом, который досконально знал каждый акр земли в моем поместье и потому мог дать мне добрые советы к устроению его. Во мне он нашел склонность к деревенской жизни и, узнав, что я не прочь был бы развлечься, занимаясь сельским хозяйством, поддержал мое намерение. Он уведомил меня, что все мои фермы отданы в аренду по слишком низкой цене, что доходы с моего имения можно весьма увеличить, что по соседству есть залежи извести и что на земле, не сданной мной в аренду, есть превосходный мергель для удобрения. Что касается до фермы, которая должна была перейти снова ко мне, то он предложил взять ее за прежнюю арендную плату, но тут же заметил, что, если бы я затратил двести фунтов на огораживание, она бы давала вдвое больше дохода.

После такого напутствия я без промедления принялся приводить свой план в действие и погрузился в бездну издержек, хотя не имел сбережений, а весь доход с имения не превышал трехсот фунтов в год. Уже через неделю моему дому не была страшна непогода, и я вычистил его сверху донизу, засим хорошо проветрил, открыв все двери и окна и разведя огонь в каждом камине от кухни до чердака. Починил полы, вставил

стекла в окна и, выбрав мало-мальски пригодные вещи из всего скарба, находящегося в доме, я смог убрать ими, помимо гостиной, еще три комнаты весьма скромно, но пристойно. Двор очистили от мусора и сорной травы, и мой друг Уилсон принял на себя труд привести сад в порядок. Наняли каменщиков починить амбар и конюшню, а другие работники чинили заборы и начали огораживать поля и рыть канавы под присмотром фермера Бленда, который прислал мне расторопного слугу сторожить дом и топить в комнатах камины.

Приняв сии меры, я воротился в Лондон, где немедля продал весь свой домашний скарб и спустя три недели после моего первого посещения усадьбы на святки повез жену. Ненастное время года, унылое место, мрачный вид нашего жилища заставляли меня опасаться, что решимость ее поколеблется, когда она сразу перейдет от городской к скучной деревенской жизни. Но, к счастью своему, я был приятно разочарован. Она нашла, что действительность не столь ужасна, как я рисовал ей. Правда, к нашему приезду многое преобразилось. Дворовые постройки возникли из развалин. Голубятню починили, и она полна была голубей, о чем постарался Уилсон, который также привел в пристойный вид сад и раздобыл немало домашней птицы, благодаря чему приятно было поглядеть на наш двор, и вся усадьба стала теперь похожа на человеческое жилье. Фермер Бленд достал для нас молочную корову и верховую лошадь для слуги, чтобы тот мог ездить на рынок в ближайший город. Я нанял деревенского парня в лакеи, а дочь работника взял в горничные, кухарку же привезла моя жена из Лондона.

Таковы были мои домочадцы, когда я принялся за хозяйство, располагая только тремя сотнями фунтов, полученных мною за проданный домашний скарб. Знал я, что в течение дня у нас довольно будет работы, чтобы убить время, но боялся длинных зимних вечеров. Однако и для сего мы нашли спасительное средство. Приходской священник был еще холост и скоро так прижился в нашем доме, что обычно ночевал у нас, и из беседы с ним мы черпали не только удовольствие, но и пользу. Он был человек скромный, просвещенный и прекрасно мог познакомить меня с деревенской жизнью, которая была мне неведома. Мистер Уилсон ввел в наш дом свою жену, а та полюбила миссис Деннисон столь нежно, что, по ее словам, ничто так не радовало ее, как беседы с моей женой. Была она тогда милой, веселой, удивительно понятливой деревенской жительницей, столь же добросердечной, как и муж ее, Джек Уилсон; таким

образом между женщинами завязалась дружба, которая продолжается и по сие время.

Что касается до Джека, он был моим сотоварищем, советчиком и помогал мне во всех делах моих. И за сотню фунтов не соглашусь я, чтобы вы уехали от меня, не повидав его! Джек на все руки мастер... Таланты его прямо удивительны. Он и плотник, и столяр, и токарь, и великий искусник на поделки из железа и меди. Он не только имел главное попечение над моим хозяйством, но и заботился о том, как я провожу время. Он научил меня варить пиво, сидр и мед, приготовлять вишневку, травник, стряпать некоторые чужеземные кушанья, к примеру— оллу, рагу, пилавы, штуфаты. Он знает все игры от шахмат до чак-фартинга, поет песни, играет на скрипке и с удивительной ловкостью отплясывает хорнпайп.

В любую погоду мы с ним гуляли, ездили верхом, охотились, ловили рыбу; я убежден, что в столь влажном климате, как здесь, в Англии, постоянные телесные упражнения не меньше, чем пища, необходимы для здоровья. За истекшие двадцать два года дружба между семейством Уилсона и моим не прерывалась и не охладевала ни на час и перешла к нашим детям, что следует счесть подарком фортуны. Наши сыновья почти одних лет и нравом похожи друг на друга; они учились вместе в одной школе и в одном колледже и любят друг друга горячо.

Благодаря Уилсону свел я также знакомство с умным лекарем, проживающим в ближнем городке, и его сестра, милая девица, уже пожилая, приезжала к нам гостить на святках. Тем временем принялся я весьма рьяно заниматься моим хозяйством и в ту зиму насадил те самые рощицы, которые столь вам понравились. Что касается до соседних помещиков, то на первых порах они не причиняли мне никаких затруднений; все они уже уехали в столицу до моего переезда в имение, но летом я принял меры предосторожности, чтобы защитить себя от их вторжений. Когда к моим воротам подъезжала какая-нибудь щегольская карета, я не сказывался дома; тех же посетителей, коих вид был скромный, я принимал и, узнав их характер и обхождение, либо отвергал знакомство с ними, либо отвечал такой же учтивостью.

Словом, особы аристократические презирали меня как человека низшего по происхождению и не имеющего средств к жизни; все же мне удалось встретить немногих людей с умеренным достатком, одобрявших мой образ жизни; к нашему обществу присоединилось бы еще немало других, если бы этому не воспрепятствовали чванство, зависть и тщеславие их жен и до-

черей. Ибо они одни в наш век роскоши и мотовства суть те скалы, о которые разбились и потерпели крушение все небольшие поместья.

Несколько акров земли у самого дома я оставил для себя, чтобы производить опыты по земледелию, согласно наставлениям Лиля, Тулла, Харта, Дюамеля и других авторов, писавших о сем предмете. Их теории я восполнял практическими наблюдениями фермера Бленда, который в науке управления хозяйством был моим главнейшим учителем. Словом, я полюбил деревенскую жизнь, и успехи мои далеко превзошли ожидания. Я осушил болота, выжег негодный кустарник, расчистил под пашню землю, поросшую папоротниками и вереском, а там, где ничего другого произрастать не могло, посадил кустарник. Постепенно я огородил мои фермы и учинил столько улучшений, что ныне мое имение приносит мне тысячу двести фунтов дохода в год.

Все сие время мы с женой были здоровы и сохраняли бодрость, если не считать тех редких случаев, когда наше хорошее расположение духа нарушалось тяжелыми событиями, без которых не обходится жизнь. Двое моих детей умерли от оспы еще во младенчестве, так что теперь у меня остался один сын, и на него мы возлагаем все наши надежды. Вчера он уехал навестить друга, у которого остался ночевать, но воротится к обеду. Сегодня я буду иметь удовольствие познакомить его с вами и вашим семейством и льщу себя надеждой, что вы найдете его достойным вашей благосклонности.

Либо я ослеплен отеческой любовью, либо мой сын в самом деле обладает прекрасным характером, однако же, сказать правду, он доставил нам несказанное беспокойство. Мы сосватали было его с дочерью джентльмена из соседнего графства, которая со временем должна унаследовать значительное состояние, но, по-видимому, он питал к сему союзу отвращение. Учился он тогда в Кембридже и под всякими предлогами старался оттянуть время. Мы с женой понуждали его в письмах дать решительный ответ, и вот, месяцев восемь назад, он ускользнул от своего наставника и исчез.

Прежде чем он решился на такой опрометчивый поступок, он написал мне письмо, возражал против брака и объявлял, что будет скрываться, покуда не узнает, что его родители отказываются от своих намерений возложить на него обязательства, которые сделают его на всю жизнь несчастным; при сем он указал, в какой газете и какое объявление должны мы напечатать, чтобы он мог узнать наше решение.

Вы можете легко вообразить, как были мы встревожены и огорчены сим побегом, о котором он даже не предупредил своего приятеля Чарльза Уилсона, обучавшегося в том же колледже. Мы порешили наказать его, притворившись, будто нисколько не сокрушаемся о нем, ибо мы надеялись, что он воротится по собственному почину. Но он от своего решения не отказался, покуда молодая девица не выбрала себе другого мужа; тогда только он явился, и по ходатайству Уилсона мы примирились с ним. А что, если мы с вами породнимся, поженив его на вашей племяннице, девице очаровательной? Моя жена уже полюбила ее, как родную дочь, и у меня есть предчувствие, что и сын сразу пленится ею.

— Нашему семейству ничто не могло бы любезней быть, чем сей брак,— отвечал я.— Но не могу утаить, дорогой друг, что сердце Лидди едва ли свободно... Есть одно дьявольское препятствие...

— Вы разумеете молодого странствующего комедианта в Глостере?— спросил он.— Вы удивлены, что мне это известно? Но вы еще более удивитесь, когда узнаете, что сей комедиант есть не кто иной, как сын мой Джордж Деннисон! Под такой личиной он скрывался в помрачении своем.

— Какая радость! — вскричал я.— Я буду в восторге, ежели ваше желание исполнится!

Засим мистер Деннисон уведомил меня, что его сын, воротившись к нему, признался в любви к мисс Мелфорд, племяннице мистера Брамбла из Монтмаутшира. Хотя мистеру Деннисону и не приходило на ум, что то был старинный его друг Мэтью Ллойд, однако он дал сыну рекомендательное письмо, и тот отправился разыскивать нас в Бат, в Лондон и в другие города, чтобы открыть свое имя и объявить о своем намерении. Неудача сих поисков возымела такое на него действие, что немедленно после возвращения он опасно захворал горячкой, повергнувшей его родителей в ужас и печаль. Но теперь он оправился от болезни, хотя все еще слаб и неутешен.

Тут подошел к нам мой племянник, я поведал ему обо всех обстоятельствах, пробудив в нем живейшую радость. Он объявил, что будет изо всех сил споспешествовать браку и что ему не терпится увидеть молодого мистера Деннисона, чтобы обнять его, как друга и брата.

Тем временем отец отправился предупредить свою жену, чтобы та уведомила Лидди не сразу, ибо деликатные ее нервы могут не выдержать потрясения, а я рассказал обо всем моей

сестрице Табби, выразившей крайнее удивление, смешанное, мне кажется, с завистью. Хотя у нее не могло быть никаких возражений против столь удачного и выгодного брака, но она колебалась дать согласие под предлогом, будто жених и невеста слишком молоды и неопытны. Впрочем, посовещавшись с лейтенантом Лисмахаго, она изъявила согласие.

Мистер Деннисон позаботился о том, чтобы встретить сына у ворот, и, предупреждая его вопросы о приезжих, сразу повел его наверх, чтобы представить мистеру Ллойду с семейством. Первой, кого увидел молодой Деннисон, перешагнув порог комнаты, была Лидди, которая, несмотря на все приготовления, дрожала с головы до ног. При виде ее он оцепенел, будто прикованный к полу, и, взирая на нее с великим изумлением, вскричал:

— Боже милосердый!.. Что я вижу!.. Ах... зачем...

Тут голос его прервался, он вперил в нее взор, и молчание его было красноречивей слов.

— Джордж, это мой друг мистер Ллойд!— сказал его отец.

Слова эти точно разбудили его, он повернулся ко мне, я приветствовал его поклоном и сказал:

— Молодой джентльмен! Ежели бы в нашу последнюю встречу вы раскрыли мне свою тайну, мы не расстались бы врагами.

Прежде чем он успел ответить, предстал перед ним с распростертыми объятиями Джерри. Сначала он вздрогнул и изменился в лице, но засим бросился в объятия Джерри, и оба они обнялись столь крепко, будто были друзьями с младенческих лет. Потом он засвидетельствовал свое почтение мисс Табите и, подойдя к Лидди, воскликнул:

— Ужели чувства мои меня не обманывают! Ужели я вижу мисс Мелфорд в доме моего родителя? Ужели мне позволено с ней говорить, никого не оскорбляя? А родные ее удостаивают меня своего благоволения?

Лидди залилась румянцем и, трепеща и запинаясь, пролепетала:

— Ах, сэр, какой чудесный случай... непостижимо... промысел божий... не знаю, что говорю... но, прошу вас, надеюсь, вы поймете, что я хочу сказать!

Миссис Деннисон вскричала, перебив ее:

— Успокойтесь, любезные дети! Мы позаботимся о том, чтобы устроить ваше счастье!

Сын подошел к матери и принялся целовать ей руку, в то

время как другую ее руку целовала, обливая слезами, Лидди, а добрая старая леди прижимала их по очереди к груди.

Наши влюбленные испытали столь сильное потрясение, что и целого дня им было бы мало, чтобы освободиться от смущения. Но всех оживило прибытие Джека Уилсона, который, как всегда, принес убитую им дичину. Его открытое лицо вызывало всеобщее к нему доверие. Я встретил его, как встречают дорогого друга после долгой разлуки, и был удивлен, увидев, что он здоровается с Джерри, точно старый знакомый. Они и в самом деле познакомились несколько дней назад, а причиной сего знакомства было забавное приключение, о котором поведаю вам при встрече.

В тот же вечер посоветовались мы об устроении судьбы влюбленных, дали согласие на их свадьбу и обо всех условиях брака договорились без малейшего спора. Мы с племянником назначили Лидди в приданое пять тысяч фунтов. Мистер Деннисон объявил, что он безотлагательно передаст сыну половину имения, а за невесткой, на случай ее вдовства, закрепит четыреста фунтов. Табби полагала, что в рассуждении их молодости, следовало бы для испытания обоих повременить, по крайней мере, один год, прежде чем связывать их неразрывным союзом. Но молодой джентльмен с великой горячностью настаивал на свадьбе, да к тому же молодая чета собиралась жить под крылышком его родителей, и посему мы решили устроить их счастье без дальнейшей отсрочки.

Тем, кто сочетается браком, надлежит по закону прожить в одном приходе несколько недель; стало быть, мы останемся здесь вплоть до совершения церемонии. Мистер Лисмахаго просит, чтобы и ему позволили воспользоваться сим случаем. Итак, в ближайшее воскресенье оглашение будет сделано обо всех четверых. Опасаюсь, что мне не придется провести с вами святки в Брамблтон-Холле. К тому же мне столь здесь приятно, что уезжать отсюда не хочется, и я предвижу, что день нашего отъезда будет для всех нас днем печали. До той же поры вкусим блага, ниспосланные нам небом. Знаю, что дела ваши не позволяют отлучиться и не надеюсь видеть вас так далеко от дома, хотя летом не больше одного дня потребно было бы для приезда, о чем просит вас Чарльз Деннисон, который, напоминая о себе, счастлив был бы увидеть старого своего собутыльника.

Теперь я обосновался на месте и ожидаю исправных ответов на письма неизменно вашего

*11 октября* *М. Брамбла.*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Уот!

Каждый день теперь чреват событиями и открытиями.

Молодой мистер Деннисон оказался тем самым человеком, которого я так долго проклинал, именуя Уилсоном. Избегая ненавистного брака, он скрылся из колледжа в Кембридже и подвизался в разных частях страны как бродячий комедиант, покуда девушка, которую ему сватали, не нашла себе другого мужа; тогда возвратился он к отцу, открыл ему свою любовь к Лидди и получил согласие родителей, хотя в ту пору отец и не подозревал, что мистер Брамбл — старый его приятель Мэтью Ллойд. Молодой джентльмен, получив возможность обратиться надлежащим образом со своим предложением к дядюшке и ко мне, безуспешно разыскивал нас по всей Англии; его-то я и видел, когда он проезжал верхом мимо гостиницы, у окна которой я стоял вместе с Лидди, но он и знать не знал, что мы находимся в этом доме. Что до настоящего мистера Уилсона, которого я по ошибке вызвал на поединок, то он сосед и закадычный друг старого мистера Деннисона, и это знакомство подало сыну мысль назваться его именем, покуда приходилось ему скрываться.

Вы легко можете представить, как обрадовался я, узнав, что нежно любимая сестра моя поведением своим не навлекла на наше семейство никакого бесчестья; что не только не унизила она себя любовью к жалкому бродячему комедианту, но покорила сердце джентльмена, равного ей по происхождению и более богатого, чем она, и что родители одобряют его привязанность, а потому я в скором времени обрету зятя, столь достойного моей дружбы и уважения.

Джордж Деннисон, без сомнения, один из совершеннейших юношей в Англии. Наружность его изящна и в то же время мужественна, а ум высоко образован. Непреклонный дух сочетается в нем с нежным сердцем, а обхождение его столь приятно, что даже люди злорадные и равнодушные относятся к нему с любовью и почтеньем. Когда кладу я на одну чашу весов его нрав, а на другую — свой, я стыжусь своей легковесности, но сравнение не возбуждает во мне зависти... Я намерен подражать ему во всем... Я постарался завоевать его дружеское расположение и, надеюсь, уже занял местечко в его сердце.

Однако же меня тяготит мысль о том, какие несправедливые поступки совершаем мы повседневно и сколь нелепы бывают

наши суждения о вещах, которые мы рассматриваем сквозь предрассудки и страсти, искажающие их. Если бы вы раньше попросили меня описать наружность и нрав Уилсона-актера, я написал бы портрет, вовсе не похожий на Джорджа Деннисона. Без сомнения, велика польза, приносимая путешествиями и изучением людей в подлинном их виде, ибо тогда рассеивается этот постыдный туман, омрачающий разум и мешающий ему судить честно и беспристрастно.

Настоящий Уилсон — большой чудак и самый добродушный и общительный человек из всех, кого мне доводилось видеть. Я задаю себе вопрос: случалось ли ему когда-нибудь гневаться или унывать? Он отнюдь не притязает на ученость, но привержен всему, что может быть полезным или занимательным. Помимо других своих достоинств, он прекрасный охотник и почитается самым метким стрелком в графстве. Вчера мы все — он, Деннисон, Лисмахаго и я — ходили в сопровождении Клинкера на охоту и произвели великий переполох среди куропаток. Завтра мы объявим войну вальдшнепам и бекасам.

Мистер Деннисон — изрядный стихотворец, он сочинил несколько стихов о любви своей к Лидди, которые должны весьма льстить тщеславию молодой девушки. Возможно также, что он один из одареннейших актеров, каких только видел свет. Иногда он развлекает нас чтением любимых отрывков из лучших наших пьес. Мы решили превратить большую залу в театр и без промедления поставить «Хитрый план щеголей». Мне кажется, я буду очень неплох в роли Скраба, а Лисмахаго отличится в роли капитана Гиббета. Уилсон задумал развлечь сельских жителей комедией «Арлекин-скелет», для чего уже размалевал собственноручно камзол.

Общество наше поистине восхитительно. Даже суровый Лисмахаго оттаял, а кислая мисс Табби стала заметно слаще с той поры, как было решено, что она опередит свою племянницу и первая сочетается узами брака.

Ибо да будет вам известно, что день свадьбы Лидди назначен, и в приходской церкви было уже сделано один раз оглашение для обеих пар. Лейтенант с жаром просил, чтобы со всей суетой было покончено сразу, и Табита с притворной неохотой дала согласие. Жених ее, приехавший сюда с весьма скудным запасом платья, послал в Лондон за своими пожитками, которые, по всей вероятности, не прибудут вовремя, но это большого значения не имеет, так как свадьбу решено справлять весьма скромно. Между тем дано распоряжение составить брачные контракты, весьма выгодные для обеих невест. За Лидди

закреплена изрядная вдовья часть, а тетушка остается хозяйкой своего состояния, исключая половину годового дохода, которою получает право распоряжаться ее супруг до конца дней своих. Я полагаю, что, по совести, нельзя дать меньше человеку, который на всю жизнь сопрягается с такой подругой.

Обрученные кажутся столь счастливыми, что, если бы у мистера Деннисона была хорошенькая дочка, пожалуй, я согласился бы составить третью пару в этом контрдансе. Сей дух, по-видимому, заразителен, ибо Клинкер, он же Ллойд, забрал себе в голову тоже свалять дурака и жениться на мисс Уинифред Дженкинс. Он даже выведывал мои мысли об этом предмете, но я отнюдь не одобрил его намерения. Я сказал ему, что раз он не помолвлен и никаких обещаний не давал, то может сыскать себе кого-нибудь получше; что мне неизвестно, каким образом намерен дядюшка устроить его судьбу, но лучше бы он не навлекал сейчас на себя его неудовольствия, обращаясь несвоевременно к нему с такой просьбой.

Славный Хамфри отвечал, что скорее пойдет на смерть, чем скажет или сделает что-нибудь неугодное сквайру; однако же, по собственному его признанию, он питал нежные чувства к молодой девушке и имел основания думать, что и она взирает на него благосклонно. Признался он также, что эти знаки взаимного расположения почитает как бы безмолвным обязательством, которое должно связывать совесть честного человека, и выразил надежду, что мы со сквайром будем согласны с его мнением, если поразмыслим об этом на досуге. Мне кажется, он прав, и мы должны найти время, чтобы это дело обдумать.

Как видите, мы проживем здесь, по крайней мере, две-три недели, а поскольку была уже у вас долгая передышка, надеюсь, вы не мешкая начнете уплачивать недоимки

преданному вам *Дж. Мелфорду.*

*14 октября*

### *Мисс Летиции Уиллис, Глостер*

Милая, дорогая моя Летти!

Никогда еще не бралась я за перо с таким волнением, какое чувствую сейчас. В течение нескольких дней было у нас множество событий столь чудесных и удивительных, что в голове у меня все перепуталось и пришло в смятение. Не ожидайте, что мое повествование будет гладким, любезная моя Уиллис. С тех

пор как я послала вам последнее письмо, все изменилось, и как изменилось! Но я должна описать все подробно.

С неделю назад, когда переправлялись мы через речку, наша карета опрокинулась и кое-кто из нас едва не лишился жизни. Дядюшка чуть не погиб. О боже, об этом я и подумать не могу без ужаса! Я могла потерять лучшего моего друга, моего отца и покровителя, если бы не расторопность и отвага его слуги Хамфри Клинкера, которого провидение как будто нарочно приставило к нему на сей случай. Не сочтите меня суеверной, но, право же, у Клинкера было побуждение более сильное, чем простая преданность. Был ли то голос природы, громко взывавший к нему, чтобы он спас жизнь родного отца? Так как, дорогая Летти, теперь открылось, что Хамфри Клинкер — побочный сын моего дядюшки.

И чуть ли не в ту же самую минуту приехал, чтобы оказать нам помощь и пригласить в свой дом, джентльмен, в котором дядюшка узнал старинного своего друга. Это мистер Деннисон, один из достойнейших людей на свете, а жена его — истинная праведница на земле. Есть у них единственный сын, и кто бы вы думали этот сын?

О Летти! Боже милостивый! Как трепещет мое сердце, когда я пишу вам, что единственный сын мистера Деннисона — тот самый юноша, который под именем Уилсона привел в такое смятение мое сердце! Да, милая моя подруга! Теперь Уилсон и я живем под одним кровом и свободно беседуем друг с другом. Отец одобряет чувство сына своего ко мне; его мать любит меня нежно, как родную дочь; дядюшка, тетушка и брат не противятся более моей привязанности, мало того — они порешили сделать нас счастливыми безотлагательно, и недели через три или через месяц, если не помешает какое-нибудь непредвиденное событие, ваш друг Лидия Мелфорд переменит имя свое и положение.

Я говорю — «если не помешает какое-нибудь непредвиденное событие», ибо такое счастливое стечение обстоятельств повергает меня в трепет! Я боюсь, не таится ли какое-то предательство в сей неожиданной благосклонности фортуны, потому что я недостойна такого блаженства, нет у меня права на него! Вместо того чтобы радоваться открывшемуся предо мною будущему, душа моя непрестанно мятется, обуреваемая желаниями и надеждами, сомнениями и страхом. Я не могу ни есть, ни спать, и дух мой не знает покоя. Больше чем когда-либо ощущаю я пустоту в сердце, которую может заполнить только одно ваше присутствие. Душа, томимая беспокойством, жаждет от-

дохнуть на груди друга, и это такая пытка, что я поистине не знаю, как перенесу ее без вас, лишенная ваших советов. Вот почему, дорогая Летти, должна я подвергнуть испытанию вашу дружбу! Вот почему должна я просить, чтобы вы приехали и оказали последние девические услуги вашей подруге Лидии Мелфорд.

Это письмо вложено в другое к нашей достойной воспитательнице от миссис Деннисон, которая просит ее, чтобы она помогла вам получить у вашей мамы разрешение посетить нас по сему случаю, и я льщу себя надеждой, что не может быть никаких важных препон исполнению нашей просьбы.

Расстояние отсюда до Глостера не больше сотни миль, и дорога хорошая. Мистер Клинкер, он же Ллойд, будет послан за вами, чтобы вам сопутствовать. Если сядете вы в семь часов утра в почтовую карету вместе с вашей горничной Бетти Баркер, то к четырем часам дня прибудете на постоялый двор, находящийся на полпути, и найдете там все удобства. Там встретим вас мы с братом и на другой день вместе приедем сюда, а здесь, я уверена, вы будете чувствовать себя прекрасно в приятном обществе.

Дорогая Летти, я не принимаю никаких отговорок: если вы дружески расположены ко мне и человеколюбивы, то приедете. Мне хотелось бы, чтобы вы немедля испросили разрешение у вашей мамы, а как только оно будет получено, уведомите об этом всегда вам преданную

*Лидию Мелфорд.*

*14 октября*

*Миссис Джермин, Глостер, собственный дом*

Дорогая мадам!

Хотя я и не имела счастья получить ответ на письмо, которым обеспокоила вас прошлою весною, однако же я льщу себя надеждой, что вы еще не совсем равнодушны ко мне и к тревогам моим. Знаю, что внимание и нежность, которыми была я окружена, находясь под вашим кровом и на вашем попечении, требуют живейшей благодарности и любви с моей стороны, и, надеюсь, эти чувства я буду лелеять в сердце своем до конца жизни.

В настоящее время я почитаю своим долгом уведомить вас о благополучных последствиях того нескромного поступка,

который навлек на меня ваше неудовольствие. Ах, мадам! Всеми пренебрегаемый Уилсон преобразился в Джорджа Деннисона, единственного сына и наследника некоего джентльмена, который по достоинствам своим не уступает в Англии никому, в чем вы сами можете удостовериться, если пожелаете о нем разузнать. Мои опекуны, мой брат и я живем теперь у него в доме, и в ближайшее время союз между молодым мистером Деннисоном и вашей бедной Лидией соединит оба семейства.

Вы без труда можете вообразить, в каком смущении пребываю я, молодая неопытная девушка, наделенная слабыми нервами и склонная к мрачным предчувствиям, и как ободрило бы и поддержало меня сейчас присутствие подруги и наперсницы. Вам известно, что из всех молодых леди мисс Уиллис пользовалась наибольшим моим доверием и любовью, а поэтому я страстно мечтаю о счастье видеть ее подле себя, когда произойдет столь важный перелом в моей жизни.

Миссис Деннисон, которая пользуется всеобщей любовью и уважением, писала вам об этом по моей просьбе, а теперь я с вашего разрешения присовокупляю к ее ходатайству и свои мольбы. Дорогая миссис Джермин! Почтеннейшая моя воспитательница! Заклинаю вас тою нежностью, какою вы некогда удостоили вашу любимицу Лидди, заклинаю добротою сердца вашего, которая побуждает вас заботиться о счастье ближних, выслушайте благосклонно мою просьбу и предстательствуйте перед мамой Летти, чтобы исполнилось самое горячее мое желание. Если будет оно удовлетворено, я обещаю доставить Летти назад целой и невредимой и даже сама провожу в Глостер, где, с вашего позволения, дорогая мадам, представлю вам, под другим именем, вашу раскаявшуюся, преданнейшую и покорную слугу

*Лидию Мелфорд.*

*Мисс Мэри Джонс, в Брамблтон-Холле*

Ох, Мэри Джонс! Мэри Джонс!

Столько приключилось со мной диковинок, супризов и ужастей, что я совсем без памяти и, видно, никогда уж не опомнюсь. На прошлой недели вытащили меня из речки, как утопшую крысу, и потеряла я новенький с иголочки ночной чипец и серебряный крючок от корсажа, а заплатила я за него добрых полкроны, а еще башмак из зеленой коломянки, и промокла до

ниточки, рубаху порвала и ужасть как расцарапала себе сзади ляжку, напоровшись на корягу.

Правда, что мистер Клинкер выволок меня из кареты, да потом опять бросил в воду и пошел тащить сквайра, и нашла б я себе водяную могилу, кабы мельник не вынес меня на сухое место.

А уж какие у нас, девушка, пошли дела да перемены! С тем камедянтом, что волочился за мисс Лидди, а меня бородищей своей испужал у Бристольского истошника, приключилась матемарфиза, и нынче он — прикрасный молодой джентльмен, сын и наследник сквайра Доллисона. Живем мы все вместе тут в ихнем в доме и на ихнюю свадьбу все согласились, а недельки через две их и поженят.

Да свадьба-то будет у нас не одна. Моя хозяйка порешила такую же штуку учинить, ей-богу! В прошлое воскресенье я своими ушами слышала в церкви, как клерк оглашал Обрадягу Лишмахагу и Тапиту Брамбл, девицу, а уж какая она там девица, когда совсем пирезрелая дева.

Молодого сквайра Доллисона и мисс Лидди поженят во второй черед, а могла бы быть и третья парочка, кабы не приключилась у мистера Клинкера в делах его перемена. Ох, Молли! Ну что б вы подумали? Дознано, что мистер Клинкер приходится побочным сыном нашего собственного сквайра, а звать его, как следовает быть, мистер Мэтью Ллойд, хотя бог весть как оно могло случиться, и ходит он теперь не в леврее, а носит круживные манджеты. Но я-то его знавала, когда он ходил с продранными локтями и не было у него лоскута, чтобы зад прикрыть, а значит, нечего ему нос задирать.

Правду сказать, держит он себя очень скромно, и такой услужливый, и говорит, что в чувствах своих не переменился, но что типерь он больше себе не хозяин и не может жениться без согласия сквайра. Говорит, что мы должны ждать с терпеньем и положиться на провидение, и еще мелет всякую такую чипуху. Но коли в чувствах он не переменился, так чего ж тут мямлить? Куй железо, пока горячо, поди да поговори сичас же со сквайром. Да и что может сквайр сказать против нашего соединения? Хоть отец мой не джентльмен, зато мать была женщина честная. Я девушка не какая-нибудь там сбоку припека. Моих родителев поженили по закону святой матери церкви, перед лицом человеков и ангелов. То-то и оно-то, Мэри Джонс!

Пускай лучше мистер Клинкер, то бишь Ллойд, позаботится, как бы чего не прозевать. Как говорится, свет не клином сошелся. Что-то он запоет, ежели я приму ласки да услуги

лакея, что при молодом сквайре? Мистер Макапин — джентльмен хоть куда и воевал в заграницe. Книжек начитался, говорит и по-французски, и по-голански, и по-шотландски, и на всяких чужеземных языках. Правда, он малость поизношен и выпить не дурак, но во хмелю не буянит, а умная женщина сумеет обвернуть его вокруг пальца. Но, верьте моему слову, я о нем и не думаю. Ничего такого я не делаю и не говорю и в мыслях не держу, что может обидеть мистера Ллойда, ежели нет на то причины.

Но какая находит на меня, Молли, маланхолия! Сижу одна-одинешенька и плачу, принимаю азуфетиду и нюхаю женные перья и нагар со свечей. И молюсь не покладая рук о благодати, чтобы увидеть мне искру нового света, и осветит она мне путь в сей удоли слез. Правда, что ни в чем нужды не терплю у этих добрых людей, и все со мной такие ласковые да вежливые, как будто они не люди, а святые на небесах. Милая Молли, препоручаю себя вашим молитвам и поклонитесь Сауле и с тем остаюсь

всегда вас любящая и безутешная подруга

*Уин Дженкинс.*

*14 октября*

### *Доктору Льюису*

Любезный Дик!

Вы и вообразить не можете, с каким удовольствием увидел я ваш почерк после столь долгого вашего молчания, хотя и частенько — небо тому свидетель! — взирал я на почерк ваш с отвращением: сие бывало, когда вы писали рецепты сокращенной аптекарской латынью.

Одобряю ваш совет домогаться места сборщика налогов для Лисмахаго, которому ваш план очень нравится, и он передает вам привет и благодарность за попечение о нем. Сей человек, чем больше я его распознаю, кажется мне все лучше. Жесткая скорлупа резкости и скрытности, облекающая его характер, начинает лопаться, чем ближе мы с ним знакомимся. Весьма надеюсь, что они с Табби подойдут друг другу как любая пара упряжных лошадей в королевстве, и я не сомневаюсь, что в его лице мы сделали ценное приобретение для зимних бесед у камелька.

Ваше недовольство по причине того, что я провожу сие время года вдали от дома, могло иметь значение, буде я не чув-

ствовал себя так хорошо там, где нахожусь; здоровье же мое настолько поправилось, что я намереваюсь плевать на подагру и ревматизм. Начинаю думать, что раненько я записался в пенсионеры по дряхлости, и глупо было искать здоровья в уединении и безделье.

Ныне я убежден, что людям хворым становится только хуже от сидячей жизни и излишней осторожности. По временам должны мы ускорять движение машины, «дабы путы снять с колес жизни», и даже погружаться в волны излишеств, чтобы тело свое закалять. Познал я также, что видеть новые лица столь же необходимо, как и дышать свежим воздухом, чтобы усилить циркуляцию жизненных сил, а сие есть залог и мерило хорошего здоровья.

Со времени последнего моего письма я исполнил некоторые обязанности, возлагаемые дружбой, которые потребовали от меня передвижений, а от них я жду пользы для здоровья. Узнав случайно, что миссис Байнард тяжко заболела воспалением легких, я попросил у Деннисона карету, взяв с собой только Ллойда (quondam[1] Клинкера), который сопровождал меня верхом. Проехал я миль тридцать, прибыл часа в четыре дня и, встретив лекаря у ворот, узнал, что больная только что скончалась.

Меня охватило сильное волнение, но это была не печаль. В доме поднялась суматоха; я отправился наверх в спальню, где все они собрались. Тетка ее стояла оцепенелая и ломала руки, а мой друг точно впал в безумие от горя. Он обнимал тело покойницы и испускал такие стенания, что можно было подумать, будто он лишился достойнейшей супруги и лучшей на свете помощницы.

Разумеется, любовь нисколько не зависит от уважения; к тому же одно и то же лицо может быть в одном отношении достойно любви и отвратительно в другом. Разум обладает удивительной способностью приспособляться и даже столь привязываться благодаря привычке к вещам, противным ему и для него пагубным, что бывает не в силах расстаться с ними без сожаления. Байнард пребывал в таком исступлении, что не заметил моего прихода, и я приказал одной из женщин увести тетку в ее комнату. Я попросил также учителя, чтобы тот удалил своего воспитанника, который, разинув рот, стоял в углу, нимало не сокрушаясь горестным зрелищем. Вслед за сим, обождав, покуда первый приступ отчаяния друга моего стал

[1] Некогда, когда-то *(лат.)*.

проходить, я мягко оторвал его от предмета его скорби и повлек в другую комнату, хотя он столь сильно сопротивлялся, что я вынужден был обратиться за помощью к его камердинеру.

Однако через несколько минут он опомнился и, заключив меня в объятия, вскричал:

— Поистине дружеская услуга! Не знаю, как вы сюда попали, но само небо послало вас, чтобы я не сошел с ума... О Мэтью! Я потерял мою дорогую Хэрриет!.. Бедное, кроткое, нежное созданне! Сколь горячо, какой чистой любовью любила она меня! Двадцать лет она была мне верной подругой!.. Она ушла... Ушла навеки! О небо! Где она? Но смерть не разлучит нас!

Возопив, он бросился назад в комнату, откуда я привел его, и с большим трудом удалось его удержать. Согласитесь, что я поступил бы глупо, ежели стал бы уговаривать человека, который плетет такой вздор. В подобных случаях надлежит ждать, покуда бурный поток чувств постепенно иссякнет. Я попытался отвлечь его внимание и незаметно перевести разговор на другие предметы. В душе моей я был весьма обрадован происшедшим событием и разглагольствовал с таким необычным увлечением, что добился успеха.

Спустя несколько часов он достаточно успокоился для того, чтобы внимать доводам рассудка, и признал даже, что само небо пришло ему на помощь для спасения его от бесчестья и разорения. Но, дабы он снова не впал в слабодушие, оставшись в одиночестве, я ночевал с ним в комнате на принесенной для сего раскладной кровати; поступил я правильно, приняв такие меры предосторожности, так как он вскакивал несколько раз с постели и снова стал бы безумствовать, ежели бы меня не было.

На следующий день он уже был в состоянии говорить о домашних своих делах и предоставил мне полную власть над домом, чем я и воспользовался тотчас же после того, как он одобрил составленный мною для его благополучия план.

Он намеревался покинуть дом немедленно, но я воспротивился сему. Я нимало не желал споспешествовать преходящему его отвращению к дому, которое легко могло перейти в постоянную неприязнь, ибо решил, ежели удастся, привязать его накрепко к его пенатам. Я отдал распоряжение, чтобы похороны были скромны, сколько это было возможно, не нарушая пристойности; в Лондон я написал, чтобы все вещи в его городском доме оценили и объявили хозяину дома от Байнардова имени,

что он на благовещение освободит помещение; я приказал сделать в усадьбе опись всего, что там было, включая лошадей, кареты и конскую сбрую; сына Байнарда я отослал к жившему поблизости священнику в пансион, куда поехал он охотно, как только узнал, что освободится от своего воспитателя, которого мы уволили.

Тетка все время была угрюма и не являлась к столу, хотя Байнард навещал ее ежедневно в ее комнате; там она только и делала, что болтала с горничными и другими слугами; но как только племянницу ее похоронили, села в карету и уехала восвояси. Однако же перед отъездом она уговорила мистера Байнарда подарить гардероб племянницы ее горничной, и, стало быть, сия шлюха получила все наряды, кружева, белье своей умершей хозяйки, каковые вещи, по самой дешевой оценке, стоили фунтов пятьсот.

Первым делом я распустил легион лишних слуг, которые столь долго высасывали жизненные соки из моего друга,— толпу бездельников, таких наглых, что они даже к своему хозяину относились с оскорбительным небрежением. Все они были наняты женой его, стараниями ее горничной, и только сих двух женщин они признавали хозяйками. Поэтому я весьма порадовался, очистив дом от этих трутней. Горничную умершей, а также другую служанку, камердинера, дворецкого, француза-повара, старшего садовника, двух лакеев и кучера я уволил и немедленно выгнал из дома, уплатив им за месяц вперед жалованье, ибо об увольнении не было им объявлено заранее. Оставил я кухарку, помогавшую французу-повару, одну служанку, старого лакея, форейтора и младшего садовника.

Так-то я сразу снял с плеч моего друга тяжелое бремя расходов, и он едва мог поверить собственным своим чувствам, когда внезапно получил такое облегчение. Но все же сердце его было еще подвержено приступам любви, которые возобновлялись по временам и исторгали у моего друга вздохи, слезы и горестное сетование; однако эти припадки становились все реже и слабее, и в конце концов рассудок его одержал полную победу над слабостью его характера.

По тщательном исследовании его дел выяснилось, что его долги достигают двадцати тысяч фунтов, из которых восемнадцать тысяч он получил по закладной на свое имение, а поскольку он платит по ней пять процентов годовых и несколько ферм у него не сданы в аренду, то от своих угодий он получает в год не больше двухсот фунтов чистого доходу, не считая про-

центов с приданого жены, сумма коих равна примерно восьмистам фунтам. Чтобы облегчить тяжелое его бремя, я измыслил такое средство: объявленная уже продажа с аукциона драгоценностей его жены, лишнего его серебра и мебели в обоих домах, его лошадей и карет может дать по оценке две с половиной тысячи фунтов наличными, и по уплате этой суммы долг будет равен восемнадцати тысячам. Я взялся достать ему десять тысяч по четыре процента, что позволит ему сберечь на процентах сотню фунтов в год, и, может быть, нам удастся добыть на таких же условиях остальные восемь тысяч. По его словам, ему надобно для жизни в деревне триста фунтов в год; у него есть сын, за воспитание которого надлежит платить; посему положим ему на жизнь пятьсот фунтов; стало быть, остается каждый год сумма в семьсот фунтов для погашения основного долга и уплаты процентов, а к сему мы можем смело прибавить фунтов триста, ежели он снова сдаст в аренду фермы, которые ныне у него в забросе. Итак, годика через два у него будет свыше тысячи фунтов в год для погашения долга в шестнадцать тысяч.

Без промедления мы начали отбирать вещи на продажу, пригласив одного лондонского оценщика, а ради того, чтобы в доме никто не сидел без дела, приступили ко всяческим переделкам внутри дома и снаружи. С полного согласия Байнарда я приказал садовнику отвести ручей в прежнее русло, чтобы оживить изнемогающих наяд, столь долго томившихся от жажды среди сгнивших корней увядших листьев и сухих голышей. Кустарник обречен на истребление, а поляна для увеселений будет снова обращена в пашню и пастбище. Даны были распоряжения снова огородить сад позади дома и посадить хвойные деревья вперемежку с буком и каштаном в восточном углу, ибо дом открыт резким порывам ветра с востока.

Когда ко всем упомянутым работам было уже приступлено, а дом и аукцион оставлены были на попечение почтенного законоведа, я увез Байнарда в своей карете и познакомил с Деннисоном, который своим добросердечием не преминет завоевать его уважение и любовь. И в самом деле, Байнард пленен нашим обществом и, по его словам, познал лишь теперь, что можно наслаждаться истинным благоденствием. Я тоже верю, что нелегко найти под одной кровлей людей, более счастливых, нежели мы теперь.

Должен, однако, сказать строго доверительно, что я подозреваю Табби в непостоянстве! Я столь давно знаком с причудами сего существа, что мне хорошо известны все капризы ее сердца,

и я часто разгадываю все ее умыслы, когда они еще только в зародыше. Она прицепилась к Лисмахаго по той только причине, что отчаялась одержать более приятную для себя победу. Однако теперь, ежели меня не обманывают наблюдения, она весьма охотно обратила бы вдовство Байнарда себе на пользу. С той поры, как он появился, она начала обходиться с лейтенантом весьма холодно и чрезмерными любезностями старалась закинуть приманку в сердце другого. Сии уловки вызваны скорее свойственными ее натуре побуждениями, нежели обдуманным намерением, ибо с лейтенантом дело зашло уже столь далеко, что она не может по совести отступить без ущерба для своего доброго имени. К тому же она, разумеется, встретит равнодушие, а не то и отвращение со стороны Байнарда, который достаточно умен, чтобы не соблазниться такой супругой и слишком чувствителен, чтобы не отринуть в теперешнем его положении самую мысль о браке.

Покуда что я уговорил ее дать взаймы Байнарду четыре тысячи фунтов из четырех процентов для уплаты им долга по закладной. Молодой Деннисон также согласился, чтобы приданое Лидди обращено было для той же цели на таких же условиях, а отец его готов продать для Байнарда на три тысячи фунтов своих акций. По просьбе Уилсона и фермер Бленд готов предложить две тысячи, ну, а я должен буду дать столько, сколько потребуется, дабы вырвать моего друга из рук филистимлян. Байнард, восхитившись здешним имением, возделанным точно сад, просил мистера Деннисона взять его к себе в ученики и порешил отдаться душой и телом устройству своего хозяйства.

Уже все готово к предстоящим двум свадьбам. Брачные договоры для обеих пар составлены и подписаны, и церемония отложена только до той поры, покуда помолвленные не проживут в приходе предписанное законом время. Юный Деннисон выражает нетерпение, но Лисмахаго примирился с необходимой отсрочкой, как истый философ. Не лишне вам будет знать, что лейтенант богат не только личными своими достоинствами. Сей неутомимый экономист, кроме половинного своего жалованья, равного двумстам сорока фунтам в год, накопил восемьсот фунтов, которые держал в государственных фондах. Сумма сия сложилась частью из жалованья, которое полагалось ему, когда он жил среди индейцев, частью из денег, полученных им в вознаграждение при переходе от полного жалованья к половинному, а частью из прибытка от торговли мехами в бытность его вождем племени миами.

Волнения и беспокойство Лидди значительно улеглись благодаря обществу некой мисс Уиллис, закадычной ее подруги по пансиону. Родители ее просили разрешить ей дружеское посещение по столь чрезвычайному поводу, и два дня назад она приехала с матерью, которая не решилась ее отпустить без должного присмотра. Юная леди весьма миловидна, бойка, приятна в обхождении, а мать ее весьма добросердечна, так что их прибытие усугубило нашу радость.

Но, видно, придется нам заковать и третью пару в брачные цепи!

Мистер Клинкер Ллойд смиренно объявил через моего племянника о том, что его и мисс Уинифред Дженкинс связывает взаимная искренняя любовь, и потому он испрашивает моего разрешения соединиться с ней на всю жизнь. Хотел бы я, чтобы сия беда миновала мистера Клинкера, но поскольку счастье упомянутой девицы поставлено на карту и с ней уже приключались припадки, ибо она в отчаянии, мне пришлось во избежание трагической катастрофы позволить ему в подражание другим свалять дурака. Со временем, стало быть, у нас в Брамблтон-Холле появится целый выводок его потомков. Парень сей здоров, крепок, крайне благонравен и совестлив, а девица, кажется, столь же неугомонна в любви, как и в религии.

Придумайте средство пристроить его на место, чтобы на приход не легло непосильное бремя. Как вам известно, он воспитывался у коновала и, можно сказать, не чужд медицинской науке, и поскольку он понятлив, я не сомневаюсь, что, находясь на вашем добром попечении, он через короткое время станет валлийским аптекарем.

Табби, никому не угождавшая с охотой, согласилась на сей брак с великим недовольством. Может быть, ее гордость уязвлена, ибо ныне она почитает Клинкера как бы родственником, но, верней всего, ее несогласие происходило только от корыстолюбия. Она объявила, что теперь ей и в голову не придет держать у себя служанкой жену Мэтью Ллойда, а значит, она предвидит, что по сему случаю девица имеет право ожидать вознаграждения за прошлую свою службу. Что же касается до Клинкера, то, не говоря уже о других соображениях, сей парень так верен, смел, привязчив, сметлив, и я столь многим обязан ему, что он вполне заслуживает любых милостей, которые только может ему оказать ваш

*М. Брамбл.*

*26 октября*

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету,*
*Оксфорд, колледж Иисуса*

Любезный баронет!

Роковые узлы ныне завязаны. Комедия приближается к концу, и скоро опустят занавес, но последние сцены сего акта я опишу по порядку.

Недели две назад дядюшка совершил небольшое путешествие и привез сюда близкого своего друга, некоего мистера Байнарда, который недавно лишился жены и сначала был безутешен, хотя, судя по всему, у него было больше причин радоваться, чем сетовать о ее смерти. Однако теперь лицо его понемногу проясняется, и видно, что он человек весьма достойный. Но к обществу нашему присоединилась другая особа, еще более приятная: приехала из Глостера мисс Уиллис. Это закадычная подруга Лидди по пансиону, которую усиленно просили прибыть на свадьбу, и мать ее была столь любезна, что не только исполнила желание моей сестры, но и сама приехала вместе с дочерью. Лидди в сопровождении Джорджа Деннисона и меня встретила их на полпути, а на следующий день мы все вполне благополучно возвратились с ними сюда.

Мисс Уиллис очаровательная девушка и по характеру своему представляет приятную противоположность моей сестре, которая на мой вкус слишком серьезна и чувствительна; подруга же ее резва, откровенна, немного ветрена и всегда весела. Сверх того, она богата, из хорошей семьи и чудо как красива. Ах, Филипс! Если бы достоинства эти не были преходящи, если бы не мог измениться ее нрав и неувядаемы были ее прелести, чего бы только я не предпринял! Но все это праздные размышления — настанет день, когда и меня настигнет моя судьба!

Теперь мы приятнейшим образом проводим время. Разыграли мы несколько комедийных пьес и весьма веселились, глядя, какое действие производят они на поселян, которых мы допускаем на все наши театральные представления. Третьего дня вечером Джек Уилсон заслужил громкие похвалы в «Арлекине-скелете», а Лисмахаго удивил нас всех в роли Пьеро. Его длинные тощие ляжки и резкие черты лица чудесно подходили к этой роли. Появился он с нелепо вытаращенными глазами, лишенными всякого выражения. Страх и изумление он изображал столь натурально, что заразил ими многих зрителей; когда же скелет погнался за ним, он изобразил ужас столь забавно

и живо и показал такое сверхъестественное проворство, что все были поражены. Сама Смерть преследовала Чахотку, и это зрелище возымело такое действие на простолюдинов, что некоторые громко завопили, а другие, обезумев от страха, бросились вон из залы.

Но это не единственный пример того, как изумлял нас за последнее время лейтенант. От напастей и разочарований он стал едким и как бы ссохся, но теперь смягчился подобно тому, как изюминка в пудинге делается мягкой и разбухает. Необщительный и педантический, он стал покладистым и услужливым. Он сыплет остроты, смеется и подшучивает с пресмешной развязностью, словом, принимает участие во всех наших забавах.

На днях привезли из Лондона в фургоне его скарб в двух сундуках и длинном сосновом ящике, похожем на гроб. В сундуках лежало его платье, которое он извлек для увеселения общества, и откровенно признался, что все это большей частью opima spolia[1], захваченные в боях. Для свадебного своего наряда он выбрал поблекший мундир из белого сукна, отделанный синим бархатом и расшитый серебром; но больше всего ценил он свой парик с косичкой, в котором лет тридцать назад впервые выступил как адвокат. С той поры парик так и лежал, завитый буклями, и теперь все слуги в доме принялись развивать его к свадебной церемонии, которая и была совершена вчера в приходской церкви.

Наряд Джорджа Деннисона и его невесты ничем особенным не отличался. Глаза жениха блистали радостью и страстью, а она дрожала от робости и смущения. Дядюшка был ее посаженым отцом, а ее товарка Уиллис — подружкой при совершении обряда.

Но тетушка моя и ее возлюбленный красовались на первом месте, и, мне кажется, второй такой пары чудаков во всей Англии не сыщешь. Она была одета по моде 1739 года, а так как день выдался холодный, то и набросила на себя зеленую бархатную мантилью с золотым позументом, но ее отобрал у нее жених, который накинул ей на плечи меховой плащ из американских соболей, стоивший добрых восемьдесят гиней — подарок равно приятный и неожиданный.

В таком наряде повел ее к алтарю мистер Деннисон, исполнявший обязанности посаженого отца. Лисмахаго выступал воинским шагом в своем французском мундире, едва доходив-

[1] Доспехи, взятые у врага *(лат.)*.

шем ему до половины ляжек, в походном парике, не поддающемся описанию, и чуть-чуть подмигивал с видом лукавым и ироническим. Кольцо, которое он надел ей на палец, он доселе прятал. Теперь он вынул его не без самодовольства. Это был затейливый старинный перстень, усыпанный брильянтовыми розочками; позднее Лисмахаго поведал нам, что перстень этот принадлежит его роду вот уже двести лет и что получил он его в подарок от своей бабушки. Обстоятельство сие было весьма лестно для тщеславия тетушки Табиты, которая еще ранее была чрезвычайно обрадована щедростью лейтенанта, ибо утром он преподнес дядюшке превосходную медвежью шкуру и испанское охотничье ружье, а мне — ящик с пистолетами, искусно оправленными в серебро. Тогда же подарил он мисс Дженкинс индейский кошелек, сплетенный из шелковистой травы, с двадцатью кронами в нем.

Должен вам сказать, что эта молодая леди с помощью мистера Ллойда составила третью пару, которая и принесла вчера жертву Гименею. В последнем моем письме я писал вам, что Клинкер прибег к моему посредничеству, и я не без успеха ходатайствовал за него перед дядюшкой. Но мисс Табита крепилась до тех пор, пока с томившейся от любви Дженкинс не приключилось двух истерических припадков; тогда тетушка смягчилась, и эти два воркующих голубка посажены на всю жизнь в клетку.

Тетушка наша постаралась расщедриться и отдала невесте лишние свои платья и белье, а ее примеру последовала моя сестра; по сему случаю не оставили ее без внимания мистер Брамбл и я. Поистине это был день подношений. Мистер Деннисон настоял на том, чтобы Лидди приняла от него на мелкие расходы два банкнота по сто фунтов каждый, а его супруга подарила ей брильянтовое ожерелье, стоившее вдвое больше. К слову сказать, все члены обеих фамилий, столь счастливо соединившихся, обменялись подарками.

Поскольку сочтено было неуместным подшутить над Джорджем Деннисоном и его молодой женой, то Джек Уилсон решил потешиться над Лисмахаго и после ужина, когда леди удалились, стал усердно угощать его вином; но лейтенант, смекнув, к чему клонится сия затея, попросил пощады, говоря, что подвиг, на который он пошел, дело весьма нешуточное и что доброму христианину следовало бы молиться о ниспослании ему сил, а не ставить препоны его попыткам достигнуть благополучного завершения. Тогда его оставили в покое и позволили взойти на брачное ложе в здравом уме и полной памяти. Тут и

восседал он торжественно со своею супругой, подобно Сатурну с Кибелою, покуда осушали благословенную чашу поссета, а над головою миссис Табиты Лисмахаго разломили пирог, куски которого были розданы присутствующим, по обычаю древних бриттов, полагавших, что каждый отведавший сего священного пирога увидит ночью во сне суженого или суженую.

Каверзы Уилсона обрушились всей своей тяжестью на славного Хамфри и его супругу, которых по совершении обычного обряда с бросаньем чулка отвели наверх и уложили в постель. Когда все удалились, раздалось мяуканье — это Джек ухитрился впустить в комнату кошку, надев ей на лапки ореховую скорлупу; бегая по полу, она производила такой оглушительный шум, что перепугала молодых.

Уинифред громко завизжала и съежилась под одеялом, а мистер Ллойд, уверенный, что сатана in propria persona пришел отколотить его, отложил все плотские помышления и с жаром начал молиться вслух. Наконец бедное животное, испуганное больше, чем они оба, прыгнуло на постель и жалобно замяукало. Ллойд, узнав таким образом виновника сего неприятного происшествия, встал и распахнул дверь настежь, а непрошеный гость проворно удрал. Тогда, оградив себя двойным запором от нового вторжения, он уже без всяких помех мог вкушать блаженство.

Если можно судить по лицам, то все молодые наши весьма довольны своею участью. Джордж Деннисон и его жена слишком чувствительны, чтобы явно выражать радость, но взоры их достаточно красноречивы. Миссис Табита Лисмахаго чересчур уж непристойно выражает удовлетворение любовью лейтенанта, а его обхождение — образец галантности; он целует ей руку, бормочет страстные слова, напевает нежные песенки и в то же время, без сомнения, смеется про себя над тем, что она по глупости своей верит в его искренность. Дабы доказать, сколь мало истощил его силы прошедший день, он плясал шотландскую сарабанду с обнаженной шпагой и прыгал столь высоко, что был бы, кажется, недурным канатным плясуном в «Сэдлерс Уэльс».

Когда же спрашивают мистера Мэтью Ллойда, доволен ли он своей покупкой, он, возведя очи горе, восклицает:

— За ниспосланное нам возблагодарим господа, аминь!

Его спутница жизни хихикает и прикрывает глаза рукой, притворяясь, будто ей стыдно, что она лежала в постели с мужчиной.

Итак, все наши птички довольны новым своим положением, но, может быть, они запоют другую песню, когда получше разглядят, на какую приманку они попались.

Так как не удалось уговорить миссис Уиллис, чтобы она осталась, а Лидди обещала проводить ее дочь в Глостер, то, вероятно, предстоит всеобщее переселение, и большинство из нас проведет святки в Бате; буде это случится, я, конечно, не упущу возможности побывать в ваших краях. Полагаю, к тому времени вы будете по горло сыты alma mater и готовы привести во исполнение план путешествия, о котором условились в прошлом году

с преданным вам *Дж. Мелфордом.*

*8 ноября*

## *Доктору Льюису*

Любезный доктор!

Племянница моя Лидди уже осчастливлена на всю жизнь, и лейтенант Лисмахаго избавил меня от Табби, так что мне ничего не остается, как утешать друга моего Байнарда и пристроить сына моего Ллойда, который также женился на мисс Уинифред Дженкинс. Только гений умеет так надоумить, как вы! В этом отношении доктор Арбетнот есть первообраз доктора Льюиса.

Ваша мысль о должности приходского клерка заслуживает внимания. Не сомневаюсь, что Мэтью Ллойд весьма подходит для занятия сей должности, но теперь вы должны подумать, куда его в доме приткнуть. Его неподкупная честность и неустанное рвение послужат мне на пользу при надзоре над моим имением, хотя я не думаю, что он станет поперек дороги Барнсу, на которого у меня нет оснований жаловаться.

Я только что воротился с Байнардом из второй поездки в его имение, где все устроено к полному его удовольствию. Однако он не может войти в дом без слез и сетований, так что его еще нельзя оставлять одного. Стало быть, я не расстанусь с ним до весны, когда он намеревается погрузиться в занятия сельским хозяйством, которое доставит ему немало хлопот, но вместе с тем рассеет мрачные его мысли. Чарльз Деннисон обещал приехать к нему недели на две, чтобы помочь в повседневных его трудах, да и Джек Уилсон время от времени будет его посещать, а по соседству есть у него несколько приятелей,

коих его новый образ жизни не заставит отказаться от встреч с ним. Не сомневаюсь, что менее чем через год он почувствует душевное и телесное успокоение, ибо душа его и тело взаимно друг друга изнуряли; а я возрадуюсь от всего сердца, видя, как мой друг спасен от нищеты и срама.

Миссис Уиллис порешила вернуться через несколько дней с дочерью в Глостер, и наш план претерпел некоторые изменения. Джерри уговорил своего зятя повезти жену в Бат; кажется, родители его поедут с ним. Что касается до меня, то я не намерен избрать сию дорогу. Только какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства заставили бы меня снова посетить Бат или Лондон. Сестра моя с мужем, Байнард и я распростятся с ними в Глостере, на полпути от Брамблтон-Холла, где прошу вас приготовить для нашего рождественского обеда доброе седло барашка и индейку.

Вы должны также употребить все ваши медицинские знания для защиты меня от приступов подагры, чтобы я мог в добром здравии встретить гостей, обещавших на обратном пути из Бата нас навестить. А так как я запасся здоровьем, то, уповаю, вашей медицине не много будет со мной хлопот, но вам придется потрудиться, участвуя в моих прогулках.

Мистер Лисмахаго, будучи сам неутомимым охотником, презентовал мне отменное охотничье ружье, и мы с вами будем бродить в любую погоду. Дабы сей план нашей будущей жизни был исполнен точнее, я намереваюсь отказаться от развлечений, требующих сидячей жизни, и паче всего не писать длинных писем — решение, которое, ежели бы я раньше его принял, избавило бы вас в последнее время от трудов читать скучные послания

*М. Брамбла.*

*14 ноября*

*Миссис Гуиллим, Брамблтон-Холл*

Добрейшая миссис Гуиллим!

Провидению для премудрых целей его угодно было, чтобы я переменила свое имя и положение в жизни, а потому больше нечего почитать меня хозяйкой в семействе моего брата. Но как не могу я бросить управлять, покуда не рассчитаюсь с вами и Уильямсом, то и приготовьте все счеты для проверки, потому что мы без промедления возвращаемся домой.

Лейтенант, мой супруг, повержен реуматизмам, а потому хорошенько протопите для его приема синюю комнату в третьем этаже. Пускай починят оконные рамы, законопатят все щели, пол застелят коврами, а перины взобьют.

Миссис Ллойд, в девичестве Дженкинс, сочеталась браком с родственником нашей фамилии и потому уже не может оставаться в служанках; я хочу, чтобы вы подыскали для меня на ее место какую-нибудь надежную горничную. Если она умеет прясть и хоть малость шить, тем лучше, но пускай не надеется на какое-нибудь особенное жалованье; у меня есть теперь собственная семья, и я должна икономничать больше, чем раньше. Писать более нечево, и с тем остаюсь

к вам расположенной приятельницей

*Таб. Лисмахаго.*

*20 ноября*

*Мисс Мэри Джонс, Брамблтон-Холл*

Мисс Джонс!

Провидение надумало сотворить в делах наших превеликую перемену. Вчера по милости божьей мы, три парочки, соединились святыми узами брака, и нонче я подписуюсь вашей покорной слугой Ллойд. Весь приход порешил на том, что молодой сквайр Доллисон и его невеста — распрекрасная парачка. А что до мадам Лишмахаги, так вы ее фокусы знаете—верно, что голову она себе убрала префантазически, а супруг закутал ее в длинный мериканский меховой плащ из дикарской страны, хоть и говорят, что он ужасти как дорого стоит. У самого летенанта был преогромный пук волос с тремя косицами, а одет он был в дурацкий кафтан с серебром. Сказывают, он был скоморох. А я ничево про него не скажу, потому как летенант сделал мне хороший подарочик.

Мистер Ллойд нарядился в короткий кафтан и камзул с золотым галуном и хоть не лезет он в знать, а все ж таки в жилах у него течет кровь не хуже, чем у всякого сквайра в графстве. А на вашей покорной слуге было простое муаровое платье горохового цвета и мой рэнлагский чепец, и взбитый тупей с пуклями по бокам. Сказывают, была я вылитая леди Рикманстон, но только не такая бледная — оно и верно, потому как миледи будет постарше меня лет на семь, если не более.

А теперь, мисс Мэри, кумпания наша разежается в разные стороны. Мистер Милфорт едет в Бат вместе с Доллисонами, а

мы все ворочаемся домой, чтобы провести святки в Брамблтон-Холле. Как апартаминты наши будут в четвертом етаже, в комнате, обклееной желтой бумагой, перенесите пожалста туда мои вещи. Передайте мои поклоны миссис Гуиллим, и, надеюсь, мы вперед будем жить с нею вежливо да по-хорошему. Теперь, как я по божьей милости поднялась в высшую сфиру, так уж вы меня извините, коли я не буду ровня с домашней прислугой, но, как верю я, что вы будете соблюдать вежливость и дистанкцию, то и можете положиться на распалажение и защиту

вашей *У. Ллойд.*

*20 ноября*

## ПРИЛОЖЕНИЯ[1]

*Мистеру Генри Дэвису,*
*книгопродавцу в Лондоне*

Уважаемый сэр!

Я получил ваше почтенное письмо, помеченное тринадцатым числом минувшего месяца, извещавшее о том, что вы прочитали письма, переданные вам моим другом его преподобием мистером Хьюго Беном, и рад был узнать ваше мнение, что они могут быть напечатаны с надеждой на успех, ибо упоминаемые вами возражения против печатания, смею думать, можно опровергнуть или даже пренебречь ими.

Во-первых: в связи с главным возражением касательно судебного обвинения против печатания частной переписки лиц, находящихся в живых, разрешите мне, с вашего позволения, указать, что написание и посылка упомянутых писем отнюдь не сохранялись в тайне, и сии письма не имели целью распространение о ком бы то ни было mala fama[2] либо причинение вреда, но, наоборот, просвещение человечества и назидание. Таким обра-

[1] В английских изданиях романа «Путешествие Хамфри Клинкера» помещаемые ниже два письма предпосылаются роману. Следуя популярной в XVIII веке литературной традиции, Смоллет мистифицирует читателя, оповещая о том, что письма Брамбла и его домочадцев — подлинная переписка, попавшая в руки некоего клирика Джонатана Дастуича. Мы перенесли эти два письма в конец романа, так как читатель, незнакомый с романом, узнав из них об инциденте с Лисмахаго, не поймет сущности этого инцидента, важного как деталь в характеристике одного из классических типов, созданных Смоллетом. *(Прим. перев.)*

[2] Дурная молва *(лат.)*.

вом, публикация их in usum publicum[1] следует счесть своего рода долгом. Кроме сего, я советовался с мистером Дэви Хиггинсом, выдающимся здешним законоведом, который, изучив письма и поразмыслив, объявил, что, по его разумению, означенные письма не заключают ничего противозаконного. Наконец, если мы с вами придем к соглашению, объявляю in verbo sacerdotis[2], что на случай судебного преследования я возьму всю вину на себя quoad[3] до пени и тюремного заключения, хотя у меня и нет охоты подвергнуться бичеванию. Tam ad turpitudinem, quam ad amaritudinem poena spectans[4].

Во-вторых: что касается до неудовольствия судьи Лисмахаго, то должен сказать, non flocci facio;[5] я не стал бы умышленно поносить ни одного христианина, если только он заслуживает таковым именоваться. Но, сказать правду, я весьма удивлен, что не отрешают от должности сих бродяг иностранцев, коих не без основания можно подозревать в недоброжелательстве к нашему превосходному устройству церкви и государства. Боже упаси, я отнюдь не хочу быть несправедливым и не утверждаю положительно, что названный Лисмахаго не лучше, чем переодетый иезуит, но готов totis veribus[6] настаивать и свидетельствовать, что со дня своего назначения на должность его ни разу не видели intra templi parietes[7], иначе говоря, в приходской церкви.

В-третьих: касательно того, что произошло за столом у мистера Кендела, когда упомянутый Лисмахаго был столь груб в своих порицаниях, то должен вас, сэр, уведомить, что я вынужден был удалиться не из боязни его грозных обвинений, которые, как уже было сказано, не стоят и выеденного яйца, но исключительно по причине неожиданных последствий, вызванных съеденной за обедом рыбой усачом, каковая, чего я не знал, в известные времена года является сильнейшим слабительным, как упоминает Гален в одной из своих глав.

И, наконец, в-четвертых: относительно того, как попали в мои руки эти письма, сие касается только моей совести. Достаточно сказать, что я полностью удовлетворил тех, на хранении

---

[1] Для публичного пользования *(лат.)*.
[2] Торжественно *(лат.)*.
[3] Вплоть *(лат.)*.
[4] Имею в виду наказание, столь же позорящее, сколь и болезненное *(лат.)*.
[5] Не ставлю ни во что *(лат.)*.
[6] Изо всех сил *(лат.)*.
[7] В стенах храма *(лат.)*.

которых они находились, и, надеюсь, удовлетворил теперь также и вас в такой мере, что можно подписать наше соглашение и безотлагательно приступить к работе.

В ожидании чего остаюсь, уважаемый сэр, покорный ваш слуга

*Джонатан Дастуич.*

*Абергеванни, 4 августа*

P. S. Предполагаю, deo volente [1], повидаться с вами в столице ко дню всех святых, когда я буду иметь удовольствие переговорить о рукописях проповедей некоего ныне покойного священника — пирог доброй закваски на теперешний вкус публики. Verbum sapienti [2] и т. д.

*Дж. Д.*

*Его преподобию Джонатану Дастуичу, в...*

Сэр!

Я получил по почте ваше письмо и рад переговорить с вами о рукописях, которые я вручил вашему другу мистеру Бену, но не могу согласиться на предложенные условия. Подобные дела столь ненадежны... Любые писания — лотерея... Я столько потерял на сочинениях лучших нынешних писателей. Можно было бы многое рассказать и назвать имена, но не стоит... Вкусы в Лондоне столь изменчивы. Столько было издано недавно писем о путешествиях: Смоллета, Шарпа, Деррика, Тикнесса, Балтимора, Баретти, Сентиментальное путешествие Шенди... Публика, кажется, сыта по горло сим родом развлечений.

Однако, буде вам угодно, я пойду на риск напечатать и издать книжку, и вы получите половину дохода с издания... Но не затрудняйтесь и не привозите мне ваших проповедей. Кроме методистов и диссентеров, никто проповедей не читает. К тому же я решительно ничего не понимаю в подобных сочинениях, а те два лица, на чье суждение я полагался, теперь отсутствуют: один уехал в чужие края, поступив плотником на военный корабль, а другой настолько глуп, что скрывается от судебного преследования за кощунство... Я много потерял из-за его отсутствия... Он оставил у меня на руках наполовину законченное руководство по благочестию, а получил от меня за все

[1] Если богу будет угодно *(лат.)*.
[2] Умный понимает с полуслова *(лат.)*.

сочинение сполна... Он был самый основательный богослов из всех моих людей, у него было самое ортодоксальное перо, и мне еще не случалось видеть, чтобы здравый смысл ему изменил, разве что когда он удрал по упомянутой причине от своего куска хлеба с маслом...

По вашим словам, вы не боитесь оскорбленья действием со стороны Лисмахаго, но этим только лишаете себя выгод, которые можно извлечь из доброй тяжбы, а к тому же возможности притянуть его к суду. Во время последней войны я напечатал в моей вечерней газете заметку, полученную по почте и осуждавшую некий полк за его поведение во время битвы. Офицер упомянутого полка явился в мою книжную лавку и в присутствии моей жены и помощника пригрозил отрубить мне уши. Чтобы убедить свидетелей, я прикинулся, будто страшусь оскорбления действием, и поэтому мне удалось привлечь его к суду; обвинение было доказано, и я выиграл дело.

Что до бичевания, то вам его нечего бояться и нечего о нем думать... За последние тридцать лет только одного издателя наказали плетью, привязав к повозке; это был Чарльз Уотсон, и он уверял меня, что боль пустячная. Палата лордов не раз угрожала К. С., но угрозы ни к чему не привели. Если будет возбуждено обвинение против вас как лица, опубликовавшего эти письма, я думаю, что у вас хватит совести и ума, чтобы явиться в суд... Если вас приговорят к позорному столбу, будущее ваше обеспечено... По нынешним временам, сие есть верный шаг к славе и повышению по службе. Я буду рад, если мне удастся оказать вам помощь.

Искренне ваш

*Генри Дэвис.*

*Лондон, 1 августа*

Прошу вас, передайте привет моему кузену Мэдоку... Я отправил для него, оплатив пересылку, книгопродавцу Саттону в Глостере календарь и придворный справочник, которые прошу его принять как ничтожный знак моего к нему уважения. Моя жена, большая любительница подсушенного сыра, шлет ему привет и просит узнать, есть ли у него для продажи в Лондоне такой же сыр, какой он любезно нам прислал в прошлом году на святки.

*Г. Д.*

# О. ГОЛДСМИТ

# ВЕКФИЛЬДСКИЙ СВЯЩЕННИК

## ИСТОРИЯ ЕГО ЖИЗНИ, НАПИСАННАЯ, КАК ПОЛАГАЮТ, ИМ САМИМ.

---

*Sperate, miseri; cavete, felices*[1].

[1] Надейтесь, страждущие; трепещите, счастливцы (*лат.*).

ПЕРЕВОД Т. ЛИТВИНОВОЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ К. И. ЧУКОВСКОГО

## ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

В предлагаемом труде тысяча недостатков, и вместе с тем можно привести тысячу доводов в пользу того, что недостатки эти являются его достоинствами. Впрочем, в этом нет надобности. Книга бывает занимательна, несмотря на бесчисленные ошибки, и скучна, хоть в ней не найдется ни единой несообразности. Герой этой повести совмещает в себе трех самых важных представителей человеческого рода: священника, земледельца и главу семьи. Он равно готов поучать и повиноваться; в благополучии прост, в несчастье величественен. Кому, впрочем, в наш век утонченности и процветания придется по душе такой герой? Те, кого привлекает великосветская жизнь, с презрением отвернутся от непритязательного круга, собравшегося у семейного очага; те, кто привык принимать непристойности за остроумие, не найдут его в простодушных речах селянина; тем, кто воспитан ни во что не ставить религию, будет смешон человек, черпающий главное свое утешение в мыслях о будущей жизни.

*Оливер Голдсмит*

## ГЛАВА I

*Описание векфильдской семьи, в которой фамильное сходство простирается не только на внешние, но и на нравственные черты*

Всю жизнь я придерживался того мнения, что честный человек, вступивший в брак и воспитавший многочисленное семейство, приносит в тысячу раз больше пользы, чем тот, кто, пожелав остаться холостым, только и знает, что болтать о благе человечества. По этой-то причине, едва миновал год после моего посвящения, как я начал подумывать о супружестве; и в выборе жены поступил точно так же, как поступила она, когда выбирала себе материю на подвенечный наряд: я искал добротности, не прельщаясь поверхностным лоском. И надо сказать, что жена мне досталась кроткая и домовитая. К тому же, не в пример другим нашим деревенским девицам, она оказалась на редкость ученой — любую книжку осилит, если в ней не попадаются чересчур уж длинные слова. Что же до варений, да солений, да всяческой стряпни, так тут уж никому за ней не угнаться! Кроме того, она хвалилась чрезвычайной своей бережливостью, хотя я не могу сказать, чтобы мы вследствие экономических ее ухищрений стали особенно богаты!

Как бы то ни было, мы нежно любили друг друга, и чувство наше крепло по мере того, как сами мы старились. Словом, мы не имели причин роптать ни на судьбу, ни друг на друга. Жили мы в прекрасном доме, посреди живописной природы, и общество, окружавшее нас, было самое приятное.

Мы гуляли по окрестностям или находили себе занятие дома, навещали богатых соседей, помогали бедным; ни о каких переменах не помышляли, тягостных забот не ведали, и все

наши приключения совершались подле камина, а путешествия ограничивались переселением из летних спален в зимние, и из зимних — в летние.

Жилище наше стояло неподалеку от проезжей дороги, и к нам частенько наведывались путники и прохожие, которых мы непременно потчевали крыжовенной настойкой, ибо она составляла гордость дома; и должен сказать со всей беспристрастностью историка, что никто ни разу ее не хулил. Многочисленная родня, иногда такая дальняя, что мы даже не подозревали о ее существовании, помнила о своей кровной связи с нами, не справляясь с гербовником, и частенько нас навещала. Не всегда, однако, родство это придавало нам блеск, так как среди родственников попадалось немало увечных, слепых и хромых. Но жена моя полагала, что раз они одной с нами крови, то и место им за одним с нами столом. Таким образом гости наши, хоть они не блистали богатством, оставались всегда всем довольны. Известно ведь, и это непреложная истина, что чем беднее гость, тем легче ему угодить. А для меня счастливое лицо — все равно, что для иного любителя красивый тюльпан или редкая бабочка. Впрочем, если среди наших родственников попадался человек вовсе непутевый, или кто-нибудь из них оказывался очень уж беспокойным гостем, или, наконец, просто был нам не по душе, я стремился одолжить ему что-нибудь — куртку, башмаки или не слишком дорогую лошадь — и всякий раз с величайшим удовлетворением замечал, что человек этот больше у нас не появляется. Таким образом избавлялись мы от людей нам неприятных. Но конечно же, ни страннику, ни бедняку, нашедшему приют в лоне векфильдского семейства, отказа никогда не бывало.

Так прожили мы несколько лет, наслаждаясь безмятежным счастьем. Разумеется, посещали нас иногда и невзгоды, но ведь провидение ниспосылает их нам лишь затем, чтобы мы могли еще сильнее оценить его милости. То школьники заберутся в мой фруктовый сад, то жена припасет сладкую подливку к пудингу, а кошки или дети возьмут да и полакомятся ею без спросу. Иной раз помещик заснет в самом трогательном месте моей проповеди, а то, глядишь, его супруга, повстречавшись в церкви с моей, ответит на ее любезное приветствие едва приметным поклоном. Но все эти мелкие неприятности тут же нами и забывались, и к концу третьего или четвертого дня мы уже сами обычно дивились своей досаде.

Наградою за умеренность, которой придерживались всю жизнь родители, было то, что дети наши появились на свет здо-

ровыми и, не изнеженные последующим воспитанием, такими же и выросли; сыновья — полные жизненных сил крепыши, дочки — цветущие красавицы. Всякий раз, что я окидывал взглядом всю эту маленькую компанию, которой суждено было со временем сделаться опорой моей старости, мне невольно приходил на ум всем известный анекдот о графе Абенсберге: когда Генрих II проходил через Германию, все вельможи встречали его дорогими подарками, граф же подвел к своему государю собственных детей, в количестве тридцати двух человек, говоря, что это самая большая его драгоценность. У меня их было, правда, всего только шестеро, но я тем не менее полагал, что принес отечеству чрезвычайно щедрый подарок, и в силу этого считал, что оно в долгу передо мной. Старшего нашего сына назвали Джорджем в память его дяди, оставившего нам десять тысяч фунтов. За ним шла девочка, которую я хотел назвать Гризельдой в честь ее тетки, но этому воспротивилась жена; она зачитывалась романами все то время, что была беременна, и настояла на том, чтобы дочь нарекли Оливией. Не прошло и года, как у нас родилась еще одна девочка. На этот раз я решительно был намерен назвать дочь Гризельдой; но тут одна из наших богатых родственниц пожелала крестить ее и выбрала ей имя Софья. И вот у нас в семье завелось два романтических имени, но, право же, я в этом ничуть не виноват. Следом за ними появился Мозес, а после перерыва в двенадцать лет у нас родилось еще два сына.

Тщетно стал бы я скрывать восторг, охватывавший меня при виде всей этой молодой поросли; но еще больше гордилась и радовалась, глядя на них, моя супруга. Бывало, какая-нибудь гостья скажет:

— Поверьте, миссис Примроз, таких хорошеньких деток, как ваши, во всей округе не сыщешь!

— Да что, милая,— ответит жена,— они таковы, каким их создало небо: коли добры, так и пригожи; по делам ведь надобно судить, а не по лицу.

И тут же велит дочерям поднять головки; а сказать по правде, девицы у нас были и в самом деле прехорошенькие! Ну, да наружность в моих глазах — вещь столь незначительная, что, если бы кругом все не твердили о красоте моих дочерей, я бы о ней вряд ли и упомянул. Оливия, которой исполнилось восемнадцать лет, обладала всепокоряющей красотой Гебы, как ее обычно рисуют живописцы,— открытой, живой и величавой. Черты Софьи на первый взгляд казались менее разительны, но действие их было тем убийственнее, ибо в них таились нежность,

скромность и полное соблазна очарование. Первая побеждала сразу, с одного удара, вторая — постепенно, путем повторных атак.

Душевные свойства женщины обычно определяются ее внешним обликом. Так, во всяком случае, было с моими дочерьми. Оливии хотелось иметь множество поклонников, Софье — одного, да верного. Оливия подчас жеманилась от чрезмерного желания нравиться, Софью же так страшила мысль обидеть кого-нибудь своим превосходством, что она иной раз даже пыталась скрывать свои достоинства. Первая забавляла меня своей резвостью, когда я бывал весел, вторая радовала благоразумием, когда я был настроен на серьезный лад. Ни в той, ни в другой, однако, качества эти не были развиты до крайности, и я часто замечал, что дочери мои как бы меняются друг с дружкой характерами на целый день. Так, стоило резвушке моей, например, облачиться в траур, как в чертах ее проступала строгая важность, и напротив — несколько ярких лент вдруг придавали манерам ее сестры несвойственную, казалось бы, им живость. Старший сын мой, Джордж, получил образование в Оксфорде, так как я предназначал его для одной из ученых профессий. Второй сын, Мозес, которого я прочил пустить по торговой части, обучался дома, всему понемножку.

Ну, да невозможно сказать что-либо определенное о характере молодого человека, который еще не видел света. Словом, фамильное сходство объединяло их всех, и, собственно, у всех у них характер был одинаковый — все были равно благородны, доверчивы, простодушны и незлобивы.

## ГЛАВА II

*Семью постигает несчастье. Лишившись состояния, человек благородный не теряет чувства собственного достоинства*

Почти всеми мирскими делами нашей семьи вершила жена; но в вопросах духовных я был полный хозяин. Мой приход доставлял мне ежегодно около тридцати пяти фунтов, которые я жертвовал целиком в пользу вдов и сирот священнослужителей нашей епархии; обладая изрядным состоянием, я мог не заботиться о вознаграждении и испытывал тайную радость при мысли, что исполняю свой долг безвозмездно. Кроме того, я решил не держать помощника и вменил себе в обязанность хорошенько познакомиться со всеми своими прихожанами, призывая людей семейных к трезвости, а холостым рекомендуя

супружество; так что за несколько лет моего пребывания в Векфильде там даже сложилась такая поговорка: «В Векфильде три недостатка: священнику недостает чванства, молодым людям — невест, а кабатчикам — завсегдатаев».

Брак всегда был излюбленным предметом моих рассуждений, и я даже составил несколько проповедей, в которых доказывал, что он является непременным залогом счастья; тут, однако, я держался таких же точно убеждений, что и Уистон, и полагал, что священник англиканской церкви по смерти своей первой жены не имеет права жениться вторично, иными словами — я был сторонником строжайшего единобрачия.

С самых первых моих шагов я был посвящен в знаменательный спор, породивший столь великое количество ученых сочинений. Я и сам выпустил несколько трактатов, в которых излагал свой взгляд на этот предмет; правда, никто их не покупал, и они так и остались лежать у книгопродавца, но зато я утешался мыслью, что мои творения доступны одним лишь избранным счастливцам. Кое-кто из моих друзей называл это моей слабостью — бедняги, разве просиживали они, подобно мне, долгие часы, размышляя о сем предмете? Я же чем больше думал о нем, тем больше постигал всю его важность. В осуществлении своих принципов я даже пошел несколько дальше самого Уистона. Так, он, потеряв жену, приказал вырезать на ее могильном камне надпись, гласящую, что под ним покоится тело *единственной* жены Уильяма Уистона; а я при живой жене заказал ей эпитафию, где превозношу благоразумие, бережливость и смирение, не покидавшие ее до самой смерти; красиво переписанная и вправленная в изящную рамку, она висела у нас над камином и отвечала нескольким весьма полезным целям одновременно: напоминала жене о ее долге, указывала на мою верность ей, вызывала в ней желание заслужить добрую славу и вместе с тем не давала забывать о бренности человеческой жизни.

Быть может, мои беспрестанные рассуждения о браке тому виною, но мой старший сын, едва окончив колледж, уже сделал свой выбор, полюбив всем сердцем дочь одного духовного лица, жившего неподалеку от нас и облаченного высоким саном; за ней можно было ожидать изрядное приданое; впрочем, она и без всякого приданого была хороша. Все (за исключением моих дочерей, конечно) признавали, что мисс Арабелла Уилмот — настоящая красавица. Тут было не одно очарование молодости, здоровья и невинности — прозрачный румянец ее был так нежен, взор обличал такое чувствительное

сердце, что даже старость не могла взирать на нее равнодушно. Мистер Уилмот, зная, что я в состоянии выделить немалую долю своему сыну, не возражал против такого жениха, и у нас царила гармония, какая обычно устанавливается между двумя семьями накануне окончательного сближения. Убедившись на собственном опыте, что пора ухаживания — самая счастливая пора в нашей жизни, я был не прочь продлить ее для них как можно дольше: встречаясь ежедневно, влюбленные принимали участие в общих увеселениях, и взаимное чувство их как будто возрастало от того еще более. По утрам обычно нас будила музыка, в погожие дни мы выезжали на охоту. Часы от завтрака до обеда дамы посвящали нарядам и наукам; так, пробежав глазами страничку книги, они гляделись в зеркало, которое — и тут, я думаю, философы и те не станут со мной спорить — подчас являет больше красот, чем иная книжная страница. За обедом верховодила жена, ибо привыкла собственноручно резать жаркое, ссылаясь при этом на обычай своей матушки; нужно ли говорить, что она не упускала случая поведать нам историю каждого блюда! После обеда, не желая расставаться с дамами, я обычно давал слуге распоряжение отодвинуть стол, и иногда мои дочери вместе с учителем музыки устраивали для нас чрезвычайно приятный концерт. Прогулки, чай, кадриль, фанты — так коротали мы остаток дня, не прибегая к картам, потому что я терпеть не могу никаких азартных игр, кроме игры в триктрак, в которую подчас сражался со своим старинным приятелем, ставя по два пенса на кон. Не могу тут обойти молчанием досадный случай, приключившийся со мной в последний раз: мне нужно было выкинуть четыре очка, а между тем у меня выходила все двойка да единица — пять раз кряду!

Прошло несколько месяцев, и мы стали наконец подумывать о том, чтобы назначить день для бракосочетания наших влюбленных, которые, по-видимому, страстно того желали. Не стану описывать ни суетливую важность, с какой хлопотала жена, готовясь к торжеству, ни многозначительные взгляды, которыми обменивались между собой мои дочери; говоря откровенно, меня в то время занимало совсем другое: я заканчивал очередной трактат на излюбленную свою тему и надеялся вскоре его напечатать. Я считал это сочинение образцовым как в отношении логики, так и стиля, и в гордыне сердца своего не удержался и показал его старинному своему другу, мистеру Уилмоту, ибо был уверен в его одобрении. Увы, я слишком поздно убедился, что он был горячим поборником противополож-

ного направления, на что у него были чрезвычайно веские основания, ибо он в ту самую пору задумал жениться в четвертый раз! Как и надо было ожидать, между нами завязался спор, и притом настолько ожесточенный, что, казалось, того и гляди, расстроится задуманный нами брак. Во избежание этого мы положили встретиться накануне бракосочетания и повести диспут по всем правилам.

Обе стороны проявили изрядный пыл. Он утверждал, что я еретик, я обратил тот же самый упрек против него, он возражал, я отвечал. Между тем в самый разгар дискуссии один из моих родственников отозвал меня в сторону и с выражением глубокого участия посоветовал отказаться от дальнейшего спора или хотя бы перенести его на какой-нибудь другой день, после свадьбы моего сына.

— Как? — вскричал я.— Отказаться от правого дела и признать супружество мистера Уилмота законным в ту самую минуту, когда я доказал всю абсурдность его доводов? Да я скорее откажусь от состояния, чем от своих взглядов!

— Как это ни прискорбно,— отвечал на это родственник,— но я должен сообщить вам, что состояния-то у вас почти и нет никакого. Купец, которому вы вверили деньги, обанкротился и скрывается от кредиторов; полагают, что он не даст и шиллинга за фунт. Я не хотел огорчать вас до свадьбы, но, быть может, мое сообщение несколько остудит ваш полемический задор, ибо надеюсь, что вы достаточно рассудительны и поймете сами, что сейчас не время обнаруживать свои истинные чувства и что нужно подождать хотя бы до тех пор, пока состояние девушки не перейдет к вашему сыну.

— Ну, нет,— отвечал я,— если мне и впрямь грозит разорение и суждено сделаться нищим, то негодяем я быть не хочу, и я не подумаю, конечно, отрекаться от своих убеждений. Я сию же минуту пойду и извещу всех о том, что со мной случилось. Что же касается спора, я, напротив, беру назад уступки, которые сделал старику, и не соглашусь признать его супругом четвертой миссис Уилмот — ни в одном из значений этого слова!

Напрасно пытался бы я описать чувства, охватившие обе семьи при известии о нашей беде; но что́ были наши чувства по сравнению с горестью влюбленных! Мистер Уилмот, который уже и без того был не прочь расстроить этот брак, теперь, узнав о постигшем меня ударе, окончательно решился: в одном ему никак нельзя было отказать — в благоразумии, этой подчас единственной добродетели, какую нам удается сохранить на семьдесят третьем году жизни!

## ГЛАВА III

*Переселение. В конечном счете оказывается, что человек сам является творцом своего счастья*

Мы еще тешили себя надеждой, что, быть может, слух о нашем несчастье был пущен кем-нибудь по злобе либо по неведению, когда из города прибыло письмо от моего поверенного, целиком подтверждающее дошедшую до нас весть. Если бы разорение наше коснулось одного меня, я бы особенно не горевал; я огорчался единственно из-за семьи, которую ждало унижение — ведь ни жена моя, ни дети не были приучены равнодушно сносить высокомерие людское!

Не раньше чем через две недели начал я уговаривать их умерить свое отчаяние, ибо преждевременные утешения служат лишь напоминанием о беде. Все это время мысли мои были заняты изысканием средств к существованию; наконец довольно далеко от старого нашего местожительства мне предложили небольшой приход, фунтов на пятнадцать, и таким образом я мог рассчитывать и впредь жить, не поступаясь своими нравственными правилами. Я с радостью согласился на это предложение, а про себя решил завести небольшое хозяйство на месте, чтобы пополнить свои доходы.

После того как я принял решение уехать, я стал приводить в порядок остатки своего состояния; когда я собрал одни долги и выплатил другие, от наших четырнадцати тысяч фунтов осталось всего лишь четыреста. Поэтому главной моей заботой теперь было заставить мое семейство смириться и сообразовать свою гордость с положением, которое нам отныне предстояло занимать, ибо что может быть хуже самолюбивой нищеты?

— Вы, конечно, знаете, дети мои,— начал я,— что никакое благоразумие не могло бы предотвратить разразившуюся над нами беду; однако оно в состоянии помочь нам справиться с некоторыми ее последствиями. Мы теперь бедны, мои дорогие, и разум повелевает нам смириться. Откажемся же без сожалений от роскоши, которая не мешает стольким людям быть несчастными, и постараемся в более скромной доле обрести тот душевный покой, обладая которым может быть счастлив всякий! Бедные прекрасно обходятся без наших услуг, почему бы и нам не научиться жить без их помощи? Итак, дети мои, сразу откажемся от всяких поползновений на барский размах! И с теперешними нашими средствами мы можем прожить счастливо, если будем разумны. Будем же довольствоваться малым, и тогда у нас всего будет вдоволь!

Так как старший мой сын обучался всяким наукам, я решился послать его в столицу, где, приложив свои способности, он был бы в состоянии и себя прокормить, и нам помочь. Может быть, самое горькое в бедности — это необходимость разлучаться с близкими. И вот он наступил, день нашей первой разлуки! Простившись с матерью, братьями и сестрами, которые перемежали поцелуи со слезами, он подошел ко мне, чтобы я его благословил. От всей души дал я ему свое благословение. Вместе с пятью гинеями это составляло все, чем я мог его оделить!

— Сын мой,— воскликнул я,— ты идешь в Лондон пешком, как некогда шагал туда твой великий предок Хукер! Дарю тебе такого же коня, каким епископ Джуэл одарил его,— прими сей посох и еще прими сию книгу, да укрепит она твой дух в пути; вот, кстати, две строчки, которые стоят миллиона: «Я был молод, и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Пусть же это послужит тебе утешением в твоих странствиях. Иди, сын мой, и как бы ни сложилась судьба твоя, являйся ко мне раз в год; прощай же и не падай духом!

Смело посылал я на ристалище жизни своего сына, не имеющего иных доспехов, кроме честности и душевной чистоты, ибо знал: что бы ни ожидало его — победа или поражение,— он все равно останется благородным человеком.

Его отъезд предварил наш собственный лишь на несколько дней. Прощание с местами, где мы провели столько безмятежных часов своей жизни, не обошлось без слез, и я думаю, ни один человек, как бы тверд духом он ни был, не нашел бы в себе силы подавить их. К тому же мысль о путешествии за семьдесят миль, которое предстояло совершить нашей семье, дальше чем за десять миль дотоле никуда не выезжавшей, повергала нас в уныние, а вопли и причитания беднейших из моих прихожан, пожелавших проводить нас первые несколько миль, еще больше это уныние усугубляли. К концу первого дня путешествия мы благополучно добрались до какой-то деревеньки, расположенной в тридцати милях от нашего будущего пристанища, и устроились ночевать на постоялом дворе. После того как нам отвели комнату, следуя своему всегдашнему обычаю, я пригласил хозяина распить с нами бутылочку вина; он принял мое приглашение тем охотнее, что счет, который готовился предъявить нам наутро, от этого отнюдь не должен был сократиться. Зато он мог рассказать мне о людях, среди которых мне суждено было отныне жить, а главное, о мистере Торнхилле, помещике, в чьих владениях находился мой новый дом, располо-

женный к тому же всего в нескольких милях от его собственной усадьбы. Он аттестовал его как джентльмена, который в жизни привык искать одни наслаждения и славился своей приверженностью к прекрасному полу. Никакая добродетель, по словам хозяина, не могла устоять против его искусства и настойчивости, и на десять миль кругом едва ли можно было встретить девушку, которая бы не оказалась жертвой его вероломства. Надо сказать, что сведения эти, глубоко опечалившие меня, на дочерей моих возымели действие прямо противоположное: черты их словно озарились предвкушением торжества; жена, по-видимому, испытывала такую же радость и уверенность в могуществе их чар и силе их добродетели. Мысли наши были еще заняты мистером Торнхиллом, когда в комнату вошла хозяйка и сообщила своему мужу, что у постояльца, который живет у них вот уже вторые сутки, нет денег, чтобы оплатить счет.

— Нет денег? — повторил хозяин. — Этого не может быть, ибо не далее как вчера он дал три гинеи приставу, чтобы тот отпустил одного старого, израненного солдата, которого должны были наказать плетьми за то, что он похитил собаку.

Когда же хозяйка в ответ лишь повторила свои слова, муж ее, клянясь, что так или иначе взыщет с постояльца свое, двинулся было к дверям; но я стал просить его познакомить меня с человеком, который, судя по его словам, был столь щедр и сострадателен.

Хозяин вышел и вскоре вернулся в сопровождении господина лет тридцати на вид; кафтан его все еще хранил следы позументов, наружность была изящна и печать мысли лежала на его челе. В обращении его проглядывало что-то повелительное, чуть резковатое, и казалось, что он то ли не понимает светских условностей, то ли нарочно пренебрегает ими. Когда хозяин оставил нас, я не удержался и выразил незнакомцу сожаление по поводу того, что вижу благородного человека в столь печальных обстоятельствах, и тут же предложил ему свой кошелек, чтобы вывести его из временного затруднения.

— Принимаю вашу помощь от всей души! — воскликнул он.— Я рад, что совершил оплошность и отдал все деньги, какие были при мне, ибо благодаря этому убедился, что существуют еще на свете такие люди, как вы. Но прежде всего разрешите узнать имя и местожительство моего благодетеля, чтобы при первой возможности выплатить долг.

В ответ я назвал себя и поведал о несчастье, меня постигшем; а также рассказал, куда мы держим путь.

— Вот и отлично! — воскликнул он.— Ведь я сам направляюсь в ту сторону, и просидел тут двое суток из-за разлива реки, которая к завтрашнему дню, надо надеяться, войдет в берега.

Я тоже выразил радость, узнав, что мы попутчики, и пригласил его отужинать с нами. Жена и дети присоединились к моей просьбе. Беседа незнакомца была так занятна и поучительна, что я готов был слушать его без конца; но нам давно уж было пора на покой; нужно было подкрепить свои силы сном, ибо на следующий день нам опять предстояло двинуться в путь.

Наутро мы все отправились вместе — мы верхами, а мистер Берчелл,— так звали нашего нового знакомца — пешком по обочине, причем он говорил с улыбкой, что не обгоняет наших одров из одного лишь великодушия. Так как вода еще не совсем спа́ла, нам пришлось нанять проводника, который трусил впереди, в то время как мы с мистером Берчеллом замыкали шествие. Мы разгоняли дорожную скуку с помощью философских споров, в которых он оказался весьма искусным. Особенно же меня поразило то обстоятельство, что защищал он свои убеждения с таким упорством, словно был не должником моим, а покровителем. Время от времени он сообщал мне, кому принадлежат поместья, мимо которых мы ехали.

— Это вот,— сказал он, указывая на великолепнейший дом несколько поодаль,— принадлежит мистеру Торнхиллу; его дядя, сэр Уильям Торнхилл, довольствуясь малым и проживая большей частью в городе, предоставляет почти все свое состояние в распоряжение молодого человека.

— Возможно ли,— вскричал я,— чтобы соседом моим оказался племянник человека, столь известного своею добродетелью, щедростью и чудачествами! Я слышал, что сэр Уильям Торнхилл самый щедрый человек и вместе с тем самый большой оригинал во всем королевстве; говорят также, что это человек непревзойденной доброты!

— И даже несколько чрезмерной как будто,— возразил мистер Берчелл.— В юности, во всяком случае, он доводил свою доброту до излишества, ибо, обладая пылкой душой, он даже в добродетели своей не мог удержаться от романтического преувеличения. С молодых лет почувствовал он склонность к военному искусству и к наукам; и на том и на другом поприще преуспел: отличился как солдат и прослыл ученым человеком. Но лесть, эта непременная спутница честолюбцев,— ибо из всех людей они наиболее падки на нее,— не замедлила явиться и тут. Он был окружен толпой, где каждый стремился обнаружить

перед ним лишь одну сторону своего характера, и в своем благоволении ко всему роду людскому он забывал об отдельных его представителях. Ему был мил весь свет, богатство мешало ему видеть, что в мире водятся также и негодяи. Врачи говорят, что есть такой недуг, при котором тело больного становится настолько остро чувствительным, что малейшее прикосновение причиняет боль. И вот то, что некоторым довелось испытать физически, этот господин ощущал душевно. Чужая невзгода,— подлинная ли, вымышленная, все равно,— трогала его сердце, и душа его содрогалась от боли, которую причиняли ей страдания ближнего. Так как он был готов оказывать помощь всякому, то, разумеется, в тех, кто был расположен просить его о помощи, тоже не было недостатка; щедрость его начала уже отражаться на его кошельке, но великодушие от того нисколько не убывало; оно, казалось, росло по мере того, как скудел кошелек. Сам же он становился что ни беднее, то безрассуднее.

И хоть речи его были разумны, вел он себя, как последний глупец.

И вот, окруженный наглецами и уже бессильный удовлетворить всех, кто к нему обращался, он стал вместо *денег* раздавать *обещания*. Это было все, что у него осталось, огорчить же кого-либо отказом у него не хватало решимости. Таким образом он собрал вокруг себя целую толпу прихлебателей, которых он жаждал облагодетельствовать, а вместо того невольно обманывал. Люди эти некоторое время продолжали осаждать его, затем, осыпав заслуженными упреками, с презрением его оставили. При этом чем ничтожнее становился он в глазах людей, тем более жалким начинал он казаться самому себе. Он привык полагаться на лесть, и теперь, когда лишился этой опоры, голос сердца не в состоянии был утешить его, ибо он не привык к нему прислушиваться.

Все переменилось. Друзья более не расточали ему восторженных похвал, ограничиваясь простым одобрением, да и оно все чаще стало принимать форму дружеского совета, а за советом, если он его отвергал, следовали упреки. Тут он понял цену друзьям, которых привлекали к нему блага, им расточаемые. Тут-то понял он, что, если хочешь, чтобы сердце другого человека принадлежало тебе, нужно отдать ему взамен свое. Тут-то понял я, что... что... что же это я хотел сказать? Забыл!.. Короче говоря, сударь, он решил подумать о себе и составил план спасения своего быстро тающего состояния. Своеобычный и тут, он исходил пешком всю Европу, и теперь, хотя ему нет еще тридцати, он сделался богаче прежнего. Щедрость его стала

разумнее и умереннее, но он по-прежнему слывет чудаком и благодеяния свои облекает в самую затейливую форму.

Я слушал мистера Берчелла с таким увлечением, что даже ни разу не взглянул вперед; но вдруг до моих ушей донеслись тревожные крики, и, повернув голову, я увидел младшую свою дочь посреди бурного потока, с которым она тщетно боролась: лошадь выбросила ее из седла. Она уже дважды погрузилась в воду с головой, а я не мог соскочить достаточно проворно, чтоб поспеть ей на помощь. Да и смятение мое было так велико, что я все равно не был бы в состоянии ее спасти; гибель ее казалась неминуемой. Но тут мой спутник, увидев, какая ей угрожает опасность, кинулся в воду и после значительных усилий доставил ее на противоположный берег.

Меж тем мы поднялись несколько выше по течению, нашли брод и благополучно переправились на ту сторону; вместе с дочерью пытались мы выразить свою признательность ее избавителю. Впрочем, благодарность ее легче представить, чем описать! Не столько словами, сколько взглядами выражала она свои чувства, продолжая между тем опираться на его руку, словно все еще нуждаясь в его поддержке. Жена тоже высказала надежду, что ей представится случай когда-нибудь отблагодарить его под нашей кровлей.

Затем, после того как мы все вместе подкрепились обедом в ближайшей харчевне, мистер Берчелл простился с нами, так как отсюда путь его лежал в другую сторону; мы поехали дальше, причем жена не преминула заметить, что он ей до чрезвычайности понравился, прибавив, что, если бы он был человеком благородного происхождения и обладал приличным состоянием, позволяющим ему думать о такой семье, как наша, она лучшего жениха для своей дочери и не пожелала бы. Я не мог удержаться от улыбки, слушая эту горделивую речь; впрочем, я никогда не считал нужным осуждать невинные заблуждения, если они доставляют человеку немного радости.

## ГЛАВА IV

*Даже при самом скромном достатке возможно счастье, ибо оно заложено в нас самих и не зависит от внешних обстоятельств*

Новое наше пристанище находилось в небольшой деревушке, где поселяне пахали свою землю сами, не ведая ни нужды, ни избытка. В собственном хозяйстве находили они

почти все необходимое и лишь изредка выезжали в город за покупками. Вдали от света они сохранили первозданную простоту и, скромные и неприхотливые от века, даже не вменяли себе в заслугу свою умеренность. В будние дни они трудились, весело и с охотою, а в праздник предавались отдыху и развлечениям. В сочельник пели гимны, в утро святого Валентина дарили девушкам ленты, на масленицу пекли блины, первого апреля изощрялись в остроумии и накануне Михайлова дня свято соблюдали обычай колоть орехи.

Предупрежденная о нашем прибытии, вся деревня в праздничных нарядах, под звуки флейты и барабана высыпала встречать своего нового священника. В нашу честь было приготовлено пиршество, и мы весело уселись за стол; пусть шутки и не блистали остроумием, зато смеялись им от души.

Наш домик стоял у косогора, позади подымалась прелестная рощица, впереди протекал говорливый ручей, по одну сторону простирался луг, по другую — полянка. Мне принадлежало около двадцати акров пахотной земли, после того как я уплатил своему предшественнику сто фунтов за право владения ею. Невозможно представить себе что-либо прелестней маленьких моих полей, окаймленных кустарником, среди которого высились вязы неописуемой красоты. Соломенная крыша придавала особенно уютный вид одноэтажному домику; внутри стены были чисто выбелены, и мои дочки взялись украсить их произведениями собственной кисти. Правда, одна и та же комната должна была служить нам гостиной и кухней, но нам от этого было только теплее. К тому же содержалась она в образцовом порядке: блюда, тарелки и медные кастрюли были вычищены и натерты до блеска и стояли по полкам сверкающими рядами, так что любо было смотреть на них, и глаз не требовал более богатого убранства. В доме было еще три комнаты — в первой расположились мы с женой, во второй, смежной с нею,— наши две дочери, в третьей стояли две кровати для мальчиков.

Вот какой порядок был установлен в маленькой республике, которою я управлял: к восходу солнца все собирались в общей комнате, где уже горел огонь, разведенный служанкой. Обменявшись приветствиями,— а надо сказать, что я всегда стоял за то, чтобы близкие соблюдали друг с другом известные обряды вежливости, ибо излишняя свобода в обращении губительна для дружбы,— мы склоняли голову и воздавали хвалу всевышнему, даровавшему нам еще один день. Исполнив этот долг, я отправлялся с сыном на обычные наши работы, между

тем как жена и дочки приготовляли завтрак, за который мы садились всегда в одно и то же время. Этой трапезе я отводил полчаса, обеду — час; за столом жена и дочки болтали какой-нибудь невинный вздор, мы же с сыном заводили философскую беседу.

Вставая вместе с солнцем, мы прекращали свои труды с его заходом, и возвращались в лоно семьи, где нас ожидали приветливые взоры и уютный очаг, в котором весело потрескивали дрова. Не испытывали мы также и недостатка в гостях. И фермер Флембро, наш разговорчивый сосед, и слепой музыкант со своей флейтой — оба частенько заглядывали к нам отведать нашей крыжовенной настойки; жена не забыла секрет приготовления этого напитка, который по-прежнему составлял гордость дома. Простодушные эти люди помогали нам коротать вечера каждый на свой лад: один играл на флейте, другой ему подпевал, услаждая наш слух какой-нибудь старинной балладой, вроде «Жестокой Барбары Аллен» или «Последнего «прости» Джонни Армстронга». День завершался так же, как и начинался,— молитвой, и тут я заставлял младших сыновей читать заданную на тот день главу из Писания. Кто читал громче, отчетливей и лучше другого, получал полпенса, которые и опускал в воскресенье в кружку для бедных.

Воскресный день у нас бывал днем истинного великолепия, и все мои попытки как-то ограничить эту пышность оказывались бесплодными. Тщетно чаял я проповедями своими против гордыни подавить тщеславие моих дочерей; тайное влечение к былой роскоши так или иначе обнаруживало себя, и они по-прежнему обожали кружева, ленты, узорную вышивку и стеклярус; и даже матушка их не могла перебороть свою страсть к пунцовому атласному платью, ибо я как-то обмолвился, что оно ей к лицу.

Особенно огорчили они меня в первое наше воскресенье на новом месте. Еще накануне я высказал пожелание, чтобы мои девицы были готовы пораньше, так как привык появляться в церкви задолго до своих прихожан. Они точно исполнили мое приказание; но когда мы утром собрались к завтраку, я увидел, что жена моя и дочки блистали нарядами совсем как в былые дни — волосы напомажены, лица усеяны мушками, шлейфы собраны сзади в шуршавший при малейшем движении узел. Я не удержался от улыбки при виде такого тщеславия; от жены своей, во всяком случае, я ожидал большего благоразумия. Однако я не растерялся и с важностью обратился к сыну, чтобы тот велел закладывать карету. Девицы были поражены

моим приказом, я, однако, повторил его еще торжественнее прежнего.

— Ты, верно, шутишь, мой друг,— воскликнула жена,— мы прекрасно дойдем пешком; нам уже не нужна больше карета!

— Ошибаешься, душа моя,— возразил я,— нам как раз очень нужна карета, ибо если мы пойдем в церковь в этом наряде пешком, то все мальчишки будут улюлюкать нам вслед.

— Вот как! — ответила жена.— А я-то думала, что мой Чарльз любит, чтобы его детки были чистенько и нарядно одеты.

— Чистенько и нарядно — пожалуйста! — прервал я ее.— Я буду только рад; но тут у вас не чистота, а просто-напросто мишура какая-то. Ваши оборки, рюши да мушки приведут лишь к тому, что нас возненавидят все женщины в приходе. Нет, дети мои,— продолжал я, оставив шутливый тон,— эти ваши платья придется перекроить, ибо франтовство вовсе не к лицу людям, чье состояние не позволяет предаваться подобной роскоши. Впрочем, и богачи — так ли уж пристало им бахвалиться великолепием своих нарядов? Ведь самый приблизительный подсчет покажет, что весь неимущий мир мог бы прикрыть свою наготу на то золото, что наши щеголи и щеголихи тратят на отделку своего платья.

Моя речь возымела действие: они тотчас и без возражений отправились переодеваться, а на следующий день, к великой моей радости, я обнаружил, что дочери сами, по своей воле, сели перекраивать шлейфы в воскресные жилетки для наших малышей — Дика и Билла. Замечательнее же всего то, что без шлейфов платья обеих девиц только выиграли!

## ГЛАВА V

*Новое и блистательное знакомство. То, на что мы более всего уповаем, обычно и губит нас*

Неподалеку от дома, в тени боярышника и жимолости, мой предшественник поставил скамью. Сюда-то в хорошую погоду, когда работа спорилась, мы все собирались отдохнуть от дневных трудов и в вечерней тиши любоваться обширной панорамой, открывающейся взору. Здесь же иной раз пили мы чай; трапеза эта ныне казалась нам настоящим пиршеством; мы справляли ее не каждый день, и всякий раз испытывали неизведанное доселе удовольствие, облекая все хлопоты,

связанные с ее приготовлением, чрезвычайной торжественностью. Покуда мы пили чай, оба наших малыша поочередно читали вслух и свою порцию получали после взрослых. Иногда же, разнообразия ради, дочки пели, аккомпанируя себе на гитаре; мы с женой во время такого концерта обычно прохаживались по зеленому склону, украшенному колокольчиками и васильками, с упоением беседуя о наших детях и наслаждаясь ветерком, который, казалось, нес нам здоровье и душевный покой.

Постепенно мы пришли к убеждению, что всякое состояние таит в себе какие-нибудь, ему одному свойственные радости. Каждое утро мы вставали, чтобы вновь приняться за труды; зато вечером мы могли предаваться безмятежному веселью.

Однажды в начале осени, в праздник,— а праздники я соблюдал, ибо надо же было когда-нибудь и отдыхать,— мы собрались в привычном месте, и дочки по обыкновению своему затеяли концерт. Вдруг шагах в двадцати от нас быстро пронесся олень, и по его частому дыханию мы заключили, что за ним гонятся охотники. Не успели мы как следует погоревать о бедняге, как увидали мчавшихся за оленем по той же тропе собак и всадников. Я хотел тут же вернуться в дом со всем своим семейством, но любопытство ли было виною, или внезапность, или еще какая, более затаенная причина, а только жена моя с дочками не двинулись с места. Охотник, ехавший впереди всех, пролетел мимо нас, за ним столь же стремительно проскакало еще четверо или пятеро всадников.

Наконец появился какой-то молодой человек, по наружности более благородного происхождения, чем остальные; он круто осадил коня, некоторое время разглядывал нас и, вместо того чтобы следовать за охотниками, соскочил наземь, бросил поводья слуге, который сопровождал его, и легкой, небрежной походкой направился к нам. Не взяв на себя труда представиться, он подошел к моим дочкам и,— очевидно, не сомневаясь в ласковом приеме,— намеревался приветствовать их поцелуем; но они уже с малых лет постигли искусство единым взглядом пресекать дерзость в самом ее зародыше. Тогда, сообщив, что его фамилия Торнхилл, а также что обширные угодья, расстилавшиеся вокруг, принадлежат ему, он снова приблизился, чтобы поцеловать мою жену и дочерей, и — таково обаяние богатства и красивого наряда! — на этот раз ему отказа не было. Непринужденность его манер,— не лишенных, правда, некоторой доли самонадеянности,— вскоре передалась и нам; заметив музыкальные инструменты, лежавшие подле нас, он

стал уговаривать моих дочерей спеть. Не в моих правилах поощрять дружбу с неровней, поэтому я мигнул девочкам, чтобы они не соглашались; однако намек мой остался втуне, ибо, увидев, что матушка одобрительно им кивает, они, не задумываясь, спели модную песенку Драйдена.

Мистер Торнхилл пришел в восторг и от исполнения и от выбора и, когда они кончили, сам схватил гитару. Играл он весьма посредственно: тем не менее старшая моя дочь отплатила ему за его похвалы с лихвой, уверяя, что он играет еще громче, чем ее учитель музыки. На этот комплимент он отвечал поклоном, она же, в свою очередь, сделала ему реверанс. Он стал расхваливать ее вкус, она — изумляться тонкости его суждения; можно было подумать, что они уже век знакомы; а любящая мать, разделяя их восторг, стала усиленно приглашать молодого помещика в дом — отведать крыжовенной настойки. Вся семья, казалось, только и думала, как ему угодить; девицы мои стремились развлекать его разговором на самые, по их мнению, злободневные темы, в то время как Мозес, напротив, задал ему несколько вопросов, касающихся древних писателей, за что и был награжден смехом; малыши тоже так и льнули к новому знакомцу. С трудом удерживал я их от того, чтобы они своими грязными пальчиками не пачкали кружева его костюма и не задирали клапаны карманов, желая ознакомиться с их содержимым. С наступлением вечера он стал прощаться, но прежде попросил разрешения повторить свой визит, и мы с величайшей готовностью позволение свое дали — как-никак мы жили в его владениях!

Не успел он уйти, как жена открыла военный совет, посвященный исходу сражения. Она была довольна: и не такое сбывалось! Настанет день, говорила она, когда мы снова поднимем голову и будем не хуже всяких иных прочих, и, наконец, с какой это стати морщинистые мисс Ринкльс обе нашли себе по богатому жениху, а ее собственные дети ни одного? Так как последний довод адресовался прямо ко мне, я отвечал, что и сам не вижу никаких к тому причин, так же как не вижу, почему мистер Симкинс выиграл десять тысяч фунтов в лотерее, а мы ничего.

— Право, Чарльз! — воскликнула жена.— Вечно ты так: чуть только мы с девочками воспрянем духом, ты непременно должен испортить нам настроение. Софья, дружок, как тебе показался гость? Не правда ли, мил?

— Очень даже, матушка,— отвечала та,— обо всем-то он может говорить, никогда-то не растеряется; и чем ничтож-

ней предмет разговора, тем больше мыслей высказывает он о нем.

— Ну да,— возразила Оливия,— он человек, может, и неплохой, но мне, признаться, совсем не по душе; он так развязен и дерзок и на гитаре играет из рук вон плохо.

Оба эти высказывания я истолковал в обратном смысле. Надо было понимать, что Софья столь же в душе презирает его, сколь восхищается им втайне Оливия.

— Что бы вы о нем ни думали, дети мои,— сказал я,— мне, говоря откровенно, он не очень-то пришелся по сердцу. Неравная дружба всегда кончается разочарованием; и мне показалось, что, несмотря на всю свою непринужденность, он не забывал ни на минуту о расстоянии, разделяющем нас. Будем лучше держаться людей нашего круга! Все мы презираем охотников за приданым, но ведь девушка, если она охотится за богатым женихом, ничуть не лучше! Итак, даже если бы его намерения и оказались честными, мы все равно были бы достойны презрения; а если нет... Я содрогаюсь при одной мысли о том! Конечно, поведение моих дочек не внушает мне ни малейшей тревоги, но его репутация заставляет меня насторожиться.

Я хотел было высказать еще несколько соображений по этому поводу, но тут вошел слуга помещика; он принес нам олений бок и сказал, что его господин велел кланяться и что он намерен отобедать у нас на этой неделе. Подарок был так кстати и так красноречиво свидетельствовал в пользу нашего нового знакомца, что все мои дальнейшие речи все равно были бы бессильны стереть это выгодное впечатление. Я молчал, довольствуясь тем, что указал на опасность, избежать которую теперь зависело от них самих. Ибо та добродетель, что нуждается в постоянном стороже, едва ли стоит того, чтоб ее сторожили.

## ГЛАВА VI

*Радости сельской жизни*

Так как спорили мы до появления оленьего бока довольно горячо, то ради наискорейшего восстановления семейного мира все единодушно сошлись на том, чтобы часть оленины зажарить к ужину. Дочки живо принялись за дело.

— Какая жалость,— воскликнул я,— что ни сосед, ни путник не заглянет к нам сегодня и не разделит с нами нашу роскошную трапезу, ибо всякое блюдо становится вкуснее, когда приправой ему служит гостеприимство!

— Смотрите-ка, кто идет! — вскричала тут жена.— Наш добрый мистер Берчелл,— тот самый, что спас Софью и переспорил вас.

— Переспорил меня?! — возразил я.— Душа моя, вы ошибаетесь. Человека, который способен меня переспорить, не так то легко найти. Я никогда не высказывал сомнений в вашей способности приготовить паштет из гусиной печенки, там, где дело идет о споре, предоставьте, мой друг, мне самому судить.

Едва успел я произнести эти слова, как вошел бедный мистер Берчелл; вся семья радушно приветствовала его, все с чувством жали ему руку, а малютка Дик услужливо пододвинул ему стул.

Я был рад дружить с беднягой по двум причинам: во-первых, он искал моей дружбы, а во-вторых, всячески пытался выказать мне свою. Говорили, будто он был происхождения благородного, хоть и беден, и что молодость его прошла как-то безалаберно,— впрочем, ему и сейчас еще не было тридцати. Иной раз от него можно было услышать весьма дельное слово; однако большую часть времени он проводил с детьми, с этим «незлобивым народцем», как он их называл. Он был мастер петь баллады и рассказывать сказки, и невозможно было представить себе, чтобы он вышел из дому с пустыми карманами,— непременно припасет для детишек либо пряник, либо грошовую свистульку. Он имел обыкновение раз в год на несколько дней забредать в наши края и тогда пользовался гостеприимством кого-нибудь из поселян.

Мы усадили его ужинать с нами, и жена щедрой рукой разливала крыжовенную настойку. Пошли рассказы; он спел нам несколько старинных песенок, а детям поведал историю Беверлендского Оленя, повесть о терпеливой Гризельде, приключения Кота Мурлыки и, наконец, рассказал о замке прекрасной Розамонды. Между тем петух наш, который всегда кричал в одиннадцать, возвестил, что пора отправляться на покой; тут возникло непредвиденное затруднение с устройством нашего гостя на ночь; в доме не оказалось свободной постели, стучаться же на постоялый двор было поздно. Выход нашел малютка Дик, сказав, что уступит гостю свою часть постели, а сам ляжет с братцем Мозесом, если тот не будет возражать.

— А я,— подхватил Билл,— уступлю мистеру Берчеллу свою половину, если меня приютят сестрички!

— Браво, детки! — вскричал я.— Молодцы! Гостеприимство есть первейший долг христианина. Зверь лесной идет в свое логово, птица небесная летит в гнездышко, а беспомощный человек находит пристанище только среди себе подобных.

Величайшим скитальцем в этом мире был тот, кто пришел спасти его: он не имел своего дома, словно нарочно, чтобы испытать наше гостеприимство. Дебора, душа моя,— обратился я к жене,— дай мальчикам по кусочку сахара, да смотри, чтобы Дику достался кусок побольше,— ведь главный затейщик тут он!

Рано поутру я позвал всю семью ворошить сено от второго укоса; гость вызвался помогать, и мы охотно приняли его в компанию; работа спорилась; мы переворачивали ряд за рядом; я шел впереди, остальные — за мной следом. И все же от меня не ускользнуло рвение, с каким мистер Берчелл помогал Софье справляться с ее уроком. Закончив свою работу, он всякий раз принимался за ее участок, и между ними завязывалась оживленная беседа; впрочем, я был самого высокого мнения о Софьином благоразумии, знал, что честолюбие ей не чуждо, и мне даже в голову не приходило, чтобы нищий неудачник мог представлять для нее какую-либо опасность. Вечером мы снова пригласили мистера Берчелла ночевать у нас; на этот раз он, однако, отказался — его ждали у соседа, он даже запасся свистулькой для его сынишки.

За ужином, когда мы остались одни, разговор коснулся только что покинувшего нас злополучного молодого человека.

— Бедняга! — воскликнул я.— На его примере можно видеть, сколь пагубно предаваться легкомысленным проказам и расточительству в юные годы. Вот ведь — и умом как будто не обижен, но тем не простительнее былые его безрассудства! Несчастный горемыка! Где они все — льстецы и гуляки, некогда столь послушные его воле? Как знать, может быть, угождают своднику, который разбогател благодаря его мотовству! Те же самые люди, что когда-то превозносили своего покровителя до небес, поют теперь хвалу этому своднику; те, что прежде приходили в восторг от его остроумия, теперь глумятся над его простотой. Он беден, и сам виноват в своей бедности, ибо у него нет ни стремления стать независимым, ни навыка к какому-нибудь полезному ремеслу.

Тайная причина побудила меня высказаться, быть может, с большей суровостью, чем следовало, и Софья тотчас мягко меня упрекнула.

— Как бы ни заблуждался он прежде,— сказала она,— нынешние его обстоятельства, мне кажется, должны были бы оградить его от нареканий. За былые свои безрассудства он и без того наказан тем, что так беден. И не вы ли сами, батюшка, учили нас, что не следует лишний раз бичевать того, на кого провидение и так обрушило карающую руку?

— Твоя правда, Софья! — воскликнул мой сын Мозес.— И у одного из древних писателей находим мы великолепный пример подобной жестокости в лице деревенского невежды, который пытается освежевать Марсия, после того как, согласно преданию, с него уже содрали кожу. К тому же я вовсе не уверен, что нашему бедняку так уж худо, как вы, батюшка, думаете. О чувствах других людей не следует судить по себе. Каким бы мрачным не представлялось нам жилище крота, сам зверек, в нем обитающий, находит свои хоромы достаточно светлыми. И сказать по чести, я не приметил, чтобы гость наш особенно тяготился своим положением,— право же, Софья, всякий раз, как я видел его беседующим с тобой, мне казалось, что я вижу самого счастливого человека на свете.

Слова эти, произнесенные без какой-либо задней мысли, тем не менее вызвали на щеках Софьи румянец, и для того, чтобы скрыть его, она стала смеяться, уверяя брата, что даже не расслышала толком, о чем говорил ей гость, но что он, должно быть, и в самом деле некогда был блестящим молодым человеком. Горячность, с какой она оправдывалась, и самый ее румянец не совсем пришлись мне по сердцу, однако я решил не давать воли своей мнительности.

Так как помещик обещал прийти на следующий день, жена отправилась готовить олений паштет; Мозес погрузился в книгу, а я занялся с малышами; дочери тоже не сидели сложа руки; я долго наблюдал, как они что-то такое варят на огне. Я полагал, что они решили помочь своей матушке. Но малютка Дик шепотом сообщил мне, что они готовят туалетную воду. Питая предубеждение против всех этих притираний и снадобий, ибо мне точно известно, что, нимало не улучшая цвет лица, они, напротив, для него губительны, я неприметно пододвинул свое кресло к камину, схватил кочергу и начал ворошить ею дрова якобы для того, чтобы поправить огонь, и вдруг, как бы невзначай, перевернул весь состав — приготовить его заново они бы уже не успели.

## ГЛАВА VII

*Столичный остряк. Самый последний тупица может показаться занимательным в течение одного-двух вечеров*

На другой день мы ждали к себе мистера Торнхилла, и можно вообразить, какие были произведены опустошения в кладовой: не хотелось ударить в грязь лицом! Жена и дочки, разумеется, пожелали предстать перед гостем в самом ра-

дужном своем оперении. Мистер Торнхилл прибыл в сопровождении двух приятелей, псаря и собственного капеллана. Своим многочисленным слугам, чтобы не обременять нас, он приказал отправиться в ближайший трактир. Но жена, обуреваемая гордыней, пожелала распространить свое гостеприимство также и на слуг — вследствие чего, замечу кстати, в течение последующих трех недель стол наш был весьма и весьма скромен. Правда, намек, брошенный накануне мистером Берчеллом, будто бы мистер Торнхилл сватается к мисс Уилмот, бывшей невесте сына моего, Джорджа, несколько умерил наше радушие; впрочем, случай помог ослабить натянутость, которую все невольно испытывали: ибо, когда, не помню кто, невзначай упомянул ее имя, мистер Торнхилл тотчас воскликнул, что просто понять не может, как такую дурнушку называют красавицей,— и даже при этом побожился.

— Да я бы скорее остановил свой выбор на одном из страшилищ, что украшают церковь святого Дунстана,— прибавил он.— Разрази меня молния, если это не так!

Он рассмеялся, а вслед за ним засмеялись и мы: шутки богача всегда остроумны. Оливия же притом еще не удержалась и шепотом, достаточно, однако, громким, заметила, что мистер Торнхилл обладает неиссякаемым запасом остроумия.

После обеда я предложил свой обычный тост — за церковь. Капеллан поблагодарил меня, сказав, что церковь является его единственной возлюбленной.

— А что, Франк, признайся,— начал помещик со своей обычной лукавой усмешкой,— что, если бы церковь, твою возлюбленную, как ты ее величаешь, разодетую в батист, поставить по одну сторону, а мисс Софию, без всякого батиста, по другую,— кого бы ты выбрал?

— Обеих, конечно! — воскликнул капеллан.

— Молодчина, Франк! — вскричал помещик.— И пусть я захлебнусь этим вином, если хорошенькая девушка не стоит всех попов на свете! Ведь все эти церковные десятины и прочее — дьявольский обман, и ничего больше! Я берусь доказать, что это так.

— Сделайте милость, докажите! — воскликнул сын мой Мозес.— Я же со своей стороны постараюсь опровергнуть вас.

— Отлично, сударь! — вскричал помещик, сразу смекнув, с кем имеет дело, и подмигнул, как бы приглашая всех принять участие в предстоящей забаве.— Если вы хотите начать диспут, я принимаю ваш вызов. Но прежде всего нам нужно уста-

новить, как вы намерены вести его — аналогическим или диалогическим методом?

— Я желал бы вести его на разумных началах,— отвечал Мозес, в восторге от того, что ему представилась возможность выступить в словесном поединке.

— Вот и отлично! — воскликнул помещик.— Итак, я полагаю, вы не станете отрицать, что все сущее существует? Если вы не примете этого постулата, мне придется уклониться от дальнейшего обсуждения.

— Что ж,— ответствовал Мозес,— это я, пожалуй, могу допустить. Будь по-вашему.

— Я полагаю также,— продолжал его оппонент,— что вы согласитесь с тем, что часть меньше целого?

— Допускаю! — вскричал Мозес.— Ибо это не только справедливо, но и разумно.

— Полагаю,— воскликнул помещик,— что вы не станете отрицать, что сумма трех углов треугольника равна сумме двух прямых углов?

— Это не подлежит никакому сомнению,— отвечал тот и важным своим взором окинул всех нас.

— Превосходно! — вскричал помещик и продолжал скороговоркой: — Итак, на основании обусловленных мною предпосылок, позвольте мне заметить, что взаимосвязанность самостоятельных существований, имеющая место при обратимом двойном взаимоотношении, само собой разумеется, вызывает возможный диалогизм, который в известной мере доказывает, что сущность духовного субстрата следует отнести к категории вторичных предиктов.

— Погодите, сударь! — вскричал тут Мозес.— Я отрицаю это положение. Или вы полагаете, что я так, без боя, приму столь еретическую доктрину?

— Как? — воскликнул помещик в притворном исступлении.— Не примете? Извольте же ответить мне на следующий вопрос: согласны ли вы с Аристотелем, когда он утверждает, что родственное родственно?

— Безусловно,— отвечал Мозес.

— В таком случае,— вскричал помещик,— отвечайте без обиняков на следующий мой вопрос: чего, по вашему мнению, недостает в первой части моего силлогизма: secundum quoad или quoad minus? Да приведите ваши доводы тут же, без обиняков, слышите?

— Прошу прощения, сударь,— отвечал Мозес,— я еще не могу оценить всю силу вашей аргументации; впрочем, если

бы вы представили ее в виде одной-единственной посылки, то я думаю, что без труда мог бы ответить вам.

— Нет уж, сударь! — вскричал помещик.— Увольте! Вы, оказывается, хотите, чтобы я снабдил вас не только аргументами, но и мозгами. Прошу прощения, сударь, но вы слишком многого захотели!

Все стали смеяться над беднягой Мозесом, который один хранил унылый вид среди веселых лиц, его окружавших; в течение всего вечера он не проронил более ни слова. Мне вся эта сцена не доставила ни малейшего удовольствия. Зато Оливия принимала все ходячие, истасканные остроты нашего гостя за чистую монету, вследствие чего он и сам показался ей в высшей степени блистательным молодым джентльменом; и если вспомнить, что в понятие это входят стройный стан, изысканный наряд и хорошее состояние, то нам не трудно будет простить ее заблуждение. Несмотря на то, что на самом деле мистер Торнхилл был сущим невеждой, он умел непринужденно болтать, с величайшей легкостью разглагольствуя обо всем, что составляло обычный предмет разговоров в гостиных. Удивительно ли, что, обладая такими талантами, он завоевал расположение девушки, привыкшей ценить в себе, а следовательно и в других, один лишь внешний лоск?

Когда наш гость ушел, мы снова принялись обсуждать его достоинства. Так как все взоры и речи свои он обращал к Оливии, никто уже не сомневался, что она и была причиной его посещения. Да и сама она как будто без досады принимала добродушное подтрунивание сестры и брата. Моя Дебора тоже вся сияла, торжествуя победу дочери, словно то была ее собственная победа.

— Теперь, мой друг,— обратилась она ко мне,— я тебе, так и быть уж, признаюсь, что это я разрешила девочкам принимать ухаживания нашего помещика. Я ведь никогда не падала духом, и вот теперь ты видишь, что я права! Ибо кто знает, чем все это кончится?

— Кто знает! — повторил я со вздохом.— По правде сказать, мне это совсем не нравится: человек бедный да честный, признаться, мне больше был бы по душе, нежели блистательный этот джентльмен со всем его богатством и безбожием. И если он на самом деле таков, каким он мне кажется, знай: не видать вольнодумцу моего дитяти!

— Однако, отец,— воскликнул Мозес,— не чересчур ли вы суровы? Ведь небо карает не за помыслы, а за поступки. У всякого человека могут оказаться греховные мысли, коих он

не в силах в себе побороть. Быть может, и в данном случае вольные мысли о религии забрели в голову этому джентльмену нечаянно. А раз так, то как бы порочны ни были его мысли, сам он, являясь лишь пассивным их вместилищем, не более виноват в своих заблуждениях, чем правитель города, не защищенного крепостной стеной, в том, что в него вторглись неприятельские полчища.

— Верно, сын мой,— возразил я,— но правитель, который зазывает к себе неприятельскую армию сам, никакого снисхождения не заслуживает. Точно так же обстоит дело с теми, кто намеренно идет навстречу заблуждению. И не в том беда, что они не в силах устоять против некоторых доводов, которые кажутся им убедительными, а в том, что на другие доказательства, которые предлагаются их вниманию, они и взглянуть не желают. И пусть мы не вольны в своих мыслях в ту минуту, когда они у нас возникают, все же они получают доступ к нам либо вследствие закоренелой развращенности нашей, и тогда мы заслуживаем наказания, либо по причине крайнего легкомыслия, и тогда мы достойны презрения.

Тут жена вступила в разговор, уведя его, впрочем, несколько в сторону. Она заметила, что среди наших знакомых, к тому же вполне почтенных, можно насчитать немало вольнодумцев и что они тем не менее все оказались превосходными мужьями, не говоря о том, что она знавала девиц, которые, выйдя замуж за вольнодумцев, так искусно повели дело, что мужья их вскоре превратились в самых добрых христиан.

— И кто знает, друг мой,— заключила она,— чего только не удастся добиться нашей Оливии! Девочка за словом в карман не полезет, о чем ни заговори, да и спор вести она как будто мастерица.

— Вести спор, душа моя? Разве она читала какие-нибудь полемические сочинения? Не помнится мне, чтобы я давал ей подобные книги. Ты, право, преувеличиваешь ее достоинства.

— Ах нет, батюшка,— возразила тут Оливия,— ничуть. Я перечитала ужас сколько рассуждений. Я читала диспут между Твакумом и Скэвэром, спор Робинзона Крузо с дикарем Пятницей, и сейчас как раз читаю о словесном состязании в «Благочестивых влюбленных».

— Отлично,— вскричал я,— умница! Теперь я вижу, что ты просто создана для того, чтобы обращать вольнодумцев на путь истинный,— так поди же помоги матушке испечь пирог с крыжовенной начинкой!

## ГЛАВА VIII

*Любовь, которая поначалу сулит мало хорошего, в конце концов может оказаться источником большого счастья*

На следующее утро нас вновь посетил мистер Берчелл, а между тем я, имея на то особые причины, начинал уже находить его визиты чересчур частыми. Но что делать? Не отказывать же бедняге от дома! Труд его, правда, более чем окупал гостеприимство, которое мы ему оказывали, ибо он работал вместе с нами, не жалея сил, и чем бы мы ни были заняты — ворошили ли сено, или складывали его в скирды,— старался за двоих. Под его забавный разговор всем нам работалось веселей, да и сам он был так умен, до такой степени ни на кого не похож, что невольно возбуждал и любовь, и смех, и сердечное участие. Не нравилась мне в нем только явная его привязанность к моей Софье. Он шутливо величал ее своей маленькой госпожой, а когда дарил моим дочерям ленты, то самые красивые доставались младшей. Каким-то непостижимым для меня образом с каждым днем он все больше чаровал нас своим обхождением, замечания его казались нам все остроумнее, и даже в самом простодушии его мы теперь видели особую мудрость.

Обедали мы тут же, на лугу, и сидели, вернее сказать возлежали, за своей скромной трапезой, постлав скатерть прямо поверх сена, причем душой пиршества был мистер Берчелл. Перекликавшиеся друг с другом два дрозда да дерзкие малиновки, которые прилетали клевать крошки прямо с наших ладоней, довершали идиллию, а звуки, которые доносились до наших ушей, казались лишь эхом, лишь отзвуком безмятежности, нас охватившей.

— Всякий раз, как я сижу вот так,— говорила Софья,— я невольно вспоминаю столь прелестно описанных мистером Геем влюбленных, которых смерть сразила в объятиях друг друга. Описание это так трогательно, что я сто раз, наверное, перечитывала его, всякий раз заново им восхищаясь!

— А по мне,— возразил мой сын,— самые сильные места в этой картине уступают тем, что мы встречаем в «Акиде и Галатее» Овидия. У римского поэта сильнее развито чувство контраста, а ведь искусство трогать сердца зиждется как раз на умелом использовании этого приема.

— Замечательно,— сказал мистер Берчелл,— что оба названных вами поэта в одинаковой степени способствовали развитию дурного вкуса у себя на родине, ибо у обоих можно видеть чрезмерное увлечение эпитетом. Поэты же посредственного

дарования обнаружили, что легче всего подражать им в их недостатках; и вот английская поэзия, точно так же, как и поэзия Римской империи, представляет собой лишь набор пышных образов, без всякой связи и содержания; цепь эпитетов, ласкающих слух, но не прибавляющих ничего к смыслу. Впрочем, сударыня, я смело критикую других, и вы вправе требовать, чтобы я сам предстал перед судом людским. Согласен с вами, и, признаться, затем только и сделал свое замечание, чтобы иметь предлог прочитать собравшемуся обществу балладу; каковы бы ни были ее недостатки, она, во всяком случае, лишена тех, о которых я сейчас говорил.

БАЛЛАДА

— Веди меня, пустыни житель,
Святой анахорет;
Близка желанная обитель;
Приветный вижу свет.

Устал я: тьма кругом густая;
Запал в глуши мой след;
Безбрежней, мнится, степь пустая,
Чем дальше я вперед.

— Мой сын,— в ответ пустыни житель,—
Ты призраком прельщен:
Опасен твой путеводитель —
Над бездной светит он.

Здесь чадам нищеты бездомным
Отверзта дверь моя,
И скудных благ уделом скромным
Делюсь от сердца я.

Войди в гостеприимну келью;
Мой сын, перед тобой
И брашно с жесткою постелью,
И сладкий мой покой.

Есть стадо,— но безвинных кровью
Руки я не багрил:
Меня творец своей любовью
Щадить их научил.

Обед снимаю непорочный
С пригорков и полей,
Деревья плод дают мне сочный,
Питье дает ручей.

Войди ж в мой дом — забот там чужды;
Нет блага в суете:
Нам малые даны здесь нужды,
На малый миг и те.

Как свежая роса денницы
Был сладок сей привет;
И робкий гость, склоня зеницы,
Идет за старцем вслед.

В дичи глухой, непроходимой
Его таился кров —
Приют для сироты гонимой,
Для странника — покров.

Непышны в хижине уборы,
Там бедность и покой;
И скрыпнули дверей растворы
Пред мирною четой.

И старец зрит гостеприимный,
Что гость его уныл,
И светлый огонек он в дымной
Печурке разложил.

Плоды и зелень предлагает,
С приправой добрых слов;
Беседой скуку озлащает
Медлительных часов.

Кружится резвый кот пред ними;
В углу кричит сверчок;
Трещит меж листьями сухими
Блестящий огонек.

Но молчалив пришлец угрюмый;
Печаль в его чертах;
Душа полна прискорбной думы
И слезы на глазах.

Ему пустынник отвечает
Сердечною тоской:
— О юный странник, что смущает
Так рано твой покой?

Иль быть убогим и бездомным
Творец тебе судил?
Иль предан другом вероломным?
Или вотще любил?

Увы! спокой себя; презренны
Утехи благ земных;
А тот, кто плачет, их лишенный,
Еще презренней их.

Приманчив дружбы взор лукавый,
Но ах! как тень вослед
Она за счастием, за славой,
И прочь от хилых бед.

Любовь... любовь, Прелест игрою;
Отрава сладких слов;
Незрима в мире; лишь порою
Живет у голубков.

Но, друг, ты робостью стыдливой
Свой нежный пол открыл...—
И очи странник торопливо,
Краснея, опустил.

Краса сквозь легкий проникает
Стыдливости покров;
Так утро тихое сияет
Сквозь завес облаков.

Трепещут перси; взор склоненный;
Как роза, цвет лапит...
И деву-прелесть изумленный
Отшельник в госте зрит.

— Простишь ли, старец, дерзновенье,
Что робкою стопой
Вошла в твое уединенье,
Где бог один с тобой?

Любовь надежд моих губитель,
Моих виновник бед;
Ищу покоя, но мучитель —
Тоска за мною вслед.

Отец мой знатностию, славой
И пышностью гремел;
Я дней его была забавой;
Он все во мне имел.

И рыцари стеклись толпою:
Мне предлагали в дар
Те — чистый, сходный с их душою,
А те — притворный жар.

И каждый лестью вероломной
Привлечь меня мечтал...
Но в их толпе Эдвин был скромный;
Эдвин, любя, молчал.

Ему с смиренной нищетою
Судьба одно дала:
Пленять высокою душою;
И та — моей была!

Роса на розе, цвет душистый
Фиалки полевой
Едва сравниться могут с чистой
Эдвиновой душой.

Но цвет с небесною росою
Живут один лишь миг:
Он одарен был их красою,
Я — легкостию их.

Я гордой, хладною казалась;
Но мил он втайне был;
Увы! Любя, я восхищалась,
Когда он слезы лил.

Несчастный!.. Он не снес презренья;
В пустыню он помчал
Свою любовь, свои мученья —
И там в слезах увял.

Но я виновна; мне страданье;
Мне увядать в слезах,
Мне будь пустыня та изгнанье,
Где скрыт Эдвинов прах.

Над тихою его могилой
Конец свой встречу я,
И приношеньем тени милой
Пусть будет жизнь моя!

— Мальвина! — старец восклицает,
И пал к ее ногам...
О, чудо! Их Эдвин лобзает;
Эдвин пред нею сам.

— Друг незабвенный, друг единый!
Опять навек я твой!
Полна душа моя Мальвиной —
И здесь дышал тобой.

Забудь о прошлом; нет разлуки;
Сам бог вещает нам:
Все в жизни радости и муки,
Отныне — пополам.

Ах! будь и самый час кончины
Для двух сердец один:
Пусть с милой жизнию Мальвины
Угаснет и Эдвин [1].

---

[1] Перевод В. А. Жуковского.

Нежное участие, казалось, примешивалось к одобрению, с каким Софья слушала балладу. Внезапный выстрел, раздавшийся где-то совсем близко, нарушил наш покой. В ту же минуту из кустарника выскочил охотник и стал искать подстреленную птицу. Охотником оказался капеллан помещика, его жертвой — один из двух дроздов, что так приятно услаждали нас своим пением. Громкий выстрел, к тому же прозвучавший чуть ли не над самым ухом, порядком напугал моих дочерей, так что Софья, я заметил, со страху даже бросилась в объятия мистера Берчелла, как бы ища у него защиты.

Охотник подошел и попросил прощения за то, что причинил нам беспокойство; он и представления не имел, сказал он в свое оправдание, что мы находимся поблизости. Затем, подсев к моей младшей дочери, по обычаю охотников поднес ей трофеи, доставшиеся ему этим утром. Софья собралась уже отказаться, но матушка сделала ей тайный знак глазами,— она быстро поправилась и приняла подарок, правда, не очень охотно. Верная себе, матушка ее не стала скрывать своего торжества и шепотом заметила, что Софья одержала такую же победу над капелланом, какую одержала Оливия над его хозяином. Я, однако, подозревал, и не без основания, что мысли нашей Софьи были устремлены совсем в другую сторону. Оказывается, капеллан шел известить нас о том, что мистер Торнхилл намерен в честь наших дочерей дать бал при луне, на лужайке против нашего дома, с музыкой и угощением.

— Не стану скрывать,— присовокупил капеллан,— что имею особую корысть в том, чтобы первым доставить вам эту весточку, так как надеюсь, что в награду мисс Софья согласится быть моей дамой на этом балу.

Софья отвечала, что была бы счастлива принять его приглашение, если бы это было совместимо с ее чувством справедливости.

— Но вот джентльмен,— продолжала она, указывая взглядом на мистера Берчелла,— разделявший со мной все тяготы этого дня и поэтому имеющий право делить также и радости его.

Любезно поблагодарив ее за внимание, мистер Берчелл тем не менее уступил свое право капеллану, говоря, что в этот вечер он зван за пять миль от нас на торжественный ужин в честь праздника урожая. Признаться, отказ его меня удивил; и уж совсем было мне невдомек, как это моя младшая дочь, девица, казалось бы, рассудительная, могла предпочесть человеку вполне обеспеченному человека, чье состояние было вконец

расстроено. Впрочем, тут, видно, закон один — если оценить женщину по достоинству может лучше всего мужчина, то и в нас никто так хорошо не разбирается, как дамы. Мужчины и женщины словно нарочно поставлены шпионить друг за другом, и при этом и те и другие обладают особым даром, позволяющим им безошибочно друг о друге судить.

## ГЛАВА IX

*На сцене появляются две знатные дамы. Изысканный наряд предполагает изысканные манеры*

Едва успел мистер Берчелл откланяться, а Софья принять приглашение капеллана, как из дома примчались мои малыши, чтобы сообщить, что к нам прибыл помещик и с ним целая толпа народу. Мы поспешили домой, где застали помещика с его прихлебателями и двумя нарядными молодыми особами, которых он нам представил как знатных дам, пользующихся большим влиянием в столичном свете, где они привыкли блистать. Когда обнаружилось, что для такого многочисленного общества у нас не хватает стульев, мистер Торнхилл тотчас предложил, чтобы дамы посадили джентльменов себе на колени. Этому я воспротивился самым решительным образом, оставив без внимания неодобрительный взгляд, который жена метнула в мою сторону. Тотчас снарядили Мозеса за стульями к соседу. А так как оказалось, что для контрданса не хватает дам, то два джентльмена, прибывшие с мистером Торнхиллом, присоединились к Мозесу, чтобы заодно подыскать себе пару. Ни дамы, ни стулья не заставили себя ждать. Джентльмены привели двух румяных дочерей соседа Флембро; на макушке у каждой красовалось по алому бантику.

Но одно непредвиденное обстоятельство чуть было не испортило всего дела: хоть обе мисс Флембро и почитались первейшими плясуньями в нашем приходе, в совершенстве владея искусством джиги и хороводных плясок, они не имели ни малейшего понятия о контрдансе. Сперва мы были несколько обескуражены, но затем принялись их вертеть в разные стороны: то легонечко подтолкнем одну, то подтянем за руку другую, и, глядишь, все пошло как по маслу! Оркестр наш составляли две скрипки, флейта и барабан. Ярко светила луна; бал открыли мистер Торнхилл с моей старшей дочерью, вызвав восторг зрителей: прослышав о том, что у нас затевается, соседи сбежались и обступили нас со всех сторон.

Движения моей дочери были преисполнены такой грации, столько в них было огня, что жена не удержалась и стала уверять меня, будто девчонка только потому так ловко пляшет, что переняла все фигуры у матери. Столичные гостьи, как ни старались подражать ей, все не могли держаться с такой же легкостью. Они плыли, приседали, замирали и подскакивали — но все это было не то. Правда, зеваки говорили, что танцуют они великолепно, но, по меткому замечанию соседа Флембро, «ножки мисс Ливви так и вторят музыке — что твое эхо!». И часу не прошло, как столичные дамы, опасаясь простуды, предложили закончить бал. Одна из них при этом выразилась весьма, на мой взгляд, грубо.

— Черт меня подери,— сказала она,— я ужас как взопрела!

Дома нас ожидал изысканный холодный ужин, который мистер Торнхилл позаботился привезти с собой. Разговор сделался немного чопорнее; тут уж столичные дамы совершенно затмили моих девиц — они только и говорили, что о свете и светской жизни; коснулись также таких модных тем, как художества, благородный вкус, Шекспир и музыкальные стаканы. Правда, раза два, к великому нашему смущению, они обмолвились бранным словом, но тогда я принял это за вернейший признак светскости (впоследствии, впрочем, я узнал, что сквернословие нынче уже вышло из моды). Однако великолепие их одежды служило как бы вуалью, благодаря которой грубое выражение, слетавшее с их уст, теряло свою резкость.

Девицы мои смотрели на гостий с нескрываемой завистью и восхищением. Все, что в их манерах не совсем отвечало нашему представлению о приличии, мы относили за счет хорошего тона, принятого в высшем обществе. А необычайное снисхождение, какое оказывали нам эти дамы, затмевало в наших глазах все прочие их достоинства. Одна из них заметила, что Оливии столичная жизнь пошла бы очень на пользу, а другая тотчас прибавила, что короткая зима в столице сделала бы Софью неузнаваемой. Жена горячо поддержала обеих, говоря, что и сама только о том и мечтает, как бы послать дочерей на один сезон в столицу, дабы они там пропитались светским обращением. Я не удержался и возразил, что воспитание их и без того не соответствует скромному положению, которое им суждено занимать в обществе, и что приучать их к более изысканному образу жизни было бы насмешкой над их бедностью, ибо у них развился бы вкус к удовольствиям, для них недоступным.

— Нет таких удовольствий, нет таких радостей,— перебил меня мистер Торнхилл,— которых они не были бы достойны! Ведь сами они словно созданы на радость людям. Что касается меня,— продолжал он,— то я обладаю изрядным состоянием; а как девиз мой — любовь, свобода и наслаждение,— то, если половина всего, чем я владею, способна доставить прелестной Оливии радость, я готов передать эту долю ей, не попросив взамен ничего, кроме дозволения присоединить в придачу самого себя!

Не такой уж я был невежда в мирских делах, чтобы не знать, что за подобными оборотами обычно кроются самые гнусные предложения. Впрочем, я старался обуздать свое негодование.

— Сударь! — вскричал я.— В семье, которую вам угодно было удостоить своим посещением, развито чувство чести не менее щепетильной, нежели ваша собственная! И всякая попытка оскорбить это чувство может вызвать самые неприятные последствия. Да, сударь, одна честь и осталась нам от всех наших богатств, и это единственное сокровище мы должны беречь как зеницу ока.

Впрочем, я тут же и пожалел, что погорячился, ибо молодой человек, схватив меня за руку, стал клятвенно меня уверять, что благородство моих чувств приводит его в восторг, хотя суть моих подозрений огорчает его до крайности.

— Что же до того,— продолжал он,— на что вы только что изволили намекнуть, уверяю вас, сударь, что я и в мыслях ничего подобного не имел. Нет, нет, клянусь всеми соблазнами мира, добродетель, которая требует длительной осады,— не в моем вкусе! Молниеносный наскок — вот залог моих любовных успехов!

Тут столичные дамы, которые до сих пор держались так, словно не понимали, о чем шла речь, стали проявлять признаки крайнего неудовольствия по поводу его последних чересчур вольных слов и завели благопристойную и чинную беседу о добродетели; моя жена, капеллан и я не замедлили принять участие в разговоре, а под конец и сам помещик умилился и сказал, что раскаивается в своих сумасбродствах. Мы говорили о радостях умеренной и воздержанной жизни, о лучезарной ясности души, не оскверненной пороками. Я был так доволен, что даже позволил малышам посидеть с нами попозже, чтобы и они могли вкусить душеспасительной беседы,— мистер Торнхилл пошел еще дальше и попросил меня прочитать молитву. Я с радостью исполнил его просьбу.

О. Голдсмит, «Векфильдский священник»

В таком духе мы приятнейшим образом скоротали вечер, и гости наконец начали подумывать о возвращении домой. Знатным дамам, по-видимому, очень не хотелось расставаться с моими дочерьми, к которым они привязались необычайно, и они стали упрашивать меня, чтобы я позволил девицам проводить их до дому. Помещик поддержал их просьбу, моя жена присоединила к ним свою, а девицы глядели на меня с мольбой. Несколько потерявшись, я выдвинул было кое-какие доводы против такого предложения, но дочки с легкостью их опровергли, так что в конце концов я был вынужден прямо и безоговорочно воспретить поездку. В награду на другой день все кругом меня хмурились и на все мои слова мне отвечали только односложными «да» и «нет».

## ГЛАВА X

*Мы не желаем отставать от сильных мира сего. Невзгоды, постигающие бедняка, когда он пытается казаться выше своего состояния*

Я начал замечать, что все мои пространные и усердные лекции об умеренности, простоте и смирении были начисто забыты. Внимание к нам сильных мира сего разбудило гордость, которую я отнюдь, как оказалось, в них не уничтожил, а только усыпил. Снова, как в былые времена, на подоконнике теснились баночки с притираниями для лица и шеи. Выйдут ли во двор — солнышко оказывалось врагом, посягающим на белизну кожи, дома ли сидят — огонь в очаге грозился испортить цвет лица. Жена заявила, что от раннего вставания у барышень могут пострадать глазки, что от работы после обеда краснеют их носики, и в конце концов уверила меня, что ничто так не способствует белизне рук, как безделье. И вот вместо того, чтобы дошивать рубашки для Джорджа, они у нас теперь перекраивали наново старую свою кисею или вышивали по канве. Общество барышень Флембро — еще в недавнем прошлом резвых их подружек — оказалось вдруг недостаточно изысканным, и бедняжкам вышла полная отставка; отныне свет и светская жизнь, художества, благородный вкус, Шекспир и музыкальные стаканы составляли исключительно предмет нашего разговора.

Все это, впрочем, мы могли бы снести, но тут, на беду нашу, подоспела цыганка: вот когда мы взвились под самые облака! Едва только появилась эта смуглая сивилла, как девицы мои обе прибежали ко мне просить по шиллингу на гаданье. Сказать по правде, мне наскучило быть всегда благоразумным, и на этот

раз я не в силах был отказать им — я так любил видеть радость на их личиках! Я дал каждой по шиллингу; ради чести семьи, однако, я должен заметить, что у девиц при себе всегда были деньги, ибо жена моя щедро оделила каждую монетой достоинством в одну гинею, которую, впрочем, строго-настрого заказала разменивать. Когда они после довольно длительного совещания у гадалки наконец с ней расстались, я понял по их лицам, что нас ожидают великие удачи.

— Ну, девочки, как же ваши дела? Что, Ливви, довольна ли ты тем, что гадалка наговорила тебе на твою денежку?

— Право, батюшка,— отвечала дочка,— она, должно быть, в сговоре с нечистой силой, потому что она прямо так и объявила, что не пройдет и года, как я выйду замуж за помещика!

— А у тебя как дела, Софья? — обратился я к младшей.— Кто твой суженый?

— Ко мне, батюшка,— отвечала она,— как только сестрица выйдет за своего помещика, присватается настоящий лорд.

— Как? — вскричал я.— Только и всего — за целых два шиллинга? Помещик да лорд — за свои два шиллинга? Глупенькие, да я бы за полцены посулил одной из вас принца, а другой набоба!

Любопытство их, впрочем, имело последствия самые серьезные; отныне нам уже стало казаться, что звезды уготовили для нас судьбу совершенно исключительную, и мы уже предвкушали будущее свое великолепие.

Наверное, тысячу раз говорилось до меня — и я скажу в тысячу первый, что пора предвкушения много слаще той, что увенчана исполнением наших желаний. В первом случае мы готовим себе блюдо сами, по собственному вкусу, во втором — его для нас готовит жизнь. Невозможно тут привести всю цепь сладостных грез, которым мы предавались. Звезда наша, казалось, снова начала восходить; кругом только и разговоров было, что о страсти, которую помещик будто бы питает к моей дочери, и — таково действие молвы! — она в конце концов на самом деле не на шутку в него влюбилась. В эту приятнейшую эпоху нашей жизни жене снились на редкость чудесные сны, и каждое утро она их торжественно и обстоятельнейшим образом нам пересказывала. То ей приснится гроб и две скрещенные кости над ним — вестник близкой свадьбы; то почудится, будто карманы дочерей набиты доверху медяками — верное доказательство того, что вскоре они наполнятся золотом.

Да и у самих девиц, что ни шаг, то новая примета: таинственные поцелуи витали на их устах, в пламени свечи им мерещились обручальные кольца, в горящем камине прыгали кошельки, полные денег, и даже чаинки на дне чашки располагались узором, который сулил им любовь.

К концу недели столичные дамы прислали нам записку, в которой свидетельствовали свое почтение и выражали надежду встретиться с нами в воскресенье в церкви. И вот в субботу я замечаю, что жена с дочерьми о чем-то шушукаются все утро, кидая в мою сторону загадочные взгляды,— точь-в-точь заговорщики! Сказать по правде, я не сомневался, что у них уже готов какой-нибудь нелепый план для того, чтобы явиться на следующий день во всем своем блеске. Вечером они открыли военные действия по всем правилам: осадой, разумеется, руководила жена. Рассудив, что после чая я должен быть в хорошем расположении духа, она начала следующим образом:

— А что, Чарльз, дружочек, верно, завтра у нас в церкви будет немало людей из общества?

— Возможно, дружочек,— отвечал я.— Ну, да не беспокойся, много ли будет народа или мало, без проповеди вы не останетесь.

— В этом я не сомневаюсь,— возразила она.— Но, дружочек, я все думаю, как бы нам поприличнее туда явиться, ведь кто знает, чем все это кончится!

— Весьма похвально,— ответил я,— что вы так беспокоитесь. Я и сам люблю, чтобы мои прихожане, являясь в церковь, соблюдали приличия и в поведении своем, и в одежде. Благоговение и смирение, ясный и веселый дух — вот к чему должно нам всем стремиться!

— Да-да,— воскликнула она,— все это я прекрасно знаю! Но я хочу сказать, что самое наше прибытие в церковь надо обставить достойным образом, чтобы мы не вовсе слились с чернью, нас окружающей.

— И тут я с тобой согласен, мой друг,— отвечал я,— и я только что сам хотел тебе сказать о том же. Достойнее всего было бы явиться в церковь заранее, чтобы иметь возможность до начала службы предаться благочестивым размышлениям.

— Ах, Чарльз,— перебила она,— все это прекрасно, но ведь я не о том! Я хочу сказать, что отправляться в церковь нам подобает, как благородным людям. Ты же знаешь, от нас до церкви целых две мили, и, право же, мне больно смотреть на девочек, когда они пробираются на свои места — красные,

запыхавшиеся, растрепанные, словно перед тем бегали взапуски на деревенской ярмарке. Вот я и хочу, дружок, предложить тебе кое-что: у нас две рабочие лошади — жеребец, что служит нам уже десятый год, да Блекберри, который вот уже месяц, как ровнешенько ничего не делает. Лошади только и знают, что жиреть да лениться. Почему бы им не поработать? И вот увидишь: они будут выглядеть совсем неплохо, надо только заставить Мозеса привести их немножко в порядок.

Я отвечал, что, на мой взгляд, гораздо приличнее добираться пешком, чем на таких жалких одрах, ибо Блекберри кривой на один глаз, а у жеребца начисто отсутствует хвост; кроме того, неприученные ходить под седлом, они того и гляди могут выкинуть какую-нибудь штуку, и, наконец, у нас только и есть одно седло да седельная подушка.

Все мои возражения, однако, были отметены, и я был вынужден дать свое согласие. На следующее утро я застал сборы в поход, но, убедившись, что на эти хлопоты потребуется немалое время, отправился в церковь пешком, не дожидаясь остальных; они обещали, что вскорости последуют за мной. Простояв за кафедрой целый час в ожидании, я в конце концов вынужден был начать службу. Когда же служба подошла к концу, а их все не было, я не на шутку встревожился. Обратно я шел проезжей дорогой,— по ней надо было идти пять миль, тогда как тропа сокращала это расстояние до двух миль.

И вот где-то на полпути я повстречал кавалькаду, направлявшуюся в церковь: на одной лошади восседали сын, жена и малыши, а на другой — обе мои дочери. Я спросил, почему они так опоздали, хотя одного взгляда было достаточно, чтобы догадаться о тысяче невзгод, постигших их на пути. Сперва лошади ни за что не желали идти со двора и сдвинулись только после того, как мистер Берчелл любезно взялся подгонять их палкой и так гнал их на протяжении двухсот ярдов. Затем у жены на седельной подушке порвались подпруги, и пришлось остановиться и заняться починкой. И наконец, одной лошади вздумалось вдруг постоять, и ни палка, ни уговоры не могли принудить ее двинуться с места. Встреча моя с ними произошла как раз после окончания этого плачевного эпизода. По правде сказать, убедившись, что никакой серьезной беды с ними не стряслось, я не очень-то горевал из-за постигшей их неудачи, так как она давала мне повод подтрунивать над ними в дальнейшем; радовался я также и тому, что дочки получили наглядный урок смирения.

## ГЛАВА XI

*Мы все еще не желаем сдаваться*

Наступил канун Михайлова дня, и сосед Флембро позвал нас к себе играть в разные игры и угощаться каленьми орехами. Только что пережитые незадачи несколько посбили с нас спесь, а то, как знать, быть может, мы и отклонили бы это приглашение. Так или иначе, мы соблаговолили пойти в гости и повеселиться. Гусь и клецки нашего доброго соседа были великолепны, а пунш, по признанию такого придирчивого ценителя, как моя жена, просто превосходен. Правда, разговор нашего хозяина оказался хуже угощения, ибо истории, которыми он нас потчевал, были длинны и скучны, а непременным героем их всякий раз оказывался он сам; к тому же мы слышали их раз десять, по крайней мере, и каждый раз смеялись. Впрочем, у нас достало добродушия посмеяться и в одиннадцатый раз.

В числе приглашенных был также мистер Берчелл. Большой охотник до всяческих невинных забав, он затеял игру в жмурки; жену мою уговорили принять участие в игре, и я с удовольствием убедился, что годы еще не совсем состарили ее. Мы с соседом между тем наблюдали за играющими, смеясь каждой их увертке и похваляясь друг перед другом былой своей ловкостью. За жмурками следовали «горячие устрицы», «вопросы и ответы», и наконец все уселись играть в игру, известную под названием «Где туфелька?». Тем, кто незнаком с этой допотопной забавой, я должен все же объяснить, в чем она заключается. Играющие садятся прямо на пол в кружок, в то время как один стоит посредине и стремится перехватить туфельку, которую сидящие передают друг другу; причем всякий норовит подсунуть туфельку под себя, и она снует и беспрестанно мелькает наподобие ткацкого челнока. Та, что водит, естественно, не может быть обращена лицом ко всем сразу и вот главная прелесть игры заключается в том, чтобы шлепнуть ее подошвой по наименее защищенной части тела. Наступил черед Оливии водить; колотушки сыпались на нее со всех сторон, растрепанная, увлеченная игрой до самозабвения, голосом, который заглушил бы уличного певца, взывала она к игрокам, чтобы они не жульничали, когда — о, ужас! — в комнате появились две наши знатные дамы из столицы — леди Бларни и мисс Каролина Вильгельмина Амелия Скеггс! Перо бессильно передать это новое наше унижение, и я даже пытаться не стану описывать его. Боже праведный! Такие блистательные

дамы — а мы в таких неизящных позах! А все это мистер Флембро с его грубой затеей! Мы так и застыли от изумления, словно в камень обратились!

Встревоженные тем, что не видели нас в церкви накануне, дамы задумали проведать нас и, не застав дома, явились сюда. Оливия взяла объяснения на себя и, не вдаваясь в излишние подробности, сказала:

— Наши лошади сбросили нас.

При этом известии дамы не на шутку взволновались, но, услышав, что никто из нашей семьи не получил никаких повреждений, пришли в неописуемый восторг; однако, узнав, что мы чуть не умерли со страха, чрезвычайно опечалились; когда же их заверили, что ночь мы спали превосходно, они снова были наверху блаженства. Снисхождение их к моим дочерям было безмерно. Уже в первое свое посещение изъявляли они чувства самые теплые, теперь это была пламенная дружба, и они ничего так не желали, как того, чтобы она превратилась в вечную. Леди Бларни испытывала особое влечение к Оливии, а мисс Каролине Вильгельмине Амелии Скеггс (не могу отказать себе в удовольствии приводить ее имя полностью!), видимо, больше приглянулась младшая. Гостьи разговаривали между собой, в то время как мои дочки молча восхищались их манерами и топом. Впрочем, всякому читателю, каким бы скромным ни был его собственный удел, всегда лестно послушать великосветский разговор о лордах, знатных дамах и рыцарях подвязки; поэтому я позволю себе привести заключительную часть беседы наших дам.

— Подлинно мне известно лишь одно,— вскричала мисс Скеггс,— все это либо правда, либо нет! Можете, однако, поверить, баронесса, что все общество было фраппировано — это уж точно. Милорд изменился в лице, миледи сделалось дурно, а сэр Томкин, выхватив шпагу из ножен, поклялся, что останется предан ей до последней капли крови!

— Однако,— возразила наша баронесса,— странно, что герцогиня со мной ни словечком не обмолвилась об этой истории; не думаю, чтобы у ее светлости вдруг завелись от меня секреты. Со своей стороны могу лишь сообщить — и это уж истинная правда,— что наутро герцог троекратно воззвал к своему камердинеру: «Джерниган! Джерниган! Джерниган! Дайте мне мои подвязки!»

Но я забыл упомянуть о весьма нелюбезном поведении мистера Берчелла, который во все время разговора сидел лицом к камину и после каждой фразы приговаривал: «Чушь!» —

производя этим самое неприятное действие на всех нас и мешая разговору расправить крылья и воспарить под облака.

— К тому же, душенька Скеггс,— продолжала баронесса,— об этом ровно ничего не говорится в стихах доктора Бердока, которые он сочинил по этому случаю.

— *Чушь.*

— В самом деле, удивительно! — воскликнула мисс Скеггс.— Ведь он пишет для собственной забавы и поэтому обычно ничего не вычеркивает. Может быть, ваша честь позволит мне взглянуть на стихи?

— *Чушь.*

— Ах, душенька,— возразила баронесса,— неужто вы думаете, что я стану таскать их с собой? Хотя, по правде сказать, они прелестны, а уж я как-никак кое-что в этом деле смыслю. Во всяком случае, я знаю, что мне нравится, а что нет. Стишки доктора Бердока меня всегда приводили в восхищение. Ведь нынче пишут все такое низменное, ничего светского. Он да еще наша обожаемая графиня, что живет на Ганновер-сквер,— единственные исключения.

— *Чушь.*

— Ваша честь забывают,— возразила ее собеседница,— собственные свои сочинения в «Дамском журнале». Надеюсь, их вы не назовете низменными? Но говорят, что нам предстоит лишиться творений этого пера в дальнейшем. Неужто это правда?

— *Чушь.*

— Что делать, душенька! — отвечала ее приятельница.— Вы же знаете, что моя компаньонка выходит замуж за капитана Роуча, а бедные глаза мои не дозволяют мне писать самой, и вот я ищу сейчас другую. Не так-то легко найти что-нибудь подходящее, к тому же тридцать фунтов в год — вознаграждение чересчур ничтожное для благовоспитанной девушки из хорошей семьи, которая умеет читать, писать и держаться в обществе; что же касается наших городских вертушек, то они несносны.

— *Чушь.*

— И не говорите! — воскликнула мисс Скеггс.— В этом я убедилась на опыте. Из трех компаньонок, что мне пришлось сменить за последние полгода, одна не желала, например, заниматься рукоделием и часу в день, другой, видите ли, двадцать пять гиней в год показалось мало, а третью я сама была вынуждена прогнать, так как мне показалось, что она завела шашни с моим капелланом. Ах, дорогая моя леди Бларни, за

добродетель ведь ничего не жаль отдать — да где ее нынче найдешь?

— *Чушь.*

Жена моя прилежнейшим образом внимала всему, что говорилось: особенно сильное впечатление произвела на нее последняя часть разговора. Тридцать фунтов и двадцать пять гиней в год составляют ровнехонько пятьдесят шесть фунтов пять шиллингов; и потом деньги эти, можно сказать, так прямо лежат на дороге — кому надо, тот и бери! Так почему бы им в самом деле не попасть к нам? Она вперила в меня пытливый взор, стараясь проникнуть в мои мысли, я же, сказать по правде, и сам был того мнения, что две эти вакансии так и глядели на моих дочерей. К тому же, если молодой помещик подлинно питал серьезное чувство к моей старшей дочке, то здесь для нее открывалась возможность наилучшим образом подготовиться к ожидавшему ее новому положению в обществе.

И вот жена, чтобы нам не пришлось себя упрекать впоследствии в том, что мы в решительную минуту сплоховали и упустили такой прекрасный случай, собралась с духом и выступила от имени всей семьи:

— Прошу прощения за свою смелость, сударыни! — воскликнула она.— Мы, конечно, не имеем ни малейшего права рассчитывать на такое счастье, но вместе с тем вы поймете родительское сердце — какая мать не думает о том, чтобы вывести своих детей в люди? Что же касается моих дочерей, то скажу прямо: образование они получили изрядное и природой, слава богу, не обижены. Во всяком случае, в наших краях лучше их не найдете никого: читают, пишут, расходы подсчитывают, владеют иглой в совершенстве, вышивают и гладью и крестиком, всякое рукоделье знают, кайму вам обошьют и фестончиками и кружевом, оборки плоить умеют, в музыке толк понимают, могут белье скроить; кроме того, старшая силуэты вырезает из бумаги, младшая премило гадает на картах...

— *Чушь.*

Выслушав красноречивую эту тираду, гостьи погрузились на несколько минут в молчанье; взгляды, которыми они обменялись между собой, выражали важность и колебание. Наконец мисс Каролина Вильгельмина Амелия Скеггс соблаговолила заметить, что, по ее мнению и насколько можно судить на основании столь непродолжительного знакомства, наши девицы и в самом деле, быть может, им бы подошли.

— Впрочем, в делах такого рода, сударыня,— обратилась она к моей супруге,— необходимо прежде всего навести

самые тщательные справки и как можно короче узнать друг друга. Не подумайте, сударыня,— прибавила она тут же,— чтобы я имела малейшее сомнение в добродетели, благоразумии и скромности ваших дочерей, но подобные дела необходимо вести по всей форме, сударыня, да, да, по всей форме!

— *Чушь.*

Жена от души одобрила такую осмотрительность, говоря, что всю жизнь она сама отличалась чрезвычайной щепетильностью; впрочем, она предложила им запросить мнение соседей о наших дочерях. Это предложение баронесса отклонила, сказав, что с нее будет вполне достаточно рекомендации ее кузена Торнхилла, и теперь все наши надежды мы возложили на него.

## ГЛАВА XII

*Судьба словно нарочно подвергает семейство векфильдского священника новым унижениям; иная обида хуже горя*

Возвратившись домой, мы посвятили остаток вечера составлению стратегического плана, с помощью которого нам предстояло одержать окончательную победу. Дебора в своих рассуждениях о том, которой из двух ее дочерей досталось лучшее место и которой из них суждено вращаться в более изысканном обществе, проявила немало тонкости. Теперь все дело было за рекомендацией помещика. Впрочем, мы уже столько видели от него знаков дружеского расположения, что с этой стороны не ждали никаких трудностей. Даже после того как мы все легли, жена никак не хотела угомониться.

— А что, Чарльз, между нами говоря, сегодняшний день прошел не напрасно!

— Пожалуй! — отвечал я, несколько потерявшись.

— «Пожалуй»?! Только и всего? — воскликнула она.— А я так очень довольна! Вот увидишь — девочки завяжут ценнейшие знакомства в столице. И если я в чем уверена, так это в том, что нигде, ни в одном городе мира нет такого богатого выбора женихов, как в Лондоне. К тому же, дружок, ты знаешь, каждый божий день на свете приключаются диковинные вещи. А если знатные дамы так очарованы моими дочерьми, что же скажут знатные джентльмены, когда познакомятся с ними! Entre nous [1], я должна тебе сказать, мне чрезвычайно нравится леди Бларни — такая любезная, право! Впрочем,

[1] Между нами *(франц.)*.

я всей душой полюбила и мисс Каролину Вильгельмину Амелию Скеггс. А все-таки неплохо я их на слове поймала, когда они заговорили о том, что ищут компаньонок! Признайся, дружок, что я для наших девочек постаралась на славу!

— Что ж,— отвечал я, еще не сообразив, как на все это дело смотреть,— дай бог, чтобы и через три месяца ты могла сказать то же самое.

К такому способу я прибегал всякий раз, когда хотел поразить жену своей прозорливостью: если бы поездка девиц увенчалась успехом, возглас мой можно было бы толковать как благочестивое пожелание, в противном же случае — как пророческие слова. Однако, как я и опасался, весь этот разговор служил лишь прологом к тому, чтобы ознакомить меня с новым планом, а самый план заключался в том, чтобы — поскольку отныне нам предстояло держать головы несколько выше — на ближайшей ярмарке продать жеребца (он ведь все равно старый) и купить верховую лошадь, на которой можно было бы ездить в одиночку и по двое, чтобы не зазорно нам было являться на люди — в гости или в церковь!

Я решительно возражал против этого проекта, но возражения мои были столь же решительно отметены. И по мере того как я одну за другой сдавал свои позиции, противник мой наступал, покуда наконец не вынудил меня согласиться на продажу жеребца.

На другой день как раз открывалась ярмарка, и я думал было отправиться на нее сам; но жена уверпла меня, будто я простужен, и ни за что не соглашалась выпускать меня из дому.

— Нет, нет, дружочек,— говорила она,— наш Мозес — мальчик смышленый, продать ли, купить — все у него превосходно получается,— ведь самыми удачными нашими сделками мы обязаны ему! Он берет измором и торгуется, пока ему не уступят.

Будучи и сам изрядного мнения о коммерческой сметке сына, я охотно поручил ему это дело, и наутро сестры уже хлопотали вкруг Мозеса, снаряжая его на ярмарку; стригли ему волосы, натирали пряжки до блеска, подкалывали поля его шляпы булавками. Но вот с туалетом покончено, и он садится верхом на жеребца, положив перед собой на седло деревянный ящик для припасов, которые ему поручено заодно купить на ярмарке. На нем кафтан из той материи, что зовется «гром и молния». Мозес давно уже вырос из этого кафтана, да жаль бросать,— уж очень сукно хорошее! Жилетка его зеленовато-

желтая, как пух у гусенка, а в косу сестры ему вплели широкую черную ленту. Мы проводили его со двора и долго, покуда он совсем не скрылся из глаз, кричали ему вслед:

— Счастливого пути!

Едва успел он отъехать, как явился дворецкий мистера Торнхилла и поздравил нас: он слышал, как его молодой хозяин отзывался о нас с большой похвалой.

Положительно, мы вступали в полосу удач, ибо вслед за дворецким прибыл лакей оттуда же, с запиской к моим дочерям, в которой сообщалось, что столичные дамы получили от мистера Торнхилла обо всем нашем семействе отзыв самый благоприятный и что теперь им осталось всего лишь навести кое-какие дополнительные справки.

— Однако,— воскликнула жена,— не так-то, оказывается, легко попасть в дом к этим вельможам! Зато если уж попадешь туда, спи себе спокойно, как говорит наш Мозес!

Эту остроту (ибо жена, оказывается, шутила) обе девицы встретили громким и радостным смехом. Словом, она так была утешена этой весточкой, что даже опустила руку в карман и выдала гонцу семь с половиной пенсов.

Казалось, гостям конца не будет — один сменял другого! Следующим явился мистер Берчелл с ярмарки. Он купил мальчикам печатных пряников на два пенса, и жена приняла их на хранение с тем, чтобы выдавать каждому по одной буковке зараз. Дочерям он подарил по шкатулочке для хранения почтовых облаток, нюхательного табака, мушек и даже денег, буде таковые заведутся,— жена, правда, больше жаловала кошельки из хорьковой кожи, ибо они, по ее мнению, приносят счастье,— ну, да это так, к слову пришлось. Мы все еще питали добрые чувства к мистеру Берчеллу, хотя и сердились на него за его вчерашнюю грубость. Разумеется, мы поделились с ним своей радостью и стали спрашивать его совета: хоть мы и редко следовали чужим советам, но советоваться все же любили. Прочитав записку, которую нам прислали дамы, он покачал головой и сказал, что такого рода дела требуют очень большой осторожности. Сдержанный этот ответ навлек на него неудовольствие моей жены.

— Я знаю, сударь,— вскричала она,— что вы всегда рады придраться ко мне и к дочкам моим! Уж очень вы, сударь, осторожничать любите. Ну, да правду молвить, за разумным советом надо обращаться к тому, кто сам умел им воспользоваться.

— Сударыня,— отвечал он,— мое былое поведение не является предметом настоящей беседы. И хоть это верно, что я

в свое время сам не воспользовался разумным советом, долг мой — давать его всякому, кто в нем нуждается.

Опасаясь, как бы на его слова не последовал язвительный ответ, в котором недостаток остроумия восполнялся бы избытком яда, я поспешил переменить разговор и стал вслух гадать, что бы такое могло заставить сына так долго задержаться на ярмарке,— дело шло совсем уже к вечеру.

— О сыне не беспокойся! — воскликнула жена.— Кто-кто, а он не пропадет! Не бойся, он не из тех, что торгуют курами в дождливый день. Я сама своими глазами видела, как он заключает сделки,— чудо! Я вам сейчас расскажу такую историю, что вы животики надорвете. Да вот и он, ей-ей! Вот идет Мозес, пешком, и тащит ящик на своем собственном горбу!

И в самом деле Мозес медленно плелся домой, обливаясь потом под тяжестью деревянного ящика, который он закинул за спину на манер уличных разносчиков.

— В добрый час, Мозес, в добрый час! Ну, мой мальчик, покажи-ка, что ты нам принес с ярмарки.

— Я принес вам себя,— сказал Мозес с лукавой усмешкой, сваливая ящик на кухонный стол.

— Это-то мы видим, Мозес,— воскликнула жена,— но где же лошадка?

— Я ее продал,— вскричал Мозес,— за три фунта пять шиллингов и два пенса!

— Молодец, мой мальчик! — воскликнула она.— Я знала, что ты их вокруг пальца обведешь. Между нами говоря, три фунта пять шиллингов и два пенса — это не так плохо. Дай же их сюда!

— Денег у меня нет! — отвечал Мозес.— Я пустил их в оборот.— Тут он вытащил из-за пазухи какой-то сверток.— Смотрите! Двенадцать дюжин зеленых очков в серебряной оправе и сафьяновых футлярах.

— Двенадцать дюжин зеленых очков! — повторила жена слабым голосом.— И ты отдал жеребца, а взамен привез нам двенадцать дюжин каких-то несчастных очков!

— Матушка, дорогая! — вскричал мальчик.— Послушайте же разумное слово: это выгоднейшая сделка, иначе я не стал бы покупать их. Одна серебряная оправа стоит вдвое больше, чем я отдал за все.

— Что толку в твоей серебряной оправе? — вскричала жена в исступлении.— Я уверена, что если пустить их в продажу как серебряный лом, по пяти шиллингов за унцию, то мы и половины своих денег не выручим.

— Об этом не беспокойтесь!—воскликнул я.—За оправы вам и шести пенсов не дадут,— это посеребренная медь, а не серебро.

— Как?! — вскричала моя жена.— Не серебро? Оправы не серебряные?

— Да нет же! — воскликнул я.— В них не больше серебра, чем в твоей кастрюле.

— Итак,— сказала она,— мы потеряли жеребца и взамен получили сто сорок четыре пары зеленых очков в медной оправе и в сафьяновых футлярах! Да провались он пропадом, весь этот хлам! Этого олуха надули — надо было знать, с кем имеешь дело!

— Вот тут-то ты, душенька, и ошибаешься,— сказал я,— он совсем не должен был иметь с ними дела.

— Нет, такого дурака повесить мало,— продолжала она.— Что он вздумал притащить ко мне в дом! В печку эту дрянь, в печку, да поскорее!

— Опять, душенька, позволь не согласиться с тобой,— перебил я,— хоть они и медные, а все оставим их; лучше медные очки, чем ничего.

Между тем у бедняги Мозеса открылись наконец глаза. Он понял, что попался на удочку ярмарочному плуту, который, должно быть, с первого взгляда угадал в нем легкую добычу. Я попросил его рассказать, как было дело. Оказалось, Мозес, продав лошадь, пошел бродить по ярмарке, высматривая другую для покупки. Там он повстречал человека почтенной наружности, который пригласил его в какую-то палатку под тем предлогом, что у него якобы имеется лошадь для продажи.

— Тут,— продолжал Мозес,— к нам присоединился еще один джентльмен; он был прекрасно одет и просил двадцать фунтов под залог вот этих очков, говоря, что нуждается в деньгах и готов уступить все за треть цены. Первый джентльмен под видом дружеского участия шепнул мне, чтобы я не упускал такого случая и очки непременно купил. Я вызвал туда же мистера Флембро, и они заговорили ему зубы так же, как и мне, и вот в конце концов мы оба решили взять по двенадцать дюжин очков каждый.

## ГЛАВА XIII

*Мистер Берчелл оказывается врагом, ибо он осмелился дать неприятный совет*

Сколько ни пытались мы изображать из себя людей высшего общества, ничего не получалось; всякий раз какое-нибудь непредвиденное и злополучное обстоятельство разбивало все наши

планы. Каждое новое разочарование я стремился обратить на пользу моим домашним, ожидая, что с крушением их честолюбивых надежд мне удастся пробудить в них наконец здравый смысл.

— Итак, дети мои,— говорил я,— вы видите, сколь бесполезно тянуться за сильными мира сего и стараться удивить свет. Что получается, когда бедный человек ищет дружбы богача? Те, от кого он бежит, начинают его ненавидеть, а те, за кем он гонится сам, презирают его. В неравном союзе всегда страдает слабейший; богатым достаются все радости, бедным — все неудобства такой дружбы. Ну-ка, Дик, мальчик мой, подойди сюда и расскажи всем в поучение басню, которую ты прочитал нынче утром.

— Как-то раз,— начал малютка,— подружились Великан с Карликом. Они всюду ходили вместе и дали друг другу слово никогда не разлучаться. И вот они вдвоем отправились искать приключений. Первая их схватка была с двумя сарацинами и началась с того, что отважный Карлик что было мочи ударил одного из них. Сарацин даже не поморщился и одним махом отсек бедному Карлику руку. Плохо пришлось бы Карлику, да тут подоспел Великан, и вскоре сарацины лежали на поле боя бездыханные. Карлик в отместку отсек одному из убитых голову. Вот отправились они дальше, навстречу новым приключениям. На сей раз довелось им спасти красавицу от трех кровожадных сатиров. Теперь уже Карлик вел себя поосмотрительнее, однако и тут полез в драку первым, за что немедленно поплатился одним глазом; вскоре подоспел и Великан, и, если бы сатиры не убежали, он, конечно, убил бы их всех. Приятели радовались своей победе, а спасенная ими девица влюбилась в Великана и с ним обвенчалась. Они отправились за тридевять земель и повстречали шайку разбойников. На сей раз вступил в бой первым Великан. Впрочем, и Карлик не отставал. Бились долго и жестоко. Куда бы Великан ни повернулся, все падали перед ним ниц, зато Карлик несколько раз бывал на краю гибели. Наконец друзья одержали победу. Карлик, правда, потерял ногу. Итак, он лишился руки, ноги и глаза. Великан же, который остался невредим, без единой царапины даже, вскричал:

— Какая это великолепная забава, не правда ли, мой маленький герой? Давай с тобой одержим еще одну, последнюю победу и покроем себя бессмертной славой!

— Ах, нет! — отвечал Карлик, который теперь уже поумнел,— уволь. Я больше не боец, ибо я вижу, что после каждой битвы тебе достаются награды и почести, а на меня сыплются одни лишь удары.

Я приготовился было вывести мораль из этой басни, но тут внимание всех невольно обратилось на жену и мистера Берчелла, между которыми завязался ожесточенный спор по поводу предполагаемого отъезда моих дочерей в столицу. Жена без устали твердила о благах, которые эта поездка непременно им принесет. Мистер Берчелл с жаром пытался разубедить ее; я старался не брать ни ту, ни другую сторону. Он повторил те же доводы, что были так скверно приняты утром. Спор разгорался все сильнее, и бедная моя Дебора вместо того, чтобы приводить более убедительные доказательства, начинала говорить все громче и громче, так, что под конец была вынуждена криком скрыть свое поражение. Впрочем, заключительные слова ее были очень неприятны для всех нас: уж она-то прекрасно понимает, сказала она, что у некоторых лиц могут быть скрытые причины для того, чтобы навязывать свои советы, но она попросила бы этих советчиков впредь держаться подальше от ее дома.

— Сударыня,— отвечал Берчелл, сохраняя спокойствие и тем раззадоривая ее еще больше,— вы правы, говоря о скрытых причинах; да, у меня есть скрытые причины, но я не стану открывать их вам,— ведь я и без того привел вам немало доводов,— и вы оставили их без ответа. Однако я вижу, что мои посещения становятся в тягость, поэтому разрешите откланяться. Впрочем, я хотел бы еще раз наведаться к вам и проститься, прежде чем надолго покину эти края.

С этими словами он взял шляпу, и даже Софьины взоры, которые, казалось, укоряли его за поспешность, бессильны были удержать его.

Некоторое время после его ухода мы беспомощно глядели друг на друга. Жена, чувствуя себя виноватой, старалась под напускным спокойствием и притворной улыбкой скрыть свое смущение. Я счел нужным попенять ей.

— Так-то, жена,— воскликнул я,— так-то обращаемся мы с гостями? Так-то отвечаем мы на добро? Поверь, душа моя, что более жестоких и неприятных для меня слов ни разу еще я не слышал из твоих уст.

— Вольно ж ему было доводить меня до этого! — отвечала жена.— Ну, да я прекрасно понимаю цель его советов. Ему не угодно, чтобы мои дочки ехали в столицу, ему, видите ли, самому хотелось бы наслаждаться обществом меньшой. Или этот оборванец думает, что она не найдет лучшего общества?

— Какой же он оборванец, душенька? — воскликнул я.— Как знать, может, мы все очень заблуждаемся относительно его положения? Подчас он мне кажется самым настоящим джентль-

меном, какого мне доводилось встречать. Скажи мне, Софья, дитя мое, давал ли он тебе когда-нибудь понять, говоря с тобой наедине, будто питает к тебе особенное чувство?

— Сударь, его разговор со мной,— отвечала дочь,— бывал всегда разумен, скромен и занимателен. Что до другого — нет, никогда. Правда, однажды вскользь он заметил, что еще ни разу ему не удалось встретить женщину, способную оценить по достоинству человека, если он ей покажется бедным.

— Вечная песенка всех неудачников и лентяев! — воскликнул я.— Впрочем, ты, верно, знаешь, мой друг, как надо смотреть на подобного рода людей, и понимаешь, конечно, сколь безумно было бы ожидать, чтобы человек, который так неумело распорядился собственным счастьем, мог доставить счастье другому. Мы с твоей матушкой надеемся на лучшую для тебя участь. Этой зимой, которую ты, верно, проведешь в столице, у тебя будет возможность сделать более разумный выбор.

Не берусь сказать, что по этому поводу думала Софья. Сам же я, признаться, не очень горевал, что мы избавились от гостя, внушавшего мне немалую тревогу. Правда, совесть моя слегка роптала на такое нарушение законов гостеприимства, но я урезонил эту строгую наставницу, приведя два-три благовидных довода, которые вполне меня успокоили и примирили с собой. Угрызения совести, которые мы испытываем уже после свершения нами дурного поступка, обычно терзают нас недолго; совесть ведь изрядная трусиха, и если она не могла удержать нас от греха, то казнить нас за него и подавно не станет.

## ГЛАВА XIV

*Новые унижения, или как мнимая беда подчас оборачивается благом*

Поездка дочерей в столицу была уже решенным делом, причем мистер Торнхилл любезно обещал следить за их благонравием и извещать нас в письмах об их поведении. Тут, однако, оказалось, что необходимо привести их гардероб в соответствие с блистательным будущим, которое их ожидало, а это требовало затрат. На большом семейном совете мы стали думать, как нам добыть для этого денег или, иначе говоря, что бы из нашего имущества можно было продать. Колебания наши были непродолжительны: оставшийся мерин, лишившись своего товарища, был совершенно бесполезен в поле, а так как он был крив на один глаз, то и для езды не годился; решено было продать его

на ближайшей ярмарке, и на этот раз, во избежание обмана, я решил отвести его туда сам. Хоть до сих пор мне не приходилось заключать торговые сделки, я был уверен, что не ударю в грязь лицом. Человек составляет мнение о собственной практичности в зависимости от того, как судят о нем люди, его окружающие. Все мое общество состояло почти исключительно из моих домашних, так что я имел все основания почитать себя человеком большой житейской мудрости. Это не помешало, впрочем, жене наутро подозвать меня, едва я отошел от дома, и шепотом повторить свое напутствие — смотреть в оба!

Прибыв на ярмарку, я, как водится, заставил коня показать ход, однако покупателя все не было. Наконец подошел какой-то барышник, тщательно осмотрел лошадь, но, обнаружив, что она крива на один глаз, и разговаривать дальше не стал; подоспевший вслед за ним второй объявил, что она страдает шпатом и что он не согласился бы оплатить доставку ее с ярмарки домой, даже если бы ему эту клячу предложили даром; третий сказал, что у нее нагнет и что она гроша ломаного не стоит, четвертый по единственному глазу заключил, что у нее глисты, а пятый громогласно изумлялся, какого дьявола я торчу тут, на ярмарке, с кривой клячей, пораженной шпатом, нагнетом и глистами, которая только и пригодна, что собакам на мясо! К этому времени я уже и сам от всей души стал презирать несчастное животное, и приближение всякого нового покупателя возбуждало у меня чувство, близкое к стыду, ибо, хотя я и не верил всему, что мне тут наболтали, я все же подумал, что такое обилие свидетелей говорит в их пользу — логика, которой, кстати сказать, руководствуется Григорий Великий в своем рассуждении о добрых деяниях.

В таком-то незавидном положении и застал меня старинный мой приятель,— как и я, священник; у него тоже было какое-то дело на ярмарке; он подошел ко мне, пожал мне руку и предложил зайти в харчевню и выпить с ним, что бог пошлет. Я охотно согласился; нас провели в небольшую заднюю комнатку, где находился только один человек, почтенного вида старец, который, казалось, был всецело поглощен чтением какого-то огромного фолианта. В жизни не приходилось мне встречать человека, который бы так располагал к себе с первого взгляда! Седые кудри благородно осеняли его чело, и, казалось, крепкой свежей старостью своей он был обязан нерастраченному здоровью и сердечной доброте. Его присутствие, впрочем, не помешало нашей беседе; мы разговорились с приятелем о том, как с каждым из нас обошлась судьба, об уистонианском споре, о моем

последнем памфлете, вызвавшем ответ архидиакона и, наконец, о постигшем меня жестоком ударе. Вскоре, однако, внимание наше привлек вошедший в комнату юноша. Подойдя к старику, голосом почтительным и тихим он стал говорить ему что-то на ухо.

— Не надобно никаких извинений, дитя мое,— отвечал ему старик.— Каждый обязан помогать ближнему своему. Возьмите это, мне жаль, что здесь не больше пяти фунтов, но, если такая сумма выручит вас, я буду рад от души.

Слезы благодарности брызнули из глаз скромного юноши, но моя признательность была едва ли не больше! Я был готов задушить славного старца в своих объятиях — так порадовало меня его добросердечие! Но он снова погрузился в чтение, а мы продолжали разговор. Вдруг мой собеседник, вспомнив о деле, ради которого прибыл на ярмарку, сказал, что как ни дорожит он обществом ученого доктора Примроза, но должен ненадолго меня покинуть. Услышав мою фамилию, старик взглянул на меня пристально и, когда мой приятель вышел, осведомился, не довожусь ли я родней великому Примрозу, этому столпу веры, этому ревностному поборнику единобрачия. Никогда еще не билось мое сердце таким искренним восторгом!

— Сударь,— вскричал я,— я счастлив, что заслужил одобрение такого прекрасного человека, как вы, тем более что ваша доброта уже без того преисполнила мое сердце радостью! Да, сударь, вы видите перед собой доктора Примроза, поборника единобрачия, которого вам угодно было назвать великим. Вы зрите того самого злополучного священника, который так долго и — успешно ли, нет ли, судить не мне — боролся с этим бичом века, многобрачием!

— Сударь,— воскликнул незнакомец, затрепетав,— боюсь, что я показался вам дерзок, но я не мог сладить со своим любопытством.

— Сударь,— вскричал я, схватив его за руку,— вы ничуть не показались мне дерзким; напротив, я хочу просить вас принять мою дружбу — уважение мое вы уже завоевали.

— С благодарностью принимаю! — воскликнул он, пожимая мою руку.— О славный столп неколебимой веры! Неужто воочию зрю я?..

Тут я был вынужден прервать его: ибо хотя авторское мое тщеславие способно было переварить любую, казалось бы, порцию лести, на сей раз скромность моя возмутилась. Как бы то ни было, между нами возникла дружба, такая пламенная и внезапная, какой не встретишь и в романе. Мы принялись беседовать о самых разнообразных материях; поначалу мне показа-

лось, что он не столько учен, сколько благочестив, и что, быть может, отметает всякую доктрину как ненужный сор. Впрочем, это нимало не уронило его в моих глазах, так как я и сам в глубине души начал склоняться к такому мнению. Как бы невзначай, я заметил, что люди нынче стали проявлять прискорбное равнодушие к вере и слишком стали полагаться на собственные умозаключения.

— В том-то и беда, сударь,— отвечал он с живостью, словно всю свою ученость приберегал до этой минуты,— в том-то и беда, сударь, что мир одряхлел, а между тем космогония, или, иначе говоря, сотворение мира, вот уже много веков ставит философов в тупик. Какие только предположения не высказывали они о сотворении мира! Санхониатон, Манефо, Берозус и Оцеллий Лукан — все их попытки оказались напрасными. Последнему принадлежит изречение: «*Анархон ара кай ателутайон то пан*», или, иначе говоря,— «Все в мире пребывает без начала и конца». Да и Манефо, сам Манефо, который жил примерно во времена Навуходоносора (замечу, что Осор — слово сирийского происхождения и обычно присовокуплялось к именам царей той страны, как-то: Теглет Пал-Осор, Навон-Осор)— так вот, даже он высказал предположение не менее нелепое, чем предыдущее: «Ибо, как говорится, *эк то библион куберне-тес*»,— что означает: «Книги ничему не научат мир»; тогда он сделал попытку исследовать... Но извините, сударь, я, кажется, несколько отвлекся.

Последнее замечание было справедливо, и я никак не мог взять в толк, какое отношение к сотворению мира имело то, о чем говорил я; впрочем, я убедился, что имею дело с человеком ученейшим, и уважение мое к нему возросло еще больше. Поэтому я решил попытать его на свой оселок. Но собеседник мой был чересчур кроток и тих, чтобы вступать со мной в единоборство. На всякое мое высказывание, которое могло быть истолковано как вызов на спор, он лишь качал головой и молча улыбался, как бы давая тем понять, что при желании мог бы мне возразить. Таким образом с древней философии разговор наш неприметно перешел к предметам более злободневным, и мы поведали друг другу, что привело каждого сюда, на ярмарку.

Мне, как я ему сообщил, необходимо было продать лошадь, он же, оказалось, затем только сюда и явился, чтобы купить лошадь для джентльмена, арендовавшего одну из его усадеб. Я тут же показал свой товар, и мы ударили по рукам. Оставалось лишь рассчитаться, и он вытащил билет в тридцать фунтов и попросил меня его разменять. Таких денег у меня, конечно,

при себе не оказалось, и тогда он позвал слугу; тот не замедлил явиться, и я был поражен изяществом его ливреи.

— Послушай-ка, Авраам,— сказал его господин,— возьми этот билет и разменяй его на золото; обратись к соседу Джексону или к кому хочешь.

В ожидании слуги мой собеседник принялся горько сетовать на то, что серебро почти исчезло из обращения, а, я, в свою очередь, пожаловался, что и золота почти не стало; так что к тому времени, как Авраам вернулся, мы оба пришли к заключению, что нынче вообще с деньгами стало туго, как никогда. Авраам же сказал, что обошел всю ярмарку и нигде не мог разменять билет, хоть и предлагал полкроны за размен. Мы были весьма этим огорчены; после некоторого размышления, впрочем, он спросил меня, не знаком ли я с неким Соломоном Флембро, проживающим в наших краях; когда же я ответил, что он мой ближайший сосед, старец сказал:

— В таком случае мы с вами поладим. Я дам вам чек на предъявителя, а уж у Флембро деньжонки водятся, будьте покойны — на пять миль кругом такого богача не сыщешь! Мы с добрым Соломоном, слава богу, не первый год знакомы. Как сейчас помню, в «три прыжка» обычно я его обскакивал, зато на одной ножке он скакал дальше меня.

Чек на имя моего соседа был для меня все равно, что деньги, ибо я не сомневался, что тот в состоянии будет его оплатить; после того, как чек был подписан и вручен мне, мы расстались, весьма довольные друг другом, и мистер Дженкинсон (так звали почтенного джентльмена) со своим слугой Авраамом и моим старым мерином Блекберри потрусили с ярмарки.

Спустя некоторое время я одумался и понял, что поступил опрометчиво, согласившись взять чек взамен денег у незнакомого мне человека; я благоразумно решил догнать покупателя и забрать у него свою лошадь. Но их и след простыл! Тогда я тотчас отправился домой, решив, не теряя времени, получить со своего приятеля деньги. Честный мой сосед сидел возле своего домика и курил трубку. Когда я сообщил ему, что хотел бы получить с него деньги по чеку, он взял чек и дважды перечитал его.

— Неужели вы не разберете подписи? — спросил я.— Эфраим Дженкинсон, видите?

— Да,— отвечал он,— подпись достаточно отчетлива, и я прекрасно знаю джентльмена, которому она принадлежит,— это величайший негодяй, какого только земля носит. Это тот самый мошенник, что всучил нам с Мозесом зеленые очки. Поч-

тенной наружности человек с седыми волосами и еще у него карманы без клапанов, верно? И такой ученый разговор, все с древнегреческими речениями, о космогонии да о сотворении мира?

Я мог лишь простонать в ответ.

— Ну вот,— продолжал он,— вся его премудрость заключается в нескольких этих фразах, которые он и пускает в ход всякий раз, как видит возле себя кого-нибудь из ученых; ну, да теперь я знаю этого плута и изловлю его в конце концов.

Унижение мое было полным, однако самое неприятное было еще впереди, когда я должен был предстать перед женой и дочерьми. Школьник, сбежавший с уроков, не так боится идти в школу, где его ожидает встреча с учителем, как боялся я возвращения домой. Впрочем, я решил предупредить их гнев и готовился вспылить, придравшись к первому попавшемуся предлогу.

Увы, семья моя была настроена отнюдь не воинственно! Я застал жену и девочек в слезах, ибо приходивший к ним мистер Торнхилл объявил им, что их поездке в город не суждено совершиться. Дамы, получив от какого-то завистника, который будто бы был к нам вхож, дурной о нас отзыв, в тот же день уехали в Лондон. Мистеру Торнхиллу не удалось выяснить ни личности того, кто распускал о нас злонамеренные слухи, ни причины, побудившие его к тому; впрочем, каковы бы ни были эти слухи и кто бы ни был их творцом, мистер Торнхилл спешил нас заверить в своей дружбе и покровительстве. Таким образом мою неудачу они перенесли с достаточной твердостью, ибо она растворилась в их собственном, гораздо большем, горе.

Особенно дивились мы тому, что нашелся человек, достаточно низкий, чтобы оклеветать столь безобидное семейство, как наше: мы были бедны, а следовательно, завидовать нам было не в чем; держались же мы с таким смирением, что казалось — за что нас можно ненавидеть?

## ГЛАВА XV

*Коварство мистера Берчелла разоблачено полностью. Кто мудрит, тот остается в дураках*

Остаток вечера и часть следующего дня были посвящены тщетным догадкам: кто же наш враг? Почти не было такой семьи по соседству с нами, на которую не пало бы подозрение, причем каждый из нас имел свои особые причины подозревать то или

иное семейство. Так сидели мы да гадали, когда вдруг в комнату вбежал один из малышей; он держал в руках какой-то бумажник и сказал, что подобрал его, играя на лужайке. Бумажник этот был нам всем хорошо знаком — не раз видели мы его в руках у мистера Берчелла. Среди бумаг всякого рода внимание наше привлекла к себе одна: она была запечатана и на ней значилась следующая надпись: «Копия письма, которое надлежит послать двум дамам в замок Торнхилл». Мы тут же все решили, что клеветник найден, и только колебались: распечатывать ли нам письмо или нет? Я всячески противился тому, но Софья, говоря, что изо всех известных ей людей он менее всего способен на такую низость, настаивала на том, чтобы письмо было прочитано вслух. Ее поддержали все и, уступив их просьбам, я прочитал следующее:

«Сударыни, предъявитель сего письма откроет вам имя того, кто к вам обращается: автор его есть друг добродетели, готовый воспрепятствовать всякому покушению ее совратить. Мне стало известно о вашем намерении увезти в столицу, под видом компаньонок, двух молодых особ, отчасти мне знакомых. Я не могу допустить, чтобы доверчивость была обманута, а добродетель поругана, и считаю своим долгом предупредить вас, что столь неосторожный шаг с вашей стороны повлечет за собой последствия самые пагубные. Не в моих правилах с излишней суровостью карать тех, кто погряз в разврате и безнравственности; и ныне я не стал бы пускаться в объяснения, если бы речь шла всего лишь о какой-нибудь легкомысленной проказе, а не о тяжком проступке. Примите же мое дружеское предостережение и поразмыслите о последствиях, каковые наступят, если порок и распутство проникнут туда, где доныне царила мирная добродетель».

С сомнениями было покончено. Правда, это письмо можно было понимать двояко, и осуждение, в нем выраженное, могло бы с таким же успехом относиться к тем, кому оно было адресовано, как и к нам. Но так или иначе оно дышало явным недоброжелательством, а этого с нас было довольно. У жены едва достало терпения дослушать письмо до конца, и она тут же дала волю своему негодованию на его автора. Оливия была не менее сурова, а Софья казалась потрясенной его предательством. Что касается меня, я в жизни не встречал более вопиющей неблагодарности. И я объяснял ее единственно его желанием задержать мою младшую дочь в деревне, чтобы самому иметь возможность чаще видаться с ней.

Мы перебирали различные способы мщения, когда второй

наш малыш прибежал сообщить, что мистер Берчелл идет к нам и уже находится на том конце поля. Невозможно описать то смешанное чувство — боли от только что понесенной обиды и радости от предвкушения близкой мести,— которое охватило нас. Правда, мы всего лишь хотели попрекнуть мистера Берчелла его неблагодарностью, но при этом уязвить его как можно чувствительнее. И вот с этой целью мы сговорились встретить его, как всегда, приветливой улыбкой и начать разговор даже любезнее, чем обычно, чтобы отвлечь его внимание; затем, посреди всего этого благодушия, застигнуть его врасплох, внезапно, как землетрясение, ошеломить его и заставить ужаснуться собственной низости. Осуществление нашего плана жена взяла на себя, так как и в самом деле имела некоторый талант к подобного рода предприятиям. Вот он приближается, входит в дом, подвигает себе стул и садится.

— Хорошая погодка, мистер Берчелл!

— Погода отличная, доктор; впрочем, боюсь, что быть дождю: что-то побаливает нога.

— Рога побаливают? — воскликнула моя жена с громким смехом, и тут же попросила прощения, говоря, что ей подчас трудно бывает удержаться от шутки.

— Дражайшая миссис Примроз,— отвечал он,— от души прощаю вас, тем более что не догадался бы, что вы изволили шутить, кабы вы сами о том не сказали.

— Возможно, возможно,— сказала она, подмигивая нам.— Ну, да вы, верно, знаете, почем фунт шуток?

— Не иначе, сударыня,— отвечал мистер Берчелл,— вы сегодня с утра читали книгу острословия! Фунт шуток, ведь это куда как остроумно! И все же, сударыня, что до меня, я предпочел бы полфунта здравого смысла.

— Охотно верю,— ответила жена, все еще улыбаясь, хотя шутка уже обратилась против нее.— Тем не менее я знавала джентльменов, мнящих себя бог знает какими умниками, а между тем этого здравого смысла не было у них и на грош.

— Вам, верно, встречались и дамы,— возразил ее противник,— притязающие на остроумие без малейших к тому оснований.

Я быстро смекнул, что в этой перепалке жене несдобровать, и решил вмешаться в разговор и повести его в несколько более суровом тоне.

— И остроумие, и здравый смысл,— воскликнул я,— ничто без честности: она одна придает человеку цену; невежествен-

ный и добродетельный поселянин стоит неизмеримо выше какого-нибудь философа, если тот порочен. Но что талант, что храбрость, если нет при этом сердца? «Венец творенья — честный человек» — помните?

— Должен сказать, что это затасканное изречение Александра Попа мне всегда казалось недостойным его дарования,— возразил мистер Берчелл,— каким-то нелепым самоуничижением. Ведь хорошую книгу мы ценим не за то, что в ней нет изъянов, а за те красоты, что находим в ней; так и в человеке самое важное не то, чтобы за ним числилось поменьше недостатков, а то, чтобы у него было побольше истинных добродетелей. Иному ученому, быть может, не хватает благоразумия, этот государственный муж страдает избытком гордости, а тот воин отличается чересчур свирепым нравом; но неужели этим людям должны мы предпочесть несчастного поденщика, который влачит жалкое существование, не вызывая ни хулы, ни похвал? Это все равно, что предпочесть скучные и правильные картинки фламандской школы дивно вдохновенному, пусть неправильному, карандашу римского художника!

— Сударь,— отвечал я,— замечание ваше справедливо в том случае, когда поистине лучезарной добродетели противопоставляются какие-нибудь незначительные недостатки, но, когда великие пороки противостоят у одного и того же человека столь же необычайным добродетелям, тогда, сударь, такой человек достоин презрения.

— Возможно,— воскликнул он,— что и существуют на свете чудища, каких вы сейчас обрисовали, у которых великие пороки сочетались бы с великими добродетелями, однако мне за всю мою жизнь ни разу они не попадались. Напротив, я замечал, что обычно человек ума незаурядного обладает также и добрым сердцем. В самом деле, провидение и тут являет необычайную свою благость, редко наделяя острым умом того, чье сердце преисполнено скверны, и, таким образом, там, где есть воля творить зло, обычно не хватает сил эту волю поддержать. Это правило как будто простирается даже на животное царство; ведь род мелких хищников отличается коварством, жестокостью и трусостью, в то время как звери, наделенные силой великой, обычно благородны, храбры и великодушны.

— Замечание справедливое,— возразил я,— однако я без труда мог бы указать сей же час человека,— тут я пристально воззрился на него,— у которого ум и сердце находятся в самом

удивительном противоречии друг с другом. Да, да, сударь,— продолжал я, возвышая голос,— и я рад случаю, который дает мне возможность обличить его в ту самую минуту, когда почитает он себя в безопасности! Знаком ли вам этот предмет, сударь,— этот бумажник?

— Да, сударь,— отвечал он, ничуть не меняясь в лице,— это мой бумажник, и я рад, что он нашелся.

— А это письмо?! — воскликнул я.— Оно вам знакомо? Да не вздумайте хитрить, слышите? Смотрите мне в глаза и отвечайте: знакомо ли вам это письмо?

— Это письмо? — отвечал он.— Конечно; я его сам написал.

— И у вас поднялась рука,— продолжал я,— написать такое письмо? Какая низость и какая неблагодарность!

— И у вас поднялась рука,— отвечал он, дерзко глядя мне в глаза,— вскрыть мое письмо? Какая низость! Да знаете ли вы, сударь, что за одно это я могу вас повесить? Достаточно мне пойти к судье и заявить под присягой, что вы вскрыли чужой бумажник, как вас повесят тут же, перед дверьми собственного вашего дома!

Эта наглая выходка повергла меня в совершенное неистовство.

— Неблагодарная тварь! — закричал я, не в силах уже сдержаться.— Вон, и не оскверняй моего жилища! Вон! И не попадайся мне на глаза! Вон отсюда, и да будет совесть твоя тебе палачом!

С этими словами я швырнул ему бумажник под ноги. Он подобрал его с улыбкой, преспокойно захлопнул его и ушел; мы были поражены его хладнокровием. Больше всего жену выводила из себя именно эта его невозмутимость и то, что он как будто и не думал стыдиться своей подлости.

— Душа моя,— сказал я, чувствуя необходимость успокоить слишком уж бурное негодование моих близких,— никогда не следует удивляться тому, что у дурных людей нет стыда; они краснеют лишь в тех случаях, когда их уличают в добром деле, пороками же своими они тщеславятся.

Грех и Стыд (так гласит аллегория) были некогда друзьями и в начале странствования шли рука об руку. Вскоре, однако, союз этот показался неудобен обоим: Грех частенько причинял беспокойство Стыду, а Стыд то и дело выдавал тайные замыслы Греха. Они все вздорили меж собой и наконец решили расстаться навсегда. Грех смело продолжал путь, стремясь обогнать Судьбу, которая шествовала впереди в образе палача; Стыд, будучи

по натуре своей робок, поплелся назад к Добродетели, которую они в самом начале своего странствия оставили одну. Так-то, дети мои, едва человек ступит на стезю порока, как Стыд его покидает и спешит назад — охранять оставшиеся немногочисленные добродетели.

## ГЛАВА XVI

*Наши пускают в ход хитрость, но им отвечают хитростью еще большею*

Не знаю, как Софья, но остальные члены семьи легко примирились с отсутствием мистера Берчелла, утешаясь обществом помещика, который отныне зачастил к нам и подолгу у нас просиживал. Ему не удалось потешить моих дочерей столичными увеселениями, как он того желал, зато он не упускал случая доставить им те скромные развлечения, какие были доступны в нашей уединенной жизни. Он приходил с утра, и, пока мы с сыном работали в поле, сидел с дамами, забавляя их описанием столицы, с каждым закоулком которой он был прекрасно знаком. Он мог пересказать самые последние сплетни театральных кулис и все каламбуры прославленных остряков знал наизусть задолго до того, как они попадали в сборники. В перерывах между разговорами он обучал моих дочерей игре в пикет или заставлял моих мальчуганов драться по всем правилам бокса, затем чтобы они, как он выражался, «навострились»; впрочем, мы были так ослеплены желанием заполучить его в зятья, что не видели всех его несовершенств. Жена — надо отдать ей справедливость — расставляла тысячи ловушек или, сказать скромнее, употребила все свое искусство, чтобы оттенить достоинства своей дочери. Печенье к чаю потому лишь получилось такое рассыпчатое и хрустящее, что его пекла Оливия; настойка сладка оттого, что Оливия собственноручно собирала крыжовник; нежно-зеленым цветом своим огурчики обязаны были тому, что это Оливия готовила рассол, а пудинг вышел таким удачным лишь благодаря уму, с каким Оливия сочетала его составные части. Затем бедная женщина принималась говорить, что господин Торнхилл с Оливией совсем друг другу под стать, и ставила их рядышком, чтобы решить, кто же в конце концов выше. Ухищрения ее, которые она считала тайными и которые на самом деле были очевидны для всех, чрезвычайно нравились нашему благодетелю, и он каждый день являл новые доказательства своей страсти; правда, страсть эта еще не приняла форму официального предложения руки и сердца. Впрочем, мы ожидали, что это может

случиться в любую минуту, а самую медлительность его приписывали то врожденной застенчивости, то боязни вызвать неудовольствие дядюшки. Приключившееся вскоре событие не оставило уже никаких сомнений в том, что он намеревается сделаться членом нашей семьи; что касается жены, то она в этом видела форменное обещание.

Как-то, побывав с ответным визитом у соседа Флембро, мои жена и дочки обнаружили, что члены его семейства заказали свои портреты странствующему живописцу, который брал по пятнадцати шиллингов с головы. Надо сказать, что между нашими семействами существовало своего рода соперничество — каждое стремилось выказать свой вкус перед другим; так что мы, конечно, очень всполошились, обнаружив, что те опередили нас; и вот, несмотря на все мои доводы, а я привел их немало, было решено, что и мы закажем свои портреты живописцу. Итак, мы его пригласили к себе (что я мог поделать?), и теперь нам оставалось показать превосходство своего вкуса в выборе поз. В семье соседа насчитывалось семь человек, они взяли семь апельсинов — каждый по апельсину, и так их художник и изобразил — каждого в отдельности, с апельсином в руке. Ни вкуса, ни фантазии, а уж о композиции говорить не приходится! Нам хотелось чего-нибудь позатейливее, и после долгих споров мы наконец пришли к единодушному заключению: чтобы художник написал с нас большой семейный портрет в историческом жанре. Оно и дешевле получалось, ибо тут требовалась всего одна рама и, уж конечно, было не в пример благороднее; нынче только так портреты и пишут. Мы никак не могли подобрать исторический сюжет, который подошел бы всем, и поэтому решено было, что каждый изберет то историческое лицо, которое ему придется по душе. Так, жена захотела быть представлена Венерой, причем живописцу велели не скупиться на брильянты в корсаже и волосах. Малыши должны были изображать купидонов подле нее, в то время как я в полном своем облачении преподносил ей мои книги, написанные по поводу уистонианского диспута. Оливия была задумана как амазонка, с хлыстом в руке, среди цветов, в расшитом золотом платье для верховой езды. Софья должна была быть представлена пастушкой с таким количеством овец, какое живописец согласится изобразить за ту же цену. Мозеса нарядили в шляпу с белым пером.

Помещик был очарован нашим вкусом и настоял на том, чтобы его включили в фамильный портрет у ног Оливии, в виде Александра Македонского. В этом его желании мы усмотрели самое недвусмысленное намерение породниться с нашей семьей

и, уж конечно, не могли ему отказать. Художнику было велено приступить к делу, а так как работал он усердно и быстро, то уже на четвертый день картина была готова. Это было большое полотно, и художник, надо отдать ему справедливость, не пожалел красок, за что и удостоился щедрой похвалы от моей супруги. Мы остались очень довольны его работой; но одно злосчастное обстоятельство, о котором мы не подумали раньше, теперь, по окончании работы, чрезвычайно нас огорчило. Картина была так велика, что во всем доме не оказалось для нее места. Как это мы упустили из виду столь существенное обстоятельство, остается загадкой. Но так или иначе мы страшно просчитались. Картина ни в одни двери не проходила, и вот вместо того, чтобы тешить наше честолюбие, она стояла в летней кухне, занимая целую стену — в том самом месте, где живописец натянул холст на подрамок и расписал его, к вящему нашему унижению и великой радости всех соседей. Одни сравнивали ее с пирогой Робинзона Крузо, которую нельзя было сдвинуть с места из-за ее величины; по мнению других, она больше напоминала катушку в бутылке; третьи ломали голову, как ее теперь вытащат, четвертые же дивились, как только она влезла туда.

Но не столько насмешек, сколько злоречия вызывала эта картина. Слишком велика была честь, оказанная нам помещиком, чтобы не пробудить зависть у соседей. Всюду на наш счет вполголоса сплетничали, и покой наш постоянно нарушался людьми, которые из дружбы сообщали нам, что о нас говорят наши враги. Все эти толки мы, разумеется, рьяно опровергали; но ведь сами возражения подчас и питают сплетню.

Мы снова стали держать совет: как обезоружить злобу наших врагов? И выработали план, на мой взгляд, даже чересчур хитроумный. Надобно было выяснить, имеет ли мистер Торнхилл в самом деле серьезные намерения, и поэтому жена взяла на себя миссию прощупать его и с этой целью задумала обратиться к нему за советом относительно замужества своей старшей дочери. Если этот маневр не вынудит его сделать предложение, положили пугнуть его соперником. На последний шаг я, однако, никак не хотел дать свое согласие, пока Оливия не обещала мне, что, если помещик в конце концов так и не пожелает на ней жениться сам, она выйдет замуж за того, кого изберут ему в соперники. Таков был наш план, и если я не достаточно решительно противился исполнению его, то и не слишком его одобрял.

Итак, в следующее посещение мистера Торнхилла девицы постарались не показываться ему на глаза, чтобы дать возмож-

ность матушке действовать, как задумано; удалились они, правда, всего лишь в соседнюю комнату, откуда могли слышать весь разговор. Жена искусно начала его замечанием об удивительном счастье, привалившем одной из мисс Флембро, которой достался такой жених, как мистер Спанкер. Гость согласился; впрочем, заметила жена, имея изрядное приданое, всякая может рассчитывать на хорошего жениха.

— Но, боже, помоги бесприданнице! — воскликнула она, Кому нужна красота, мистер Торнхилл? Кому нужна добродетель да и прочие достоинства в наш корыстный век? Не какова невеста, а каково ее приданое — вот что нынче интересует людей!

— Сударыня,— отвечал он,— я не могу не оценить справедливость, а также оригинальность вашего замечания; и если б я был король, поверьте, я бы все устроил иначе. То-то было бы раздолье бесприданницам! И в первую очередь я, конечно, позаботился бы о ваших дочерях.

— Ах, сударь,— отвечала жена,— вам угодно шутить; впрочем, я хотела бы быть королевой: тогда я знала бы, где мне искать муженька для своей старшей! Но раз уж мы всерьез об этом заговорили, мистер Торнхилл, не присоветуете ли мне, где найти подходящего жениха для нее? Ей уже девятнадцать лет, красотой не обижена, и образована изрядно и, по моему смиренному разумению, не лишена кое-каких природных дарований.

— Сударыня,— возразил он,— если бы от меня зависел выбор, я бы для нее постарался разыскать человека, обладающего всеми достоинствами, какие потребны, чтобы ангела сделать счастливым; человека разумного, богатого, с изысканным вкусом и открытым сердцем; таков, сударыня, на мой взгляд, и должен быть муж вашей дочери!

— Так-то так, сударь,— сказала она,— да есть ли у вас на примете такой человек?

— О нет, сударыня,— возразил он,— невозможно представить себе человека, достойного быть ее мужем; это слишком большое сокровище, чтобы один человек обладал им исключительно: она богиня. Клянусь вам, я говорю то, что думаю: она ангел!

— Ах, мистер Торнхилл, вы льстите моей бедной девочке. А между тем мы подумываем, не отдать ли ее одному из ваших фермеров, он недавно схоронил свою матушку и теперь ищет хозяйку в дом; да вы его знаете — я говорю об Уильямсе; у этого есть деньжонки, мистер Торнхилл, он ее не уморит с голоду;

он уже давно к ней сватается. (Это была истинная правда.) Но, сударь,— заключила она,— мне хотелось бы заручиться вашим одобрением.

— Как, сударыня! — отвечал он.— Моим одобрением, сударыня?! Одобрить такой выбор — да ни за что! Как? Принести всю эту красоту, ум, добродетель в жертву деревенскому оболому, который не способен даже оценить своего счастья! Извините, но я никак не могу одобрить такую вопиющую несправедливость! К тому же у меня есть причины...

— Причины, сударь? — подхватила Дебора.— Если у вас есть причины, то это меняет дело. Но позвольте полюбопытствовать, что у вас за причины?

— Увольте, сударыня,— отвечал он.— Они слишком глубоко запрятаны (тут он положил руку на сердце) — они погребены здесь, они недосягаемы.

Он ушел, и на общем семейном совете мы долго ломали голову, как понять все эти изъявления деликатных чувств. Оливия видела тут признак самой возвышенной страсти. Я был не столь в том уверен; мне и самому казалось, что тут пахнет любовью, да только не той, что приводит к венцу; как бы то ни было, однако решено было продолжать осуществление плана относительно фермера Уильямса, который ухаживал за моей дочерью с самого нашего появления в этих краях.

## ГЛАВА XVII

*Где та добродетель, что устоит перед длительным и сладостным соблазном?*

Счастье дочери было для меня важнее всего, и поэтому упорство мистера Уильямса, человека состоятельного, благоразумного и прямодушного, меня радовало. Немного потребовалось усилий, чтобы разжечь его былую страсть, и на второй или третий вечер они встретились с мистером Торнхиллом в нашем доме и обменялись яростными взглядами. Впрочем, Уильямс платил аренду исправно, и посему помещичий гнев не был ему страшен. Оливия же, со своей стороны, великолепно разыграла роль кокетки (если можно назвать ролью то, что являлось ее подлинной сущностью) и выказывала новому поклоннику самое нежное внимание.

Мистер Торнхилл, казалось, был убит столь явным предпочтением и с видом грустно-задумчивым удалился. По правде сказать, я никак не мог взять в толк, почему он, если и в самом

деле такое положение вещей огорчает его, не положит конец своему страданию, открыто заявив о своем чувстве. Впрочем, как ни велика была боль, испытываемая им, она не могла равняться с мукой, которую испытывала Оливия. После каждой такой встречи ее поклонников, а такие встречи происходили не раз, она обычно спешила где-нибудь уединиться, чтобы всецело предаться своему горю. В таком-то положении я и застал ее однажды после того, как она весь вечер была притворно весела.

— Ну вот, теперь ты видишь, мое дитя,— сказал я,— что все твои упования на чувство мистера Торнхилла — мечта; он допускает соперничество человека во всех отношениях ниже его стоящего, хотя и знает, что в его власти получить твою руку, стоит только объясниться открыто.

— Правда ваша, батюшка,— отвечала она,— однако у него есть немаловажная причина медлить, я это знаю доподлинно. Искренность его слов и взоров убеждает меня в том, что я пользуюсь несомненным его расположением. Пройдет совсем немного времени, и я надеюсь, что благородство его чувств станет явным для всех и убедит вас в том, что мое мнение о нем справедливее, нежели ваше.

— Оливия, дружочек мой,— ответил я,— ведь мы уже немало употребили уловок, тобой же придуманных, чтобы заставить его объясниться, и заметь, что я ни в чем тебя тут не стеснял. Не думай, впрочем, дорогая моя, что я и в дальнейшем потерплю, чтобы его честного соперника продолжали дурачить ради твоей злополучной страсти. Проси какой хочешь срок для того, чтобы подвести своего мнимого поклонника к объяснению; однако к концу этого срока, если он окажется по-прежнему беспечен, я должен буду настаивать, чтобы достопочтенный мистер Уильямс был вознагражден за свое постоянство. Честное имя, которое я себе снискал, обязывает меня к этому, и нежность родителя никогда не поколеблет во мне твердости, необходимой благородному человеку. Итак, назови мне срок — пусть самый отдаленный! — да постарайся как-нибудь оповестить мистера Торнхилла о том дне, когда я намерен отдать тебя за другого. Если он действительно любит тебя, то собственный разум подскажет ему единственный способ не потерять тебя навеки.

Она не могла не признать всей справедливости моих слов и подтвердила данное ею обещание выйти замуж за мистера Уильямса, если другой окажется бесчувствен. При первом же случае в присутствии мистера Торнхилла был назначен день,

когда ей предстояло обвенчаться с его соперником; сроку положили месяц.

Вследствие сих решительных мер мистер Торнхилл, казалось, встревожился пуще прежнего, меня же беспокоило душевное состояние Оливии. В жестокой борьбе страсти с благоразумием, которая происходила у нее в душе, она совершенно потеряла свойственную ей живость характера и веселость, и теперь при всяком случае стремилась скрыться от людей и лить слезы в одиночестве. Прошла неделя, а мистер Торнхилл никаких усилий не прилагал к тому, чтобы помешать свадьбе. Следующую неделю он был нежен не менее обычного, но по-прежнему ничего не говорил. На третьей он вовсе перестал бывать. Однако, к удивлению своему, я не заметил, чтобы Оливия проявила досаду либо нетерпение; напротив, меланхолическое спокойствие, казалось, овладело ее духом, и спокойствие это я принял за знак примирения с судьбой. Что касается меня, я от души радовался мысли, что дочь моя будет жить отныне в довольстве и мире, и хвалил ее за то, что она предпочла истинное счастье показному великолепию.

Однажды вечером, дня за четыре до предполагаемой свадьбы, все семейство собралось вкруг нашего уютного камина, делясь воспоминаниями о прошлом и планами на будущее, строя тысячи всевозможных проектов и смеясь собственным дурачествам.

— Ну вот, Мозес,— воскликнул я,— скоро будем пировать на свадьбе, сынок. Что ты скажешь о наших делах?

— По моему разумению, отец, все устраивается отличнейшим образом, и я как раз сейчас подумал, что, когда сестрица Ливви станет женой фермера Уильямса, нам можно будет бесплатно пользоваться его прессом и бочонками для пива.

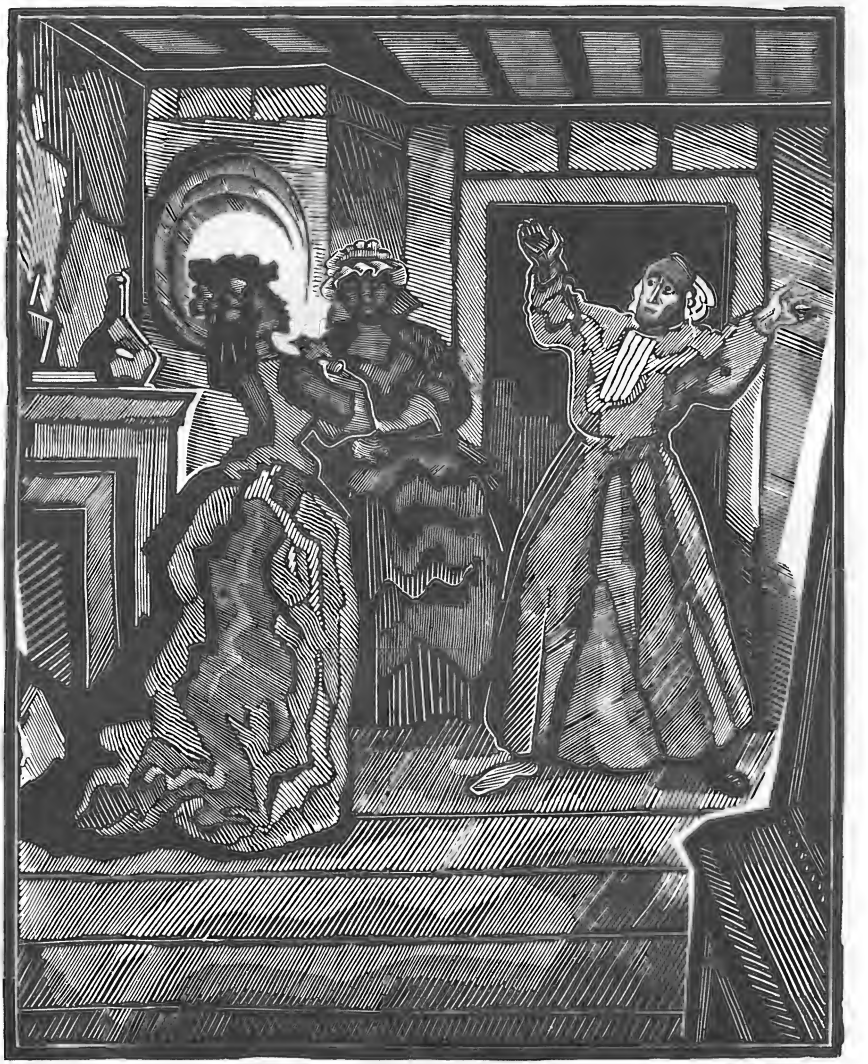
— Верно, Мозес! — воскликнул я.— И в придачу для пущего веселья он еще споет нам «Женщину и Смерть»!

— Он выучил нашего Дика этой песне,— воскликнул Мозес,— и, по-моему, малыш поет ее премило.

— Вот как? — воскликнул я.— Что ж, послушаем. Где же наш малютка Дик? Давай его сюда, да пусть не робеет.

— Братец Дик,— воскликнул самый младший мой мальчонка Билл,— только что вышел куда-то с сестрицей Ливви; но фермер Уильямс научил и меня двум песенкам, и я их сейчас вам спою, батюшка. Какую хотите — «Умирающего Лебедя» или «Элегию на смерть бешеной собаки»?

— «Элегию», мальчик, конечно, «Элегию»,— сказал я,— я еще ни разу ее не слышал. Дебора, душа моя, печаль, как тебе



О. Голдсмит, «Векфильдский священник»

известно, сушит — не распить ли нам бутылочку твоей крыжовенной настойки, чтобы развеселиться? Последнее время я столько слез пролил над всякими этими элегиями, что, боюсь, без живительной влаги не выдержать мне и на сей раз. А ты, Софья, побренчи-ка на гитаре, пока он поет!

ЭЛЕГИЯ
НА СМЕРТЬ БЕШЕНОЙ СОБАКИ

Мои друзья, вот быль для вас,
А может, небылица,
Хоть коротенек мой рассказ,
Зато недолго длится.

Жил некде праведник большой,
Он в рай искал дорогу,
И веру чтил он всей душой,
Когда молился богу.

Врага встречал он своего
Как друга дорогого
И одевался для того,
Чтобы одеть нагого.

Но в том краю, гроза воров,
Жила еще собака:
Барбос, лохматый блохолов,
Задира и кусака.

Тот человек и тот барбос
До ссоры жили в мире,
Но тяпнул человека пес,
Как свойственно задире.

На шум людей сбежалось тьма,
Твердили в одно слово:
Как видно, пес сошел с ума,
Что укусил святого.

Тут рану рассмотрел народ
И пуще рассердился.
Кричали: человек умрет,
Проклятый пес взбесился.

Но чудеса плодит наш век,
И люди зря галдели:
Пес околел, а человек
Живет, как жил доселе [1].

[1] Перевод В. Левика.

— Молодчина, Билли, право, молодчина! Воистину трагическая элегия! Выпьем же, дети, за здоровье Билли, да станет он епископом!

— От всей души согласна! — воскликнула жена.— И если он так же хорошо будет читать проповеди, как поет, то я за него спокойна. Впрочем, ему и не в кого плохо петь! У меня по материнской линии все в роду пели. У нас на родине даже поговорка такая сложилась: «Все Бленкинсоны косят на оба глаза, у Хаггинсов такая слабая грудь, что и свечи задуть не могут, Грограммы — мастера песни петь, а Марджорамы — рассказывать истории».

— Отлично! — вскричал я.— И должен сказать, что какая-нибудь простонародная песенка мне милей нынешней высокопарной оды и этих творений, что ошеломляют нас своим единственным куплетом, удивляя и отвращая нас в одно и то же время. Пододвинь братцу стакан, Мозес! Беда всех этих господ — сочинителей элегий в том, что они приходят в отчаяние от горестей, которые никак не могут взволновать человека разумного. Дама потеряла муфту, веер или болонку, и, глядишь, глупый поэт мчится домой облечь это бедствие в рифму.

— Может быть, в области высокой поэзии,— воскликнул Мозес,— в самом деле существует такая мода, но песенки, что распевают в парке Ранела, трактуют о материи вполне обыденной, и все составлены на один манер. Колин встречает Долли, и между ними завязывается беседа; он привозит ей с ярмарки булавку для волос, она дарит ему букетик; затем они отправляются в церковь под венец и советуют всем молоденьким нимфам и пастушкáм обвенчаться как можно скорей.

— Прекрасный совет! — воскликнул я.— И нигде, говорят, он не звучит так убедительно, как в этом парке; там человека не только уговорят жениться, но еще и жену ему подыщут. Укажут: «Тебе не хватает того-то и того-то»,— и тут же предложат недостающий товар. Вот это торговля, сын мой, вот это я понимаю!

— Верно, сударь,— отвечал Мозес,— и говорят, что таких ярмарок невест только две во всей Европе: Ранела в Англии и Фонтарабия в Испании. Испанская ярмарка бывает раз в году, английскую же невесту можно приобрести всякий вечер.

— Правда твоя, мой мальчик! — воскликнула тут его матушка.— На всем белом свете нет таких жен, как в нашей старой Англии.

— И нигде жены не умеют так вертеть мужьями, как в Англии! — прервал я ее.— Недаром в Европе говорят, что, если

перекинуть мост через море, все дамы перейдут к нам поучиться у наших жен, ибо таких жен, как наши, ни в какой другой стране не сыщешь. Впрочем, дай-ка сюда еще бутылочку, Дебора, жизнь моя, а ты, Мозес, спой нам какую-нибудь славную песенку. Да будут благословенны небеса, ниспославшие нам покой, доброе здоровье и довольство! Сейчас я чувствую себя счастливее самого могущественного монарха на свете! Разве у него есть такой камин, разве окружают его такие милые лица? Нет, моя Дебора, пусть мы с тобой стареем, зато вечер нашей жизни обещает быть ясным. Ни единое пятнышко не омрачило совести наших предков, и мы после себя тоже оставим честное и добродетельное потомство. Пока мы живы, они служат нам опорой и радостью на этом свете, а как умрем, передадут незапятнанную честь нашего рода своим потомкам. Запевай же, сын, песню, а мы все подтянем! Но где возлюбленная моя Оливия? Ее ангельский голосок слаще прочих звучит в наших семейных концертах.

Едва произнес я последние слова, как в комнату вбежал Дик.

— Батюшка! Она уехала от нас... Она уехала от нас, сестричка Ливви уехала от нас навсегда!

— Уехала, мальчик?

— Да, уехала в почтовой карете с двумя джентльменами, и один из них поцеловал ее и сказал, что готов за нее умереть, и она ужасно плакала и хотела возвратиться, но он стал ее снова уговаривать, и она села в карету, сказав: «Ах, мой бедный папенька! Что-то он будет делать, как узнает, что я себя погубила?»

— Вот теперь-то,— вскричал я,— дети мои любезные, теперь ступайте оплакивать судьбу свою, ибо с этого часу не видеть нам более радостей. И да покарает небо его и весь род его неустанной своей яростью! Похитить у меня мое дитя! Нет, ему не избежать кары за то, что отторгнул от меня невинную голубку мою, которую вел я по праведному пути. Такую чистую! Нет, нет, не будет нам уже счастья на земле! Ступайте, дети мои, ступайте стезей несчастья и бесчестья, ибо сердце мое разбито!

— Отец! — воскликнул мой сын.— Так-то ты являешь нам твердость духа?

— Ты сказал — твердость, мальчик?! Да, да, он увидит мою твердость — неси сюда мои пистолеты... Я брошусь в погоню за предателем... Пока ноги не перестанут носить его по земле, не перестану и я гнаться за ним! Пусть я старик, он убедится, злодей, что я могу еще драться... Коварный злодей!

Я уже держал в руках пистолеты, когда бедная моя жена, у которой страсти никогда не доходили до такого неистовства, как у меня, бросилась мне на шею.

— Возлюбленный супруг мой! — вскричала она.— Священное писание — вот единственное оружие, приличное дряхлой твоей руке. Открой же эту книгу, мой милый, и боль претвори в терпение, ибо дочь гнусно обманула нас.

— В самом деле, сударь,— продолжал мой сын после некоторого молчания,— столь неистовая ярость вам не к лицу. Вместо того чтобы утешать матушку, вы только усугубляете ее муку. Не пристало вам в вашем сане клясть своего злейшего врага; вы не должны были проклинать его, пусть он и трижды злодей.

— Неужели, мальчик, я его проклял?

— Да, сударь, дважды.

— Да простит мне в таком случае небо, и да простит оно его! Вот, сын мой, теперь я вижу, что одно лишь божественное милосердие могло научить нас благословлять врагов наших. Да будет благословенно имя его за все, что он нам ниспослал, и за все, что отнял! Но только... только знайте, велико же должно быть горе, чтобы исторгнуть слезы из этих старых очей, десятки лет уже не ливших слез! Мое дитятко... погубить мою голубку! Да будет... да простит мне небо! Что это я хотел сказать? Ты ведь помнишь, душа моя, как добродетельна она была и как прелестна? Ведь до этой несчастной минуты она только и думала о том, как бы нам угодить! Лучше бы она умерла! Но она бежала, честь наша запятнана, и отныне я могу уповать на счастье лишь в ином мире. Но, мальчик мой, ты видел, как они уезжали,— может быть, он увез ее насильно? Если так, то она, может быть, ни в чем и не повинна.

— Ах нет, сударь! — воскликнул малыш.— Он только поцеловал ее и назвал своим ангелом, и она сильно заплакала и оперлась на его руку, и они быстро-быстро поехали.

— Неблагодарная девчонка, вот она кто! — сказала жена сквозь слезы.— Как могла она так поступить с нами, мы ведь никогда ни в чем ее не приневоливали. Мерзкая потаскушка — ни с того ни с сего подло бросить отца с матерью! Она сведет тебя преждевременно в могилу, и в скором времени за тобой последую и я!

Так — в горьких сетованиях и бесполезных вспышках чувства — провели мы эту первую ночь подлинных наших бедствий. Я решился, впрочем, разыскать бесчестного предателя, где бы он ни скрывался, и изобличить его в низком его поведении. Наутро за завтраком мы живо ощутили отсутствие нашей бед-

ной девочки, ибо она обычно вселяла радость и веселье в наши сердца. Жена по-прежнему старалась облегчить свое горе упреками.

— Никогда,— вскричала она,— никогда эта негодница, опорочившая свою семью, не переступит смиренный сей порог! Никогда больше не назову я ее своей дочерью! Нет! Пусть себе живет потаскушка с мерзким своим соблазнителем! Она покрыла нас позором, это верно, но, во всяком случае, обманывать себя мы больше не дадим.

— Жена,— сказал я,— к чему такие жестокие речи? Я не менее твоего гнушаюсь грехом, ею совершенным. Но и дом мой, и сердце мое всегда пребудут открытыми для бедной раскаявшейся грешницы, если она пожелает возвратиться. И чем скорее отвернется она от греха, тем любезнее будет она моему сердцу. Ибо и лучшие из нас могут заблуждаться по неопытности, поддаться на сладкие речи, прельститься новизной. Первый проступок есть порождение простодушия, всякий же последующий — уже детище греха. Да, да, несчастная всегда найдет приют в сердце моем и в доме, какими бы грехами она ни запятнала себя! Снова буду внимать я музыке ее голоса, снова нежно прижму ее к своей груди, как только в сердце ее пробудится раскаяние. Сын мой, дай мне мою Библию и посох! Я последую за ней и разыщу ее, где бы она ни скрывалась; если я и не в силах спасти ее от позора, по крайней мере, не дам ей погрязнуть в грехе.

## ГЛАВА XVIII

*Отец отправляется на розыски дочери, дабы вернуть ее на стезю добродетели*

Хоть малыш и не мог описать наружность того, кто подсадил его сестру в карету, мои подозрения целиком сосредоточились на молодом помещике, который славился приключениями подобного рода. Поэтому я направился к Торнхиллу, намереваясь уличить его и, если удастся, увести свою дочь домой. Однако по дороге туда я повстречал одного из своих прихожан, и он сказал, будто видел почтовую карету и в ней молодую особу, похожую на мою дочь, рядом с джентльменом, в котором я по описанию рассказчика без труда узнал мистера Берчелла. Он прибавил, что карета мчалась с великой скоростью. Я не поверил и продолжал свой путь к замку Торнхилла и, прибыв туда, несмотря на ранний час, настоял на том, чтобы обо мне доложили.

Мистер Торнхилл вскоре вышел ко мне с видом совершенно непринужденным и открытым; казалось, известие о бегстве моей дочери поразило его, словно громом. Честным словом заверил он меня, что впервые обо всем этом слышит. Теперь мне ничего не оставалось, как, отказавшись от прежних своих подозрений, обратить их на мистера Берчелла; я вдруг припомнил, что и впрямь в последнее время частенько заставал их обоих за таинственной беседой. Подвернувшийся тут еще один свидетель уже не оставил во мне ни малейшего сомнения в том, что злодей был, действительно, не кто иной, как мистер Берчелл; по словам этого свидетеля, они вместе с моей дочерью отправились к целебному источнику в Тэнбридже, милях в тридцати отсюда, куда стеклось большое общество.

Я находился в том состоянии духа, когда человек отказывается рассуждать трезво и способен на одни лишь опрометчивые поступки; даже не подумав о том, что, быть может, меня нарочно сбивают со слѣда, я отправился разыскивать дочь и воображаемого ее соблазнителя туда, куда мне указали. Не мешкая, я зашагал по дороге, расспрашивая прохожих, от которых, впрочем, не мог добиться толку, покуда не вступил в город; там мне попался навстречу всадник, в котором я узнал человека, как-то виденного мной у помещика. Он заверил меня, что, если я отправлюсь еще за тридцать миль, на скачки, то я непременно настигну беглецов, ибо не далее как вчера вечером он видел, как они там танцевали и как дочь моя пленила всех своим искусством. Рано поутру я отправился к месту скачек и примерно в четыре часа пополудни уже был там. Блистательное общество, которое я там застал, с жаром преследовало одну-единственную цель — наслаждение; сколь отлична была моя цель — возвратить родное дитя в лоно добродетели! Мне показалось, что где-то невдалеке мелькнула фигура мистера Берчелла; но он как будто избегал встречи и при моем приближении смешался с толпой; больше я его не видел.

Тут я подумал, что нет смысла мне продолжать путь, и решил вернуться к бедному моему семейству, которое так нуждалось в моей поддержке. Однако душевные волнения и физическая усталость вызвали у меня лихорадку, первые признаки которой я обнаружил, когда подходил к скачкам. Еще один непредвиденный удар — ведь я был более чем в семидесяти милях от дома! Пришлось мне, однако, остановиться в небольшой придорожной харчевне, и тут, в этом приюте бережливой бедности, я вынужден был лежать, терпеливо ожидая выздоровления. Так протомился я почти три недели; наконец природное

крепкое сложение одержало верх над недугом; но у меня не было денег, чтобы заплатить хозяину. Быть может, забота эта вызвала бы новый приступ лихорадки, если бы меня вдруг не выручил путник, завернувший перекусить в ту же харчевню. Избавителем моим оказался не кто иной, как наш добрый книготорговец с Сент-Полз-Черчьярд, который и сам написал изрядное количество детских книжек; он называл себя другом детей, по справедливости его следовало бы называть другом всего человечества. Едва соскочив с лошади, он уже торопился отсюда, ибо, как всегда, был озабочен делом чрезвычайной важности и сейчас, например, собирал материалы для книги о некоем мистере Томасе Трипе. Я тотчас узнал красное прыщеватое лицо этого добряка, ибо он издавал мои труды, направленные против нынешних поборников многобрачия; у него-то я и взял взаймы немного денег с тем, чтобы отдать их немедленно по своем возвращении домой. Покинув харчевню, я еще чувствовал значительную слабость и поэтому решил двигаться домой не спеша, делая не более десяти миль в день.

Здоровье и свойственное мне душевное равновесие почти полностью вернулись ко мне, и я теперь уже проклинал свою гордыню, которая заставила меня роптать на карающую десницу. Человек не знает, что́ он способен вынести, покуда на него не обрушится беда; горные вершины наших честолюбивых стремлений ослепляют нас своим блеском, покуда мы смотрим на них снизу; но когда мы начинаем взбираться на них, с каждой ступенью нашему взору открывается новая и все более мрачная картина скрытых доселе разочарований; точно так же, когда мы спускаемся с высот блаженства, какой бы унылой и мрачной нам ни показалась долина бедствий сверху, деятельная наша мысль, все еще настроенная на радостный лад, находит на каждом шагу что-либо лестное и приятное для себя. Самые темные предметы проясняются по мере нашего к ним приближения, и духовное око приноравливается к окружающему мраку.

Прошагав часа два по дороге, я заметил впереди какой-то возок и решил непременно его догнать. Когда же я с ним поравнялся, это оказался фургон странствующих комедиантов, который вез декорации и прочие театральные принадлежности в соседнюю деревушку, где они намеревались дать несколько представлений.

При фургоне находились лишь возница да один человек из труппы, остальные должны были прибыть на другой день. С хорошим попутчиком, гласит пословица, дорога вдвое короче, поэтому я тотчас вступил в беседу с бедным комедиантом; не-

когда я и сам обладал изрядным актерским дарованием, и сейчас заговорил о сцене с присущей мне непринужденностью; далекий ныне от театральной жизни, я спросил, кто из пишущих для театра в чести, кого по справедливости можно считать Драйденами и Отвеями нашего времени.

— Не думаю, сударь,— вскричал актер,— чтобы наши новые сочинители почувствовали себя польщенными, услышав такое сравнение: манера Драйдена и Роу, сударь, давно уже вышла из моды, вкус наш обратился назад на целое столетие: Флетчер, Бен Джонсон и все пьесы Шекспира — вот что нынче в ходу!

— Как,— вскричал я,— возможно ли, чтобы в наше время публика находила удовольствие в этих старинных оборотах речи, обветшалых шутках, чудовищных характерах, которые в изобилии встречаются в творениях упомянутых вами сочинителей?

— Сударь,— отвечал мой собеседник,— публика ни во что не ставит такие вещи, как язык, юмор, характеры, ей до них дела нет; она приходит развлекаться и упивается пантомимой, освященной именем Шекспира или Бена Джонсона.

— В таком случае,— сказал я,— надо полагать, что современные драматурги не столько подражают природе, сколько Шекспиру?

— Сказать по правде,— отвечал мой собеседник,— они вообще ничему не подражают, да публика и не требует от них этого; ей нужды нет до содержания пьесы: неожиданные трюки да красивые позы — вот что вызывает хлопки! Я помню комедию, которая без единой шутки снискала всеобщий восторг благодаря ужимкам да подмигиваниям актеров, и другую, имевшую успех лишь оттого, что сочинитель ее наградил одного из своих героев коликами. Нет, сударь, на нынешний вкус, в творениях Конгрива и Фаркара слишком много остроумия; у нас в пьесах говорят гораздо проще.

К этому времени экипаж бродячей труппы прибыл на место; там о нас, очевидно, уже прослышали, и вся деревня высыпала поглазеть на нас, ибо, как заметил мой собеседник, у странствующих актеров обычно бывает больше зрителей за пределами театра, нежели внутри. Я не подумал о непристойности своего появления в таком обществе, пока не увидал, что вокруг нас собирается толпа, и тогда я как можно скорей скрылся в первой попавшейся харчевне. В общей комнате, куда меня проводили, ко мне тотчас подошел господин, весьма порядочно одетый, и спросил, являюсь ли я в самом деле священником труппы или только вырядился в костюм, соответствующий моей роли. Когда же я объяснил ему, в чем дело, и сказал, что никакого отноше-

ния к труппе не имею, он был так любезен, что пригласил меня и актера распить с ним чашу пунша; и все время, что мы пили, он горячо и увлеченно разглагольствовал о политике. Я про себя решил, что вижу перед собой по меньшей мере члена парламента. В этом своем мнении я укрепился еще более, когда, справившись у хозяина харчевни, что тот может предложить на ужин, он стал настойчиво приглашать нас с актером к себе домой; в конце концов мы сдались на уговоры и приглашение приняли.

## ГЛАВА XIX

*Портрет человека, недовольного нынешним правительством и стоящего на страже наших гражданских свобод*

Новый наш знакомый предложил нам, не дожидаясь кареты, отправиться пешком, сказав, что живет неподалеку от деревни; и в самом деле вскоре мы очутились у ворот дома, великолепием своим превосходящего все, что доводилось мне видеть в этих краях. Хозяин оставил нас в комнате, которая была убрана изящно и в современном вкусе; сам он пошел распорядиться относительно ужина. Мой приятель, актер, подмигнул ему вслед и заметил, что нам весьма и весьма повезло. Хозяин наш тотчас вернулся, но не один, а с дамами, одетыми непринужденно, по-домашнему; тут же в комнату внесли изысканный ужин, и завязалась живая беседа. Разговор нашего гостеприимного хозяина вертелся почти исключительно вокруг политики, ибо свобода, по его словам, составляла сладкую отраву его жизни. Когда убрали со стола, он спросил меня, видел ли я последний выпуск «Монитора», и, получив отрицательный ответ, воскликнул:

— Так вы, верно, и «Аудитора» не читали?

— Не читал, сударь,— ответил я.

— Странно, очень странно,— сказал хозяин,— вот я так читаю всю политику, какая выходит: и «Ежедневную», и «Всеобщую», и «Биржевую», и «Хронику», и «Лондонскую вечернюю», и «Уайтхоллскую вечернюю», все семнадцать журналов да еще два обозрения. Что мне до того, что они друг дружку люто ненавидят? Зато я их всех люблю! Свобода, сударь, свобода — вот что составляет гордость британца! И клянусь своими угольными копями в Корнуэлле, я почитаю всех, кто стоит на страже свободы.

— В таком случае, сударь,— вскричал я,— вы должны почитать нашего короля!

— Разумеется,— отвечал наш хозяин,— когда он поступает по-нашему; но если он будет продолжать в том же духе, в каком действовал все последнее время, то я, право, перестану ломать голову над его делами. Я ничего не говорю. Я только думаю. А кое в чем я все же поступил бы умнее его! Я считаю, что ему не хватает советчиков; он должен бы советоваться со всяким, кто пожелал бы дать ему совет, и тогда у нас все пошло бы по-иному.

— А я бы,— вскричал я,— поставил всех подобных советчиков к позорному столбу! Долг всякого честного человека укреплять наиболее слабую сторону нашего государственного устройства — я имею в виду священную власть монарха, которая последние годы день ото дня слабеет и теряет свою законную долю влияния в управлении государством. А наши невежды только и знают, что кричать о свободе; и если у них к тому же есть какой-то общественный вес, то они самым неблагородным образом кладут его на ту чашу весов, которая и без того тяжела.

— Как?! — воскликнула одна из дам.— Вот уж не чаяла я встретить человека, у которого достанет подлости и низости защищать тиранию и ополчаться на свободу — на свободу, на этот священный дар небес, на это славное достояние британца!

— Возможно ли,— вскричал хозяин,— чтобы в нынешнее время среди нас сыскался поборник рабства? Человек, готовый малодушно отказаться от привилегий британца? Возможно ли, сударь, пасть так низко?

— Уверяю вас, сударь,— возразил я,— я сам за свободу, сей истинный дар богов! О, великая свобода, кто только не поет тебе нынче хвалу? Я — за то, чтобы все были королями, я и сам не прочь быть королем. Каждый из нас имеет право на престол, мы все родились равными. Таково мое убеждение, я его разделяю с людьми, которых прозвали левеллерами. Они хотели создать общество, в котором все были бы одинаково свободны. Но, увы! — из этого ничего не получилось. Тотчас обозначилось, кто посильнее да похитрее остальных, они-то и сделались хозяевами надо всеми. Посудите сами: конюх ваш ездит верхом на ваших лошадях оттого, что он животное более хитрое, чем лошадь,— так неужели животное, более хитрое и сильное, чем ваш конюх, в свою очередь, не оседлает его?

И вот, поскольку субординация заложена в самой природе человеческой, и одни рождены повелевать, а другие повиноваться, а следовательно, тиран неизбежен, то вопрос надо ставить так: что́ лучше — иметь этого тирана у себя под боком, в собственном доме, в городе, в котором проживаешь, или чтобы он

находился подальше,— скажем, в столице? Что касается меня, сударь, то, испытывая врожденное отвращение к физиономии всякого тирана, я, естественно, предпочту, чтобы он находился как можно дальше от меня. Надо полагать, что бóльшая часть человечества придерживается того же мнения и потому избрала себе единого монарха, сокращая таким образом число тиранов и увеличивая спасительное расстояние, отделяющее их от народа.

Знать, которая до избрания обществом единого тирана сама занимала положение тиранов, естественно, настроена враждебно к власти, над нею поставленной,— ведь она ближе всего к этой власти и, следовательно, больше всех испытывает ее гнет. Поэтому вельможам выгодно всячески ущемлять королевскую власть, ибо чем меньше власть у короля, тем сильнее их собственное могущество. Таким образом, для того чтобы восстановить принадлежавшее им издревле влияние, они стараются подорвать власть единого тирана.

В некоторых случаях обстоятельства складываются таким образом, что условия, в которые поставлена страна, законы, в ней сложившиеся, умонастроение ее имущих сословий,— все вместе способствует дальнейшему подрыву монархии. Ибо, если, благодаря нашему государственному устройству, богатства скапливаются в руках немногих, то по мере дальнейшего обогащения этих немногих, и без того купающихся в роскоши, возрастает и властолюбие их. Подобное накопление богатства, однако, может произойти в том случае, если (как то обстоит у нас) обогащение происходит не столько благодаря домашним ремеслам, сколько вследствие торговли с иноземными купцами; ибо заморская торговля по плечу лишь богатым, которые к тому же получают все доходы с домашних промыслов; таким образом имущий у нас пользуется двумя источниками богатства, в то время как у неимущего источник один. По этой причине во всех торговых державах богатство сосредоточивается в руках немногих и подобные государства со временем неминуемо становятся аристократическими.

Опять-таки, сами обычаи и законы страны могут способствовать накоплению богатства в одних руках: так, когда естественные нити, связующие имущих с неимущими, обрываются и богатым женихам предлагают искать одних лишь богатых невест, а людей ученых, например, не допускают участвовать в управлении страною, если они недостаточно богаты, вследствие чего богатство становится целью, к коей вынужден устремляться мудрец. С помощью этих и подобных им способов, говорю я, и достигается скопление богатства в руках у немногих.

Далее, человек, разбогатев тем или иным путем, удовлетворив насущные свои нужды и прихоти, употребляет избыток на приобретение власти; иначе говоря, он стремится поставить возможно большее число людей в зависимость от своей воли, набирая их для этой цели из тех, что готовы — кто по бедности, кто из корысти — продать свою свободу и согласны за кусок хлеба терпеть издевательства первого тирана, какой случится поблизости. Так, возле крупных богачей обычно подбирается голытьба, и государство, в котором богатства сосредоточены в руках немногих, напоминает картезианскую систему миров, где каждое небесное тело порождает вокруг себя самостоятельный вихрь. Впрочем, в водовороте знатного вельможи согласится вращаться только тот, кто рожден рабом и принадлежит к подонкам человечества, кто по душевному складу своему и воспитанию способен лишь холопствовать и о свободе знает только понаслышке.

Между тем остается еще обширная категория людей, не подпадающих под влияние богача, сословие как бы промежуточное между чернью и богачами; это люди, которые имеют достаток и потому могут не подчиняться знатному соседу и вместе с тем не столь богаты, чтобы сделаться тиранами. В этом-то среднем сословии общества обычно сосредоточены все искусства, вся мудрость, вся гражданская доблесть. И только одно это сословие и является истинным хранителем свободы, и одно лишь оно может по справедливости именоваться Народом. Бывает, однако, что это среднее сословие почему-либо теряет свое влияние в государстве, его голос как бы заглушается кликами черни,— а это неминуемо случится, если сочтут нужным уменьшить в десять раз против нынешнего имущественный ценз для избирателей, ибо таким образом бóльшая часть черни будет вовлечена в систему управления государством, а чернь, обращающаяся, как всегда, в орбите кого-нибудь из сильных мира сего, будет во всем идти у него на поводу. Поэтому в таком государстве среднему сословию надлежит свято блюсти прерогативу и привилегию единственного кормчего. Ибо он, этот кормчий, расщепляет власть богачей и облегчает давление, оказываемое великими на малых мира сего.

Среднее сословие можно уподобить городу, который подвергается осаде со стороны богачей, а короля — войску, что спешит извне на помощь осаждаемым; пока осаждающим грозит опасность, они, естественно, станут предлагать гражданам осажденного города наиболее выгодные условия, прельщать их сладкими речами и обещаниями; но если им удастся победить

противника, нападающего на них с тыла, стены города окажутся слабой защитой для осажденных. Чего ждать в этом случае, можно видеть, обратив взор на Голландию, Геную или Венецию, где законы управляют беднотой, а богачи — законами. Поэтому я стою за монархию, готов умереть за монархию, за священную монархию! Ибо единственная святыня на земле — это государь, помазанный на царство, и всякое ущемление его власти, будь то в мирное или военное время, есть посягательство на истинные свободы подданного. Один звук таких слов, как «свобода», «патриотизм», «британцы», уже причинил довольно горя, и надо надеяться, что истинные сыны свободы не станут умножать этих бедствий. Много я перевидал на своем веку так называемых поборников свободы, и, однако же, не припомню ни одного, который не был бы тираном в душе и деспотом в собственном доме!

Тут я вдруг заметил, что в пылу увлечения позволил себе говорить много дольше, чем того требовал хороший тон, к тому же и терпение моего хозяина, который несколько раз уже пытался перебить меня, наконец совсем истощилось.

— Как?! — вскричал он.— Неужто я оказал гостеприимство тайному иезуиту в облачении англиканского священника? Клянусь всеми угольными копями Корнуэлла, он вылетит из моего дома, не будь я Уилкинсон!

Тут я понял, что хватил через край, и попросил извинить меня за неуместную свою горячность.

— Извинить?! — прорычал он в ярости.— За ваши правила надобно десять тысяч раз просить извинения. Как?! Отказаться от свободы, от собственности и, говоря словами «Газетира», навязать себе деревянные башмаки? Сударь, я настаиваю на том, чтобы вы сию же минуту покинули мой дом, или я не отвечаю за последствия. Сударь, я на этом настаиваю!

Только я собрался повторить свои извинения, как вдруг послышался стук лакеев в дверь, и обе дамы воскликнули:

— Хозяин с хозяйкой, чтоб нам умереть на месте!

Оказалось, все это время я пользовался гостеприимством дворецкого, который в отсутствие хозяев захотел разыграть роль господина,— и то сказать, он рассуждал о политике, как заправский помещик! Но ничего не могло равняться с моим смущением при виде джентльмена и его супруги. Надо сказать, что и они были поражены едва ли не больше нашего, застав в своем доме всю честную компанию за пирушкой.

— Господа! — воскликнул истинный хозяин дома, обращаясь ко мне и моему спутнику.— Мы с супругой рады служить

вам, но должен сказать, что честь вашего посещения столь неожиданна, что мы ею прямо-таки подавлены.

Каким бы сюрпризом ни явилось наше присутствие у них в доме, их появление было для нас еще удивительнее,— в этом я убежден, и я онемел от сознания всей нелепости своего положения. Но в эту минуту в комнату вошла моя милая мисс Арабелла Уилмот, та самая, что была когда-то помолвлена с сыном моим, Джорджем, и свадьба с которой, как известно, расстроилась. Увидев меня, она радостно бросилась мне на шею.

— Ах, сударь! — вскричала она.— Какому счастливому случаю обязаны мы вашим неожиданным посещением? Тетушка с дядюшкой будут счастливы, конечно, когда узнают, что их гость не кто иной, как добрый доктор Примроз.

Услыхав мое имя, старик и его супруга подошли ко мне и приветствовали меня словами самого радушного гостеприимства. Они не могли удержаться от улыбки, когда я поведал им, каким образом оказался гостем в их доме; бедняга дворецкий, которого они сгоряча хотели было выгнать, после моего ходатайства был прощен.

Настоящие хозяева дома, мистер Арнольд и его супруга, теперь стали уговаривать меня погостить у них несколько дней, и так как их племянница и моя очаровательная ученица — ведь ум ее сложился и развился до некоторой степени под моим руководством — присоединила к их просьбам свои, я в конце концов уступил. На ночь мне отвели великолепную спальню, а на другой день утром мисс Уилмот пожелала пройтись со мной по парку, разбитому на новый лад. Показав мне все достопримечательности, она затем как бы невзначай спросила, давно ли имел я сведения о сыне моем, Джордже.

— Увы, сударыня,— вскричал я,— вот уж скоро три года, как мы с ним расстались, и ни разу-то за все время не прислал он весточки о себе! Где он обретается, я не ведаю, и свижусь ли я с ним когда-нибудь, и возвратится ли ко мне счастье — тоже не знаю. Нет, моя красавица, не возвратятся к нам никогда те сладостные часы, что проводили мы у нашего камина в Векфильде. Маленькое мое семейство становится все меньше и меньше, и с бедностью мы познали не только нужду, но и бесчестье.

Слеза выкатилась из глаз добросердечной девушки, когда она услышала такие слова; я же, видя ее столь чувствительною, воздержался от того, чтобы рассказать о нашем несчастье более подробно. Мне, однако, приятно было убедиться, что время

ничуть не изменило ее старинных привязанностей — с тех пор как мы уехали, она отказала нескольким женихам. Она продолжала водить меня по обширному парку, указывая на различные новшества, на всевозможные беседки и аллеи, и вместе с тем каждый предмет служил ей поводом, чтобы задать еще какой-нибудь вопрос касательно моего сына. Так провели мы первую половину дня, а затем, послушные зову колокольчика, возвещавшего обед, вошли в дом. Там мы застали директора бродячей труппы, о которой я уже упоминал; он прибыл с билетами на пьесу «Прекрасная грешница»; представление должно было состояться в тот же вечер, причем роль Горацио исполнял молодой человек благородного происхождения, никогда ранее не выступавший на сцене. Директор с жаром расхваливал своего нового актера, утверждая, что еще ни разу не встречал человека, который подавал бы столь блистательные надежды.

— В единый день,— заметил он,— не выучишься играть на театре. Но этот джентльмен, можно сказать, рожден для подмостков. Все в нем восхищает — фигура, голос, осанка! Повстречали же мы его случайно, на пути нашем сюда.

Рассказ директора подстрекнул наше любопытство, и, вняв молениям дам, я согласился сопровождать их в театр, вернее сказать, в сарай, где давались представления. Семейство мистера Арнольда почиталось первым в округе, и нас приняли с почетом и усадили в первом ряду, где мы с немалым нетерпением дожидались выхода Горацио. Наконец он появился, и пусть те, у кого есть дети, представят себе, что бы почувствовали они, если бы, подобно мне, обнаружили в актере собственного своего злополучного сына! Он открыл было рот, как вдруг, обратив свой взор на публику и увидев мисс Уилмот и меня, застыл в немом оцепенении.

Актеры подбадривали его из-за кулис, приписав его молчание естественной робости. Он же вместо того, чтобы исполнять свою роль, с громкими рыданиями покинул сцену. Не могу сказать, каковы были мои чувства в эту минуту, ибо быстрая смена их не поддается никакому описанию. Впрочем, меня тут же заставил опомниться дрожащий голосок мисс Уилмот, которая умоляла меня отвести ее домой, к дядюшке. Когда мы возвратились, мистер Арнольд, которому ничего до сих пор не было известно о нашем удивительном приключении, узнав, что новый актер оказался моим родным сыном,тотчас послал за ним карету и пригласил его к себе, а так как Джордж упорно отказывался вновь появиться на подмостках, то актерам пришлось найти ему замену, и он вскоре оказался среди нас.

Мистер Арнольд принял его самым радушным образом, я же со свойственной мне восторженностью обнял его, ибо не умею выказывать гнев, если его не испытываю на самом деле. В обращении мисс Уилмот, однако, сквозила явная небрежность; впрочем, я приметил, что она играет взятую на себя роль. Смятение, в какое пришли ее чувства, еще не совсем улеглось; с ее уст срывались нелепейшие замечания, как это бывает с людьми, потерявшими голову от счастья,— и она тут же сама смеялась своей глупости. Время от времени она украдкой поглядывала в зеркало, как бы упиваясь сознанием своей неотразимости, часто задавала вопросы и оставляла без малейшего внимания ответы на них.

## ГЛАВА XX

*История странствующего философа, который в погоне за новыми впечатлениями потерял покой*

После ужина миссис Арнольд любезно предложила снарядить лакеев за вещами моего сына, чем он, казалось, был немало смущен; когда же она продолжала настаивать, ему пришлось сознаться, что посох да котомка составляют все его движимое имущество.

— Итак, сын мой,— вскричал я,— с пустыми руками отпустил я тебя, и с пустыми руками ты ко мне возвращаешься! А вместе с тем ты, верно, много чего повидал на свете!

— Да, батюшка,— отвечал мой сын.— Однако одно дело искать счастья, иное — его найти, и, по правде сказать, в последнее время я вовсе отказался от попыток его достигнуть!

— Сударь,— воскликнула миссис Арнольд,— я думаю, что рассказ о ваших приключениях должен быть весьма занимателен; начало вашей истории я не раз слышала от своей племянницы; мы были бы весьма признательны, если бы вы поведали нам ее продолжение.

— Позвольте уверить вас, сударыня,— отвечал мой сын,— не так приятно будет вам слушать меня, как мне вам рассказывать; впрочем, особых приключений в моем рассказе вы не встретите, ибо повесть моя будет не столько о том, что я делал, сколько о том, что видел. Вы знаете, как велика была первая невзгода в моей жизни; однако ей не удалось сломить мой дух. Я умею надеяться, как никто. Чем меньше милостей я вижу от фортуны в настоящем, тем больше ожидаю их в будущем; и всякий раз, когда оказываюсь под колесом ее, я говорю себе, что достиг уже самой низкой точки и теперь, с новым поворотом

колеса, могу только подняться. Итак, в одно прекрасное утро я отправился в Лондон, нимало не заботясь о завтрашнем дне, беспечный, как птицы, что распевали у меня над головой. Тешил же я себя мыслью, что Лондон есть рынок, на котором любое дарование отличают и оценивают по достоинству.

По прибытии своем в столицу первой моей заботой было доставить нашему родственнику рекомендательное письмо — то самое, батюшка, что вы мне дали; однако обстоятельства, в которых застал я его, оказались немногим лучше моих собственных. Как вы знаете, батюшка, я намеревался поступить наставником в школу, и об этом-то я хотел посоветоваться с моим родственником. План мой он встретил улыбкой, которую по справедливости можно было назвать сардонической.

«О да,— вскричал он,— нечего сказать, хорошую ты себе наметил карьеру! Я и сам побывал наставником в пансионе, и пусть мне накинут петлю на шею, если я не предпочту быть помощником тюремного сторожа в Ньюгете! Я не знал покоя ни днем, ни ночью. Хозяин вечно придирался ко мне, хозяйка невзлюбила за то, что лицом не вышел, мальчишки теребили беспрестанно, и я ни на минуту не мог вырваться на волю, туда, где люди друг с другом учтивы, ибо от школы меня не отпускали ни на шаг. Да и сумеешь ли ты исполнять должность наставника? Позволь мне немного поэкзаменовать тебя. Обучался ли ты этому делу?» — «Нет». — «Тогда ты не годишься в наставники. Умеешь ли ты расчесывать волосы мальчикам?» — «Нет».— «Тогда ты не годишься в наставники. Оспой болел?» — «Нет».— «Тогда ты не годишься в наставники. Привык спать втроем на одной постели?» — «Нет».— «Тогда ты не годишься в наставники. Хороший ли у тебя аппетит?» — «Да».— «О, тогда уж ты никак не годишься в наставники! Нет, сударь, коли хотите легкой и чистой работы, то лучше поступайте в ученики к точильщику и крутите ему колесо — что угодно, только не школа! Вот что,— продолжал он,— ты, я вижу, малый не из робких, да и ученый отчасти,— почему бы тебе не сделаться сочинителем, как я? Ты, верно, читал в книгах о том, что люди с дарованием будто бы гибнут от голода. А я, если хочешь, сию минуту представлю тебе сорок совершеннейших тупиц, которые только и живут, что сочинительством, и живут, заметь, в роскоши — все это честная благополучная посредственность, гладко и скучно пишут они свои исторические да политические сочинения, и все-то их хвалят; люди эти, братец, таковы, что, будь они сапожниками, они бы всю жизнь только чинили башмаки, и ни одной пары не смастерили бы сами».

Убедившись, что ничего благородного в должности наставника нет, я решился последовать его совету, а так как к литературе я испытывал величайшее уважение, то с трепетом душевным был готов приветствовать матушку Граб-стрит. Быть может, для того, чтобы преуспеть в жизни, было бы лучше избрать другое поприще, однако, почитая богиню сих мест родительницей всех совершенств, а ее непременную спутницу, бедность — лучшей нянькой для неокрепнувшего гения, я полагал за честь следовать по тропе, проложенной Отвеем и Драйденом. Полный таких мыслей, взял я в руки перо и, обнаружив, что почти все, что можно сказать хорошего в защиту правды, уже сказано другими, решился написать книгу совершенно оригинальную. И вот я изготовил несколько парадоксов, придав им довольно изящную форму. Правда, они были заведомо ложны, зато свежи. Жемчужины истины столь часто преподносились другими, что мне ничего иного не оставалось, как предложить мишуру, которая издали выглядела ничуть не хуже. О боги всемогущие, вы видели, с какой важной напыщенностью водил я своим пером по бумаге! Весь ученый мир, я в том не сомневался нимало, должен был ополчиться против моих построений, ну да я и сам был готов ополчиться на весь ученый мир! В ожидании воображаемых противников я держал наготове перья, ощетинившись ими, как дикобраз своими иглами.

— Хорошо сказано, мой мальчик! — вскричал я.— Какой же предмет избрал ты для своего трактата? Надеюсь, что не позабыл о значении единобрачия? Но я перебиваю: продолжай! Ты напечатал свои парадоксы; что же сказал ученый мир о твоих парадоксах?

— Батюшка,— отвечал мой сын.—Ученый мир ничего не сказал! Просто-напросто ничего, сударь: ученые все до единого были заняты — одни из них слагали дифирамбы себе и своим друзьям, другие возводили хулу на врагов; а так как я, к несчастью, ни друзей, ни врагов не имел, то пришлось мне изведать жесточайшую из всех обид — пренебрежение.

Как-то раз, когда я сидел в кофейне, размышляя о судьбе своих парадоксов, в комнату вошел маленький человечек и уселся неподалеку от меня. После короткого предварительного разговора со мной, из которого он понял, что имеет дело с человеком ученым, он извлек пачку проспектов и принялся убеждать меня подписаться на новое издание Проперция, которое он намерен был подарить миру с собственными комментариями. Мне пришлось ответить, что у меня нет денег; услышав такое признание, собеседник мой полюбопытствовал о моих видах на

будущее. Узнав же, что и надеждами я богат не более, чем деньгами, он вскричал:

«Так, значит, вы ничего не смыслите в столичной жизни! Дайте-ка я вас научу. Взгляните на эти проспекты! Вот уже двенадцать лет, как они меня кормят. Возвратится ли вельможа с чужбины на родину, креол ли прибудет с острова Ямайка, задумает ли богатая вдова, покинув свое родовое гнездо, наведаться к нам в столицу,— у всех у них я пытаюсь взять подписку. Лестью осаждаю я их сердца, а затем в образовавшуюся брешь пропихиваю свои проспекты. У того, кто с самого начала подписывается с охотою, я через некоторое время прошу еще денег — за посвящение; если дал первый раз, то даст и во второй, и, наконец, еще раз сдираю с него за то, чтобы на заглавном листе красовался его фамильный герб. Таким образом,— продолжал он,— я живу за счет человеческого тщеславия и смеюсь над ним; но, между нами говоря, мою физиономию здесь слишком уже знают, и я бы не прочь взять вашу напрокат. Только что возвратился из Италии некий вельможа с громким именем; привратнику я уже примелькался, но, если бы вы взялись доставить туда эти стихи, клянусь жизнью, дело наше выиграно и трофеи пополам!»

— Боже милостивый, Джордж! — воскликнул я.— Неужто ныне поэты занимаются такими делами? Неужто люди, одаренные свыше, должны унижаться до попрошайничества? Неужто ради куска хлеба позорят свое призвание и становятся подлыми торговцами лестью?

— О нет, сударь,— отвечал он.— Истинный поэт никогда не падет столь низко, ибо гений — горд. Создания, которых я вам тут описываю, всего лишь нищие, что попрошайничают в рифму. Подлинный поэт готов ради славы мужественно бороться с нуждой и дрожит за одну лишь честь свою. Ищут покровительства те, кто не заслуживает его. Гордый дух мой не позволял мне так низко уронить свое достоинство, вместе с тем скромные мои обстоятельства мешали повторить попытку взять славу приступом; мне пришлось избрать средний путь и сесть за сочинительство ради куска хлеба; однако я оказался неспособным к делу, в котором можно преуспеть с помощью одного лишь прилежания. Я не мог подавить в себе тайной жажды похвалы, и, вместо того чтобы писать с пространностью плодовитой посредственности, я тратил время на поиски совершенства — а оно немного занимает места на бумаге!

Какое-нибудь мое сочиненьице, таким образом, проскочит в том или ином журнале, никем не замеченное, никем не при-

знанное. У публики другие заботы. Какое ей дело до прозрачной стройности моего стиля, до благозвучной округленности моих периодов? Я писал, и листок за листком поглощались Летой. Мои статьи тонули среди восточных сказок, статеек о свободе и советов, как лечиться от укуса бешеной собаки; а между тем Филавт, Филалет, Филелютер и Филантроп — все писали лучше меня, ибо писали быстрее.

Вследствие всего этого я водил компанию лишь с подобными мне незадачливыми сочинителями, и каждый из нас хвалил другого, сожалел о его судьбе и втайне его презирал. Чем меньше находили мы достоинств в трудах какого-нибудь известного сочинителя, тем больше удовлетворения доставляли они нам. Я обнаружил, что чужое дарование меня ничуть не радует! Злополучные мои парадоксы иссушили этот источник наслаждения. Ни чтение, ни сочинительство не доставляли мне уже ни малейшего удовольствия, ибо совершенные творения других авторов вызывали во мне только досаду, а сочинительство сделалось для меня не более как ремеслом.

Однажды, когда я сидел на скамье в Сент-Джемском парке и предавался мрачному раздумью, ко мне подошел знатный и блестящий молодой джентльмен, однокашник мой по университету и некогда близкий приятель. Не без замешательства приветствовали мы друг друга; он, должно быть, стыдился своего знакомства с таким оборванцем, как я, а я, в свою очередь, не был уверен, что он пожелает меня признать. Мои опасения, однако, тут же рассеялись, ибо Нэд Торнхилл в глубине души добрый малый.

— Ты сказал «Торнхилл», Джордж? — перебил я.— Я не ослышался? Так ведь это же наш помещик!

— Боже правый! — воскликнула миссис Арнольд.— Неужели мистер Торнхилл ваш сосед? Это давнишний наш друг, и мы скоро ожидаем его к себе в гости.

— Первым делом,— продолжал сын,— мой приятель позаботился о том, чтобы изменить внешний мой облик, одев меня с ног до головы из собственного гардероба, после чего я был допущен к его столу на правах то ли друга, то ли слуги. В мои обязанности входило сопровождать его на публичные торги, забавлять его, когда живописец списывал с него портрет, сидеть с ним рядом в коляске, если у него не оказывалось другого спутника, и участвовать во всех его проказах. Кроме всего, на мне лежала еще добрая дюжина всяких дел, и от меня ожидали множества мелких услуг, как-то: подать штопор в нужную минуту; крестить всех детей, какие народятся у дворецкого; петь, когда

прикажут; всегда быть в хорошем расположении духа; никогда не забываться и в довершение всего — чувствовать себя как можно более счастливым!

Впрочем, на этом почетном поприще был у меня еще и соперник. Отставной капитан, самой природой созданный для такого поста, оспаривал у меня сердце моего покровителя. Матушка его некогда была прачкой у вельможи, так что он с малых лет привык подличать перед господами и потакать разнузданной их похоти. Джентльмен сей всю жизнь лез в дружбу к лордам, и хотя большая часть их прогоняла его за глупость, однако он находил немало и таких, что были не умнее его и потому терпели его назойливые услуги. Лесть была его ремеслом, и он с превеликою ловкостью в ней упражнялся, в то время как у меня она выходила неуклюже и топорно; и если жажда лести у моего покровителя возрастала с каждым днем, то у меня, по мере того как с каждым часом я лучше узнавал его недостатки, все меньше оставалось охоты ему льстить.

И вот, когда я совсем уже было собрался уступить поле деятельности капитану, вдруг приятелю моему понадобились мои услуги. Я, видите ли, должен был драться за него на дуэли! Джентльмен, с которым надлежало мне драться, обвинял его в том, что он будто бы бесчестно обошелся с его сестрой. Я с готовностью согласился, и, хоть вы, батюшка, слушаете меня с явным неодобрением, все же это был долг дружбы, и я не мог отказаться. Итак, я взялся за это предприятие, выбил у противника шпагу из рук, а затем имел удовольствие убедиться в том, что дама была всего лишь уличной женщиной, а мой противник — ее дружком и изрядным мошенником в придачу! В награду за свою услугу я был удостоен самых горячих изъявлений признательности, но так как моему приятелю предстояло через несколько дней покинуть столицу и он не мог придумать, как меня отблагодарить, то он дал мне рекомендательные письма к своему дядюшке, сэру Уильяму Торнхиллу, а также к одному сановнику, занимающему видную должность на государственной службе.

Проводив приятеля, я немедля отправился с рекомендательным письмом к его дядюшке, который пользовался повсеместной и вполне заслуженной славой добродетельнейшего человека. Слуги его приветливо улыбались, ибо сердечное радушие хозяина непременно сказывается в манерах домочадцев. Они ввели меня в большую залу, куда вскоре ко мне вышел сам сэр Уильям; я сообщил ему свое дело и вручил письмо; прочитав его, он несколько задумался и затем спросил:

— Будьте добры, сударь, поведайте мне, какую такую услугу оказали вы моему родственнику, что он вас так расхваливает? Впрочем, сударь, я как будто догадываюсь о ваших заслугах: вы, верно, дрались за него на дуэли и теперь ожидаете от меня награды за то, что он избрал вас орудием своих пороков. Надеюсь, от души надеюсь, что мой отказ послужит вам в какой-то мере наказанием за вашу вину,— а главное, я хотел бы думать, что он внушит вам раскаяние!

Терпеливо выслушал я суровый сей укор, ибо чувствовал всю его справедливость. Отныне мне оставалось надеяться лишь на письмо к сановнику.

Не так-то легко, однако, было к нему проникнуть, ибо, как у всякого вельможи, подле его дверей толпились попрошайки всех родов, и каждый норовил как-нибудь просунуться со своей хитросплетенной просьбой. Слуги, которым мне пришлось отдать половину своего состояния, ввели меня наконец в просторную залу и понесли мое письмо наверх, к сановнику. В этот тягостный промежуток я успел как следует оглядеться. Все здесь дышало великолепием и утонченной выдумкой; картины, мебель, позолота повергли меня в трепетное оцепенение, а того, кто жил в этом доме, возносили в моем представлении на недосягаемую высоту. Сколь велик, подумал я, должен быть обладатель всех этих благ, чей ум полон государственных забот, а дом стоит чуть ли не полкоролевства! Вот уж про кого доподлинно можно сказать, что гений его необъятен! Пока я с трепетом предавался этим размышлениям, послышались чьи-то уверенные шаги. «Се грядет сам великий человек!» — подумал я. Но нет, это была всего лишь его горничная. Опять шаги. Это уж он! Отнюдь! Всего лишь его камердинер. И вот наконец появился и сам его светлость. «Вы и есть податель письма?» — вопросил он. Я поклонился. «Отсюда явствует,— продолжал он,— что...»

Но в эту минуту вошел лакей и подал ему записку, и вельможа тут же обо мне позабыл и, не обращая уже на меня никакого внимания, пошел прочь, предоставив мне упиваться моим блаженством, сколько мне будет угодно. Больше я его не видел, пока лакей не известил меня, что карета его светлости стоит у крыльца, а сам его светлость собирается в нее садиться. Я ринулся вниз и очутился в обществе трех-четырех человек, которые подобно мне явились сюда в расчете на какие-то милости; вместе с ними возвысил свой голос и я. Его светлость, однако, двигался слишком стремительно и уже приближался крупными шагами к дверце своей кареты, когда я крикнул ему, ждать ли

мне его ответа или нет. Тем временем он был уже в карете и пробурчал что-то, причем половины его слов я не расслышал из-за грохота колес, его увозивших. Я так и застыл, вытянув шею, в позе человека, который прислушивается к божественной мелодии и боится проронить хоть один волшебный звук. Когда же я очнулся, я обнаружил, что стою у ворот его светлости в полном одиночестве.

— Терпение мое,— продолжал мой сын,— истощилось окончательно. Уязвленный бесчисленными унижениями, которым меня подвергла судьба, я был готов броситься куда угодно и только искал бездны, которая бы меня поглотила. Сам себе я теперь казался одним из тех неудавшихся творений природы, какие она запихивает куда-нибудь в дальний чулан свой, где они со временем гибнут в безвестности. Впрочем, у меня еще оставалось полгинеи, и я твердо решил, что никому не уступлю ее, даже самой судьбе! Для верности же я намерен был ее тотчас истратить, а там будь что будет! Не успел я принять такое решение, как очутился возле конторы мистера Криспа; ее двери были гостеприимно распахнуты настежь. Мистер Крисп щедро обещает тридцать фунтов стерлингов в год всем верноподданным его величества, которые пожелали бы отказаться от своей свободы и отправиться в Америку в качестве невольников. Мне очень полюбилась мысль ринуться в отчаянное это предприятие, чтобы забыть наконец все свои треволнения; и вот я вступил в эту обитель,— а помещение в самом деле напоминало келью,— со всем рвением молодого послушника.

Здесь нашел я великое число несчастных, чьи обстоятельства были схожи с моими; все они ждали мистера Криспа, являя собой подлинную аллегорию британского нетерпения, ибо горечь неудач ожесточила сии мятежные души; наконец мистер Крисп вошел, и ропот наш затих. С видом особенного доброжелательства взглянул он на меня; а надобно сказать, я уже месяц как не видел ни от кого приветливой улыбки. Задав мне ряд вопросов, из моих ответов вывел он, что я гожусь на любую должность, какая только существует на свете. Затем он задумался, куда бы меня лучше пристроить, и вдруг, как бы вспомнив что-то, хлопнул себя по лбу и стал уверять меня, будто слышал разговоры о том, что синод Пенсильвании думает направить посольство к индейцам племени чикасо и что он употребит все свое влияние, чтобы секретарем этого посольства назначили меня. Хоть я и понимал в глубине души, что тут нет ни слова правды, однако невольно обрадовался этим обещаниям — уж очень внушительно они звучали. Поэтому, разделив на две равные части

мои полгинеи, одну часть я решил оставить, с тем чтобы присоединить ее к тридцати фунтам, которые получу от Криспа, остальную же снести в ближайший кабак и вкусить на эти деньги столько счастья, сколько и самому мистеру Криспу не снилось!

Приняв такое решение, я пошел прочь, как вдруг в дверях столкнулся с капитаном, который был мне несколько знаком и охотно согласился выпить со мной стакан-другой пунша; не в моих правилах держать свои дела в тайне, и капитан, выслушав мой рассказ, стал убеждать меня, что, доверившись обещаниям хозяина конторы, я обрекаю себя на верную гибель, ибо мистер Крисп о том только и помышляет, чтобы продать меня на плантацию. «Впрочем,— прибавил он,— я думаю, что вы сумеете заработать себе на пропитание благородным трудом, и не пускаясь в столь дальнее путешествие. Послушайте моего совета! Я завтра отплываю в Амстердам; почему бы вам не поехать на моем судне в качестве пассажира? Как только вы сойдете на берег, начните обучать голландцев английскому языку, и я ручаюсь, что у вас не будет недостатка ни в учениках, ни в деньгах. В английском-то языке вы, я думаю, достаточно разбираетесь, черт меня побери!»

На этот счет я его успокоил, но вместе с тем выразил сомнение, захотят ли голландцы изучать английский язык? Он побожился, что они любят язык наш до безумия; получив такое уверение, я последовал совету капитана и на следующее утро вступил на палубу судна и поплыл в Голландию обучать голландцев английскому языку. Ветер был попутный, путь недолог, и, расплатившись за дорогу половиной моего движимого имущества, я словно с неба свалился на одну из главных улиц Амстердама, не имея там ни одной знакомой души. Я решил, не теряя времени, приступить к обучению и обратился к тем из прохожих, чей вид показался мне наиболее обнадеживающим; увы, мы не понимали друг друга! Я только теперь сообразил, что для того, чтобы научить голландцев английскому языку, необходимо, чтобы голландцы сперва выучили меня голландскому. Как мог я упустить из вида такое обстоятельство, мне самому непонятно. Но так или иначе, тогда мне эта мысль не пришла в голову.

Когда таким образом этот план провалился, я начал подумывать о том, как бы мне вернуться в Англию; но, встретив одного ирландского студента, возвращавшегося из Лувена, и разговорившись с ним о литературе (а надобно сказать, что такой разговор заставлял меня тотчас забывать о собственном

моем незавидном положении), я узнал от него, что в городе, из которого он шел, во всем университете нельзя было насчитать и двух человек, знавших древнегреческий язык. Это меня поразило: я тотчас решил пойти в Лувен и сделаться там преподавателем древнегреческого; мой коллега поддержал меня в этом намерении и даже дал понять, что на этом поприще можно разбогатеть.

На следующее утро я бодро отправился в путь. С каждым днем движимое имущество мое становилось все легче, и я невольно вспомнил Эзопову корзину с хлебом, ибо надо же было как-то расплачиваться с голландцами за ночлег в пути! Прибыв в Лувен, я решил, что чем подбираться исподволь к низшим чинам университета, лучше направиться прямо к ректору. Итак, я пошел, меня приняли, и я предложил свои услуги в качестве преподавателя древнегреческого языка, в котором, как я слышал, университет нуждается. Ректор сперва как будто усомнился в моих способностях, но я предложил ему, чтоб он меня проверил сам, и просил выбрать любой текст из какого ему будет угодно древнегреческого автора с тем, чтобы я переложил его на латынь. Увидев, что я не шучу, он обратился ко мне со следующими словами:

— Вот я тут перед вами, молодой человек: никогда-то я не изучал древнегреческого языка, и должен сказать, ни разу не приходилось мне пожалеть о том. Докторскую шапочку и мантию я получил без греческого языка; мне платят десять тысяч флоринов в год — без греческого языка; ем я и пью без всякого греческого языка; короче говоря,— закончил он,— так как сам я не знаю древнегреческого языка, то и не вижу в нем особого толку.

Слишком уже далеко я был теперь от родины, чтобы думать о возвращении, и посему решил следовать дальше. Я немного разбираюсь в музыке и обладаю голосом довольно порядочным; и вот то, что некогда служило мне забавой, обратилось теперь в средство к существованию. Я шел из деревни в деревню, останавливаясь у добродушных поселян Фландрии, а потом, очутившись среди французов,— у тех из них, кто был победнее и потому умел веселиться, ибо я заметил, что чем легче их кошельки, тем общительнее и живее нрав их. Если вечер застигал меня подле какой-нибудь крестьянской хижины, я принимался играть одну из самых веселых своих песенок, и это доставляло мне не только ночлег, но и пропитание на весь следующий день. Пробовал я как-то играть для людей знатных; но они всякий раз говорили, что я играю прескверно, и от них не видал я самого

пустячного вознаграждения. Это казалось мне тем более удивительным, что, когда в былые дни я играл в обществе и музыка была для меня забавой, мое исполнение восхищало всех, в особенности дам. Теперь же, когда я вынужден был содержать себя с помощью музыки, моя игра вызывала презрение: люди перестают ценить талант, коль скоро он становится источником существования для того, кто им обладает.

Таким образом я добрался до Парижа, не имея никакой определенной цели, а лишь желая поосмотреться, и затем следовать дальше. Парижане гораздо больше ценят в приезжем человеке деньги, нежели остроумие. Ни тем, ни другим похвалиться я не мог и потому не сделался любимцем в Париже. Побродив по городу дней пять, налюбовавшись вдоволь на пышные фасады его дворцов, я уже собрался покинуть эту обитель корыстолюбивого гостеприимства, как вдруг, следуя по одной из главных улиц, я повстречал кого бы, вы думаете? Родственника, к которому я по вашему совету обратился с самого начала! Для меня эта встреча была счастьем, и, смею думать, для него она тоже не была неприятна.

Он спросил меня, какими судьбами я попал в Париж, и рассказал мне о деле, которое привело его сюда; заключалось же оно в том, чтобы накупить картин, медалей, печаток и всевозможных древностей для джентльмена, проживающего в Лондоне, который только что приобрел состояние, а вместе с ним и вкус к изящному. Я весьма удивился, что мой родственник принял на себя такое поручение, тем более что сам же он уверял меня прежде, что не имеет ни малейшего понятия об искусстве. Когда я спросил его, каким образом он столь внезапно сделался знатоком, он отвечал, что это проще простого. Секрет успеха заключается в том, чтобы неотступно следовать двум правилам: первое — во всех случаях говорить, что картина была бы много лучше, если бы художник приложил больше старания, а второе — превозносить творения Пьетро Перуджино. «Впрочем,— заключил он,— подобно тому, как в Лондоне я посвятил вас в тайны сочинительства, в Париже я научу вас покупать картины».

Я охотно согласился на его предложение, ибо здесь я видел возможность заработать себе на пропитание, а дальше этого мечты мои не простирались. Итак, я отправился к нему на квартиру и с его помощью несколько приоделся; а через некоторое время пошел вместе с ним на аукцион, где распродавали картины и где покупателями были английские аристократы. Я был немало удивлен, обнаружив, что мой родственник запросто

беседует с людьми высшего общества и что по поводу каждой картины и медали они обращаются к нему, как к знатоку, обладающему безошибочным вкусом. В этих случаях он ловко использовал мое присутствие: всякий раз, как спрашивали его мнения, он с важным видом отводил меня в сторону, пожимал плечами, строил глубокомысленную физиономию и наконец возвращался к обществу, говоря, что не берется высказать свое мнение в таком важном деле. Впрочем, случалось ему поступать и не столь осторожно. Так, однажды при мне, после того как он высказался об одной картине в том смысле, что краски в ней недостаточно выдержаны, он решительно схватил кисть с коричневым лаком, которая случайно оказалась у него под рукой, на глазах у собравшихся прошелся ею по всей картине и затем спросил их, не находят ли они, что тона картины сделались несколько глубже?

Выполнив свое поручение в Париже, он уехал, а перед отъездом отрекомендовал меня двум-трем своим влиятельным знакомым как человека, весьма пригодного для должности наставника во время путешествия; вскорости мне и место нашлось; какой-то джентльмен привез в Париж своего воспитанника и пригласил меня сопровождать молодого человека в его путешествии по Европе. Руководить им я должен был,однако,с той оговоркой, что в каждом случае буду предоставлять ему руководствоваться собственными желаниями. Впрочем, в искусстве обращаться с деньгами ученик мой мог бы меня поучить уму-разуму. Дядюшка его, умерший в Вест-Индии, оставил ему около двухсот тысяч фунтов, и опекуны его, затем чтобы приготовить наследника к управлению таким огромным состоянием, определили его учиться к стряпчему. Жадность — вот страсть, которая им владела исключительно! Все время, пока мы путешествовали, он только и спрашивал, как бы поменьше истратить, как бы повыгоднее проехать из одного места в другое и какого бы товара купить в дороге, чтобы при перепродаже в Лондоне получить наибольшую прибыль. Он охотно осматривал достопримечательности, когда за это не взималась плата; всякий же раз, как представлялось какое-нибудь платное зрелище, он уклонялся, говоря, будто слыхал, что оно нимало не занимательно. Ни разу не оплачивал он счета без того, чтобы не посетовать на дороговизну путешествий. И это на двадцать первом году жизни! В Ливорно мы пошли прогуляться в порт, чтобы взглянуть на суда, и он тут же стал расспрашивать, во что обошелся бы проезд в Англию. Ему отвечали, что плыть прямо отсюда будет стоить сущие пустяки по сравнению со всяким

иным путем, и, не будучи в силах устоять против искушения, он выдал мне остаток моего жалованья, простился со мной и, захватив с собой лишь одного слугу, поплыл в Лондон.

И вот я снова оказался брошенным на произвол судьбы,— впрочем, к этому мне было не привыкать. Однако здесь, в стране, где всякий крестьянин был более искусным музыкантом, чем я, мое уменье было бесполезно; зато к этому времени я обрел еще другой талант, который мог сослужить мне службу не хуже, чем первый, а именно, искусство вести спор. В заморских университетах и монастырях есть обычай по определенным дням назначать диспуты на какую-либо тему; в диспуте может принять участие всякий желающий, и тот, кто проявит при этом достаточно умения, получает денежную награду и, сверх того, обед и приют на одну ночь. Таким образом я осилил всю дорогу до Англии,— переходя пешком из города в город, пристально изучая людей, и, если можно так выразиться, знакомясь с обеими сторонами медали. Впрочем, выводы, к каким я пришел, можно изложить в нескольких словах: я убедился в том, что бедному человеку лучше всего живется при монархическом правлении, богатому — в республике. Я убедился также еще и в том, что богатство всюду, во всех странах, означает свободу и что как бы человек ни любил свободу, он всегда готов подчинить своих сограждан своей собственной воле.

Прибыв в Англию, я вознамерился засвидетельствовать вам свое почтение, а затем, дождавшись первой же кампании, завербоваться в солдаты; однако в дороге я переменил свое решение, ибо повстречался со старым знакомцем, который, как оказалось, был членом труппы комедиантов, отправлявшейся в деревню, где они полагали провести все лето. Актеры нашли, что я гожусь к ним в труппу. Каждый из них, впрочем, почитал себя обязанным известить меня о важности дела, к которому я собираюсь приобщиться; о том, что публика — многоголовое чудовище и что тот, кто надеется угодить ей, должен прежде всего сам иметь голову на плечах; что искусству актера в один день не обучишься и что нельзя и думать понравиться публике, не прибегая к ужимкам, освященным обычаем и вот уже столетие, как не сходящим со сцены, и которых, кстати сказать, в жизни, за пределами театра, нигде не встретишь! Затем возникло некоторое затруднение с выбором роли, так как все они были уже разобраны. На первых порах я перебрал несколько ролей, одну за другой, покуда за мной не была оставлена роль Горацио, которую, благодаря моим любезным слушателям, мне так и не довелось сыграть.

## ГЛАВА XXI

*Дружба людей порочных ненадежна; она длится до той лишь поры, покуда служит к взаимной выгоде*

Рассказ моего сына затянулся, и нам пришлось слушать его в два приема: начав свою повесть в первый вечер, он заканчивал ее на другой день после обеда, но внезапное появление кареты мистера Торнхилла у двери дома прервало наше приятное времяпрепровождение. Дворецкий, который отныне сделался преданнейшим моим другом, успел шепнуть мне на ухо, что этот помещик ухаживает за мисс Уилмот и что тетка ее и дядюшка чрезвычайно благосклонно смотрят на его сватовство. При виде нас с сыном мистер Торнхилл на одно мгновение как бы отпрянул; впрочем, я не подумал приписать это движение неудовольствию, а решил, что оно есть следствие неожиданности встречи. Так или иначе, на приветствие наше он отвечал самым сердечным образом, и вскоре оказалось, что с его приездом всем сделалось еще веселей.

После чая он отвел меня в сторонку, чтобы справиться о моей дочери, и весьма изумился, услыхав, что мне так ничего и не удалось узнать о ней; со своей стороны, он сообщил мне, что с тех пор частенько наведывался ко мне в дом и пытался утешить его обитателей как мог и что, уезжая, оставил их всех в добром здоровье. Затем он спросил, поделился ли я своим горем с мисс Уилмот или с Джорджем, и, узнав, что я еще не рассказал им о нем, одобрил мою сдержанность, советуя и впредь держать все дело в секрете; ибо, продолжал он, в лучшем случае вы объявите собственное бесчестие, а как знать, может быть, мисс Ливви менее виновна, нежели мы воображаем?

Тут подошел слуга и передал мистеру Торнхиллу приглашение на кадриль, и мистер Торнхилл покинул меня, оставив по себе самое приятное впечатление тем участием, какое он принимал в моих делах. Однако, с другой стороны, его обращение с мисс Уилмот не оставляло места для сомнений; правда, она как-будто не совсем была довольна его ухаживаниями и, казалось, принимала их скорее из угождения тетушке, нежели по собственной воле. Более того, я с радостью заметил, что в сторону моего сына она кидает такие ласковые взгляды, каких мистер Торнхилл, несмотря на все его богатство и все старания, удостоен не был. Впрочем, меня удивляло спокойствие мистера Торнхилла: уступив настойчивым просьбам миссис Арнольд, мы уже неделю как у нее гостили, и по мере того, как мисс Уилмот всякий день оказывала все больше знаков нежного

внимания моему сыну, возрастала к нему и дружба мистера Торнхилла.

Еще прежде он милостиво обещал употребить свое влияние, чтобы помочь нашему семейству; теперь же щедрость его не ограничилась одними обещаниями. В то самое утро, в какое предполагал я уехать, мистер Торнхилл подошел ко мне и с видом непритворной радости объявил об услуге, которую ему удалось оказать своему любезному Джорджу. Заключалась же она в том, что он выхлопотал ему патент на чин лейтенанта в одном из полков, отправляющихся в Вест-Индию, причем добился того, что с него соглашались взять всего сто фунтов вместо обычных трехсот.

— Об этой пустяковой услуге и говорить нечего,— продолжал мистер Торнхилл,— и я просто счастлив, что мог услужить другу; что касается ста фунтов, если вам сейчас трудно собрать такую сумму, я готов внести ее за вас, с тем что вы вернете мне эти деньги, когда вам будет удобно.

Мы не знали, какими словами благодарить его за такое поистине благородное предложение, и я охотно выдал ему денежное обязательство на эту сумму; при этом я благодарил его так неумеренно, что можно было подумать, будто я не собираюсь возвратить ему долг.

Джорджу надлежало немедленно отправиться в город, ибо, по словам его щедрого покровителя, мешкать было опасно,— на место мог найтись другой претендент, располагавший бóльшими средствами.

На другой день рано утром наш новоиспеченный воин был готов уже отбыть, и один среди всех нас не выказывал признаков волнения. Ни тяготы походной жизни, ни опасности, с ней сопряженные, ни предстоящая разлука с родными и со своею милою (ибо мисс Уилмот все-таки любила его), казалось, не могли повергнуть его в уныние. После того как он простился с остальными, я дал ему свое благословение — больше мне нечего было дать.

— Итак, сын мой,— воскликнул я,— ты отправляешься сражаться за свое отечество; помни же, сколь мужественно сражался твой дед, защищая священную особу короля — это было в те времена, когда преданность своему государю почиталась за добродетель среди британцев. Иди же, сын мой, и будь подобен ему во всем, кроме его несчастий, если можно назвать несчастьем смерть на поле боя рядом со славным лордом Фолклендом. Иди, сын мой, и если даже придется тебе пасть и тело твое, не оплаканное близкими, останется лежать без по-

гребения, знай: нет более драгоценных слез, нежели те, что росой падают с неба на голову сраженного воина!

На следующее утро я простился с добрым семейством, которое оказало мне такое радушное гостеприимство, и на прощание еще несколько раз повторил слова благодарности мистеру Торнхиллу за проявленную им щедрость. Я оставил этот дом, где все дышало благополучием, которое проистекает от соединения достатка с хорошим воспитанием, а сам направил стопы к собственному своему жилищу; я утратил всякую надежду найти свою дочь и мог лишь посылать вздохи к небесам, умоляя их сохранить ей жизнь и простить все прегрешения. Чувствуя, что еще не совсем оправился от болезни, я нанял верховую лошадь, и вот уже всего каких-нибудь двадцать миль отделяло меня от дома. Я уже радовался, что скоро увижу тех, кто мне дороже всего на свете, как надвинулась ночь; пришлось остановиться на постоялом дворе, и я пригласил хозяина распить со мной бутылку вина. Мы уселись возле очага в его кухне, которая оказалась лучшей комнатой во всем доме, и принялись беседовать, мешая разговоры о политике с деревенскими сплетнями. Разговор коснулся, между прочим, и молодого помещика Торнхилла, которого, по словам хозяина, столько же ненавидели в этих краях, сколько любили его дядюшку, сэра Уильяма, изредка наведывавшегося сюда. Далее он стал рассказывать, что молодой помещик имел обыкновение соблазнять девиц в тех домах, где бывал принят, и что, прожив со своей жертвой две-три недели, он прогонял ее вон, на произвол судьбы. Беседу нашу прервало появление жены хозяина, которая незадолго перед тем выходила разменять деньги; увидев, что супруг ее вкушает какие-то радости без нее, она сварливым голосом спросила его, что он тут делает. В ответ он насмешливо осушил свой стакан за ее здоровье.

— Мистер Саймондс! — вскричала она.— Не совестно вам так со мной обращаться? И без того вы взвалили на меня три четверти всех дел, а четвертая так и остается несделанной; сам только и знает, что день-деньской напивается с гостями, а я, наверное, умирать буду — не дождусь, чтобы мне каплю вина кто предложил!

Тут я понял, к чему она клонит, и налил ей стакан вина. Она сделала реверанс и выпила за мое здоровье.

— Сударь,— продолжала она затем,— не вина мне жалко, да как быть, когда мы того и гляди в трубу вылетим? Как взыскивать с гостей да постояльцев, так все на мне, а сам он скорее стакан вот этот разгрызет, чем с места сдвинется. Да вот сейчас,

к примеру, у нас тут наверху поселилась молодая особа, а небось и гроша за душой нет; уж больно у них манеры любезные! Как бы то ни было, спешить с расплатой она не станет, не из таковских, и уже не мешало бы ей напомнить об этом.

— А чего спешить? — вскричал хозяин.— Раз медленно, то и верно.

— Как бы не так! — отвечала жена.— Вот уж две недели живет, а мы еще от нее гроша не видели.

— Так верно, женушка, она хочет выплатить все сразу.

— Сразу там или не сразу,— вскричала жена,— а уж я из нее эти денежки выжму, и сегодня же, а не то пусть отправляется себе на улицу со всеми пожитками.

— Ты забываешь, дорогая,— воскликнул муж,— что она из благородных и заслуживает большего почтения.

— А уж это,— отвечала хозяйка,— из благородных она или еще из каких, меня не касается, а только придется ей убираться — не добром, так судом! Эти благородные, может быть, и хороши где-нибудь у себя дома, да я-то от них еще толку не видела.

С этими словами она взбежала по лесенке, что вела прямо из кухни в верхнюю комнату, и вскоре пронзительный ее голос и злобные попреки убедили меня в том, что у постоялицы денег не оказалось. Мы слышали все, что делалось наверху.

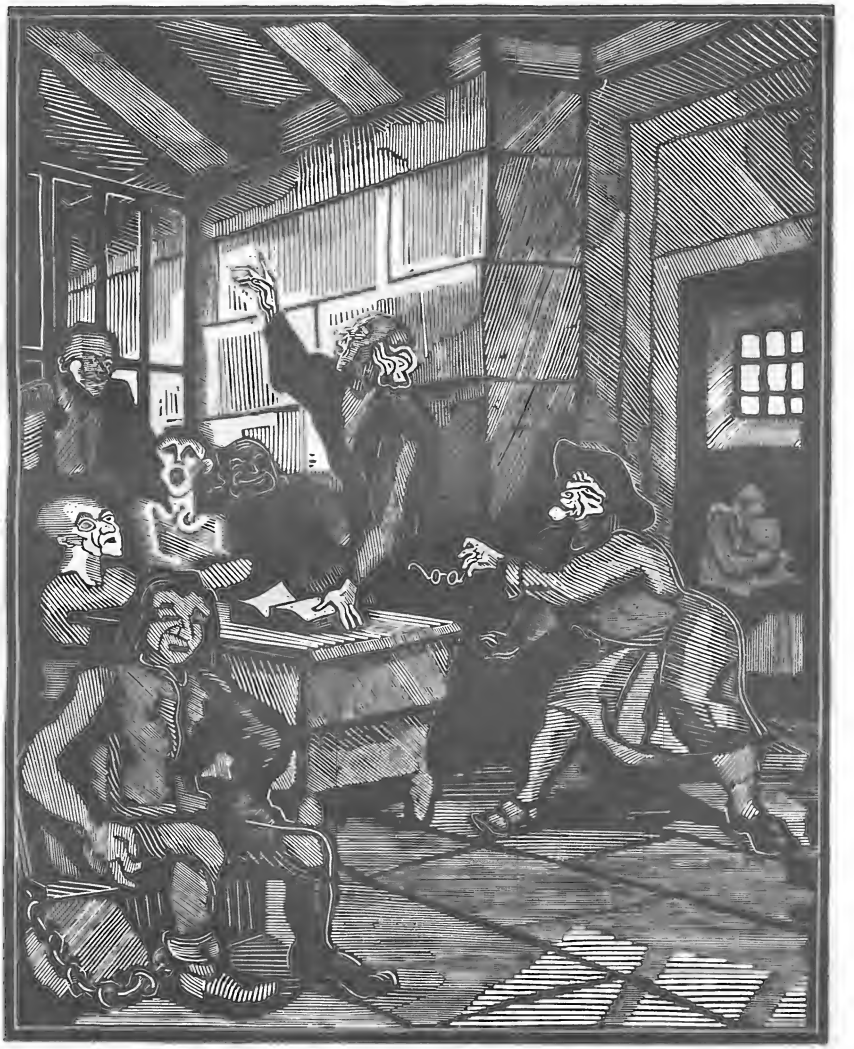
— Вон, говорю я, собирай свои пожитки! Слышишь, бродяжка, шлюха ты несчастная, а то я тебя так помечу, что ты раньше чем через три месяца и не очухаешься! Ах ты дрянь такая, взять и поселиться в честном доме, а у самой и гроша медного за душой нет! Вон отсюда!

— Сударыня, хорошая моя,— молила незнакомка,— пожалейте меня, позвольте несчастной прожить у вас еще одну эту ночку, смерть вскоре довершит остальное!

Я тотчас узнал голосок моей бедной погибшей девочки, родной моей Оливии, и подоспел к ней в ту самую минуту, как хозяйка вцепилась ей в волосы; я заключил свою милую заблудшую овечку в объятия.

— Прижмись к груди своего бедного, старого отца, дорогая моя бегляночка, сокровище мое бесценное! Пусть негодный соблазнитель бросил тебя, у тебя есть отец, который никогда тебя не бросит; пусть бы ты и десять тысяч преступлений совершила, он готов простить все до единого.

— О дорогой мой...— Несколько минут она не могла ничего выговорить.— О дорогой мой, добрый мой батюшка! Ангелы не добрее вас! Я не заслужила! Негодяй... О, как я ненавижу



О Голдсмит, «Векфильдский священник»

и его и себя... Навлечь позор на такого человека! Вы не можете простить меня, не можете, я знаю!

— От души, от души, дитя мое, прощаю тебя! Только бы раскаяние твое было искренне, и тогда, вот увидишь, мы с тобой еще будем счастливы. Впереди у нас еще много радостей, моя Оливия.

— Ах, батюшка, нет! Отныне и до конца дней моих меня ждет одно: на людях — позор да бесславие, дома же — горький стыд. Но что это, батюшка, как вы побледнели против прежнего! Неужто такая тварь, как я, могла быть причиной столь великого горя? Неужто вся ваша мудрость не помешала вам принять мое несчастье так близко к сердцу?

— Мудрость наша, сударыня...— начал было я, но она меня перебила.

— Какое холодное обращение, батюшка! — вскричала она.— В жизни не называли вы меня этак!

— Прости меня, родная,— отвечал я,— но я хотел лишь заметить, что мудрость наша медленно поспешает к нам на помощь, когда мы в горести,— медленно, но верно.

Тут возвратилась хозяйка, чтобы осведомиться, не угодно ли будет нам занять помещение, более подобающее благородным господам; и, получив утвердительный ответ, провела нас в комнату, где мы могли с большим удобством продолжать нашу беседу. Когда к нам наконец вернулось спокойствие, я не удержался и попросил ее описать все последовательные ступени, коими дошла она до настоящего печального ее состояния.

— Сударь, этот негодяй,— отвечала она,— с самой первой моей встречи с ним делал мне предложения, правда, честные, но тайно от вас.

— И впрямь, негодяй! — вскричал я.— И все же трудно поверить, чтобы столь благоразумный и, как мы полагали, столь честный человек, как мистер Берчелл, вдруг оказался виновным в такой преднамеренной низости — погубить семью, в которой был принят как родной!

— Дорогой мой батюшка,— отвечала она,— вы пребываете в странном заблуждении! Мистер Берчелл и не пытался меня обмануть. Напротив, он при каждом случае стремился тайно ото всех предостеречь меня от коварных уловок мистера Торнхилла, который оказался, как я убедилась, еще хуже, чем мне его расписали.

— Мистер Торнхилл?! — вскричал я.— Возможно ли?

— Так, сударь,— отвечала она,— мистер Торнхилл, именно он соблазнил меня; это он нанял тех знатных дам (как он их

назвал, а на самом деле презренных уличных девок, грубых и злых), чтобы завлечь нас в Лондон. И, как вы, верно, помните, эта их уловка удалась бы, если бы не письмо мистера Берчелла,— ведь порицание, заключавшееся в этом письме, мы приняли на свой счет, между тем как оно относилось не к нам, а к этим женщинам. Откуда у него такое влияние, что он мог помешать их планам, до сих пор остается для меня загадкой; одно я знаю наверное — он всегда был самым горячим, самым искренним нашим другом.

— Я изумлен, дитя мое! — воскликнул я.— Однако я вижу, что был прав, когда с самого начала заподозрил в этой низости мистера Торнхилла; впрочем, он может спокойно торжествовать свою победу, ибо он богат, а мы бедны. Однако, дитя мое, как велик должен был быть соблазн, чтобы ты забыла все правила, внушенные тебе воспитанием и поддержанные твоим врожденным чувством долга!

— Ах, сударь,— отвечала она,— своей победой он обязан тому, что я больше думала о его счастье, нежели о своем. Я знала, что свадебный обряд, который тайно совершил над нами католический священник, ни к чему не обязывал моего соблазнителя и что мне оставалось положиться единственно на честь его.

— Как? — перебил я.— Вас в самом деле обвенчал священник, настоящий священник?

— Да, сударь, так оно и было,— отвечала она,— хотя мы оба поклялись не оглашать его имени.

— Так дай же я тебя снова обниму, дитя мое; теперь я могу прижать тебя к груди в тысячу раз крепче прежнего! Ибо перед богом ты самая настоящая его жена; и никакие человеческие законы, пусть они будут начертаны на алмазных скрижалях, не могут ослабить силу этого священного союза.

— Увы, батюшка,— отвечала она,— вы не знаете всех его злодейств; он венчался уже не раз с помощью все того же священника; и таких жен у него шесть, а то и восемь, и всех-то их он обманул и бросил, как меня.

— Вот как! — воскликнул я.— В таком случае священника нужно повесить, и ты завтра же должна пойти и донести на него.

— Однако, сударь,— возразила она,— можно ли мне так поступить, когда я поклялась не оглашать его имени?

— Друг мой,— отвечал я,— если ты дала слово, то я не могу, да и не стану тебя уговаривать нарушить его. Даже ради общего блага ты не должна доносить на негодяя. Во всех прочих отраслях человеческой деятельности дозволяется совершать

небольшое зло во имя большего добра: так, в политике можно отдать целую провинцию, чтобы сохранить королевство; в медицине дозволительно отрезать руку или ногу ради спасения жизни больного. В одной лишь религии закон предписан раз и навсегда и не поддается никаким изменениям: *никогда* не твори зла. И это справедливо, дитя мое; иначе, если бы мы во имя большего блага позволяли себе творить небольшое зло, получилось бы так, что какое-то время, пока зло, нами допущенное, не претворилось бы во благо, над нами тяготел бы пусть небольшой, но все же грех. Меж тем господу богу, может быть, угодно призвать нашу душу к ответу именно в этот промежуток, и тогда список наших деяний, злых и добрых, равно оборвался бы, прежде чем в него были бы занесены благие последствия допущенного нами зла. Впрочем, я перебил тебя, дорогая. Что же было дальше?

— На следующее утро,— продолжала она,— он скинул маску. В тот же день он представил мне двух несчастных женщин, которых обманул таким же точно образом, как меня, и которые так с тех пор и живут при нем безропотными содержанками. Однако я слишком пылко любила его, чтобы терпеть подобных соперниц, и пыталась утопить свой позор в вихре наслаждений. Я плясала, наряжалась в дорогие платья и болтала без умолку, и все же чувствовала себя несчастной! Его приятели твердили мне о моих чарах, но это лишь увеличивало мою тоску, ибо я сама отказалась от могущества своих чар. Так я становилась день ото дня все печальнее, а он все небрежней и наконец это чудовище имело дерзость предложить меня какому-то молодому баронету, своему приятелю! Нужно ли описывать, сударь, как уязвила меня его неблагодарность? Я чуть с ума не сошла! Я решилась оставить его. На прощанье он протянул мне кошелек; но я швырнула кошелек ему в лицо и бросилась вон. Я была в неистовстве и первое время не могла даже постигнуть весь ужас своего положения. Вскоре, однако, я опомнилась и увидела, что́ я такое на самом деле: существо жалкое и омерзительное, погрязшее в пороке, у которого на всем белом свете нет никого, к кому можно обратиться за помощью! В это самое время подле меня остановилась почтовая карета, и я в нее села с единственной целью уехать как можно дальше от негодяя, которого я отныне ненавидела и презирала всеми силами души. Здесь, возле этой харчевни, меня высадили, и здесь с самого приезда собственные мои душевные терзания да жестокосердие этой женщины были единственными моими товарищами. Память о тех счастливых годах, что я про-

вела в обществе сестры и матери, теперь отзывается в моем сердце одной лишь болью. Велика их печаль, я знаю. Но не сравниться ей с моею печалью, ибо у меня к ней примешивается еще и сознание собственной вины и позора.

— Терпение, дитя мое! — вскричал я.— И будем надеяться, что все будет хорошо! Отдохни эту ночь, а наутро я тебя повезу домой, к матушке и всему нашему семейству; там тебя примут с любовью и лаской. Бедная матушка! Она уязвлена в самое сердце, но по-прежнему тебя любит и, конечно, простит тебе все.

## ГЛАВА XXII

*Где крепко любят, там легко прощают*

Наутро я сел на лошадь и, усадив дочь позади себя, отправился с ней домой. В дороге я пытался разогнать ее печаль и страхи и помочь ей собраться с силами для предстоящей встречи с оскорбленной матерью. В великолепной картине, что являла нам окружающая природа, черпал я доказательства тому, насколько небо добрее к нам, нежели бываем мы по отношению друг к другу. И обратил ее внимание на то, что несчастия, проистекающие по вине природных стихий, весьма немногочисленны. Я уверял ее, что никогда не уловит она в моей любви к ней ни малейшей перемены и что покуда я жив — а умирать я еще не собирался,— она во мне всегда найдет друга и наставника. Я предупредил ее о возможном гонении, которому она подвергнется со стороны общества, и тут же напомнил, что книга — лучший друг израненной души, друг, от которого никогда не услышишь упрека и который, если и не в состоянии сделать нашу жизнь более радостной, то, по крайней мере, помогает сносить ее тяготы.

Нанятую мною лошадь я договорился оставить на постоялом дворе, в пяти милях от моего дома, и предложил Оливии переночевать там же, чтобы я мог приготовить домашних к ее возвращению, и рано поутру вместе с ее сестрой Софьей за нею приехать. Уже совсем смеркалось, когда мы прибыли на постоялый двор; тем не менее, позаботившись о том, чтобы Оливии отвели порядочную комнату, и, заказав у хозяйки подходящий для нее ужин, я поцеловал дочь и зашагал к дому. Сладкий трепет охватил мое сердце, когда я стал приближаться к своему мирному убежищу. Подобно птице, возвращающейся в родное гнездо, с которого ее спугнули, летели мои чувства, опережая бренное тело и в радостном предвкушении уже вита-

ли над смиренным моим очагом. Я повторял про себя все те ласковые слова, что скажу своим милым, и пытался представить себе восторг, с каким буду ими встречен. Я почти ощущал уже нежные объятия жены и улыбался радости малюток. Шел же я тем не менее довольно медленно, и ночь меня совсем уже настигла; селение спало; огни погасли; пронзительный крик петуха да глухой собачий лай в гулкой дали одни только и нарушали тишину. Я уже подходил к нашей маленькой обители счастья, и, когда до нее оставалось уже не больше двухсот шагов, верный наш пес выбежал мне навстречу.

Была уже почти полночь, когда я постучался в дверь своего дома; мир и тишина царили всюду — сердце мое полнилось неизъяснимым счастьем, как вдруг, к моему изумлению, дом мой вспыхнул ярким пламенем, и багровый огонь забил изо всех щелей! С протяжным, судорожным воплем упал я без чувств на каменные плиты перед домом. Крик мой разбудил сына; увидев пламя, он тотчас поднял мать и сестру, и они выбежали на улицу, раздетые и обезумевшие от страха; стенаниями своими они возвратили меня к жизни. Новый ужас ждал меня, ибо пламя охватило кровлю, и она начала местами обваливаться; жена и дети, как зачарованные, в безмолвном отчаянии глядели на пламя. Я переводил взгляд с горящего дома на них и наконец стал озираться, ища малышей; но их нигде не было видно.

— О, горе мне! Где же,— вскричал я,— где мои малютки?

— Они сгорели в пламени пожара,— отвечала жена спокойным голосом,— и я умру вместе с ними.

В эту самую минуту я услышал крик моих сыночков, которых пожар только что пробудил.

— Где вы, детки мои, где вы? — кричал я, бросаясь в пламя и распахивая дверь комнатки, в которой они спали.— Где мои малютки?

— Мы здесь, милый батюшка, здесь! — отвечали они хором, меж тем как языки пламени уже лизали их кроватку. Я подхватил их на руки и поспешил выбраться с ними из огня; и тотчас кровля рухнула.

— Теперь бушуй,— вскричал я, подняв детей как можно выше,— бушуй себе, пламя, как тебе угодно, пожри все мое имущество! Вот они, тут — мне удалось спасти мои сокровища! Здесь, здесь, милая женушка, все наше богатство! Не вовсе от нас отвернулось счастье!

Тысячу раз перецеловали мы наших крошек, они же обвили нам шею своими ручонками и, казалось, разделяли наш восторг; их матушка то смеялась, то плакала.

Теперь я стоял уже спокойным свидетелем пожара и не сразу даже заметил, что рука моя до самого плеча обожжена ужаснейшим образом. Беспомощно взирал я, как сын мой пытался спасти часть скарба нашего и помешать огню перекинуться на амбар с зерном. Проснулись соседи и прибежали к нам на помощь; но, подобно нам, они могли лишь стоять бессильными свидетелями бедствия. Все мое добро, вплоть до ценных бумаг, которые я приберегал на приданое дочерям, сгорело дотла; уцелели лишь сундук с бумажным хламом, стоявший на кухне, да еще две-три пустяковые вещички, которые моему сыну удалось вытащить в самом начале пожара. Впрочем, соседи старались облегчить нашу участь кто как мог. Они притащили одежду и снабдили нас кухонной утварью, которую мы снесли в один из сараев, так что к утру у нас оказалось, хотя и убогое, но все же убежище. Честный мой сосед и все его семейство не отставали от прочих и тоже рьяно помогали нам устроиться на новом месте, пытаясь утешить меня всеми словами, какие в простодушной доброте приходили им на ум.

Когда мои домашние немного оправились от страха, они захотели узнать причину длительного моего отсутствия; описав им подробно мои приключения, я затем осторожно стал подводить разговор к возвращению нашей заблудшей овечки. Как ни убог был дом наш, я хотел, чтобы она была принята в нем с совершенным радушием,— только что постигшее нас бедствие, притупив и смирив присущую жене гордость, в большой мере облегчило мою задачу. Боль в руке была так велика, что я не в состоянии был отправиться за бедной моей девочкой сам и послал вместо себя сына с дочерью, которые вскоре привели несчастную беглянку; у нее недоставало духу поднять глаза на мать — несмотря на все мои увещевания, та не могла сразу полностью простить ее; ибо женщина всегда живее чувствует вину другой женщины, чем мужчина.

— Увы, сударыня, — воскликнула мать,— после великолепия, к которому вы привыкли, наша лачуга покажется вам слишком убогой! Дочь моя Софья и я не сумеем принять подобающим образом особу, которая привыкла вращаться в высшем свете. Да, мисс Ливви, нам с твоим бедным отцом много чего пришлось выстрадать; ну, да простит тебя небо!

С бледным лицом и дрожа всем телом, не в силах ни плакать, ни вымолвить слова в ответ, стояла моя бедняжка во время этой приветственной речи; но я не мог оставаться немым свидетелем ее муки, и поэтому, вложив в свой голос и манеру ту

суровость, которая всякий раз вызывала беспрекословное повиновение, я сказал:

— Слушай, женщина, и запомни мои слова раз и навсегда: я привел бедную заблудшую скиталицу, и для того, чтобы она возвратилась на стезю долга, нужно, чтобы и мы возвратили ей свою любовь; для нас наступила пора суровых житейских испытаний, так не станем умножать свои невзгоды раздорами. Если мы будем жить друг с другом в ладу, если мир и согласие поселятся между нами, мы будем жить хорошо, ибо наш семейный круг достаточно обширен, и мы можем не обращать внимания на злоречие, находя нравственную опору друг в друге. Всем кающимся обещано небесное милосердие, будем же и мы следовать высокому примеру. Мы ведь знаем, что не столь угодны небу девяносто девять праведников, сколь один раскаявшийся грешник; и это справедливо: легче сотворить сотню добрых дел, чем остановиться тому, кто уже устремился вниз и почти уже обрек свою душу на гибель.

## ГЛАВА XXIII

*Лишь тем, кто уклонился от пути праведного, свойственно предаваться длительной и беспросветной печали*

Немало прилежания потребовалось для того, чтобы нынешнюю нашу обитель сделать пригодной для жилья, но вот мы вновь узнали душевный покой. Из-за боли в руке я не мог помогать сыну в его работе и поэтому читал вслух своему семейству, стараясь выбирать из немногих уцелевших книг такие, что, давая пищу воображению, одновременно успокаивали душу. Добрые наши соседи тоже не забывали нас и наведывались каждый день, выражая свое сердечное сочувствие; они сами избрали определенное время для того, чтобы сообща помогать нам в восстановлении сгоревшего дома.

Честный фермер Уильямс не отставал от других, выказывая нам самую горячую дружбу. Он даже был готов возобновить свои ухаживания за моей дочерью; решительность, с какой она их отвергла, раз и навсегда положила им конец. Владевшая ею печаль была, видимо, не из тех, что проходят скоро, и, когда через какую-то неделю ко всем остальным в нашем маленьком кружке вернулась обычная веселость, она одна ее не разделяла. Не было уже той безмятежной невинности, благодаря которой прежде в ней жило уважение к себе и простодушное желание нравиться другим. Тоска всецело поглотила ее;

силы были подточены, красота стала увядать тем приметнее, чем небрежнее она относилась к своей наружности. Всякое ласковое слово, обращенное к ее сестре, уязвляло ее в самое сердце и вызывало слезы на глаза; когда человек вылечивается от одного какого-нибудь недостатка, на его месте неизбежно появляются другие,— так и здесь: прежний грех, уже искупленный раскаянием, оставил по себе зависть и ревнивую мнительность. Тысячи способов изыскивал я, чтобы уменьшить ее тоску; стремясь облегчить ее страдания, я забывал собственную боль; я приводил ей бесчисленное множество всяческих историй, которые благодаря начитанности хранил я в своей крепкой памяти.

— Наше счастье, мой друг,— говорил я ей,— в руке того, кто с помощью тысячи сокрытых от нас путей может доставить его нам; и перед этим вся наша прозорливость — ничто. Если хочешь, дитя мое, я поведаю тебе одну историю, которая может служить тому доказательством; вот что рассказывает один весьма серьезный, хоть и наделенный романтическим воображением, историк.

«Совсем юной вышла Матильда замуж за вельможу, принадлежавшего к одному из знатнейших семейств Неаполя; в пятнадцать лет она оказалась матерью и вдовой. И вот однажды стояла она у раскрытого окна над самой рекой Вольтурно, лаская своего младенца, как вдруг резким движением вырвался он у нее из объятий, упал в поток и через мгновение исчез в нем. Мать, желая спасти его, в ту же минуту бросилась вслед за ним в реку; но не только не удалось ей помочь своему дитяти, но и сама она едва выбралась на противоположный берег, на котором в ту пору лютовали французские солдаты. Они тотчас взяли ее в плен.

Война, которая тогда шла между французами и итальянцами, велась с крайней бесчеловечностью, и солдаты намеревались совершить над нею те два противоположные действия, которые диктуют похоть и злоба. Подлым их намерениям, однако, помешал молодой офицер, который, несмотря на поспешность отступления, посадил ее позади себя на коня и доставил в свой родной город целой и невредимой. Одна красота ее первоначально бросилась ему в глаза, но вскоре сердце его было покорено душевными ее достоинствами. Они повенчались; он достиг высших чинов.

Долгую и счастливую жизнь прожили они вместе. Но переменчиво счастье солдата. Прошли годы, и вверенное ему войско было обращено в бегство, и ему пришлось искать убежище в том самом городе, где проживал он с женой. После длительной осады город был наконец взят неприятелем. Французы и итальян-

цы в ту пору проявляли беспримерную в истории жестокость по отношению друг к другу. В нашем случае победители решили всех пленных французов предать смерти, и в первую очередь мужа злополучной Матильды, ибо он и был главным виновником того, что город сопротивлялся так долго. Обычно подобные приговоры приводились в исполнение тут же. Пленного воина уже повели на место казни, палач уже занес свой меч, и зрители в мрачном молчании ожидали рокового удара, который должен был последовать по мановению руки генерала, взявшего на себя роль верховного судьи.

В эту-то минуту, полную муки ожидания, Матильда бросилась к супругу, чтобы проститься с ним в последний раз; она громко сетовала на свое бедственное положение и жестокую судьбу, которая спасла ее от преждевременной смерти в волнах Вольтурно для того лишь, чтобы сделать ее жертвой еще более страшных бедствий. Генерал был молод, его поразила красота женщины и тронула ее участь; когда же он услышал из ее уст рассказ об опасности, которой она некогда подверглась, чувства его пришли в совершенное смятение. Ибо это был ее родной сын, тот самый младенец, ради которого она подвергла свою жизнь столь великому риску! Он тут же признал в ней свою мать и пал к ее ногам. Остальное нетрудно себе представить: пленник был тотчас освобожден, и эти люди познали все то счастье, которое может проистекать от любви, дружбы и сознания исполненного долга, когда они действуют согласно».

Подобным образом пытался я развлекать свою дочь. Но она слушала меня рассеянно, ибо собственные горести лишили ее дара сочувствия, которым она некогда обладала, и душа ее не знала ни минуты покоя. Она избегала бывать на людях, ей чудилось, что все ее презирают, в одиночестве же ее терзала тоска. Печаль всецело овладела моей дочерью, как вдруг до нас дошел слух, будто мистер Торнхилл собирается вступить в брак с мисс Уилмот; я сам давно уже подозревал, что он питает к ней страсть, как ни стремился он при всяком случае выражать презрение и к наружности ее, и к приданому.

Эта весть лишь усугубила страдания бедной Оливии. Ибо такое наглое надругательство над чувством было свыше ее сил. Я, однако, решился добыть более определенные сведения и, если слухи подтвердятся, помешать мистеру Торнхиллу осуществить его намерение; я послал сына к старому мистеру Уилмоту, с тем чтобы узнать от него, сколь достоверен этот слух, а дочери его, мисс Уилмот, вручить письмо, в котором сообщалось, как мистер Торнхилл вел себя по отношению к нашей семье.

Сын отправился выполнять мое поручение и через три дня вернулся; слух, по его словам, оказался справедливым, письма же ему не удалось вручить мисс Уилмот, и он был вынужден его оставить, ибо мистер Торнхилл со своей невестой в это время разъезжали с визитами. Венчание, сообщал далее сын, должно состояться через несколько дней, ибо они уже в прошлое воскресенье, перед его приездом, появились вместе в церкви в великолепных нарядах; шестеро подружек сопровождало невесту и столько же дружков — жениха.

Предстоящая свадьба наполняла восхищением всю округу, и невеста с женихом всюду ездили в карете столь великолепной, что равной ей уже много лет в этих краях никто не видывал. По словам сына, туда съехались друзья обоих семейств, в том числе и дядя помещика, сэр Уильям Торнхилл, о котором рассказывали столько хорошего. Все только и делали, прибавил он, что пировали да веселились; только и говорили о том, как хороша невеста да каков молодец жених, и рассказывали чудеса о взаимной их привязанности; и, наконец, в заключение сын мой признался, что мистер Торнхилл представляется ему счастливейшим из смертных.

— Что ж,— возразил я,— пусть себе радуется, если может. Однако, взгляни, мой сын, на сие соломенное ложе, на худую крышу, на заплесневелые сии стены и сырой пол; на хилое тело мое, искалеченное огнем, и на младенцев, с воплями просящих у меня кусок хлеба! Все это, дитя мое, ты застаешь по своем возвращении, и все же тут зришь ты человека, который за все блага на свете не поменялся бы с тем, кому ты позавидовал! Научитесь, о дети, внимать гласу сердца своего, поймите, сколь благородного друга имеете в нем, и тогда весь этот блеск неправедный и великолепие померкнут в ваших глазах! Принято говорить, что жизнь наша есть странствие, а мы все — странники. Сравнение это можно расширить, сказав, что человек добродетельный весел и покоен, как путник, возвращающийся в родной дом; неправедный же бывает счастлив лишь изредка, минутами — как человек, который отправляется в изгнание.

Но тут я был вынужден оборвать свою речь и крикнуть жене, чтобы она подхватила Оливию: под бременем нового горя, свалившегося на нее, бедняжка чуть не лишилась чувств. Вскоре, однако, она пришла в себя. С этой минуты к ней, казалось, вернулось спокойствие, и я вообразил, что ей удалось овладеть собой; но я обманывался: это был не покой, это было изнеможение души, истомленной болью.

Добрые мои прихожане прислали мне немного пищи, и все, кроме Оливии, воспрянули духом; не могу сказать, чтобы я был недоволен, видя их снова веселыми и счастливыми. Несправедливо было бы во имя сочувствия упорствующей меланхолии омрачать их радость и возлагать на них бремя печали, которую они не испытывали. Итак, снова принялись мы рассказывать истории, петь песни, и снова веселье осенило тесное наше жилище.

## ГЛАВА XXIV

*Новые невзгоды*

Следующее утро выдалось на редкость солнечное и теплое по тому времени года, и мы решили позавтракать под кустом жимолости, где младшая моя дочь по моей просьбе присоединила свой голосок к концерту, раздававшемуся в ветвях деревьев над нами. Тут, на самом этом месте, бедняжка Оливия впервые встретилась со своим соблазнителем, и все кругом, казалось, напоминало ей о ее горе. Однако грусть, что вызывают в нас красоты природы и гармонические звуки, ласкает сердце, не уязвляя его. На этот раз сладкая печаль проникла в душу и матушки ее, она всплакнула и снова возлюбила свою дочь всем сердцем.

— Оливия, красавица моя! — воскликнула она.— Спой же нам ту печальную песенку, что некогда так любил слушать твой отец. Сестра твоя Софья усладила нас своим пением. Спой же и ты, девочка, побалуй своего старого отца!

Она спела свою песенку с таким трогательным одушевлением, что я сам умилился чуть ли не до слез.

Когда неведомая сила,
Любви нахлынувшей волна,
К паденью женщину склонила
И долг нарушила она,

И видит вскоре, что любимый
С другой скрестил влюбленный взор,—
Чем ей помочь, неисцелимой,
Как смыть с ее души позор?

Один лишь путь: в тоске безмерной
Таить глухую боль стыда
И, чтоб раскаялся неверный,
Уйти из жизни навсегда [1].

[1] Перевод В. Левика.

Когда она исполняла заключительный куплет, голос ее задрожал от нестерпимой грусти и сделался еще нежнее; и в эту самую минуту мы завидели вдали карету мистера Торнхилла. Особенно, конечно, взволновалась старшая моя дочь; не желая встречаться с бессердечным обманщиком, она скрылась с сестрой в нашей хижине, я оставался на месте; через несколько минут он вышел из кареты и направился ко мне. С обычной своей непринужденностью он стал справляться о моем здоровье.

— Сударь,— отвечал я,— теперешняя наглость ваша лишь усугубляет всю вашу низость душевную; и было время, когда я не оставил бы безнаказанной дерзость, с какой осмеливаетесь вы являться мне на глаза. Нынче, разумеется, вы можете быть спокойны: возраст остудил пыл моих страстей, а сан велит сдерживать их.

— Клянусь, государь мой,— отвечал он,— я поражен! Я не понимаю, что все это значит? Надеюсь, вы не видите ничего предосудительного в той маленькой прогулке, что ваша дочь давеча предприняла со мной?

— Прочь, несчастный! — вскричал я.— Жалкий негодяй и обманщик! Ты изолгался вконец! Твое ничтожество — лучший щит от моего гнева. А право, сударь, я веду свой род от людей, которые умели отвечать на оскорбления. Подумай, бесчестный человек, в угоду минутной своей страсти ты сделал женщину несчастной на всю жизнь и погубил семью, у которой не было иного богатства, кроме чести!

— Коли вы, сударь, или ваша дочь решились упорствовать в своем несчастье, я вам помочь не могу,— возразил он.— Однако счастье ваше в ваших же руках и от вас самих зависит, быть ли мне врагом вашим или другом. Мы можем хоть теперь же обвенчать ее с кем-нибудь, и, главное, ее первый любовник останется при ней, ибо, клянусь, я никогда не перестану ее любить!

Новое это оскорбление заставило все мои чувства возмутиться — так уж бывает, что человека, который в большой беде сохраняет спокойствие духа, мелкие подлости, уязвляя в самое сердце, доводят до исступления.

— Прочь, змея, с глаз моих! — вскричал я.— И не смей оскорблять меня своим присутствием. Кабы храбрый сын мой был дома, он бы этого не потерпел; я же старый, немощный и вконец разбитый человек.

— Вот как! — вскричал он.— С вами, оказывается, придется повести разговор круче, нежели я намеревался. Хорошо же, я вам показал, чего можно ждать от моей дружбы, не мешает

теперь вам знать, каковы будут следствия моей вражды. Стряпчий, которому я передал ваш вексель, твердо решил подать к взысканию; и я не знаю иного средства помешать свершиться правосудию, как заплатить по векселю из собственного кармана; а это не так-то легко, ибо у меня и без того довольно расходов в связи с предстоящей женитьбой! Вот и управляющий намерен потребовать с вас арендную плату, а уж он свое дело знает, будьте покойны — я-то ведь этими пустяками никогда не занимаюсь. И все же я хотел бы быть полезным вам и даже собирался пригласить вас и вашу дочь на мою свадьбу, которая должна состояться через несколько дней. Прелестная моя Арабелла настаивает на вашем присутствии, и вы, я думаю, не захотите огорчать ее отказом.

— Мистер Торнхилл,— отвечал я.— Вот мое последнее слово: своего согласия на ваш брак с кем бы то ни было, кроме моей дочери, я никогда в жизни не дам, и пусть бы дружба ваша способна была возвести меня на трон, а вражда — свести в могилу, я бы отвечал равно презрением и на то и на другое. Один раз ты уже гнусно обманул меня и причинил нам непоправимое горе. Сердцем своим положился я на твою честь, а нашел одну лишь низость. Посему не ожидай моей дружбы более. Ступай, пользуйся и наслаждайся всем, что тебе дала судьба,— красотой, богатством и здоровьем. Но знай, как бы унижен я ни был, сердце мое исполнено гордости; и хоть я дарую тебе прощение, я буду вечно тебя презирать.

— А коли так,— отвечал он,— то вы узнаете, к чему приводит дерзость, и мы скоро увидим, кто из нас двоих достойней презрения: вы или я?

С этими словами он круто повернулся и ушел.

Жена моя и сын слышали весь разговор и стали дрожать от страха. Дочери, после того как убедились в том, что он ушел, тоже вышли, чтобы узнать, к чему привела наша беседа; а когда узнали, пришли в неменьшее смятение. Меня же никакие дальнейшие проявления его ненависти не могли уже страшить: первый удар был нанесен, и я готов был отражать последующие; я был подобен снаряду, известному под названием «рогулька», который применяется во время войны: как ни кинь его, он всегда оказывается одним из своих шипов направленным к неприятелю.

Впрочем, очень скоро пришлось нам убедиться в том, что слова его были не пустая угроза, ибо на следующее же утро явился управляющий, требуя с меня арендную плату за год, которую я по причине обрушившихся на меня несчастий упла-

тить не мог. Следствием моей несостоятельности было то, что вечером того же дня он увел весь мой скот и на другой день продал его за полцены. Тут жена моя и дети стали просить меня согласиться на любые условия и не навлекать на себя верной погибели. Они даже умоляли меня позволить помещику навещать нас по-прежнему, и все свое маленькое красноречие употребили на то, чтобы представить мне бедствия, которые я себе уготавливаю: ужасы темницы, да еще в такое время года, да еще при незажившей ране, которая представляла немалую угрозу для здоровья. Но я оставался непреклонен.

— Послушайте, возлюбленные мои,— воскликнул я,— для чего пытаетесь вы уговорить меня делать то, что делать не следует? Долг велит мне простить его, это верно, но не могу же я по совести одобрить его поступки? Неужто вы хотите, чтобы я открыто превозносил то, что в глубине души осуждаю? Чтобы покорно угодничал перед бесславным соблазнителем? И ради того, чтобы избежать тюрьмы и мук телесных, согласился бы на постоянные и еще более тяжкие муки душевные? Так не бывать же этому! Если и выгонят нас из этой лачуги, будем все же держаться праведного пути, и, куда бы нас ни забросила судьба, мы, следуя этой стезей, придем в чудесную обитель, где всякий может весело и бестрепетно заглянуть в свою душу.

В подобных разговорах провели мы вечер. Всю ночь падал снег, и наутро сын мой вышел, чтобы расчистить дорожку перед входом. Вскоре он вбежал назад, весь бледный, и сообщил, что два человека, в которых он узнал судебных приставов, направляются прямехонько к нам.

Не успел он это проговорить, как они вошли, проследовали прямо к моей постели и, сообщив мне свою должность и дело, за которым пришли, арестовали меня и велели собираться в местную тюрьму, отстоявшую от моего жилья на одиннадцать миль.

— Суровую же погоду, друзья мои, избрали вы для того, чтобы препроводить меня в тюрьму,— сказал я им.— Особенно же неудачно время это для меня еще и по той причине, что я совсем недавно получил страшный ожог руки и до сих пор не могу оправиться от небольшой лихорадки, вызванной им; к тому же у меня нет теплого платья, и я слишком немощен и стар, чтобы шагать далеко по глубокому снегу — впрочем, коли иначе нельзя...

Тут я повернулся к жене и детям и приказал им собрать те немногие вещи, что у нас еще оставались, и готовиться немедленно покинуть это жилье. Я заклинал их не терять вре-

мени, а сыну велел заняться старшей сестрой, которая от мучительного сознания, что она является виновницей всех наших бедствий, упала без чувств. Затем обратился я со словами ободрения к жене — бледная и дрожащая, стояла она, прижав к себе наших перепуганных малюток, которые молча прятали личики у нее на груди, не смея оглянуться на пришельцев. Между тем младшая моя дочь собирала вещи, и так как ей несколько раз давали понять, что нужно поторапливаться, через какой-нибудь час мы были уже готовы отправиться в путь.

## ГЛАВА XXV

*Никогда не следует отчаиваться; утешение приходит к нам при любых обстоятельствах*

Мы покинули мирное селенье и медленно побрели по дороге. Старшую мою дочь, обессилевшую от лихорадки, которая вот уже несколько дней исподволь подтачивала ее здоровье, один из приставов, тот, у которого была верховая лошадь, сжалившись, посадил позади себя; даже у этих людей не вовсе отсутствует человеколюбие. Сын вел за руку одного из наших малюток, жена — второго. Я же опирался на плечо младшей дочери, у которой слезы так и текли,— но не о собственной участи плакала она, а о моей.

Мы уже отошли от нашего последнего жилища мили на две, как вдруг увидали позади себя толпу — человек пятьдесят беднейших моих прихожан с громкими воплями бежали вслед за нами! Со страшными проклятиями схватили они обоих судебных приставов, клянясь, что не допустят, чтобы их священника посадили в тюрьму, и что станут защищать его до последней капли крови; при этом они грозились учинить жестокую расправу над конвойными. Это могло бы привести к роковым последствиям, но я тотчас вмешался и с трудом вырвал служителей правосудия из рук разъяренной толпы. Дети, вообразив, что пришло избавление, не в силах были унять свой восторг и прыгали от радости. Впрочем, слова, с которыми я обратился к бедным заблуждающимся людям, думавшим, что они меня спасают, вскоре их отрезвили.

— Что это, друзья мои? — воскликнул я.— Так-то вы являете мне любовь свою? Так-то следуете наставлениям, с которыми я обращался к вам в церкви? Оказываете сопротивление правосудию, навлекая погибель на себя, да и на меня тоже! Кто тут у вас зачинщик? Покажите мне того, кто ввел вас в

соблазн! Я не оставлю его дерзость безнаказанной, вот увидите! Увы, мои дорогие заблудшие овцы! Ступайте домой и не забывайте более долга своего по отношению к богу, к отчизне и ко мне! Может, мне когда и доведется увидеть вас при иных, более счастливых обстоятельствах, и тогда я приложу все старания, чтобы облегчить ваш удел. Дайте мне, по крайности, тешить себя надеждой, что когда я стану собирать свое стадо и поведу его стезей бессмертия, все мои овечки до единой окажутся налицо!

Раскаяние охватило их, и они в слезах по одному стали подходить ко мне и прощаться. С чувством пожал я руку каждому из них и, благословив всех, пошел дальше, не встречая более препятствий на своем пути. Под вечер мы добрались до города, хотя справедливее было бы назвать его деревней, ибо состоял он всего лишь из нескольких убогих домишек; все былое великолепие он утратил, а от древних своих привилегий сохранил лишь эту тюрьму.

Мы завернули на постоялый двор, где нам на скорую руку состряпали ужин, и, сохраняя обычное веселие духа, я уселся со своими близкими за стол. Позаботившись о приличном ночлеге для семьи, я отправился в сопровождении приставов в тюрьму; в свое время ее построили для военных целей, и она представляла собой обширную залу, защищенную крепкой решеткой и вымощенную каменными плитами; большую часть суток несостоятельные должники содержались тут вместе с ворами и грабителями, на ночь же арестантов разводили по одиночным камерам и там запирали.

Вступая в тюрьму, я ожидал, что услышу одни вопли и стенания несчастных; на деле же все оказалось не так. Одна-единственная цель, по-видимому, одушевляла узников — как-нибудь забыться в шуме и веселье. С меня, как со всякого новичка, сразу потребовали денег на угощение, и я немедленно подчинился обычаю, хотя та небольшая сумма, что была при мне, и без того почти совсем растаяла. Тотчас послали за вином, и тюрьма вскоре наполнилась буйством, хохотом и сквернословием.

«Ну что ж,— подумал я.— Если закоренелые преступники веселы, то мне и вовсе грех унывать! Тюрьма все та же, что для меня, что для них, а у меня как-никак больше причин чувствовать себя счастливым, нежели у этих людей».

Подобными мыслями я пытался подбодрить себя, но слыхано ли, чтобы кто когда-либо становился веселым по принуждению, которое само по себе есть враг веселья? И вот, покуда я

сидел в углу и предавался грустной задумчивости, ко мне подсел один из моих товарищей по заключению и вступил со мной в разговор. Я положил себе за правило никогда не отказывать в беседе никому, кто пожелал бы со мной говорить; ибо, если разговор его хорош, я могу почерпнуть из него что-нибудь для себя, а если плох — могу принести пользу собеседнику. На этот раз мне попался человек бывалый, с хорошей природной смекалкой, знающий, как говорится, свет, или, вернее, его изнанку. Он спросил меня, позаботился ли я о постели, а надо сказать, что я о ней и не подумал.

— Напрасно! — воскликнул он.— Ибо здесь ничего, кроме соломы, не дадут, а ваша камера очень велика, и вам будет холодно. Впрочем, вы, я вижу, джентльмен, и так как я и сам в свое время принадлежал к их числу, то с радостью уступлю вам часть моих постельных принадлежностей.

Я поблагодарил его и высказал удивление по поводу того, что встречаю такое человеколюбие в тюрьме, и, желая блеснуть своей образованностью, прибавил, что древний мудрец, видно, знал цену дружбе в несчастье, когда сказал: «*Тон космон айре, эй дос тон этайрон*».

— И в самом деле,— продолжал я,— чем был бы мир, если бы мы были обречены на полное одиночество?

— Вы говорите о мире, сударь,— подхватил мой товарищ по заключению.— Мир достиг дряхлого возраста, и, однако, космогония или сотворение мира озадачили не одно поколение философов. Какие только предположения не высказывали они о сотворении мира! Санхониатон, Манефо, Берозус и Оцеллий Лукан — все они тщетно пытались разгадать эту задачу. У последнего есть даже такое изречение: «*Анархон ара кай ателутайон то пан*»,— что означает...

— Извините меня, сударь, если я перебью вашу ученую речь!— вскричал я.— Но мне сдается, что я уже все это слышал — не имел ли я удовольствия видеться с вами на уэллбриджской ярмарке и не зовут ли вас Эфраим Дженкинсон?

Он только вздохнул в ответ.

— Не припомните ли вы,— продолжал я,— некоего доктора Примроза, у которого покупали лошадь?

Тут он узнал меня — обычный полумрак, царивший в тюрьме, и сгущавшиеся сумерки помешали ему прежде разглядеть мои черты.

— Верно, сударь,— отвечал мистер Дженкинсон,— я вас отлично помню! Я купил у вас лошадь и забыл за нее заплатить,

не так ли? Единственный опасный мне свидетель на ближайшей сессии суда — это ваш сосед Флембро, ибо он решительно намерен присягнуть в том, что я фальшивомонетчик... Я же от всей души раскаиваюсь, что обманул вас и что обманывал людей вообще, ибо вот,— тут он указал на свои кандалы,— до чего довели меня плутни!

— Что ж, сударь,— отвечал я,— за вашу бескорыстную доброту ко мне я отплачу тем, что постараюсь смягчить, а то и вовсе избавить вас от показаний мистера Флембро, и с этой целью при первой же возможности направлю к нему своего сына. И я ничуть не сомневаюсь, что он мою просьбу выполнит. Что до моих показаний, то вы можете быть совершенно спокойны.

— Ах, сударь,— воскликнул он,— я сделаю для вас все, что в моих силах. Больше половины моей постели я предоставлю вам и не дам вас в обиду в тюрьме, а я здесь как будто пользуюсь кое-каким влиянием.

Я поблагодарил его, а затем не мог удержаться, чтобы не высказать своего удивления: сейчас он выглядел молодым человеком, между тем в прошлую мою встречу с ним я ему никак меньше шестидесяти не дал бы.

— Сударь,— отвечал он,— вы мало знаете жизнь. Я тогда был в парике, а кроме того, я умею принимать любую личину и изображать собой кого хотите—и семнадцатилетнего юнца, и семидесятилетнего старца. Увы, сударь, я был бы уже богачом, кабы половину трудов, что потратил на то, чтобы сделаться плутом, положил на изучение какого-нибудь ремесла! Впрочем, какой я ни есть, а все же надеюсь быть вам полезным, и, может быть, в ту самую минуту, когда вы будете меньше всего этого ждать.

Дальнейшая наша беседа была прервана появлением слуг тюремщика, которые, сделав перекличку, стали разводить нас по камерам. С ними был еще малый, который нес для меня пук соломы; он повел меня узким темным коридором в комнату, вымощенную такими же каменными плитами, что и та, из которой я вышел. В одном углу я разложил солому, покрыв ее сверху постелью, которою поделился со мной мистер Дженкинсон, после чего мой провожатый довольно любезно пожелал мне покойной ночи и ушел. Я предался обычным своим благочестивым размышлениям на сон грядущий, вознес хвалу небесному моему наставнику и проспал сладчайшим сном до самого утра.

## ГЛАВА XXVI

*Исправление тюремных нравов. Истинное правосудие должно не только карать, но и поощрять*

Рано поутру я был разбужен рыданиями моих близких, собравшихся вокруг моего ложа. Мрачная обстановка, видимо, подействовала на них угнетающим образом. Я мягко попенял им за их малодушие, уверив их, что в жизни не спал так покойно, как в эту ночь, а затем, не видя своей старшей дочери, стал о ней спрашивать. Мне отвечали, что треволнения вчерашнего дня так утомили ее и расстроили, что лихорадка ее усугубилась, и они сочли благоразумным оставить ее дома. Затем я велел сыну где-нибудь поблизости от тюрьмы подыскать одну или две комнаты, так, чтобы все могли разместиться. Он пошел исполнять мое приказание, но ему удалось снять лишь одну небольшую комнатку для матери с сестрами, зато добросердечный тюремный надзиратель разрешил ему вместе с маленькими братьями ночевать у меня. В углу им устроили вполне удобную, на мой взгляд, постель. Все же мне захотелось наперед узнать, пожелают ли мои малютки остаться в темнице, которая поначалу вселяла в них такой ужас.

— Ну-с, молодцы,— воскликнул я,— нравится ли вам ваша новая постель?! Или вы, может быть, боитесь спать в такой темной комнате?

— Что вы, батюшка,— ответил Дик,— с вами я не боюсь спать где угодно!

— А я,— сказал Билл, которому шел всего пятый год,— я люблю лучше всего те комнаты, где живет мой батюшка.

После этого я распределил между всеми членами семьи различные обязанности. Младшей дочери я дал строгий наказ оберегать сестру, которой день ото дня становилось хуже; жене поручил заботу о моем здоровье, а Дик и Билл должны были читать мне вслух.

— Что же до тебя, сын мой,— продолжал я,— ты теперь наша единственная опора, от трудов рук твоих зависит все наше благополучие. Работая поденщиком, ты можешь выручить довольно денег, чтобы при известной бережливости все мы могли жить, не ведая нужды. Тебе уже шестнадцать, и господь дал тебе силы для того, чтобы ты употребил их во благо; ибо они нужны для того, чтобы спасти от голода беспомощных твоих родителей и всю твою семью. Итак, отправляйся искать работу сегодня же и приноси домой каждый вечер все, что заработаешь днем.

Наставив его таким образом и определив обязанности каж-

дого, я пошел в общее отделение, где было больше простора и воздуха. Впрочем, там я пробыл недолго, ибо брань, непристойности и жестокость, встретившие меня, как только я вошел, вскоре загнали меня назад, в мою каморку. Я просидел некоторое время там, дивясь заблуждению сих несчастных, которые, восстановив против себя человечество, выбивались из сил, чтобы заполучить еще более могущественного врага в будущем.

Слепота их вызывала горячую мою жалость и заставила забыть собственные невзгоды. И я подумал, что мой долг попытаться обратить их на путь истинный. Поэтому я решил вновь выйти к ним, и невзирая на их насмешки, приняться увещевать их, надеясь покорить их своим упорством. Возвратившись в общую залу, я поделился с мистером Дженкинсоном этим намерением, которое, хоть и сильно рассмешило его, он все-таки сообщил остальным. Предложение мое было принято весьма благосклонно, ибо предвещало новую забаву, а публика эта иначе и веселиться не умела, как глумясь да безобразничая.

Итак, к вящему веселью слушателей, я громко и отчетливо прочитал им несколько молитв. Сальные шуточки, произносимые шепотом, притворные стоны раскаяния, подмигивания и нарочитый кашель то и дело вызывали взрывы хохота. Несмотря на это, я продолжал читать с обычным своим воодушевлением. «Как знать,— рассуждал я,— может, слова мои ненароком и повлияют на которого-нибудь из них, и, уж во всяком случае, к столь благородному делу никакая скверна не пристанет!»

От чтения я перешел к проповеди и старался не столько попрекать своих слушателей грехами их, сколько просто занять их воображение. Прежде чем приступить к самой проповеди, я сказал, что единственная причина, побуждающая меня обращаться к ним таким образом, есть забота об их благе; что сам я такой же арестант, как и они, и за проповедь свою ничего не получаю. Мне прискорбно, сказал я им, слушать их богохульства, ибо выгоды для них в этом нет никакой, прогадать же они могут очень много.

— Ибо, истинно говорю я вам, друзья мои,— воскликнул я,— а я вас всегда буду почитать за своих друзей, пусть свет и отвернулся от вас,— сколько ни богохульствуйте, хоть двенадцать тысяч раз на дню, кошелек ваш от того не станет тяжелее ни на пенс. Зачем же в таком случае поминать ежеминутно дьявола, заискивая перед ним, когда вы видите, каково скверно обращается он с вами? Что он вам дал — полный рот богохульств да пустое брюхо! А судя по тому, что мне о нем известно, вы и в будущем ничего хорошего от него не увидите.

Если нас кто надует,— продолжал я,— мы обычно отказываемся иметь в дальнейшем с ним дело и идем к другому. Почему бы и вам не поискать другого хозяина, который, во всяком случае, обещает вам одно — принять каждого из вас к себе? Право же, друзья мои, что может быть глупее, чем, совершив грабеж, искать убежища у полицейских? Не так ли поступаете вы? Все вы ищете утешения у того, кто для вас гораздо опасней, нежели самый свирепый сыщик; ибо сыщик завлечет вас, повесит — и дело с концом, а этот и завлечет, и на виселицу вздернет, да еще и после петли не выпустит из своих лап!

Когда я кончил, многие из моих слушателей стали выражать мне одобрение, некоторые подходили и пожимали мне руку, божась, что я честный малый, и высказывая желание сойтись со мной покороче. Поэтому я обещал и на следующий день обратиться к ним с проповедью, и у меня даже появилась надежда в самом деле обратить их на путь спасения, ибо я всегда считал, что нет такого человека, который не мог бы исправиться; стрелы раскаяния, на мой взгляд, проникают в любое сердце, нужно лишь, чтобы стрелок был достаточно метким. Так положив в душе моей, я возвратился к себе; жена уже приготовила нам скромный обед, к которому мистер Дженкинсон просил дозволения присовокупить свой, затем чтобы, как он любезно выразился, усладиться моей беседой. С моими близкими он еще не был знаком, так как ко мне в камеру они прошли, минуя общее помещение, тем узким темным коридором, о котором я уже говорил. Дженкинсон был, видимо, поражен красотой моей младшей дочери, которой грустная задумчивость придавала теперь особое очарование, да и малютки мои привели его в восхищение.

— Ах, доктор!— воскликнул он.— Детки ваши так хороши, так чисты сердцем — разве здесь им место?

— Да что, мистер Дженкинсон,— отвечал я,— они благодаря богу воспитаны в твердых правилах, и коль скоро они добродетельны сами, им ничто не опасно.

— Я думаю, сударь,— продолжал мой товарищ по несчастью,— что для вас большое, должно быть, утешение иметь подле себя милое ваше семейство?

— Утешение, мистер Дженкинсон? — отвечал я.— Еще какое, и я бы ни за что не согласился оказаться без них, ибо с ними и темница для меня дворец. И есть лишь один способ уязвить меня на этом свете — это причинить им зло.

— В таком случае, сударь,— вскричал он,— боюсь, что я перед вами до некоторой степени виноват! Ибо кое-кому из

присутствующих,— он взглянул в сторону Мозеса,—я, кажется, причинил зло, и теперь смиренно прошу у него прощения.

Сын мой мгновенно припомнил его голос и черты, несмотря на весь его тогдашний маскарад, и с улыбкой протянул ему руку в знак прощения.

— И все-таки,— сказал он при этом,— хотелось бы мне знать, что такое прочли вы в моем лице, что решились провести меня?

— Эх, сударь! — отвечал тот.— Не лицо ваше, а белые чулки да черная лента в волосах ввели меня в искушение. Впрочем, не в обиду вам будь сказано, мне доводилось обманывать людей и более мудрых, чем вы; и все же, несмотря на всю мою ловкость, болваны меня в конце концов одолели.

— Я полагаю,— вскричал мой сын,— что история такой жизни, как ваша, столь же занятна, сколь поучительна!

— Ни то, ни другое, мой друг,— отвечал мистер Дженкинсон.— Повести, в которых рассказывается об одном лишь коварстве да о пороке человеческом, развивая в нас подозрительность, лишь замедляют наше продвижение вперед. Путник, что смотрит с недоверием на всякого, кто повстречается ему на пути, и поворачивает вспять, если встречный покажется ему похожим на разбойника, вряд ли вовремя достигнет места, куда он стремится. И по правде сказать,— продолжал он,— я по собственному опыту знаю, что нет на свете глупее человека, чем наш брат, умник. С детства меня считали очень хитрым,— мне еще и семи не было, когда дамы провозгласили меня настоящим маленьким мужчиной, в четырнадцать я узнал в совершенстве свет, научился ухарски заламывать шляпу и ухаживать за дамами; в двадцать, хоть я был еще совершенно честен, производил на всех впечатление плута, так что никто мне не доверял. И вот наконец мне пришлось и в самом деле сделаться мошенником, чтобы как-то жить, и с тех пор в голове моей не переставали роиться плутни, а сердце замирать от страха, что меня вот-вот разоблачат. Сколько раз доводилось мне дурачить простодушного вашего соседа, честного мистера Флембро — ведь так или иначе я его обманывал раз в год! И что же? Честный человек продолжал идти своим путем, не потеряв доверия к людям, и богател, в то время как я, несмотря на все свои плутни и уловки, прозябал в нужде, не имея притом утешения, которое выпадает тем, у кого совесть чиста. Однако расскажите мне, каким образом попали сюда вы? Как знать, может, я, не будучи в состоянии вырваться из тюрьмы сам, могу тем не менее вызволить своих друзей?

Уступив его любопытству, я поведал ему всю цепь случайностей и безрассудств, которые ввергли меня в нынешнюю мою беду, и прибавил, что не имею ни малейшей надежды выбраться отсюда.

Выслушав мою повесть, он несколько минут помолчал, затем хлопнул себя по лбу, словно сделал важное открытие, и стал откланиваться, говоря, что попытается изыскать способ к нашему спасению.

## ГЛАВА XXVII

*О том же предмете, что и предыдущая глава*

На следующее утро я поделился с женой и детьми своим планом исправления нравов заключенных, который они, впрочем, встретили весьма неодобрительно; они находили его не только неосуществимым, но и неприличным, говоря, что несмотря на все мои усилия, преступников мне не исправить, а вот сан свой я могу запятнать.

— Прошу прощения,— возражал я,— каждый из этих людей, как бы низко он ни пал,— человек, и потому достоин моей любви. Добрый совет, будучи отвергнут, возвращается к советчику и обогащает его душу; пусть мои наставления и не помогут им исправиться, зато мне самому они принесут несомненную пользу. Поверьте, дети мои, если бы эти несчастные были принцами крови, толпы бросились бы угождать им, а на мой взгляд, душа, томящаяся в тюремных стенах, ничуть не менее драгоценна, нежели та, что обитает во дворце. Так, дорогие мои, я постараюсь помочь им, и быть может, не все они станут меня презирать; кто знает? — быть может, мне удастся хоть одну душу вытащить из бездны, и это будет великой радостью, ибо есть ли на земле что-либо драгоценнее души человеческой?

С этими словами я покинул их и проследовал в общую залу, обитатели которой веселились, поджидая меня, причем у каждого была заготовлена какая-нибудь тюремная шутка, которую он жаждал поскорее испытать на ученом пасторе. Так, едва собрался я говорить, один из них, как бы невзначай, сбил мой парик на сторону и тотчас извинился. Другой, стоявший несколько поодаль, упражнялся в искусстве плевать сквозь зубы, так что брызги фонтаном падали на мою книгу. Третий произносил «аминь» тоном столь прочувствованным, что все так и покатывались со смеху. Четвертый украдкой вытащил у меня из кармана очки. Но одна выдумка вызвала особенно большое

веселье, ибо, заметив, в каком порядке разложил я перед собой свои книги, некий весельчак ловко подменил одну из них, и на ее месте очутился сборник непристойных шуток.

Впрочем, я не обращал никакого внимания на проказы вздорных этих людишек и продолжал свое дело, ибо знал наверное, что все, что есть смешного в моей попытке, будет казаться таковым только первое время, серьезное же останется навеки. План мой удался, и не прошло и шести дней, как многих охватило раскаяние, слушали же меня со вниманием все.

Я мог поздравить себя с успехом: благодаря упорству и умению обращаться с людьми мне удалось пробудить совесть у людей, лишенных, казалось бы, каких бы то ни было признаков нравственного чувства; и вот я стал подумывать о том, чтобы облегчить им также и материальную их участь и сделать их жизнь в тюрьме более сносной. До сей поры переходили они из одной крайности в другую: от голода — к излишествам, от бешеного буйства — к горьким сетованиям. Единственным занятием их было ссориться друг с другом, играть в карты и вырезать чурки для того, чтобы приминать табак в трубке. Ненужное это ремесло, однако, подало мне благую мысль: усадить тех, кто захочет, вырезать болванки для табачных и сапожных лавок, купив по подписке необходимое для этого дерево; готовый товар сбывался по моему указанию, и таким образом каждый мог заработать кое-что — пустяки, конечно, но этого хватало на пропитание.

Я не остановился, однако, на этом и учредил систему штрафов за безнравственные поступки и наград за особое прилежание. Так, меньше чем в двухнедельный срок я преобразовал эту толпу в какое-то подобие человеческого общества и испытывал гордость законодателя, которому удалось вывести людей из состояния первобытной дикости, внушив им уважение к власти и пробудив в них чувство товарищества.

Вообще говоря, хотелось бы, чтобы законодательная власть видоизменяла законы свои в сторону исправления нравов, а не большей суровости, и чтобы она поняла наконец, что число преступлений сократится не тогда, когда наказание сделается привычным, а тогда лишь, когда оно будет действительно устрашать. Тогда изменится характер нашей нынешней тюрьмы, которая не только принимает готовых преступников в свое лоно, но и делает людей невинных преступниками, и человека, нарушившего закон впервые, выпускает,— если только она выпустит его живым,— готовым на тысячу преступлений. Она стала бы, наподобие других европейских тюрем, местом, где арестованный

наедине с собой мог бы поразмыслить над своими поступками и где его навещали бы люди, способные в виновном пробудить совесть, а невинному помешать сбиться с пути. Только так, а вовсе не путем увеличения наказаний, можно исправить нравы в стране; кстати сказать, я сильно сомневаюсь в целесообразности смертной казни применительно к мелким правонарушениям. В случаях убийства необходимость подобной меры очевидна, ибо все мы, разумеется, должны в интересах самозащиты избавить себя от человека, проявившего полное пренебрежение к жизни другого. Сама природа возмущается такими преступлениями.

Иначе, однако, обстоит дело там, где идет речь о посягательстве на мою собственность. У меня нет оснований лишить вора жизни, ибо, по естественному праву, лошадь, которую он у меня украл, принадлежит в равной степени нам обоим. И если я считаю себя вправе лишить его за это жизни, надо предположить предварительную договоренность между нами, по которой тот из нас, кто лишит другого его лошади, должен умереть. Но такая договоренность исключается, ибо жизнь не может быть предметом торга точно так же, как никто не имеет права лишить себя жизни, ибо она принадлежит не ему. И даже при существующем законодательстве ни один суд не посчитался бы с подобным договором, ибо совершенно ясно, что проступок, при котором пострадавший терпит лишь небольшое неудобство, ничтожен по сравнению с наказанием, поскольку гораздо важнее сохранить жизнь двум людям, нежели чтобы один из них мог ездить верхом! Если договор между двумя людьми признан несправедливым, то он останется несправедливым, пусть его заключат между собою сотни или даже сотни тысяч; ведь круг, сколько его ни черти, хоть десять миллионов раз, все равно никогда не сделается квадратом, точно так же и ложь, повторенная мириадами голосов, не станет от того истиной. Так говорит рассудок, и так говорит природное наше чувство. Дикари, которые знают одно лишь право, право природы, очень бережно относятся к человеческой жизни и только в ответ на пролитую кровь лишают обидчика жизни.

Саксонские наши предки, сколь ни были свирепы они во время войн, в мирное время прибегали к казням весьма редко; и во всех юных нациях, еще хранящих на себе печать природы, почти нет таких преступлений, которые считались бы заслуживающими смертной казни.

А вот в обществе цивилизованном уголовное законодательство находится в руках богатых и беспощадно к бедным.

Может быть, государство с годами приобретает старческую суровость, а собственность наша, увеличиваясь в объеме, становится для нас все драгоценнее, в то время как богатства, умножаясь, множат наши страхи, и поэтому все, чем мы владеем, с каждым днем ограждается новыми законами, а вокруг воздвигаются все новые виселицы во устрашение тем, кто посягнул бы проникнуть внутрь этих границ.

Не знаю, что тому причиною: обилие ли карательных законов, или в самом деле распущенность нравов наших, а только ежегодное количество преступников у нас более чем вдвое превышает число их во всех европейских державах, вместе взятых. Возможно, что и оба эти обстоятельства, ибо они взаимно порождают одно другое. Когда народ видит, что различные по тяжести своей преступления, благодаря уголовному закону влекут за собой без разбора одни и те же наказания, он перестает ощущать разницу и между самими проступками, а нравственность общества зиждется именно на этом различии; таким образом, чрезмерно большое количество законов порождает новые пороки, новые же пороки требуют новых карательных мер.

А хотелось бы, чтобы власть, вместо того, чтобы придумывать новые законы для наказания порока, вместо того, чтобы стягивать путы, предназначенные сдерживать общество так туго, что в один прекрасный день оно судорожным движением может их порвать, вместо того чтобы отсекать от себя несчастных как нечто ненужное, даже не испытав, на что они могут быть годны, вместо того, чтобы дело исправления превращать в возмездие,— хотелось бы, чтобы мы нашли способ предупреждать зло, чтобы закон сделался защитником народа, а не его тираном. Тогда бы мы увидели, что те самые души, которые мы считали никчемными, всего лишь нуждаются в руке умелого мастера; тогда бы мы увидели, что сии несчастные, обреченные на длительные муки,— затем только, чтобы роскошь не испытала и минутного неудобства, — если только правильно к ним подойти, в минуту опасности могли бы стать государству опорой; что сердце у этих людей столь же мало отличается от нашего, сколь мало отличаются от наших лиц их лица; мы увидели бы, что на свете редко сыщется душа, которая бы погрязла в пороке настолько, что ее нельзя исправить; что преступление, совершенное преступником, может оказаться его последним даже и в том случае, если он сам останется жить, а не погибнет на виселице и, наконец, что для безопасности общества совсем не нужно такого обилия пролитой крови.

## ГЛАВА XXVIII

*В этой жизни счастье зависит не столько от добродетели, сколько от умения жить; земные блага и земные горести слишком ничтожны в глазах провидения, и оно не считает нужным заботиться о справедливом распределении их среди смертных*

Более двух недель прошло со времени моего заключения в тюрьму, а дорогая моя Оливия так ни разу у меня и не побывала; я сильно по ней стосковался. Я сказал об этом жене, и на следующее же утро бедняжка, опираясь на руку сестры, появилась в моей камере. Я был поражен, увидев, как изменилось ее лицо. Смерть, словно нарочно, чтобы напугать меня, вылепила заново все ее черты, некогда столь прелестные. Виски ее ввалились, кожа на лбу натянулась, и роковая бледность покрывала щеки.

— Как я рад тебя видеть, моя дорогая! — воскликнул я.— Но к чему такое уныние, Ливви? Я знаю, любовь моя, ты не позволишь невзгодам подточить жизнь, которой я дорожу, как своею собственной. Ты слишком меня любишь, не правда ли? Приободрись, дитя мое, настанут и для нас когда-нибудь счастливые дни!

— Вы всегда, батюшка,— отвечала она,— были добры ко мне, и мысль, что мне не суждено разделить с вами счастье, которое вы сулите впереди, лишь усугубляет мою тоску. Увы, батюшка, мне уже не видеть счастья здесь, и я мечтаю покинуть мир, где я видела одно лишь горе! Право, сударь, я бы желала, чтобы вы перестали противиться мистеру Торнхиллу: может быть, он сжалился бы над вами, я же умерла бы спокойнее.

— Никогда! — отвечал я.— Никогда не соглашусь признать свою дочь потаскухой! И пусть мир взирает на твой проступок с презрением, я желаю видеть в нем одну доверчивость, а не грех. Друг мой, я ничуть не страдаю, находясь здесь, в этом месте, каким бы мрачным оно тебе ни казалось; и знай, что, покуда я буду иметь счастье видеть тебя в живых, он не получит моего согласия на то, чтобы, женившись на другой, сделать тебя еще более несчастною.

Когда дочь моя ушла, мистер Дженкинсон, присутствовавший при свидании, вполне справедливо принялся корить меня за упрямство, за то, что я не хочу смириться и отказываюсь ценой покорности купить свободу. Он говорил, что было бы несправедливо ради спокойствия одной дочери, к тому же той, что является виновницей моего несчастия, жертвовать остальными членами семьи.

— И потом,— прибавил он,— вправе ли вы становиться между мужем и женой? Все равно ведь помешать этому браку вы не в силах, а можете лишь сделать его несчастливым.

— Сударь,— отвечал я,— вы не знаете человека, который нас преследует. Я же отлично знаю, что, даже покорившись ему, я не получу свободы ни на час. Мне рассказали, что не далее как год назад в этой самой камере один из его должников умер с голоду. Но даже если бы мое согласие и одобрение могло перенести меня отсюда в самый великолепный из его покоев, я бы все равно не дал ни того, ни другого, ибо внутренний голос шепчет мне, что я тем самым попустительствовал бы прелюбодеянию. Покуда дочь моя жива, я не согласен считать какой-либо другой его брак законным. Разумеется, если бы ее с нами более не было, с моей стороны было бы низостью пытаться из личной обиды разлучить тех, кто желает соединиться. Нет, я бы даже хотел, чтобы этот негодяй женился, затем, чтобы положить конец дальнейшему его разврату. Но разве не был бы я жесточайшим из родителей, если бы сам способствовал верной гибели моего дитяти,— и все это для того лишь, чтобы самому вырваться из тюрьмы? Желая избежать кратковременных невзгод, неужели захочу я разбить сердце моей дочери, обрекая ее на бессчетные терзания?

Он согласился со мной, но прибавил, что дочь моя, как ему кажется, так плоха, что моему заточению должен скоро прийти конец.

— Впрочем,— продолжал он,— хоть вы и отказываетесь покориться племяннику, может быть, вы согласитесь обратиться к дяде — он славится как самый справедливый и добрый человек во всем королевстве. Я бы советовал вам послать ему письмо и в нем описать все злодеяния его племянника, и, клянусь жизнью, через три дня вы получите ответ!

Поблагодарив его, я тотчас решился последовать его совету; но у меня не было бумаги, а мы, как на беду, с утра истратили все наши деньги на провизию; впрочем, он меня выручил и тут.

Три дня я пребывал в тревоге, не зная, как-то будет там принято мое письмо; и все это время жена моя беспрестанно упрашивала меня сдаться на любых условиях — лишь бы вырваться отсюда; к тому же мне ежечасно доносили об ухудшении здоровья моей дочери. Наступил третий день, затем четвертый, а ответа все не было: да и как можно было рассчитывать, что моя жалоба будет встречена благосклонно: ведь я был для сэра Уильяма Торнхилла чужой, а тот, на кого я жаловался,— его

любимый племянник.Так что и эта надежда вскоре исчезла вслед за прежними. Я, однако, все еще сохранял бодрость, хотя длительное заключение и спертый воздух тюрьмы начали видимым образом сказываться на моем здоровье, а ожог, полученный во время пожара, становиться все болезненней. Зато подле меня сидели мои дети, по очереди читая мне вслух, или со слезами внимая наставлениям, которые я давал им, лежа на соломе.

Здоровье дочери таяло еще быстрее, чем мое, и все, что о ней рассказывали, подтверждая мои печальные предчувствия, увеличивало мою боль. На пятые сутки после того, как я отправил письмо сэру Уильяму Торнхиллу, меня напугали известием, что дочь моя лишилась речи. Вот когда и самому мне мое заключение показалось нестерпимым! Душа моя рвалась из плена, туда, к возлюбленной дочери моей, чтобы утешать ее и укреплять в ней дух, чтобы принять последнюю ее волю и указать ее душе дорогу в небесную обитель! Наконец пришли и сказали: она умирает, а я не имел даже и того малого утешения— рыдать у ее изголовья. Через некоторое время мой тюремный товарищ пришел ко мне с последним отчетом. Он призывал меня быть мужественным — она умерла! На следующее утро он нашел подле меня лишь двух моих малюток— теперь это было единственное мое общество; изо всех своих силенок пытались они меня утешить. Они умоляли разрешить им читать мне вслух и уговаривали не плакать, говоря, что большие не плачут.

— И ведь теперь, батюшка, моя сестрица — ангел, не правда ли? — восклицал старший.— Так что ж вы ее жалеете? Я сам хотел бы быть ангелом, чтобы улететь из этого гадкого места, только, конечно, с вами, батюшка.

— Правда,— вторил ему младший мой мальчик.— На небе, куда улетела сестрица, много лучше, чем здесь, и потом, там одни только хорошие люди, а тут все такие дурные...

Мистер Дженкинсон перебил невинный их лепет, говоря, что теперь, когда дочери моей уже нет в живых, я должен всерьез подумать об остальном своем семействе и попытаться спасти собственную жизнь, которая с каждым днем все больше подвергается опасности из-за лишений и скверного воздуха. Пора, прибавил он, пожертвовать своею гордостью и обидами ради тех, чье благополучие зависит от меня; и здравый смысл, и простая справедливость велят мне сделать попытку примириться с помещиком.

— Слава господу,— воскликнул я.— Во мне уже никакой гордости не осталось! Я возненавидел бы душу свою, когда бы на дне ее обнаружил хоть крупицу гордости или ненависти. Напротив, поскольку гонитель мой некогда являлся моим

прихожанином, я надеюсь, что когда-нибудь мне посчастливится представить пред лицо вечного судии его душу очищенной. Нет, сударь, нету во мне ненависти, и хоть он взял у меня то, что мне было дороже всех его сокровищ, и хоть он разбил мне сердце, ибо я болен, я совсем без сил, да, тюремный друг мой, я очень болен,— но никогда не вызовет он во мне жажды мщения! Я согласен одобрить его брак, и, если ему это доставит удовольствие, пусть он знает, что я прошу у него прощения за все причиненные неприятности.

Мистер Дженкинсон схватил перо и чернила и изложил мою покорную просьбу почти в тех самых выражениях, в каких я ее произнес, и я поставил свою подпись. Сыну было поручено отнести это письмо к мистеру Торнхиллу, который в это время пребывал в своем имении. Через шесть часов сын принес устный ответ. С трудом, как он нам поведал, добился он свидания с помещиком, ибо слуги отнеслись к нему с наглым высокомерием и подозрительностью; случайно, однако, ему удалось подстеречь помещика в ту минуту, как он выходил из дому по делу, связанному с предстоящим своим бракосочетанием, которое должно было состояться через три дня. Затем, продолжал мой сын, он подошел и с самым смиренным видом подал письмо мистеру Торнхиллу; тот, прочитав письмо, сказал, что никому не нужна моя запоздалая покорность; что он слышал о нашем письме к его дядюшке, которое было встречено, как оно того и заслуживало, полным презрением; и, наконец, просил впредь со всеми делами адресоваться к его стряпчему, а его самого не беспокоить. Иное дело, прибавил он, если бы к нему в свое время послали для переговоров барышень, о благоразумии и скромности которых он весьма высокого мнения.

— Ну, вот, сударь,— обратился я к мистеру Дженкинсону,— теперь вы видите, каков мой гонитель: жестокость свою он еще приправляет шуткой! Но пусть его делает со мной, что хочет, я скоро буду свободен, несмотря на все цепи, какими он думает меня оковать. Близок уже чертог, и он сияет все ярче и ярче! Сознание это поддерживает меня в моих невзгодах, и, оставляя после себя беспомощных сирот, я твердо верю, что добрые люди позаботятся о них, одни — ради их бедного отца, другие — во имя отца небесного.

Не успел я выговорить эти слова, как жена моя, которую я еще в тот день не видел, появилась, всем обликом своим выражая смятение и ужас; она силилась что-то сказать и не могла.

— Что такое, душа моя? — воскликнул я.— Или ты принесла весть о новой беде, как будто старых у нас не довольно?

Пусть суровый помещик не разжалобился, несмотря на всю нашу покорность, пусть он обрек меня умирать в этой обители горя, пусть мы потеряли любимое наше дитя, но ты найдешь утешение в оставшихся детях, когда меня уже не будет с вами.

— Так,— отвечала она,— поистине потеряли мы любимое наше дитя! Софья, сокровище мое, ее нет... Ее похитили у нас, ее увезли злодеи...

— Неужто, сударыня,— вскричал мой тюремный товарищ,— негодяи увезли мисс Софью? Не ошибаетесь ли вы?

Не в силах отвечать, она стояла, устремив неподвижный взор в одну точку, и вдруг разрыдалась. Но с нею вошла жена одного из арестантов, и она рассказала нам несколько обстоятельнее все дело; по ее словам, она вместе с моей женой и дочерью прохаживалась по дороге, чуть поодаль от деревни, как с ними поравнялась почтовая карета, запряженная парой, и вдруг подле них остановилась. Из нее вышел какой-то хорошо одетый человек, впрочем, не мистер Торнхилл, обхватил мою дочь за талию и, втащив ее в карету, велел форейтору гнать со всей силой; через минуту они уже скрылись из глаз.

— Вот! — воскликнул я.— Вот когда исполнилась чаша моих страданий; и уж теперь-то ничто на свете не в силах причинить мне новую боль. Итак, ни одной! Не оставить мне ни одной! Чудовище!.. Дитя моей души! Ангел красоты и почти ангельская душа! Но поддержите мою жену — она сейчас упадет! Не оставить мне ни одной!

— Увы, дорогой супруг,— сказала она.— Ты больше меня нуждаешься в утешении. Велико наше горе, но я бы вынесла и это и большее, лишь бы могла видеть тебя спокойным. Пусть отнимают у меня всех моих детей, весь мир, лишь бы тебя мне оставили!

Мой сын, бывший тут же, пытался укротить ее горе; он умолял нас успокоиться, говоря, будто впереди нас еще ожидает счастье.

— Друг мой! — воскликнул я.— Оглянись кругом и скажи, видишь ли ты возможность счастья для меня? Где же проникнуть тут лучу утешения? Разве все лучшие упования наши не по ту сторону могилы?

— Дорогой мой отец,— отвечал он,— я все же надеюсь доставить вам некоторую радость, ибо я получил письмо от братца Джорджа.

— Что он? — перебил я.— Знает ли о наших злоключениях? Надеюсь, что сына моего не коснулась и малая толика невзгод, постигших его несчастную семью?

— Ничуть, батюшка,— отвечал тот,— он доволен, полон бодрости и веселья. В его письме одни лишь добрые вести: он любимец полковника, и тот обещает при первой же вакансии произвести его в лейтенанты.

— Но точно ли, так ли все, как ты говоришь? — воскликнула жена.— Правда ли, что ни одна беда не обрушилась на моего мальчика?

— Правда, правда, матушка,— отвечал Мозес.— Вот вы сейчас сами прочитаете письмо и порадуетесь, если только вы способны еще чему-либо радоваться.

— Но точно ли это его рука,— не унималась жена,— и правда ли, что он так доволен всем?

— Да, сударыня,— отвечал он,— это его рука, и со временем он сделается опорой и гордостью семьи.

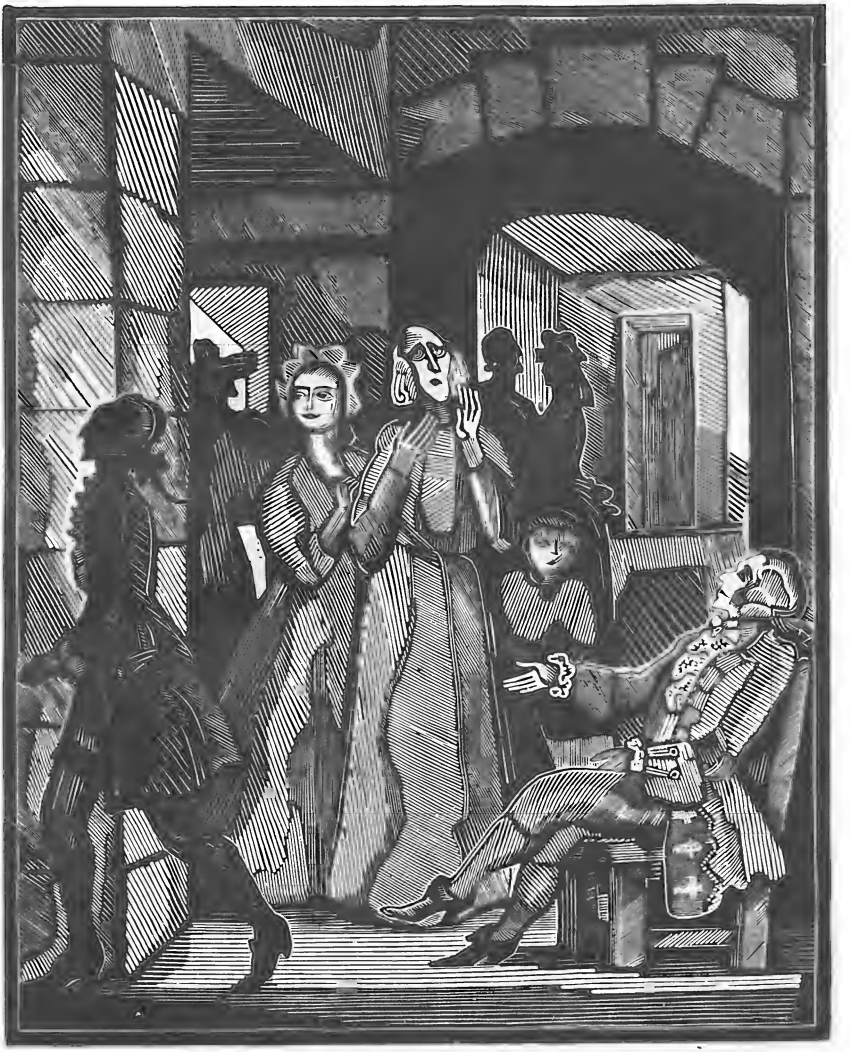
— В таком случае,— воскликнула она,— хвала провидению, он не получил моего последнего письма! Да, мой друг,— обратилась она ко мне,— признаюсь теперь, что, хотя небесная десница во всех других случаях не щадила нас, на этот раз она оказалась милостива. Ибо в последнем своем письме к сыну, которое я писала в минуту гнева, я заклинала его, если у него в груди бьется сердце мужчины, встать на защиту его отца и сестры и благословляла отомстить за всех нас. Но, слава всевышнему, письмо до него не дошло, и я спокойна.

— Женщина! — вскричал я.— Ты поступила весьма дурно, и в другое время я попрекнул бы тебя с большей суровостью. О, какой страшной бездны избежала ты, бездны, что поглотила бы и тебя и его на вечную нашу погибель! Да, верно, что провидение на этот раз оказалось милостивее к нам, чем мы сами. Оно сохранило нам сына, дабы он сделался отцом и защитником моих детей, когда меня не станет. Как несправедлив я был, полагая, будто не осталось никакого утешения, в то время как сын мой весел и не ведает о беде, нас постигшей. Его сохранили, чтобы он мог служить опорой для своей матери-вдовицы, братьев своих и сестер! Но зачем я говорю о сестрах? У него уже нет сестер: нет ни одной, их похитили у меня, и я несчастнейший человек на свете!

— Отец,— перебил меня сын,— позвольте же мне прочитать вам его письмо; я знаю, что вы останетесь им довольны.

И, получив мое согласие, он прочел вслух следующее:

«Дорогой батюшка! На несколько минут отзываю свои мысли от удовольствий, меня окружающих, чтобы направить их на предметы еще более приятные — на милый наш домашний



О. Голдсмит, «Векфильдский священник»

очаг. Воображение мое рисует мирный ваш кружок, и я вижу вас всех прилежно внимающими каждой строке моего послания. Сладко мне остановить взор свой на лицах, не искаженных ни честолюбием, ни горем. Но как бы хорошо вам ни было в вашем домике, я знаю, что ваше счастье станет еще более полным, когда вы узнаете, что и я доволен своим положением и чувствую себя совершенно счастливым.

Полк наш получил новый приказ и не покинет пределов отечества; полковник называет меня своим другом и водит меня всюду с собой, и, куда бы я ни являлся, я чувствую себя желанным гостем, и всюду ко мне относятся со все возрастающим уважением. Вчера я танцевал с леди Г., и, если бы мог позабыть, вы сами знаете кого, я, возможно, добился бы успеха. Однако мне суждено помнить друзей, между тем как самого меня предают забвению мои друзья, в числе которых, батюшка, боюсь, вынужден буду считать и вас, ибо давно уже понапрасну жду счастья получить весточку из дому. Вот и Оливия с Софьей — обещались писать, да, видно, меня позабыли. Скажите им, что они дрянные девчонки и что я страшно на них сердит; а впрочем, сам не знаю, как это получается, хоть и хочется мне пожурить всех вас, а душа моя преисполнена одной любовью. Так и быть, батюшка, скажите им, что я нежно их люблю, и знайте, что я, как всегда, остаюсь

вашим почтительным сыном».

— Несмотря на все несчастья,— воскликнул я,— мы должны быть благодарны; все же один из нас избавлен от страданий, выпавших на долю нашей семьи! Да хранит его небо, и пусть мой мальчик будет и впредь счастлив, и да найдет в нем вдовица опору, а двое этих сироток — отца! Это все, что я могу оставить ему в наследство! Да оградит он их невинность от всех соблазнов, порождаемых нуждой, и да направит их по пути чести!

Не успел я произнести эти слова, как снизу, из общего помещения, раздался какой-то гул; вскоре он затих, и я услышал бряцанье цепей в коридоре, ведущем в мою камеру. Вошел тюремный надзиратель, поддерживая какого-то человека, перепачканного в крови, израненного и закованного в тяжелые цепи. С состраданием поглядел я на несчастного, который приближался ко мне, но каков же был мой ужас, когда я узнал в нем моего собственного сына!

— Джордж! Мой Джордж! Тебя ли вижу?! Ты ранен! И в кандалах! Таково-то твое счастье? Так-то ты возвращаешься ко

мне? О, почему сердце мое не разорвется сразу при виде такого зрелища? О, почему нейдет ко мне смерть?

— Где же ваша твердость, батюшка?— произнес мой сын недрогнувшим голосом.— Я заслужил наказание. Моя жизнь более не принадлежит мне: пусть они ее берут.

Несколько минут провел я молча, в борьбе с собой, и думал, что это усилие будет стоить мне жизни.

— О, мой мальчик, глядя на тебя, сердце мое разрывается! В ту самую минуту, что я полагал тебя счастливым и молился, чтобы и впредь тебя хранила судьба, вдруг так встретить тебя: раненого и в кандалах! Но блажен, кто умирает юным! Зачем только я, старик, глубокий старик, должен был дожить до такого дня! Дети мои один за другим валятся, как преждевременно скошенные колосья, а я, о горе мне, уцелел среди этого разрушения! Самые страшные проклятия да падут на голову убийцы моих детей! Пусть доживет он, подобно мне, до того дня...

— Погодите, сударь! — закричал мой сын.— Не заставляйте меня краснеть за вас! Как, сударь! Забывши свой преклонный возраст и священный сан, вы дерзаете призывать небесное правосудие и посылаете проклятия, которые тут же падут на вашу седую голову и погубят вас навеки! Нет, батюшка, одна должна быть у вас сейчас забота — подготовить меня к позорной смерти, которой вскоре меня предадут, вооружить меня надеждой и решимостью, дать мне силы испить всю горечь, что для меня уготована.

— О, ты не должен умереть, сын мой! Не мог ты заслужить такое страшное наказание. Мой Джордж не мог совершить преступления, за которое его предки отвернулись бы от него.

— Увы, батюшка,— отвечал мой сын,— боюсь, что за мое преступление нельзя ожидать пощады. Получив письмо от матушки, я тотчас примчался сюда, решив наказать того, кто надругался над нашей честью, и послал ему вызов, но он не явился на место поединка, а выслал четырех своих слуг, чтобы они схватили меня. Первого, который напал на меня, я ранил, и боюсь, что смертельно; его товарищи схватили меня и связали. Теперь этот трус намерен возбудить против меня дело; доказательства неоспоримы: ведь послал вызов я, следовательно, перед законом я — обидчик и как таковой не могу рассчитывать на снисхождение. Но послушайте, батюшка, я привык восхищаться вашей твердостью! Явите же ее теперь, дабы я мог почерпнуть в ней силы.

— Так, мой сын, ты ее увидишь. Да, я воспарил над этим миром и радостями его. С этой минуты я отрываю от сердца все,

что привязывало его к земле, и начну готовить и тебя и себя к вечной жизни. Так, сын мой, я укажу тебе путь, и моя душа будет руководить твоей, ибо скоро оба мы покинем этот мир. Так, я вижу, что здесь тебе не будет прощенья, и лишь взываю к тебе, чтобы ты искал его у того великого судии, перед коим вскоре предстанем мы оба. Подумаем, однако, и о других — пусть все наши товарищи по тюрьме воспользуются моим напутствием. Добрый тюремщик, позволь им прийти сюда и постоять здесь, я хочу с ними говорить!

Тут сделал я попытку встать с соломенной своей постели, но, не имея для того сил, мог лишь сесть, опираясь спиною о стену. Обитатели тюрьмы собрались вокруг меня, как я просил, ибо они научились ценить мои наставления; сын мой и жена встали по обеим сторонам и поддерживали меня; я окинул взглядом собравшихся и, убедившись, что пришли все, обратился к ним с проповедью.

## ГЛАВА XXIX

*Провидение равно справедливо к счастливым и к несчастным. Из самой природы человеческих страданий и радостей следует, что страждущие в земной юдоли будут вознаграждены в меру страданий своих на небесах*

— Друзья мои, дети мои, товарищи мои по страданию! Размышляя над тем, как распределяется добро и зло между жителями дольнего мира, я убеждаюсь, что многое человеку дается для услаждения его, но еще более на муку. Если мы обыщем весь свет, мы и тогда не найдем человека, который был бы так счастлив, что ни о чем бы уже не мечтал; вместе с тем каждодневно слышим мы о тысячах самоубийц, которые поступком своим говорят нам, что все их надежды рухнули. Итак, в этой жизни, оказывается, полного блаженства не бывает и совершенным может быть одно лишь горе.

Почему человеку дано испытывать столько муки? Почему всеобщее блаженство в основе своей полагает человеческое страдание? Почему, если во всякой другой системе совершенствование происходит благодаря тому, что совершенствуются подчиненные части, почему же в совершеннейшей из всех систем столь несовершенны части, ее составляющие? На все эти вопросы ответа нет и быть не может, а если бы даже и был, то оказался бы бесполезным для нас. Провидение почитает за лучшее сокрыть конечную свою цель от любопытных взоров, нам же указывает путь к утешению.

Человек призывает на помощь философию; видя же, сколь бессильна она принести ему утешение, небо дарует человеку веру. Как ни занятна и как ни утешительна философия, она подчас вводит нас в заблуждение. Она учит нас, с одной стороны, что жизнь полна радости и что надо лишь знать, как ею наслаждаться, с другой — что жизнь коротка и что, следовательно, не надобно огорчаться невзгодами, подстерегающими каждый шаг наш! Таким образом утешения эти взаимно исключают друг друга: ибо, если жизнь радость, то недолговечность ее должна бы повергнуть нас в уныние, а если нам в удел достается долголетие, то, следовательно, и горести наши будут длиться долго. Итак, философия слаба; зато религия предлагает нам утешения более высокого свойства. Человек живет, учит она, для того, чтобы совершенствовать свою душу и подготовить ее надлежащим образом для другой обители. Праведнику, когда он расстается со своим телом и весь превращается в радостно торжествующий дух, открывается, что за время своей земной жизни он уготовил себе место в раю; несчастный же грешник, искалеченный и осквернённый собственными пороками, с ужасом покидает свою телесную оболочку и убеждается в том, что навлек на себя мщение небес. Стало быть, к религии во всех случаях жизни надлежит нам обращаться за истинным утешением, ибо, если мы счастливы, приятно думать, что мы можем продлить свое блаженство навеки, если несчастны — как радостно думать, что нас ожидает отдохновение от мук! Итак, счастливым вера дает надежду на вечное блаженство, несчастным — на прекращение страданий.

Но хоть религия оказывает милосердие всем людям без разбора, особую награду дарует она тому, кто несчастен; недужному, нагому, бездомному, тому, кто несет непосильное бремя, и тому, кто томится в темнице, священная наша вера обещает наибольшие блага. Тот, кто принес в мир свет веры, всюду заявляет себя другом обездоленного, и дружба его, в отличие от лицемерной дружбы людской, услаждает страждущего. Иные безрассудно ропщут на такое предпочтение, говоря, что оно ничем не заслужено. Но они не подумали о том, что даже небо не в силах сделать бесконечное блаженство таким же великим даром в глазах людей и без того счастливых, каким оно представляется тем, кто обижен судьбою. Ведь благо, которое, приобщившись к вечной жизни, вкушают первые, есть всего лишь прибавление к тем благам, которыми они привыкли владеть, меж тем как для последних оно вдвойне желанно, ибо уменьшает боль, которую они испытывают

здесь, и награждает их небесной благодатью в загробной жизни.

Провидение добрее к бедняку, нежели к богачу, еще и в другом: загробная жизнь для него так заманчива, что расставание с жизнью земною для него менее тягостно. Кто несчастен, тот изведал все ужасы бытия. Человек многострадальный спокойно ожидает смерти на своем последнем ложе: у него нет сокровищ, которые ему было бы жаль оставить; он испытывает лишь неизбежную боль окончательного расставания с жизнью, и она мало чем отличается от привычных его мук. Ибо у боли есть предел, и, когда предел этот достигнут, милосердная природа набрасывает пелену бесчувствия на всякую свежую брешь, пробитую смертью в еще живом теле.

Итак, провидение дарует несчастным два преимущества над теми, кто счастлив в земной жизни,— легкую смерть, а на небе еще особую радость, ибо чем больше исстрадалась душа человеческая, тем для нее ощутимее блаженство. А это, друзья мои, преимущество немалое, и о нем-то и толкуется в притче о нищем; в Священном писании говорится, что, хотя он был уже на небе и вкушал райское блаженство, наслаждение его было тем полнее, что некогда на земле он страдал и ныне утешается, что, познав горе, он тем лучше может оценить блаженство.

Итак, друзья мои, вы видите, что религия дает нам то, чего не может дать философия: она показывает, что небо и счастливым и несчастным воздает по справедливости, поровну распределяет радости среди людей. Богатым и бедным равно сулит она блаженство в загробной жизни, и тем и другим подает надежду, но если богатым дано преимущество наслаждаться счастьем на земле, то бедным дарована бесконечная радость — сравнивать былые страдания с вечным блаженством; и если преимущество это даже и покажется малым, то все же, будучи вечным, самой длительностью действия своего оно может равняться с временным, пусть и более явственно ощутимым счастьем великих мира сего.

Таковы утешения, которые даруются несчастным и которые возвышают их над остальным человечеством; во всем же прочем они унижены перед своими братьями. Кто хочет познать страдания бедных, должен сам испытать их жизнь на себе и многое претерпеть. Разглагольствовать же о земных преимуществах бедных — это повторять заведомую и никому не нужную ложь. Те, у кого есть самое необходимое, не могут почитаться бедными, а кто лишен самого необходимого — бесспорно несчастен. Да, да, друзья мои, конечно, мы с вами несчастные люди! Никакие

потуги самого утонченного воображения не могут заглушить муки голода, придать ароматную свежесть тяжкому воздуху сырой темницы, смягчить страдания разбитого сердца. Пусть философ, покоясь на своем мягком ложе, уверяет нас, что мы можем противостоять всему этому. Увы! Усилие, с которым мы пытаемся превозмочь наши страдания, и есть величайшее страдание из всех. Смерть — пустяки, и всякий в состоянии перенести ее, но муки, муки ужасны, их не может выдержать никто.

Итак, друзья мои, для нас с вами надежда на небесное блаженство особенно драгоценна, ибо если бы мы рассчитывали на одни земные радости, то были бы воистину несчастными. Я кидаю взор на эти мрачные стены, выстроенные не только для того, чтобы держать нас в неволе, но и для того, чтобы вселять ужас в наши сердца, на этот свет, служащий для того лишь, чтобы показать нам всю мерзость темницы, в которой мы томимся, на кандалы, которые одни из нас носят вследствие деспотического произвола, другие — как наказание за содеянное преступление; я оглядываю все эти изможденные лица, я слышу кругом себя стенания — о друзья мои, какое же счастье очутиться на небе после всего этого! Лететь сквозь сферы, чистые и прозрачные... нежиться в лучах вечного блаженства... петь бесконечные хвалебные гимны... не знать над собой начальника, который грозил бы нам и насмехался над нами, и взирать лишь на воплощенное добро — когда подумаю обо всем этом, смерть начинает казаться мне гонцом, несущим благую весть, и, как на самый надежный посох, готов опереться я на самую острую стрелу в ее колчане! Есть ли что-нибудь в жизни, ради чего стоило бы жить? Монархи в дворцах своих и те должны бы страстно желать поскорее приобщиться к этим благам; как же нам, со смиренной нашей долей, не тосковать по ним всеми силами своей души?

И все это в самом деле будет наше? Будет, будет, стоит лишь нам захотеть! И какое же счастье, что мы лишены многих соблазнов, которые замедлили бы наше продвижение к желанной цели! Только восхотите — и все ваше! И к тому же очень скоро, ибо, если оглянуться на прожитую жизнь, она покажется нам чрезвычайно короткой, а остаток ее еще меньше, нежели мы можем вообразить; по мере того как мы старимся, дни наши словно укорачиваются, и чем глубже знакомство наше со временем, тем стремительней представляется нам его течение! Утешимся же, друзья, ибо близок конец нашего странствия; скоро, скоро сложим мы с себя тяжкое бремя, которое небо на нас возложило! И хотя смерть, этот единственный друг несчастных,

иной раз напрасно манит усталого путника, то являясь перед ним, то исчезая и, подобно горизонту, продолжая вечно маячить перед его взором,— все же настанет время и ждать уже недолго, когда мы отдохнем от страды нашей, когда великие мира сего, утопая в роскоши, не станут более топтать нас ногами; когда, купаясь в блаженстве, будем вспоминать о своих земных терзаниях; когда окружены будем всеми друзьями своими, или, во всяком случае, теми из них, кто достоин нашей дружбы; когда блаженство наше будет неизъяснимо и, в довершение всего, бесконечно.

## ГЛАВА XXX

*Наши дела идут на поправку. Будем тверды до конца, и тогда счастье улыбнется нам непременно*

Когда я заключил свою проповедь и слушатели мои разошлись, тюремный надзиратель,— а он оказался на редкость добросердечным тюремщиком,— объявил мне, что, к великому своему сожалению, он вынужден меня огорчить и отвести моего сына в камеру с более крепкими затворами, но что он разрешит ему навещать меня каждое утро. Поблагодарив тюремщика за милосердие, я крепко сжал руку моему мальчику, простился с ним и наказал ему не забывать о великом долге, его ожидающем.

После этого я снова лег. Младший сынишка примостился рядышком и принялся читать мне вслух, как вдруг вошел мистер Дженкинсон и сообщил, что имеются сведения о моей дочери; будто кто-то видел ее два часа назад в обществе какого-то господина в одной из близлежащих деревушек, где они остановились подкрепить себя едой и откуда они, по всей видимости, направлялись обратно в город. Только сообщил он мне эту весть, как вслед за ним прибежал тюремщик и, захлебываясь от радости, возвестил, что дочь моя нашлась! По пятам за ним вбежал Мозес, крича, что сестрица Софья уже у ворот и сейчас явится вместе с нашим старым другом, мистером Берчеллом.

Не успел он договорить, как вошла моя милая девочка и, почти обезумев от счастья, кинулась меня целовать. Жена молча плакала от радости.

— Вот, батюшка,— вскричала наша милая дочь,— сей мужественный человек и есть мой избавитель! Всем своим счастьем и благополучием обязана я его храбрости!

Тут мистер Берчелл, чья радость, казалось, даже превосходила ее собственную, прервал ее речь поцелуем.

— Ах, мистер Берчелл,— воскликнул я,— в каком жалком пристанище находите вы нас нынче! Да и сами мы сильно изменились с тех пор, как вы нас видели в последний раз! Вы всегда были нашим другом; мы давно уже поняли, сколь заблуждались относительно вас, и давно уже раскаялись в своей неблагодарности. После мерзкого моего обхождения с вами я не знаю, как смотреть вам в глаза, но все же я надеюсь, что вы простите меня, ибо я сам был обманут бездушным и подлым негодяем, который, приняв личину друга, меня погубил.

— Зачем мне прощать вас, когда я на вас и не сердился?— возразил мистер Берчелл.— Я видел, что вы заблуждаетесь, но так как был не в силах вывести вас из заблуждения, мог лишь сожалеть о том.

— Я всегда считал вас человеком благородного образа мыслей и теперь вижу, что был прав! — воскликнул я.— Но, милое дитя мое, расскажи, как тебя спасли и кто те негодяи, что пытались тебя похитить?

— Ах, батюшка,— отвечала она,— я так и не знаю, кто был тот злодей. Ведь когда мы с матушкой прогуливались по дороге, он подошел сзади, втолкнул меня в карету, и форейтор пустил лошадей галопом, так что я не успела даже позвать на помощь. Я несколько раз взывала к встречным, но никто не внял моим мольбам. Между тем злодей пускал в ход всевозможные уловки, чтобы заставить меня молчать; перемежая лесть угрозами, он божился, что не причинит мне ни малейшего вреда, если только я не буду кричать. Однако мне удалось прорвать парусиновую шторку, которой он задернул окошко, и кого же я увидела? Самого мистера Берчелла! Да, впереди кареты, на некотором расстоянии от нее шел, как всегда, широко шагая и размахивая своей огромной суковатой палкой,— помните, батюшка, как мы над нею потешались? — старинный наш приятель.

Расстояние между ним и каретой все время уменьшалось, и я окликнула его, умоляя о помощи. Мистер Берчелл не сразу услышал меня, зато когда наконец услыхал, то громовым голосом приказал форейтору остановиться, но тот, не обращая внимания, принялся, напротив, погонять лошадей. Только я подумала, что теперь уж мистеру Берчеллу ни за что нас не догнать, как он поравнялся с лошадьми и одним ударом сбросил форейтора наземь. Лошади тотчас остановились, а злодей, выйдя из кареты со страшными ругательствами и угрозами, выхватил шпагу из ножен и стал требовать, чтобы мистер Берчелл убирался прочь с дороги. Мистер Берчелл разломил его шпагу по-

полам, обратил его в бегство и преследовал добрую четверть мили; все же злодею удалось убежать.

К этому времени я уже сама вышла из кареты и хотела идти на помощь своему освободителю, но он вскоре возвратился ко мне, торжествуя полную победу. Форейтор, придя в себя, хотел было тоже убежать, но мистер Берчелл грозно приказал ему вновь сесть на коня и везти нас назад, в город. Видя, что сопротивление бесполезно, он неохотно повиновался; все же рана, полученная им, казалась мне довольно опасной. Всю дорогу он не переставая хныкал и в конце концов разжалобил мистера Берчелла, который по моей просьбе взял другого форейтора, а его оставил на постоялом дворе, куда мы завернули на пути нашем сюда.

— Приди же в мои объятия, дитя мое! — вскричал я.— Тысячу раз приветствую и отважного твоего избавителя! Кругом нас все дышит убожеством, но зато сердца наши исполнены радушия. Мистер Берчелл, вы спасли мою дочь, и, если вы почтете ее достаточной себе наградой,— она ваша! Если не гнушаетесь породниться со столь бедным семейством, берите ее! Сердце ее принадлежит вам, я знаю. Испросите же ее согласия, а за моим дело не станет. И позвольте мне вам сказать, сударь, что вы получите сокровище немалое; прославилась она своей красотой, это верно, но я говорю не об этом: душа ее — клад.

— Да, сударь! — воскликнул мистер Берчелл.— Но полно, знаете ли вы мои обстоятельства и то, что я не в состоянии содержать ее так, как она того заслуживает?

— Если это ваше возражение,— отвечал я,— лишь предлог для вежливого отказа, то я, конечно, не буду настаивать; сам же я не знаю никого, кто был бы достойнее ее руки; и если бы я мог за ней дать тысячи и если бы тысячи женихов домогались ее, и тогда мой выбор пал бы на моего честного, храброго Берчелла.

Молчание, которым он встретил эту мою речь, произвело на меня самое тягостное впечатление; наконец вместо ответа он спросил, нельзя ли заказать еду из ближайшей харчевни и, узнав, что можно, послал туда человека с требованием прислать лучший обед, какой только у них имеется. Кроме того, он заказал самого отличного вина, каким они располагали, да кое-каких наливок для меня, говоря с улыбкой, что раз в жизни не грех и покутить и что, несмотря на то, что он окружен тюремными стенами, никогда желание повеселиться не было в нем так сильно, как сейчас. Вскоре появился слуга из харчевни и стал накрывать на стол, который тюремщик одолжил нам на

этот случай; он вдруг сделался необыкновенно услужлив. После того как бутылки были расставлены должным образом, на столе появилось два превосходных блюда.

Дочь моя еще ничего не знала о печальной участи, постигшей ее брата, и мы умолчали об этом, не желая омрачать ее радость. Напрасно, однако, пытался я казаться веселым,— скорбная мысль о сыне нет-нет да и прорывалась сквозь пелену притворства, так что в конце концов я был вынужден несколько нарушить радостное настроение и рассказать об его беде, чтобы и ему разрешили насладиться вместе с нами коротенькой передышкой, что выпала нам на долю. После того как гости мои пришли в себя от ужаса, внушенного моим рассказом, я попросил разрешения позвать также и товарища моего по заключению, мистера Дженкинсона, на что тюремщик согласился с необычайным подобострастием. Едва услышав звон цепей в коридоре, Софья бросилась навстречу брату; мистер Берчелл между тем спросил меня, не Джорджем ли зовут моего сына, и, получив от меня утвердительный ответ, ничего более не прибавил. Когда мой мальчик вошел в комнату, я заметил, что он смотрит на мистера Берчелла с почтительным изумлением.

— Входи, входи, сын мой,— воскликнул я,— как низко ни пали мы, а все же провидению угодно даровать нам небольшой отдых. Сестра твоя возвращена нам, и вот ее избавитель. Этому отважному человеку обязан я тем, что у меня еще есть дочь; пожми ему руку по-дружески, сын мой,— он заслуживает самой горячей нашей признательности.

Но мой сын словно не слышал меня и, казалось, не решался подойти ближе.

— Братец! — воскликнула его сестра.— Что же ты не поблагодаришь моего избавителя? Храбрый храброго должен любить!

Джордж все еще продолжал хранить изумленное молчание; наконец гость наш, заметив, что его узнали, тоном, исполненным достоинства, велел сыну моему подойти поближе. В жизни не доводилось мне видеть столь величественной манеры, как та, с какой он к нему обратился!

Самое замечательное явление на свете, по словам одного философа,— добродетельный человек, борющийся с гонениями судьбы, но человек, который приходит к нему на помощь, едва ли не достойней восхищения. Окинув моего сына важным взором, он строго произнес:

— Итак, безрассудный юноша, то же самое преступление...

Но тут речь его перебил один из слуг тюремного надзира-

теля, который пришел сообщить, что некое значительное лицо, прибыв в карете со свитой, просит нашего гостя назначить время, в которое ему было бы угодно принять его.

— Пусть подождет! — воскликнул наш гость.— Сейчас мне недосуг.

И затем обратился снова к моему сыну:

— Стало быть, вы опять совершили такой же проступок, как тот, за который я вас некогда разбранил и за который закон собирается учинить над вами справедливейшую расправу. Может быть, вы считаете, что раз вы не дорожите собственной жизнью, то имеете право посягать на чужую? Какая же после этого разница между бретером, рискующим своей никому не нужной жизнью, и убийцей, который действует так же, хоть и с большей для себя безопасностью? Шулер остается шулером и тогда, когда вместо денег ставит фишку.

— Ах, сударь! — воскликнул я.— Кто бы вы ни были, сжальтесь над несчастной жертвой заблуждения; ибо он только выполнял волю своей бедной матери, которая, не стерпев жестокой обиды, благословила его на месть. Вот, сударь, письмо, оно покажет вам всю степень ее ослепления и, может быть, смягчит его вину в ваших глазах.

Он взял письмо и пробежал его глазами.

— Это не может служить оправданием,— сказал он,— но все же до некоторой степени смягчает его вину; во всяком случае, он заслуживает снисхождения. Вижу, сударь,— продолжал он, ласково протянув руку моему сыну,— вы не ожидали встретить меня здесь; впрочем, я время от времени наведываюсь в тюрьмы, даже без такой веской причины, как та, что привела меня сюда сегодня. Пришел же я сюда, чтобы восстановить справедливость по отношению к одному достойному человеку, которого уважаю всей душой. Давно уже исподволь слежу я за благими делами вашего отца. В скромном жилище его встретил я уважение, в котором не было ни малейшей примеси лести, а незатейливое веселье, царившее у его очага, наполняло мое сердце счастьем, какого не встретишь при дворе. Но, видно, племянника моего известили о моем намерении быть здесь, и он пожаловал сюда сам; было бы несправедливо как по отношению к вам, так и к нему, осудить его, не вникнув в дело; виновный не уйдет от наказания; и могу сказать, не хвастая, что никогда никто еще не мог обвинить сэра Уильяма Торнхилла в несправедливости.

Только теперь поняли мы, что добрый и потешный мистер Берчелл был не кто иной, как знаменитый сэр Уильям Торн-

хилл, о добродетели и эксцентричности которого все были наслышаны. «Бедный мистер Берчелл» оказался обладателем огромного состояния и чрезвычайно влиятельным человеком, чьим мнением дорожили государственные мужи, к словам которого прислушивалась целая политическая партия; принимая близко к сердцу интересы сограждан, он вместе с тем всегда оставался преданным слугой своего монарха. Бедняжка жена, вспомнив бесцеремонное свое обращение с ним, казалось, оцепенела от ужаса, в то время как Софья, всего несколько мгновений назад считавшая, что он принадлежит ей безраздельно, теперь, когда ей вдруг открылась пропасть, их разделявшая, не в силах была сдержать слезы.

— Ах, сударь,— воскликнула жена в глубоком унынии,— простите ли вы меня когда-нибудь? Непочтительный прием, какой я оказала вашей чести в последний раз, дерзкие мои шутки... Боюсь, сударь, вы их никогда не простите.

— Помилуйте, любезная моя сударыня,— отвечал он с улыбкой,— что же худого в том, что вы шутили? Ведь и я, кажется, в долгу не остался; пусть общество рассудит, чьи шутки были острее. По правде говоря, я не расположен сейчас ни на кого сердиться, кроме как на злодея, так напугавшего мою милую девочку. Я не успел даже как следует разглядеть этого мерзавца, чтобы описать его приметы для огласки. Софья, душа моя, как вам кажется,— вы узнали бы его, если бы он вам повстречался снова?

— Право, сударь,— отвечала она,— я не могу сказать наверное, но вот сейчас мне вдруг припомнилось, что над одной его бровью был большой шрам.

— Прошу прощения, сударыня,— вмешался Дженкинсон, оказавшийся тут же,— этакий рыжий, без парика, не правда ли?

— Совершенно верно! — воскликнула Софья.

— А ваша честь,— продолжал тот, обратившись к сэру Уильяму,— не обратили внимания на необычайную длину его ног?

— Длинные они были или короткие, не знаю,— отвечал баронет,— но что прытки, то это так; ибо он бежал быстрее меня, я же до сей поры считал, что во всем королевстве мало кто может состязаться со мной в беге.

— Осмелюсь доложить, ваша честь,— вскричал Дженкинсон,— я его знаю! Конечно же, это он! Лучший бегун в Англии. Он перегнал Пинвайра из Ньюкасла, и зовут его Тимоти Бакстер. Я прекрасно его знаю, и мне даже известно, где он сейчас

обретается! Если ваша честь велит господину тюремному надзирателю отправить меня с двумя провожатыми за ним, я берусь доставить его вам самое позднее через час.

Тут же был вызван тюремный надзиратель, и сэр Уильям спросил его, знает ли он, кто с ним говорит.

— Так точно, ваша честь,— отвечал тюремщик,— я хорошо знаю сэра Уильяма Торнхилла; а всякий, кто хоть немного знаком с ним, пожелает узнать его еще лучше.

— А коли так,— сказал баронет,— я попрошу вас отправить этого человека в сопровождении двух ваших служителей по моему поручению; как местный мировой судья я беру на себя ответственность за такое распоряжение.

— С меня довольно вашего слова,— отвечал тот,— и, если вашей чести угодно, мы пошлем его в любой конец Англии по первому вашему требованию.

Итак, с согласия тюремного надзирателя Дженкинсон был отправлен на розыски Тимоти Бакстера; меж тем мы вдоволь потешились, глядя на Билла, который, только лишь вошел в комнату, немедленно вскарабкался на колени к сэру Уильяму и, обвив его шею рукой, начал его целовать. Мать стала было корить мальчишку за такую фамильярность, но добрый баронет остановил ее и, усадив нашего маленького оборванца к себе на колени, воскликнул:

— Ах, Билл, плутовская ты рожица! Так ты помнишь еще своего старинного приятеля Берчелла? А вон и Дик — здравствуй, здравствуй, старина! И я ведь вас не позабыл, глядите!

Тут он дал каждому по большому куску печатного пряника, и бедняжки принялись уплетать за обе щеки, ибо завтрак их в тот день был весьма скуден.

Наконец мы все уселись за обед, который, по правде сказать, успел порядком уже простыть; впрочем, прежде чем сесть за стол, сэр Уильям, который в свое время увлекался медициной и достиг в этой науке изрядных успехов, написал для меня рецепт, так как опаленная рука моя все еще причиняла мне страдание; за лекарством послали немедленно к проживавшему поблизости аптекарю, сделали мне перевязку, и я тотчас почувствовал облегчение. За столом прислуживал сам тюремный надзиратель, который всячески старался выказать свое уважение к нашему гостю. Но не успели мы окончить обед, как племянник сэра Уильяма снова прислал гонца с просьбой, чтобы дядюшка выслушал его и дал ему возможность оправдаться и защитить свою честь; баронет согласился и велел просить мистера Торнхилла к нам.

## ГЛАВА XXXI

*Былые благодеяния вознаграждаются с лихвой*

Мистер Торнхилл явился с обычной своей улыбкой и хотел было обнять дядюшку, но баронет презрительным жестом остановил его:

— Оставьте ваши льстивые манеры, сударь! — произнес он сурово.— Сердце мое открыто только тем, кто избрал путь чести; я же покамест вижу у вас одну ложь, малодушие и самоуправство. Как могло случиться, сударь, что бедный этот человек, другом которого вы себя провозглашали, очутился в таком тяжелом положении? В благодарность за его гостеприимство дочь его подло соблазняют, а его самого бросают в тюрьму чуть ли не за то, что он не согласен безропотно терпеть нанесенное ему оскорбление! Вот и сын его, с которым вы побоялись встретиться лицом к лицу, как мужчина...

— Возможно ли, сударь,— перебил его тут племянник,— чтобы родной мой дядюшка вменял мне это в преступление, когда много раз из его же уст слышал я совет избегать поединков?

— Укор заслужен,— вскричал сэр Уильям,— и тут вы поступили хорошо и благоразумно, хоть и не совсем так, как поступил бы ваш отец в подобных обстоятельствах! Мой брат был очень щепетилен в вопросах чести, а ты... Впрочем, здесь вы совершенно правильно поступили, и я одобряю ваше поведение.

— Надеюсь, сударь,— сказал племянник,— у вас не будет оснований бранить меня и за остальные мои поступки. Это верно, сударь, что я появлялся в местах общественных увеселений с дочерью этого джентльмена, но молва потрудилась раздуть до чудовищных размеров пустое легкомыслие, и стали говорить, будто я соблазнил ее. Когда же я сам отправился к ее отцу, чтобы объясниться с ним, он встретил меня бранью и осыпал оскорблениями. Что до причин, приведших его сюда, о них вам лучше могут рассказать мой управитель да поверенный — все это в их ведении. Раз он влез в долги и не хочет или пусть даже не может уплатить их, то они обязаны были обратиться к правосудию, и я не вижу ни особенной жестокости, ни несправедливости в этой законной процедуре.

— Коли дело и впрямь обстоит так, как вы говорите,— воскликнул сэр Уильям,— в ваших проступках нет ничего вопиющего, и, хотя вы могли бы обойтись великодушнее с этим

джентльменом и спасти его от тирании ваших слуг, все же я не нахожу тут ничего несправедливого.

— Он не может опровергнуть ни одного моего утверждения,— отвечал помещик,— пусть-ка попробует! Я вам представлю несколько свидетелей из числа моих слуг — они подтвердят каждое мое слово. Итак, сударь,— продолжал он, ибо я и в самом деле не был в состоянии опровергнуть его слова и потому молчал,— итак, сударь, вы видите, что я ни в чем не повинен, и хотя ради вас я был бы готов простить этому господину все остальное, его попытки очернить меня в ваших глазах пробуждают во мне ярость, которую я не в силах в себе побороть — а ведь как-никак сын его посягал на мою жизнь! Нет, сударь, это такое черное дело, что я решительно настаиваю на том, чтобы его судили по всей строгости закона. Вот, извольте, вызов, что он мне послал, и два свидетеля, которые могут подтвердить достоверность моих слов; один из моих слуг тяжело ранен, и даже если бы мой дядя сам вздумал бы отговаривать меня,— чего я, разумеется, от него никак не ожидаю,— то и тогда я все равно стал бы добиваться справедливого суда и наказания виновного.

— Чудовище! — вскричала моя жена.— Мало зла ты нам причинил, что ты еще намерен бедного моего мальчика преследовать своей жестокостью? Нет, добрый сэр Уильям заступится за нас, ибо мой сын невинен, как младенец! Я знаю, что это так, ведь он в жизни никого не обидел.

— Сударыня,— отвечал этот добрый человек,— я не меньше вашего желаю ему избавления; однако, к огорчению моему, его вина оказывается бесспорной, и если племянник мой будет настаивать...

Но тут наше внимание было отвлечено появлением Дженкинсона с двумя слугами тюремщика; они втащили в комнату человека высокого роста, одетого весьма изысканно, чьи приметы полностью совпадали с описанием злодея, пытавшегося увезти мою дочь.

— Вот он! — вскричал Дженкинсон, держа его за шиворот.— Поймали молодчика! Вот по ком тоскует Тайберн!

Увидев этого человека и Дженкинсона, который его держал, мистер Торнхилл так и отпрянул в ужасе. Он побледнел, как преступник, пойманный с поличным, и сделал движение, чтобы уйти; но Дженкинсон остановил его.

— Что, хозяин,— воскликнул он,— или вы стыдитесь своих старинных приятелей, Дженкинсона и Бакстера? Ну, да вы, аристократы, так и норовите забыть старых друзей, а только

мы вот не согласны вас забыть. Ваша честь,— продолжал он, обращаясь к сэру Уильяму,— он признался во всем. Это и есть тот самый джентльмен, которого якобы так тяжело ранили, и он утверждает, что вся эта история — дело рук мистера Торнхилла, что этой вот господской одеждой снабдил его мистер Торнхилл и что он же дал карету. Они сговорились, чтобы Бакстер увез мисс Софью куда-нибудь в укромное местечко, там припугнул бы ее как следует, а между тем мистер Торнхилл явился бы туда как бы невзначай и принялся бы ее «спасать»; для вида он должен был скрестить шпаги с Бакстером, обратить его в бегство и таким образом предстал бы перед ней в привлекательной роли избавителя.

Тут сэр Уильям припомнил, что кафтан, в который был облачен арестованный, он, точно, не однажды видел на своем племяннике; остальные подробности подтвердил сам арестованный, обстоятельно рассказав обо всем и в заключение сообщив, что мистер Торнхилл неоднократно говорил ему о том, что влюблен в обеих сестер сразу.

— Господи! — воскликнул сэр Уильям.— Какую змею пригревал я все это время на своей груди! А ведь как он ратовал за правосудие! Ну, да он его получит сполна... Возьмите же его, господин тюремный надзиратель! Впрочем, стойте! Боюсь, что у меня нет юридических оснований, чтобы его задержать.

Тут мистер Торнхилл униженнейшим образом стал умолять дядю не слушать таких отъявленных негодяев, как эти двое, а допросить его собственных слуг.

— Ваши слуги! — воскликнул сэр Уильям.— Ничтожный человек! У вас нет более слуг; ну, да послушаем, что скажут эти люди,— позовите дворецкого!

Дворецкий вошел и, бросив взгляд на бывшего своего хозяина, сразу понял, что власть его кончена.

— Скажите,— сурово вопросил сэр Уильям,— доводилось ли вам когда видеть вашего хозяина в обществе вот этого малого, что вырядился в его платье?

— Осмелюсь доложить, ваша честь,— отвечал дворецкий,— тысячу раз; ведь это ж он ему всегда поставлял женщин.

— Как?! — воскликнул мистер Торнхилл.— Ты смеешь говорить это мне в глаза?

— Смею,— отвечал дворецкий,— и вам и кому угодно. Сказать по правде, молодой человек, никогда-то у меня душа к вам не лежала, и я не прочь наконец высказать все, что у меня накипело.

— Ну, а теперь,— воскликнул Дженкинсон,— расскажите его чести все, что вы знаете обо мне.

— Хорошего мало,— отвечал дворецкий,— в тот вечер, когда дочь этого джентльмена обманом была залучена к нам в дом, вы были с теми, кто ее привез.

— Прекрасно! — вскричал сэр Уильям.— Хорошего же выставили вы свидетеля своей невиновности! Позорнейший отпрыск рода людского! И вот с каким отребьем водишь ты компанию! Однако,— продолжал он допрос,— вы сказали, господин дворецкий, что этот человек и привез дочь доктора Примроза к вашему хозяину?

— Ах нет, ваша честь,— отвечал дворецкий,— ее привез сам хозяин, а этот человек доставил священника, который совершил над ними мнимый обряд венчания.

— Увы, это так,— вскричал Дженкинсон,— и я не стану отпираться; таково было данное мне поручение, которое я, к стыду своему, выполнил.

— Великий боже! — воскликнул баронет.— Всякое новое доказательство его злодейства повергает меня в трепет! Теперь я вижу, что только трусость, самодурство и жажда мести повинны в преследовании, которому он подвергал это несчастное семейство. Прошу вас, господин тюремный надзиратель, освободите этого молодого офицера, я беру его на поруки и позабочусь о том, чтобы представить все дело в правильном свете перед судьей, направившим его в тюрьму,— кстати, мы с ним приятели. Но где же бедная жертва этого негодяя? Пусть явится и она сюда и обличит его. Я желаю знать, какие уловки употребил он на то, чтобы соблазнить ее. Попросите же ее сюда. Да где она?

— Увы, сударь,— отвечал я.— Ваш вопрос ранит меня в самое сердце. Да, некогда была у меня дочь, отрада моей жизни, однако несчастья...

Но тут нас снова перебили, ибо в эту минуту неожиданно явилась сама мисс Арабелла Уилмот, которой предстояло венчаться с мистером Торнхиллом на следующий день. Ее изумление при виде сэра Уильяма и его племянника не поддается описанию. Ведь она оказалась здесь совершенно случайно. Она проезжала через этот городок со стариком отцом, направляясь к тетушке, которая требовала, чтобы свадьба ее с мистером Торнхиллом была сыграна у нее в доме; желая отдохнуть и подкрепиться, они остановились в трактире на другом конце города. Там-то из окошка мисс Уилмот увидела одного из моих малюток, игравшего на улице; она тотчас послала лакея, чтоб

тот привел к ней мальчика, и от него узнала кое-что о наших злоключениях, но все еще оставалась в неведении относительно того, что виновником их был мистер Торнхилл. Напрасно пытался отец удержать ее от посещения тюрьмы, указывая на все неприличие этого поступка; она велела мальчику проводить ее и таким образом столь неожиданно очутилась среди нас.

Тут я должен сказать несколько слов по поводу чудесных совпадений вообще; они случаются повседневно, однако удивляемся мы им лишь в тех случаях, когда с ними бывает связано какое-нибудь необыкновенное происшествие. Каким только случайностям не обязаны мы всеми радостями и благополучием нашей жизни! Сколько кажущихся совпадений должно произойти, прежде чем мы будем одеты и накормлены! Крестьянин должен почувствовать расположение к работе, дождь — оросить почву, ветер — наполнить паруса торгового судна, а то сколько людей останется без самого необходимого!

Несколько мгновений все мы хранили молчание, в то время как милая моя ученица — так я привык про себя называть мисс Уилмот — взглядом своим выражала смешанное чувство изумления и сострадания, что придавало особую прелесть ее красоте.

— Дорогой мой мистер Торнхилл! — воскликнула она, полагая, что молодой помещик прибыл сюда вызволять нас из беды, а не губить нас.— Право, я на вас обижена за то, что вы пошли сюда без меня и даже не подумали сообщить мне о печальных обстоятельствах, в какие попало семейство, равно драгоценное нам обоим; вы ведь знаете, что я с не меньшим наслаждением, чем вы, стала бы помогать своему почтенному и престарелому учителю. Но я вижу, что вам, как и вашему дядюшке, нравится совершать свои благодеяния втайне.

— Благодеяния! — воскликнул сэр Уильям, перебивая ее.— Ну, нет, милая барышня, его наслаждения столь же низменны, сколь низок он сам. Свет не видывал такого злодея, как он! Негодяй обманул дочь этого бедного человека и затеял погубить невинность ее сестры, отца бросил в темницу, а старшего сына заточил в оковы только за то, что он имел смелость потребовать соблазнителя к ответу! Позвольте же, сударыня, поздравить вас с чудесным избавлением от этого чудовища.

— О боже! — произнесла красавица.— Как же я обманута! Ведь мистер Торнхилл заверил меня, будто старший сын этого джентльмена, капитан Примроз, отправился в Америку со своей молодой женой.

— Душенька! — вскричала тут моя супруга.— Он обманул вас кругом. Мой Джордж никогда не покидал королевства

и ни на ком не женился. Хоть вы и отвергли его, но он всегда так вас любил, что и думать ни о ком другом не хотел, и я сама слышала, как он говорил, что из-за вас так и умрет холостым.

И она продолжала расписывать страсть своего сына, рассказала правду об его поединке с мистером Торнхиллом, заодно поведала о развратной жизни молодого помещика, его мнимых браках и заключила все самой неприглядной картиной его трусости.

— Великий боже! — воскликнула мисс Уилмот.— Как близка я была к погибели! Но как счастлива, что избежала ее! Десять тысяч небылиц наплел мне этот господин! Под конец он хитроумнейшим образом убедил меня, будто обещание, данное единственному человеку на свете, который был дорог моему сердцу, более меня не связывает, ибо человек этот якобы сам мне изменил. Он заставил меня поверить в эту ложь и внушил мне ненависть к тому, кто оказался столь же храбр, сколь и великодушен!

К этому времени сын мой был освобожден от оков, так как человек, якобы тяжело раненный им, оказался притворщиком. Мистер Дженкинсон, взяв на себя роль камердинера, причесал Джорджа и доставил все, что ему нужно было по части одежды. И вот он вошел молодец молодцом, в своем нарядном мундире, и я должен сказать без всякого тщеславия (ибо я выше этого чувства), что такого красавца, как он, во всей армии не сыщешь! В самых дверях он отвесил мисс Уилмот скромный и почтительный поклон, ибо еще не ведал о той счастливой перемене, какую произвело в ней красноречие его матушки. Однако никакие приличия не могли удержать нетерпение, с каким жаждала искупить свою вину перед ним его милая. Румянец, слезы, взгляд — все обнаруживало истинные ее сердечные чувства, ее раскаяние в том, что она могла позабыть свои прежние клятвы и дать себя обмануть бесчестному наглецу. Сын мой был, казалось, поражен ее добротой и не мог поверить своему счастью!

— Право же, сударыня,— вскричал он,— все это не более как сон! Не мог я этого заслужить! Такое блаженство — нет, это слишком!

— Ах, сударь,— отвечала она,— я была обманута, низко обманута, иначе ничто не могло бы заставить меня изменить своему слову. Истинные мои чувства к вам вы давно уже знаете— забудьте же о моем проступке и примите еще раз мою клятву в верности. Если Арабелла не может быть вашей, то она никогда не будет принадлежать другому.

— Вы будете принадлежать ему,— воскликнул сэр Уильям,— если только я имею какое-нибудь влияние на вашего отца!

У Мозеса нашего всегда ушки на макушке, и он мигом слетал на постоялый двор, где обретался старый мистер Уилмот, и сообщил ему во всех подробностях о том, что у нас тут произошло. Между тем молодой помещик, видя себя кругом разоблаченным и поняв, что никакая лесть и никакая ложь ему уже больше не помогут, почел за самое умное от обороны перейти в наступление.

— Я вижу,—воскликнул он,— что справедливости мне тут не найти; но я ее добьюсь во что бы то ни стало. Знайте же, сударь,— тут он обратился к сэру Уильяму,— я уже более не завишу от ваших милостей. Я их презираю. Ничто уже не в состоянии отнять у меня приданого мисс Уилмот, которое благодаря прилежанию ее отца весьма изрядно. Контракт и вексель на ее капитал подписаны и благополучно лежат у меня в кармане. Ведь этого брака я желал не ради нее самой, а лишь ради ее денег; а раз денежки я прибрал к рукам, то владей ею кто хочет!

Это был непредвиденный удар, ибо сэр Уильям, который сам участвовал в составлении брачного контракта, понимал всю юридическую законность претензий своего племянника. Мисс Уилмот, увидав, что состояние ее потеряно безвозвратно, обратилась к моему сыну с вопросом, не потеряла ли она вместе с состоянием цену в его глазах.

— Отныне,— сказала она,— у меня нет более состояния, и я могу предложить вам только свою руку и сердце.

— Но у вас только это и было, сударыня! — воскликнул ее истинный обожатель.— Во всяком случае, я ни о чем ином не думал. Клянусь же, возлюбленная моя Арабелла, счастьем клянусь, что ваша бедность лишь увеличивает мое блаженство, ибо теперь моя милая окончательно уверится в искренности моих чувств!

Подоспевший к этому времени мистер Уилмот почувствовал немалое облегчение, когда понял, какой опасности избежала его дочь, и охотно дал свое согласие на расторжение брачного договора. Однако когда он узнал, что приданое ее прочно и безвозвратно закреплено за мистером Торнхиллом, досада его была неописуема. Итак, деньгам его суждено было перейти в чужой карман, в карман человека, у которого не было своего состояния. То, что человек этот негодяй, мистер Уилмот перенес с достаточным мужеством, но что у негодяя не оказалось ни гроша за душой — это уже было сверх всяких его сил.

Несколько минут просидел он в горестной задумчивости, пока сэр Уильям не прервал ее.

— Признаться, сударь,— воскликнул он,— я отчасти даже доволен тем, что вас постигло такое разочарование. Неумеренная ваша страсть к деньгам ныне наказана по заслугам. Но хоть дочь ваша и не богата, у нее все же довольно для безбедного существования. Вот перед вами честный молодой воин, он готов взять ее без приданого; они давно любят друг друга, и ради той дружбы, что я питаю к его отцу, я позабочусь о дальнейшем его продвижении. Забудьте же ваше честолюбие, которое ничего вам не доставило, кроме досады, и не отталкивайте счастье, которое само стучится к вам в дверь.

— Сэр Уильям,— отвечал старик,— поверьте, я никогда не оказывал давления на ее чувства и не собираюсь принуждать ее теперь. Если она все еще любит этого молодого человека, я от души желаю ей счастья с ним. У нас, слава богу, еще кое-что осталось, да к тому же ваше покровительство кой-чего стоит. Но только пусть мой старый друг (так он называл меня), пусть он обещает, что даст моей девочке шесть тысяч фунтов, если ему случится вернуть себе свое состояние, и я готов хоть сейчас соединить их руки!

Теперь выходило, что счастье молодой четы зависело от меня, и я охотно согласился на его условие,— оно и нетрудно было при скудости моих надежд!

Тут влюбленные, почти обезумев от счастья, ко всеобщей нашей радости, бросились друг к другу в объятия.

— После всех моих злоключений,—воскликнул Джордж,— такая награда! Право же, это превышает самые дерзкие мои мечты! Получить все блага — и после стольких страданий! Нет, нет, я и в мыслях так высоко никогда не возносился!

— Да, мой милый Джордж,— отвечала его прелестная невеста,— пусть этот негодяй возьмет себе мои деньги; если вам они для счастья не нужны, то мне и подавно. Ах, какая перемена: от самого подлого человека к самому благородному, самому лучшему! Пускай себе пользуется нашим состоянием, я же теперь могу быть счастлива и в нужде!

— Смею вас заверить,— перебил молодой помещик, ухмыляясь,— что и я, в свою очередь, буду очень счастлив, пользуясь теми благами, которые вы так презираете.

— Погодите, сударь! — вскричал тут Дженкинсон.— На это дельце по-всякому можно взглянуть. Что касается состояния этой достойной девицы, то вам от него не достанется и полушки. Прошу прощения, ваша честь,— обратился он к сэруУильяму,—

имеет ли ваш племянник право на приданое мисс Уилмот, если он женат на другой?

— Что за вопрос? — отвечал баронет.— Конечно, не имеет.

— Какая жалость! — отвечал Дженкинсон.— Столько лет мы с этим господином были сообщниками, что я даже питаю к нему нечто вроде дружбы, право! Но как я его ни люблю, а должен сказать, что брачный контракт этот не стоит деревяшки, которой приминают табак в трубке, ибо жених наш женат!

— Лжешь, негодяй! — крикнул помещик, не на шутку оскорбившись.— Никогда ни с одной женщиной не был я обвенчан законным браком!

— С вашего позволения, сударь,— отвечал тот,— вы ошибаетесь. И я надеюсь, что вы как следует отблагодарите вашего честного Дженкинсона за то, что он дарует вам жену; если обществу угодно обождать несколько минут, оно может удовлетворить свое любопытство и увидит ее воочию.

Со свойственным ему проворством он исчез из комнаты, оставив всех нас в полном недоумении.

— Пусть его! — воскликнул помещик.— В чем в чем, а тут он мне повредить не может. Не мальчик я, холостыми выстрелами меня не запугаешь!

— По правде говоря, я в толк не возьму,— сказал баронет,— что там задумал этот малый. Верно, какая-нибудь низкопробная шутка.

— Как знать, сударь,— возразил я,— может, у него и дело на уме. Когда подумаешь, на какие только хитрости не пускался этот джентльмен, чтобы обманывать неопытных девушек, то невольно в голову придет мысль: а ну, как нашлась среди них одна похитрее и сама его провела? Ведь скольких погубил он, сколько родительских сердец разбито из-за позора, которым он запятнал их имена! Я бы нисколько не удивился, если бы кто-нибудь из них... Но, боже! Кого я вижу? Моя дочь? Она жива? Неужто я ее держу в объятиях? Так это она, жизнь моя, мое счастье! Я ведь думал, что потерял тебя навеки, родная моя Оливия, и вот я обнимаю тебя, и ты будешь жить мне на радость!

Буйный восторг самого страстного влюбленного не мог бы сравниться с моим, когда я вновь увидел свое дитя; она же совершенно онемела от счастья.

— Душа моя, радость моя! — кричал я.— Тебя возвратили мне, дабы ты усладила мою старость!

— Возвратили, возвратили! — подхватил Дженкинсон.— И потрудитесь оказать ей всяческое уважение, ибо дитя ваше непорочно. Во всей этой комнате нет женщины честнее, чем она.

Что касается вас, господин помещик, то молодая дама — ваша законная супруга, и это сущая правда. А чтобы вы уверились, что я не лгу, я готов представить на всеобщее обозрение лицензию, по которой вас обвенчали.

С этими словами он подал бумагу баронету, который прочитал ее и нашел вполне исправной.

— Я вижу, господа,— продолжал Дженкинсон,— что вы удивлены; позвольте разъяснить вам дело в нескольких словах, и вы все поймете. Добрый наш помещик, к которому я, между нами говоря, питаю некоторую слабость, частенько давал мне всевозможные порученьица, каковые я и исполнял. Так, он просил достать ему подложную лицензию на венчание и подложного священника, чтобы обмануть мисс Оливию. Однако из дружбы к нему я раздобыл настоящую лицензию и настоящего священника, который и обвенчал их по всем правилам. Вы, может, думаете, что я поступил таким образом из благородных побуждений? Ничуть не бывало! К стыду своему, признаюсь, что единственной моей целью было сохранить эту бумагу и впоследствии дать помещику знать, что она у меня имеется и что я в любую минуту могу объявить о ней во всеуслышание; таким образом, у меня была бы возможность всякий раз, как я испытывал бы нужду в деньгах, выкачивать их из него.

Вся комната, казалось, наполнилась радостью; восторг наш передался даже в общую залу, где заключенные выразили нам свое сочувствие:

Оковами бряцая в восхищенье,
И дикий звон сей музыкой звучал.

Все лица сияли счастьем, и даже на щеках Оливии показался румянец радости. Вернуть себе добрую славу, друзей, состояние, и все это вдруг — да какая болезнь тут устоит? Казалось, живость и здоровье непременно должны теперь возвратиться к ней. Впрочем, не думаю, чтобы кто-нибудь радовался искреннее меня. Все еще прижимая драгоценное свое дитя к груди, я вопрошал себя: полно, не наваждение ли все это?

— Но как,— вскричал я, обращаясь к Дженкинсону,— как решились вы умножить мое горе сообщением о мнимой смерти моей дочери? Впрочем, это не важно — радость свидания с лихвой вознаграждает меня за былую боль.

— Мне не трудно,— сказал Дженкинсон,— ответить на ваш вопрос. Я считал, что есть лишь один способ добиться вашего освобождения из тюрьмы, и этот способ — изъявить покорность помещику и дать свое согласие на его брак с другой.

Вы же поклялись не давать согласия, покуда жива ваша дочь. Я уговорил вашу супругу принять участие в заговоре, и до настоящей минуты у нас не было возможности открыть наш обман.

Лишь два лица не сияли восторгом. Наглость мистера Торнхилла как рукой сняло. Бездна нужды и бесславия разверзлась перед ним, и он дрожал, не решаясь в нее окунуться. Упав на колени перед дядей, душераздирающим голосом стал он молить его о милосердии. Сэр Уильям хотел его оттолкнуть, но, сдавшись на мою просьбу, поднял его и, помолчав немного, сказал:

— Твои пороки, преступления и неблагодарность не заслуживают жалости; однако совсем тебя я не кину; деньги, достаточные на то, чтобы удовлетворять насущные нужды,— но не прихоти! — будут тебе выплачиваться. Эта молодая дама, твоя законная жена, получит треть состояния, которое раньше принадлежало тебе; и впредь все, что ты будешь получать сверх назначенного, будет зависеть от нее одной.

Тот собрался было в пышной речи излить свою благодарность за такое великодушие, но баронет остановил его, говоря, чтобы он не выказывал более своей подлости, ибо она и так всем теперь достаточно видна. Он велел ему уйти, избрав из числа бывших своих слуг одного по своему усмотрению и им отныне довольствоваться.

Как только он покинул нас, сэр Уильям подошел к своей новоявленной племяннице и с любезной улыбкой поздравил ее. Его примеру последовали мисс Уилмот и отец ее; жена моя нежно поцеловала дочь, которую, как она выразилась, сделали честной женщиной. За матерью поочередно подошли к ней Софья и Мозес и, наконец, благодетель наш Дженкинсон тоже попросил разрешения поздравить ее. Теперь нам как будто ничего не оставалось и желать. Сэр Уильям, для которого не было большего счастья, чем творить добро, сиял как солнышко, оглядывая всех нас, и всюду встречал радостные взоры в ответ; одна лишь Софья по непонятной для нас причине казалась не совсем довольной.

— Ну, вот,— воскликнул он с улыбкой,— кажется, все тут, за исключением, может быть, одного или двух, совершенно счастливы. Остается мне еще довершить дело справедливости. Вы, конечно, понимаете,— повернулся он ко мне,— сколько мы оба обязаны мистеру Дженкинсону, и я думаю, что справедливо, чтобы каждый из нас достойным образом вознаградил его. Я не сомневаюсь, что он будет очень счастлив с мисс Софьей, за которой получит от меня пятьсот фунтов — они отлично ведь

могут жить на это, не правда ли? Ну, так как же, мисс Софья, что вы думаете о подобной партии? Согласны ли вы?

Бедняжка едва не лишилась чувств, услышав столь чудовищное предложение, но материнские руки вовремя подхватили ее.

— Согласна ли я? — слабым голосом повторила она.— Ни за что на свете, сударь!

— Как? — вскричал он.— Вы отказываете мистеру Дженкинсону, вашему благодетелю? Этакий красавец, да еще пятьсот фунтов в придачу и блестящее будущее!

— Прошу вас, сударь,— пролепетала она еле слышным голосом,— прошу вас воздержаться от дальнейшего и не заставлять меня страдать столь жестоко.

— Вот упрямица! — вскричал он.— Отказать человеку, которому ваша семья стольким обязана, который спас вашу сестру и который обладает состоянием в пятьсот фунтов? И вы не согласны?

— Ни за что, сударь! — отвечала она гневно.— Лучше смерть!

— Ну что ж, коли так,— вскричал он,— и вы не хотите взять его в мужья, видно, придется мне самому взять вас в жены!

И с этими словами он страстно прижал ее к своей груди.

— Красавица моя, умница! — воскликнул он.— Как только могла ты подумать, что твой Берчелл тебе изменит? Или что сэр Уильям Торнхилл когда-нибудь перестанет восхищаться своей возлюбленной, которая полюбила его за его собственные достоинства? Вот уже много лет, как я ищу женщину, которая, не зная о моем действительном положении, оценила бы во мне человека! И после того как отчаялся найти ее даже среди дурнушек и записных кокеток, вдруг одержать победу над такой умной головкой, такой божественной красотой!

И, обернувшись к Дженкинсону, он добавил:

— Видите ли, сударь, я никак не могу расстаться с этой девицей, ибо ей почему-то полюбилась моя физиономия — так что я могу лишь вознаградить вас ее приданым,— завтра поутру вы можете прийти к моему управляющему за пятьюстами фунтами.

Тут мы все принялись поздравлять будущую леди Торнхилл и повторили всю церемонию, которую только что проделали с ее сестрой. Между тем явился слуга сэра Уильяма и сказал, что поданы кареты, которые должны отвезти нас в гостиницу, где все уже было для нас приготовлено. Мы с женой возглавили ше-

ствие и покинули мрачную обитель скорби. Щедрый баронет приказал раздать заключенным сорок фунтов и, вдохновленный его примером, мистер Уилмот дал половину этой суммы в придачу. Внизу нас приветствовали радостные клики горожан, среди которых я пожал руку нескольким друзьям из своего прихода. Они проводили нас до самого места; тут нас ожидало великолепное пиршество; провожающим тоже было приготовлено угощение — правда, менее изысканное, зато накормили их до отвала.

После ужина, так как дух мой был утомлен до последней степени от сменявших весь этот день ощущений печали и радости, я попросил разрешения удалиться на покой; общество веселилось вовсю, а я уединился и излил свое сердце в благодарственной молитве тому, кто дарует нам и счастье и горе; затем лег и проспал спокойным сном до самого утра.

## ГЛАВА XXXII

*Заключение*

Наутро, проснувшись, я увидел подле своей постели старшего сына; он обрадовал меня сообщением еще об одном счастливом повороте фортуны. Освободив меня предварительно от обещания, которое я дал ему накануне, он рассказал, что купец, по вине которого я потерял состояние, был задержан в Антверпене и что у него обнаружили сумму, превышающую ту, которую он должен был своим кредиторам. Бескорыстие моего мальчика порадовало меня чуть не больше, чем неожиданное это счастье. Впрочем, я сомневался, вправе ли воспользоваться благородным предложением сына. Покуда я размышлял об этом, вошел сэр Уильям, и я поделился с ним своими сомнениями. Он успокоил меня, сказав, что поскольку сын мой и без того благодаря своему браку сделается владельцем изрядного состояния, я могу не задумываясь предложение его принять. Пришел же он затем, чтобы сообщить мне, что с часу на час ожидает прибытия лицензий на бракосочетание, и просил меня, как священника, способствовать как можно скорее всеобщему счастью. В эту же минуту вошел лакей и доложил, что лицензии прибыли; я был уже одет и спустился вниз, где застал всех; у них царило такое веселье, какое может быть лишь там, где душевная чистота сочетается с достатком. Мне, впрочем, легкомысленный их смех показался несовместимым с торжественностью предстоящего обряда. Я сказал им, что в эту насыщенную

таинством минуту они должны быть преисполнены серьезности, важности и высоких мыслей; я даже прочел им целых две проповеди и трактат собственного сочинения, чтобы подготовить их надлежащим образом. Но они все равно не унимались и продолжали резвиться.

Даже следуя за мной в церковь, они держали себя настолько легкомысленно, что у меня несколько раз было искушение рассердиться и повернуть назад. В церкви возникло новое затруднение, решить которое, казалось, было нелегко. Кому венчаться первым? Невеста моего сына горячо настаивала на том, чтобы уступить эту честь леди Торнхилл, вернее, будущей леди Торнхилл, та же об этом и слышать не хотела, с неменьшей горячностью утверждая, что ни за что на свете не совершит такого невежливого поступка. Спор длился довольно долгое время, причем обе стороны были одинаково упрямы и одинаково вежливы. Все это время я стоял с раскрытым требником в руках; наконец мне надоели их препирательства, и я воскликнул:

— Я вижу, никто из вас нынче не намерен венчаться, так что лучше всего возвратиться нам потихоньку домой — сегодня нам в церкви делать нечего!

Мои слова тотчас отрезвили всех. Первыми были повенчаны баронет со своей невестой, а за ними мой сын со своей прелестной возлюбленной.

Еще с утра я распорядился послать карету за своим добрым соседом Флембро и его семейством, так что, возвратившись из церкви в гостиницу, мы там застали обеих мисс Флембро. Мистер Дженкинсон подал руку старшей, сын мой Мозес повел к столу младшую; впоследствии я обнаружил, что он в самом деле неравнодушен к этой девушке, и в душе посулил дать ему свое согласие и выделить изрядную долю, как только он сам ко мне придет за тем и другим. Возле дома собрались почти все мои прихожане, которые, прослышав о моем счастье, явились меня поздравить. Среди них были и те, которые пытались силой вырвать меня из рук правосудия, за что я так резко их укорял. Я рассказал эту историю своему зятю сэру Уильяму, он вышел к ним и отчитал их с великой суровостью; увидев, впрочем, что они очень уж упали духом от жестоких его упреков, он дал каждому по полгинеи, чтобы они выпили за его здоровье и развеселились.

Затем нас позвали к изысканной трапезе, приготовленной поваром мистера Торнхилла. Что же касается его самого, то, может быть, тут будет уместно упомянуть, что нынче он проживает в качестве компаньона у одного родственника; к нему

очень хорошо относятся, почти всегда сажают с собой за стол, исключая те случаи, когда и без него тесно, словом, он там свой человек. Большую часть времени он занят тем, что развлекает этого родственника, который несколько склонен к меланхолии; кроме того, он учится играть на валторне. Впрочем, старшая моя дочь до сих пор вспоминает о нем с некоторым сожалением; она даже говорила мне,— но только это великая тайна! — что, когда он исправится совсем, она, может быть, и сменит гнев на милость. Однако, к делу,— я терпеть не могу отступлений! — когда стали рассаживаться за столом, начались снова всяческие церемонии. Возник вопрос, не следует ли усадить старшую мою дочь, как замужнюю даму, выше новобрачных; но тут сын мой Джордж прекратил споры, предложив сесть как кому вздумается, то есть каждому кавалеру подле своей дамы. Предложение было встречено всеобщим одобрением, если не считать жены, которая, я видел, была чем-то недовольна,— она рассчитывала, что будет председательствовать за столом и резать жаркое для всех.

Впрочем, несмотря на это маленькое ее огорчение, все были отменно веселы. Не берусь утверждать, что мы были остроумнее обычного, но, во всяком случае, смеялись мы, как никогда, а это, в конце концов, главное. Особенно врезалась мне в память одна шутка: старик Уилмот провозгласил здоровье Мозеса, тот же смотрел в это время в другую сторону и ответил: «Благодарю вас, сударыня». На что старик, подмигнув нам всем, заметил, что он, верно, думает о своей милой. Я боялся, что обе мисс Флембро умрут со смеху! Тотчас после обеда, верный своему всегдашнему обычаю, я велел убрать стол и снова имел счастье видеть всю свою семью вокруг уютного камина. Малюток своих я посадил к себе на колени, остальные же расселись парочками. Теперь мне уже ничего не оставалось желать на этом свете — горести мои окончились, радость была несказанна. Отныне у меня одна-единственная забота: быть столь же благодарным в счастье, сколь смиренен я был в беде!

# ПРИМЕЧАНИЯ

## ПУТЕШЕСТВИЕ ХАМФРИ КЛИНКЕРА

Роман Смоллета «Путешествие Хамфри Клинкера» был задуман и начат автором в 1768 году, незадолго до отъезда в Италию, где Смоллет кончил свои дни в небольшой деревушке в четырех милях от Ливорно. В этой деревне и была в 1771 году завершена работа над романом. Перед смертью Смоллет успел узнать о большом его успехе в Англии.

В романе отразились впечатления от путешествия на родину, в Шотландию, в 1766 году, впечатления от Бата, где за год перед этим и год спустя Смоллет проходил курс лечения. Роман имеет, однако, и чисто литературные источники, в частности книгу Кристофера Энстея «Новый путеводитель по Бату» (1766), представлявшую собой собрание писем некоего семейства, проводящего сезон на водах в Бате. Некоторые герои «Хамфри Клинкера» восходят к героям Энстея, но литературные качества этих книг, разумеется, не сопоставимы.

Хорошо встреченный при своем появлении, этот роман впоследствии меньше влиял на английскую литературу, чем такие произведения Смоллета, как «Приключения Родрика Рэндома» и «Приключения Перигрина Пикля», однако всегда оставался образцом зрелого мастерства Смоллета. За пределами Англии наибольшим успехом этот роман пользовался в Германии, где до конца века вышел, как и два других упомянутых его романа, несколькими изданиями. В Россию роман «Путешествие Хамфри Клинкера» проник из Германии. В 1789 году Иваном Захаровым было переведено с немецкого «Путешествие Гумфрия Клинкера, сочинение г. Смоллета». Настоящий перевод впервые опубликован в 1953 году Гослитиздатом.

*Ю. Кагарлицкий*

Стр. 30. *Валлиец* — уроженец Уэльса.

Стр. 38. *..deerant quoque littora Ponto.* — «У Черного моря не было берегов» — стих Овидия из его «Понтийских посланий», которые поэт писал с берегов Черного моря (с побережья нынешней Румынии), куда он был сослан римским императором Августом в 9 г. н. э. Игра слов, о которой упоминает Дж. Мелфорд, заключается в совпадении прозвища утонувшей его собаки Понто с названием Черного моря (Pontus). Таким образом, стих Овидия может быть переведен: «У Понто не было прибежища».

Стр. 40 *...возбуждают деятельность животного организма.*— В письмах, посвященных описанию известных в Англии курортов с минеральными источниками, Смоллет выступает в роли медицинского эксперта по вопросу о действии минеральных вод. Для такой роли он считал себя вполне подготовленным, ибо за восемнадцать лет до написания «Хамфри Клинкера» сочинил «Очерк об употреблении минеральных вод». Но этот очерк не принес ему степени доктора медицины, на что он рассчитывал.

Стр. 56. *Германский электор* — титул, присвоенный в феодальную эпоху некоторым главам германских государств, имеющим право избрания императора. В эпоху Смоллета таких электоров насчитывалось семеро.

Стр. 57. *Амфитеатр Веспасиана* — Колизей, гигантский цирк в Риме, законченный постройкой в 80 г. н. э.

*Нижние дворики.*— В Англии перед домом нередко бывал дворик ниже уровня улицы, откуда был доступ в подвальный этаж.

*...проход... как на Ковент-гарден...*— На том месте в Лондоне, где некогда находился сад настоятеля Вестминстерского аббатства, разбита была в XVII в. большая площадь с аркадами, на которой устроен был цветочный и фруктовый рынок; этот «проход с аркадами» имеет в виду Смоллет.

Стр. 58. *Гигрометр* — аппарат для измерения влажности воздуха.

Стр. 59. *Эти хрупкие создания из Бедфордбери, Батчер-роу* и пр.— Смоллет иронизирует, называя несколько лондонских улиц, населенных главным образом мелкими торговцами,— Мясной ряд и пр.

Стр. 60. *Прививка оспы.*— Речь идет не о вакцинации,то есть прививке вируса телячьей оспы (лат. vaccinus — коровий), ставшей известной в 1796 г., но о заражении здорового человека вирусом натуральной оспы, ибо такое заражение приводило к тому, что болезнь протекала в более слабой форме. Подобная прививка известна была в Китае и на всем Востоке в глубокой древности, и в 1717 г. о ней узнали в Англии. Распространение ее привело к тому, что подвергшиеся прививке здоровые люди, не будучи изолированы, являлись рассадниками болезни, и к концу XVIII в. количество смертных случаев от заболевания оспой в Англии даже увеличилось по сравнению с началом века. Только вакцинация, вызвавшая бешеное сопротивление церкви и многочисленных врачей, принесла человечеству спасение от оспы.

Стр. 64. *Франкованное* (искаженное «франкированное») *письмо.*— В эпоху Смоллета пересылка почтовых отправлений оплачивалась не отправителем, но адресатом. Система оплаты была крайне сложной, а размер ее очень высок и зависел не только от расстояния, на которое письмо пересылалось, но и от веса, величины и даже формы письма. Господствующие классы ухитрились переложить тяжесть оплаты корреспонденции на те группы населения, для которых высокая оплата была особенно тяжела. Они добились привилегии для всех чиновников и для членов парламента, которыми в ту эпоху, как известно, могли быть в основном только землевладельцы, посылать в неограниченном количестве почтовые отправления — не только свои, но любые, свободными от оплаты, «франкированными» (franc — свободный от пошлины), выставляя на них свое имя. Каждый землевладелец или буржуа мог легко получить такую пометку на письме. Старая система оплаты писем ликвидирована была только в 1840 г.— через семьдесят лет после смерти Смоллета.

Стр. 65. *...повезет его в Аберганни...*— искаженное Абергевенни, городок в полутораста милях от Лондона.

Стр. 67. *Эл* — мера длины; 114 сантиметров.

Стр. 68. *...открыли... римские бани...*— Раскопки, произведенные в Бате в 1755 г., показали, что батские минеральные источники были известны еще в эпоху завоевания Англии римлянами. Обнаруженные римские бани состояли из нескольких бассейнов, наполнявшихся в свое время водой из источников.

Стр. 71. *Эбигейл* — прозвище горничных; его происхождение связано с одним из библейских эпизодов (в Библии — Авигея); впервые в Англии горничная под этим именем выведена в пьесе Бомонта и Флетчера «Презрительная леди» (XVII в.).

*Остров Сент-Кристофер* — один из островов Вест-Индии (архипелага в Карибском море, у берегов Северной Америки), являвшейся для господствующих классов Англии XVIII в. неиссякаемым источником обогащения благодаря применению труда негров-рабов. Многочисленные английские плантаторы и негоцианты, выкачивая с острова Сент-Кристофер, как и с других островов Вест-Индии, хлопок, сахар, индиго, имбирь, тропические фрукты и т. д., быстро становились обладателями крупных состояний, чем и объясняется особое почтение церемониймейстера Бата к «богатой наследнице» с упомянутого острова.

Стр. 72. *Джемс Куин* (1693—1766) — известный английский актер-классицист, типичный представитель «старой» сценической школы; обладая огромным темпераментом и прекрасной дикцией, Куин был актером «декламационного» стиля, отвергнутого крупнейшим реформатором английской сцены XVIII в. Гарриком.

Стр. 74. *...тропы и фигуры с Биллингсгейта...* — то есть брань, которой славились торговки с Биллингсгейтского рыбного рынка, рас-

положенного у Темзы в районе, населенном деклассированными элементами.

Стр. 75. *...об «уличной девке на ужасном дикобразе».*— Табита Брамбл коверкает слова, произносимые Тенью отца Гамлета (действие I, сцена 5). У Шекспира: «иглы на взбешенном дикобразе» (quills — иглы, quails — публичные девки, frightful — ужасный, но также взбешенный).

Стр. 76. *Элен Гуин* — Элинор Гуин (1650—1687), одна из любовниц короля Карла II Стюарта, известного своим распутством; раздражение Дж. Куина на Табиту Брамбл объясняется тем, что Элинор Гуин, которую современники называли «pretty witty»— «остроумная красотка», действительно начинала свою карьеру на улицах Лондона, чтобы затем стать одной из первых по времени актрис в английском театре, где до той поры женские роли исполнялись мужчинами.

Стр. 79. *...ренту, за которую продал свой патент.*— Патент на офицерский чин. Ни в одной капиталистической стране не был закрыт людям неимущим доступ в офицерство с такой откровенностью, как это имело место в Англии. Это было достигнуто введением официальной продажи государством офицерских чинов, вскоре после так называемой «славной революции» 1688 г. Такая система надежно защищала господствующие классы от проникновения их классовых противников в состав офицерства, но, с другой стороны, столь понижала боеспособность командного состава, что весьма скоро войны с Францией заставили правительство отменить продажу патентов. Тем не менее она продолжала фактически существовать, и с 1711 г. снова официально была разрешена при королеве Анне, а при Георге I в 1720 г. был утвержден новый тариф с еще более высокими расценками на все офицерские чины. Только в семидесятых годах прошлого века продажа патентов на офицерские чины была окончательно воспрещена.

*«Дженерал адвертайзер»* — лондонская газета, основанная в 1726 г. и называвшаяся «Лондон дейли пост энд Дженерал адвертайзер»— «Лондонская ежедневная почта и Всеобщий листок объявлений». В том году, к которому относятся события, упоминаемые в романе, газета уже давно (с 1752 г.) называлась «Паблик адвертайзер». Смоллет не случайно назвал эту газету, оппозиционную королевскому двору, ибо именно над ней «судили да рядили» посетители кофейни, считавшие себя незаслуженно обойденными правительством.

*Конец земли* — самая крайняя западная точка Англии в юго-западном графстве Корнуэлл; гранитная скала с рифом, уходящим в море.

Стр. 82. *Жрец Комуса.*— Комус — бог веселья у римлян; его часто изображали нетрезвым.

Стр. 83. *Ахатес* — преданный друг Энея из «Энеиды» Вергилия.

Стр. 94. *...которая вертит вертел с мясом...*— В старые времена в Англии собак специально обучали вертеть вертел с мясом над очагом.

Стр. 95. *Бенефиция.*— В средние века так называлось право пожизненного пользования землей, даваемое феодалом своему вассалу в награду за воинскую службу; в новое время так называют в Англии назначение на должность ректора (настоятеля) приходской церкви, викария (его заместителя) и других церковнослужителей.

Стр. 96. *...другой берег реки...*— Город Бат расположен на берегу реки Эйвон, так же как и город Бристоль, от которого упоминаемые в романе Горячие Воды отстояли в полутора километрах, тогда как Бат находился в двадцати километрах к юго-востоку.

Стр. 98. *Лига* — старая мера длины, около трех английских миль.

Стр. 99. *Боро* — город (либо местечко), некогда получивший от английского короля хартию на право самоуправления, освобождавшую от подчинения властям графства; вместе с этим боро получало право представительства в парламенте, чудовищно искажавшее идею народного представительства, ибо это право осуществлялось жителями и тогда, когда боро не только теряло какое бы то ни было экономическое значение, но и большую часть своего населения. В эпоху Смоллета (и вплоть до 1832 г.) в Англии встречались боро, насчитывающие один-два десятка жителей, обладавших правом выбора члена парламента. На практике это всегда сводилось к тому, что члена палаты общин английского парламента назначал в малонаселенных боро местный землевладелец, от которого жители целиком зависели, являясь либо его арендаторами, либо лицами, занимавшими те или иные должности по его усмотрению. В других боро существовал тот же порядок выбора в парламент, что и в любом английском графстве,— порядок, который с возмущением описывает Брамбл, сам некогда «избранный» таким же способом.

Стр. 106. *Ва́рган* — народный музыкальный инструмент.

Стр. 109. *...Лондон и Вестминстер вымощены...*—Брамбл имеет в виду, конечно, только Лондон, но, упоминая о Вестминстере, отдает дань традиции. Ибо там, на берегу Темзы, где находятся Вестминстерское аббатство и здания парламента, некогда стоял монастырь (Вестминстер — Западный монастырь), и с течением времени район вокруг этого монастыря, который был расположен на холме Тауэр, стал населенным пунктом в Лондонском графстве, получив право представительства в парламенте. До конца XVI в. этот район еще не сливался с Лондоном, но затем вошел в границы последнего, сохранив, по традиции, право выбора двух членов палаты общин. Прошло свыше ста лет после смерти Смоллета, пока этот нелепый порядок не был отменен.

Стр. 110. *Петимэтр* — искаженное французское petit maître — щеголь, франт.

Стр. 115. *Миссис Корнелис* (1723—1797) — владелица зала, в котором устраивались по подписке балы.

Стр. 118. *...героя, который растоптал мятеж...*— Этим «героем», которого Смоллет наименовал «герцог К.» и изобразил столь гротескно, следует, несомненно, считать Уильяма Августа герцога Камберленда, брата короля Георга III, неудачливого вояку, не раз битого французами и австрийцами. Единственной его военной удачей была победа над Карлом Эдуардом Стюартом, пытавшимся вернуть английский престол, потерянный его дедом Иаковом II. В битве при Куллодене в апреле 1746 г. между высадившимся в Шотландии Карлом Эдуардом, возглавлявшим отряд шотландских горцев, и английскими войсками во главе с упомянутым герцогом Камберлендом, решилась судьба так называемого движения якобитов, то есть сторонников династии Стюартов. В жестокой кровавой расправе над шотландцами после победы при Куллодене главная роль принадлежала герцогу Камберленду.

Упоминание о герцоге К., которого Брамбл встречает на приеме при дворе Георга III, позволяет установить время действия романа: Камберленд умер в октябре 1765 г. С другой стороны, читатель встретит в дальнейшем упоминание о «семи годах последней войны», то есть о Семилетней войне, окончившейся, как известно, в феврале 1763 г. Таким образом, «Путешествие Хамфри Клинкера» происходило между указанными двумя датами — февралем 1763 г. и концом ноября 1765 г. (последнее письмо романа помечено 20 ноября).

Стр. 119. *Фаворит граф* — лорд Бьют, фаворит короля Георга III.

*Каледонское светило.*— Каледония — древнее название Шотландии.

*... великий пенсионарий, сей флюгер патриотизма!*— Великий пенсионарий — звание высшего чиновника голландского правительства, но в данном случае Смоллет имеет в виду не голландского, а английского государственного деятеля Уильяма Питта (с 1766 г. лорда Чэтема), который во время посещения Брамблом Лондона не был у власти и подвизался в палате общин как лидер группы вигов, оппозиционной большинству вигской партии и королевскому двору. Смоллет — политический противник Питта — назвал его «великим пенсионарием», намекая на его прозвище «великий коммонер» (коммонер — член палаты общин), а уничижительно отозвавшись о его патриотизме, столь же прозрачно намекнул на то, что в дни молодости Питта группа вигов, возглавляемая им, называла себя «патриотами».

Стр. 120. *Старый герцог Н.*— В портрете «старого герцога Н.» следует видеть изображение Томаса Пелхема Холла герцога Ньюкасла — прожженного политика, одного из вожаков партии вигов, которому во время встречи с ним Брамбла было свыше семидесяти лет. Он дважды был премьер-министром, первый раз в 1754—1756 гг. и второй раз в 1757—1762 гг., когда фактическим главой вигского министерства был Уильям Питт. Не обладая способностями государственного деятеля, он превосходно лавировал в сложной политической обстановке и занимал

ряд государственных постов в течение сорока лет, ценимый главными вожаками партии вигов как парламентский «тактик», применяющий испытанный способ английских государственных деятелей — подкуп членов парламента.

Стр. 121. ...*неутомимого подголоска главной персоны*...— Характеризуя герцога Н. (то есть Ньюкасла) как подголоска «главной персоны, коего справедливо заклеймили как отца продажности», Смоллет под «главной персоной» имеет в виду Роберта Уолпола — вождя вигов, занимавшего пост премьер-министра с 1721 по 1742 г. Даже на фоне общей коррупции в политической жизни Англии XVIII в. Уолпол выделялся цинизмом и ловкостью, с которой он подкупал членов парламента и высших сановников.

Стр. 124. ... *она собрана неким лекарем*...— Основанием коллекций Британского музея явились естественнонаучная коллекция, библиотека и предметы искусства, принадлежавшие врачу Гансу Слоану, который в своем завещании (1753 г.) предложил правительству приобрести все собрание.

Стр. 126. *Сражение при Деттингене.*— Сражение при Деттингене (в так называемой Испанской войне 1739—1748 гг.), деревушке на Майне в Германии, произошло в июне 1743 г. между англичанами и немцами с одной стороны и французами — с другой. Смоллет вкратце описал эту битву в романе «Приключения Родрика Рэндома».

*Городок в Гризонсе.*— Смоллет не случайно упоминает о Гризонсе, на территории которого находился город Лугано. Кантон Гризонс входил в состав Швейцарии, но решительно отстаивал в эпоху Смоллета свою кантональную независимость от швейцарской администрации.

Стр. 127. ...*ipse dixit сего нового Пифагора.*— Ученики древнегреческого философа и математика Пифагора в качестве решающего аргумента будто бы ссылались на слова Пифагора: «Учитель сам сказал». Выражение это применяется иногда в насмешку над ложным авторитетом.

Стр. 128. ...*писакам с Граб-стрит*...— Мелкие литераторы, добывавшие средства к жизни случайным заработком, селились еще за полтора столетия до эпохи Смоллета на улочке Граб-стрит, и потому выражение «писака с Граб-стрит» являлось кличкой продажного, низкопробного литератора.

...*с берегов Твида*...— Река Твид граничит на протяжении тридцати километров с Англией; выражение «с берегов Твида» значит «из Шотландии».

*Аристарх* — нарицательное имя для педантов-критиков; Аристарх (II в. до н. э.) — греческий грамматик и критик.

...*чья вонь*...— В подлиннике — «чья сила», но по контексту очевидна опечатка (strength — сила, stench — вонь).

Стр. 129. *...как Мальволио в пьесе.*— Смоллет сравнивает мисс Табиту Брамбл с одним из героев шекспировской комедии «Двенадцатая ночь» — жеманным, чванным и уверенным в своей неотразимости Мальволио.

Стр. 130. *...полосатого осла...*— Речь идет о зебре, принадлежавшей королеве.

Стр. 131. *Представление в «Сэдлерс Уэльс».*— «Сэдлерс Уэльс» — «Источники Сэдлера» — лондонский загородный увеселительный сад того же характера, что Рэнлаг и Вокс-Холл, описанные Смоллетом, но для более демократической публики. «Источники Сэдлера» названы по имени их владельца.

Стр. 132. *... на утренний прием к герцогу Н...*— то есть герцогу Ньюкаслу (см. прим. к стр. 120.).

Стр. 133. *... во время войны 1740 года...* —то есть во время так называемой Испанской войны, в которой принимал участие сам Смоллет.

*В этом государстве после Гренвилла...*— Собеседник Брамбла, капитан С., давая лестную характеристику Джорджу Гренвиллу (1712—1770), обнаруживает этим свою верность тупому и деспотическому Георгу III, который хотя и назначил одного из лидеров вигской партии, Гренвилла, премьер-министром в 1763 г. вместо своего фаворита лорда Бьюта, но только потому, что видел в Гренвилле исполнителя своих приказаний. Гренвилл, будучи первым министром, вошел в историю Англии как орудие Георга III в его борьбе против свободы печати. Гренвилл ушел в отставку в июле 1765 г. С этим связана ошибка Смоллета. Из слов капитана С. следует, что Гренвилл уже давно покинул свой пост. Между тем письмо помечено автором 5 июня (1765 года, как установлено ранее, в примечании к стр. 118.).

Стр. 134. *Дэй* — титул, который в прежние времена носили правители Алжира.

Стр. 135. *...зарыть дерево и посадить топор.*— Смоллет, рисуя гротескно фигуру герцога Ньюкасла, заставляет его плоско острить об обычаях американских индейцев и умышленно искажать индейские слова («вампумы» вместо «вигвамы» и др.) и названия пяти индейских племен, или «пяти народов», которые образовали союз племен и были известны англичанам от колонистов.

Стр. 136. *...якобиты, мятежники!*— См. прим. к стр. 118.

*...дрыгать ногами на Тайберне* — то есть быть повешенным на Тайберне. В эпоху Смоллета место казни — Тайберн — находилось в трех километрах от Лондона.

*Ч. Т.*— Под инициалами Ч. Т. несомненно скрывается Чарльз Тауншенд (1725—1767) — деятель вигской партии, один из самых беспринципных политиканов.

*...в подражание прославленному инвалиду!* — Намек на Уильяма Питта (см. прим. к стр. 119.), больного подагрой.

Стр. 138. *...он не так давно вышел из тюрьмы Флит...*— Тюрьма Флит в эпоху Смоллета была главной тюрьмой для несостоятельных должников.

Стр. 139. *...почерпнул о просодии у Диспутера и Радимена.*— Речь идет о двух английских грамматиках; последний, шотландец, издал в начале XVII в. «Основы латинского языка».

*Просодия* — раздел учения о стихе.

Стр. 141. *Триктрак* — старинная игра, напоминающая шашки; ходы определялись числом очков, выброшенных на костях.

Стр. 146. *...повел меня обедать к С...*— Под именем литератора С. Смоллет выводит самого себя.

*...по причине, о которой нет нужды распространяться.*— Причина заключалась в том, что в воскресенье они могли выходить из дому, ибо, по английским законам эпохи Смоллета, в воскресенье арест за долги возбранялся.

Стр. 148. *...метафизических сочинений лорда Болингброка...*— Генри Сен Джон виконт Болингброк, известный государственный деятель партии тори, сторонник изгнанных Стюартов, бежавший из Англии в 1714 г. со вступлением на английский престол Ганноверской династии (вернулся в Англию только в 1742 г.), занимался также сочинением трактатов по вопросам истории и политики («Письма об изучении истории», «Письма об идее патриотизма» и т. д.).

Стр. 149. *...известен здесь под именем лорда Картофеля.*— Намек на основной продукт питания в Ирландии.

*...пределы вольностей Королевской скамьи...*— то есть границы района вокруг уголовной тюрьмы Королевской скамьи. В этих границах (двенадцать улиц) неимущие должники и лица, виновные в других преступлениях, могли проживать, уплачивая государству высокую плату.

Стр. 150. *Суд Маршелси* — старинный суд, организованный сперва как суд гофмаршала над придворными слугами, а затем ставший судом общего права; со временем его функции перешли к другим судам, но тюрьма Маршелси сохранилась для неисправных должников и взяточников.

*...одна из них методисту Уайтфилду.* — Намек на то, что проповеди одного из главных деятелей методизма Джорджа Уайтфилда (1714—1770) были близки по духу к учению лютеранской церкви, а потому Уайтфилда считали поклонником прусского короля Фридриха II, в честь которого сложена была ода.

*...похож на капитана Пистоля в пьесе.*— Пистоль — известный персонаж в пьесах Шекспира «Генрих IV», ч. II, и «Виндзорские кумуш-

ки». Современник Смоллета, знаменитый художник Хогарт, изобразил в роли Пистоля актера Теофиля Сиббера, и за ним закрепилась кличка «Пистоль».

Стр. 151. *Олд Бейли* — старинный уголовный суд по преступлениям, совершенным в Лондоне и в графстве Миддлсекс; с течением времени был преобразован в Центральный уголовный суд.

Стр. 155. *Восьмидесятилетний Салмон.*— Смоллет, описывая тяжелую судьбу английских писателей, своих современников, и упоминая для иллюстрации об историке Салмоне, не придерживается хронологии. Историки Натаниэль и Томас Салмоны умерли задолго до эпизодов, описанных в «Путешествии Хамфри Клинкера», в 1742 и 1743 г. Кого из них Смоллет имеет в виду, неизвестно.

*Псалмоназар* — автор географического и исторического описания Формозы, вследствие чего Смоллет назвал его «жителем Азии». Но Дж. Псалмоназар (1679—1763), издавший это описание, являлся мистификатором, и подделка его была доказана.

*Гай.*— Книгопродавец Томас Гай в 1721 г. начал постройку в Лондоне больницы, на содержание которой оставил по завещанию крупную сумму денег.

Стр. 168. ... *он обучался в каком-нибудь судебном инне...*— Судебные инны, принадлежащие юридическим корпорациям Лондона,— дома с общежитиями для лиц, изучающих юриспруденцию. Инны были основаны в средние века и в течение столетий являлись своеобразными учебными институтами права. Обучавшиеся в них лица подчинялись правилам дисциплины, выработанным советом старейших членов юридических корпораций. В эпоху Смоллета в Лондоне было четыре «главных» инна, которым подчинены были девять позднее организованных.

Стр. 169. ...*законовед из Темпла...*— Темпл — группа старинных зданий в Лондоне на берегу Темзы, вокруг храма, построенного рыцарями ордена тамплиеров в XII веке. Эти здания принадлежали юридическим корпорациям, и во всем районе находились многочисленные конторы юристов, а потому выражение «законовед из Темпла» означало «практикующий юрист».

Стр. 171. *Тюренн* — французский маршал Генри Тюренн (1611—1675), своими победами в войне с Австрией приобретший славу крупного полководца.

Стр. 172. ...*промышлявших на Хаунслоу...*— то есть занимавшихся разбоем на большой дороге; Хаунслоу — пустошь в двадцати километрах к западу от Лондона, где проходил лондонский тракт; излюбленное разбойниками место для нападения на путников.

...*заберут отсюда на основании habeas corpus* — то есть увезут в полицейский суд на основании парламентского акта habeas corpus. В эпоху Смоллета этот закон был известен в редакции 1679 г. и гласил,

что при ссылке арестованного на акт habeas corpus его должны препроводить к полицейскому судье, который на основании законов обязан решить, подлежит ли арестованный заключению в тюрьме до суда или может быть отпущен на свободу. Правительство и судебные власти Англии сплошь и рядом обходили этот акт либо при помощи крючкотворства, либо указами о так называемом «приостановлении действия habeas corpus».

Стр. 177. *...у старого бейлифа...* — Уинифред Дженкинс, письма которой изобилуют грубыми орфографическими ошибками, путает Old Bailey («старый Бейли» — название уголовного суда) и «старый бейлиф» (судебный пристав), а название старинного закона habeas corpus переиначивает в Апиас Коркус, простодушно считая его колдуном, ибо ему «пятьсот лет от роду».

Стр. 178. *Стон* — четырнадцать английских фунтов (свыше шести килограммов).

Стр. 187. *Спа* — городок с минеральными источниками неподалеку от Льежа, в нынешней Бельгии; в эпоху Смоллета находился на территории так называемых «церковных владений».

Стр. 192. *...приключения которого были описаны в книге несколько лет назад.* — В этом эпизоде Смоллет неожиданно сообщает, что Грив является графом Фердинандом Фатомом — героем его романа «Приключения Фердинанда графа Фатома», изданного почти за двадцать лет до написания «Хамфри Клинкера».

Стр. 193. *...после такого возвышения...* — В эпоху Смоллета юристы-практики для получения права выступать в суде и зачисления в состав адвокатов — барристеров (bar — суд) должны были удовлетворять следующим условиям: пробыть три года членом одного из иннов (корпораций юристов), представить рекомендацию о своем «добром имени», внести двести фунтов стерлингов и выдержать специальный экзамен.

Стр. 194. *Ахерон* — одна из пяти рек в преисподней (греч. миф.).

*Стигийское купанье.* — Брамбл сравнивает свое погружение в горячую воду из источников Хэрроугейта с купаньем в реке Стикс — одной из пяти рек в преисподней (греч. миф.).

Стр. 203. *...по плану Палладия...* — Андреа Палладио — знаменитый итальянский зодчий эпохи Возрождения.

Стр. 213. *...стыдиться... как имени пуританского...* — Брамбл с его консервативными (торийскими) взглядами был враждебен пуританизму, который был оппозиционен земельному дворянству и выражал притязание буржуазии на власть. Поэтому Брамбл стыдился имени Мэтью, популярного у пуритан, ибо оно было именем одного из четырех евангелистов.

Стр. 214. *Обадия — имя адвентистское...* — то есть библейское имя, популярное у адвентистов — членов одной из сект пуритан.

*...одного из первых ковенанторов...*— то есть членов лиги, в которую входили противники английского короля Карла I Стюарта; эта лига, организованная деятелями одной из ветвей пуританского движения — пресвитерианской — ставила целью борьбу с политикой Карла I, для чего образован был в 1643 г. союз (ковенант) между Шотландией и Англией, который был разорван после реставрации Стюартов.

Стр. 221. *Аллан Рамсей* (1685—1758) — популярный шотландский поэт.

Стр. 225. *...о бесславном мире, заключенном лордом Б...*— Речь идет о Парижском мире, подписанном в феврале 1763 г. и завершившем Семилетнюю войну. Мир был заключен между Англией с одной стороны и Францией и Испанией — с другой; к нему присоединилась также и Португалия. Заключение договора произошло в бытность графа Джона Бьюта, фаворита короля Георга III и его подголоска, премьером Англии. Непопулярность лорда Бьюта, главы дворцовой камарильи, была так велика в народе, что условия договора вызвали резкую оппозицию почти всех политических группировок, хотя основания для этого были различны, а условия мира, закрепившего за Англией Канаду, часть Луизианы и Флориду в Северной Америке, несколько островов Вест-Индии и пр., были, несомненно, выгодны для Англии, о чем говорил лейтенант Лисмахаго.

Стр. 226. *...как говорит мистер Аддисон...*— Джозеф Аддисон (1672—1719), политический писатель и очеркист, почитаемый в Англии классическим; занимал некоторое время высокие посты в министерстве вигов, редактировал известные журналы «Болтун» («Тэтлер») и «Зритель» («Спектэйтор»).

*Субалтерн* — офицер чином ниже капитана.

Стр. 229. *Уэсли* — Джон Уэсли, основатель методистской церкви (1728).

Стр. 236. *Красноногие ирландцы.*— Ирландцы и шотландские горцы нередко носили в Англии кличку «красноногие», ибо в далекие времена обувью им служили невысокие сапоги из оленьих шкур рыжевато-красного цвета.

Стр. 238. *...сокрушить филистимлян...* — то есть «неверных». Пресвитерианское духовенство шотландцев обычно уснащало свои проповеди библейскими выражениями; призывая шотландское войско храбро сражаться против англичан, духовенство называло последних именем народа, вторгшегося, по библейскому преданию, в страну иудеев, название которой (Палестина), кстати сказать, происходит от слова «филистимляне».

*...где они и были наголову разбиты.*— Речь идет о битве при Данбаре, в Шотландии, на берегу Северного моря, в сорока пяти километрах к востоку от Эдинбурга. Эта битва явилась важной вехой в развитии

английской буржуазной революции XVII в. Битва произошла в сентябре 1650 г. между республиканскими войсками англичан под командованием Кромвеля и шотландскими войсками, с которыми молодой английский король Карл II, вступивший на престол после казни своего отца Карла I, заключил соглашение. Шотландцами, которых было более двадцати тысяч, командовал генерал Лесли. Смоллет правильно подчеркнул, что поражение шотландцев при Данбаре произошло по вине фанатичных проповедников-пресвитериан. Несмотря на противодействие Лесли, шотландцы по их наущению спустились с господствующих высот в равнину, где несмотря на свое численное превосходство (двадцать тысяч против пятнадцати тысяч англичан) были разбиты республиканскими войсками, захватившими в плен до десяти тысяч человек.

Стр. 239. *...подобно Миддл-роу на Холборне.*— Во времена Смоллета в центральной части Лондона — Сити (где были издавна сосредоточены здания торговых компаний, гильдий, цехов и т. д.) — одну из главных улиц этого района, улицу Холборн, пересекала улочка Миддл-роу, застроенная лачугами; в настоящее время этой улочки нет.

Стр. 246. *Лэрд* — помещик в Шотландии.

Стр. 252. *...в окрестностях Карфакса...*— то есть по соседству с площадью в центре Оксфорда, называемой Карфакс.

Стр. 253. *Уния* — закон от 1707 г. об объединении верховной власти Англии и Шотландии в лице одного монарха.

Стр. 254. *...подал пример лет тридцать назад город Глазго.*— Брамбл, упоминая о «большом работном доме» в Эдинбурге, выражает удовольствие, что бедняки «могут содержать себя на труды рук своих», а на улицах не видно нищих. При этом он отмечает, что Глазго опередил в этом отношении столицу Шотландии. Но герой романа Смоллета умалчивает, что отсутствие нищих на улицах Эдинбурга объясняется применением жестокого старинного закона Шотландии: все повинные в нищенстве и бродяжничестве подлежали заключению в тюрьмы; когда в Англии, в конце XVII в., власти сочли более выгодным эксплоатировать задержанных бедняков и создали для этой цели «работные дома», Шотландия последовала примеру Англии. Если прибавить, что в «работный дом» могли быть помещены любые работоспособные бедняки, которые не находили работы и которым приходские советы отказывали в помощи, ссылаясь на отсутствие средств, а также если учесть тюремный режим в «работных домах», читатель получит ясное представление о том, сколь «благодетельны» были для неимущего населения Шотландии (и Англии) «работные дома».

Стр. 256. *Суд Уполномоченных.*— Суд, учрежденный в 1563 г. в Шотландии взамен церковного суда, после разрыва Англии и Шотландии с римско-католической церковью. В компетенцию этого суда входили во времена Смоллета дела о разводе, недействительности брака, а также

все дела, подведомственные раньше церковному суду, который руководствовался каноническим правом.

Стр. 257. *Ultima Thule* — «самая отдаленная Туле». — Так называлась у римлян самая отдаленная часть Европы, известная им. У одних древних авторов это были Оркнейские острова, о которых говорит Дж. Мелфорд, у других — Исландия, Скандинавия и т. д. Фольклор европейских народов не раз упоминает о некой фантастической стране Туле, которая является крайней точкой земли.

Стр. 259. *...члену Суда Уполномоченных Смоллету...*— двоюродному брату автора.

Стр. 261. *...холмы Морвена, где Фингал и его герои...*— Речь идет о так называемых «поэмах Оссиана», действие которых происходит в одной из областей Шотландии — в Морвене. Эти поэмы, повествующие о подвигах вождя кельтского клана «фениев» Фингала, или Финна Мак-Кумгала, были изданы в 1760—1762 гг. Джемсом Макферсоном, который объявил их переводом из древней рукописи. Позднейшая критика установила, что Макферсон мистифицировал читателей, выдав за «древний эпос» свое произведение.

Стр. 264. *...сын брата отца лэрда...*— Смоллет точно воспроизводит существовавшие у горных шотландцев обозначения степени родства.

Стр. 268. *...в последнюю войну...*— то есть в так называемую— Семилетнюю войну 1756—1763 гг.

*...где каперов немного...*— Речь идет о том, что во время Семилетней войны в северной части Атлантического океана торговым судам Англии и Шотландии угрожала меньшая опасность быть захваченными вооруженными торговыми судами Франции и Испании. Вплоть до середины прошлого века такой захват (каперство) был легализован и распространялся также на суда нейтральных государств. Во все времена именно Англия упорнее, чем другие государства, сопротивлялась запрету каперства, опираясь на численное превосходство своего торгового флота, которому английское правительство выдавало так называемые «каперские свидетельства», то есть разрешения на морской разбой.

*...было это Камбрийское королевство.*— Первоначально «Камбрией» называлось древнее королевство бриттов (народа кельтского племени), изгнати населявших остров Британию; но у римлян «Камбрией» назывался Уэльс — область на юго-западе Англии, жители которой (валлийцы) также принадлежат к кельтскому племени (как и жители Шотландии и Ирландии) и называли себя в римскую эпоху «Kymry» — кимвры.

Стр. 269. *...монахов Клюни...*— Католический монашеский орден Клюни, именовавшийся так в X в. н. э. по названию городка во Франции, вблизи Лиона, где находилось главное его аббатство, подчинен был само-

му могущественному в эпоху раннего средневековья ордену бенедиктинцев.

*...дом камеронцев...*— Смоллету принадлежал дом, которым ранее владела община секты камеронцев. Ее основатель Ричард Камерон в 1680 г. поднял восстание против правительства Карла II Стюарта во главе нескольких десятков фанатиков и был убит; секта тем не менее продолжала существовать, отличаясь от официального пресвитерианства, между прочим, тем, что отвергала присягу королю; в эпоху Смоллета секта приняла наименование «пресвитериане-реформисты» и постепенно потеряла всякое значение.

Стр. 271. *Энсон* — английский коммодор, совершивший в 1740—1744 гг. кругосветное путешествие.

*...да это Хуан Фернандес!* — Хуан Фернандес — архипелаг в Тихом океане в шестистах километрах от берегов Чили. Восклицание капитана объясняется тем, что пейзаж Камерона напомнил ему пейзаж одного из этих островов Мас а Тьерра, получившего мировую известность, так как в 1709 г. на этом необитаемом островке был обнаружен шотландец, боцман Селкирк, высаженный сюда в 1704 г. после ссоры с капитаном корабля. Как известно, пребывание Селкирка на острове подсказало Даниэлю Дефо тему «Робинзона Крузо».

Стр. 278. *...на материке...*— Автор имеет в виду не европейский материк, а Шотландию.

Стр. 279. *Уилсон в роли Эмуэла.*— Эмуэл, молодой щеголь и вертопрах,— герой одной из лучших английских комедий XVIII в. «Хитрый план щеголей» Джорджа Фаркара, впервые поставленной в лондонском театре Друри-лейн в 1707 г.

Стр. 291. *Пальмира* — большой город Сирии, некогда находившийся у оазиса в пустыне, простирающейся между Дамаском и рекой Евфрат. Руины города, ставшие известными в Европе в конце XVII в., свидетельствуют о богатстве города и больших его размерах.

Стр. 297. «*Компания Дэриен*» — шотландская торговая компания, организованная в 1695 г. Соблазнившись успехами английских торговых компаний, буржуазия Шотландии организовала эту первую национальную торговую компанию, целью которой являлось основание колонии на Панамском перешейке, в Америке, для руководства торговлей между двумя полушариями. Компания получила от шотландского парламента монопольное право торговли между Шотландией с одной стороны и тремя материками — с другой. Лейтенант Лисмахаго дает точную цифру капиталовложений шотландских буржуа — четыреста тысяч фунтов — в акции этой компании, наименованной «Дэриен компанией» (в ту эпоху Панамский перешеек назывался перешеек Дэриен). Первые переселенцы высадились в конце 1698 г. на Панамском перешейке, но до нового урожая не хватило запасов, привезенных из дому, и они были вынуждены обра-

титься за помощью к английским колониям в Северной Америке. Результат был неожиданный: английская буржуазия, усматривая в «Дэриен компании» конкурента, добилась в Лондоне того, что король Вильгельм III отказал в санкции шотландской экспедиции, а потому англичане-колонисты отказали шотландцам в помощи. Непривычный климат и голод привели колонию к гибели, и, когда появилась новая партия колонистов, форт оказался пустым, а новых поселенцев встретил отряд испанских солдат, который после боя заставил их сдаться. Из двух с лишним тысяч колонистов, отправившихся за океан, вернулось домой тридцать человек. История с «Дэриен компанией» вызвала в Шотландии XVIII в. большое возбуждение.

Стр. 298. *Коммонер* — член палаты общин.

Стр. 299. *В течение семи лет последней войны...*— упоминание о так называемой Семилетней войне 1756—1763 гг.

Стр. 307. *Цистерианский монастырь* — католический монастырь, некогда подчиненный аббатству в Сито во Франции.

Стр. 319. *Перголези и Корелли* — итальянские композиторы; первый (1710—1736) прославился оперной и церковной музыкой; второй (1653—1713) — один из основателей школы скрипичной игры.

Стр. 321. *Роза, Рембрандт, Скалькен* — три художника XVII в. Сальватор Роза — неаполитанский художник и музыкант, автор известной картины «Эндорская колдунья», Рембрандт — великий голландский художник, Скалькен — голландский живописец, мастер передачи света.

Стр. 327. *...щепочку от граба.*— Суеверные шотландцы приписывали грабу волшебные свойства.

Стр. 335. *...похож на бога Таммуза...*— Таммуз — бог солнца в вавилонской мифологии; но Смоллет неправильно назвал Иштар (Астарта) Изидой, богиней египетских мифов.

Стр. 348. *Чак-фартинг* — детская игра с мелкой монетой — фартингом, которую швыряют, с тем чтобы попасть в ямку.

Стр. 370. *Поссет* — подогретое вино с молоком и пряностями.

Стр. 371. *...доктор Арбетнот есть первообраз...*— Джон Арбетнот (1675—1735), английский сатирический писатель, политический деятель партии тори и известный врач. Сравнивая доктора Льюиса с Арбетнотом, Брамбл выражает тем самым восхищение умом Льюиса, ибо в XVIII в. репутация Арбетнота как умнейшего человека стояла очень высоко.

Стр. 376. *Гален* (130 — около 200 г. н. э.) — знаменитый греческий врач, автор многочисленных трактатов по медицине, логике, этике.

*Е. Ланн*

под редакцией *Ю. Кагарлицкого*

## ВЕКФИЛЬДСКИЙ СВЯЩЕННИК

Роман Оливера Голдсмита «Векфильдский священник» написан был в 1762 году, однако опубликован лишь четыре года спустя, в 1766 году, очевидно, после основательной авторской доработки. Пятое издание романа — последнее, вышедшее при жизни автора и им исправленное,— принято считать эталоном текста. Все последующие издания исходят из него.

Неплохо принятый публикой, роман этот, однако, большой прижизненной славы Голдсмиту не принес. Но к концу века быстро возрастает круг читателей романа в Англии и во всем мире. Он переводится на все основные европейские языки, а затем на венгерский, исландский и древнееврейский. Во французских и русских переводах «Векфильдский священник» начиная с конца XVIII и в течение XIX века выходил по семи раз, причем иные переводы много раз переиздавались. По словам Теккерея, этот роман «проник в каждый замок и каждую хижину по всей Европе». Среди заинтересованных, а порой и восторженных читателей этого романа были Гете, Вальтер Скотт, Стендаль, Карамзин, Толстой, Аксаков, Диккенс. Последний образовал даже свой ранний псевдоним Боз от имени одного из героев романа Голдсмита — Мозеса.

«Векфильдский священник» в переводе Т. Литвиновой впервые был опубликован в 1959 году Гослитиздатом.

Стр. 384. *...когда Генрих II проходил через Германию...*— Генрих II (973—1024) — император Священной Римской империи с 1002 года. Эпизод, о котором идет речь, относится к 1023 году.

*Геба* — богиня вечной юности (греч. миф).

Стр. 385. *...получил образование в Оксфорде, так как я предназначал его для одной из ученых профессий.*— «Учеными профессиями» в Англии того времени считались богословие, юриспруденция, медицина и музыка. Обучали этим профессиям обычно уже после окончания университета, дававшего общее классическое образование, в корпорациях лиц соответствующих профессий.

Стр. 386. *...Уистон* Уильям (1667—1752) — известный английский богослов и математик, сотрудник Ньютона. В 1711 г. опубликовал книгу «Историческое введение к возрожденному раннему христианству», а в 1715 г. основал общество, ставившее себе целью проводить в жизнь идеи, изложенные в этой книге. Взгляды Уистона казались настолько опасными, что он был изгнан из Кембриджского университета и против него был начат процесс по обвинению в ереси. Требование единобрачия духовенства было лишь одной из частностей религиозной доктрины Уистона, но герой

Голдсмита и во многом другом близок взглядам Уистона — главным образом в противопоставлении морали раннего христианства современной испорченности нравов.

Стр. 390. *Хукер* Ричард (1554—1600) — известный английский теолог, автор труда «Законы управления церковью». История его путешествия в Лондон была занимательно изложена в его биографии, написанной Исааком Уолтоном.

*Джуэл* Джон (1522—1571) — один из руководителей английской Реформации.

«*Я был молод, и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба*» — псалом 36, стих 25.

Стр. 395. ...*в утро святого Валентина* (14 февраля).— Во времена Голдсмита в Англии еще сохранился средневековый обычай, по которому молодой человек и девушка, увидевшие друг друга на рассвете Валентинова дня, считались «Валентином и Валентиной». Молодой человек имел после этого право при родителях поцеловать свою «Валентину» и ухаживать за ней в течение года.

... *накануне Михайлова дня*...— то есть 28 сентября.

Стр. 396. ...«*Жестокая Барбара Аллен*» — народная баллада о юноше, который умер от любви, и о девушке Барбаре Аллен, которая умерла потом от раскаянья.

«*Последнее «прости» Джонни Армстронга*» — другая старинная баллада — о смерти знаменитого пирата.

Стр. 399. *Драйден* Джон (1631—1700) — крупный английский поэт и драматург эпохи Реставрации.

Стр. 401. ...*историю Беверлендского Оленя, повесть о терпеливой Гризельде, приключения Кота Мурлыки* (английский вариант сказки об Ослиной Шкуре)... *о замке прекрасной Розамонды.*— Популярные народные сказки и легенды, по большей части средневекового происхождения.

*Зверь лесной идет в свое логово, птица небесная летит в гнездышко, а беспомощный человек находит пристанище только среди себе подобных.*— Парафраз евангельского текста: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда; а сын человеческий не имеет, где приклонить голову» (от Матфея, VIII, 20; от Луки, IX, 58).

Стр. 403. ...*освежевать Марсия, после того как ...с него уже содрали кожу.*— Согласно греческому мифу, фригийский бог лесов и источников Марсий вызвал на состязание в музыке бога искусств Аполлона. По условию, победитель мог поступить с побежденным, как ему заблагорассудится. Аполлон победил и, привязав Марсия к дереву, содрал с него кожу.

Стр. 404. ...*остановил свой выбор на одном из страшилищ, что украшают церковь святого Дунстана*...— На колокольне расположенной

в центре Лондона церкви святого Дунстана находились часы, украшенные двумя фигурами дикарей.

*Церковные десятины* — налог в пользу церкви в размере одной десятой всех доходов. Поскольку номинальным главой англиканской церкви является английский король, в Англии XVIII в. этот налог фактически взимался в пользу государства, и только небольшая его часть передавалась духовенству.

Стр. 407. *...диспут между Твакумом и Сквэром, спор Робинзона Крузо с дикарем Пятницей и... о словесном состязании в «Благочестивых влюбленных».*— Диспут между Твакумом и Сквэром — речь идет об одном из эпизодов романа Генри Фильдинга (1707—1754) «История Тома Джонса, найденыша» — о споре глупого и лицемерного попа Твакума и столь же глупого и лицемерного «вольнодумца» Сквэра; спор Робинзона Крузо с дикарем Пятницей.— В романе Даниэля Дефо (1661—1731) «Робинзон Крузо» рассказывается, как дикарь Пятница не раз ставил в тупик своими наивными вопросами Робинзона Крузо, растолковывавшего ему догматы христианской веры. «Благочестивые влюбленные» — речь идет о нравоучительном трактате Дефо «Благочестивые влюбленные, с примерами из истории, показывающими, сколь необходимо, чтобы обе стороны, вступающие в брак, были богобоязненны и исповедовали одну и ту же веру» (1722).

Стр. 408. *...прелестно описанных мистером Геем влюбленных, которых смерть сразила в объятиях друг друга.*— Имеется в виду трагическая пастораль английского поэта и драматурга Джона Гея (1685—1732) «Диона».

*... в «Акиде и Галатее» Овидия.*— Речь идет об эпизоде из XIII книги «Метаморфоз» — крупнейшего произведения древнеримского поэта Публия Овидия Назона (43 г. до н. э.— 17 г. н. э.).

Стр. 415. *Музыкальные стаканы.*— Незадолго до написания «Векфильдского священника» ирландец Пакеридж создал примитивный музыкальный инструмент, в котором звуки извлекались из стаканов, наполненных на разный уровень водой. Этот инструмент, несколько усовершенствованный членом Королевской академии Делавалем, стал известен знаменитому американскому общественному деятелю и ученому XVIII в. Бенджамину Франклину, который, в свою очередь, внес в него улучшения и назвал его «гармоника». Тем не менее «музыкальные стаканы» так и остались диковинкой и не вошли в число музыкальных инструментов.

Стр. 418. *Набоб* — правитель провинции средневековой Индии. Слово «набоб» стало в Европе нарицательным для обозначения богача. Особенно часто так называли купцов и чиновников, разбогатевших в Индии.

Стр. 422. *...рыцарях подвязки...*— Кавалеры ордена Подвязки — высшего из английских орденов.

Стр. 423. *Ганновер-сквер* — площадь в западной, аристократической части Лондона.

«*Дамский журнал*».— Речь идет о «Дамском журнале, или Любезном собеседнике для прекрасного пола», который издавался в Лондоне с 1760 по 1763 гг.

Стр. 433. *Григорий Великий* (ок. 540—604).— Речь идет о римском папе (с 590 г.) Григории I Святом. Ему приписывается обращение в христианство Англии.

Стр. 435. *Санхониатон, Манефо, Берозус и Оцеллий Лукан...*— Санхониатон (иначе Санхуниатон) — предполагаемый автор истории Финикии и Египта, опубликованной греческим грамматиком Фило во II в. н. э. До нас дошли лишь отдельные отрывки из этого произведения. Манефо (III в. до н. э.) — египетский верховный жрец. Ему приписываются философские, богословские и исторические сочинения, сохранившиеся ныне лишь в отрывках. Берозус (III в. до н. э.) — вавилонский жрец, составивший на греческом языке свод вавилоно-халдейских сказаний. Из него сохранилось лишь несколько отрывков, цитированных греческими и римскими историками. Оцеллий Лукан — философ-пифагореец (V в. до н. э.). Из всех его сочинений сохранился полностью лишь трактат «О природе Целого». Приведенные слова являются цитатой из этого произведения (гл. I, § 3).

*Навуходоносор* — речь идет о Навуходоносоре II, вавилонском царе (604—561 гг. до н. э.), упоминаемом в Библии.

Стр. 439. *...читали книгу острословия!* — Речь идет об одном из распространенных в XVIII в. юмористических сборников.

Стр. 440. «*Венец творенья — честный человек*» — строка из философски-дидактической поэмы английского поэта, просветителя-классициста Александра Попа (1688—1744) «Опыт о человеке» (IV, 248).

Стр. 448. «*Женщина и Смерть*» — старинная народная песня.

«*Умирающий Лебедь*» — народная песня.

«*Элегия на смерть бешеной собаки*». — Это стихотворение Голдсмита, до сих пор остающееся в Англии хрестоматийным, было написано по случаю охватившего жителей Лондона панического страха перед бешеными собаками,— одного из случаев массового психоза, не раз возникавших в те времена. Стихотворение на подобную же тему за много лет до Голдсмита написал Гей. «Элегия на смерть бешеной собаки» написана Голдсмитом также в целях литературной полемики. Являясь видным представителем английского сентиментализма, Голдсмит вместе с тем был убежденным противником того направления в сентиментализме, которое получило название «кладбищенской поэзии».

Стр. 450. *...песенки, что распевают в парке Ранела...*— В 1742 году в Челси, окраинном районе Лондона, был разбит увеселительный сад с ротондой, в которой устраивались концерты. Этот сад был расположен

па месте резиденции лорда Ранела, министра Карла II, откуда и заимствовано его название.

Стр. 455. *...добрый книготорговец с Сент-Полз-Черчьярд...*— Речь идет об известном издателе и книготорговце Джоне Ньюбери. Ньюбери неоднократно авансировал Голдсмита и однажды взял на себя ведение всех его финансовых дел. Ньюбери приложил большие усилия, чтобы улучшить состояние детской литературы в Англии, и сам писал для детей. Сент-Полз-Черчьярд — улица вокруг собора святого Павла, расположенного в центре лондонского Сити.

Стр. 456. *Отвей* Томас (1652—1685) — английский драматург периода Реставрации. Лучшие его трагедии, в которых драматург с большим мастерством изобразил интимные человеческие чувства, долго пользовались успехом на сцене. Голдсмит принадлежал к числу больших его поклонников.

*Роу* Николас (1674—1718) — английский драматург, продолжатель Отвея. Роу ввел в свои трагедии бытовой элемент, что делает его одним из предшественников так называемой «мещанской трагедии», представленной в Англии XVIII в. именами Лилло и Мура.

*Флетчер* Джон (1579—1625) — английский драматург, младший современник Шекспира. Политические симпатии Флетчера на стороне монарха-самодержца.

*Джонсон* Бенджамин (ок. 1573—1637) — крупнейший из английских драматургов, современных Шекспиру.

*Конгрив* Уильям (1670—1729) — английский драматург, продолжатель комедии Реставрации, один из основателей комедии нравов в Англии.

*Фаркар* Джордж (1678—1707) — крупный английский комедиограф, последователь комедии Реставрации.

Стр. 457. *Я про себя решил, что вижу перед собой по меньшей мере члена парламента. В этом своем мнении я укрепился еще более, когда... он стал настойчиво приглашать нас с актером к себе домой...*— При крайне незначительном числе лиц, имевших право голоса на выборах в парламент, депутаты парламента, желавшие быть переизбранными, всячески обхаживали своих избирателей, а нередко и подкупали их.

*Корнуэлл* — полуостров на крайнем юго-западе Англии.

Стр. 458. *...но если он будет продолжать в том же духе, в каком действовал все последнее время...*— Речь идет о том, что король Георг III (1738—1820) вскоре после восшествия на престол в 1760 г. начал бороться за восстановление ряда прерогатив короны, утраченных в течение XVIII века. Эти попытки не имели успеха, несмотря на то что Георг III упорно стремился осуществить свои цели вплоть до 1811 г., когда он официально был признан невменяемым и отстранен от власти.

*Левеллеры* — английская политическая партия времен английской революции XVII в. Политические требования левеллеров состояли в установлении демократической республики с широким избирательным правом (которого, однако, должны были быть лишены женщины, слуги и нищие), религиозной свободы и беспристрастного рассмотрения дел в суде. Левеллерам совершенно не были присущи те цели, которые им приписывает здесь Голдсмит. Напротив, они выступали в защиту частной собственности и против ликвидации помещичьего землевладения. Свое представление о задачах партии левеллеров Голдсмит, по всей вероятности, заимствовал из полемической литературы XVII в., в которой противники левеллеров действительно обвиняли их в том, что они намерены уничтожить всякую частную собственность и «всех уравнять».

Стр. 460. *Картезианская система миров.*— Речь идет о космогонической системе французского философа Декарта (1596—1650). Сущность ее состоит в том, что вся материя находится в состоянии вихревого движения. В центрах вихрей материя сгущается, таким образом образовались звезды и планеты.

Стр. 461. *Тайный иезуит.*— Со времен Реформации католические державы много раз засылали в Англию в качестве своих тайных агентов монахов ордена иезуитов. Этот монашеский орден сыграл также немалую роль во время двух попыток новой реставрации Стюартов, предпринятых в 1715 и 1745 гг. Поэтому английские обыватели испытывали панический страх перед «тайными иезуитами», а вигийские политики неоднократно пользовались этим в своих целях и объявляли инакомыслящих «тайными иезуитами».

«*Газетир*» (буквально: журналист) — английская газета, издававшаяся с тридцатых годов XVIII в. до середины девяностых. Поддерживала партию вигов.

*...навязать себе деревянные башмаки?* — Деревянные башмаки считались в Англии символом нищеты, в которой жило население католических стран.

Стр. 463. «*Прекрасная грешница*» (1703) — трагедия Николаса Роу (см. прим. к стр. 456).

Стр. 465. *Ньюгет* — главная уголовная тюрьма Лондона, построенная в начале XV в.

Стр. 466. *...когда я сидел в кофейне...*— Кофейни в Англии XVIII в. были чем-то вроде клубов, причем каждая кофейня имела свой круг посетителей.

*Проперций* Секст (ок. 50—15 гг. до н. э.) — римский поэт, один из крупнейших представителей любовной лирики в литературе времен императора Августа.

Стр. 468. *Филавт, Филалет, Филелютер и Филантроп.*— Все эти имена имеют смысловое значение. Филавт по-гречески значит «друг

самому себе», Филалет — «друг правды», Филелютер — «друг свободы» и Филантроп — «друг людей».

*Сент-Джемский парк* — парк при королевском дворце в Лондоне. В конце XVII в. был открыт для публики.

Стр. 471. *...возле конторы мистера Криспа...*— Речь идет о реальном лице — хозяине известной вербовочной конторы.

*...синод Пенсильвании...*— Пенсильвания — одна из английских колоний в Америке; до завоевания Соединенными Штатами Америки независимости управлялась синодом, совмещавшим духовную и светскую власть.

*...к индейцам племени чикасо...*— Одно из индейских племен, обитавших в то время на Миссисипи.

Стр. 473. *...я невольно вспомнил Эзопову корзину с хлебом...*— Существует предание, что раб Эзоп, легендарный древнегреческий баснописец, отправляясь в дорогу вместе с другими рабами, предпочел взвалить себе на плечи тяжелый груз — большую корзину с хлебом. Зато к месту назначения он пришел с пустой корзиной, тогда как у остальных поклажа осталась прежней.

Стр. 474. *Перуджино Пьетро* (1446—1524) — итальянский художник эпохи Возрождения.

Стр. 478. *...с него соглашались взять всего сто фунтов вместо обычных трехсот.*— В английской армии XVIII в. патенты на офицерский чин продавались.

*...если можно назвать несчастьем смерть на поле боя рядом со славным лордом Фолклендом.*— Люций Кари, виконт Фолкленд (ок. 1610—1643) — английский политический деятель времен английской революции XVII в. Фолкленд был близок к парламентской оппозиции, но после начала гражданской войны перешел на сторону короля. Во время битвы при Ньюбери (20 сентября 1643 г.) лорд Фолкленд выехал на коне под огонь неприятеля и был тотчас же убит. Сторонники абсолютной монархии изображали лорда Фолкленда героем, погибшим за правое дело, но в действительности он сам искал смерти, запутавшись в отношениях между двумя партиями.

Стр. 487. *...не столь угодны небу девяносто девять праведников, сколь один раскаявшийся грешник...*— парафраз евангельского текста (от Луки, XV, 7).

Стр. 497. *...древний мудрец, видно, знал цену дружбе в несчастье, когда сказал: «Тон космон айре, эй дос тон этайрон»* — «За друга требуй целый мир» (греч.).

Стр. 517. *...в притче о нищем...*— Евангелие (от Луки, XVI, 20—31).

Стр. 522. *Самое замечательное явление на свете, по словам одного философа,— добродетельный человек, борющийся с гонениями судьбы...*—

Голдсмит воспроизводит слова римского философа-стоика Сенеки (3 г. до н. э.—65 г. н. э.) из его сочинения «О судьбе».

Стр. 535. *Лицензия.*— Брак без тройного оглашения в церкви можно было заключить в Англии того времени только по специальной лицензии.

*Оковами бряцая в восхищенье,* || *И дикий звон сей музыкой звучал.*— Цитата из трагедии Конгрива «Невеста в трауре».

*Ю. Кагарлицкий*

## СОДЕРЖАНИЕ

*А. Ингер.* От романа разума к роману чувств 5

Т. СМОЛЛЕТ

ПУТЕШЕСТВИЕ ХАМФРИ КЛИНКЕРА. *Перевод А. В. Кривцовой* 25

О. ГОЛДСМИТ

ВЕКФИЛЬДСКИЙ СВЯЩЕННИК. *Перевод Т. Литвиновой* . . . 379

Примечания *Е. Ланна, Ю. Кагарлицкого* 541

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 60

*Т. Смоллет*
ПУТЕШЕСТВИЕ ХАМФРИ КЛИНКЕРА
*О. Голдсмит*
ВЕКФИЛЬДСКИЙ СВЯЩЕННИК

*

Редактор Т. Блаптер
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор
Г. Киселева

Сдано в набор 11/X 1971 г. Подписано к печати 28/XII 1971 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84 1/16. 35,5 печ. л. 33,12 усл. печ. л. 34,11 + 6 накид. = 34,83 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 2415
Цена 1 р. 70 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров
СССР
Москва, М-54, Валовая, 28.

Т. СМОЛЛЕТ

ПУТЕШЕСТВИЕ

ХАМФРИ КЛИНКЕРА.

О. ГОЛДСМИТ

ВЕКФИЛЬДСКИЙ СВЯЩЕННИК